

Фазиль  
Садлер

ISBN 5-235-01795-1



9 785235 017955









*P. M. Henry*

Фазиль Искандер

---

---

ТОМ ПЕРВЫЙ

Фазиль Искандер

---

---

**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ЧЕТЫРЁХ ТОМАХ:**

2



Розыль Александр

---

---

**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ЧЕТЫРЁХ ТОМАХ**

—  
**ТОМ ПЕРВЫЙ**  
—

**ПРАЗДНИК ОЖИДАНИЯ  
ПРАЗДНИКА**

—  
**ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
ЧИКА**

МОСКВА  
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»  
1991

**ББК 84Р7  
И 86**

**И 4702010201—143 Подписное  
078(02)—91**

**© Искандер Ф. А.,  
1991 г.**

**ISBN 5-235-01497-9 (т. 1)  
ISBN 5-235-01498-7**

## РУССКАЯ ПРОЗА ЧЕГЕМСКОГО МУДРЕЦА ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА

Проза Фазиля Искандера, одного из крупнейших советских писателей второй половины XX века, — явление в современной русской литературе совершенно особое. И вместе с тем — глубоко для нее характерное. Она вполне определилась и выявилась в этом своем почти парадоксальном качестве уже в семидесятые годы. Однако духовные истоки ее уходят в более раннюю историческую почву — в пятидесятые и шестидесятые годы, в детскую и юношескую судьбу Искандера, в духовную эволюцию, проделанную им в молодости.

Фазиль Искандер родился 6 марта 1929 года в Абхазии, в городе Сухуми. Отец его, перс по происхождению, был в 1938 году депортирован в Иран, где попал на каторгу и умер в 1957 году, и Ф. Искандер воспитывался среди родственников со стороны матери, абхазки, учась в сухумской русской школе, а лето проводя обычно у родных, в горах. В 1948 году, кончив школу с золотой медалью, он отправился в Москву, где поступил сначала в Библиотечный, а затем в Литературный институт, по завершении учебы в котором (в 1954 году) несколько лет работал в газетах Брянска и Курска, потом на родине, в Сухуми, в местном издательстве, и, наконец, в 1962 году окончательно перебрался в Москву.

Печататься Искандер начал как поэт — первая его поэтическая публикация состоялась еще в 1953 году, первый сборник стихов («Горные тропы») вышел в Абхазии в 1957 году, после чего Искандер был принят в Союз писателей СССР; а затем, в последующие годы, появилось еще несколько его поэтических сборников, неизменно встречавших у критики самый благожелательный прием. Тем не менее при всех несомненных достоинствах лучших стихов Искандера, отличающихся своеобразной энергией тяжелой, типично искандеровской философической

медитативности и, конечно же, очень важных для понимания его духовного мира, они все же не стали новым словом в русской поэзии, и не случайно он вошел в историю современной отечественной литературы (и останется в ней) именно как прозаик.

Прозу Ф. Искандер начал писать тоже еще в 50-е годы (первый его рассказ был напечатан в 1956 году). Однако известность, даже слава, пришла к нему только через десять лет, с публикацией повести «Созвездие Козлотура» (1966), напечатанной в «Новом мире» А. Твардовского — главном органе того широкого демократического общественно-культурного движения, которое возникло в стране после знаменитого антисталинского XX съезда партии и в духовной атмосфере которого, подобно многим и многим литературным своим сверстникам, формировался в первое десятилетие своего творческого пути и Ф. Искандер.

Это движение, создавшее целую новую литературу, театр и кино так называемой «хрущевской оттепели», вдохновлялось искренними и страстными надеждами на кардинальное обновление всей жизни страны — социальной, политической, экономической, духовной. Но в тот период надежды эти у большинства его участников были еще неотделимы от веры в возможность построения «постоящего», очищенного от «искажений» сталинизма социализма, и недаром Булат Окуджава, выражая идеалы и чувства своего поколения, вел тогдашнюю свою духовную родословную от «комиссаров в пыльных племах», и Фазиль Искандер тоже числил себя в «наследниках великих революций».

Именно в этой атмосфере и был рожден — и только в ней и мог родиться — искандеровский «Козлотур», — эта злая и вместе с тем веселая повесть о том, как из подхалимства перед неким высоким лицом была начата в Абхазии шумная кампания по выведению новой гибридной породы козлотуров, призванная, подобно знаменитой хрущевской кампании по внедрению кукурузы, произвести чуть ли не переворот в сельском хозяйстве страны, но кончившаяся, понятно, полным крахом — по той естественной, и, увы, непреодолимой причине, что полученный в результате опытов козлотур наотрез отказался выполнять намеченную дальше программу и совокупляться с козами....

В этой повести было уже многое из того, что позднее составило славу зрелой прозы Искандера 70—80-х годов.

Здесь была уже и та мощная лепка характеров, неиссякаемый дар которой породил позднее такое изобилие персонажей его чегемского цикла, и терпкий иронический настой той особой исхандеровской интонации, свободно перемещающейся от ядовитого сарказма до летучего смешного словца, которая уже тогда поражала столь редкостной отточенностью своего стиливого закрепления, что даже Твардовский, весьма подозрительный ко всяческой юмористике, признал повесть написанной рукой настоящего мастера. Был, наконец, здесь уже и тот пронзительный лиризм образов абхазского детства писателя, который уже тогда таил за собою страстную жажду Искандера сохранить в себе детскую веру в разумность мира и в здравый смысл, «ибо эта вера поддерживает истинную страсть в борьбе с безумием жестокости и глупости...».

Но, во-первых, все было еще тогда не самоценно, но подчинено совершенно определенной задаче — задаче прямого сатирического изображения и обличения некоей идиотической социальной реальности, через которую обнаруживалась вся маразматическая пустопорожность системы, основанной на идеологии приказа, демагогии и показухе. А эта задача, которая никогда уже больше в дальнейшем не структурировала собою прозу Искандера, и была характерна именно для шестидесятых годов с их духом исторического оптимизма и страстной гражданской активности, пафос которой пронизывал собою все тогдашнее искусство, более всего и занятое именно художественным преследованием и духовным преодолением той общественной мертвечины, что мешала обновлению страны и все еще казалась тогда — при всех сбоях и откатах хрущевского либерализма — доступной искоренению. Во-вторых же, по этой же причине, как ни ядовита была исхандеровская сатира, в ней не было еще ни призвука усталости, горечи, тем более отчаяния, типичных для более поздней его прозы. Напротив, «истинная страсть в борьбе с безумием», владевшая автором повести, которая явилась наиболее полным и ярким художественным исповеданием его тогдашнего мировидения и мироощущения, была еще страстью веселой, жизнерадостной — той, какая и возможна лишь в ситуации, когда не утрачена еще вера в реальную возможность победы над осмеиваемым злом.

Однако после вторжения в Чехословакию в августе 1968 года со всякими надеждами не только на близкие перемены к лучшему, но и вообще на способность существовавшей в стране системы к решительному обновлению

и оздоровлению было очень быстро закончено. Поколение Ф. Искандера оказалось в совершенно новой духовной ситуации, в чем-то очень сходной с той, которая породила в свое время на Западе великую литературу так называемого «потерянного поколения». Духовный мир этого поколения возник, как известно, в результате катастрофического разочарования западной интеллигенции в идее исторического прогресса и в ценностях официальной гуманистической морали западных обществ, якобы гарантировавшей такой прогресс, но взорванной апокалипсическим безумием первой мировой войны. Вот что-то подобное такому же духовному повороту, заставившему отбросить привычку к социально-гражданской ориентации в окружающем мире и искать духовную опору в каких-то более глубинных ценностях экзистенциального порядка, в личном нравственном выборе, произошло и в России конца 60-х — начала 70-х годов, когда актуальными стали уже заботы не о том, как изменить и улучшить общество, а как в нем духовно выстоять, как остаться человеком в этом мире всеобщего социального безумия, фальши и зла. Так в русской литературе появилось свое «потерянное поколение» — новый Ю. Трифонов, скептик и pessimист, утвердившийся на позициях совершенно безнадежного, в сущности, этического стоицизма; новый Б. Окуджава, в своих песенках и романах ставший воспевать теперь (в духе В. Розанова) безусловный приоритет «частной жизни» с ее теплотой и простыми человеческими отношениями и радостями перед всякой «политикой»; новый А. Гитов, который свой оазис, где человек может свободно и чисто дышать, находит теперь уже чуть ли не в одном лишь погружении в мир культуры; «деревенские» прозаики «второго призыва» (В. Белов, В. Распутин и др.), обратившиеся в той же жажде к уходящему миру русской народной нравственности; В. Шукшин, В. Маканин, М. Роштин и многие другие — целая плеяда талантов, творчество которых, при индивидуальной неповторимости и своеобразии каждого, развивалось все-таки в некоем общем духовном пространстве, образовавшемся в результате разочаровывающих сдвигов в системе недавнего гражданского активизма и обращения к поискам иных, более надежных, нравственно-экзистенциальных прежде всего опор и ценностей человеческого бытия.

Ф. Искандер принадлежит, несомненно, именно к этой плеяде писателей 70—80-х годов. Но ему в известном смысле повезло больше, чем, скажем, странникам за жи-

вой водой русской народности, родники которой оказались настолько уже захлаплены, если не просто раздавлены гусеницами колхозной советской «цивилизации», что припадать оставалось по большей части разве лишь к прошлому или к собственноручно творимым мифам. Ф. Искандер нашел пристанище для своего духа и своей прозы на более скромной, но и менее поврежденной, все еще живой почве своей маленькой горной Абхазии, где реально, не только в живой памяти его детства, все еще продолжал существовать мир традиционных нравственных устоев упрямого горного народа, чудом сохранившийся посреди бушующего на просторах страны организованного коммунистического хаоса. Наверное, в значительной степени именно этим и можно объяснить тот очевидный факт, что проза Ф. Искандера подарила нам такое множество ярких, живых, колоритных народных абхазских характеров, какого не наберешь, пожалуй, со страниц всей нашей русской деревенской прозы 70—80-х годов. Более 30 лет эта почва питала собою, не иссякая, творчество Искандера, и за это время он создал многие десятки крупных и менее крупных рассказов и повестей, действие и персонажи которых, свободно переходящие из одного текста в другой, так или иначе прикреплены либо к не существующему на карте Абхазии, но абсолютно реальному горному селу Чегем, либо к такому же вымышленному приморскому Мухусу (в обратном прочтении — вполне реальному Сухуму), который, в свою очередь, торной дорогой происходящих в нем событий и живущих в нем героев опять-таки неразрывно соединен с Чегемом.

Эта география искандеровской прозы способствовала вычленению и закреплению двух основных ее циклов, один из которых связан мухусским детством автора-рассказчика или часто заменяющего его собою мальчика Чика («Ночь и день Чика», «Чаепитие и любовь к морю», «Защита Чика», «Возмездие» и др.), а из большей части второго, собственно чегемского, составила в конце концов главная книга Искандера, названная им романом, — двухтомный «Сандро из Чегема».

Однако автор недаром допускает возможность какого-то соединения в будущем этих двух циклов в одно целое: его чегемско-мухусская панорама, обнимающая собою практически почти всю прозу Искандера, — это, конечно же, один и тот же, единый мир.

И это действительно целый мир — огромное количество персонажей, десятки которых вылеплены на уровне

подлинных художественных характеров, объемных, ярких, врезающихся в память; десятки, если не сотни самых разных семейных, бытовых, гражданских и прочих историй, прошлое и настоящее, горы и побережье, — поистине целая страна, созданная и населенная Искандером, — страна, сравнение которой с фолкнеровской Йокнапатофой стало в советской критике уже трюизмом. Это дает нередко повод предполагать, что Ф. Искандер стремится к полному и всестороннему охвату абхазской жизни, пишет эпос Абхазии. Тем более что он и сам в предисловии к «Сандро» как будто бы свидетельствует, что «канва замысла» романа была именно такова: «история рода, история села Чегем, история Абхазии и весь остальной мир, как он видится с чегемских высот».

Однако абхазский «эпос» Искандера вряд ли объяснит вам, как и почему могли произойти, например, те трагические столкновения между абхазами и грузинами, которые стали едва ли не главным событием абхазской истории последних лет. Абхазия Искандера — это, конечно, совершенно реальная, живая, подлинная Абхазия. Но, как это давно уже опять-таки понято более проникательными читателями и критиками Искандера, это все-таки Абхазия особая, выборочная. Это история рода, села, страны, высвеченная лишь с одного, так сказать, бока, ибо, чего бы ни касался Искандер — настоящего, прошлого, быта, обычаев, случаев из жизни или исторических происшествий, — во всем этом его интересует всегда, в сущности, только одно — то сокровенное духовное вещество традиционной народной нравственности, присутствие которого в душе абхазца и открывает дорогу в его жизнь благородству, достоинству, порядочности, справедливости, верности, доброте, правде — всему тому, чего так мало в «этом мире, забывшем о долге, о чести, о совести» и из-за чего, как сам же Искандер и говорит, и стоит возвращаться в Чегем. Дабы — «отдышаться». «Собственно, — поясняет он, — это и было моей литературной сверхзадачей: взбодрить своих приунывших соотечественников», которым «было от чего приуныть».

Вот всякий живой образ, даже след или мимолетный знак этой народной нравственности, все еще сопротивляющейся «грязному релятивизму цивилизации», и стремится Ф. Искандер схватить, запечатлеть, закрепить в своей чегемской прозе, «опорными, стягивающими к себе изнутри весь ее массив центрами которой и являются поэтому прежде всего образы таких полнокровных и очень разных



выразителей народной жизни, как старый благородный Хабуг, патриарх и совесть многочисленного рода, как сын его бригадир Кязым, человек такой «необычайной духовной значительности», что даже «в городском застолье, среди малознакомых людей» казался «переодетым королем Лиром среди убогих мещан», как старый крестьянин Шаабан Ларба, по прозвищу Колчерукий, насмешник, труженик и балагур, который «всю жизнь украшал землю весельем и трудом», или старая седая женщина, мать повествователя, которая всю жизнь «вела свою маленькую великую войну с хаосом эгоизма, отчуждения, осквернения святыни божьего дара — стыда»... Но и плутоватый, далеко не безупречный дядя Сандро, не случайно ставший центральной связующей сюжетной фигурой целого цикла рассказов и повестей, соединенных в роман, займет свое достойное место в этом запечатленном Искандером мире — благодаря тому не растроченному еще духовному здоровью, которое позволяет ему даже и в плутовстве сохранять покоряющую «полноту жеста»: ведь «мир, в котором еще осталась полнота жеста, может быть и сам, по чертежу этого жеста, восстановлен во всей его полноте»...

Вот почему все, что так или иначе стремится к такому «жесту», будь даже это грубый, но принадлежащий нравственно осмысленной полноте целого патриархальный обычай, диковатое язычество обряда или природная нелгущая самость какого-нибудь мула или буйвола, Ф. Искандер непременно бережно занесет на страницы своей чегемской мистерии жизни. И вот почему организующий принцип повествования в искандеровских циклах — это вовсе не сюжет, а свободное нанизывание все новых и новых образов и свидетельств этой полноты, как бы подгоняемое непреходящей жаждой еще и еще раз удостовериться — вот же он, этот мир, в котором и вправду можно «отдышаться»; он не фикция, он действительно существует, вот тому еще, еще и еще подтверждение!..

Отметим кстати, что это стремление прозы Искандера неостановимо расширяться делает ее уязвимой для справедливых упреков в повторяемости. Но, с другой стороны, она ведь и не рассчитана на то, чтобы читать ее подряд, как сюжетную книгу. Ее, возникающую из жажды живой родниковой воды бытия, и нужно пить глотками как родниковую воду, припадая к ней, только когда возникает в ней потребность и жажда...

То, что основным, глубинным стремлением искандеровской прозы является именно стремление найти воз-

можность «отдышаться» и что это напрямую связано именно с проблематикой русского «потерянного поколения», подтверждает и цикл повестей и рассказов о Чике, где детство героя тоже воссоздается художественной памятью Искандера как оазис неиспорченного нравственного чувства и здравого смысла и где основной темой и становится как раз нравственное формирование юной души, обступаемой со всех сторон «гнусным релятивизмом» коммунистической «цивилизации», которой она сопротивляется всей своей природной чистотой, укрепляемой мощной поддержкой Чегема. Это же подтверждают и редкие выходы искандеровской прозы за пределы собственно чегемско-мухусского цикла — философская сказка «Кроlickи и удавы» и две повести из жизни современных городских интеллигентов — «Морской скорпион» и «Стоянка человека». Все эти вещи значительно бледнее, на мой взгляд, основных повестей и рассказов Искандера, где он, по-видимому, до сих пор только и чувствует себя по-настоящему в своей стихии. Но характерно, что и современные горджане Искандера заняты в своей жизни теми же самыми проблемами, которыми занят их создатель в своей абхазской прозе. И это лишний раз показывает, насколько точен был Искандер, сказавший в ответ на вопрос о том, каким писателем он себя считает — русским или абхазским: «Я русский писатель, но певец Абхазии». Потому и «певец Абхазии», что «русский писатель», духовно созревший в духовном поединке с проблемами, вставшими перед тем «потерянным поколением», которое не случайно и сложилось именно в русской прежде всего литературе.

В этом одновременно и характерность его прозы для русской литературы как одного из представителей самого значительного в ней течения 70—80-х годов, и ее уникальность: никто другой из русских писателей не оснащал духовную проблематику русского «потерянного поколения» на материале образов, взятых не из русской жизни.

В этом же — и ключ к пониманию действительной жанровой природы его русской абхазской прозы.

Да, наверное, ее можно назвать, в конце концов, и эпосом. Хотя и не тем, социально-историческим, что более привычен для современной прозы, а скорее бытийным — эпосом некоего народного нравственного космоса, воплощенного в живой органике народной жизни. Недаром так характерно для этого космоса в изображении Искандера всегдашнее не акцентированное, но ощутимо обязательное присутствие в нем некоего высшего начала, некоего абсо-

лютного божественного центра, без которого нравственно-духовная ориентация автора в изображаемом им мире была бы просто невозможна. Ибо, как он сам же говорит, «с годами я понял, что такая хрупкая вещь, как человеческая жизнь, может иметь достойный смысл, только связавшись с чем-то безусловно прочным, не зависящим ни от каких случайностей», — «с несокрушимой Прочностью, с вечной Твердью». Это действительно характерно для эпоса.

И все же мне представляется гораздо более содержательным и удачным то соотнесение прозы Искандера с жанром *мениппеи* (в трактовке М. Бахтина), которое предпринимает, в частности, в своей книге о Ф. Искандере («Смех против страха, или Фазиль Искандер». М., СП, 1990) Наталья Иванова. Введение прозы Искандера в русло этой древнейшей традиции, возникшей на ироническом смешении и смещении всех жанров, свободно вбирающей в себя самые разнородные элементы и настоящей на глубинном философическом юморе, более всего, на мой взгляд, соответствует самому характеру искандеровской повествовательности, никогда не попадающей в рабскую зависимость от сюжета и вообще подчиненной в своем движении не стержневому сюжетному началу, а принципу свободного перемещения по ассоциативным связям свободно образующегося повествовательного цикла, запросто обрастающей по ходу своего разворачивания массой попутных вставных новелл и историй, легко перебрасывающейся от образа к рассуждению — и наоборот.

Введение прозы Искандера в контекст мениппейной жанровой традиции точнее схватывает и тот важный момент, что народная жизнь Абхазии поэтизируется автором не самозначимо, а, как уже сказано, в постоянном и напряженном соотнесении с той чудовищной, выморочной социальной реальностью, которая ее окружает. «Однажды один бывший работник КГБ простодушно рассказал мне, — вспоминает Ф. Искандер в «Стоянке человека», — что в послевоенные времена ему в недрах его учреждения попала некая статистическая диаграмма, что ли, где демонстрировались сравнительные данные вербовки населения по национальному признаку. Из его рассказа совершенно отчетливо прослеживалось угасание силы сопротивления по мере угасания патриархальности народа. Сам он даже отдаленно не подозревал такого признака, только рассказал, что помнил. Признак патриархальности заметил я». Вот эта постоянная «вербовка» народа обступающей его со всех сторон бесчеловечной социальностью как и

сопротивление такой «вербовке» со стороны «патриархальности», мотивирующее Искандеровскую к ней внимательность и любовь, неизменно образуют как бы главное силовое поле его прозы, задают ее содержательные параметры, структурируют ее содержательное наполнение. Правда, эта социальная реальность ни разу после «Козлотура» не становится у Искандера непосредственным, прямым предметом специального изображения. Но постоянным фоном отдельных отсылов, эпизодов, иногда даже целых историй, взятых опять-таки, как уже сказано, прежде всего со стороны нравственного, морального ее сопоставления с народным космосом, она проходит через всю чегемско-мухусскую прозу Искандера. Наиболее, может быть, яркий и выразительный тому пример — замечательные главы о Сталине в «Сандро из Чегема», где, кстати, образ Сталина потому и получился во всей своей дьявольской чудовищности таким реальным, живым, вещественно достоверным, лишенным даже малейшего налета той схематичности, которая присутствует в его сатирическом портрете даже у Солженицына, что Искандер берет эту фигуру именно в таком, непосредственно человеческом, житейско-нравственном соотношении ее с миром народной духовности.

Но главное — эта социальная реальность, нашедшая столь мощное свое пластическое воплощение и символизацию в образе человека, концентрирующего в себе, всю ее дьявольскую человечески-бесчеловечную суть, присутствует всегда в прозе Искандера и тем незримым фоном, с которым постоянно соотносится изображаемый им мир народной жизни и который фиксируется в самом слове Искандера, как раз и осуществляющем это постоянное соотношение, держащем собою главное силовое натяжение его прозы.

Отсюда — и специфическое качество искандеровского слова, главная, может быть, особенность которого состоит в том, что это слово, в сущности, вовсе не повествовательное, не «эпическое». Или, по крайней мере, отнюдь не только повествовательное. Перед нами проза прежде всего интеллектуальная, медитативная, именно энергией этой медитативности и обращенная к постоянному сопоставлению тех двух реальностей, духовное противостояние которых образует собою внутренний остов искандеровского искусства. Это проза художника-философа, художника-мудреца, размышляющего о нашем мире и потому и не желающего выпускать из орбиты своего личного отношения, своей интерпретации ни одной реалии, о которой он нам рас-

сказывает, потому и насыщающего постоянно таким личным своим отношением и интерпретационным звучанием любое свое слово, даже как будто бы чисто изобразительное, «эпическое». Это лиро-эпическая медитативная проза того особого качества, которым она как раз и примыкает плотнее всего именно к мениппейной традиции.

Но отсюда же — и особенности знаменитого исскандеровского юмора, у которого двойные истоки и двойная природа. С одной стороны, это органический, глубинный юмор абхазской народной мудрости, которая, как всякая мудрость, не может не обладать склонностью к насмешливости, ибо юмор — неперемное условие мудрости, и способность смотреть на мир и себя с дистанции иронической отстраненности входит в сам состав, в самую структуру человеческой истины. В своей прозе Ф. Искандер не просто передает и изображает живое бытие этой насмешливой народной мудрости в речах и поступках своих персонажей, в их неторопливых беседах и темпераментных спорах. Он вбирает, впитывает этот народный юмор в собственную свою речь вместе с самой той манерой видеть мир и относиться к нему, которая типична для его народа и неотделима от его духовного, нравственного облика. Поэтому-то его авторская речь так и неотличима порой по качеству своего юмора от лукаво-насмешливой речи его любимых чегемцев, которых Бог одарил когда-то чувством юмора, чтобы, как предполагает Искандер, научить их обходить в шуточной форме все суровые табу языческого домостроя...

С другой стороны, юмор Искандера — это юмор современной размышляющей мудрости, юмор его собственной, постоянно работающей, все осматривающей мысли — в том числе и юмор над юмором, ирония над иронией. Это создает удивительную многослойность исскандеровского смеха, отличающегося своеобразным тяжеловатым изяществом мастерского умения говорить уморительнейшие вещи без малейшей тени улыбки, совершенно серьезным тоном, постепенно развертывая какое-нибудь неторопливое философическое рассуждение, делающее, как характеризует свою манеру сам Искандер, из мухи слопа и полное скрытой издевки, язвительности или светлого лукавства. Впрочем, всегда, даже в минуты полной, казалось бы, жизнерадостности и веселости, исскандеровский юмор таит в себе на самом деле в последней глубине своей некую печаль, даже горечь — как память о трагизме того неизбежного натяжения, на осознании которого эта проза строится и который присутствует как бы в самом веществе иссканде-

ровского смеха. Это качество подлинно философского, глубинного юмора, который потому-то и являет себя в прозе Искандера по преимуществу не как юмор положенный, а как юмор авторского лиризма, авторской философической медитации.

В заключение не могу не отметить, что в последние годы в прозе Искандера становится все меньше светлой веселости, она приобретает все более горький, печальный характер. Связано ли это с тем, что старый патриархальный чегемский мир, так долго державший собою прозу Искандера, все-таки тоже начинает уже, как признает это и сам Искандер, уходить в прошлое? Недаром все чаще появляются среди его абхазских персонажей проститутки, наркоманы, мафиози, просто подонки. И недаром приходится ему с такой горечью констатировать, что уже не реальный Чегем, а разве лишь тот, что остался в его голове, продолжает выполнять роль последнего бастиона защиты народной нравственности от «цивилизации»: «В бастионе моей головы последняя дюжина чегемцев (кажется, только там она и осталась) защищает ее от лезущей во все щели нечисти...» Или дело тут в неотклонимом действии того общего закона, по которому чем мудрее становится человек, тем больше печали в его взгляде на мир, на людей, на себя?.. И вот приходится уже с горечью признавать: «Я всю силу своего ума тратил на изучение удавов, но о том, что сами братья-кролики еще не подготовлены жить правдой, я не знал...» И давать волю отчаянию: «О, хроническая нечистоплотность человеческого племени!..» И даже мрачно подытоживать, что, пожалуй, «любовь к истине в этой жизни слишком часто бывает несовместимой с самой жизнью...».

Но так или иначе, а гротескный реализм Искандера и в самом деле все отчетливее приобретает черты реализма почти апокалипсического.

Куда приведет эта эволюция? В какие новые художественные измерения выведет она его прозу?

Это покажет, конечно, только время. Но одно можно сказать заранее и уверенно: даже если из его прозы Чегем уйдет уже совсем, чегемская мудрость русского писателя Фазиля Искандера никогда его не покинет. Она навсегда останется его истинным, неоценимым достоянием.

И нашим — тоже.

Игорь ВИНОГРАДОВ



---

---

**ПРАЗДНИК ОЖИДАНИЯ.  
ПРАЗДНИКА**

## Начало

Поговорим просто так. Поговорим о вещах необязательных и потому приятных. Поговорим о забавных свойствах человеческой природы, воплощенной в наших знакомых. Нет большего наслаждения, как говорить о некоторых странных привычках наших знакомых. Ведь мы об этом говорим, как бы прислушиваясь к собственной здоровой нормальности, и в то же время подразумеваем, что и мы могли бы позволить себе такого рода отклонения, но не хотим, нам это ни к чему. А может, все-таки хотим?

Одно из забавных свойств человеческой природы заключается в том, что каждый человек стремится доигрывать собственный образ, навязанный ему окружающими людьми. Иной пищит, а доигрывает.

Если, скажем, окружающие захотели увидеть в тебе исполнительного мула, сколько ни сопротивляйся, ничего не получится. Своим сопротивлением ты, наоборот, закрепнешься в этом звании. Вместо простого исполнительного мула ты превратишься в упорствующего или даже озлобленного мула.

Правда, в отдельных случаях человеку удается навязать окружающим свой желательный образ. Чаще всего это удается людям много, но систематически пьющим.

Какой, говорят, хороший был бы человек, если б не пил. Про одного моего знакомого так и говорят: мол, талантливый инженер человеческих душ, губит вином свой талант. Попробуй вслух сказать, что он, во-первых, не инженер, а техник человеческих душ, а во-вторых, кто видел его талант? Не скажешь, потому что неблагородно получается. Человек и так пьет, а ты еще осложняешь ему жизнь всякими кляузками. Если пьющему не можешь помочь, то, по крайней мере, не мешай ему.

Но все-таки человек доигрывает тот образ, который навязан ему окружающими людьми. Вот пример.

Однажды, когда я учился в школе, мы всем классом работали на одном приморском пустыре, стараясь превратить его в место для культурного отдыха. Как это ни странно, в самом деле превратили.

Мы засадили пустырь эвкалиптовыми саженцами пе-



редовым для того времени методом гнездовой посадки. Правда, когда саженцев оставалось мало, а на пустыре было еще достаточно свободного места, мы стали сажать по одному саженцу в ямку, таким образом давая возможность новому, прогрессивному методу и старому проявить себя в свободном соревновании.

Через несколько лет на пустыре выросла прекрасная эвкалиптовая роща, и уже никак невозможно было различить, где гнездовые посадки, а где одиночные. Тогда говорили, что одиночные саженцы в непосредственной близости от гнездовых, завидуя им Хорошей Завистью, подтягиваются и растут не отставая.

Так или иначе, сейчас, приезжая в родной город, я иногда в жару отдыхаю под нашими, теперь огромными, деревьями и чувствую себя Вволнованным Патриархом. Вообще эвкалипт очень быстро растет, и каждый, кто хочет чувствовать себя Вволнованным Патриархом, может посадить эвкалипт и дожидаться его высокой, позвякивающей, как елочные игрушки, кроны.

Но дело не в этом. Дело в том, что в тот давний день, когда мы возделывали пустырь, один из ребят обратил внимание остальных на то, как я держу носилки, на которых мы перетаскивали землю. Военрук, присматривавший за нами, тоже обратил внимание на то, как я держу носилки. Все обратили внимание на то, как я держу носилки. Надо было найти повод для веселья, и повод был найден. Оказалось, что я держу носилки как Отъявленный Лентяй.

Это был первый кристалл, выпавший из раствора, и дальше уже шел деловитый процесс кристаллизации, которому я теперь сам помогал, чтобы окончательно докристаллизоваться в заданном направлении.

Теперь все работало на образ. Если я на контрольной по математике сидел, никому не мешая, спокойно дожидаясь, покамест мой товарищ решит задачу, то все приписывали этой моей лени, а не тупости. Естественно, я не пытался в этом кого-нибудь разуверить. Когда же я по русскому письменному писал прямо из головы, не пользуясь учебниками и шпаргалками, это тем более служило доказательством моей неисправимой лени.

Чтобы оставаться в образе, я перестал исполнять обязанности дежурного. К этому привыкли настолько, что, когда кто-нибудь из учеников забывал выполнять обязанности дежурного, учителя под одобрительный шум класса заставляли меня стирать с доски или тащить в

класс физические приборы. Впрочем, приборов тогда не было, но кое-что тащить приходилось.

Развитие образа привело к тому, что я вынужден был перестать делать домашние уроки. При этом, чтобы сохранить остроту положения, я должен был достаточно хорошо учиться.

По этой причине я каждый день, как только начиналось объяснение материала по гуманитарным предметам, ложился на парту и делал вид, что дремлю. Если учителя возмущались моей позой, я говорил, что заболел, но не хочу пропускать занятий, чтобы не отстать. Лежа на парте, я внимательно слушал голос учителя, не отвлекаясь на обычные шалости, и старался запомнить все, что он говорит. После объяснения нового материала, если оставалось время, я вызывался отвечать в счет будущего урока.

Учителей это радовало, потому что льстило их педагогическому самолюбию. Получалось, что они так хорошо и доходчиво доносят свой предмет, что ученики, даже не пользуясь учебниками, все усваивают.

Учитель ставил мне в журнал хорошую оценку, звенел звонок, и все были довольны. И никто, кроме меня, не знал, что только что зафиксированные знания рушатся из моей головы, как рушится штанга из рук штангиста после того, как прозвучит судейское: «Вес взят!»

Для полной точности надо сказать, что иногда, когда я, делая вид, что дремлю, лежал на парте, я и в самом деле погружался в дремоту, хотя голос учителя продолжал слышать. Гораздо позже я узнал, что таким, или почти таким, методом изучают языки. Я думаю, не будет выглядеть слишком нескромным, если я сейчас скажу, что открытие его принадлежит мне. О случаях полного засыпания я не говорю, потому что они были редки.

Через некоторое время слухи об Отъявленном Лентяе дошли до директора школы, и он почему-то решил, что это именно я стащил подзорную трубу, которая полгода назад исчезла из географического кабинета. Не знаю, почему он так решил. Возможно, сама идея хотя бы зрительного сокращения расстояния, решил он, больше всего могла соблазнить лентяя. Другого объяснения я не нахожу. К счастью, подзорную трубу отыскали, но ко мне продолжали присматриваться, почему-то ожидая, что я собираюсь выкинуть какой-нибудь фокус. Вскоре выяснилось, что никаких фокусов я не собираюсь выкидывать, что я, напротив, очень послушный и добросовест-

ный лентяй. Более того, будучи лентяем, я вполне прилично учился.

Тогда ко мне решили применить метод массированного воспитания, модный в те годы. Суть его заключалась в том, что все учителя неожиданно наваливались на одного нерадивого ученика и, пользуясь его растерянностью, доводили его успеваемость до образцово-показательного блеска.

Идея метода заключалась в том, что после этого другие нерадивые ученики, завидуя ему Хорошей Завистью, будут сами подтягиваться до его уровня, как одиночные посадки эвкалиптов.

Эффект достигался неожиданностью массированного нападения. В противном случае ученик мог ускользнуть или испакостить сам метод.

Как правило, опыт удавался. Не успевала мала куча, образованная массированным нападением, рассосаться, как преобразованный ученик стоял среди лучших, нагло улыбаясь смущенной улыбкой обесчещенного.

В этом случае учителя, завидуя друг другу, может быть, не слишком Хорошей Завистью, ревниво по журналу следили, как он повышает успеваемость, и уж, конечно, каждый старался, чтобы кривая успеваемости на отрезке его предмета не нарушала победную крутизну.

То ли на меня навалились слишком дружно, то ли забыли мой собственный приличный уровень, но, когда стали подводить итоги опыта работы надо мной, выяснилось, что меня довели до уровня кандидата в медалисты.

— На серебряную потянешь, — однажды объявила классная руководительница, тревожно заглядывая мне в глаза.

Это была маленькая, самолюбивая каста неприкасаемых. Даже учителя слегка побаивались кандидатов в медалисты. Они были призваны защищать честь школы. Замахнуться на кандидата в медалисты было все равно что подставить под удар честь школы.

Каждый из кандидатов в свое время собственными силами добивался выдающихся успехов по какому-нибудь из основных предметов, а уже по остальным его дотягивали до нужного уровня. Включение меня в кандидаты было пока еще тихим триумфом метода массированного воспитания.

На выпускных экзаменах к нам были приставлены наиболее толковые учителя. Они подходили к нам и часто под видом разъяснения содержания билета тихо и

сжато рассказывали содержание ответа. Это было как раз то, что нужно. Спринтерская усвояемость, отшлифованная во время исполнения роли Отъявленного Лентяя, помогала мне точно донести до стола комиссии благотворительный шепоток подстраховывающего преподавателя. Мне оставалось включить звук на полную мощность, что я и делал с неподдельным вдохновением.

Кончилось все это тем, что я вместо запланированной на меня серебряной медали получил золотую, потому что один из кандидатов на золотую по дороге сорвался и отстал.

Он был и в самом деле очень сильным учеником, по ему никак не давались сочинения и у него была слишком настырная мать. Она была членом родительского комитета и всем надоела своими вздорными предложениями, которые никто не принимал, но все выпущены были обсуждать. Она даже внесла предложение кормить кандидатов усиленными завтраками, но члены родительского комитета своим демократическим большинством отвергли ее вредное предложение.

Так вот мальчик этот, готовясь к первому экзамену, составил, чтобы избежать всякой случайности, двадцать сочинений на наиболее возможные темы по русской литературе. Каждое сочинение он сшил в микроскопический томик с эпиграфом и библиографическим знаком на обложке, чтобы не запутаться. Двадцать лилипутских томов можно было сжать в ладони одной руки.

Он успешно написал свое сочинение, но, видно, переутомился. На следующих экзаменах он хотя и правильно отвечал, но говорил слишком тихим голосом, а главное, задумывался и, что уже совсем непростительно, вдруг возвращался к сказанному, уточняя формулировки уже после того, как экзаменатор кивнул головой в знак согласия.

Когда экзаменатор или, скажем, начальник кивает тебе головой в знак согласия с тем, что ты ему говоришь, так уж, будь добр, валяй дальше, а не возвращайся к сказанному, потому что ты этим самым ставишь его в какое-то не вполне красивое положение.

Получается, что экзаменатору первый раз и не надо было кивать головой, а надо было дождаться, пока ты уточнишь то, что сам же высказал. Так ведь не всегда уточняешь. Некоторые могли даже подумать, что, кивнув в первый раз, экзаменатор или начальник не подозревали, что эту же мысль можно еще точнее передать, или

даже могли подумать, что в этом есть какая-то беспринципность: мол, и там кивает и тут кивает.

Сам не замечая того, он оскорблял комиссию, как бы снисходил до нее своими ответами.

В конце концов было решено, что он зазнался за время своего долгого пребывания в кандидатах, и на двух последних экзаменах ему на балл снизили оценки.

Вместо него я получил золотую медаль и зонтиком по шее от его мамы на выпускном вечере. Вернее, не на самом вечере, а перед вечером в раздевалке.

— Негодяй, притворявшийся лентяем! — сказала она, увидев меня в раздевалке и одергивая зонтик.

Мне бы промолчать или, по крайней мере, потерпеть, пока она повесит свой вонючий зонтик.

— Все же он получает серебряную, — сказал я, чувствуя, что мое утешение должно ее раздражать, и, может, именно поэтому утешая.

— Мне серебро даром не надо, — прошипела она и, неожиданно вытянув руку, несколько раз мазнула мне по шее мокрым зонтиком. — Я три года проторчала в комитете!

Она это сделала с такой злостью, словно то, что она мазнула мне по шее зонтиком, ничего не стоит, что, в сущности, шею мою надо было бы перепилить.

— А я вас просил торчать? — только и успел я сказать. Слава богу, из ребят никто ничего не заметил. Но все равно было обидно. Особенно было обидно, что он был мокрый. Если б сухой, не так было бы обидно.

В тот же год я поехал учиться в Москву, а самую медаль, которую я еще не видел, через несколько месяцев принесли маме прямо на работу. Она показала ее знакомому зубному технику, чтобы убедиться в подлинности золота.

— Сказал, настоящее, если он не заодно с ними, — рассказывала она мне на следующий год, когда я приехал на каникулы.

Так, доигрывая навязанный мне образ Отъявленного Лентяя, я пришел к золотой медали, хотя и получил мокрым зонтом по шее.

И вот с аттестатом, зашитым в кармане вместе с деньгами, я сел в поезд и поехал в Москву. В те годы поезда из наших краев шли до Москвы трое суток, так что времени для выбора своей будущей профессии было достаточно, и я остановился на философском факультете уни-

верситета. Возможно, выбор определило следующее обстоятельство.

Года за два до этого я обменялся с одним мальчиком книгами. Я ему дал «Приключения Шерлока Холмса» Конан Дойла, а он мне — один из разрозненных томов Гегеля, «Лекции по эстетике». Я уже знал, что Гегель — философ и гений, а это в те далекие времена было для меня достаточно солидной рекомендацией.

Так как я тогда еще не знал, что Гегель для чтения трудный автор, я читал, почти все понимая. Если попадались абзацы с длинными, непонятными словами, я их просто пропускал, потому что и без них было все понятно. Позже, учась в институте, я узнал, что у Гегеля, кроме рационального зерна, немало идеалистической шелухи разбросано по сочинениям. Я подумал, что абзацы, которые я пропускал, скорее всего и содержали эту шелуху.

Вообще я читал эту книгу, раскрывая на какой-нибудь стихотворной цитате. Я обчитывал вокруг нее некоторое пространство, стараясь держаться возле нее, как верблюд возле оазиса. Некоторые мысли его удивили меня высокой точностью попадания. Так, он назвал басню рабским жанром, что было похоже на правду, и я постарался это запомнить, чтобы в будущем по ошибке не написать басни.

Не испытывая никакого особого трепета, я пришел в университет на Моховой. Я поднялся по лестнице и, следуя указателям бумажных стрел, вошел в помещение, уставленное маленькими столиками, за которыми сидели разные люди, за некоторыми — довольно юные девушки. На каждом столике стоял плакатик с указанием факультета. У столиков толпились выпускники, томясь и медля перед сдачей документов. В зале стоял гул голосов и запах школьного пота.

За столиком с названием «Философский факультет» сидел довольно пожилой мужчина в белой рубашке с грозно закатанными рукавами. Никто не толпился возле этого столика, и тем безудержней я пересек это пространство, как бы выжженное философским скептицизмом.

Я подошел к столику. Человек, не шевелясь, посмотрел на меня.

— Откуда, юноша? — спросил он голосом, усталым от философских побед.

Примерно такой вопрос я ожидал и приступил к намеченному диалогу.

— Из Чегема, — сказал я, стараясь говорить правильно, но с акцентом. Я нарочно назвал дедушкино село, а не город, где мы жили, чтобы сильнее обрадовать его дремучеством происхождения. По моему мнению, университет, носящий имя Ломоносова, должен был особенно радоваться таким людям.

— Это что такое? — спросил он, едва заметным движением руки останавливая мою попытку положить на стол документы.

— Чегем — это высокогорное село в Абхазии, — доброжелательно разъяснил я.

Пока все шло по намеченному диалогу. Все, кроме радости по поводу моей дремучести. Но я решил не давать сбить себя с толку мнимой холодностью приема. Я ведь тоже преувеличил высокогорность Чегема, не такой уж он высокогорный, наш милый Чегемчик. Он с преувеличенной холодностью, я с преувеличенной высокогорностью; в конце концов, думал я, он не сможет долго скрывать радости при виде далекого гостя.

— Абхазия — это Аджария? — спросил он как-то рассеянно, потому что теперь сосредоточил внимание на моей руке, держащей документы, чтобы вовремя перехватить мою очередную попытку положить документы на стол.

— Абхазия — это Абхазия, — сказал я с достоинством, но не заносчиво. И снова сделал попытку вручить ему документы.

— А вы знаете, какой у нас конкурс? — снова остановил он меня вопросом.

— У меня медаль, — расплылся я и, не удержавшись, добавил: — Золотая.

— У нас медалистов тоже много, — сказал он и как-то засуетился, зашелестел бумагами, задвигал ящиками стола: то ли искал внушительный список медалистов, то ли просто пытался выиграть время. — А вы знаете, что у нас обучение только по-русски? — вдруг вспомнил он, бросив шелестеть бумагами.

— Я русскую школу окончил, — ответил я, незаметно убирая акцент. — Хотите, я вам прочту стихотворение?

— Так вам на филологический! — обрадовался он и кивнул: — Вон тот столик.

— Нет, — сказал я терпеливо, — мне на философский.

Человек погрузился, и я понял, что можно положить на стол документы.

— Ладно, читайте. — И он вяло потянулся к документам.

Я прочел стихи Брюсова, которого тогда любил за щедрость звуков.

Мне спилось: мертвенно-бессильный,  
Почти жилец земли могильной,  
Я глухо близился к концу.  
И бывший друг пришел к кровати  
И, бормоча слова проклятий,  
Меня ударил по лицу!

— И правильно сделал, — сказал он, подняв голову и посмотрев на меня.

— Почему? — спросил я, оглушенный собственным чтением и еще не понимая, о чем он говорит.

— Не заводите себе таких друзей, — сказал он не без юмора.

Все еще опьяненный своим чтением и самой картиной потрясающего коварства, я его не понял. Я растерялся, и, кажется, это ему понравилось.

— Пойду узнаю, — сказал он и, шлепнув мои документы на стол, поднялся, — кажется, на вашу нацию есть разнарядка.

Как только он скрылся, я взял свои документы и покинул университет. Я обиделся за стихи и разнарядку. Пожалуй, за разнарядку больше обиделся.

В тот же день я поступил в Библиотечный институт, который по дороге в Москву мне усиленно расхваливала одна девушка из моего вагона.

Если человек из университета все время давал мне знать, что я не дотягиваю до философского факультета, то здесь, наоборот, человек из приемной комиссии испуганно вертел мой аттестат как слишком крупную для этого института и потому подозрительную купюру. Он присматривался к остальным документам, заглядывал мне в глаза, как бы понимая и даже отчасти сочувствуя моему замыслу и прося, в ответ на его сочувствие, проявить встречное сочувствие и хотя бы немного раскрыть этот замысел. Я не раскрывал замысла, и человек куда-то вышел, потом вошел и, тяжело вздохнув, сел на место. Я мрачнел, чувствуя, что переплачиваю, но не знал, как и в каком виде можно получить разницу.

— Хорошо, вы приняты, — сказал мужчина, не то удрученный, что меня нельзя прямо сдать в милицию, не



то утешенный тем, что после моего ухода у него будет много времени для настоящей проверки документов.

Этот прекрасный институт в то время был не так популярен, как сейчас, и я был чуть ли не первым медалистом, поступившим в него. Сейчас Библиотечный институт переименован в Институт культуры и пользуется у выпускников большим успехом, что еще раз напоминает нам о том, как бывает важно вовремя сменить вывеску.

Через три года учебы в этом институте мне пришло в голову, что проще и выгодней самому писать книги, чем заниматься классификацией чужих книг, и я перешел в Литературный институт, обучавший писательскому ремеслу. По окончании его я получил диплом инженера человеческих душ средней квалификации и стал осторожно проламываться в литературу, чтобы не обрушить на себя ее хрупкие и вместе с тем увесистые своды.

Москва, увиденная впервые, оказалась очень похожей на свои бесчисленные снимки и киножурналы. Окрестности города я нашел красивыми, только полное отсутствие гор создавало порой ощущение незащитности. От обилия плоского пространства почему-то уставала спина. Иногда хотелось прислониться к какой-нибудь горе или даже спрятаться за нее.

Москвичи обрадовали меня своей добротой и наивностью. Как потом выяснилось, я им тоже показался наивным. Поэтому мы легко и быстро сошлись характерами. Людям нравятся наивные люди. Наивные люди дают нам возможность перенести оборонительные сооружения, направленные против них, на более опасные участки. За это мы испытываем к ним фортификационную благодарность.

Кроме того, я заметил, что москвичи даже в будни едят гораздо больше наших, со свойственной им наивностью оправдывая эту особенность тем, что наши по сравнению с москвичами едят гораздо больше зелени.

Единственная особенность москвичей, которая до сих пор осталась мной не разгаданной,— это их постоянный, таинственный интерес к погоде. Бывало, сидишь у знакомых за чаем, слушаешь уютные московские разговоры, тикают стенные часы, лопочет репродуктор, но его никто не слушает, хотя почему-то и не выключают.

— Тише! — встряхивается вдруг кто-нибудь и подымает голову к репродуктору. — Погоду передают.

Все, затаив дыхание, слушают передачу, чтобы на сле-

дующий день уличить ее в неточности. В первое время, услышав это тревожное: «Тише!», я вздрагивал, думая, что начинается война или еще что-нибудь не менее катастрофическое. Потом я думал, что все ждут какой-то особенной, неслыханной по своей приятности погоды. Потом я заметил, что неслыханной по своей приятности погоды как будто бы тоже не ждут. Так в чем же дело?

Можно подумать, что миллионы москвичей с утра уходят на охоту или на полевые работы. Ведь у каждого на работе крыша над головой. Нельзя же сказать, что такой испепеляющий, изнурительный в своем постоянстве интерес к погоде объясняется тем, что человеку надо пробежать до троллейбуса или до метро? Согласитесь, это было бы довольно странно и даже недостойно жителей великого города. Тут есть какая-то тайна.

Именно с целью изучения глубинной причины интереса москвичей к погоде я несколько лет назад переселился в Москву. Ведь мое истинное призвание — это открывать и изобретать.

Чтобы не вызывать у москвичей никакого подозрения, чтобы давать им в моем присутствии свободно проявлять свой таинственный интерес к погоде, я и сам делаю вид, что интересуюсь погодой.

— Ну как, — говорю я, — что там передают насчет погоды? Ветер с востока?

— Нет, — радостно отвечают москвичи, — ветер юго-западный до умеренного.

— Ну, если до умеренного, — говорю, — это еще терпимо.

И продолжаю наблюдать, ибо всякое открытие требует терпения и наблюдательности. Но, чтобы открывать и изобретать, надо зарабатывать на жизнь, и я пишу.

Но вот что плохо. Читатель начинает мне навязывать роль юмориста, и я уже сам как-то невольно доигрываю ее. Стоит мне взяться за что-нибудь серьезное, как я вижу лицо читателя с выражением добродетельного терпения, ждущего, когда я наконец начну про смешное.

Я креплюсь, но это выражение добродетельного терпения меня все-таки подтачивает, и я по дороге перестраиваюсь и делаю вид, что про серьезное я начал говорить нарочно, чтобы потом было еще смешней.

Вообще я мечтаю писать вещи без всяких там лирических героев, чтобы сами участники описываемых событий делали что им заблагорассудится, а я бы сидел в сторонке и только поглядывал на них.

Но чувствую, что пока не могу этого сделать: нет полного доверия. Ведь когда мы говорим человеку, делай все, что тебе заблагорассудится, мы имеем в виду, что ему заблагорассудится делать что-нибудь приятное для нас и окружающих. И тогда это приятное, сделанное как бы без нашей подсказки, делается еще приятней.

Но человек, которому доверили такое дело, должен обладать житейской зрелостью. А если он ею не обладает, ему может заблагорассудиться делать неприятные глупости или, что еще хуже, вообще ничего не делать, то есть пребывать в унылом бездействии.

Вот и приходится ходить по собственному сюжету, приглядывать за героями, стараясь заразить их примером собственной бодрости:

— Веселее, ребята!

В понимании юмора тоже нет полной ясности.

Однажды на теплоходе «Адмирал Нахимов» я ехал в Одессу. Был чудесный сентябрьский день. Солнце кротко светило, словно радуясь, что мы едем в благословенный город Одессу, выдуманный могучим весельем Бабея.

Я стоял, склонившись над бортовыми поручнями. Нос корабля плавно разрезал и отбрасывал взрыхленные воды. Пенные струи пронесились подо мной, издавая соблазнительный шорох тающей пены свежего бочкового пива. Но тут ко мне подошел мой читатель и тоже склонился над бортовыми поручнями. Пенные струи продолжали пронеситься под нами, но восстановить ощущение тающей пены свежего бочкового пива больше не удавалось.

— Простите, — сказал он с понимающей улыбкой, — вы — это вы?

— Да, — говорю, — я — это я.

— Я, — говорит он, все так же понимающе улыбаясь, — вас сразу узнал по кольцу.

— То есть по какому кольцу? — заинтересовался я и перестал слушать пену.

— В журнале печатались статьи с вашими портретами, — объяснил он, — где вы сняты с этим же кольцом.

В самом деле так оно и было. Фотограф одного журнала сделал с меня несколько снимков, и с тех пор журнал несколько лет давал мои рассказы со снимками из этой серии, где я выглядел неунывающим, а главное, нестареющим женихом с обручальным кольцом, выставленным вперед, подобно тому как раньше на деревенских

фотографиях выставляли вперед запястье с циферблатом часов, на которых, если приглядеться, можно было узнать точное время появления незабвенного снимка.

Я уже было совсем собрался поругаться с редакцией за эту рекламу, но тут обнаружилось, что редакция больше не собирается меня печатать, и необходимость выяснять отношения отпала сама собой.

Пока я предавался этим не слишком веселым воспоминаниям, читатель мой пересказывал мне мои рассказы, упорно именуя их статьями. Дойдя до рассказа «Детский сад», он прямо-таки стал захлебываться от хохота, что в значительной мере улучшило мое настроение.

Честно говоря, мне этот рассказ не казался таким уж смешным, но, если он читателю показался таким, было бы глупо его разуверять в этом. Уподобляясь ему, перескажу содержание рассказа.

Во дворе детского сада росла груша. Время от времени с дерева падали перезревшие плоды. Их подбирали дети и тут же поедали. Однажды один мальчик подобрал особенно большую и красивую грушу. Он хотел ее съесть, но воспитательница отобрала у него грушу и сказала, что она пойдет на общий обеденный компот. После некоторых колебаний мальчик утешился тем, что его груша пойдет на общий компот.

Выходя из детского сада, мальчик увидел воспитательницу. Она тоже шла домой. В руке она держала сетку. В сетке лежала его груша. Мальчик побежал, потому что ему стыдно было встретиться глазами с воспитательницей.

В сущности, это был довольно грустный рассказ.

— Так что же вас так рассмешило? — спросил я у него.

Он снова затрясся, на этот раз от беззвучного смеха, и махнул рукой — дескать, хватит меня разыгрывать.

— Все-таки я не понимаю, — настаивал я.

— Неужели? — спросил он и слегка выпучил свои и без того достаточно выпуклые глаза.

— В самом деле, — говорю я.

— Так если воспитательница берет грушу домой, представляете, что берет директор детского сада?! — почти выкрикнул он и снова расхохотался.

— При чем тут директор? О нем в рассказе ни слова не говорится, — возразил я.

— Потому и смешно, что не говорится, а подразуме-

вается, — сказал он и как-то странно посмотрел на меня своими выпуклыми, недоумевающими глазами.

Он стал объяснять, в каких случаях бывает смешно прямо сказать о чем-то, а в каких случаях прямо говорить не смешно. Здесь именно такой случай, сказал он, потому что читатель по разнице в должности догадывается, сколько берет директор, потому что при этом отталкивается от груши воспитательницы.

— Выходит, директор берет арбуз, если воспитательница берет грушу? — спросил я.

— Да нет, — сказал он и махнул рукой.

Разговор перешел на посторонние предметы, но я все время чувствовал, что заронил в его душу какие-то сомнения, боюсь, что творческие планы. Во время нашей беседы выяснилось, что он работает техником на мясокомбинате. Я спросил у него, сколько он получает.

— Хватает, — сказал он и обобщенно добавил: — С мяса всегда что-то имеешь.

Я рассмеялся, потому что это прозвучало как фатальное свойство белковых соединений.

— Что тут смешного? — сказал он. — Каждый жить хочет.

Это тоже прозвучало как фатальное свойство белковых соединений.

Я хотел было спросить, что именно он имеет с мяса, чтобы установить, что имеет директор комбината, но не решился.

Он стал держаться несколько суше. Я теперь его раздражал тем, что открыл ему глаза на более глубокое понимание смешного, и в то же время сделал это нарочно слишком поздно, чтобы он уже не смог со мной состязаться. В конце пути он сурово взял у меня телефон и записал в книжечку.

— Может, позвоню, — сказал он с намеком на вызов.

Каждый день, за исключением тех дней, когда меня не бывает дома, я закрываюсь у себя в комнате, закладывая бумагу в свою маленькую прожорливую «Колибри» и пишу.

Обычно машинка, несколько раз вяло потявкав, надолго замолкает. Домашние делают вид, что стараются создать условия для моей работы, я делаю вид, что работаю. На самом деле в это время я что-нибудь изобретаю или, склонившись над машинкой, прислушиваюсь к телефону в другой комнате. Так деревенские свиньи в наших краях, склонив головы, стоят под плодовыми де-

ревьями, прислушиваясь, где стукнет упавший плод, чтобы вовремя к нему подбежать.

Дело в том, что дочка моя тоже прислушивается к телефону, и если успевает раньше меня подбежать к нему, то ударом кулачка по трубке ловко отключает его. Она считает, что это такая игра, что, в общем, не лишено смысла.

О многих своих открытиях, ввиду их закрытого характера, пока существует враждебный лагерь, я, естественно, не могу рассказать. Но у меня есть ряд ценных наблюдений, которыми я готов поделиться. Я полагаю, чтобы овладеть хорошим юмором, надо дойти до крайнего пессимизма, заглянуть в мрачную бездну, убедиться, что и там ничего нет, и потихоньку возвращаться обратно. След, оставляемый этим обратным путем, и будет настоящим юмором.

Смешное обладает одним, может быть, скромным, но бесспорным достоинством: оно всегда правдиво. Более того, смешное потому и смешно, что оно правдиво. Иначе говоря, не все правдивое смешно, но все смешное правдиво. На этом достаточно сомнительном афоризме я хочу поставить точку, чтобы не договориться до еще более сомнительных выводов.

## Петух

С детства меня не любили петухи. Я не помню, с чего это началось, но, если заводился где-нибудь по соседству воинственный петух, не обходилось без кровопролития.

В то лето я жил у своих родственников в одной из горных деревень Абхазии. Вся семья — мать, две взрослые дочери, два взрослых сына — с утра уходила на работу: кто на прополку кукурузы, кто на ломку табака. Я оставался один. Обязанности мои были легкими и приятными. Я должен был накормить козлят (хорошая вязанка шумящих листьями ореховых веток), к полудню принести из родника свежей воды и вообще присматривать за домом. Присматривать особенно было нечего, но приходилось изредка покрикивать, чтобы ястреба чувствовали близость человека и не нападали на хозяйских цыплят. За это мне разрешалось как представителю хилого городского племени выпивать пару свежих яиц из-под курицы, что я и делал добросовестно и охотно.

На тыльной стороне кухни висели плетеные корзины, в которых неслись куры. Как они догадывались нестись именно в эти корзины, оставалось для меня тайной. Я вставал на цыпочки и нащупывал яйцо. Чувствуя себя одновременно багдадским вором и удачливым ловцом жемчуга, я высасывал добычу, тут же надбив ее о стену. Где-то рядом обреченно кудахтали куры. Жизнь казалась осмысленной и прекрасной. Здоровый воздух, здоровое питание — и я наливался соком, как тыква на хорошо унавоженном огороде.

В доме я нашел две книги: Майн Рида «Всадник без головы» и Вильяма Шекспира «Трагедии и комедии». Первая книга потрясла меня. Имена героев звучали как сладостная мазыка: Морис-мустангер, Луиза Пойндекстер, капитан Кассий Колхаун, Эль-Койот и, наконец, во всем блеске испанского великолепия Исидора Коваруби де Лос-Льянос.

«— Просите прощения, капитан, — сказал Морис-мустангер и приставил пистолет к его виску.

— О ужас! Он без головы!

— Это мираж! — воскликнул капитан».

Книгу я прочел с начала до конца, с конца до начала и дважды по диагонали.

Трагедии Шекспира показались мне смутными и бессмысленными. Зато комедии полностью оправдали занятия автора сочинительством. Я понял, что не шуты существуют при королевских дворах, а королевские дворы при шутах.

Домик, в котором мы жили, стоял на холме, кругло-суточно продувался ветрами, был сух и крепок, как настоящий горец.

Под карнизом небольшой террасы лепились комья ласточкиных гнезд. Ласточки стремительно и точно влетали в террасу, притормаживая, трепетали у гнезда, где, распахнув клювы, чуть не вываливаясь, тянулись к ним жадные крикливые птенцы. Их прожорливость могла соперничать только с неутомимостью родителей. Иногда, отдав корм птенцу, ласточка, слегка запрокинувшись, сидела несколько мгновений у края гнезда. Неподвижное стрельчатое тело, и только голова осторожно поворачивается во все стороны. Мгновение — и она, срываясь, падает, потом, плавно и точно вывернувшись, выныривает из-под террасы.

Куры мирно паслись во дворе, чирикали воробьи и цыплята. Но демоны мятежа не дремали. Несмотря на мои предупредительные крики, почти ежедневно появлялся ястреб. То пикируя, то на бреющем полете он подхватывал цыпленка, утяжеленными мощными взмахами крыльев набирал высоту и медленно удалялся в сторону леса. Это было захватывающее зрелище, я иногда нарочно давал ему уйти и только тогда кричал для очистки совести. Поза цыпленка, уносимого ястребом, выражала ужас и глупую покорность. Если я вовремя поднимал шум, ястреб промахивался или ронял на лету свою добычу. В таких случаях мы находили цыпленка где-нибудь в кустах, контуженного страхом, с остекленевшими глазами.

— Не жилец, — говаривал один из моих братьев, весело отсекал ему голову и отправлял на кухню.

Вожаком куриного царства был огромный рыжий петух. Самодовольный, пышный и коварный, как восточный деспот. Через несколько дней после моего появления стало ясно, что он ненавидит меня и только ищет повода для открытого столкновения. Может быть, он замечал, что я поедаю яйца, и это оскорбляло его мужское самолюбие. Или его бесила моя нерасторопность во время



нападения ястребов? Я думаю, и то и другое действовало на него, а главное, по его мнению, появился человек, который пытается разделить с ним власть над курами. Как и всякий деспот, этого он не мог потерпеть. Я понял, что двоевластие долго продолжаться не может, и, готовясь к предстоящему бою, стал приглядываться к нему.

Петуху нельзя было отказать в личной храбрости. Во время ястребиных налетов, когда куры и цыплята, кудахтая и крича, разноцветными брызгами летели во все стороны, он один оставался во дворе и, гневно клокоча, пытался восстановить порядок в своем робком гареме. Он делал даже несколько решительных шагов в сторону **летищей** птицы; но, так как идущий не может догнать **летищего**, это производило впечатление пустой бравады.

Обычно он пасся во дворе или в огороде в окружении двух-трех фавориток, не выпуская, однако, из виду и остальных кур. Порою, вытянув шею, он поглядывал в небо: нет ли опасности?

Вот скользнула по двору тень парящей птицы или раздалось карканье вороны, он воинственно вскидывает голову, озирается и дает знак быть бдительными. Куры испуганно прислушиваются, иногда бегут, ища укрытое место. Чаще всего это была ложная тревога, но, держа сожитолиц в состоянии нервного напряжения, он подавал их волю и добивался полного подчинения.

Разгребая жилистыми лапами землю, он иногда находил какое-нибудь лакомство и громкими криками призывал кур на пиршество.

Пока подбежавшая курица клевала его находку, он успевал несколько раз обойти ее, напыщенно волоча крыло и как бы захлебываясь от восторга. Затея эта обычно кончалась насильем. Курица растерянно отряхивалась, стараясь прийти в себя и осмыслить случившееся, а он победно и сыто озирался.

Если подбегала не та курица, которая приглянулась **ему на этот раз**, он загоразживал свою находку или отгонял курицу, продолжая урчащими звуками призывать свою новую возлюбленную. Чаще всего это была опрятная белая курица, худенькая, как цыпленок. Она осторожно подходила к нему, вытягивала шею и, ловко выклевав находку, пускалась наутек, не проявляя при этом никаких признаков благодарности.

Перебирая тяжелыми лапами, он постыдно бежал за нею, и, даже чувствуя постыдность своего положения, он

продолжал бежать, на ходу стараясь хранить солидность. Догнать ее обычно ему не удавалось, и он в конце концов останавливался, тяжело дыша, косился в мою сторону и делал вид, что ничего не случилось, а пробежка имела самостоятельное значение.

Между прочим, нередко призывы пировать оказывались сплошным надувательством. Клевать было нечего, и куры об этом знали, но их подводило извечное женское любопытство.

С каждым днем он все больше и больше цаглед. Если я переходил двор, он бежал за мною некоторое время, чтобы испытать мою храбрость. Чувствуя, что спину охватывает морозец, я все-таки останавливался и ждал, что будет дальше. Он тоже останавливался и ждал. Но гроза должна была разразиться, и она разразилась.

Однажды, когда я обедал на кухне, он вошел и стал у дверей. Я бросил ему несколько кусков мамалыги, но, видимо, напрасно. Он склевал подачку и всем своим видом давал понять, что о примирении не может быть и речи.

Делать было нечего. Я замахнулся на него головешкой, но он только подпрыгнул, вытянул шею наподобие гусака и уставился ненавидящими глазами. Тогда я швырнул в него головешкой. Она упала возле него. Он подпрыгнул еще выше и ринулся на меня, извергая петушьи проклятия. Горящий, рыжий ком ненависти летел на меня. Я успел заслопиться табуреткой. Ударившись о нее, он рухнул возле меня как поверженный дракон. Крылья его, пока он вставал, бились о земляной пол, выбивая струи пыли, и обдавали мои ноги холодком боевого ветра.

Я успел переменить позицию и отступал в сторону двери, прикрываясь табуреткой, как римлянин щитом.

Когда я переходил двор, он несколько раз бросался на меня. Каждый раз, взлетая, он пытался, как мне казалось, выключить мне глаз. Я удачно прикрывался табуреткой, и он, ударившись о нее, шлепался на землю. Оцарапанные руки мои кровоточили, а тяжелую табуретку все труднее было держать. Но в ней была моя единственная защита.

Еще одна атака — и петух мощным взмахом крыльев взлетел, но не ударился о мой щит, а неожиданно уселся на него. Я бросил табуретку, несколькими прыжками достиг террасы и дальше — в комнату, захлопнув за собой дверь.

Грудь моя гудела как телеграфный столб, по рукам лилась кровь. Я стоял и прислушивался: я был уверен, что проклятый петух стоит, притаившись за дверью. Так оно и было. Через некоторое время он отошел от дверей и стал прохаживаться по террасе, властно цокая железными когтями. Он звал меня в бой, но я предпочел отсиживаться в крепости. Наконец ему надоело ждать, и он, вскочив на перила, победно закукарекал.

Братья мои, узнав о моей баталии с петухом, стали устраивать ежедневные турниры. Решительного преимущества никто из нас не добился, мы оба ходили в ссадинах и кровоподтеках.

На мясистом, как ломоть помидора, гребешке моего противника нетрудно было заметить несколько меток от палки; его пышный, фонтанирующий хвост порядочно ссохся, тем более нагло выглядела его самоуверенность. У него появилась противная привычка по утрам кукарекать, взгромоздившись на перила террасы прямо под окном, где я спал.

Теперь он чувствовал себя на террасе как на оккупированной территории.

Бои проходили в самых различных местах: во дворе, в огороде, в саду. Если я влезал на дерево за инжиром или за яблоками, он стоял под ним и терпеливо дожидался меня.

Чтобы сбить с него спесь, я пускался на разные хитрости. Так я стал подкармливать кур. Когда я их звал, он приходил в ярость, но куры предательски покидали его. Уговоры не помогали. Здесь, как и везде, отвлеченная пропаганда легко посрамлялась явью выгоды. Пригоршни кукурузы, которую я швырял в окно, побеждали родовую привязанность и семейные традиции доблестных лиценосок. В конце концов являлся и сам паша. Он гневно укорял их, а они, делая вид, будто стыдятся своей слабости, продолжали клевать кукурузу.

Однажды, когда тетка с сыновьями работала на огороде, мы с ним схватились. К этому времени я уже был опытным и хладнокровным бойцом. Я достал разлапую палку и, действуя ею как трезубцем, после нескольких неудачных попыток прижал петуха к земле. Его мощное тело неистово билось, и содрогания его, как электрический ток, передавались мне по палке.

Безумство храбрых вдохновляло меня. Не выпуская из рук палки и не ослабляя ее давления, я нагнулся и, поймав мгновение, прыгнул на него, как вратарь на мяч.

Я успел изо всех сил сжать ему глотку. Он сделал мощный пружинистый рывок и ударом крыла по лицу оглушил меня на одно ухо. Страх удесятирил мою храбрость. Я еще сильнее сжал ему глотку. Жилистая и плотная, она дрожала и дергалась у меня в ладони, и ощущение было такое, как будто я держу змею. Другой рукой я обхватил его лапы, клешнятые когти шевелились, стараясь нащупать тело и врезаться в него.

Но дело было сделано. Я выпрямился, и петух, издавая сдавленные вопли, повис у меня на руках.

Все это время братья вместе с теткой хохотали, глядя на нас из-за ограды. Что ж, тем лучше! Мощные волны радости пронизывали меня. Правда, через минуту я почувствовал некоторое смущение. Победенный ничуть не смирился, он весь клокотал мстительной яростью. Отпустить — набросится, а держать его бесконечно невозможно.

— Перебрось его в огород, — посоветовала тетка.

Я подошел к изгороди и швырнул его окаменевшими руками.

Проклятие! Он, конечно, не перелетел через забор, а уселся на него, распластав тяжелые крылья. Через мгновение он ринулся на меня. Это было слишком. Я бросился наутек, а из груди моей вырвался древний спасительный клич убегающих детей:

— Ма-ма!

Надо быть или очень глупым, или очень храбрым, чтобы поворачиваться спиной к врагу. Я это сделал не из храбрости, за что и поплатился.

Пока я бежал, он несколько раз догонял меня, наконец я споткнулся и упал. Он вскочил на меня, он катался по мне, надсадно хрипя от кровавого наслаждения. Вероятно, он продолбил бы мне позвоночник, если бы подбежавший брат ударом мотыги не забросил его в кусты. Мы решили, что он убит, однако к вечеру он вышел из кустов, притихший и опечаленный.

Промывая мои раны, тетка сказала:

— Видно, вам вдвоем не ужиться. Завтра мы его зажарим.

На следующий день мы с братом начали его ловить. Бедняга чувствовал недоброе. Он бежал от нас с быстротой страуса. Он перелетал через огород, прятался в кустах, наконец забился в подвал, где мы его и выловили. Вид у него был затравленный, в глазах тоскливый укор. Казалось, он хотел мне сказать: «Да, мы с тобой враж-

довали. Это была честная мужская война, но предательства я от тебя не ожидал». Мне стало как-то не по себе, и я отвернулся. Через несколько минут брат отсек ему голову. Тело петуха запрыгало и забилося, а крылья, судорожно трепыхаясь, выгибались, как будто хотели прикрыть горло, откуда хлестала и хлестала кровь. Жить стало безопасно и... скучно.

Впрочем, обед удался на славу, а острая ореховая подлива растворила остроту моей неожиданной печали.

Теперь я понимаю, что это был замечательный боевой петух, но он не вовремя родился. Эпоха петушиных боев давно прошла, а восвать с людьми — прощальное дело.

## Рассказ о море

Я не помню, когда научился ходить, зато помню, когда научился плавать. Плавать я научился почти так же давно, как и ходить, но научился сам, а кто учил меня ходить — неизвестно. Воспитывали коллективно. Дом наш всегда был полон всякими двоюродными братьями и сестрами. Они спускались с гор, приезжали из окрестных деревень поступать в школы и техникумы и, поступая, проходили сквозь наш довольно тусклый дом, как сквозь тоннель. Среди них было немало забавных и интересных людей, некоторых я любил, но море мне все-таки нравилось больше, и поэтому я удирал к нему, когда только мог.

Летом море было ежедневным праздником. Бывало, только выйдем с ребятами со двора, а уж какое-то радостное волнение окрыляет шаги — быстрее, быстрее! Через весь город бежали на свидание с морем.

Конец улицы упирался в серую крепостную стену. За стеной — море. Крепость как бы пытается закрыть от города море, но это ей плохо удается. Запах моря, всегда мощный и свежий, спокойно и даже насмешливо проходит сквозь каменную преграду.

Мне кажется, если к старинной стене подвести человека, никогда не видевшего моря, он догадается даже в полный штиль: за стеной живет что-то могучее и прекрасное, и не успокоится, пока не прикоснется к нему.

До революции крепость была тюрьмой, а еще раньше она была собственно крепостью. Из крепости легко сделать тюрьму, а из тюрьмы можно сделать крепость. Среди обломков сохранилась камера, где, говорят, сидел Серго Орджоникидзе, тогда еще фельдшер Гудаутского уезда.

Сквозь приплюснутое узкое оконце он смотрел вдаль, как танкист в смотровую щель. Оконце позволяло смотреть только в одну сторону, в сторону моря. Человек, который должен смотреть в одну сторону, или ничего не видит, или видит больше тех, кто вынудил его смотреть в одну сторону. Если бы в долгие часы тюремного одиночества он видел только кусок моря, перечеркнутый же-

лезными прутьями, он смирился бы или сошел с ума. Но он видел больше и потому победил.

Обо всем этом мы тогда не думали. Мы проходили через крепостной двор, всегда вкусно пахнущий жареной рыбой, мимо ярко выбеленных рыбацких домиков. Белье, развешанное на веревках, плотно надувалось ветром, близость моря не давала ему покоя, пеленки подражали нарусам.

И наконец, море! Огромное и неожиданное, оно врылось в глаза и обдавало стойкой соленой свежестью. Обычно не хватало терпения дойти до него, и мы сбегали по крутой тропинке на берег и, не успев притормозить, летели в теплую, ласковую воду.

Когда пришла пора искать клады, один мой школьный товарищ шепнул мне, что видел в одном месте в море золотые монеты. Поклявшись никому не говорить об этой тайне, мы расстались до следующего дня. Ночью я плохо спал: ворочался, вскакивал, никак не мог дождаться рассвета. Чуть забрезжило, я встал и на цыпочках выскользнул из дому. Мы встретились у старой крепости. Говорили почему-то шепотом, хотя кругом на полкилометра простирался пустынный пляж. Было по-утреннему зябко, вода тихо плескалась у ног. Мы взобрались на мокрый от утренней сырости обломок крепостной стены и осторожно переползли к его краю. Легли на живот и стали глядеть. Через некоторое время товарищ мой ткнул пальцем в воду. Свесив голову, замирая от волнения, я вглядывался, но ничего не видел, кроме смутного очертания дна. Но он очень хотел, чтобы я увидел монеты. И я наконец увидел их. Как бы колыхаясь, они таинственно поблескивали сквозь толщу воды. Разглядеть их можно было в короткое мгновение, когда одна волна уже пробежала, а другая еще не подошла.

Мы разделись и начали нырять. Вода еще была очень холодная: дело происходило в апреле или в начале мая. И несколько раз нырнул, но до дна не достал. Не хватало дыхания, и уши сильно болели.

Я тогда еще не знал, что нырять нужно под углом, а не вертикально, как это я делал. Ныряя под углом, проходишь большее расстояние до дна, зато идти легко, а главное — уши привыкают к давлению и не болят.

Каждый раз я почти доныривал до дна, казалось, только протяни руку — и схватишь монеты, но меня обманывала прозрачность воды. Наконец мне пришло в голову броситься в воду со скалы, чтобы глубже нырнуть

за счет инерции прыжка. Я бухнулся в воду и без труда донырнул до дна. Схватив монеты вместе с горстью песка, я с силой оттолкнулся и вынырнул. Ухватившись рукой за каменный выступ, я осторожно приподнял другую руку. Песок стыдливymi струйками стекал с ладони, а на ладони моей блестели две металлические пробки, которыми обычно закрывают бутылки с минеральной водой. Видно, какая-то компания трезво пиновала, устроившись на этой каменной глыбе. Дорого же нам обошелся этот нарязанный пир! С трудом продев одеревеневшие руки и ноги в одежду, мы долго подпрыгивали и бегали по берегу, пока не согрелись. Море подшутило над нами.

Я люблю это место. Здесь можно было часами жариться, лежа на скале, лениво следя за дымящими теплоходами или парящими парусниками. В камнях водились крабы, мы их ловили, натывая на заостренный железный прут. Море в этих местах наступает на берег: можно заплывать и метрах в двадцати от берега нащупать ногами ржавый обломок стены, неподвижно стоять на нем по грудь в воде, легким движением рук удерживая равновесие.

Я люблю это место. Здесь я когда-то научился плавать, и здесь же я чуть не утонул. Обычно любишь места, где пережил большую опасность, если она не результат чьей-то подлости.

Я хорошо запомнил дець, когда научился плавать, когда я почувствовал всем телом, что могу держаться на воде и что море держит меня. Мне, наверное, было лет семь, когда я сделал это великолепное открытие. До этого я барахтался в воде и, может быть, даже немного плавал, но только если я знал, что в любую секунду могу достать ногами дно.

Теперь это было совсем новое ощущение, как будто мы с морем поняли друг друга. Я теперь мог не только ходить, видеть, говорить, но и плавать, то есть не бояться глубины. И научился я сам! Я обогатил себя, никого при этом не ограбив.

Недалеко от берега из воды торчал зеленоватый обломок крепостной стены, через него перекатывались легкие волны. Я доплывал до него, ложился плашмя и отдыхал. Это было похоже на путешествие на необитаемый остров. Впрочем, остров был не такой уж необитаемый. С набегавшей волной иногда выплескивался краб, неуклюже забегал за край скалы и, высываясь из-за камня, сле-



дил за мной злыми, хозяйскими глазами. Если глядеть в глубину, можно было заметить каких-то серебристых мальков, которые неожиданно проносились, вспыхивая как искры, выбитые из головешки.

Иногда я ложился на спину и, когда волна перекатывалась через меня, видел диск солнца, качающийся и мягкий.

Вокруг, в воде и на берегу, было много народу. Отдыхающих легко было узнать по неестественно белым телам или искусственно темному загару. На вершине камонной глыбы, громоздившейся на берегу, сидела девушка в синем купальнике. Она читала книгу — верно, долала вид, что читает, точнее, притворялась, что пытается читать. Рядом с ней на корточках сидел парень в белоснежной рубашке и в новеньких туфлях, блестящих и черных, как дельфинья спина. Он ей что-то говорил. Девушка, иногда откидывая голову, смеялась и щурилась не то от солнца, не то оттого, что парень слишком близко и слишком прямо смотрел на нее. Отсмеявшись, она решительно опускала голову, чтобы читать, но парень опять что-то говорил, и она опять смеялась, и аубы ее блестели, как пена вокруг скалы и как рубашка парня. Он ей все время приятно мешал читать. Я следил за ними со своего островка и, хоть ничего не понимал в таких делах, понимал, что им хорошо. Парень иногда поворачивал голову и мельком глядел в сторону моря, как бы призывая его в свидетели. Он глядел весело и уверенно, как подобает человеку, у которого все хорошо и еще долго будет все хорошо. Мне было приятно их видеть, и я вздрагивал от смутного и сладкого сознания, что когда-нибудь и у меня будет такое.

От долгого купания я продрог, но, не успев как следует отогреться на берегу, снова лез в воду. Я боялся, что чудо не повторится и я не смогу удержаться на воде.

До скалы и обратно — раз. До скалы и обратно — два, до скалы и обратно... И вдруг я понял, что тону. Хотел вдохнуть, но захлебнулся. Вода была горькая, как английская соль, холодная и враждебная. Я рванулся изо всех сил и вынырнул. Солнце ударило по лицу, я услышал всплеск воды, смех, голоса и увидел парня и девушку.

Не знаю почему, выныривая, я не кричал. Возможно, не успевал, возможно, язык отнимался от страха. Но мысль работала ясно. Оттого, что я не мог кричать, было страшно, как это бывает во сне, и я с отчаянной

жаждой ждал, что парень повернется в сторону моря. Но вдруг у меня в голове мелькнула неприятная догадка, что он не прыгнет в море в таких отутюженных брюках, в такой белоснежной рубашке, что я вообще не стою порчи таких прекрасных вещей. С этой грустной мыслью я опять погрузился в воду, она казалась мутной и равнодушной. Нахлебавшись воды, я опять рванулся, и солнце опять ударило по глазам, и вокруг с удесятеренной отчетливостью слышались голоса людей. И тем обидней было тонуть у самого берега.

Второй раз я вынырнул немного ближе к обломку скалы, на котором они сидели, и теперь совсем близко увидел туфлю парня, черную, лоснящуюся, крепко затянутую шнурком.

Я даже разглядел металлический наконечник на шнурке. Я вспомнил, что такие наконечники на моих ботинках часто почему-то терялись, и концы шнурков делались пушистыми, как кисточки, и их трудно было продеть в дырочки на ботинках, и я ходил с развязанными шнурками, и меня за это ругали. Вспоминая об этом, я еще больше пожалел себя.

В последний раз погружаясь в воду, я вдруг заметил, что лицо парня повернулось в мою сторону и что-то такое мелькнуло на нем, как будто он с трудом напоминает меня.

«Это я, я! — хотелось крикнуть мне. — Я проплыл мимо вас, вы должны меня вспомнить!» Я даже постарался сделать постное лицо; я боялся, что волнение и страх так исказили его, что парень меня не узнает. Но он меня узнал, и тонуть стало как-то спокойней, и я уже не сопротивлялся воде, которая сомкнулась надо мной.

Что-то схватило меня и швырнуло на берег. Как только я упал на прибрежную гальку, я очнулся и понял, что парень меня все-таки спас. От радости и от тепла, постепенно разливавшегося по телу, хотелось тихо и благодарно скулить. Но я не только не благодарил, но молча и неподвижно лежал с закрытыми глазами. Я был уверен, что мое спасение не стоит его намокшей одежды, и старался оправдаться серьезностью своего положения.

— Надо сделать искусственное дыхание, — раздался голос девушки надо мной.

— Сам очухается, — ответил парень, и я услышал, как хлюпнула вода в его туфле.

Что такое искусственное дыхание, я знал и поэтому

сейчас же затаил дыхание. Но тут что-то подступило к горлу, и изо рта у меня полилась вода. Я поневоле открыл глаза и увидел лицо девушки, склоненное надо мной. Она стояла на коленях и, хлопая жесткими, выгоревшими ресницами, глядела на меня жалостливо и нежно. Потом она положила руку мне на лоб, рука была теплой и приятной. Я старался не шевелиться, чтобы не спугнуть ее ладонь.

— Трави, трави, — сказал парень, оборачиваясь ко мне и снимая рубашку.

Рубашка потемнела, но у самого ворота была белой, как и раньше: туда вода не доставала. Когда он заговорил, я понял, что расплаты за причиненный ущерб не будет. Я сосредоточился и «стравил»: было приятно, что у меня в животе столько воды. Ведь это означало, что я все-таки по-настоящему тонул.

— Будешь теперь заплывать? — спросил у меня парень, с силой выкручивая снятую рубашку.

Он теперь разделся и стоял в трусах. Ладный и крепкий, он и раздетый казался нарядным.

— Не буду, — охотно ответил я. Мне хотелось ему угодить.

— Напрасно, — сказал парень и еще туже закрутил рубашку.

Я решил, что это необычный взрослый и действовать надо необычно.

Я встал и, шатаясь, пошел к морю, легко доплыл до своего островка и легко поплыл обратно. Море возвращало силу, отнятую страхом. Парень стоял на берегу и улыбался мне, и я плыл на улыбку, как на спасательный круг. Девушка тоже улыбалась, поглядывая на него, и видно было, что она гордится им. Когда я вылез из воды, они медленно шли вдоль берега, и девушка держала в руках свою ненужную, наконец закрытую книгу. Я лег на горячую гальку, стараясь плотнее прижиматься к ней, и чувствовал, как в меня входит крепкое, сухое тепло разогретых камней.

Так он и ушел навсегда со своей девушкой, ушел, михоходом вернув мне жизнь.

## Тринадцатый подвиг Геракла

Все математики, с которыми мне приходилось встречаться в школе и после школы, были людьми неряшливыми, слабохарактерными и довольно гениальными. Так что утверждение насчет того, что пифагоровы штаны якобы во все стороны равны, навряд ли абсолютно точно.

Возможно, у самого Пифагора так оно и было, но его последователи, наверно, об этом забыли и мало обращали внимания на свою внешность.

И все-таки был один математик в нашей школе, который отличался от всех других. Его нельзя было назвать слабохарактерным, ни тем более неряшливым. Не знаю, был ли он гениален, — сейчас это трудно установить. Я думаю, скорее всего был.

Звали его Харлампий Диогенович. Как и Пифагор, он был по происхождению грек. Появился он в нашем классе с нового учебного года. До этого мы о нем не слышали и даже не знали, что такие математики могут быть.

Он сразу же установил в нашем классе образцовую тишину. Тишина стояла такая жуткая, что иногда директор испуганно распахивал дверь, потому что не мог понять, на месте мы или сбежали на стадион.

Стадион находился рядом со школьным двором и постоянно, особенно во время больших состязаний, мешал педагогическому процессу. Директор даже писал куда-то, чтобы его перенесли в другое место. Он говорил, что стадион нервирует школьников. На самом деле нас нервировал не стадион, а комендант стадиона дядя Вася, который безошибочно нас узнавал, даже если мы были без книжек, и гнал нас оттуда со злостью, не угасающей с годами.

К счастью, нашего директора не послушались и стадион оставили на месте, только деревянный забор заменили камешным. Так что теперь приходилось перелезать и тем, которые раньше смотрели на стадион через щели в деревянной ограде.

Все же директор наш напрасно боялся, что мы можем сбежать с урока математики. Это было немислимо. Это было все равно что подойти к директору на перемене и

молча скинуть с него шляпу, хотя она всем порядочно надоела. Он всегда, и зимой и летом, ходил в одной шляпе, вечнозеленой, как магнолия. И всегда чего-нибудь боялся.

Со стороны могло показаться, что он больше всего боялся комиссии из гороно, на самом деле он больше всего боялся нашего завуча. Это была демоническая женщина. Когда-нибудь я напишу о ней поэму в байроновском духе, но сейчас я рассказываю о другом.

Конечно, мы никак не могли сбежать с урока математики. Если мы вообще когда-нибудь и сбежали с урока, то это был, как правило, урок пения.

Бывало, только входит наш Харламий Диогенович в класс, сразу все затихают, и так до самого конца урока. Правда, иногда он нас заставлял смеяться, но это был не стихийный смех, веселье, организованное сверху самим же учителем. Оно не нарушало дисциплины, а служило ей, как в геометрии доказательство от обратного.

Происходило это примерно так. Скажем, иной ученик чуть припоздает на урок, ну примерно на полсекунды после звонка, а Харламий Диогенович уже входит в дверь. Бедный ученик готов провалиться сквозь пол. Может, и провалился бы, если б прямо под нашим классом не находилась учительская.

Иной учитель на такой пустяк не обратит внимания, другой сгоряча выругает, но только не Харламий Диогенович. В таких случаях он останавливался в дверях, перекладывал журнал из руки в руку и жестом, исполненным уважения к личности ученика, указывал на проход.

Ученик мнетя, его растерянная физиономия выражает желание как-нибудь незаметней проскользнуть в дверь после учителя. Зато лицо Харламия Диогеновича выражает радостное гостеприимство, сдержанное приличием и пониманием необычности этой минуты. Он дает знать, что само появление такого ученика — редчайший праздник для нашего класса и лично для него, Харламия Диогеновича, что его никто не ожидал, и раз уж он пришел, никто не посмеет его упрекнуть в этом маленьком опоздании, тем более он, скромный учитель, который, конечно же, пройдет в класс после такого замечательного ученика и сам закроет за ним дверь в знак того, что дорогого гостя не скоро отпустят.

Все это длится несколько секунд, и в конце концов

ученик, пеловко протиснувшись в дверь, спотыкающейся походкой идет на свое место.

Харламий Диогенович смотрит ему вслед и говорит что-нибудь великодушное. Например:

— Принц Уэльский.

Класс хохочет. И хотя мы не знаем, кто такой принц Уэльский, мы понимаем, что в нашем классе он никак не может появиться. Ему просто здесь нечего делать, потому что принцы в основном занимаются охотой на оленей. И если уж ему надоест охотиться за своими оленями и он захочет посетить какую-нибудь школу, то его обязательно поведут в первую школу, что возле электростанции. Потому что она образцовая. В крайнем случае, если б ему вздумалось прийти именно к нам, нас бы давно предупредили и подготовили класс к его приходу.

Потому-то мы и смеялись, понимая, что наш ученик никак не может быть принцем, тем более каким-то Уэльским.

Но вот Харламий Диогенович садится на место. Класс мгновенно смолкает. Начинается урок.

Большоголовый, маленького роста, аккуратно одетый, тщательно выбритый, он властно и спокойно держал класс в руках. Кроме журнала, у него был блокнотик, куда он что-то вписывал после опроса. Я не помню, чтобы он на кого-нибудь кричал, или уговаривал заниматься, или грозил вызвать родителей в школу. Все эти штучки были ему ни к чему.

Во время контрольных работ он и не думал бегать между рядами, заглядывать в парты или там бдительно вскидывать голову при всяком шорохе, как это делали другие. Нет, он спокойно читал себе что-нибудь или перебирал четки с бусами, желтыми, как кошачьи глаза.

Списывать у него было почти бесполезно, потому что он сразу узнавал списанную работу и начинал высмеивать ее. Так что списывали мы только в самом крайнем случае, если уж никакого выхода не было.

Бывало, во время контрольной работы оторвется от своих четок или книги и говорит:

— Сахаров, пересядьте, пожалуйста, к Авдеенко.

Сахаров встает и смотрит на Харламия Диогеновича вопросительно. Он не понимает, зачем ему, отличнику, пересаживаться к Авдеенко, который плохо учится.

— Пожалейте Авдеенко, он может сломать шею.

Авдеенко туго смотрит на Харламия Диогеновича,

как бы не понимая, а может быть, и в самом деле не понимая, почему он может сломать шею.

— Авдеенко думает, что он лебедь, — поясняет Харлампий Диогенович. — Черный лебедь, — добавляет он через мгновение, намекая на загорелое, угрюмое лицо Авдеенко. — Сахаров, можете продолжать, — говорит Харлампий Диогенович.

Сахаров садится.

— И вы тоже,— обращается он к Авдеенко, но что-то в голосе его едва заметно сдвинулось. В него влилась точно дозированная порция насмешки. — ...Если, конечно, не сломаете шею... черный лебедь! — твердо заключает он, как бы выражая мужественную надежду, что Александр Авдеенко найдет в себе силы работать самостоятельно.

Шурик Авдеенко сидит, яростно наклонившись над тетрадью, показывая мощные усилия ума и воли, брошенные на решение задачи.

Главное оружие Харлампия Диогеновича — это делать человека смешным. Ученик, отступающий от школьных правил, — не лентяй, не лоботряс, не хулиган, а просто смешной человек. Вернее, не просто смешной, на это, пожалуй, многие согласились бы, но какой-то обидно смешной. Смешной, не понимающий, что он смешной, или догадывающийся об этом последним.

И когда учитель выставляет тебя смешным, сразу же распадается круговая порука учеников, и весь класс над тобой смеется. Все смеются против одного. Если над тобой смеется один человек, ты можешь еще как-нибудь с этим справиться. Но невозможно пересмеять весь класс. И если уж ты оказался смешным, хотелось во что бы то ни стало доказать, что ты хоть и смешной, но не такой уж окончательно смехотворный.

Надо сказать, что Харлампий Диогенович не давал никому привилегии. Смешным мог оказаться каждый. Разумеется, я тоже не избежал общей участи.

В тот день я не решил задачу, заданную на дом. Там было что-то про артиллерийский снаряд, который куда-то летит с какой-то скоростью и за какое-то время. Надо было узнать, сколько километров пролетел бы он, если бы летел с другой скоростью и чуть ли не в другом направлении.

В общем, задача была какая-то запутанная и глупая. У меня решение никак не сходилось с ответом. А между прочим, в задачниках тех лет, наверное из-за вредителей,

ответы иногда бывали неверные. Правда, очень редко, потому что их к тому времени почти всех переловили. Но, видно, кое-кто еще орудовал на воле.

Но некоторые сомнения у меня все-таки оставались. Вредители вредителям, но, как говорится, и сам по плошай.

Поэтому на следующий день я пришел в школу за час до занятий. Мы учились во вторую смену. Самые заядлые футболисты были уже на месте. Я спросил у одного из них насчет задачи, оказалось, что и он ее не решил. Совесть моя окончательно успокоилась. Мы разделились на две команды и играли до самого звонка.

И вот входим в класс. Еле отдышавшись, на всякий случай спрашиваю у отличника Сахарова:

— Ну, как задача?

— Ничего, — говорит он, — решил.

При этом он коротко и значительно кивнул головой в том смысле, что трудности были, но мы их одолели.

— Как решил, ведь ответ неправильный?

— Правильный, — кивает он мне головой с такой противной уверенностью на умном добросовестном лице, что я его в ту же минуту возненавидел за благополучие, хотя и заслуженное, но тем более неприятное. Я еще хотел посомневаться, но он отвернулся, отняв у меня последнее утешение падающих: хвататься руками за воздух.

Оказывается, в это время в дверях появился Харламий Диогенович, но я его не заметил и продолжал жестикулировать, хотя он стоял почти рядом со мной. Наконец я догадался, в чем дело, испуганно захлопнул задачник и замер.

Харламий Диогенович прошел на место.

Я испугался и ругал себя за то, что сначала согласился с футболистом, что задача неправильная, а потом не согласился с отличником, что она правильная. А теперь Харламий Диогенович, наверняка, заметил мое волнение и первым меня вызовет.

Рядом со мной сидел тихий и скромный ученик. Звали его Адольф Комаров. Теперь он себя называл Аликом и даже на тетради писал Алик, потому что началась война и он не хотел, чтобы его дразнили Гитлером. Все равно все помнили, как его звали раньше, и при случае напоминали ему об этом.

Я любил разговаривать, а он любил сидеть тихо. Нас посадили вместе, чтобы мы влияли друг на друга, но,



по-моему, из этого ничего не получилось. Каждый остался таким, каким был.

Сейчас я заметил, что даже он решил задачу. Он сидел над своей раскрытой тетрадью, опрятный, худой и тихий, и оттого, что руки его лежали на промокашке, он казался еще тише. У него была такая дурацкая привычка — держать руки на промокашке, от чего я его никак не мог отучить.

— Гитлер капут, — шепнул я в его сторону. Он, конечно, ничего не ответил, но хоть руки убрал с промокашки, и то стало легче.

Между тем Харламий Диогенович поздоровался с классом и уселся на стул. Он слегка вздернул рукава пиджака, медленно протер нос и рот носовым платком, почему-то посмотрел после этого в платок и сунул его в карман. Потом он снял часы и начал листать журнал. Казалось, приготовления палача пошли быстрее.

Но вот он отметил отсутствующих и стал оглядывать класс, выбирая жертву. Я затаил дыхание.

— Кто дежурный? — неожиданно спросил он. Я вздохнул, благодарный ему за передышку.

Дежурного не оказалось, и Харламий Диогенович заставил самого старосту стирать с доски. Пока он стирал, Харламий Диогенович внушал ему, что должен делать староста, когда нет дежурного. Я надеялся, что он расскажет по этому поводу какую-нибудь притчу из школьной жизни, или басню Эзопа, или что-нибудь из греческой мифологии. Но он ничего не стал рассказывать, потому что скрип сухой тряпки о доску был неприятен, и он ждал, чтобы староста скорей кончил свое чудное протираание. Наконец староста сел.

Класс замер. Но в это мгновение раскрылась дверь и в дверях появились доктор с медсестрой.

— Извините, это пятый «А»? — спросила доктор.

— Нет, — сказал Харламий Диогенович с вежливой враждебностью, чувствуя, что какое-то санитарное мероприятие может сорвать ему урок. Хотя наш класс был почти пятый «А», потому что он был пятый «Б», он так решительно сказал «нет», как будто между нами ничего общего не было и не могло быть.

— Извините, — сказала доктор еще раз и, почему-то нерешительно помешкав, закрыла дверь.

Я знал, что они собираются делать уколы против тифа. В некоторых классах уже делали. Об уколах зара-

нее никогда не объявляли, чтобы никто не мог улизнуть или, притворившись больным, остаться дома.

Уколов я не боялся, потому что мне делали массу уколов от малярии, а это самые противные из всех существующих уколов.

И вот внезапная надежда, своим белоснежным халатом озарившая наш класс, исчезла. Я этого не мог так оставить.

— Можно, я им покажу, где пятый «А»? — сказал я, обнаглев от страха.

Два обстоятельства в какой-то мере оправдывали мою дерзость. Я сидел против двери, и меня часто посылали в учительскую за мелом или еще за чем-нибудь. А потом пятый «А» был в одном из флигелей при школьном дворе, и докторша в самом деле могла запутаться, потому что она у нас бывала редко, постоянно она работала в первой школе.

— Покажите, — сказал Харламий Диогенович и слегка приподнял брови.

Стараясь сдерживаться и не выдавать своей радости, я выскочил из класса.

Я догнал докторшу и медсестру еще в коридоре нашего этажа и пошел с ними.

— Я покажу вам, где пятый «А», — сказал я.

Докторша улыбнулась так, как будто она не уколы делала, а раздавала конфеты.

— А нам что, не будете делать? — спросил я.

— Вам на следующем уроке, — сказала докторша, все так же улыбаясь.

— А мы уходим в музей на следующий урок, — сказал я несколько неожиданно даже для себя.

Вообще-то у нас шли разговоры о том, чтобы организовано пойти в краеведческий музей и осмотреть там следы стоянки первобытного человека. Но учительница истории все время откладывала наш поход, потому что директор боялся, что мы не сумеем пойти туда организовано.

Дело в том, что в прошлом году один мальчик из нашей школы стащил оттуда кинжал абхазского феодала, чтобы сбежать с ним на фронт. По этому поводу был большой шум, и директор решил, что все получилось так потому, что класс пошел в музей не в шеренгу по два, а гурьбой.

На самом деле этот мальчик все заранее рассчитал. Он не сразу взял кинжал, а сначала сунул его в соло-

му, которой была покрыта Хижина Дореволюционного Бедняка. А потом, через несколько месяцев, когда все успокоилось, он пришел туда в пальто с прорезанной подкладкой и окончательно унес кинжал.

— А мы вас не пустим, — сказала докторша шутливо.

— Что вы, — сказал я, начиная волноваться, — мы собираемся во дворе и организованно пойдем в музей.

— Значит, организованно?

— Да, организованно, — повторил я серьезно, боясь, что она, как и директор, не поверит в нашу способность организованно сходить в музей.

— А что, Галочка, пойдем в пятый «Б», а то и в самом деле уйдут, — сказала она и остановилась. Мне всегда нравились такие чистенькие докторши в беленьких чепчиках и в беленьких халатах.

— Но ведь нам сказали сначала в пятый «А», — заупрямилась эта Галочка и строго посмотрела на меня. Видно было, что она всеми силами корчит из себя взрослую.

Я даже не посмотрел в ее сторону, показывая, что никто и не думает считать ее взрослой.

— Какая разница, — сказала докторша и решительно повернулась.

— Мальчику не терпится испытать мужество, да?

— Я малярник, — сказал я, отстраняя личную заинтересованность, — мне уколы делали тыщу раз.

— Ну, малярник, веди нас, — сказала докторша, и мы пошли.

Убедившись, что они не передумают, я побежал вперед, чтобы устранить связь между собой и их приходом.

Когда я вошел в класс, у доски стоял Шурик Авдеевко, и, хотя решение задачи в трех действиях было написано на доске его красивым почерком, объяснить решение он не мог. Вот он и стоял у доски с яростным и угрюмым лицом, как будто раньше знал, а теперь никак не мог припомнить ход своей мысли.

«Не бойся, Шурик, — думал я, — ты ничего не знаешь, а я тебя уже спас». Хотелось быть ласковым и добрым.

— Молодец, Алик, — сказал я тихо Комарову, — такую трудную задачу решил.

Алик у нас считался способным троечником. Его редко ругали, зато еще реже хвалили. Кончики ушей у него благодарно порозовели. Он опять наклонился над своей

тетрадь и аккуратно положил руки на промокашку. Такая уж у него была привычка.

Но вот распахнулась дверь, и докторша вместе с этой Галочкой вошли в класс. Докторша сказала, что так, мол, и так, надо ребятам делать уколы.

— Если это необходимо именно сейчас, — сказал Харлампий Диогенович, мельком взглянув на меня, — я не могу возражать. Авдеенко, на место, — кивнул он Шурику.

Шурик положил мел и пошел на место, продолжая делать вид, что вспоминает решение задачи.

Класс заволновался, но Харлампий Диогенович приподнял брови, и все притихли. Он положил в карман свой блокнотик, закрыл журнал и уступил место докторше. Сам он присел рядом за парту. Он казался грустным и немного обиженным.

Доктор и девчонка раскрыли свои чемоданчики и стали раскладывать на столе баночки, бутылочки и враждебно сверкающие инструменты.

— Ну, кто из вас самый смелый? — сказала докторша, хищно высосав лекарство иглой и теперь держа эту иглу острием кверху, чтобы лекарство не вылилось.

Она это сказала весело, но никто не улыбнулся, все смотрели на иглу.

— Будем вызывать по списку, — сказал Харлампий Диогенович, — потому что здесь сплошные герои.

Он раскрыл журнал.

— Авдеенко, — сказал Харлампий Диогенович и поднял голову.

Класс нервно засмеялся. Докторша тоже улыбнулась, хотя и не понимала, почему мы смеемся.

Авдеенко подошел к столу, длинный, нескладный, и по лицу его было видно, что он так и не решил, что лучше, получить двойку или идти первым на укол.

Он оголил рубаху и теперь стоял спиной к докторше, все такой же нескладный и не решивший, что же лучше. И потом, когда укол сделали, он не обрадовался, хотя теперь весь класс ему завидовал.

Алик Комаров все больше и больше бледнел. Подходила его очередь. И хотя он продолжал держать свои руки на промокашке, видно, это ему не помогало.

Я старался как-нибудь его расхрабрить, но ничего не получалось. С каждой минутой он делался все строже и бледней. Он не отрываясь смотрел на докторскую иглу.

— Отвернись и не смотри, — говорил я ему.

— Я не могу отвернуться, — отвечал он затравленным шепотом.

— Сначала будет не так больно. Главная боль, когда будут впускать лекарство, — подготавливал я его.

— Я худой, — шептал он мне в ответ, едва шевеля белыми губами, — мне будет очень больно.

— Ничего, — отвечал я, — лишь бы в кость не попала иголка.

— У меня одни кости, — отчаянно шептал он, — обязательно попадут.

— А ты расслабься, — говорил я ему, похлопывая его по спине, — тогда не попадут.

Спина его от напряжения была твердая, как доска.

— Я и так слабый, — отвечал он, ничего не понимая, — я малокровный.

— Худые не бывают малокровными, — строго возразил я ему. — Малокровными бывают малярики, потому что малярия сосет кровь.

У меня была хроническая малярия, и, сколько доктора ни лечили, ничего не могли поделать с ней. Я немного гордился своей неизлечимой малярией.

К тому времени, как Алика вызвали, он был совсем готов. Я думаю, он даже не соображал, куда идет и зачем.

Теперь он стоял спиной к докторше, бледный, с остекленевшими глазами, и, когда ему сделали укол, он внезапно побелел как смерть, хотя, казалось, дальше бледнеть некуда. Он так побледнел, что на лице его выступили веснушки, как будто откуда-то выпрыгнули. Раньше никто и не думал, что он веснушчатый. На всякий случай я решил запомнить, что у него есть скрытые веснушки. Это могло пригодиться, хотя я и не знал пока, для чего.

После укола он чуть не свалился, но докторша его удержала и посадила на стул. Глаза у него закатились, мы все испугались, что он умирает.

— «Скорую помощь!» — закричал я. — Побегу позвоню!

Харламбий Диогенович гневно посмотрел на меня, а докторша ловко подсунула ему под нос флакончик. Конечно, не Харлампию Диогеновичу, а Алику.

Он сначала не открывал глаза, а потом вдруг вскопчил и деловито пошел на свое место, как будто не он только что умер.

— Даже не почувствовал, — сказал я, когда мне сделали укол, хотя прекрасно все почувствовал.

— Молодец, малярник, — сказала докторша.

Помощница ее быстро и небрежно протерла мне спину после укола. Видно было, что она все еще злится на меня за то, что я их не пустил в пятый «А».

— Еще потрите, — сказал я, — надо, чтобы лекарство разошлось.

Она с ненавистью дотерла мне спину. Холодное прикосновение проспиртованной ваты было приятно, а то, что она злится на меня и все-таки вынуждена протирать мне спину, было еще приятней.

Наконец все кончилось. Докторша со своей Галочкой собрали чемоданчики и ушли. После них в классе остался приятный запах спирта и неприятный лекарства. Ученики сидели, поеживаясь, осторожно пробуя лопатками место укола и переговариваясь на правах пострадавших.

— Откройте окно, — сказал Харламий Диогенович, занимая свое место. Он хотел, чтобы с запахом лекарства из класса вышел дух больничной свободы.

Он вынул четки и задумчиво перебирал желтые бусины. До конца урока оставалось немного времени. В такие промежутки он обычно рассказывал нам что-нибудь поучительное и древнегреческое.

— Как известно из древнегреческой мифологии, Геракл совершил двенадцать подвигов, — сказал он и остановился. Щелк, щелк — перебрал он две бусины справа налево. — Один молодой человек захотел исправить греческую мифологию, — добавил он и опять остановился. Щелк, щелк.

«Смотри, чего захотел», — подумал я про этого молодого человека, понимая, что греческую мифологию исправлять никому не разрешается. Какую-нибудь другую, завалиющую мифологию, может быть, и можно подправить, но только не греческую, потому что там уже давно все исправлено и никаких ошибок быть не может.

— Он решил совершить тринадцатый подвиг Геракла, — продолжал Харламий Диогенович, — и это ему отчасти удалось.

Мы сразу по его голосу поняли, до чего это был фальшивый и никудышный подвиг, потому что, если бы Гераклу понадобилось совершить тринадцать подвигов, он бы сам их совершил, а раз он остановился на двенадцати, значит, так оно и надо было и нечего было лезть со своими поправками.

— Геракл совершал свои подвиги как храбрец. А этот молодой человек совершил свой подвиг из трусости...— Харламий Диогенович задумался и прибавил: — Мы сейчас узнаем, во имя чего он совершил свой подвиг...

Щелк. На этот раз только одна бусина упала с правой стороны на левую. Он ее резко подтолкнул пальцем. Она как-то нехорошо упала. Лучше бы упали две, как раньше, чем одна такая.

Я почувствовал, что в воздухе запахло какой-то опасностью. Как будто не бусина щелкнула, а захлопнулся маленький капканчик в руках Харлампия Диогеновича.

— ...Мне кажется, я догадываюсь, — проговорил он и посмотрел на меня.

Я почувствовал, как от его взгляда сердце мое с размаху вlepилось в спину.

— Прошу вас, — сказал он и жестом пригласил меня к доске.

— Меня? — переспросил я, чувствуя, что голос мой подымается прямо из живота.

— Да, именно вас, бесстрашный малярник, — сказал он.

Я поплелся к доске.

— Расскажите, как вы решили задачу, — спросил он спокойно и, — щелк, щелк — две бусины перекатились с правой стороны на левую. Я был в его руках.

Класс смотрел на меня и ждал. Он ждал, что я буду проваливаться, и хотел, чтобы я провалился как можно медленней и интересней.

Я смотрел краем глаза на доску, пытаюсь по записанным действиям восстановить причину этих действий. Но мне это не удалось. Тогда я стал сердито стирать с доски, как будто написанное Шуриком путало меня и мешало сосредоточиться. Я еще надеялся, что вот-вот прозвонит звонок и казнь придется отменить. Но звонок не звенел, а бесконечно стирать с доски было невозможно. Я положил тряпку, чтобы раньше времени не делаться смешным.

— Мы вас слушаем, — сказал Харламий Диогенович, не глядя на меня.

— Артиллерийский снаряд, — сказал я бодро в ликующей тишине класса и замолк.

— Дальше, — проговорил Харламий Диогенович, вежливо выждав.

— Артиллерийский снаряд, — повторил я упрямо, надеясь по инерции этих слов пробиться к другим таким

же правильным словам. Но что-то крепко держало меня на привязи, которая натягивалась, как только я произносил эти слова. Я сосредоточился изо всех сил, пытаюсь представить ход задачи, и еще раз рванулся, чтобы оборвать эту невидимую привязь.

— Артиллерийский снаряд, — повторил я, содрогаясь от ужаса и отвращения.

В классе раздалась сдержанная хихиканья. Я почувствовал, что наступил критический момент, и решил ни за что не делаться смешным, лучше просто получить двойку.

— Вы что, проглотили артиллерийский снаряд? — спросил Харлампий Диогенович с доброжелательным любопытством.

Он это спросил так просто, как будто справлялся, не проглотил ли я сливовую косточку.

— Да, — быстро сказал я, почувствовав ловушку и решив неожиданным ответом спутать его расчеты.

— Тогда попросите военрука, чтобы он вас разминировал, — сказал Харлампий Диогенович, но класс уже и так смеялся.

Смеялся Сахаров, стараясь во время смеха не переставать быть отличником. Смеялся даже Шурик Авдеенко, самый мрачный человек нашего класса, которого я же спас от неминуемой двойки. Смеялся Комаров, который, хоть и зовется теперь Аликом, а как был, так и остался Адольфом.

Глядя на него, я подумал, что, если бы у нас в классе не было настоящего рыжего, он сошел бы за него, потому что волосы у него светлые, а веснушки, которые он скрывал так же, как свое настоящее имя, обнаружались во время укола. Но у нас был настоящий рыжий, и рыжеватость Комарова никто не замечал. И еще я подумал, что, если бы мы на днях не содрали с наших дверей табличку с обозначением класса, может быть, докторша к нам не зашла и ничего бы не случилось. Я смутно начинал догадываться о связи, которая существует между вещами и событиями.

Звонок, как погребальный колокол, продрался сквозь хохот класса. Харлампий Диогенович поставил мне отметку в журнал и еще что-то записал в свой блокнотик.

С тех пор я стал серьезней относиться к домашним заданиям и с нерешенными задачами никогда не совался к футболистам. Каждому свое.

Позже я заметил, что почти все люди боятся пока-



заться смешными. Особенно боятся показаться смешными женщины и поэты. Пожалуй, они слишком боятся и поэтому иногда выглядят смешными. Зато никто не может так ловко выставить человека смешным, как хороший поэт или хорошая женщина.

Конечно, слишком бояться выглядеть смешным не очень умно, но куда хуже совсем не бояться этого.

Мне кажется, что Древний Рим погиб оттого, что его императоры в своей бронзовой спеси перестали замечать, что они смешны. Обзаведись они вовремя шутами (надо хотя бы от дурака слышать правду), может быть, им удалось бы продержаться еще некоторое время. А так они надеялись, что в случае чего гуси спасут Рим. Но нагрянули варвары и уничтожили Древний Рим вместе с его императорами и гусями.

Я, понятно, об этом нисколько не жалею, но мне хочется благодарно возвысить метод Харлампия Диогеновича. Смехом он, безусловно, закалял наши лукавые детские души и приучал нас относиться к собственной персоне с достаточным чувством юмора. По-моему, это вполне здоровое чувство, и любую попытку ставить его под сомнение я отвергаю решительно и навсегда.

## Мой дядя самых честных правил

Когда ребята с нашей улицы начинали хвастаться своими знаменитыми родичами, я молчал и давал им высказаться.

Военные проходили по высшей категории. Но и среди военных была своя особая, подсказанная мальчишеским воображением субординация. На первом месте были пограничники, на втором — летчики, на третьем — танкисты, а потом остальные. Пожарники проходили вне конкурса.

Тогда еще не было войны, а у меня, как назло, ни один родственник не служил в армии. Но я имел свой особый козырь, которым пользовался довольно успешно.

— А у меня дядя сумасшедший, — говорил я спокойным голосом, отодвигая на некоторое время слишком реальных героев своих товарищей. Сумасшедший — это необычно, а главное, почти недоступно. Летчиком и пограничником можно стать, если хорошо учиться, так, по крайней мере, утверждали взрослые. А они, конечно, знали что к чему. А сумасшедшим не станешь, будь ты самым что ни на есть отличником. Конечно, если не заучиться. Но нам это не грозило.

Одним словом, сумасшедшим надо родиться, или в детстве удачно упасть, или заболеть менингитом.

— А он настоящий? — спрашивал кто-нибудь из ребят недоверчиво.

— Конечно, — говорил я, ожидая этого вопроса. — У него справки есть, его смотрели профессора.

Справки и вправду были, они лежали у тетки в швейной машинке «зингер».

— А почему он не в сумасшедшем доме живет?

— Его бабушка туда не пускает.

— А вы не боитесь его по ночам?

— Нет, мы привыкли, — говорил я спокойно, как экскурсовод, ожидая следующих вопросов. Иногда задавали глупые вопросы, вроде того, не кусается ли он, но я оставлял их без внимания.

— А ты не сумасшедший? — догадывался кто-нибудь спросить, глядя на меня проницательными глазами.

— Немножко могу, — говорил я со скромным достоинством.

— Интересно, кто победит: Фран-Гут или сумасшедший? — бросал кто-нибудь, и сразу же возникали десятки интересных предположений. Фран-Гут был знаменитым бордом из проезжего цирка шапито. Он был негр, и поэтому мы все за него болели.

Дядя жил на втором этаже нашего дома вместе с тетей, бабушкой и остальной родней. Существовали две фамильные версии, объясняющие его не вполне обычное состояние. По первой из них получалось, что это случилось с ним в детстве после болезни. Это была неинтересная и потому маловероятная версия. По второй, которую распространяла тетка и в конце концов заглушила бабушкины воспоминания, оказывалось, что он в ранней юности упал с арабского скакуна.

Тетя почему-то не любила, когда его называли сумасшедшим.

— Он не сумасшедший, — говорила она, — он душевнобольной.

Это звучало красиво, но непонятно. Тетя любила приукрашивать действительность, и это ей отчасти удавалось. Но все-таки он был настоящий сумасшедший, хотя и почти нормальный. Обычно он никого не трогал. Сидел себе на скамеечке на балконе и пел песенки собственного сочинения. В основном это были романсы без слов.

Правда, иногда на него находило. Он вспоминал какие-то старые обиды, начинал хлопать дверьми и бегать по длинному коридору второго этажа. В таких случаях лучше было не попадаться ему на глаза. Не то чтобы он обязательно что-нибудь натворил, но все же лучше было не попадаться. Если при этом бабушка оказывалась дома, она его довольно быстро приводила в себя. Бабка заворачивала ему ворот рубахи и бесцеремонно подставляла его голову под кран. После хорошей порции холодной воды он успокаивался и садился пить чай.

Словарь его, как у современных поэтов-песенников, был предельно сжат. Вытряхните на стол тетрадь второклассника — там будут все слова, которыми дядюшка обходился при жизни. Правда, у него было несколько выражений, которые явно не встретишь в тетради второклассника и даже в книге не встретишь. Он употреблял их, как и нормальные люди, в минуты наибольшего душевного подъема. Из них можно воспроизвести только одно: «Удушю мать».

Говорил он в основном по-абхазски, но ругался на двух языках: по-русски и по-турецки. По-видимому, сочетания слов в память ему врезались по степени накала. Отсюда можно заключить, что русские и турки в минуту гнева выдают выражения примерно одинаковой эмоциональной насыщенности.

Как все сумасшедшие (и некоторые песумасшедшие), он был очень сильным. Дома он выполнял всякую работу, не требующую большой сообразительности. Сливал помой, таскал свежую воду, когда еще не было водопровода, приносил базарные сумки, колот дрова. Работал добросовестно и даже вдохновенно. Когда мощная струя помоев, описав крутую траекторию со второго этажа, глухо шлепалась в яму, бродячие кошки, возившиеся в ней, взлетали, как подброшенные взрывной волной.

Бабушка его жалела, она считала, что он может надорваться на работе. Иногда, в дни генеральной уборки, она насильно укладывала его в постель и объявляла, что он заболел. Она перевязывала ему голову или щеку, и он лежал растерянный и несколько смущенный мистификацией. В конце концов ему надоедало лежать, и он пытался подняться, но бабушка снова заталкивала его в постель. Заставить работать его в такие часы было невозможно. Он пожимал плечами и говорил: «Бабушка не разрешает». Он бабушку называл бабушкой, хотя она ему была мамой. Такой уж он был, со странностями.

Дядя был удивительно чистоплотен. Нам, детям, всегда его ставили в пример. Я с тех пор, как увижу слишком чистоплотного человека, не могу избавиться от мысли, что у него в голове не все в порядке. Я, понятно, ему об этом не говорю, но так, для себя, имею в виду.

Словом, дядя был ужасно чистоплотным. Бывало, не подходи, когда он тащит свежую воду или сумку с провизией или садится есть. А уж руки мыл каждые десять-пятнадцать минут. Его за это ругали, потому что он протирал полотенце, но отучить не могли. Бывало, пошмет ему кто-нибудь руку, он тут же бежит к умывалке. Взрослые часто потешались над этим и нарочно здоровались с ним по многу раз на день. Из какого-то такта дядя Коля не мог не подать руки, хотя и понимал, что его разыгрывают.

Больше всего на свете он любил сладости, из всех сладостей — воду с сиропом. Если нас посылали с ним

на базар и мы проходили мимо ларька с фруктовыми водами, он, обычно не склонный к сантиментам, трогал меня рукой и, показывая на цилиндрики с разноцветными сиропами, застенчиво говорил: «Коля пить хочет».

Приятно было угостить взрослого седоглавого человека сладкой водичкой и чувствовать себя рядом с ним человеком пожившим, добрым и снисходительным к детским слабостям.

А еще он любил бриться. Правда, это удовольствие ему доставляли не так уж часто. Примерно раз в месяц. Иногда его посылали в парикмахерскую, но чаще его брила сама тетка.

Бритье он воспринимал серьезно. Сидел не морщась и не шевелясь, пока тетка немилосердно скребла его намыленную, горделиво приподнятую голову. В такие минуты можно было из-за теткой спины показывать ему язык, грозить кулаком, он не обращал никакого внимания, погруженный в парикмахерский кейф. И это несмотря на то, что борода и особенно волосы на голове, как бы возросшие на целинных землях, густо курчавились и отчаянно сопротивлялись бритве. Иногда тетка просила меня поддержать ему ухо или натянуть кожу на шею. Я, конечно, охотно соглашался, понимая всю недоступность такого удовольствия в обычных условиях. С несколько преувеличенным усердием я держал его большое смуглое ухо, заворачивая его в нужном направлении и рассматривая шишки мудрости на его голове.

Обычно похожий на добродушного пасечника с курчавой бородой, после бритья он резко менялся: лицо его принимало брезгливо-надменное выражение римского сенатора из учебника по истории древнего мира. В первые дни после бритья он становился замкнутым и даже высокомерным, потом постепенно римский сенатор уходил в глубь бороды и выступал добродушный демократизм деревенского пасечника.

Я бы не сказал, что он страдал манией величия, но, проходя мимо памятника в городском сквере, он испытывал некоторое возбуждение и, кивая на памятник, говорил: «Это я». То же самое повторял, увидев портрет человека, поданный крупным планом в газете или журнале. Ради справедливости надо сказать, что он за себя принимал любое изображение мужчины в крупном плане. Но так как в этом виде почти всегда изображался один и тот же человек, это могло быть понято как некоторым образом враждебный намек, опасное направление

мыслей и вообще дискредитация. Бабушка пыталась отучить его от этой привычки, но ничего не получалось.

— Нельзя, нельзя, комиссия, — грозно говорила бабушка, тыкая пальцем в портрет и отлучая дядю от него, как нечистую силу.

— Я, я, я, — отвечал ей дядя радостно, постукивая твердым ногтем по тому же портрету. Он ничего не понимал.

Я тоже ничего не понимал, и опасения взрослых мне казались просто глупыми.

Комиссии дядя действительно боялся. Дело в том, что соседи, исключительно из человеколюбия, время от времени писали анонимные доносы. Одни из них указывали, что дядя незаконно проживает в нашем доме и что он должен жить в сумасшедшем доме, как и все нормальные сумасшедшие. Другие писали, что он целый день работает и надо проверить, нет ли здесь тайной эксплуатации человека человеком.

Примерно раз в год являлась комиссия. Пока члены ее опасно подымались по лестнице, тетя успевала надеть на него новую праздничную рубашку, давала ему в руки бабушкины четки и грозным шепотом приказывала ему сидеть и не двигаться. Члены комиссии, несколько сконфуженные своим необычным делом, извинялись и задавали тетке необходимые вопросы, время от времени поглядывая на дядю со скромным любопытством. Тетя извлекла из зингеровской машинки дядины документы.

— У него золотой характер, — говорила она. — А физический труд ему полезен. Об этом сам доктор Жданов говорил. Да и что он делает? Пару ведер воды принесет от скуки, вот и все.

Пока она говорила, дядя сидел за столом, деревянно сжимая четки, и глядел прямым немигающим взглядом деревенской фотографии.

Перед уходом кто-нибудь из членов комиссии, освоившись и осмелев, спрашивал у дяди:

— Нет ли жалоб?

Дядя вопросительно смотрел на бабушку, бабушка на тетю.

— Он у нас плохо слышит, — говорила тетя с таким видом, как будто это был его единственный недостаток.

— Жалобы, говорю, есть? — громче спрашивал тот.

— Батум, Батум... — задумчиво, сквозь зубы цедил дядя. Он начинал злиться на всю эту комедию, потому

что про Батум он вспоминал в минуты крайнего раздражения.

— Ну какие у него могут быть жалобы? Он шутит, — говорила тетя, очаровательно улыбаясь и провожая комиссию до порога. — Он у меня живет как граф, — добавляла она крепнущим голосом, глядя в спину уходящей комиссии. — Если бы некоторые эфиопки смотрели за своими мужьями, как я за своим инвалидом, у них не было бы времени сочинять армянские сказки.

Это был вызов двору, но двор, притаившись, трусливо молчал.

После ухода комиссии праздничную рубашку с дяди снимали, и тетя, назло соседям, посылала его за водой. Гремя ведрами, он радостно бросился в путь, явно предпочитая коммунальным фокусам свое древнее занятие водоноса.

Больше всего на свете дядя не любил кошек, собак, детей и пьяных. Не знаю, как насчет остальных, но в нелюбви к детям отчасти виноват и я.

За многие годы я хорошо изучил все его наклонности, привязанности, слабости. Любимым занятием моим было дразнить его. Шутки порой бывали жестокими, и я теперь в них каюсь, но сделанного не вернешь. Единственное, что в какой-то мере утешает, это то, что и мне от него доставалось немало тумачков.

Бывало, в сырой зимний день сидим в теплой кухне. Бабушка возится у плиты, рядом дядя на скамеечке, а я сижу на кушетке и читаю какую-нибудь книгу. Потрескивает огонь, посвистывает чайник, мурлычет кошка. В конце концов этот тихий сумасшедший уют начинает надоедать. Я все чаще откладываю книгу и смотрю на дядю. Дядя смотрит на меня своими зелеными персидскими глазами. Он смотрит на меня, потому что знает, что рано или поздно я должен выкинуть какую-нибудь штучку. И так как он знает это и ждет, я не могу удержаться.

Простейший способ нарушить его спокойствие — это долго и пристально смотреть ему в глаза. Вот он начинает ерзать на стуле, потом опускает глаза и рассматривает свои большие руки, но я прекрасно знаю, о чем он думает. Потом он быстро поднимает глаза, чтобы узнать, смотрю я или нет. Я продолжаю смотреть. Я даже занимаю спокойную, удобную позу. Она должна внушить ему, что смотреть на него я намерен долго и это не со-

ставляет для меня большого труда. Он начинает беспокоиться и вполголоса говорит:

— Этот дурачок меня дразнит.

Он не хочет раньше времени подымать ненужный шум. Он говорит для меня. Он как бы репетирует передо мной свою будущую жалобу.

Я продолжаю упорно смотреть. Бедняга отворачивается, но ненадолго. Ему хочется узнать, продолжаю ли я смотреть. Я, конечно, смотрю. Тогда он прикрывает глаза ладонью. Но и это не помогает. Ему хочется узнать, оставил ли я его в покое в конце концов. Он слегка, думая, что я этого не замечаю, растопыривает ладони и смотрит в щелочку. Я гляжу как ни в чем не бывало. Тогда раздражается скандал.

— Он смотрит на меня, я его убью! — кричит дядюшка, и злые огни вспыхивают в его глазах. Я мгновенно отвожу взгляд на книгу, а потом подымаю голову с видом человека, неожиданно оторванного от своих мирных занятий.

— Что же, ему глаза выколоть, что ли? — говорит бабушка и, дав ему легкий подзатыльник, советует не смотреть в мою сторону, раз уж мой вид так его раздражает.

Но иногда, доведенный до ярости более злыми шутками, он сам дает подзатыльники, хватая полено или кочегу, и тогда наступает страшная минута. Особенно если нет рядом бабушки или взрослых сильных мужчин. «Боженька, — шепчу я про себя, — спаси на этот раз, и тогда я никогда в жизни не буду его дразнить. И буду всегда тебя любить и даже вместе с бабушкой тебе молиться. Вот увидишь, ты только спаси». Но, видно, я не слишком надеюсь на боженьку, тем более что каждый раз его подвожу. Несмотря на страх, сознание работает быстро и четко. Бежишь, если дядя еще не отрезал путь к дверям. Но если бежать уже невозможно, единственное спасение — неожиданно подойти к нему и, низко наклонившись, подставить голову: бей. Это довольно жуткая минута, потому что перед тобой вооруженный безумец, да еще в ярости.

Но, видно, эта жалкая поза, эта полная покорность судьбе его обезоруживают. Какое-то врожденное благородство останавливает его от удара. Он мгновенно гаснет. Бывало, только оттолкнет брезгливо и отойдет, в недоумении пожимая плечами на то, что люди могут быть такими дерзкими и такими жалкими одновременно.



Однажды я прочитал замечательную книжку, где шпион притворялся глухонемым, но потом его разоблачили, потому что он во сне заговорил по-немецки. Один наш контрразведчик нарочно выстрелил над его головой, но он даже не вздрогнул. Он был сильной личностью. Но во сне он переставал быть сильной личностью, потому что спал. И вот он заговорил по-немецки, а мальчик его разоблачил. Другой мальчик тоже слышал, как шпион говорит во сне, но не мог его разоблачить, потому что плохо занимался по-немецки и не понял, по-какому тот говорит. Но главное не это. Главное, что шпион притворился глухонемым.

Мысль моя сделала гениальный скачок: я понял, что дядя мой совсем не сумасшедший, а самый настоящий шпион. Единственное, что меня немного смущало, это то, что бабка его помнила с детских лет. Но и это препятствие я быстро опрокинул. Его подменили, догадался я. Сумасшедший дядя был, но шпионы изучили его повадки и словечки и в один прекрасный день дядю выкрали, а вместо него подсунули шпиона. А брезгливым он притворяется нарочно, чтобы его кто-нибудь не отравил.

И вспомнил, что в его поведении было много подозрительного. Иногда он что-то записывал на листках бумаги цветными карандашами. Бумажки эти он тщательно прятал. Я, конечно, заглядывал в них, но раньше они мне казались каракулями неграмотного человека. Здорово же он нас обманывал! А удочка!

Дядя иногда ходил на море ловить рыбу. В этом не было бы ничего странного, ведь и нормальные люди увлекаются рыбной ловлей. Но дело в том, что на удочке его не было крючков. А мы еще смеялись над ним. Может быть, внутри удилица был тайный радиоприемник и он передавал сведения вражеской подводной лодке?

Мозг мой пылал. Мысленно я уже читал в «Пионерской правде» большой заголовок: «Пионер разоблачил шпиона. Дети, будьте бдительны!» Дальше шел мой портрет и рассказ, который начинался такими словами:

«С некоторых пор пионер такой-то (то есть я) стал тихим и грустным. Его близорукие родители (то есть мои родители) считали, что он заболел. На самом деле он обдумывал, как разоблачить матерого шпиона, который долгое время выдавал себя за сумасшедшего дядю. Нелегко было пойти на такой шаг. Но пионер не растерялся. Это

была борьба нервов». И дальше в таком же духе и даже еще лучше.

Первым делом надо было выкрасть удочку и проверить ее. Она лежала у дяди под кроватью. К постели своей он меня близко не подпускал, все из той же якобы брезгливости. Но я воспользовался случаем, когда его послали за водой, вытащил удилище из-под кровати, взял напильник и тайком, в огороде, стал распиливать суставчатое тело бамбука. Я распилил каждое звено, но удилище оказалось пустым. Я не впал в уныние, а обратил внимание на то, что самое первое звено у основания удилища не имело естественной перегородки, она была проломана, и туда можно было просунуть палец. Все ясно! Он туда просовывает свой приемчик, а потом вынимает и прячет. Ну и хитрец! Я закопал удилище в огороде и стал обдумывать, что делать дальше.

Надо было спешить, пока он не обнаружил, что у него пропала удочка. Но вот тетка ушла из дому по своим делам, бабушка вышла на двор посидеть в холодке, я поднялся наверх. Дядя, как обычно, сидел в кухне и, глядя через окно в коридор, следил, чтобы никто из чужих не проник в дом. Я вошел в кухню и сел против него за стол. Главное, решил я, — напор и неожиданность. Он думает, что начну дразнить, а я на самом деле...

— Ваша карьера окончена, полковник Штауберг, — сказал я отчетливо и почувствовал, как на спине моей выступает гусиная кожа, подобно пузырькам на поверхности газированной воды.

Не знаю, откуда я взял, что он полковник Штауберг. Видимо, я доверял интуиции, как и многие гениальные контрразведчики, о которых я читал, в том числе сам майор Пронин.

— Отстань, — сказал дядя мне в ответ тем тоскливым голосом, каким он говорил, когда чувствовал, что и начинаю его дразнить, а у него не было охоты связываться со мной.

Ни один мускул на его лице не дрогнул. «Железный человек», — подумал я, восторженно содрогаясь и продолжая делать то, что положено было делать в эту минуту.

— Вы неплохо сыграли свою роль, но и мы не дремали, — великодушно отдавая дань ловкости врага, сказал я. Слова приходили точные и крепкие, они вселяли уверенность в правоте дела.

— Мальчик сумасшедший, — сказал дядюшка с неко-

торым оттенком раздражения. Он всегда меня называл мальчиком, как будто у меня не было своего имени.

«Увиливает, шельма», — подумал я, задыхаясь от вдохновения, и решил, что пора намекнуть ему кое на что.

— Рыбка не клюет? — спросил я, проникательно улыбаясь и глядя ему в глаза. — Море волнуется или удочка не годится?

— Удочка? — повторил он, и в его тусклых глазах мелькнуло подобие мысли.

— Вот именно, удочка, — сказал я, поняв, что ухватился за то самое звено, при помощи которого можно, не слишком громыхая, вытащить и всю цепь.

— Мои удочка? — повторил он, начиная что-то соображать.

— Вы попались на свою удочку, полковник! — сострил я и, откинувшись на стуле, стал ждать, что будет дальше.

— Удочка, удочка, удушю мать! — пробормотал он в сильном волнении и, что-то окончательно себе уяснив, ринулся к дверям.

— Ни с места! — крикнул я. — Дом оцеплен!

— Батум! — крикнул он и побежал в комнату.

Я немного растерялся. Вместо того чтобы с достоинством сдаться и сказать: «На этот раз вы меня перехитрили, лейтенант...» — он побежал искать удочку, как будто это имело какое-нибудь значение.

Через несколько минут он влетел в комнату, и все перепуталось.

— Украд удочку! — кричал он в ярости, пытаясь схватить меня.

— Добровольное признание облегчит вашу участь! — кричал я в ответ, бегая вокруг стола и сваливая ему под ноги стулья испытанным приемом английской разведки.

— Вор! Удочка! Удушю мать! — кричал он, возбуждаясь от схватки.

— Назовите сообщников! — орал я в ответ, срезая угол стола. В этом было мое спасение, потому что тормозить он не умел и, промахиваясь, пробегал мимо. Все-таки ему иногда удавалось шлепнуть меня через стол или ткнуть кулаком вдогонку.

Я знал, что борьба нервов может быть ужасной, но когда один бьет, а другой только изворачивается, рано или поздно победит тот, кто бьет.

В конце концов я вскочил на кушетку и, отбиваясь ногой, изо всей силы закричал:

— Бабушка!

Она и так уже подымалась по лестнице. Видимо, грохот нашей схватки был слышен во дворе. Увидев ее, бедняга бросился к ней и стал оправдываться. Кстати, это ему почти никогда не удавалось. Нормальному человеку и то трудно оправдаться, а уж такого и слушать никто не хочет.

— Удочка, удочка, — лепетал он, растеряв от волнения и те немногие слова, которые знал.

И вдруг я почувствовал к нему жалость, я как-то понял, что никогда в жизни он не сможет толком оправдаться. А ведь я и в самом деле испортил ему удочку. Но признаться в том, что сам кругом виноват, смелости не хватило. И не только смелости. Я знал, что взрослые привыкли в таких случаях считать его виноватым, и догадывался, что им будет неприятно менять свою удобную привычку и принимать во внимание более сложные соображения.

Я сказал, что он на меня напал, но побить все же не успел. Это был примиренческий выход, к сожалению самый распространенный.

В связях с иностранной разведкой я его больше не подзревал.

Как я ни откладывал, но теперь мне придется рассказать о его великой любви, которую он, к сожалению, никак не мог скрыть от окружающих. Он был влюблен в тетю Фаину. Об этом знали все, и взрослые смачно толковали о его страсти, мало озабоченные тем, что их слушают не вполне подготовленные дети.

Я до сих пор не пойму, почему он выбрал именно ее, самую замызганную, самую конопатую, самую глупую из женщин нашего двора. Я далек от утверждения, что среди них можно было найти Суламифь или Софью Ковалевскую. Но все-таки он выбрал самую некрасивую и самую глупую. Может быть, он чувствовал, что путь между их духовными мирами наименее утомителен?

Тетя Фаина была портнихой. Она обшивала наш двор. В основном ей поручали перешивать старые вещи, детские рубашки, трусы и всякую мелочь.

— Оборочки, манжетки, — говорила она, суетливо обмеривая заказчика сантиметром и стараясь казаться профессионалом.

Шила она, видимо, плохо, да и платили ей за работу очень мало, а иногда и ничего не давали в счет будущих заказов.

— Спасибо, Фаиночка, сочтемся, — говорили ей при этом.

— За спасибо хлеба не купишь, — отвечала она, горестно усмехаясь с некоторой долей отвлеченной обиды в голосе, как бы обижаясь не на заказчиков, а на тех, кто не продает хлеб за спасибо.

В свободное от работы время, а иногда и одновременно с работой тетя Фаина ругалась со своей ближайшей соседкой, одинокой молодой женщиной неопределенных занятий. Знали ее тетя Тамара. Иногда вечерами к ней в гости приходили матросы. Они пели замечательные протяжные песни, а тетя Тамара им подпевала. Получалось очень красиво, но нас почему-то туда не пускали. Соседки не любили тетю Тамару, но побаивались ее.

— Она дерется как мужчина, — говорили они.

Тетя Фаина и тетя Тамара всегда ругались. Дело в том, что они обе были рыжие. А рыжие между собой никогда не уживаются, тем более по соседству. Они терпеть друг друга не могут.

— Рыжая команда! — бывало, кричит тетя Тамара, стоя у бельевой веревки, увешанная прищепками, как пулеметными лентами.

— Ты сама рыжая, — отвечает тетя Фаина вполне справедливо.

— Я не рыжая, я блондинка лимонного цвета, — усмехается тетя Тамара.

— К тебе матросы ходят, — нервничает тетя Фаина.

— Интересно, кто к тебе пойдет? — ехидно говорит тетя Тамара.

— У меня муж есть, — доказывает тетя Фаина, — все знают моего мужа, он честный человек.

— Начхала я на твоего мужа, — как-то обидно говорит тетя Тамара и, развесив белье, удаляется в комнату.

Бедный дядя был влюблен в эту самую тетю Фаину. Как я теперь понимаю, это была самая бескорыстная и долговечная любовь из всех, которые я встречал в своей жизни. Та святая слепота, которая делает мужчину крылатым или сумасшедшим, была обеспечена ему от рождения. Ему ничего не надо было от любимой, только находиться поблизости, видеть ее крымские веснушки цвета

свежей барабульки и слышать ее голос профессиональной плакальщицы.

Когда она приходила к тете что-нибудь шить, он усаживался рядом и смотрел на нее томными глазами.

— И за что только он меня так любит? — говорила она, если у нее было хорошее настроение.

Дядя и дня не мог прожить без нее. Возле комнаты тети Фаины была кухонная пристройка, собственно говоря, базарный ларечек, купленный по дешевке ее мужем. Целыми днями она возилась в этой кухоньке, время от времени выглядывая во двор, чтобы увидеть, кто куда прошел, и стараясь угадать по выражению лиц соседок, не дают ли где-нибудь дефицитных товаров. Когда она выглядывала оттуда, вид у нее был какой-то испуганный, как будто она боялась, что, пока она возится с обедом, может упустить что-то важное для жизни или кто-нибудь ее просто прихлопнет. Такой вид бывает у птицы, которая увлеченно что-то клюет, а потом, вдруг вспомнив про опасность, быстро подымает голову и осторожно озирается.

Так вот, дядя обычно подходил к этой кухоньке с тыльной стороны и, наклонившись к фанерной стене, следил за ней в щелочку. Он ничего не мог увидеть, кроме ее стряпни, но, видимо, этого ему было достаточно. Так он мог стоять часами и наблюдать за ней, пока она не выходила из себя и не кричала тете через весь двор:

— Скажите ему, что у меня есть муж, а то он опять за мной ухаживает.

Тетя гнала его домой и ругала, правда, больше для виду. Застигнутый на месте преступления, бедняга чувствовал постыдность своей страсти и, проходя мимо тети, неопределенно пожимал плечами, показывая, что это сильнее его.

— Купите ему воду с двойной сироп, и пусть он успокоится, — советовала тетя Фаина.

Но, видимо, вода с двойным сиропом была слишком слабым утешением. Через час или два дядя сбегал из-под надзора бабушки и снова проникал в заветный уголок.

Вечером, когда приходил с работы муж тети Фаины, она рассказывала ему о своих дневных горестях, не забывая и дядю. Муж ее был косоглазый сапожник, мирный и добрый человек.

— Я люблю, когда все тихо. Моя жена никому не мешает, — говорил он полугромко, так, чтобы никто не обижался, по было видно, что он защищает свою жену. При этом он затыкал или замазывал замазкой очередную дырочку, пробитую дядей в кухонной стене.

Взрослые часто говорили об этой необычной любви. Видимо, для многих из них она сама по себе была достаточно ненормальным признаком.

Говорили при нем, думая, что он ничего не понимает. Но я уверен, что тут он догадывался, о чем идет речь. В такие минуты я замечал в глазах его выражение страдания и стыда, замечал мелкое дрожание губ, а иногда повольный протестующий жест рукой. Как будто он хотел сказать: отстаньте, как вам не стыдно!

Он любил ее до конца своих дней, так ни разу не удостоившись внимания своей жестокой возлюбленной.

Умер дядя вскоре после бабушки. Он по ней очень скучал и все спрашивал, куда она уехала, хотя она умерла при нем. О смерти ее он быстро забыл, но о жизни помнил, потому что эта жизнь окружала его безумие человеческой теплотой и любовью. Ведь неразумных детей матери любят сильнее — они больше других нуждаются в их защитной любви.

Тетя потом говорила, что перед смертью к дяде пришла ясность ума, как будто судьба на мгновение решила ему показать, каково быть в здравом рассудке. И это вдвойне жестоко, потому что такой короткой вспышки могло хватить только на то, чтобы ощутить всю бесчеловечность перехода из одной пустоты в другую.

Но я думаю, что тете это только показалось. Она любила, чтобы все было красиво, а для этого ей приходилось многое преувеличивать.

Сейчас я жалею, что ничего хорошего ему в жизни не успел сделать. Разве что угощал его сладкой водичкой да в баню с ним ходил. Он очень любил мыться. В бане он ничем не отличался от остальных посетителей и только больше других стеснялся, каким-то библейским жестом руки стараясь прикрыть свою наготу.

Я вспоминаю чудесный солнечный день. Дорога над морем. Мы идем в деревню. Это километров двенадцать от города. Я, бабушка и он. Впереди дядя, мы едва за ним поспеваем. Он обвешан узелками, в руках у него чемоданы, а за спиной самовар. Начало лета. Еще не пыльная зелень и не знойное солнце, а навстречу упру-

гий морской ветерок, дорожной сладостью новизны холодящий грудь. Бабушка попыхивает сигаркой, постукивает палкой, а впереди дядя с солнечным самоваром за спиной. И он поет свои бесконечные песенки, потому что ему хорошо и он чувствует бодрую свежесть летнего дня, заманчивость этого маленького путешествия.

Нет, все-таки жизнь и его не обделила счастливыми минутами. Ведь он пел, и пение его было простым и радостным, как пение птиц.



## Дедушка

Мы с дедушкой на лесистом гребне горы. Жаркий летний день, но здесь тенисто, прохладно. Земля покрыта толстым, слабо пружинящим слоем прошлогодней листвы. Тут и там разбросаны сморщенные ежики кожуры буквых орешков. Обычно они пустые, но иногда попадаются и с орешками. Вокруг, куда ни посмотришь, мощные серебряные стволы буков, редкие кражистые каштаны.

В просвете между деревьями, в дальней глубине — голубой прираок Колхидской долины, огражденной стеной моря, вернее, куском стены, потому что все остальное прикрывает лес.

Дедушка стоит на обрывистом склоне и рубит цалдой, остроносым топориком, ореховый молодняк — то ли для плетня, то ли для новых виноградных корзин. Время от времени он забрасывает наверх подрубленные стволики, я их вытягиваю на тропу и собираю в кучу.

Воздух леса пронизан беспрерывным щебетом птиц. Голоса их только сначала кажутся пеньем, а потом начинаешь чувствовать, что они переговариваются, перекликаются, переругиваются, пересмеиваются, а то и просто перемигиваются.

Иногда со стороны моря доносится какой-то случайный порыв ветра, и тогда тени на земле дробятся, расходятся, между ними пробегают солнечные пятна, а птичий щебет усиливается, словно порыв ветра стряхивает его с деревьев, как дождинки.

Но все это мне скучно, неинтересно. Я стою и жду дедушку. В руке у меня его палка, самодельный посох. Станный он какой-то, мой дедушка. Интерес к нему у меня время от времени вспыхивает, но тут же гаснет. Таинственные следы его долгой-предолгой жизни в самый тот миг, когда, как я надеюсь, они должны привести к военной тропе абрека, неожиданно сворачивают в вонючий козлийный загон или на пахотное поле. Но что-то в нем есть такое, что вынуждает окружающих уважать его, и это уважение мешает им жить так, как они хотят, и они за это его часто ругают.

Все это я вижу и улавливаю детским чутьем, хотя, конечно, объяснить и понять не могу.

Сейчас мы в лесу. Он рубит ореховые прутья, а я смотрю. Рубить ему неудобно, потому что он стоит на обрывистом склоне, а заросли лесного ореха, обвитые густыми плетями ежевики, пониже, до них трудно дотянуться. Иногда, чтобы дотянуть топорик, нужно перерубить целое проволочное ограждение ежевичных плетей. И он перерубает.

Каждый раз, когда он берется за новое препятствие, мне хочется, чтобы у него не получилось. Это потому, что мне скучно и мне хочется посмотреть, что дедушка будет делать, если у него не получится. Но не только это. Я чувствую, что окружающим не хватает примеров дедушкиного посрамления. Я чувствую, что, будь их побольше, многие, пожалуй, решились бы относиться к нему без всякого уважения, и уж тогда им ничего не мешало бы жить так, как они хотят. Я чувствую, что и мне было бы полезно иметь при себе такой примерчик, потому что дедушка и меня заставляет иногда делать что-нибудь такое, чего я не хочу делать, да и взрослым, я чувствую, если при случае бросить в копилочку такую находку, будет приятно. Это все равно, что я подымусь до их уровня, докарабкаюсь, да еще не с голыми руками, а с похвальным примерчиком дедушкиного посрамления, зажатым в старательном кулаке.

Дедушка приканчивает ближайшие заросли и теперь дотягивается до новых, но дотянуться трудно, потому что склон крутой, сыпучий и ногу негде поставить.

Дедушка озирается. Не выпуская из руки топорика, утирает пот с покрасневшего лица, неожиданно пригибается и всей пятерней левой руки ухватывается за одинокий куст рододендрона. Обхватив клешнями пальцами все ветки, он натягивает их в кулаке, как натягивают поводья, и теперь уверенно свешивается в сторону свежих зарослей. Небольшого роста, гибкий, сейчас он похож на ладного подростка, решившего побаловаться над обрывом.

Прежде чем добраться до зарослей, ему нужно перерубить толщиной с веревку ежевичную плеть. Я всем телом чувствую, до чего ему неудобно стоять, свесившись на одной руке и вытянутой другой, едва доставая, тюкать по упругой ежевичной плети. Топорик все время отскакивает, да и удар не тот.

— Дедушка, не перерубливается, — говорю я ему сверху, давая ему возможность почетного отступления. Дедушка молча продолжает бить по пружинящей пле-

ти, а потом говорит, сообразуя свой ответ с ударами топорика:

— Перерубится... Куда ей деться? Перерубится...

И снова тюкает топорик. Я смотрю и начинаю понимать, что в самом деле некуда ей деться. Если б она могла куда-нибудь деться, может быть, дедушка и не угадался бы за ней. А так ей некуда деться. А раз некуда деться, он так и будет ее рубить целый день, а то и два, а то и больше. Мне представляется, как я ему сюда пишу обед, ужин, завтрак, а он все рубит и рубит, потому что деться-то ей некуда.

И ежевичная плеть, кажется, тоже начинает понимать, что она напрасно сопротивлялась. С каждым ударом она все меньше и меньше пружинит, все безвольней опадает под топориком, следы от лезвия все глубже входят в нее. Сейчас она распадется. А дедушка все рубит и рубит. Теперь я надеюсь, что дедушка, не рассчитав последнего удара, шлепнется сам или хотя бы врежет лезвие топорика в каменистую землю. Но плеть распадается, дедушка не падает сам и топорик успеваает остановиться.

Мне скучно, а тут еще комары заедают. Я босой и в коротких штанах, так что они мне все ноги обкусали. Время от времени я до крови расчесываю укусы или бью по ногам хлесткой веткой ореха. Ветка обжигает ноги. Я хлещу и хлещу их с каким-то остервенелым наслаждением.

Потом я забываюсь и начинаю выслеживать отдельных комаров. Вот один сел мне на руку. Слегка поерзал, прилаживаясь к местности, высунул хоботок и стал просовывать его между порами. Хоботок сначала даже слегка загнулся — видно, не туда попал, но потом дошел до крови и тоненькой болью притронулся к ней.

И вот он сидит на моей руке и посасывает мою кровь, а я все терплю, сдерживаю раздражение и смотрю, как постепенно у него живот розовеет от моей крови, раздувается, раздувается и делается багровым. Но вот он с трудом вытаскивает свой хоботок, растопыривает крылья, словно сыто потягивается, готовясь улететь, но тут я его — хлоп! На месте зудящей боли кровавое пятнышко. Вот он, сладостный бальзам мести! Я размазываю, я втираю труп врага в рану, нанесенную им.

Но иногда, стараясь сделать бальзам мести еще слаще, я слишком запаздываю с ударом, и комар преспокойно улетает. И тогда в ярости я хватаю ветку и

изо всех сил нахлестываю свои ноги — пропадите вы пропадом, паразиты!

Дедушка замечает, как я отбиваюсь от комаров, и я чувствую, что на губах у него промелькнула презрительная усмешка.

— Знаешь, как больно, — говорю я ему, уязвленный этой усмешкой, — тебе хорошо, ты в брюках...

Дедушка, усмехаясь, вытягивает из кустарника подрубленный стебель. Тот сопротивляется, гнется, путается ветками в колючках ежевики.

— Как-то приходит Аслан, — начинает дедушка без всякого предупреждения, — к своему другу. Видит — тот лежит в постели.

«Ты что?» — спрашивает Аслан.

«Да вот ногу мне прострелили, — отвечает друг, — придется полежать...»

«Тьфу ты! — рассердился Аслан. — Век не буду в твоём доме. Я думал, его лихорадка скрутила, а он улегся из-за какой-то пули».

И ушел.

Вот какие люди были, — говорит дедушка и перебрасывает мне длинный зелёный прут, — а ты — комары.

И снова застучал топориком. Ну что ты ему скажешь? Ну хорошо, думаю я, я знаю, что раньше в наших краях бывала такая лихорадка, что люди от нее часто умирали. Но почему человек, которому прострелили ногу, не может полежать в постели, пока у него рана не заживет? Этого я никак не могу понять. Может, этот самый Аслан знаменитый абрек и ему что градина по голове, что пуля — один черт.

— Дедушка, он что, был великий абрек? — спрашиваю я.

— Ты про кого? — оборачивает дедушка ко мне свое горбоносое, немного свирепое лицо.

— Да про Аслана, про кого еще, — говорю я.

— Какой он, к черту, абрек. Он был хороший хозяин, а не какой-то там абрек.

И снова затюкал топориком. Опять какая-то ерунда получается. По-дедушкиному выходит, что абрек, то есть герой и мститель, хуже какого-то хозяйчика.

— Да ты сам видел когда-нибудь абреков?! — кричу я ему.

С дедушкой я говорю почти как с равным, словно чувствую, что мы с ним на одинаковом расстоянии от середины жизни, хотя и по разные стороны от нее...

— Чтоб ты столько коз имел, сколько добра они у меня пережрали, — отвечает дедушка, не отрываясь от своего дела.

— Да на черта мне твои козы! — злюсь я. — Ты лучше скажи, за что ты не любишь абреков?

— А почему они у меня сарай сожгли?

— Какой такой сарай?

— Обыкновенный, табачный...

— Да ты расскажи по порядку...

— А что рассказывать? Нагрянуло шесть человек. Три дня их кормили, поили. Прятались в табачном сарае. А на четвертую ночь ушли и сарай сожгли.

— А может, они от карателей следы замечали, — говорю я.

— Да они сами хуже всяких карателей, — отвечает дедушка и сплевывает, — из-за них нас чуть не выслали...

— Почему? — спешу я спросить, чтобы он не останавливался.

— Потому что старшина на сходке в Джгердах объявил, что мы прячем абреков и нас надо выслать, чтобы абрекам негде было прятаться...

— А почему он сказал, что вы прячете абреков?

— Потому что мы их в самом деле прятали, — отвечает дедушка просто.

— Ну а дальше, дедушка?

— На этой самой сходке была моя мама, но старшина ее не заметил, потому что она подъехала попозже. Как только он сказал такое, моя мама, расталкивая сходку, подъехала к нему и давай давить его лошадью и лупцевать камчой, да еще приговаривая: «А ты видел, как мой сын прячет абреков? А ты видел?!»

Трое мужчин еле-еле ее остановили, отчаянная была моя мама.

— Но, дедушка, ты ведь сам сказал, что вы прятали абреков?

— Мало что прятали... Все знали, что прячем. А почему? Потому что живем на самом отшибе. Вот они к нам и приходили. А по нашим обычаям нельзя не впустить человека, если он просится к тебе в дом. А не впустишь, будет еще хуже — или тебя пристрелит, или скотину уведет. Так что выходит — лучше абрека впускать в дом, чем не впускать.

— Дедушка, — прерываю я его, — а как старшина узнал, что у вас бывают абреки?

— Все знали. Да разве такое скроешь? Но одно дело узнать, а другое дело об этом на сходке говорить. Это, по-нашему, считалось предательством. А в наши времена доносчик себе курдюк недолго отращивал. Будь ты хоть старшиной над всеми старшинами, но, если ты доносчик, рано или поздно язык вывалишь...

— Дедушка, — пытаюсь я понять ход его мысли, — но ведь старшина был самый главный в деревне, кому же он доносил?

— Вот самому себе и доносил...

— Дедушка, ты что-то напутал, — говорю я, — так не бывает.

— Ничего я не напутал, — отвечает дедушка, — если старшина знает и молчит или только говорит среди своих родственников, по закону считается, что он ничего не знал. Но если старшина говорит об этом на сходке, по закону считается, что он знает и должен наказать. Вот и выходит, что он доносчик и донес самому себе.

— А-а, — говорю я, — ну а что, старшина потом вам не отомстил?

— Наоборот, — говорит дедушка, — он стал нас уважать. Уж если у них женщины такие дикие, решил он, что же связываться с мужчинами.

Дедушка снова затюкал топориком, а мне вдруг становится тоскливо. Выходит, абреки необязательно гордые мстители и герои, выходит, что они могут сжечь сарай или ни с того ни с сего убить человека? Мне почему-то горько и неприятно, что среди моих любимых героев встречаются мошенники и негодяи. Я чувствую, что это как-то заставляет меня присматриваться ко всем абрекам, что, конечно, оскорбительно для честных и благородных разбойников. Я горестно прохожу перед строем абреков и ищу среди них поджигателя дедушкиного сарая. Я верю в честность большинства из них, но ничего не подделаешь, приходится проверять вывернутые карманы рыцарей. И я чувствую, что рыцари с вывернутыми карманами, даже если и оказались честными, уже не совсем рыцари, и сами они это чувствуют, и от этого мне нестерпимо горько.

Что-то похожее я испытал, когда однажды отец мне сказал, что царь был плохим человеком. Эта весть поразила меня как громом. До этого я считал, что царь людей и царь зверей выбираются по одному и тому же закону. А так как среди зверей считался царем лев, то есть самый сильный, самый храбрый и самый благород-

ный зверь, то я, естественно, считал, что люди в выборе своего царя пользуются не менее разумными признаками.

А еще однажды меня привели в театр. И вот после замечательного зрелища люди почему-то начали хлопать в ладоши, а те, что жили на сцене, теперь просто так вышли и стали раскланиваться. Среди них особенно противным был один человек, которого за несколько минут до этого убили, а теперь он не только бесстыдно восстал из мертвых и как дурак стоял среди живых, у него еще хватило бесстыдства держаться одной рукой за руку своего убийцы, а другой тихо отряхивать себе штаны.

И все они вместе улыбались и кланялись, а я себя чувствовал обманутым и оскорбленным. А глупые зрители почему-то тоже улыбались и хлопали в ладоши, словно приговаривая: «Хорошо вы нас обманывали, нам очень понравилось, как вы нас обманывали...»

И вдруг я замечаю, что в просвете между деревьями появляется корабль. А за ним и другие. Целая флотилия военных кораблей. Они медленно-медленно, оставляя жирный, как бы выдавленный из труб, дым, проползают по миражной стене моря. Застыв от радостного изумления, я слежу за ними. Особенно поражает один, низкий, непомерно длинный, он занимает почти весь просвет между деревьями.

— Дедушка, смотри! — кричу я, очнувшись, и показываю на него пальцем.

Дедушка смотрит некоторое время, а потом снова берет за топорик.

— Это что? — говорит он. — Вот «Махмудья» был такой большой, что на нем можно было скачки устраивать...

— Это что еще за «Махмудья»? — спрашиваю я. Но дедушка не отвечает. Он подхватывает охапку последних прутьев, поднимается с ними по склону и бросает в общую кучу. Дедушка усаживается у края гребня, удобно свесив ноги с обрывистого склона. Он достает из кармана платок, утирает потную бритую голову в коротких седых волосах, прячет платок и затихает, расстегнув на седой груди пуговицы. Я слежу за ним и чувствую, что мне приятно его не окостеневшая по-старчески, а гибкая, живая ладонь со сточенными пальцами, круглая седая голова, и мне приятно само удовольствие, с которым он утирал от пота свою голову, а теперь прохладждает ее. Но я знаю, что он еще должен ответить на мой вопрос, и жду.

— Мы на нем в амхаджира уплывали, — говорит он, задумавшись.

Я уже знаю, что такое амхаджира, — это насильный угон абхазцев в Турцию. Это было давно-давно. Может быть, сто, а то и больше лет прошло с тех пор.

— Дедушка, — говорю я, — расскажи, как вас угоняли?

— А нас и не угоняли, мы сами, — отвечает дедушка.

— Да как же не угоняли, когда и в книжках об этом написано, — говорю я.

— Обманывать обманывали, а угонять не угоняли, — упрямо отвечает дедушка и подымает на меня голову, — да и как ты абхаза угонишь? Абхазец в лес уйдет или в горы. Вот кубанцев, скажем, можно угнать, потому что у них земля голая как ладонь... А нашего не угонишь, потому что наш всегда в сторону свернуть норovit. Во времена первого переселения я был мальчишкой, меня и брать не хотели...

Я усаживаюсь рядом с дедушкой в знак того, что теперь намерен его долго слушать. Дедушка снимает с ног чувяки из сыромятной кожи, вытряхивает из них мелкие камушки, землю, потом выволакивает оттуда пучки бархатистой особой альпийской травы, которую для мягкости закладывают в чувяки. Сейчас он слегка копнит эти пучки в руках и осторожно, как птичьи гнезда, всовывает в чувяки.

— Ну и как вы, дедушка, приплыли? — спрашиваю я и представляю огромный, но простой, как паром, пароход «Махмудья», на котором полно наших беженцев. Они почему-то нисколько не унывают, а, наоборот, время от времени устраивают скачки, а турки, важно перебирая в пальцах четки, следят за скачками.

— Приплыли хорошо, прямо в Стамбул, — вспоминает дедушка, — всю дорогу нас кормили белым хлебом и пловом. Очень нам понравилось это.

— Ну а потом?

— Вышли мы в Стамбуле, но нас там не оставили. Только и увидели мусульманскую мечеть, которая Ай-Софья называется.

— А почему вас не оставили?

— Потому что, сказали нам, в Стамбуле и без того греков и армян много, а если еще абхазцев пустить, так туркам, говорят, некуда будет деться.

— Так куда же вас повезли?

— Повезли в другое место. Вышли на берег, смот-



рим — место голое, каменистое. А нам до этого говорили, что в Турции хлебоносные деревья и сахар из земли прямо, как соль, добывают. А тут не то что хлебоносных деревьев, простой чинары не видно. И вот наши спрашивают у турков:

«А плов с белым хлебом вы нам будете пароходом подвозить, что ли?»

«Никакого плова с белым хлебом, — говорят турки, — мы вам не будем подвозить. Пашите землю, разводите себе коз и живите...»

«Да мы что, сюда пахать приехали?! — рассердились наши. — Пахать мы и у себя могли. У нас и земля лучше, и вода родниковая...»

«Придется пахать», — отвечают турки.

«А что же нам говорили, что в Турции сахар из земли роют, как соль, и хлебные деревья растут?» — не унимаются наши.

«Нет, — говорят турки, — в Турции сахар в земле не водится, потому что, если бы сахар водился в земле, турки бы ее насквозь прокопали, а это бы султан никогда не позволил.»

«Да что султану от этого, хуже, что ли?» — удивляются наши.

«Конечно, хуже, — отвечают турки, — если землю прокопать насквозь, она будет дырявая, как сыр, изъеденный крысами, а кому интересно управлять дырявой страной?»

«Ничего тут страшного нет, — отвечают наши, — дырку можно огородить и объезжать.»

«Не в этом дело, — говорят турки, — дырку, конечно, огородить можно, но другие султаны и даже русский царь будут смеяться над нашим султаном, что он управляет дырявой страной, а это для него большая обида.»

«Выходит, у вас и хлебные деревья не растут?» — догадываются наши.

«Хлебные деревья тоже не растут, — отвечают турки, — зато у нас растут инжировые деревья.»

«Да вы что, турки, с ума посходили! — кричат наши. — Что вы нам голову мутите своими сахарными дырками да инжировыми деревьями?! Да абхазец из-за какого-то инжира не то что море переплывать, со двора не выйдет, потому что у каждого инжир растет во дворе.»

«Ну, — говорят турки, — если вы такие гордые и у вас свой инжир, чего вы сюда приехали?»

«Да нам говорили, — объясняют наши, — что в Турции сахар прямо из земли роют, как соль, и хлебные деревья растут. Вот мы и решили — прокормимся, раз деревья хлебоносные и сахар каждый себе может накопать. Да мы и мусульманство, по правде сказать, из-за этого приняли. Нас царь предлагал охристианить, да мы отказались. Смотрите, турки, мы еще к царю можем податься», — припугивают наши.

«Так чего же вы раньше не подались?» — удивляются турки.

«Оттого не подались, — отвечают наши, — что у царя Сибирь слишком далеко раскинулась и холодная слишком. А мы, абхазцы, любим, когда тепло, а когда холодно, мы не любим».

«Да вам-то что, что Сибирь далеко раскинулась?» — удивляются турки.

«А то, что, — отвечают наши, — у нас обычай такой — арестованных родственников навещать, передачи им передавать, чтобы они духом не падали. А в Сибирь и на хорошей лошади за месяц не доедешь. Так что сколько ни вези передач, сам по дороге слопаешь. Мы и прошение писали через нашего писаря, чтобы для абхазцев Сибирь устроили в Абхазии. Мы даже котловину себе выбрали хорошую, безвыходную. И стражникам удобно — бежать некуда. И нам хорошо — подъехал на лошади и катай себе вниз что вяленое мясо, что сыр, что чурек».

«Ну и что вам царь ответил?» — удивляются турки.

«В том-то и дело, что не ответил, — говорят наши, — то ли писарю мало дали за прошение, то ли царь не захотел Сибирь передвигать...»

Тут турки стали между собой переговариваться, а потом один из них спрашивает:

«Скажите нам, только честно. Правда, что русские снег едят?»

«Спьяну, может быть, — отвечают наши честно, — а так — нет».

«Ну, тогда селитесь, разводите коз и больше нас не заговаривайте», — решают турки.

«Если вы нас здесь поселите, — все-таки приторговываются наши, — мы, пожалуй, сбросим мусульманство, нам оно ни к чему...»

«Ну и сбрасывайте, — обижаются турки, — мы и без вас обойдемся».

«А тогда почему на пароходе нас кормили белым хле-

бом да пловом? — допытываются наши. — Нам очень понравилась такая пища...»

«Это была политика», — отвечают турки.

«Так куда ж она делась, если была? — удивляются наши. — Пусть она еще побудет».

«Теперь ее нет, — отвечают турки. — Раз вы приехали, кончилась политика...»

Но наши не поверили, что кончилась политика, они решили, что турецкие писаря припрятали ее для себя.

«Если так, мы будем жаловаться султану», — пригрозили наши.

«Что вы! — закричали турки. — В Турции жаловаться нельзя, в Турции за это убивают».

«Ну тогда, — говорят наши, — мы будем воровать, нам ничего не остается...»

«Что вы! — совсем испугались турки. — В Турции воровать тоже нельзя».

«Ну, если в Турции ничего нельзя, — отвечают наши, — везите нас обратно, только чтобы по дороге кормили пловом и белым хлебом, а про инжир даже не заикайтесь, потому что мы его все равно в море побросаем».

Но турки нас обратно не повезли, а сами наши дорогу найти не могли, потому что море следов не оставляет. Тут приуныли наши и стали расселяться по всей Турции, а кто и дальше пошел — в Арабистан, а многие в турецкую полицию служить пошли. И хорошо служили, потому что нашим приятно было над турками власть держать, хотя бы через полицию. А я через год так затосковал по нашим местам, что нанялся на фелюгу к одному бандиту, и он меня привез в Батум, а оттуда я пешком дошел до нашего села.

Дедушка замолкает и, глядя куда-то далеко-далеко, что-то напевает, а у меня перед глазами проносятся странные видения дедушкиного рассказа...

— Вот так, — говорит дедушка и, взяв в руки чувяк, разминает его перед тем, как надеть на ногу, — обманывать обманывали, а насильно из нашего села не угоняли...

Я смотрю на крупные ступни дедушкиных ног, на их какое-то особое, отчетливое строение. На каждой ноге следующий за большим палец крупнее большого и как бы налезает на него. Я знаю, что такие ступни никогда не бывают у городских людей, только почему-то у деревенских. Гораздо позже точно такие же ноги я замечал

на старинных картинах с библейским сюжетом — крестьянские ноги апостолов и пророков.

Надев чучяки, дедушка легко встает и раскладывает прутья в две кучи — одну, совсем маленькую, для меня и огромную для себя.

— Дедушка, я больше донесу, — говорю я, — давай еще...

— Хватит, — бормочет дед и, обломав гибкую вершину орехового прута, скручивает ее, перебирая сильными пальцами, как будто веревку сучит. Размочалив ее как следует в руках, он просовывает ее под свои прутья, стягивает узел, ногой прижимает к земле всю вязанку, снова стягивает освободившийся узел и замысловато просовывает концы в самую гущу прутьев, так, чтобы они не выскочили.

Покамест он этим занимается, я стою и жду, положив поперек шеи дедушкин посох и перевалив через него руки. Получается, вроде виснешь на самом себе. Очень удобно.

— Однажды, — говорит дед, сопя над вязанкой, — когда строили кодорскую дорогу, пришли к русскому инженеру наниматься местные жители. Инженер выслушал их, оглядел и сказал:

«Всех беру, кроме этого...»

Дед кивает, как бы показывая на отвергнутого работника.

— Дедушка, а почему он его не взял? — спрашиваю я.

— Потому, что он стоял, как ты, — показывает дедушка глазами на палку.

— А разве так нельзя стоять? — спрашиваю я и на всякий случай все-таки убираю палку с шеи.

— Можно, — отвечает дед, не подымая головы, — да только кто так стоит, тот лентяй, а зачем ему нанимать лентяев?

— Да откуда же это известно? — раздражаюсь я. — Вот я снял палку с шеи, значит, я уже не лентяй, да?

— Э-э, — тянет дед, — это уже не считается, но раз ты держал палку поперек шеи, да еще руки повесил на нее, значит, лентяй. Примета такая.

Ну что ты ему скажешь? А главное, я и сам чувствую, что, может быть, он и прав, потому что, когда я так палку держал, мне ничего-ничего неохота было делать. И даже не просто неохота было ничего делать, а было приятно ничего не делать. Может быть, думаю я,

настоящие лентяи — это те, кто с таким удовольствием ничего не делает, как будто делает что-то приятное. Все же на всякий случай я вонзаю дедушкин посох в землю рядом со своей вязанкой, над которой он сейчас возится.

Теперь две стройно стянутые вязанки ореховых прутьев с длинными зелеными хвостами готовы.

— Пойдем-ка, — неожиданно говорит дедушка и входит в кусты рододендрона по ту сторону гребня.

— Куда? — спрашиваю я и, чтобы не оставаться одному, бегу за ним. Теперь я замечаю, что в зарослях рододендрона проходит еле заметная тропа. Полого опускаясь в котловину, она идет вдоль гребня.

Сразу чувствуется, что это северная сторона. Сумрачно. Кусты рододендрона здесь особенно жирные, мясистые. На кустах огромные, какие-то химпческие цветы. В воздухе пахнет первобытной гнилью, ноги по щиколотку уходят в рыхлую, прохладную землю.

И вдруг среди темной сумрачной зелени, радуя глаза светлой, веселой зеленью, высовываются кусты черники. Высокие, легкие кусты щедро обсыпаны черными дождинками ягод. Так вот куда меня дедушка привел!

Дедушка нагибает ближайший куст, стряхивает на ладонь ягоды и сыплет их в рот. Я тоже стараюсь не отставать. Длинные, легкие стебли только тронешь, как они податливо наклоняются, сверкая глазастыми ягодами. Они такие вкусные, что я начинаю жадничать. Мне кажется, что мне одному не хватит всего этого богатства, а тут еще дедушка, как маленький, ест да ест ягоды. Не успеет общипнуть одну ветку, как уже присматривается, ищет глазами другую и вдруг — цап! — схватился за ветку, полную ягод.

Но вот наконец я чувствую, что больше не могу, уже такую оскомину набил, что от воздуха больно холодит зубы, когда открываешь рот. Дедушка тоже, видно, наелся.

— Смотри, — говорит он и носком чувяка толкает в мою сторону помет, — здесь, видно, медведь бывает... А вот и кусты обломаны.

Я слежу за его рукой и вижу, что и в самом деле кое-где обломаны черничные ветки. Я озираюсь. Место это сразу делается подозрительным, неприятным. Очень уж тут сумрачно, слишком глубоко уходят ноги в вязкую, сырую землю, не особенно разбежишься в случае чего.

А вон в кустах рододендрона, за тем каштаном, что-то зашевелилось.

— Дедушка, — говорю я, чтобы не молчать, — а он нас не тронет?

— Нет, — отвечает дедушка и ломает ветки черники, — он сам не трогает, разве с испугу.

— А чего ему нас пугаться, — говорю я, на всякий случай громко и внятно, — у нас даже ружья нет. Чего нас бояться?

— Конечно, — отвечает дедушка, продолжая наламывать ветки черники.

Все-таки делается как-то неприятно, тревожно. Скорее бы домой. Но сейчас прямо сказать об этом стыдно.

— Хватит, — говорю я дедушке все так же громко и внятно, — мы наелись, надо же теперь и ему оставить.

— Сейчас, — отвечает дедушка, — хочу наших угостить.

Цепляясь за кусты, он быстро взбирается на крутой косогор, где много еще нетронутой черники. Я тоже наламываю для наших черничные ветки, но мне почему-то завидно, что дедушка первым вспомнил о них. Пожалуй, я бы совсем не вспомнил...

С букетами черники снова выбираемся на гребень. После сырого, холодящего ноги, северного склона приятно снова ступать по сухим, мягким листьям. Дедушка приторачивает наши букеты к вязанкам.

Он кладет свою огромную вязанку на плечо, встряхивается, чтобы почувствовать равновесие, и, поддерживая вязанку топориком, перекинутым через другое плечо, двигается вниз по гребню. Я проделываю то же самое, только у меня вместо топорика дедушкина палка поддерживает груз.

Мы спускаемся по гребню. Дедушку почти не видно, впереди меня шумит и колышется зеленый холм ореховых листьев.

Сначала идти легко и даже весело. Груз почти не давит на плечо, ступать мягко, склон не слишком крутой, ноги свободно удерживают тело от разгона, а тут еще возле самого рта играют сверкающие бусинки черники. Можно языком слизнуть одну, другую, но пока не хочется.

Но вот мы выходим из лесу, и почти сразу делается жарко, а идти все трудней и трудней, потому что ступать босыми ногами по кремнистой тропе больно. А тут еще

ветки впиваются в плечо, какая-то древесная труха летит за ворот, жжет и щекочет потное тело. Я все чаще встряхиваю вязанку, чтобы плечо не затекало и груз удобней лег. Но оно снова начинает болеть, вместо одних неудобных веток высовываются другие и так же больно давят на плечо. Я нажимаю на дедушкину палку, как на рычаг, чтобы облегчить груз на плече, и он в самом деле делается легче, но тогда начинает болеть левое плечо, на котором лежит палка. А дедушка все идет и идет, и только трясется впереди меня огромный сноп зеленых листьев.

Наконец сноп медленно поворачивается, и я вижу свирепое дедушкино лицо. Может, он сейчас сбросит свою кладь и мы с ним отдохнем? Нет, что-то не похоже...

— Не устал? — спрашивает дедушка. Вопрос этот вызывает во мне тихую ярость: да я не то что устал, я просто раздавлен этой проклятой вязанкой!

— Нет, — выдавливаю я из себя для какой-то полноты ожесточения, только бы не показаться дедушке жалким, ни к чему не способным.

Дедушка отворачивается, и снова перед глазами волнуется и шумит огромный зеленый сноп. Я почему-то вспоминаю дедушкино лицо в то мгновение, когда он повернулся ко мне, и начинаю понимать, что свирепое выражение у него выработалось от постоянных физических усилий. Сейчас под грузом у него резче обозначились на лице те самые складки, которые видны на нем и обычно. Я догадываюсь, что эта гримаса преодоления так и застыла у него на лице, потому что он всю жизнь что-то преодолевал.

Мы проходим мимо дома моего двоюродного брата. Собаки издали, не узнавая нас, заливаются лаем. Я думаю: может, дедушка остановится, чтобы хоть собаки успокоились, но дедушка не останавливается и с каким-то скрытым раздражением на собак, мне кажется, я это чувствую по тому, как трясется кладь на его спине, проходит дальше.

Я вижу, как из кухни выходит мой двоюродный брат и смотрит в нашу сторону. Это могучий гигант, голубоглазый красавец. Сейчас он стоит на взгорье и видится на фоне неба и от этого кажется особенно огромным. Он с трудом узнает нас и кричит:

— Ты что, дед, совсем спятил — ребенка мучить!

— Бездельник, — кричит ему бабушка в ответ, — лучше б своих чумных псов придержал!

Мы еще некоторое время проходим под холмом, на котором стоит дом моего двоюродного брата, и он еще сверху следит за нами, и я, зная, что он сейчас жалеет меня, и чтоб угодить его сочувствию, стараюсь выглядеть еще согбенней.

А идти все трудней и трудней. Пот льет с меня рекой, ноги дрожат и, кажется, вот-вот согнутся и я растянусь прямо на земле. Я выбираю глазами впереди какой-нибудь предмет и говорю себе: «Вот дойдем до этого белого камня, и я сброшу свою кладь, вот дойдем до этого поворота тропы, а там и отдых, вот дойдем...»

Не знаю почему, но это помогает. Может, дело в том, что, репетируя преодоление последнего отрезка дороги, я оживляю надежду, мечту на отдых, которую мертвит слишком тяжелый, слишком однообразный путь.

Неожиданно бабушка останавливается у изгороди кукурузного поля. Он пригибается и прислоняет свою вязанку к изгороди. Только бы дойти до него, только бы дотянуть...

И вот он снимает с моего плеча вязанку и ставит рядом со своей.

Мы с бабушкой усаживаемся на траву, откинувшись спиной на изгородь. Блаженная, сладкая истома. Позади нас кукурузное поле, впереди на десятки километров огромная равнина, с огромной стеной моря во весь горизонт. Широкий и ровный ветерок тянет с далекого моря, шелестит в кукурузной листве.

— В прошлом году с этого поля взяли сорок корзин кукурузы, — говорил бабушка, — а я здесь брал в самый плохой год шестьдесят...

«Господи, да мне-то что?» — мелькает у меня в голове, и я забываюсь.

До того сладко сидеть, откинувшись спиной на изгородь и потной шеей чувствовать ровный, прохладный ветерок, а то вдруг за пазуху пробьется струйка воздуха или за ворот рубашки и холодком протечет по ложбинке спины. И так странно и хорошо сидеть, вслушиваясь, как тело наполняется и наполняется свежестью и никак не может переполниться, это наполнение как-то сливается с упругим ровным ветерком, с высоким могучим небом, откуда доносится дремотный, мерцающий звон жаворонков, с лениво перепархивающим от стебля к стеблю шелестом кукурузы за спиной.



Я знаю, что дедушка сейчас ждет моего вопроса, но мне неохота разговаривать, и я молчу.

— А почему? — не дождавшись вопроса, сам себе его задает дедушка и отвечает: — Да потому, что я трижды мотыжил, а они дважды, да и то видишь как?

Дедушка легко встает и быстро перелезает через изгородь. Я бы сейчас за миллион рублей не встал с места. Все же я поворачиваю голову и слежу за ним сквозь щели в изгороди.

— Этот надо бы срезать, — говорит дед и вырывает из земли уже рослый стебель кукурузы, — и этот, и этот, и этот...

Даже я сейчас вижу, что мотыжили плохо, траву у корней кукурузы срезали небрежно, просто завалили землей, и теперь она снова проросла. Через несколько минут дедушка перебрасывает через изгородь большую охапку кукурузных стеблей.

— Лентяи, лоботрясы, бездельники, — бормочет дед, приторачивая кукурузные стебли к своей вязанке.

Мне почему-то представляется, что вся деревня сидит в тени деревьев и с утра до вечера слушает всякие истории, и при этом все сидят, закинув свои палки поперек шеи, у всех руки лежат на палках, безвольно свесив кисти. Я смотрю вниз. Под нами котловина Сабида, справа от нее голый зеленый склон, на котором видны отсюда черные и рыжие пятна пасущихся коров. Густой лес темнеет во всю котловину. И только местами зелень светлее — это грецкие орехи. Они выше самых высоких каштанов, светло-зелеными холмами высятся их кроны над лесом.

— Дедушка, — спрашиваю я, — откуда эти грецкие орехи в лесу? Может, раньше там кто-нибудь жил?

— А-а, — кивает дедушка, словно довольный тем, что я наконец-то их заметил, — это я их повсюду рассадил и виноград пустил на каждый орех.

Мне странно, что дедушка, такой маленький, мог посадить такие гигантские деревья, самые большие в лесу. А раньше мне казалось, что когда-то в этих местах жили великаны, но потом они почему-то ушли в самые непроходимые дебри. Может быть, их обидели или еще что — неизвестно. И вот эти грецкие орехи да еще развалины каких-то крепостных стен, которые иногда встречаются в наших лесах, — все, что осталось от племени великанов.

— Когда я сюда перебрался жить, здесь не то что

орехов, ни одного человека не было, — говорит дедушка.

— И ни одного дома? — спрашиваю я.

— Конечно, — говорит дедушка и вспоминает: — Я случайно набрел на это место, здесь вода оказалась хорошая. А раз вода хорошая, значит, жить можно. Когда я вернулся из Турции, мама женила меня на твоей бабушке, а то уж слишком я был легок на ногу. Бабка твоя тогда была совсем девочка. Года два она ложилась с моей мамой, а потом уже привыкла ко мне. А когда мы переехали сюда, у нас уже был ребенок, а из четвероногих у нас была только одна коза и то чужая. Одолжил, чтобы ребенка было чем кормить. А потом у нас все было, потому что я работы не пугался...

Но мне скучно слушать, как дедушка любит работать, и я его перебиваю.

— Дедушка, — говорю я, — ты когда-нибудь лошадей уводил?

— Нет, — отвечает дедушка, — а на что они мне?

— Ну а что-нибудь уводил?

— Однажды по глупости телку увели с товарищем, — вспоминает дедушка, подумав.

— Расскажи, — говорю я, — все как было.

— А что рассказывать? Шли мы из Атары в нашу деревню. Вечер в лесу нас застал. Смотрим — телка. Заблудилась, видно. Ну, мы ее сначала смехом погнали впереди себя, а потом и совсем угнали... Хорошая была годовалая телка.

— И что вы с ней сделали? — спрашиваю я.

— Съели, — отвечает дедушка кратко.

— Вдвоем?

— Конечно.

— Да как же можно вдвоем целую телку? — удивляюсь.

— Очень просто, — отвечает дедушка, — завели ее подалее от дороги. Развели костер, зарезали. Всю ночь жарили и ели. Ели и жарили.

— Не может быть! — кричу я. — Как же можно годовалую телку вдвоем съесть?!

— Так мы же были темные, вот и съели. Даже кусочка мяса не осталось. Помню, как сейчас, на рассвете чисто обглоданные кости вывалили в кусты, затоптали костер и пошли дальше.

— Дедушка, — говорю я, — расскажи такой случай, где ты проявил самую большую смелость.

— Не знаю, — говорит дедушка и некоторое время

смотрит из-под руки в котловину Сабида. Похоже, что он не узнает какую-то корову или не может досчитаться. Но вот успокоился и продолжает: — Я такие вещи не любил, я работать любил.

— Ну все-таки, дедушка, вспомни, — прошу я и смотрю на него. А он сидит рядом со мной, круглоголовый, широкоплечий и маленький, как подросток. И мне все еще трудно поверить, что это он насажал столько гигантских деревьев, что это у него дюжина детей, а было и больше, и каждый из них на голову выше дедушки ростом и все-таки в чем-то навсегда уступает ему, и я это чувствую давно, хотя, конечно, объяснить не в силах.

— Вот если хочешь, — неожиданно оживляется дедушка и спиной, прислоненной к изгороди, нащупывает более удобную позу, — слушай... Однажды поручили мне передать односельчанину одну весть. А он в это время уже был со своим скотом на альпийских лугах. Это в трех-четыре дня ходьбы от нашего села. И вот я пошел. Но как пошел? Сначала обогнал всех, кто со скотом проходил по этой дороге. Потом обогнал всех, кто пешком шел по этой дороге, потом обогнал тех, кто днем раньше вышел со скотом по этой дороге, и ночью обогнал тех, кто пешком днем раньше пустился в путь. А на следующий день утром, когда еще пастухи коров не успели подоить, я подошел к балагану.

— Дедушка, а тех, что днем раньше выехали верхом? — спрашиваю я.

— Тех не успел, — отвечает дедушка.

— И ты ни разу не останавливался?

— Только чтобы выпить воды или кислого молока в пастушеском балагане. Клянусь нашим хлебом и солью — день и ночь шел, ни разу нигде не присев, — говорит дедушка важно и замолкает, положив на колени руки.

И опять я представляю, как дедушка топает по дороге и все, кто вышел перегонять скот, остаются позади, и те, что идут сами по себе, остаются позади, и те, что вышли со скотом днем раньше, остаются позади, и те, что днем раньше вышли сами по себе, остаются позади. Но тех, кто днем раньше выехал верхом, дедушка не достал, да и то, мне кажется, что они все оглядывались и нахлестывали своих лошадей, чтобы дедушка их не догнал.

— Ну ладно, пошли, — говорит дедушка и легко подымается. Подымаюсь и я.

И снова зеленый сноп качается впереди. Солнечные лучи, дробясь и сверкая на свежих листьях, режут глаза, раздражают.

Наконец мы входим в ворота дедушкиного дома. Дедушка открывает ворота и, придерживая ногой, пропускает меня. Собаки с лаем несутся на нас и только вблизи, узнав, притормаживают и отбегают. Мы прислоняем к забору свои вязанки.

На шум из кухни выходит моя тетушка. Она подходит к нам, еще издали придав лицу скорбное выражение, смотрит на меня.

— Умаял, убил, — говорит она, показывая бабке, которая высовывается из кухни, что она жалеет меня и осуждает дедушку.

Мои двоюродный братишка и сестренка валяются на бычьей шкуре в тени грецкого ореха. Сейчас, подняв головы, они смотрят на наши вязанки одинаковым телячьим взглядом. Это погодки года на два, на три младше меня. Мальчик крепыш с тяжелыми веками, а девочка хорошенькая, круглолицая, с длинными турецкими бровями. Почти одновременно догадываясь, вскакивают.

— Лавровишни! — кричит Ремзик.

— Черника, черника, — радостно поправила Зина, и оба, топоча босыми ногами, подбегают к нам.

— Мне! Мне! Мне! — кричат они, протягивая руки к моему букету, который я уже вытащил из вязанки. Разделив поровну, я раздаю им черничные ветки. Две собаки, Рапка и Рыжая, кружатся у ног, бьют по земле хвостами, заглядывают в лицо. Они чувствуют, что мы принесли что-то съедобное, но не понимают, что это для них не годится.

Дети жадно едят чернику, а я чувствую себя взрослым благодетелем.

Тетушка вынимает из вязанки дедушкин букет и, на всякий случай приподняв его повыше, чтобы Ремзик по дороге не цеплялся, проходит в кухню. Она несет букет с таким видом, словно он ей нужен для каких-то хозяйственных надобностей. Все же не выдерживает и, по дороге оципав несколько ягод, бросает в рот, словно из тех же хозяйских соображений: не дай бог, окажется кислятиной.

Дедушка выдергивает из вязанки кукурузные стебли и идет к загону, где заперты козлята. Они уже давно ус-

лышали шум листьев и сейчас нетерпеливо ждут, встав на задние ноги и опираясь передними на плетень. Они заливаются тонким, детским бляньем. Время от времени пофыркивают. Над плетнем торчат кончики ушей и восковые рожки. Дедушка забрасывает охапку кукурузных стеблей в загон, кончики ушей и рожки мгновенно исчезают.

Я чувствую удовольствие от каждого своего движения. Ноги мои чуть-чуть дрожат, плечи ноют, и все-таки я ощущаю во всем теле необыкновенную легкость, облегченность и даже счастье, какое бывает, когда после долгой болезни впервые ступаешь по земле.

Тетушка выносит из кухни кувшин с водой и полотенце. Мы с дедушкой умываемся, тетушка поливает.

Пока мы умываемся, Ремзик, прикончив свою чернику, выхватывает у сестренки последнюю ветку и убегает. Девочка заливается слезами, ревет, глядя на мать бессмысленными и в то же время ждущими возмездия глазами. Тетушка снова начинает ругать деда.

— Чтoб ты подавился своей черникой, на черта она была нужна, — приговаривает она и грозит в сторону сына: — А ты еще захочешь кушать, а ты еще вернешься.

Крепыш, насупившись, стоит за воротами. Видно, что он теперь и сам не рад, потому что чернику уже успел съесть, а время обеда приближается. Из кухни доносится вкусный запах чуть-чуть подгорелой мамалыги.

— Чтo же ты, обещал мне новую ручку приделать к мотыге, а все не делаешь, — бросает тетушка в сторону деда, заходя в кухню.

— Сейчас, — говорит дедушка и подходит к поленнице, где свалено в кучу несколько мотыг и лопат. Он подымает тетушкину мотыгу и одним ударом обуха топорика отбивает лезвие от ручки. Дедушка наклоняется и берет лезвие в руки.

Я захожу в кухню и усаживаюсь у очага рядом с бабушкой. Высоко над огнем в большом чугуне висит готовая мамалыга. Я вытягиваю ноги. Золотистый запах поджаренной мамалыжной корочки нестерпимой сладостью щекочет ноздри. Скорее бы за стол, но тетушка ждет хозяина, как она говорит про мужа. Покамест он не придет, мы за стол не сядем.

— А ну, сукин сын, поди сюда, — зовет дедушка моего брата.

— Чего тебе... — слышится после некоторой паузы.

— Иди, покрутишь мне точильный камень, — говорит дедушка.

— Мамка будет драться, — после некоторого раздумья отвечает мальчик, как бы и матери давая время высказаться по этому поводу.

Но тетушка не высказывается.

— Не бойся, иди, — говорит дед и, зайдя в кухню, наливает в кувшинчик воды, чтобы поливать точильный камень.

У огня ноги моп начинают чесаться, и бабушка обращает внимание на это. Увидев, в каком они состоянии, она всплескивает руками и начинает ругать дедушку. Тут и тетушка подходит ко мне, низко наклоняется над моими окровавленными ногами и тоже начинает ругать дедушку.

— Ничего, — говорю я, — это же комары...

— Господи, пронеси, — говорит бабушка, — да что же он наделал с тобой, проклятый непоседа!

— Мне не больно, бабушка, — говорю я.

— Вот это и плохо, что не больно, — причитает бабушка, — лучше бы болело.

— Что мы теперь скажем его маме? Здорово мы сэкономили ее ребенка, — повторяет тетушка, напоминая, что скоро должна приехать из города моя мама. Бабка ставит у огня чайник с водой.

— Запричитали, дуры, запричитали, — слышится из-за кухни голос деда.

Потом доносится сочный звук металла, трущегося о мокрый точильный камень. Бабка ставит возле меня тазик, наливает туда теплую воду из чайника и наклоняется мыть мне ноги. Мне стыдно, но я знаю, что теперь трудно с ней сладить, и соглашаюсь. Бабка и тетушка продолжают ворчать на деда и жалеть меня.

Мне приходится расстаться с ролью взрослого парня, каким я себя чувствовал, когда вошел во двор со своей поклажей. Мне навязывают состояние угнетенного безжалостным дедом, чуть ли не сиротки. И я постепенно вхожу в него. Я чувствую, что состояние угнетенности не лишено своего рода приятности.

Хотя ноги мои и в самом деле в кровавых ссадинах и немного припухли, я никаких особых страданий не испытываю. Немного печет — вот и все. Но мне уже приятно соглашаться с ними, приятно чувствовать себя страдающим, когда признаки страдания очевидны, а на

самом деле никакого страдания нет, так что сочувствие воспринимается как поэзия чистой прибыли.

Я ощущаю, как тепловатая сладость лицемерия разливается у меня в груди. Ноги мои в крови — значит, я страдаю — таковы правила игры, которую предлагают мне взрослые, и я ее с удовольствием принимаю.

— Ровно крути, — слышится голос дедушки, — еще ровней...

— Что я, мельница, что ли? — ворчит Ремзик.

Снова сочный звук металла, трущегося о мокрый камень.

— Теперь в обратную сторону, — слышится голос дедушки.

— Мне неудобно, у меня рука болит, — ворчит Ремзик, но все же крутит.

— Лоботряс, — говорит дедушка, — я в твоём возрасте...

Бабка подает мне чистую тряпку и выносит тазик с водой. Слышится, как шлепнулась вода о траву. Я вытираю ноги.

Но тут тетке показалось, что кто-то ее кличет. Она замирает, прислушиваясь.

— Тише вы там! — кричит она деду и выбегает во двор.

Она подходит к самой изгороди и слушает. В самом деле чей-то далекий голос.

— Чего тебе, уй! — кричит она своим пронзительным голосом.

В открытую кухонную дверь видно, как она стоит, слегка наклонившись вперед, в позе, поглощающей звук.

— Так гоните ж, гоните! — кричит она, что-то выслушав.

Опять оттуда доносится неопределенный звук, и она замирает, прислушиваясь. Почувствовав, что воздушная связь прочно налажена, точильный камень снова заработал.

— У меня уже рука болит, я не могу, — сдавленным голосом жалуется Ремзик.

— А ты левой, — говорит дедушка.

—левой я не привык, — продолжает ворчать Ремзик.

Снова слышится звук металла, трущегося о мокрый точильный камень.

— Хорошо. передам, хорошо! — кричит тетка и возвращается на кухню.

— Что там случилось? — спрашивает бабушка испуганно. С тех пор как в прошлом году ее сын, дядя Азис, погиб на охоте, она так и не пришла в себя и все боится, что еще что-нибудь случится.

— Ничего, ничего, просто буйвол Датико опять залез в кукурузник, — отвечает тетушка и ставит у огня чугунок с утренним лобio.

Об этом буйволе я уже слышал сто раз. Как только его выпустят, он как сумасшедший бежит прямо на колхозную кукурузу, и никакая изгородь его не может удерживать. Дядя мой работает бригадиром, поэтому сюда и кричат.

— Вернули бы мне три дня молодости, — говорит дедушка из-за дома: оказывается, он все слышал, — я бы показал этому буйволу...

Я думаю над дедушкиными словами и никак не могу сообразить, что бы он показал этому буйволу и почему ему нужно для этого три дня молодости. Потом догадываюсь: дедушка его украл бы и съел. А так как буйвол большой, ему пришлось бы есть его целых три дня. Я представляю, как дедушка сидит в лесу над костром, жарит куски буйволятины и ест. Жарит и ест, жарит и ест, и так целых три дня и три ночи. Потом собирает кости и забрасывает их в кусты, а когда поворачивается, то он уже снова старик, то есть у него волосы опять побелели, а все остальное осталось таким же.

Тетушка быстро и ловко продевает на вертел вяленое мясо, разгребает жар и, присев на низенький стульчик, покручивает вертел на огне, время от времени отворачиваясь от огня — слишком печет. Постепенно мясо зажаривается, покрывается розовой коркой, влажнеет от жира, который начинает по каплям стекать на раскаленные угли. Там, где упадет капля, всплескивается голубой язычок пламени. От вяленого и теперь еще зажаренного мяса подымается такой дух, что просто нет никакого терпения.

— Пепе идет! — кричит Ремзик, первым заметив отца. Так они его почему-то называют. Это сигнал к примирению. Он как бы хочет сказать маме, стоит ли помнить мелкие обиды перед таким общим праздником, как приход отца.

Тетушка выглядывает в дверь и, прислонив вертел с мясом к стенке очага, ставит перед скамьей, на которой мы сидим, низенький деревенский столик.

Дядя Кязым вдруг останавливается посреди двора.



А-а, это он подымает Зину. О ней как-то все забыли. Наревевшись, она не то забылась, не то уснула на зеленой лужайке двора. Сейчас она ковыляет рядом с отцом на кухню.

Сразу же после отца в кухню входят дедушка и Ремзик, чувствуя себя прощенным за свои труды с дедушкой.

Между делом тетушка все-таки успевает достать его таким быстрым, бреющим ударом по голове.

— Ты чего? — удивляется дядя. Обычно он суров, а все-таки не любит, чтобы детей били.

— Он знает чего, — говорит тетушка.

Ремзик обиженно опускает свои бычьи веки, но долго обижаться не приходится, еще без обеда останешься.

Тетушка поливает мужу воду. Дядя медленно моет огромные руки, потом мокрыми ладонями несколько раз проводит по лицу и коротко остриженной голове.

— Опять буйвол Датико залез в кукурузник, — говорит тетушка, поливая, — тебе кричали...

— Гори огнем, — отвечает дядя безразлично и молчит. Потом, вытирая руки, не выдерживает: — Заперли?

— Да, — говорит тетушка и накрывает на стол.

— Кого, буйвола или Датико? — спрашиваю я, потому что как-то неясно, кого следует наказывать: буйвола или его хозяина.

Дядя усмехается, а все остальные смеются. Обидно, что и дети смеются.

— Стоило бы его самого запереть дня на три, — говорит дядя, как бы оправдывая мое предположение.

Мы все сидим в ряд возле очага. В головах дед, потом бабушка, потом дядя, потом остальные. Тетушка мамалыжной лопатой накладывает каждому свою порцию прямо на тщательно выскобленную розовую доску стола. Мамалыга густо дымит. Потом она каждому в тарелочку разливает лобио, разбрасывает по столу снопы зеленого лука, а потом уже более расчетливо делит жареное мясо.

Я не могу удержаться, чтобы тайно, краем глаза не проследить, как она раздает мясо. Все мне кажется, что лучшие куски она раздает своим, мужу и детям. Я знаю, что стыдно за этим следить, но все же не удерживаюсь и подглядываю. Вон и Ремзику, хоть он и провинился, а все же не удержалась и дала ему самый большой кусок мяса и тут же, словно спохватилась, что чаша весов

слишком явно перевесила в его сторону, шлепнула его по лбу ладонью, словно толкнула рукой другую чашу.

Я чувствую, что тетушка знает, что я прослеживаю за ней, и это сковывает ее действия, и она старается скорей закончить раздачу.

— Дали бы мне три дня молодости, — повторяет дедушка с полным ртом, — я бы показал, что сделать с этим буйволом...

— Ну, ты у нас герой, — говорит дядя насмешливо. Я знаю, на что он намекает.

На краю табачной плантации стоит огромное каштановое дерево. Часть веток его отбрасывает тень на плантацию, и на этом месте табак всегда хилый, недоразвитый. С самого начала лета я слышал разговоры о том, что надо бы подрубить ветки этому каштану, но почему-то никто не брался. Правда, влезть на него очень трудно, потому что метров на десять поднимается совсем голый ствол и не за что ухватиться.

Сначала все решили, что на дерево подыметесь заведующий фермой, охотник и скалолаз. Но в это время он был в горах, и решили послать за ним человека, потому что все равно пора было ехать в горы за сыром. Человека послали, заведующий фермой приехал, но, когда ему показали на дерево, он отказался на него влезать, потому что, по его словам, за дичью он может лазить по скалам, как муха по стене, но на этот каштан влезать боится, потому что у него кружится голова от одного взгляда на такие большие деревья. Тогда ему сказали, зачем же он приехал, если у него кружится голова, даже когда он смотрит на такие большие деревья. На это он ответил, что на альпийских лугах он так соскучился по семье, что каштан этот ему показался не таким уж высоким и ветки вроде, казалось, пониже расти начинают. Но теперь, когда он повидался с семьей, он чувствует, что ему не одолеть этот каштан, что он, пожалуй, поедет назад, потому что пастухи без него там загубят весь скот.

Одним словом, заведующего фермой пришлось отпустить, а каштан так и остался со своей раскидистой тенью, и никому неохота было на него лезть, и все почему-то шутили по этому поводу, а то и ругались: пропади он пропадом, весь табак, чтобы еще из-за него на дерево влезать...

Дедушка долгое время все это терпел, и в конце концов, с неделю тому назад, когда утром пришли моты-

жить эту самую плантацию, дедушка уже был на дереве и, привалившись спиной к стволу, молча рубил ветви, обращенные к плантации. Никто не видел, как он залез, но, судя по тому, что он слез при помощи двух остроносых топориков, попеременно вонзая в ствол то один, то другой, предполагали, что он таким же способом и залез на дерево. После этого дедушку не только не хвалили, его дня два просто поедом ели, потому что он мог свалиться с дерева и опозорить семью, люди могли подумать, что дедушку заставляли работать, да еще в колхозе. Об этом и напоминал сейчас дядя.

Все заняты едой. Редко, редко перекинутся словом. Дедушка с жадным удовольствием мнет в пальцах мамалыгу, сочно кусает зеленый лук, яростно рвет все еще крепкими зубами упругие куски вяленого мяса; дядя ест вяло, словно печаль какой-то неразрешенной задачи навсегда испортила ему аппетит и он каждый раз заставляет себя есть.

Тетушка, я знаю, тоже ест с удовольствием, но ей приходится скрывать это от насмешливого мужа. И она все время сдерживается, просто почти не жует, а прямо-таки заглатывает непрожеванные ломти, чтобы не создавать суеты пережевывания. Временами мне делается страшно — до того огромные куски ей приходится заглатывать.

Но вот мы поели, вымыли руки. У дяди, как у всех людей, которые плохо едят, есть свое лакомство. Он любит сухую корочку, которая прижаривается к чугунку после мамалыги. Сейчас он ее не спеша соскребает, выколупливает ножом. Сам хрустит и нас угощает.

Тетушка укладывает в плетеную корзину обед для старшей дочки. Она осталась в табачном сарае, где вместе с другими девушками и женщинами нижет табак. Понесет его Зина. Она натягивает на себя зеленое праздничное платье, обувается в сандалии. Все-таки как-никак на люди выходит.

С корзинкой в руке с какой-то девичьей пристойностью она переходит двор и, оглянувшись, сворачивает на тропу.

— Не бойся, я здесь стою, — говорит тетушка, следя за ней с веранды.

Зина исчезает за изгородью, а через несколько минут, когда она доходит до самого страшного места, где особенно густо обступают тропу заросли ежевики, папорот-

виков, бузины, вдруг раздается ее голос. Отчаянно фальшивя, она поет неведомо как залетевшую в горы песенку, которая почему-то и тогда казалась устаревшей:

Нас побить, побить хотели,  
Нас побить пытались,  
Но мы тоже не сидели,  
Того дождался...

И вдруг не выдержала, побежала, встряхивая и раскатывая слова песенки.

— Понесло, — говорит тетюшка, улыбаясь голосом. Вдохнув и помедлив, входит в кухню.

Слышно, как дедушка возится на веранде, обтачивая новую ручку для тетюшкиной мотыги. Чувствуется, что после еды у него хорошее настроение, он что-то напевает себе и строгаёт ручку.

— Наелся мяса и поет, — говорит дядя насмешливо, кивая в сторону деда.

И вдруг дедушка замолкает. Может, услышал? Мне делается как-то неприятно.

Я люблю дядю. Я знаю, что он самый умный из всех знакомых мне людей, и я знаю, что ему не мясо жалко, просто он завидует дедушкиной безмятежности. Сам он редко бывает таким, разве что во время пирушки какой-нибудь...

Но сейчас вдруг горячая жалость к дедушке пронизывает меня. «Дедушка, деду, — думаю я, — за что они тебя все ругают, за что?..»

В тишине слышно старательное сопение дедушки и сочный звук стали, режущей свежую древесину: хруст, хруст, хруст...

## Лошадь дяди Кязыма

У дяди Кязыма была замечательная скаковая лошадь. Звали ее Кукла. Почти каждый год на скачках она брала какие-нибудь призы. Особенно она была сильна в беге на длинные дистанции и в состязаниях, которые, кажется, известны только у нас в Абхази, — чераза.

Суть чераза состоит в том, что лошадь разгоняют и заставляют скользить по мокрому полю. При этом она не должна спотыкаться и не должна прерывать скольжения. Выигрывает та, которая оставляет самый длинный след.

Возможно, это состязание вызвано к жизни условиями горных дорог, где умение лошади в трудную минуту скользить, а не падать, особенно ценно.

Я не буду перечислять ее стати, тем более что ничего в них не понимаю. Я ушел от лошади, хотя и не пришел к машине.

Внешность Куклы помню хорошо. Это была небольшая лошадь рыжей масти с длинным телом и длинным хвостом. На лбу у нее было белое пятнышко. Одним словом, внешне она мало отличалась от обычных абхазских лошадей, но, видно, все-таки отличалась, раз брала призы и была всем известна.

Днем она паслась в котловине Сабида или в ее окрестностях. К вечеру сама приходила домой. Неподвижно стояла у ворот, время от времени прядая маленькими острыми ушами. Дядя выносил ей горстку соли и кормил ее с руки, что-то тихо приговаривая. Кукла осторожно дотягивалась до его ладони, раздувала ноздри, страшно косила фиолетовым глазом с выпуклым белком, похожим на маленький глобус с кровавыми меридианами.

Во время прополки кукурузы дядя собирал срезанные стебли, и вечером лошадь хрустела свежими листьями молодой кукурузы.

Тетя Маница, дядина жена, иногда ворчала, что он только и занят своей лошадью целыми днями. Это было не совсем так. Дядя был хорошим хозяином. Я думаю, что тетя Маница слегка ревновала его к лошади, а может, ей было обидно за коров и коз. Впрочем, кто его знает, почему ворчит женщина.

Иногда Кукла не возвращалась из котловины Сабида,

и дядя, как бы поздно ни узнавал об этом, сейчас же подпоясывался уздечкой, топорик через плечо и уходил искать. Бывало, возвратиться поздно ночью по пояс в росе или весь мокрый, если дождь. Присядет у огня, греется. Красивая, резко высеченная большая голова, неподвижно растопыренные пальцы. Сидит успокоенный, главное дело сделано — Кукла найдена.

В жаркие дни дядя водил ее купать. Стоя по пояс в ледяной воде, он окатывал ее со всех сторон, расчесывал гриву, выдергивал репы и всякую труху.

— Мухи заедают, — бормотал он и соскребал с ее живота пригоршни твердых, нагло упирающихся мух.

В воде Кукла вела себя более спокойно. Она только изредка дергалась и не переставала дрожать.

Стоя на берегу ручья, я любовался дядей и его лошадью. Каждый раз, когда он наклонялся, чтобы плеснуть в нее водой, на его худом, костистом теле прокатывались мускулы и выделялись ребра. Иногда к его ногам присасывались пиявки. Выходя из воды, он спокойно отдирал их и одевался. Этих пиявок мы смертельно боялись и из-за них не купались в ручье.

После купания дядя иногда сажал меня на Куклу, брал в руки поводья, и мы подымались вверх, к дому. Тропинка была очень крутая, я все время боялся соскользнуть с мокрой лошадиной спины, всеми силами прижимался ногами к ее животу и крепко держался за гриву. Ехать было мокро и неудобно и все-таки приятно, и я держался за лошадь, испуганно радуясь и смущаясь оттого, что чувствовал ее отвращение к седоку и смутно сознавал, что это отвращение справедливо. Каждый раз, как только ослабевали поводья, она поворачивала голову, чтобы укусить меня за ногу. Но я был начеку. Обычно мы таким образом подходили к воротам, и я слезал с лошади, празднично возбужденный оттого, что катался на ней, и еще больше оттого, что теперь, целый и невредимый, стою на земле.

Однажды мы так же подъехали к воротам, и вдруг с другой стороны двора появился один из наших соседей, которого почему-то особенно не любили собаки. Они ринулись в его сторону.

— Пошел! Пошел! — закричал дядя, но было уже поздно. — Держи! — Он метнул мне поводья.

Мне кажется, лошадь только этого и ждала. Я это почувствовал раньше, чем она повернула голову. Я вцепился в поводья изо всей силы. Она стала поворачивать

голову, и я понял, что удержать ее так же невозможно, как остановить падающее дерево. Она пошла сначала рысью, и я, подпрыгивая на ее спине, все еще пытался сдержать ее. Но вот она перешла в галоп, плавно и неотвратно увеличивая скорость, как увеличивает скорость падающее дерево. Замелькало что-то зеленое, и ударил сумасшедший ветер, словно на этой скорости была совсем другая погода.

Не знаю, чем бы это кончилось, если б не мой двоюродный брат. Он жил на взгорье, недалеко от дяди, и, услышав собачий лай, вышел посмотреть, что случилось. Он увидел меня, выбежал на тропу, закричал и замахал руками. В нескольких метрах от него Кукла остановилась как вкопанная, и я, перелетев через ее голову, упал на землю.

Я вскочил и удивился, что снова попал в тихую погоду. Неожиданный толчок прервал мое удивление. Что-то опрокинуло меня и поволокло по земле. Но тут подскочил мой брат, выхватил из рук поводья и стал успокаивать Куклу. Оказывается, я от страха так вцепился в поводья, что не мог разжать пальцы, даже после того как упал.

С тех пор дядя меня на Куклу больше не сажал, да и я не просился. И все же я не только не охладел к ней, но, наоборот, еще больше полюбил. Ведь так и должно было случиться — она знаменитая лошадь и никого не признает, кроме своего хозяина.

Надо сказать, что даже самому дяде она давалась не просто. Чтобы надеть на нее уздечку, он медленно подходил к ней, вытягивал руку, говорил что-то ласковое, а дотянувшись до нее, поглаживал ее по холке, по спине и наконец вкладывал в рот железо. Такими же плавными, замедленными движениями пасечники вскрывают ульи.

Обычно, когда дядя подходил к ней, Кукла пятилась, задирала голову, отворачивалась, вся напряженная, дрожащая, готовая рвануться от одного неосторожного движения. Казалось, каждый раз она со стыдом и страхом отдавалась в руки своему хозяину.

Иногда днем, когда мы ходили в котловину Сабиды за черникой или лавровишней, мы ее встречали в самых неожиданных местах.

Бывало, окликнешь ее: «Кукла, Кукла!» Она остановится и смотрит долгим, удивленным лошадиным взглядом. Если пытались подойти, она удирала, вытянув свой

длинный красивый хвост. Вдали от дома она совсем дичала.

Бывало, где-нибудь в зарослях ежевики, лесного ореха, папоротников раздавался неожиданный хруст, треск, топот. Леденя от страха, ждем: вот-вот на нас набросится дикий кабан. Но из-за кустов вырывается Кукла и, как огненное видение, пронесется мимо, и через мгновение далеко-далеко затихает топот ее копыт.

— Куклу не видели? — спрашивал дядя, заметив, что мы возвращаемся из котловины Сабида.

— Видели, — отвечали мы хором.

— Вот и молодцы, — говорил он довольный, словно то единственное, что можно было сделать в котловине Сабида, мы сделали, а об остальном и спрашивать не стоит.

Мы все в доме, хотя дядя об этом никогда не говорил, чувствовали, как он любит свою лошадь. Надо сказать, что и Кукла, несмотря на свою дикость, любила по-своему дядю. Вечерами, когда она стояла у ворот, только слышит его голос, сразу же поворачивает голову и смотрит, смотрит...

Иногда днем дядя ловил Куклу и приезжал на ней, сидя боком — ноги на одну сторону. У него это получалось как-то молодо, лихо. Эта молчаливая шутка была особенно приятна, как бывала приятна неожиданная улыбка на его обычно суровом лице.

Видно было, что у него хорошее настроение, а хорошее настроение оттого, что предстояла особенно дальняя и интересная поездка. Дядя привязывал Куклу к яблоне. Подогревал кувшинчик с водой, брился, мыл голову. Тетя Маница начинала ворчать, но слова ее отлетали от него, как градины от бурки, которую он, переодевшись, набрасывал на себя.

И вот он перекидывает ногу через седло, усаживается поудобней, в руке щеголеватая камча. Статный, сильный, он некоторое время медлит посреди двора, отдавая последние хозяйские распоряжения. Легко пригнувшись, сам себе открывает ворота и удаляется быстрой рысью. В эти минуты нельзя было не залюбоваться им, и только тетушка продолжала ворчать и делать вид, что не слушает его и не смотрит в его сторону. Но и она не удерживается. А в руках сито, или забытая вязанка хвоста, или еще что. Грустно ей чего-то, а чего — мы не знаем.

...Война подходила все ближе и ближе. Где-то за пе-



ревалом уже шли бои, и, если прислушаться, можно было услышать отдаленный, как бы уставший грохот канонады. В деревне почти не осталось молодых парней и мужчин.

Однажды председатель объявил, что временно мобилизуются все ослики и лошади для перевозки боеприпасов на перевал. Сначала забрали всех осляков, а потом назначили день, когда будут брать лошадей, чтобы их подготовили и держали дома.

Нашему вечером дядя загнал Куклу во двор, а утром ее уже не выпустили.

В этот же день рано утром приехал из соседней деревни известный лошадиник Мустафа. Это был человек небольшого роста, с коротенькими кустистыми бровями, из-под которых, как настороженные зверьки, выглядывали глаза.

Мы поняли, что он приехал неспроста. В честь его приезда зарезали курицу, и тетка поставила на стол алычовую водку.

— Про мобилизацию, конечно, знаешь? — спросил он.

— Конечно, — ответил дядя.

— Как решил? — Мустафа облизнул губы и, стараясь не опережать дядю, осторожно приподнял рюмку.

— Сам видишь, — дядя кивнул во двор, — придется отдать.

— Дурное дело, — сказал лошадиник и без всякого перехода: — За твой дом, за старых и за малых, за всю семью!..

— Спасибо...

Выпили и некоторое время молча ели. Дядя, как всегда, вяло, без интереса. Гость, наоборот, с удовольствием. Мы, дети, сидели в сторонке, жадно прислушивались и жадно глядели, как гость сокрушает лучшие куски курятины.

— Знаю, что дурость, но куда податься...

— Сегодня же найду тебе — сдай другую...

— Неудобно, все знают мою Куклу...

— Не мне тебя учить, но...

— За твоих близких, которые там, чтобы все вернулись! — Дядя кивнул в сторону перевала.

— Спасибо, Кязым. Судьба — вернется. Нет — что поделаешь...

Снова выпили. Гость вновь заработал жирными челястями.

— Учти, что, если лошадь и вернется, это будет не та лошадь.

— Что поделаешь — меблизация, азакуан.

— Слышал, чтоб они понимали наших лошадей? Они и своих лошадей не понимают.

— Что поделаешь...

— Азакуан требует лошадь, а не Куклу...

— Но люди знают...

— Хлеб-соль прикроет любой рот.

— Мустафа, ты это видишь? — Дядя приподнял в руке белый ломтик сыру.

— Вижу, — сказал Мустафа, и зверечки под его густыми бровями забеспокоились.

— Ты знаешь, во что он превратится после того, как я его съем?

— Ну и что?

— И все-таки мы его хотим есть чистым и белым. Иначе не хотим. Так и это, Мустафа.

— Говоришь как мулла, а лошадь губишь.

— Знаю, но так лучше. — И вдруг неожиданно горько добавил: — В этой чертовой жаровне наши мальчики стоят по колено в огне, а что лошадь... Лучше выпьем за них.

— Конечно, выпьем, но азакуан что говорит? Он говорит...

Я помню, как пронзила меня неожиданная горечь дядиных слов. Может быть, потому, что обычно он говорил насмешливо, безжалостно. Вот так, бывало, редко улыбался, но улыбнется — и радость вспыхнет, как спичка в темноте.

Допив водку, они вымыли руки и вышли во двор. Дядя Кязым, высокий и унылый, а рядом — лошажник, маленький и бодрый, с крепким красным затылком.

Дядя поймал Куклу и надел на нее уздечку. Мустафа подошел к лошади, потрепал ее. Потом стал почему-то толкать ее назад. Я даже испугался, думал, что он пьяный. Потом он неожиданно нагнулся и начал подымать ей переднюю ногу. Кукла всхрапнула и потянулась укусить его, но он небрежно отмахнулся от нее и все-таки заставил поднять ногу. Стоя на четвереньках и посапывая, он осмотрел каждое копыто. Сначала передние ноги, потом задние. Когда он подошел к ней сзади, я думал: тут она ему отомстит за его нахальство, но она почему-то его не лягнула. Даже когда он схватил ее за хвост и протер хвостом копыто, чтобы как следует

рассмотреть подкову, она не ударила его, а только все время дрожала.

— Стоит перебить передние, — сказал он, вставая, — сам знаешь, дорога на Марух...

Дядя вынес из кухни ящик с инструментами. «Зачем он возится с ней, раз она ему не достанется?» — думал я, глядя на Мустафу и пытаясь постигнуть сложную душу лошади.

Куклу отвели под тень яблони, где была привязана лошадь Мустафы.

— Что у вас за мухи — мою лошадь загрызли! — сердито удивился Мустафа, оглядев свою лошадь.

— Это у нас от коз, — сказал дедушка. Он подошел помогать.

Дядя держал Куклу, коротко взяв ее под уздцы. Маленький лошадиный ловко стал на одно колено, приподнял лошадиную ногу и стал выковыривать из подковы ржавые гвозди. Он порылся в ящике и, набрав оттуда целый пучок гвоздей для подков, как фокусник, сунул их в рот и зажал губами. Потом он вынимал их оттуда по одному и двумя-тремя ударами вколачивал в безвольно повернутое копыто лошади.

После каждого удара Кукла вздергивалась, и волна дрожи пробегала по ее телу, как круги по воде, если в нее швырнуть камень.

— Кукла-а, — приговаривал дядя, чтобы успокоить ее и дать знать, что видит все, что делается.

Вторую подкову, отполированную травой и камнями, Мустафа почему-то снял и заменил ее новой, но ржавой, из дядино ящика. Пока он возился, Кукла несколько раз хлестанула его кончиком хвоста. Каждый раз после этого он подымал голову и, не выпуская изо рта гвозди, сердито мычал, словно не ожидая от нее такого ребячества.

— Теперь хоть к самому дьяволу скачи! — сказал он и, бросив молоток в ящик, выпрямился.

Дядя взял ящик одной рукой и как-то нехотя отнес его домой. Даже по спине его видно было, до чего ему нехорошо. Куклу привязали рядом с лошадью Мустафы.

Снятая подкова блестела, как серебряная, я заслонил ее, чтобы потом незаметно поднять, но дедушка отодвинул меня и поднял ее сам. Он тут же прибил ее к порогу — на счастье. Там уже была прибита другая подкова, но она порядочно протерлась, а эта даже в тени

блестела как серебряная. Может быть, дед решил, что пришло время обновлять счастье.

Мустафа уезжал. Дядя поддерживал его лошадь под уздцы. Лошадник крепко ухватился руками за скриннувшее седло и вдруг замер.

— Может, переседлаем? — сказал он, как бы собираясь сорвать седло со своей лошади и перенести его на дядину.

С яблони сорвалось яблоко и, глухо стукнувшись о траву, покатилося. Кукла вздрогнула. Я преследил глазами за яблоком, чтобы потом поднять его. Оно остановилось у изгороди, в зарослях сорняка.

— Не стоит, Мустафа, — сказал дядя Кязым, подумав.

Мустафа вскочил на свою лошадь.

— Всего, — сказал он и тронул ее камчой.

— Хорошей дороги, — сказал дядя и отпустил поводья только после того, как лошадь тронулась, чтобы не казалось, что хозяин спешит избавиться от своего гостя.

Мустафа скрылся за поворотом дороги, дядя вошел в дом, а я вспомнил про яблоко и, подойдя к изгороди, раздвинул ногой заросли сорняка. Яблока там не оказалось. Я сначала удивился, но потом увидел свинью. Она похаживала по ту сторону изгороди, прислушиваясь к шороху в листьях яблони. Видно, она просунула морду сквозь прутья плетня и вытащила мое яблоко. Я прогнал ее камнями, но это было бесполезно. Она остановилась невдалеке, продолжая следить не столько за мной, сколько за яблоней, что было особенно обидно.

Весь этот день дядя лежал в комнате и курил. Длинный, худой, он курил, глядя в потолок, и лежал как опрокинутый. Тетка Маница не ренчалась его беспокоить и сама занималась всеми хозяйскими делами. Время от времени она посылала нас посмотреть, что делает дядя. Мы проходили в огород и оттуда через окошко смотрели на дядю. Он ничего не делал, только лежал и курил, глядя в потолок, все такой же длинный, опрокинутый.

— Что он там делает? — спрашивала тетка, когда мы возвращались на кухню.

— Ничего, только курит, — говорили мы.

— Ну ничего, пусть курит, — отвечала она и, быстро скрутив длинную тонкую сигарку, закуривала сама, озираясь на дверь, чтобы не увидел дед.

К вечеру пришел парень из сельсовета и спокойно,

как человек, привыкший ходить по чужим дворам, отбиваясь палкой от собак, прошел на кухню. Все знали, зачем он пришел, и он знал, что все об этом знают, но для приличия он сначала говорил про всякую ерунду. Дядя так и не вышел из комнаты, хотя тетка тайком посылала за ним. В конце концов парень объявил о цели своего прихода, сделав при этом постную мину горюестника. С этой же постной миной горюестника он взял Куклу за повод и повел ее со двора. Он вел ее на предельно вытянутых поводьях, словно удлиняя расстояние между собой и лошады, молча втолковывая нам, что она имеет дело не с ним, а с законом. Но, пожалуй, он это делал слитным явном, и потому мы, дети, все очень доверились ему. Мы чувствовали, что во дороге от косянна к закону он что-нибудь скрывает для себя самого.

Как только он вышел со двора, мы вбежали в огород и, прячась в кукурузе, следили за ним. Так оно и оказалось. Недалеко от дома он остановился у большого камня, осторожно влез на него и оттуда сврыгнул на шею лошади. Кукла завизжалась, но опрокинуть его не смогла. В маиник краях слишком многие хорошо ездят.

— Моблизация! — крикнул он, не во попуская лошади, те во оправдываясь, и поскакал. До сельсовета было пять километров.

Мы постояли еще немного, покамест не смолк звук лошадиных копыт, и потом тихо вернулись во двор.

Через несколько дней после того как дядя взял на заготовку леса, в котловине Сабиды медведь зарезал соседскую корову. Она долго редела, наверное, звала на помощь, во спуститься было некому. Мы все столпились у края котловины и слушали. Больше часа длился этот жуткий рев, придавленный темемью котловины и нашим страхом. Потом он стал слабеть и удлиняться. Казалось, голос коровы уже не пытался вырваться к людям наверх, а стекал вместе с кровью по днищу котловины. Потом он превратился в еле слышный стон, и этот стон был еще страшнее, чем рев. К нему особенно настойчиво и долго прислушивались, стараясь не спутать его с другими звуками ночи, а главное — не упустить его, словно остротой слуха отдаляли мгновение смерти. Наконец все замолкло, а потом стало слышно, как за перевалом отдаленно грохочет война.

Несколько дней после этого скотина, проходя мимо того места, где была растерзана корова, редела, вытягивая морды и принохивалась к следам крови. Казалось,

животные давали прощальный салют своему погибшему товарищу. Потом дождь смыл следы крови, и они успокоились.

Дядя, вернувшись домой, устроил в лесу засаду и несколько почей подкарауливал медведя, но он больше не появлялся.

Шли дни. Про лошадь дядя не говорил, и мы при нем о ней не вспоминали, потому что тетка нас предупредила об этом. И без того не слишком разговорчивый, он стал еще более молчаливым. Бывало, хлопнет за ним калитка, тетка посмотрит ему вслед и вздохнет: «Скучает наш хозяин».

Однажды я встал раньше всех, потому что накануне заметил на дереве несколько инжиров, которые должны были поспеть за ночь. Выхожу на веранду и не верю своим глазам: у ворот стоит лошадь.

— Кукла! — закричал я, замирая.

— Не может быть! — радостно отозвалась тетка из комнаты, словно она только и ждала моего возгласа.

Я спрыгнул с крыльца и побежал к воротам.

Через минуту взрослые и дети все столпились у ворот. Дядя вышел последним. Он спокойно прошел двор своей легкой походкой. Было заметно, что он старается выглядеть спокойным. Возможно, он стеснялся нас или думал, что радость может оказаться преждевременной.

Лошадь впустили во двор. Она прошла несколько шагов и нерешительно остановилась перед дядей. Он обошел ее, внимательно оглядывая. Только теперь мы заметили, какая она худая и смертельно усталая. Когда она сошла с места, рой мух со злобным гудением слетел с ее спины и потом снова уселся ей на спину, как стая лилипутских стервятников. Спина лошади оказалась стертой.

— Кто ее знает, что она там перевидела, — прервал дедушка общее молчание, как бы оправдывая лошадь.

— Чоу! — Взмахнув рукой, дядя согнал ее с места.

Кукла отошла на несколько шагов, остановилась, постояла и вдруг оглянулась на дядю.

— Чоу! — Снова взмахнув рукой, он согнал ее с места и посмотрел ей вслед.

Рану на ее спине он презрительно не замечал, словно то, к чему он приглядывался и прислушивался, было куда важнее всяких ран.

Кукла опять сделала несколько шагов и нерешительно остановилась. Все молчали, и, словно испугавшись

общего молчания, лошадь снова оглянулась на хозяина.

— Чоу! — прикрикнул он на нее еще раз, и она опять сошла с места, сделала несколько шагов и обреченно остановилась.

Больше она не оглядывалась. Мухи снова слетели с ее спины и снова уселись на рану, но дядя эту рану еще более презрительно не замечал, как будто лошади нарочно протерли спину, чтоб отвлечь его внимание от того главного, что с ней случилось.

— Перестань, — тихо сказал дедушка, хотя он ничего не делал.

— Порченная, — устало ответил дядя, — надорвалась... — Он повернулся и пошел в дом.

Я не понимал, что значит порченная, но чувствовал, что с лошадью случилось что-то страшное, и в то же время не верил этому.

— Разве рана не заживет? — спросил я у дедушки, когда дядя ушел на работу.

Дедушка сидел в тени яблони и плел корзину.

— Не в этом дело, — сказал он. Его кривые, сточенные работой пальцы остановились. Он оглядел свое плетенье и, сообразив, как идти дальше, добавил: — У ней гордость убили...

— Какую гордость? — спросил я.

— Ясно какую, лошадиную, — ответил он, уже не слушая меня.

Он просунул между дрожащих и стоящих торчком планок поперечную планку и жадными, сильными пальцами стянул ее, чтоб уплотнить плетенье, как стягивают подругой лошадиный живот.

— Но она же отдохнет, — напомнил я, стараясь нащупать, что он имел в виду.

— Ей теперь все равно, в ней игры нет, — сказал он, продолжая скручивать, прогибать и натягивать гибкую, свежеевыструганную ореховую планку. Что-то нестариковское было в жадном удовольствии, с которым он плел корзину. Правда, он все делал с такой же жадностью.

Только через много лет я понял, что потому-то он и оказался не сломленным до конца своих дней, что обладал даром хороших крестьян и больших художников — извлекать удовольствие из самой работы, а не ждать ее часто обманчивых плодов. Но тогда я этого не знал, и мне было обидно за Куклу.

С месяц лошадь жила во дворе. Мы, дети, верили, что она отдохнет и станет такой же, как раньше. Теперь мы

сами водили ее купать, приносили свежую траву, отгоняли от нее мух, очищали рану керосиновой тряпкой. Через некоторое время рана затянулась, лошадь стала гладкой и красивой. Но, видно, что-то в ней и вправду навсегда изменилось. Теперь, если подойти к ней и положить руку на шею или на спину, она совсем не дрожала, а только затихала и прислушивалась. Иногда, когда она вот так затихала и прислушивалась, казалось, что она пытается и никак не может вспомнить, какой она была раньше.

Вскоре дедушка отправился с ней на мельницу, потому что наш ослик так и не возвратился с веревала. Потом ее стали одалживать соседи, но дядя на нее больше не садился и даже не подходил к ней. Она все еще помнила его и, услышав его голос, поднимала голову, но он всегда неумолимо проходил, не замечая ее.

— Какой ты жестокий! — сказала тетка однажды, когда мы собрались перед обедом на кухню. — Подошел бы хоть раз, приласкал бы...

— Можно подумать, что ты мою лошадь любишь больше, чем я, — сказал он насмешливо и, сунув цигарку в огонь, прикурил.

Осенью Куклу продали в соседнее село за пятнадцать пудов кукурузы — слишком много нас обобрали в доме дяди, своей не хватало.

Больше мы Куклу не видели, но однажды услышали о ней. Как-то новый хозяин ее прележал на скачки. Он привязал ее у коновязи, а сам протиснулся в толпу. Во время самого длинного заезда, когда азарт дошел до предела и Кукла услышала гул толпы, ванах разгоряченных лошадей, топот копыт, она вспомнила что-то.

Так или иначе, она оборвала привязь, влетела в круг, обогнала мчащихся всадников и почти целый круг шла впереди с нелепо болтающимися стременами под свист и хохот толпы. Потом ее обогнали другие лошади, и она сама сошла с круга.

После Куклы дядя Бязым не заводил скаковых лошадей. Видно, возраст уже был не тот да и время не то.



## Письмо

В пятнадцать лет я получил в письме пламенное признание в любви. У меня до сих пор сохранилось впечатление, что вспыхнувшие при чтении слова признания были написаны золотом, а не обыкновенными химическими чернилами.

За минуту до того, как почтальонша вручила мне это письмо, я с обрывком электрического провода сбегал по лестнице нашего двухэтажного дома. Задача состояла в том, чтобы дотерпеть до конца лестницы бьющую сквозь тело таинственную силу тока. Притрагиваясь жикающим концом провода к металлическим перилам лестницы, я изо всех сил бежал вниз, разбрызгивая фиолетовые искры.

Ночью была гроза, во время которой оборвался этот провод. По-видимому, главную смертоносную часть тока приняла на себя крыша нашего дома, остатками электричества забавлялся я.

Была весна. Витневатые балясины перил были опутаны еще более витиеватыми лозами цветущей глицинии. Каскады тяжелых кистей свисали с наружной стороны лестницы. Они были такими же фиолетовыми, как электрические искры, вспыхивавшие под моей рукой.

Где-то возле середины первого лестничного марша начиналась площадка, ведущая в коммунальную уборную.

Жители двора время от времени пробегали туда, и как только они притрагивались к перилам, я подключал к ним ток. Обычно при этом они вскрикивали или молча в диком прыжке переносились на площадку, однако, при всех разновидностях восприятия, маршрута никто не менял.

Все еще держа в руке провод, я прочел письмо. Сразу же почувствовав, что игра эта теперь не нужна, что ей пришел конец, и, видимо, навсегда, я бросил провод и вбежал в дом.

Хотя письмо не было подписано, я мгновенно догадался, кто его написал. Это была девочка, с которой два года назад мы учились в одном классе. Два года назад нас развели, разделив школы на мужские и женские по

примеру классических гимназий. С тех пор я ее ни разу не видел и не вспоминал. В школьном журнале мы стояли рядом. Мало того что мы стояли рядом — у нас совпадали инициалы. Такое совпадение не могло остаться незамеченным. Еще тогда мы оба чувствовали его неслучайность. И вот наконец письмо.

Золотящиеся буквы вспыхивали и шевелились на бумаге. Я перечел письмо несколько раз, благодарно влюбился в автора и, тут же изорвав его на мелкие кусочки, выбросил в мусорный ящик.

Моими действиями двигали могучий патриархальный стыд и неосознанная логика начинающего социалиста. Ход ее я сейчас мог бы расшифровать примерно так: письмо, полученное мною, — это счастье, а счастливым быть стыдно, как стыдно быть сытым среди голодных. Ну а так как от счастья отказаться трудно (тактика!), надо его законспирировать, то есть держать в голове, уничтожив все материальные улики.

Теперь я бродил по улицам в надежде где-нибудь ее случайно встретить. Я довольно смутно представлял, что надо делать при встрече. Ну, во-первых, думал я, надо, конечно, подойти, а потом уж, как только представится случай, предложить ей свое сердце и жизнь, разумеется, до самой гробовой доски.

Нельзя сказать, чтобы я очень спешил со встречей. Как и для всякого начинающего социалиста, главное для меня была программа, а она с гениальной ясностью была намечена в ее послании. Для всего остального отводилась целая жизнь, а в пятнадцать лет она бывает до того огромной, что, сколько ее ни трать, все ее девать некуда, все она переливается через край.

И вот однажды, когда я вместе со своими товарищами стоял на главной улице нашего города, а точнее, на улице Генералиссимуса, она вместе с двумя подружками прошла мимо нас.

Я успел заметить вдохновенную бледность ее вспыхнувшей щеки, быструю походку и тончайшую фигуру. За эти два года она из девочки превратилась в девушку, ухитрившись остаться такой же тонкой, как и была в том роковом для нашего совместного обучения седьмом классе.

Одним словом, был налицо тот источник бледно-розового сияния, необходимый для первого чувства мальчика моих лет.

А хитрость природы в данном случае состоит в том,

что каждый мальчик, проходящий сквозь эту стадию, или, вернее даже сказать, получающий эту прививку, инъекцию любовной лихорадки, воспринимает это сиянье как особую милость его личной судьбы, угадавшей потребности его нежной души и однажды с исключительным тактом или даже со вкусом японского садовода соединившей в одной девушке редкие свойства его хрупкого и капризного идеала.

Увидев ее зардевшуюся щеку, я окончательно уверился в своей догадке и почувствовал, что подойти к ней будет не так-то просто. Хотя мы успели окинуть друг друга только одним быстрым взглядом, как-то сразу в одно мгновение было решено, что неудобно теперь, через два года, узнать друг друга и поздороваться, тем более что между нами уже пролегла тайна письма.

Нет, нет! — крикнула она мне этим мгновенным взглядом, только не сейчас, не здесь, потому что, если ты сейчас со мной здороваешься, это будет означать, что ты своим друзьям все рассказал о моем письме, и я умру от стыда.

Теперь я ее стал встречать все чаще и чаще. Иногда она была со старшей сестрой, иногда в большой компании подружек и каких-то незнакомых мне ребят, и я чувствовал, что с каждым разом подойти к ней становится все трудней и трудней.

Кстати, сестра ее тоже училась с нами в одном классе, хотя и была старше ее на год или два. Не помню, как очутилась она с нами в одном классе, думаю, не от избытка любви к учебе. Для полной последовательности я и с сестрой не стал здороваться, чего она, кажется, не замечала. Вообще она была какая-то сонная девушка и, хотя на вид, пожалуй, была привлекательней своей младшей сестры со своими тяжелыми нежными веками, чистым лицом и яркими губами, все-таки чувствовалось, что ребят привлекает именно младшая. Потому что от нее, младшей, исходило то беспокойство, то нетерпеливое ожидание праздника жизни, которое заражает окружающих.

Одним словом, подойти становилось все трудней и трудней.

Я ждал романтического случая и, вообще говоря, не спешил знакомиться, ибо, как думал я, спешить было некуда, раз и так вся жизнь теперь посвящена ей, и только ей.

А между тем рядом с ней вместе с другими мальчи-

ками и девушками стал появляться некий военный, капитан по званию, как мне охотно разъяснили мои друзья.

И теперь я заметил, что возлюбленная моя при встрече со мной, если рядом с ней бывал капитан, как-то смущалась и опускала голову. Это ее смущение я воспринимал как бесконечно трогательное доказательство ее любви, приятно льстящее моему самолюбию, но, пожалуй, чересчур сильное.

И теперь, посылая многозначительные взоры, я старался ей внушить, чтобы она не слишком смущалась из-за своего капитана, что мы-то с ней знаем, какая великая тайна нас объединяет, что он-то, бедняжка, такого письма не получал и, судя по преклонному возрасту, теперь навряд ли когда-нибудь получит.

Капитан был парнем лет двадцати семи — возраст, который тогда казался мне для любви безнадежно запоздалым. Пожалуй, настолько преклонным, что при случае можно было, почтительно приподняв и тряхнув ладонью медали на его груди, спросить:

Скажи-ка, дядя, ведь недаром  
Москва, спаленная пожаром,  
Французу отдана?

Возможно, моя тайная возлюбленная правильно оценила мои взоры, потому что со временем при встречах, если рядом с ней бывал капитан, она почти не смущалась, а как-то изгибала губы в намек на улыбку, которую я легко объяснял вынужденным лукавством. Как-то ей, бедняжке, думал я, любить одного и терпеть ухаживания другого.

Так в состоянии блаженного слабоумия, время от времени сопровождая свою возлюбленную, как незримая тень, я дожил до середины лета, когда она вместе с сестрой и капитаном стала посещать танцы в городском парке.

В парке под влиянием музыки чувство мое, кажется, стало замутняться горечью.

Под трофейную и отечественную музыку шаркала послевоенная танцплощадка. В толпе танцующих мелькало ее бледное, вопросительно приподнятое на капитана личико. Он, высокий, статный парень, глядел на нее сверху вниз добродушно и, черт подери, кажется, с оскорбляющей меня едва заметной снисходительностью.

Трудно что-нибудь представить кошмарней танцплощадки тех лет. Вот она перед моими глазами — со стареющими девицами, годами кружащимися на этом асфальтовом пятачке, и казалось, с годами, с каждым танцем что-то женское, человеческое выплескивалось и вышлескивалось из них, пока не выработалась эта профессиональная маска с голодными провалами глаз. А эти наглые сосунки, а эти престарелые уголовники, заявлявшиеся теперь более мирными ремеслами, но приходящие сюда для сентиментальных воспоминаний, и, наконец, неизменный первый танцор, работающий, как водонос, делающий знаменитое в те годы па с боковой побежкой и закатыванием глаз в парикмахерском забытье!

Внезапно где-нибудь на краю площадки, а то и в середине возникал маленький водоворот драки, постепенно вовлекающий в свою воронку все большее и большее количество людей, со свистом, с криками, с бегущими во все стороны девушками.

Стыд перед всем этим убожеством, страх за свою возлюбленную, да и за себя страх. Беспокойство и вместе с тем ярмарочное любопытство к драке и крови, и вместе с тем постоянное ощущение униженности от этой чрезмерной дозы грубости во всем, что здесь происходит, и вместе с тем необходимость скрывать эту отягченность, кривить губы улыбкой свойского парня, знающего больше, чем говорит, и все же говорящего больше, чем стоят окружающие.

А главное, уж слишком позорная цена, которая незримо назначается твоей личности, как только тыходишь сюда. Уж казалось, ты и сам предельно снизил стоимость своей личности, а, видно, все-таки недостаточно, и ты слегка ропщешь на это, но тебя никто и слушать не хочет, да и не может, пожалуй, потому, что ропщешь ты все-таки про себя. Но, видно, на лице все-таки отпечатывается какой-то признак недовольства, и по этому признаку тебя в любой миг могут разоблачить как урод, как от рождения не способного бить скопом одного, цвиркнуть слюной на спину ничего не подозревающего фрайера или его девушки и вообще пакостить, пакостить, когда это тебе ничем не угрожает, а иногда даже и под угрозой, но все-таки без угрозы лучше.

Все эти ощущения незримо роились во мне, пока я в течение многих дней любовался ею на танцплощадке. Наконец один из моих друзей прямо-таки швырнул меня

к скамейке, на которой она сидела после очередного танца вместе с сестрой и капитаном.

Похохатывая от смущения, я представился и стал объяснять, что я тот самый школьник, с которым она и ее сестра учились два года тому назад во второй школе, ну, той самой, что между стадионом и церковью, хотя каждая из них никак не могла забыть школу, где мы учились, уже по той простой причине, что они еще продолжали там учиться (это нас перевели в другую школу).

Кроме того, я не забыл упомянуть, что в то время, когда мы учились в одном классе, у нас фамилии и имена начинались с одной буквы.

Пока я говорил, она то подымала голову, и личико ее вспыхивало и гасло, а глаза умоляли не делать скандала, то оборачивалась к своему капитану, нежно прикасаясь пальцами к его груди, успокаивая его этой небольшой лаской и одновременно слегка отстраняя от наших воспоминаний.

Я забыл упомянуть, что во время своего монолога, встречаясь с ней глазами, я старался как можно красноречивей показать взглядом, что никогда в жизни, ни при каких обстоятельствах никто, особенно он (следовал романтический выворот глаз в его сторону), не узнает о существовании того великого письма. Да и сам мой сумбурный монолог с подробным объяснением расположения нашей школы имел сверхзадачу внушить капитану, что с тех давних времен между нами никогда не было не только письменной, но даже устной связи.

Надо сказать, что капитан после первых моих слов, уяснив, что я не какой-то там пристава, отнесся ко мне благодушно.

— Костя, — сказал он просто, когда она нас познакомила, и крепко, по-товарищески пожал мне руку.

Через некоторое время он даже ушел танцевать с ее сестрой, и в течение двух-трех танцев их не было с нами.

Какое это было блаженство — опуститься на скамейку рядом с ней, видеть в этой сказочной близости ее милый профиль с привздернутым носом, длинной шейкой и вдыхать, вдыхать аромат ее духов, тем более пьянящий, что я тогда и потом еще долгое время принимал его за натуральный запах ее собственной цветущей юности.

Трое моих друзей несколько раз демонстративно прошли мимо нас. На их замкнутых лицах было написано,

что они оскорблены моим счастьем. Встретившись с ними глазами, я посылая им улыбки, какие мог бы посылать на землю человек, внезапно воспаривший в прекрасную, но крайне неустойчивую высь. На эти улыбки они взглядами мне отвечали и взглядами же предлагали слезть с этой дурацкой выси и вместе с ними обсудить случившееся. По-видимому, уговаривая меня подойти к ней, они ожидали более комического эффекта.

Наконец один из них, тот самый, что подтолкнул меня к этой скамейке и, видимо, поэтому чувствующий наибольшую ответственность за мое поведение, подошел к нам и, несколько чопорно извинившись перед моей девушкой, отвел меня в сторону.

Он был эвакуированным ленинградцем, и мы считали, а он это охотно подтверждал, что в нем сохранился холодный светский лоск потомственного петербуржца. Мы отошли шагов на десять.

— Должен тебе сказать, что ты выглядишь как идиот, — сказал он, строго оглядев меня.

Я вспомнил, что именно он подвел меня к ней и все так просто и хорошо получилось, и вдруг, неожиданно для себя и уж, конечно, для него, обнял моего друга. Он с негодованием отстранился и отошел к ребятам. Я смотрел ему вслед. Высокий и худой, он удалялся четким шагом парламентаря.

Мне и в голову не могло прийти шантажировать ее этим письмом, но я считал необходимым теперь, когда мы остались одни, намекнуть, что послание дошло до цели, что великий акт соединения душ произошел во всей своей красоте и бескорыстии.

— Ой, порвите его! — сказала она, услышав про письмо, и нежно притронулась пальцами к моей рубашке. — Я была тогда такая глупая...

— Никогда! — пылко соврал я, вкладывая в это слово всю правду своего состояния.

Я хотел сказать, что чувство, вызванное ее письмом, вечно и теперь уже ничего нельзя изменить, поэтому этот обман оказался наиболее наглядной формой правды. Она вздохнула и убрала руку.

Я почему-то победно посмотрел на капитана, который сейчас возвращался к скамейке, держа под руку ее сестру, чего я еще, кстати говоря, не умел.

С этого дня мы довольно часто встречались и вместе проводили вечера. Почему-то всегда вчетвером.

Я прекрасно знал, что капитан этот ухаживает за ней,

а не за ее сестричкой, но никакой ревности, никакого чувства соперничества не испытывал. Это было невозможно, как невозможно ревновать человека, который присел у костра, где ты сидишь, и протянул к огню руки. А точнее, если уж продолжать сравнение, ты сам пришел из промозглой ночи к этому костру, у которого он уже сидел и даже успел поставить на огонь свой выдавший виды котелок старого вояки, в котором, помешивая ложкой, готовил свою нехитрую любовную похлебку. Так что это он, а не ты подвинулся, давая тебе место у костра, правда при этом не переставая помешивать ложкой в котелке. И что с того, что ты раньше его заметил этот костер и даже, вернее, он сам тебя заметил и даже подмигнул тебе издали язычками своего пламени, — сейчас вы оба греетесь возле него, и ничего в этом плохого нет.

Так думал я, принимая временное равновесие сил за гармонию. Рано или поздно соперничество или нечто в этом роде должно было возникнуть. И оно возникло.

Как-то само собой получилось, что во время наших совместных прогулок все легкие дорожные траты, как-то: выпить воды, съесть мороженое, пройти в парк, а иногда и в кино, — правда, это было очень редко, — капитан сразу же взял на себя.

В первое время, когда я в таких случаях вынимал свой редкий рубль, он и она с такой настойчивостью всучивали мне его назад, что вскоре я перестал обращать на это внимание, ибо ни к чему так быстро не привыкает человек, как к дармовому угощению.

Однажды, когда он угощал нашу общую возлюбленную виноградным соком, а мы с ее сестрой скромно стояли рядом, он кивнул в нашу сторону и сказал:

— Налетайте, Чарли угощает.

Это прозвучало как-то хамовато. Теперь-то я уверен, что он не хотел этой своей шуткой оскорбить или унижить меня, но тогда я почувствовал жгучий стыд и впервые враждебность к этому славному парню.

Самое главное, что я никак не мог отказаться, предчувствуя неумные и громоздкие последствия своего отказа, тем более что сок уже был разлит по стаканам и, что особенно удивительно, выпить его мне все-таки хотелось, и даже как бы еще сильнее.

А хуже всего было то, что, когда он произнес эту свою шутку богатого гуляки, я заметил, что она улыбнулась в уже пригубленный стакан, и улыбнулась довольно



язвительно. Это очень неприятно кольнуло меня, и потом я много раз вспоминал эту улыбку, пока в конце концов однажды не решил, что, в сущности, никакой улыбки не было, а был эффект прохождения света сквозь стекло и жидкость, придавший ее губам этот предательский валом.

Не самое ужасное, пожалуй, заключалось в том, что мы уже договорились идти в кино, а денег у меня, как назло, не было. Теперь, в создавшихся условиях, идти в кино на его счет я никак не мог. Но и прямо отказать было как-то нелепо, безынициально, потому что, отказавшись, надо было их компенсировать, чего мне не хотелось.

Разумеется, и до этого мне иногда приходило в голову, что не стоит пользоваться его денежными услугами, хотя, повторяю, услуги эти были достаточно ничтожны. Но в том легком состоянии эфирного объяснения, в котором я беспрерывно находился с тех пор, как подошел к ним и мы стали встречаться, я как-то привык воспринимать все это как некое обязательство, мол, сегодня ты угощаешь, а завтра я, хотя это завтра все время откладывалось на непредвидимые времена.

Кроме того, приходил и другой оттенок оценки положения, я его нарочито не додумывал до конца, чувствуя, что он не слишком благородного свойства. Но такая оценка иногда легким контуром вставала перед моим мысленным взором, и умолчать о ней я теперь не вправе. Суть ее состоит в том, что мне казалось, а возможно, начало назваться с некоторой вер, что мы с ней в известной мере делаем одолжение, делая ее в наше общество, за что он расплачивается мелкими материальными услугами.

Конечно, если уж еще дальше продолжать это сравнение с костром, я, разумеется, не ревновал за то, что он присел к моему костру. Но, черт подери, я же знал, что горит-то он все-таки для меня, что то самое замечательное письмо, может, и написано было пылающим прутиком, выхваченным из этого костра?!

В том, что такого письма и вообще любовного письма она не могла написать другому, я не только не сомневался, но и вообще был уверен, что, раз в жизни написав такое письмо, человек всю остальную жизнь только и делает, что служит этому письму, хватило бы только сил удержаться на его уровне, а о чем другом и думать немудрено.

И вдруг эта небрежная фраза насчет Чарли, который

всех угощает. По дороге между киоском и летним кино-театром, куда мы шли, я только и думал, как с достоинством увернуться от его новой благотворительности, и никак ничего не мог сообразить.

В те годы в наших кинотеатрах крутили почти все время трофейные фильмы. Как правило, это были оперы или пасторальные истории с бесконечными песенками или неуклюжие ревю с цветущими «герлс», широкобедрыми и мясистыми, как голландские коровы, разумеется, если голландские коровы именно такие.

Много лет спустя я пришел к убеждению, что эти трофейные фильмы ничего, кроме вкуса руководителей рейха, не выражали.

Как раз один из таких фильмов нам предстояло посмотреть. Назывался он «Не забывай меня» с жирным и сладкогласым Джильи в главной роли. Как и всякий житель провинциального города, я хотя еще и не видел картины, но уже из рассказов знал о ее содержании. Надо признаться, что голос Джильи мне нравился, особенно если слушать его, не слишком обращая внимания на экран.

Мы приближались к кинотеатру, и я с ужасом чувствовал, что через десять минут на меня обрушится еще одно унижение, которого я не в силах вынести, и стал ругать фильм. Все-таки это было искусство жирных, и мне, чтобы ругать это искусство, да еще в таких условиях, ни пафоса, ни аргументов не надо было занимать.

От этой картины я перешел ко всем трофейным немецким картинам с их слащавой сентиментальностью.

Чем больше я ругал картину, тем упрямей надувались губы моей возлюбленной. Тогда я еще не знал, что останавливать женщину на пути к зрелищу не менее опасно, чем древнеримского люмпена по дороге к Колизею.

Когда я от картины «Не забывай меня» перешел ко всем трофейным немецким фильмам, она вдруг спросила у меня:

— Ты, кажется, изучаешь немецкий?

— Да, а что? — вздрогнул я.

Мне показалось, что она увидела противоречие между моей критикой немецких фильмов и занятиями немецким языком. Но вопрос ее означал совсем другое.

— Поговори с Костей, — предложила она, не подозревая, какого джинна выпустила из бутылки, — он два года жил в Германии.

— Шпрехен зи дойч? — взвился я радостно, как если бы был чистокровным немцем и после многолетнего плена у полинезийцев вдруг встретил земляка.

— Натурлих, — как-то уныло подтвердил он, несколько оробев перед моим напором.

Тут меня понесло. В те годы мне легко давались языки, отчего я до сих пор толком ни одного не знаю. Немецкий я уже изучал два года, уже кое-как болтал с военнопленными, которые хвалили мое произношение, по-видимому, в обмен на сигареты, которые я им дарил. (Прима Дойч!)

Во время изучения языка наступает бредовое состояние, когда во сне начинаешь быстро-быстро лопотать на чужом языке, хотя наяву все еще спотыкаешься, когда, глядя на окружающие предметы, видишь, как они раздваиваются двойниками чужеродных обозначений, — словом, наступает тот период, когда твой воспаленный мозг преодолевает некий барьер несовместимости двух языков. Именно в таком состоянии я тогда находился.

К этому времени я был нафарширован немецкими пословицами, светскими фразами из дореволюционных самоучителей, антифашистскими изречениями, афоризмами Маркса и Гёте, сжатыми текстами, призванными развивать у изучающих язык бдительность против возможных немецких шпионов (получалось, что шпионы, по-видимому нервничая, начинают разговаривать с местными жителями на немецком языке). Кроме того, я знал наизусть несколько русских патриотических песен, направленных против оккупантов и переведенных на немецкий язык, а также немецкие классические стихи.

Все это выплеснулось из меня в этот горестный час с угрожаящим напором.

— Вы говорите по-немецки? — спросил я и, обернувшись к нему, продолжал, даже не пытаясь укоротить шаги перед приближающимся в начале следующего квартала летним кинотеатром. — Вундербар! — продолжал я. — Вы изучали его самостоятельно или в высшем учебном заведении? О, понимаю, вы изучали его, находясь в Германии в качестве офицера союзнической армии. Я надеюсь, не в качестве военнопленного? Нет, нет, это, конечно, шутка. Карл Маркс говорил, что лучшим признаком знания языка является понимание юмора на данном языке, а знание иностранных языков есть оружие в борьбе за жизнь.

Я глядел на Костю и чувствовал, что он почти ничего

не понимает. Временами лицо его озарялось догадкой, и он как бы пытался ухватиться за знакомое слово, но сзади набегала толпа новых слов и уносила его куда-то.

Я чувствовал себя победителем. Кинотеатр был совсем рядом. Из-за кустов и деревьев сквера доносился глухой плеск толпы, стали попадаться покупатели случайных билетов. Увидев первого из них, я чуть не подпрыгнул от радости.

Возлюбленная моя закусила губу. Из радиолы над входом в кинотеатр лилась легкая мелодия «Сказок Венского леса».

— Закаты на Рейне, — сказал я, повернувшись к капитану, — так же прекрасны, как восходы в Швейцарских Альпах... Эти фазаны из нашего фамильного леса. Пробирен зи, битте! Мой егерь большой чудак.

В этом месте я сделал жест, указав на крону одного из камфорных деревьев, под которыми мы проходили. Спутники мои удивленно подняли головы...

— Знаете ль вы край, где лимоны цветут? — спросил я у капитана, как всегда, не зная меры и не умея вовремя остановиться.

Капитан молчал.

— Костя, ну что ж ты ему не отвечаешь? — в отчаянье вставила наша возлюбленная, когда я остановился, чтобы перевести дыхание. Она была оскорблена за него.

— А чего перебивать, — мирно заметил Костя. — Мне бы так на экзаменах...

Осенью Костя собирался поступать в одну из ленинградских военных академий. Мы подошли к кинотеатру. Костя обошел толпу, все-таки надеясь что-нибудь достать, но все было напрасно. Я ликовал, но, кажется, слишком рано, а главное, слишком откровенно.

Через полчаса мы были в парке на танцплощадке. Они, как обычно, пошли танцевать, а мы с ее сестрой остались сидеть на скамейке.

В те времена, как и во все последующие, я танцевал плохо. Танцевальные ритмы застревали у меня где-то в туловище и до ног доходили в виде смутных, запоздалых толчков. Так что сестра ее, естественно, не стремилась со мной танцевать. Она просто сидела рядом, и мы о чем-нибудь говорили или, что было еще приятней, молчали. Изредка ее кто-нибудь догадывался пригласить, изредка потому, что обычно посетители танцплощадки принимали ее за мою девушку.

Так мы сидели и в этот вечер, ни о чем не подозревая. Но вот проходит один, второй, третий танец, а наших все нет.

— Куда они делись? — говорю я, заглядывая в глаза сестре.

— А я знаю? — отвечает она и, пожав плечами, смотрит на меня своими сонными под вежными веками глазами.

— Давай обойдем, — киваю я на танцплощадку.

— Мне что, давай, — говорит она и, пожав плечами, встает со скамейки.

Мы обходим бурлящий круг танцплощадки, я стараюсь высмотреть все танцующие пары и вижу, что их нигде нет. Я чувствую, как тошнотное уныние охватывает меня.

— Может, они в тир зашли? — говорю я неуверенно.

Она пожимает плечами, и мы направляемся в тир.

Тир пуст. Заведующий, опершись спиной о стойку и глядя в зеркальце, шлепает в мишень из воздушного ружья пулю за пулей. Вот уже четвертая в десятке.

— Иду на интерес, — говорит он, не оборачиваясь и заряжая ружье пятой пулей, — я одной рукой без упора, а ты двумя с упором?

— Нет, — говорю я и смотрю, как он и пятую пулю всаживает в десятку.

Мы подходим к павильону прохладительных напитков, но их и там нет. Мне приходит в голову, что, пока мы их ищем, они вернулись на наше место и ждут нас. Я тороплю ее, мы возвращаемся на свое привычное место, но их нет. Я решил немного подождать их здесь. Но они не подходят. Вдруг на меня находит волна подозрительности, мне кажется, все они в сговоре против меня. Я начинаю всматриваться в лицо своей спутницы, стараясь угадать в нем выражение тайной насмешки, но, кажется, ничего такого нет — сонное чистое лицо с красивыми глазами под тяжелыми веками. Я даже не могу понять, беспокоит или нет ее то, что они исчезли.

— А может, они где-нибудь там? — киваю я в глубину парка.

Она молча пожимает плечами, и мы начинаем обходить парк, заглядывая в каждый уединенный уголок, на каждую скамейку. Мы даже зашли за памятник Сталину, думая, может, они сидят за ним на верхней ступеньке пьедестала, уютно опершись спиной о полы его гранитной шинели. Но и тут их не было.

Наконец мы оказались в самой уединенной части парка, куда доносилась притихшая музыка, уже процеженная от своей навязчивой пошлости листвою и хвоею деревьев. Мы подошли к скамейке, стоявшей под кустом самшитового деревца, хотя уже издали было видно, что на скамейке никого нет. Но почему-то вдруг захотелось подойти к этой затемненной скамейке, окончательно убедиться, что ли... Подошли, постояли. Рядом со скамейкой рос большой куст пампасской травы. Я почему-то приподнял и откинул его нависающую гриву. Заглянул под нее, как если бы они могли неожиданно упасть со скамейки и закатиться под этот куст.

— Нету, — сказал я и бросил странно шелестящий куст.

Я посмотрел на свою спутницу. Она пожала плечами. И вдруг я ощутил как-то слитно и эту уединенную часть парка, и эту приглушенную музыку, и эту взрослую свежую девушку с тяжелыми веками и яркими губами, что-то покачнулось в моих глазах, я положил руки ей на плечи и в этот самый миг почувствовал, как тень какой-то большой и печальной мысли пронеслась надо мной и скрылась.

— Где же они могут быть? — спросил я, стараясь вернуть себе то странное состояние, которое было у меня за миг до этого. Но, видно, и она почувствовала, что во мне что-то изменилось.

— А я знаю? — сказала она, пожав плечами, и это можно было понять как слабую попытку освободиться.

Я опустил руки.

Мысль, которая открылась мне в это мгновение, так меня поразила, что я весь остаток вечера промолчал и где-то возле двенадцати часов, проводив до дому свою подружку, продолжал над ней думать.

Когда я положил руки на плечи этой девушки и увидел близко ее прекрасные сонные глаза под тяжелыми веками и почувствовал, что сейчас смогу ее поцеловать, мне неожиданно открылось, что в этот миг моя великая единственная любовь, покинув продуманное русло, почти безболезненно устремится в какой-то неожиданный боковой рукав. И тогда я почувствовал и даже как бы воочию увидел множественность самой жизни и, следовательно, моей жизни и моей любви.

И одновременно с этим у меня возникло ощущение, похожее на грустное предчувствие, что жизнь в самые свои высокие мгновения будет приоткрываться мне в сво-

сй множественности и что я никогда не смогу воспользоваться одним из ее многочисленных ответвлений, я буду идти по намеченной стезе... Потому что нам эта ветвистость ни к чему, нам подавай единственное, неповторимое, главное. Ради такого нам не жаль голову размозжить и душу расквасить, а вариантность нам ни к чему, нам скучно с этой самой вариантностью, да ради нее мы и ухом не поведем и пальцем о палец не ударим!

Хотя я эту мысль сейчас как бы слегка развиваю, все-таки предстала она передо мной именно в тот милый и злополучный вечер.

Не помню, как они объяснили свое исчезновение, и потому не хочу ничего придумывать; видно, как-то объяснили, и я поверил, потому что хотел поверить. Во всяком случае, время от времени мы продолжали встречаться. Иногда я впадал в отчаянье, но прирожденный оптимизм и память о том незабываемом письме в конце концов брали верх.

А сколько было горьких минут, когда казалось, что все погибло, что никакого письма не было, что все это мне просто приснилось.

Так однажды при мне, разговаривая с сестрой и вспоминая времена нашего совместного обучения, она вдруг сказала:

— Помнишь, какой он был тогда и какой теперь...

Она это сказала с каким-то тихим сожалением. Я похолодел от обиды, но промолчал. Ведь не станешь доказывать, что ты сегодня лучше, чем вчера, а завтра будешь лучше, чем сегодня, хотя доказывать это очень хотелось. В тот вечер, придя домой, я долго и безнадежно смотрел в зеркало на свое желтое, высосанное малярией лицо.

И все-таки чаша весов постепенно стала склоняться в мою сторону. С каждой встречей я стал благодарно замечать тайные знаки ее внимания. Бедняга капитан совсем стушеввался. В последнюю неделю мы гуляли вдвоем, он исчез, по-видимому, почувствовав, что начинает делаться смешным. Из соображения высшего такта я не спрашивал о нем и даже делал вид, что не замечаю своей победы.

И наконец единственный, неповторимый вечер — мы вдвоем. Я ликовал. Честно говоря, я был уверен, что этот вечер рано или поздно должен наступить. Это было торжество стройной теории над голой практикой капитана, в сущности, хорошего парня.

Но ничего не поделаешь, раз уж ты не получаешь такого письма, лучше не суйся. Не суйся, милый капитан, не швыряйся деньгами, не смейся человека, который, прежде чем пускаться в это бурное плавание, получил по почте кое-что, дьявольски похожее на лоцманскую карту.

Вечер. Мы стоим у калитки ее дома. Она в чудесном голубом платье с искорками, струящемся по ее гибкой фигуре. Из окон ее дома до нас доходит слабый свет, озелененный виноградными листьями беседки. Вместе со светом слышится неразборчивый говор, смех. Временами еле заметным дуновением доносится аромат созревающего винограда.

Я стою перед ней и чувствую, как в полутьме зреет первый поцелуй. С какой-то астрономической медлительностью и такой же неизбежностью лицо мое приближается к ее белеющему в полутьме лицу. Она смотрит на меня исподлобья милым, глубоким, испытывающим и просто любопытствующим, я это тоже чувствую, взглядом.

Я страшно взволнован не только ожиданием предстоящего чуда, но и опасениями его скандальных последствий. Я никак не могу сообразить, понимает ли она, что зреет в эти мгновенья.

Она только смотрит на меня исподлобья, а я чувствую, как во мне приливают и отливают волны отваги и робости.

— У тебя лицо все время меняется, — удивленно шепчет она.

— Не знаю, — шепчу я в ответ, хотя чувствую, что оно и в самом деле все время меняется, но я не думал, что это может быть заметно для нее.

Мне приятно, что она замечает силу моей взволнованности. Я успеваю сообразить, что, если она ужаснется от стыда или отвращения, когда я ее поцелую, я постараюсь объяснить это своим певменным состоянием.

И вот уже близко, близко светлое пятно ее лица. Страшный миг вхождения в теплое облачко.

— Не надо, — слышу я провоцирующий шепот и погружаю губы в сотрясающий (может, каким-то детским или допотопным воспоминанием?) молочный, млечный запах ее щеки.

Проходит головокружительная вечность, и я чувствую, как постепенно благоухающая облачность первых прикос-



повенный рассеивается и ощущение делается все суше, все слаще, пожалуй, слишком...

Но вот она выскальзывает, вбегает в калитку и исчезает в темноте, только слышен глухой стук каблуков по тропинке к дому, потом шелкающий на ступеньках крыльца, и вдруг она появляется на освещенном крыльце, стучит в дверь, чтоб открыли, и, быстро наклонившись, так что я вижу, как падает на глаза прядь волос, заглядывает в дырочку почтового ящика.

Я смотрю на нее, пьяный случившимся и в то же время удивленный трезвостью ее движений: какого еще письма можно ждать после того, что она мне послала, а главное, после того, что сейчас случилось? Несколько секунд она ждет, пока ей откроют дверь, а я смотрю на нее и вдруг чувствую в себе такую необыкновенную силу, что вот сейчас захочу, чтоб она обернулась в мою сторону, и она обернется.

Несколько секунд я восторженно издали смотрю на нее, стараясь внушить ей свое желание, уверенный, что оно обязательно дойдет до нее. Но вот открывается дверь, она проскальзывает в нее, так и не обернувшись.

Несколько не смущенный этим, я возвращаюсь домой вдоль тихих окраинных улиц, застроенных маленькими частными домами с небольшими земельными участками. Возле каждой усадьбы с той стороны забора меня встречает собака и с яростным лаем провожает до конца участка, где уже, подвывая от нетерпения, дожидается меня очередной страж. Псы передают меня, как эстафету.

Я не обращаю на них внимания. Мной владеет самоуверенность мужчины или, скорее, алхимика, которому после долгих провалов удалось провести первый опыт волшебства. Мне кажется, я всемогущий.

Я останавливаюсь возле штакетника, за которым особенно неистовствует какой-то пес. Захлебываясь лаем, он одновременно роет и отбрасывает землю задними лапами.

Неожиданно я сажусь на корточки и смотрю сквозь штакетник в его налитые бессмысленной злобой глаза и вслух говорю ему, что любовь и добро всемогущи, что вот захочу — и ты мгновенно перестанешь лаять и будешь радостно визжать и лизаться, потому что я сейчас даже тебя люблю, глупая ты, глупая псина. Видимо, собака и в самом деле глупая, потому что слова мои до нее не доходят и она продолжает неистовствовать.

На следующий день я гулял по берегу моря, все еще находясь под впечатлением свидания, вспоминая его вол-

нующие подробности и, главное, чувствуя себя на голову выше, чем до него.

Следующая встреча должна была произойти через день. И хотя вчера я ее упрашивал встретиться сегодня же, а она никак не соглашалась, ссылаясь на домашние дела, теперь мне казалось, что передохнуть один день даже не помешает.

Мысленно перебирая несметные богатства вчерашнего свидания, я гулял по берегу моря. День был солнечный и еще не очень жаркий. Неожиданно на берегу я встретил Костю. Он тоже гулял один. Мы поздоровались, и я крепче обычного пожал ему руку, стараясь внушить ему этим благородное сочувствие и пожелание мужественно справиться с неудачей. Я почувствовал, что и он крепче обычного пожал мне руку, и вдруг я понял, что он каким-то образом догадался о случившемся и теперь молча поздравляет меня с честной победой. Такое благородство восхитило меня, и я еще сильнее пожал ему руку. Наверное, он у нее был и она ему все сказала, решил я.

— Ты был у нее? — спросил я.

— Нет, — сказал он, — я только что приехал с учений и сегодня же уезжаю.

— Куда?

— В Ленинград, — сказал он и сам с любопытством заглянул мне в глаза. — А разве она тебе не говорила?

— Наверное, забыла, — ответил я, кажется, выдержав его взгляд.

Это известие было как гром в ясном небе. Кажется, мне усилием воли удалось остановить часть крови, хлынувшей в лицо.

— Сегодня она меня провожает, — добавил он как-то чересчур буднично.

Мы продолжали идти вдоль набережной. Кажется, он предложил мне где-нибудь посидеть на прощанье, но я ничего не слышал и ничего не понимал и в первое же удобное мгновение расстался с ним.

Так вот, оказывается, какой ценой досталась мне эта победа! Значит, я просто занял временно опустевшее место! Я стал заново прокручивать день за днем все наши последние встречи и понял, что потепление в наших отношениях, тайные знаки внимания и, наконец, это величайшее все свидание объяснялись тем, что он уезжает.

Я, конечно, знал, что он собирается поехать учиться в академию, но почему-то думал, что это будет не скоро,

п самом конце августа, а во-вторых, ни разу даже в мыслях не связывал свою победу с таким механическим устранением соперника. Все это показалось мне теперь нестерпимо гнусным.

В субботу вечером, гуляя по портовой улице, я увидел ее с сестрой в толпе подружек. По установившемуся обычаю я должен был подойти.

Она была все в том же голубом с искорками платье, но теперь оно мне показалось каким-то змеиным. Мы кивнули друг другу, но я не подошел. Мы продолжали гулять в разных компаниях, я со своими друзьями, она со своими.

Видимо, она решила, что я стесняюсь ее подружек, и вместе с сестрой приотстала от остальных. Но я и тут не подошел. С язвительным наслаждением я заметил в ее лице некоторые признаки растерянности или паники, как мне тогда показалось. Сестра ее, словно наконец-таки проснувшись, оглядывала меня с уважительным любопытством.

Товарищи мои, которые теперь обо всем знали, глядели на меня подобревшими глазами, как на человека, который роздал нищим привалившее ему суетное богатство и вернулся к бедным, но честным друзьям.

Наконец меня подозвала ее сестра. Сама она стояла у парапета, ограждающего берег. Она стояла лицом к морю. Когда я подошел, она слегка повернулась ко мне.

— Что случилось? — спросила она, осторожно заглянув мне в глаза.

— Костя уехал? — спросил я, ожидая, что она сейчас растеряется. Но она почему-то не растерялась.

— Да, — сказала она, — просил передать тебе привет.

— Спасибо, — проговорил я с театральным достоинством и добавил: — Но украденные у него свиданья мне не нужны.

Это была тщательно подготовленная и, как мне казалось, убийственная фраза.

— Вон ты как... — прошептала она одними губами, словно внезапно осознав свою непоправимую оплошность.

В следующее мгновенье она повернулась и, склонив свою жалкую и милую головку, стала уходить от меня, все убыстряя и убыстряя шаги, как и все женщины, стараясь опередить набегающие слезы.

Мне ужасно захотелось кинуться за нею, но я сдержался. В городе стало тоскливо и пусто, и я ушел домой.

В тот же вечер я заболел ангиной, а через неделю, когда выздоровел, острота разрыва смягчилась, отошла.

К слову сказать, один из моих друзей, как выяснилось впоследствии, каждый раз, влюбившись в какую-нибудь девушку, обязательно заболел. Причем степень заболевания прямо соответствовала силе увлечения и имела довольно широкую амплитуду от лихорадки до гриппа.

Но с той, которая прислала мне прекраснейшее письмо, мы больше не виделись. Кажется, в тот же год родители ее продали свой домик и переехали в другой город.

Еще во времена нашего знакомства мне иногда приходила в голову мысль, что сама она не смогла бы написать такого огненного послания. Может быть, думал я, она переписала его из какого-нибудь старинного романа, только вставила кое-что от себя. Такое предположение меня нисколько не оскорбляло. Я считал, что она передала мне знак, точный иероглиф своего состояния. А кто выдумал сам иероглиф, в конце концов, было не так уж важно.

Но, с другой стороны, кто его знает, может быть, чувство озарило ее вдохновением, которого хватило только на это письмо? Так или иначе, теперь это тайна, разгадывать которую сам я не намерен и тем более не намерен выслушивать любые предположения со стороны, причем не только проницательные, но даже и лстящие самолюбию рассказчика.

## Время счастливых находок

Вот что было со мною в детстве.

Как-то летним вечером собрались гости у моего дяди. Выпивки не хватило, и меня послали за вином в ближайшую лавку, что было, как я теперь понимаю, не вполне педагогично. Правда, сначала предложили пойти моему старшему брату, но он заупрямился, зная, что в ближайшие часы его никто не накажет, а до завтра он все равно выкинет что-нибудь такое, за что и так придется держать ответ.

Бегу босиком по теплой немощеной улице. В одной руке бутылка, в другой деньги. Отчетливо помню: какое-то необычайное возбуждение, восторг пронизывают меня. Разаумеется, это было не предчувствие предстоящей покупки, потому что в те годы к этому делу я не проявлял особого интереса. Да и сейчас интерес вполне умеренный.

Чем прекрасно вино? Только тем, что оно гасит наши личные заботы, когда мы пьем со своими друзьями, и усиливает то общее, что нас связывает. И если даже нас связывает общая забота или неприятность, вино, как искусство, преображающее горе, примиряет и дает силы жить и надеяться. Мы испытываем обновленную радость узнавания друг друга, мы чувствуем: мы люди, мы вместе.

Пить с любой другой целью просто-напросто малограмотно. А одиночные возлияния я бы сравнил с государственной контрабандой или с каким-нибудь извращением. Кто пьет один, тот чокается с дьяволом.

Я повторяю — по дороге в лавку меня охватило какое-то странное возбуждение. Я бежал и все время смотрел под ноги: мне мерещилась пачка денег. Время от времени она появлялась у меня перед глазами, и я даже приостанавливался, чтобы убедиться, так это или нет. Я понимал, что все это мне только кажется, но видел до того ясно, что не мог удержаться. Убедившись, что ничего нет, я еще более восторженно верил, что должен найти деньги, и летел дальше.

Я вбежал по деревянным ступеням, лавка стояла как бы на трибунке, и быстро сунул деньги и бутылку про-

давцу. Пока он приносил вино, я в последний раз посмотрел себе под ноги и увидел пачку денег, перепоюсанную довоенной тридцаткой.

Я поднял деньги, схватил бутылку и помчался назад, полумертвый от страха и радости.

— Деньги нашел! — закричал я, вбегая в комнату. Гости нервно, а некоторые даже оскорбленно вскочили на ноги. Поднялся переполох. Денег оказалось сто с чем-то рублей.

— Я тоже сбегаяю! — закричал мой брат, загораясь запоздалым светом моей удачи.

— Жми! — закричал шофер дядя Юра. — Это я первый сказал, что надо выпить. У меня легкая рука.

— И даже слишком, — ехидно вставила всегда спокойная тетя Соня.

— Однажды у нас в Лабинске... — начал было дядя Паша. Он всегда рассказывал или про свою язву желудка, или про то, как раньше жили на Кубани, а кончал язвой желудка или наоборот. Но сейчас дядя Юра его перебил.

— Это я сказал первый! Мне магарыч! — шумел он. Бывало, как заведется — не остановишь.

— Почему ты первый? Я, например, не слышал, — угрюмо возразил дядя Паша.

— Ты же сам говорил, что тебя белоказак рубанул пашкой по уху!

— Так то левое ухо, а ты справа сидишь, — сказал дядя Паша, довольный тем, что перехитрил дядю Юру, и привычным движением отогнул огромной рабочей рукой свое ухо. Над ухом была вдавлинка, в которую спокойно можно было вложить грецкий орех. Все с уважением осмотрели шрам от казацкой пашки.

— Помню, как сейчас, стояли под Тихорецком, — начал было дядя Паша, воспользовавшись вниманием гостей, но дядя Юра опять его перебил:

— Если мне не верите, пусть он сам скажет. — И все посмотрели на меня.

В те времена я любил дядю Юру, да и всех сидящих за столом. Мне хотелось, чтобы все радовались моей удаче, чтобы все были соучастниками ее и ни у кого не было преимущества.

— Все сказали, — изрек я восторженно.

— Я не говорю, что не все сказали, но кто первый, — заревел дядя Юра, но голос его потонул в шуме, потому

что все радостно захлопали в ладоши: очень уж дядя Юра всегда старался вырваться вперед.

— О, аллах, — сказал дядя Алихан, самый мирный и тихий человек, потому что он был продавцом козинаков, — мальчик нашел деньги, а они шумят. Лучше выпьем за его здоровье, да?

Мужчины зашумели и стали, перебивая друг друга, пить за мое здоровье.

— Я всегда знал, что из него выйдет человек...

— С этим маленьким бокалом...

— Молодым везде у нас дорога...

— За счастливое детство...

— Дорога, но какая дорога? Асфальт!

— За эту жизнь, — провозгласил последним дядя Фима, — мы дрались, как львы, и львиная доля из нас осталась на поле.

— Он будет, как вы, ученым, — вставила тетя, чтобы успокоить его.

— И даже лучше, — крикнул дядя Фима и, забросив меня на неслыханную высоту, выпил свой стакан. Дядя Фима был самым образованным человеком на нашей улице и потому быстрее всех опьянел.

Я был в восторге. Мне хотелось сейчас же доказать, как я их всех люблю. Мне хотелось дать честное пионерское слово, что я каждому из них найду и возвращу все, все, что он потерял в жизни. Может быть, я думал не этими словами, но думал я именно так. Но я не успел ничего сказать, потому что пришла мама и, нарочно не замечая всеобщего веселья, выдернула меня оттуда, как редиску из грядки.

Она вообще не любила, когда я бывал на этих праздничных сборищах, а тут еще была обижена, что я пробежал с найденными деньгами мимо своего дома.

— Ты, как твой отец, будешь стараться для других, — сказала она, когда мы спускались по лестнице.

— Я буду стараться для всех, — ответил я.

— Так не бывает, — грустно сказала она, думая о чем-то своем.

Тут нам встретился брат, который возвращался после поисков. По его лицу было видно, что в лотерее два номера подряд не выигрывают.

— Ты все деньги показал? — спросил он у меня мимоходом.

— Да, — гордо ответил я.

— Ну и дурак, — бросил он и убежал.

Эти мелкие неприятности не могли погасить того, что заиграло во мне. Я решил, что всем неудачам и потерям в нашем доме пришел конец. Раз я ни с того ни с сего мог найти такие деньги, чего я только не найду, если буду все время искать. Земля полна надземных и подземных кладов, только ходи и не хлопай глазами, да не ленись подбирать.

На следующее утро на эти же деньги мне купили прекрасную матросскую куртку с якорем, которую я носил несколько лет. В этот же день весть о моей находке распространилась в нашем дворе и далеко за его пределами. Приходили поздравить, узнать подробности этого праздничного события. Женщины глядели на меня с хозяйственным любопытством, по их глазам было видно, что они не прочь меня усыновить или по крайней мере одолжить на время.

Я десятки раз рассказывал, как нашел деньги, не забывая при этом заметить, что предчувствовал находку.

— Я чувствовал, — говорил я, — я все время смотрел на землю и видел деньги.

— А сейчас ты не чувствуешь?

— Сейчас нет, — честно признавался я.

Это было и в самом деле маленькое чудо. Теперь я думаю, что какой-то шофер-левак, они часто там останавливались и распивали вино, потерял эти деньги. А потом в дороге спохватился, и его тревожные сигналы были правильно расшифрованы моим возбужденным мозгом.

В этот же день пришла одна женщина из соседнего двора, поздравила мою маму, а потом сказала, что у нее пропала курица.

— Ну и что мне теперь делать? — спросила мама сурово.

— Попросите вашего сына, пусть поищет, — сказала она.

— Оставьте, ради бога, — ответила мама, — мальчик один раз нашел деньги, и теперь покоя не будет сто лет.

Они разговаривали в коридоре, а я из комнаты прислушивался к ним. Но тут я не выдержал и приоткрыл дверь.

— Я найду вашу курицу, — сказал я, бодро выглядывая из-за маминой спины. Дня за два до этого у меня закатился мяч в соседский подвал. Вытаскивая его оттуда, я заметил какую-то курицу, а так как ни у кого



в нашем дворе куры не терялись, теперь я догадался, что это ее курица. — Я чувствую, что она в этом подвале, — сказал я, немного подумав.

— Там нет никакой курицы, — неожиданно возразила хозяйка подвала. Она развешивала во дворе белье и, оказывается, прислушивалась к нашему разговору.

— Должна быть, — сказал я.

— Нечего туда лазить, дрова раскидывать, еще пожар устроите, — затараторила она.

Я взял спички и ринулся в подвал. Дверь в него была заперта, но с другой стороны подвала была дыра, в которую я и пролез.

В подвале было темно, только слабая полоска света падала из дыры, идти приходилось согнувшись.

— Что он там делает? — спросил кто-то снаружи.

— Клад ищет, — ответила Сонька, бестолковая спутница моего детства. — Он там миллион денег нашел.

Осторожно чиркая спичками и озираясь, я подошел к тому месту, где видел курицу, и снова увидел ее. Она приподнялась и, подслеповато поводя головой, посмотрела в мою сторону. Я понял, что она здесь высидивает яйца. Городские куры обычно уходят нестись куда-нибудь в укромное место. В темноте поймать ее было нетрудно. Я нащупал рукой гнездо, которое она себе устроила на клоке сена, и стал перекидывать теплые яйца в карманы. Потом я осторожно пошел назад. Теперь я шел на свет и поэтому мог не зажигать спичек.

Увидев курицу, хозяйка от радости закудаhtала вместе с ней.

— Еще не все, — сказал я, передавая ей курицу.

— А что? — спросила она.

— А вот что, — ответил я и стал вынимать из карманов яйца. Увидев яйца, курица почему-то рассердилась, хотя я и не скрывал от нее, что взял их оттуда. Наверно, она тогда в темноте не заметила. Хозяйка переложила яйца в передник и, держа курицу под мышкой, вышла со двора.

— Когда поспеет инжир, приходи, — крикнула она из калитки.

С тех пор я всегда чего-нибудь искал и часто находил неожиданные вещи, так что прослыл чем-то вроде домашней ищейки. Помню, один наш чудаковатый родственник, когда у него пропал козел, хотел увести меня в деревню, чтобы я его как следует поискал. Я был уве-

рен, что найду козла, но мама меня не пустила, потому что боялась, как бы я сам не заблудился в лесу.

Я находил и многие другие вещи, потому что все время искал и потому что все считали, что я умею находить. Дома я находил щепки, запеченные в хлеб, иголки, воткнутые в подушки рассеянными женщинами, старые налоговые квитанции и облигации нового займа.

Одна из наших соседок часто теряла очки и звала меня искать их. Я ей быстро находил очки, если она не успевала их вынести из комнаты вместе с мусором. Но и в этом случае я их находил в мусорном ящике, потому что кошки, которые там возились, никогда их не трогали. Но она слишком часто теряла очки, и в конце концов я ей посоветовал купить запасные, чтобы, потеряв первые, она могла бы при помощи запасных искать их. Она так и сделала, и некоторое время было все хорошо, но потом она стала терять и запасные, так что работы стало вдвое больше, и я был вынужден припрятать ее запасные очки.

Мне доставляло радость дарить окружающим то, что они потеряли. Я выработал свою систему поисков потерянных вещей, которая заключалась в том, что потерянные вещи сначала нужно искать там, где они были, а потом там, где они не были и не могли быть. Гораздо позже я узнал, что это называется диалектическим единством противоположностей.

Если окружающие меня люди переставали что-нибудь терять, мне приходилось иногда создавать находки искусственно.

По вечерам я, как комендант, обходил двор и прятал забытые вещи. Часто это было белье, забытое на веревке. Я его закидывал на деревья, а потом на следующий день, когда ко мне приходили за помощью, после некоторых раздумий и расспросов, где что висело, как бы вычислив уравнение с учетом скорости ветра и направления его, я показывал удивленным домохозяйкам на их белье и сам же его снимал с деревьев. Разумеется, я был не настолько глуп, чтобы повторяться слишком часто. Да и настоящих потерь было гораздо больше.

За все это время только один раз находка моя не доставила радости хозяйке. Вот как это было.

В нашем дворе жила взрослая девушка. Звали ее Люба. Она почти целый день сидела у окна и улыбалась на улицу, зачесывая и перечесывая волосы золоченым гребнем, который я тогда ошибочно считал золотым. Ря-

дом с ней стоял граммофон, повернутый изогнутой трубой на улицу. Он почти все время пел одну и ту же песенку:

Люба, Любушка,  
Любушка, голубушка...

Граммoфон был вроде зеркальца из пушкинской сказки, он все время говорил про хозяйку. Во всяком случае, я был в этом уверен, а судя по улыбающейся мордочке Любушки, она тоже.

Однажды летом в довольно глухом садике возле нашего дома я нашел в траве Любушкин гребень. Я был уверен, что это ее гребень, потому что другого такого я никогда не видел. В тот же вечер я прохаживался по двору в ожидании, когда подымется паника и меня пригласят искать. Но Любушки не было видно, и никакой тревоги не замечалось. На следующее утро я еще больше удивился, не обнаружив посыльного у своей постели. Я решил, что золотую гребенку потерял кто-то другой. Но все-таки надо было убедиться, что Любушкина гребенка на месте. Как назло, целый день она не появлялась у окна. Она показалась только к вечеру, но теперь граммофон играл совсем другую песню.

Я не знал, что это за песня, но понимал, что граммофон больше не разговаривает с ней. Это была грустная песня, а когда Любушка повернулась спиной к окну, я увидел, что в ее волосах нет никакой гребенки, и понял, что граммофон вместе с ней оплакивает потерю.

Мать и отец ее стояли у другого окна, уютно облокотившись о подоконник.

— Любка, — спросил я, дождавшись, когда кончится пластинка, — ты ничего не теряла?

— Нет, — сказала она испуганно и тронула рукой волосы именно в том месте, где раньше был гребень. При этом она почему-то так покраснела, что стало ясно — она понимает, о чем я говорю. Я только не знал, почему она скрывает свою потерю.

— А это ты не теряла? — сказал я с видом волшебника, слегка уставшего от всеобщего ротозейства, и вынул из кармана золотой гребень.

— Шпион проклятый, — неожиданно крикнула она и, выхватив гребень, убежала в комнату. Это было совершенно бессмысленное и глупое оскорбление.

— Дура, — крикнул я в окно, стараясь догнать ее своим голосом, — надо читать книжки, чтобы знать, что такое шпион.

Я повернулся уходить, но отец ее окликнул меня. Теперь он у окна стоял один, а Любушкина мать побежала за ней.

— Что случилось? — спросил он, высовываясь из окна.

— Сама гребень потеряла в саду, и сама обижается, — сказал я и удалился, так и не поняв, в чем дело. В тот вечер Любке крепко попало.

А потом у них в доме появился летчик и пластинка про «Любимый город». Песенка была очень красивая, но я никак не мог понять там одного места: «Любимый город в синем дым-Китая». Каждое слово в отдельности было понятно, а вместе получалась какая-то китайская загадка.

Через неделю летчик уехал с Любушкой, и теперь ее мать грустила у окна вместе с граммофоном, который плакал, как большая собака, и все звал: «Люба, Любушка...»

Я продолжал свои поиски, прихватывая все новые и новые неоткрытые земли.

Особенно интересно было искать на берегу моря после шторма. Там я находил матросский ремень с пряжкой, пряжку без ремня, заряженные патроны времен гражданской войны, ракушки всевозможных размеров и даже мертвого дельфина. Однажды я нашел бутылку, выброшенную штормом, но записки в ней почему-то не оказалось, и я сдал ее в магазин.

Рядом с городом на берегу реки Келасури я нашел целую отмель с золотиносным песком. Стоя по колено в бледно-голубой холодной воде, я целый день промывал золото. Набирал в ладони песок, зачерпывал воду и, слегка наклонив ладони, смотрел, как она стекала. Золотые пластинчатые искорки вспыхивали в ладонях, вода щекотала пальцы ног, большие солнечные зайцы дрожали на чистом-пречистом дне отмели, и было хорошо, как никогда.

Потом мне сказали, что это не золото, а слюда, по ощущение холодной горной воды, жаркого солнца, чистого дна отмели и тихого счастья старателя — осталось.

Но вот еще странная находка, о которой мне хочется рассказать поподробней.

У нас была такая игра: кто глубже нырнет. На глубине примерно двух метров мы начинали нырять и заходили все дальше и дальше, пока хватало дыхания.

В тот день мы с одним пацаном состязались таким

образом на Собачьем пляже. Пляж этот и сейчас так называется, может быть, потому, что там строго-настрого запрещают купать собак, а может быть, потому, что собака там все-таки купают. И вот я ныряю в последний раз. Дохожу до дна, хочу схватить песок и почти носом упираюсь в большую квадратную плиту, на которой я успел разглядеть изображение двух людей.

— Старинный камень с рисунком, — ошалело крикнул я, вынырнув.

— Врешь, — сказал пацан, подплывая ко мне и заглядывая в глаза.

— Честное слово! — выпалил я. — Большой камень, а на нем первобытные люди.

Мы стали нырять по очереди и почти каждый раз видели в подводных сумерках белую плиту с тусклым изображением двух людей. Потом мы нырнули вдвоем и попытались сдвинуть ее, но она даже не пошатнулась.

Наконец мы замерзли и вылезли из воды. Я до этого точно приметил место, где мы ныряли. Это было как раз между буйком и старой сваей, торчавшей из воды.

Через несколько дней начались запятия в школе, и я рассказал нашему учителю о своей находке. Он вел у нас уроки по географии и истории. Это был могучий человек с высохшими ногами. Геркулес на костылях. От его облика веяло силой ума и душевной чистоплотностью. В гневе он бывал страшен. Мы его любили не только потому, что он обо всем интересно рассказывал, но и потому, что он относился к нам серьезно, без той неряшливой снисходительности, за которой дети всегда угадывают безразличие.

— Это древнегреческая стела, — сказал он, внимательно выслушав меня, — замечательная находка.

Решили после уроков пойти туда и, если это возможно, вытащить ее из воды. «Стела», — повторял я про себя с удовольствием. Уроки прошли в праздничном ожидании похода.

И вот мы идем к морю. В качестве рабочей силы с нами отправили физрука. Сначала он не хотел идти, но директор его все-таки уговорил. В школе физрук никого не боялся, потому что, как он говорил, его в любой день могли взять работать тренером по боксу. Мы считали, что он одним ударом может нокаутировать весь педсовет. Может быть, поэтому с его лица не сходило выражение некоторой насмешки над всем, что делается

в школе, и как бы ожидая того часа, когда этот удар нужно будет нанести.

Во время физкультуры, если его кто-нибудь не слушался, он мог дать щелчок-шалабан, равный по силе сотрясения прыжку с ограды стадиона на хорошо утоптаный школьный двор. В этом каждый из нас успел убедиться.

Мы разделись и посыпались в море. На берегу остался один учитель. Он стоял в своей белоснежной рубашке с закатанными рукавами и, опираясь на костыли, ждал.

Накануне был шторм, и я боялся, что вода окажется мутной, но она была прозрачная и тихая, как тогда.

Я первый подплыл к тому месту, нырнул и дошел до дна, но ничего не увидел. Это меня не очень беспокоило, потому что я мог нырнуть не совсем точно. Я отдышался и снова нырнул. Опять дошел до дна и опять ничего не увидел. Вокруг меня фыркали, визжали и брызгались ребята из нашего класса. Большинство из них просто игралось, но некоторые и в самом деле доныривали до дна, потому что доставали песок и шлепали им друг друга. Никто не видел плиты. Я подплыл к буйку, чтобы узнать, не сошел ли он с места, но он крепко стоял на тресе.

Подплыл физрук. Он слегка опоздал, потому что надевал плавки.

— Ну, где статуя? — спросил он, отдуваясь, словно ему было жарко в воде.

— Здесь должна быть, — показал я рукой.

Он набрал воздуха и, мощно перевернувшись, пошел ко дну, как торпеда. Нырял и плавал он, надо сказать, здорово. Он долго не появлялся и наконец вынырнул, как взрыв.

— Всю воду замутили, — сказал он, отфыркиваясь и мотая головой... — А ну, шкилеты, давай отсюда! — заорал он и, плашмя ударив рукой о воду, выплеснул фонтан в сторону наших ребят.

Они отплыли поближе к берегу, и мы с ним остались один на один.

— Слушай, а ты не фантазируешь? — спросил он строго, продолжая отдуваться, словно ему было жарко в воде.

— Что я, сумасшедший, что ли, — сказал я.

— Откуда я знаю, — ответил он, глядя на воду, словно выискивая дырку, в которую было бы удобней ныр-

путь. Наконец нашел и, набрав воздуха, снова нырнул.

На этот раз он вынырнул с ржавым куском сваи.

— Не это? — спросил он, выпучив глаза от напряжения.

— Что я, сумасшедший, что ли, — сказал я. — Там каменная плита, на ней люди.

— Откуда я знаю, — сказал он и, отбросив железяку в сторону, снова нырнул.

Оказавшись один, я подумал, что пришло время удирать на берег, но стыд перед учителем был сильнее страха. Я же видел ее здесь, она никуда не могла деться!

— Пфу! Черт! — заорал он на этот раз, испуганно выбрасываясь из воды.

— Что случилось? — спросил я, сам испугавшись. Я решил, что его хлестнул морской конек или еще что-нибудь.

— Что случилось, что случилось! Воздуху забыл взять, вот что случилось, — зафырчал он, гневно передразнивая меня.

— Сами забыли, а я виноват, — сказал я, несколько уязвленный его передразниванием.

Физрук что-то хотел мне ответить, но не успел.

— Что вы ищете? — спросила незнакомая девушка, осторожно подплывая к нам.

— Вчерашний день, — сердито сказал физрук, но, обернувшись, неожиданно растаял: — Древнегреческую статую... Может, поныряете с нами?

— Я не умею нырять, — сказала она с идиотской улыбкой, словно приглашая его научить. На ней была красная косыночка. И физрук с молчаливым восхищением уставился на эту косыночку, как бы удивляясь, где она могла достать ее.

— А сами вы откуда? — спросил он ни с того ни с сего, словно, откуда была косынка, он уже установил.

— Из Москвы, а что? — ответила девушка и на всякий случай посмотрела на берег, прикидывая, не опасно ли на такой глубине разговаривать с чужими мужчинами.

— Вам повезло, — сказал физрук, — я вас научу нырять.

— Нет, — улыбнулась она на этот раз смелей, — лучше посмотрю, как вы ищете.

— Если я не вынырну, считайте, что вы меня покаутировали, — сказал он, улыбкой перехватывая ее улыбку и доводя ее до нахальных размеров.

Он особенно мощно перевернулся и пошел ко дну. Я понял, что начались трали-вали и теперь ему будет не до плиты.

— Вы в самом деле видели статую? — спросила девушка и, вынув руку из воды, мизинцем, который ей по глупости показался наименее мокрым, приткнула сбившиеся волосы под косынку.

— Не статую, а стелу, — поправил я ее, глядя, как она бесстыдно прихорашивается для физрука.

— А что это такое? — спросила она, продолжая спокойно стараться.

Я тоже решил принять свои меры, пока он не вынырнул.

— Не мешайте, — сказал я, — что, вам моря мало, плывите дальше.

— А ты, мальчик, не груби, — ответила она надменно, словно разговаривала со мной из окна собственного дома. Быстро же они осваиваются. Она знала, что физрук рано или поздно вынырнет и будет на ее стороне.

Физрук шумно вынырнул, словно танцор, ворвавшийся в круг. Хотя он очень долго был под водой, это был пропащий нырок, потому что сейчас он нырял не для нас, а для нее.

— Ну как, видели? — спросила она у него, словно они были из одной компании, и даже подплыла к нему немного.

— А, — сказал он, отдышавшись, — фантазеры! — Так он называл всех маломощных и вообще никчемных людей. — Давайте лучше сплаваем.

— Давайте, только не очень далеко, — согласилась она, может быть, назло мне.

— А как же плита? — проговорил я, тоскливо напоминая о долге.

— Я сейчас дам тебе шалабап, и ты сразу очутишься под своей плитой, — разъяснил он спокойно, и они поплыли. Черная голова с широкой загорелой шеей рядом с красной косынкой.

Я посмотрел на берег. Многие ребята уже лежали на песке и грелись. Учитель еще стоял на своих костылях и ожидал, когда я найду плиту. Если б я еще вчера не видел этого пацана, с которым мы ее нашли, я бы, может, решил, что все это мне примерещилось.

Я пронырнул еще раз десять и перещупал дно от самой свай до буйка. Но проклятая плита куда-то запропала. За это время учитель наш несколько раз меня



окликал, но я плохо его слышал и делал вид, что не слышу совсем. Мне было стыдно вылезать, я не знал, что ему скажу.

Я сильно устал и замерз и наглотался воды. Нырять с каждым разом делалось все противней и противней. Я уже не доныривал до дна, а только погружался в воду, чтобы меня не было видно. Многие ребята оделись, некоторые уходили домой, а учитель все стоял и ждал.

Физрук и девушка уже вылезли из воды, и он перешел со своей одеждой к девушке, и они сидели рядом и, разговаривая, бросали камушки в воду.

Я надеялся, что нашим надоест ждать и они уйдут и тогда я вылезу из воды. Но учитель не уходил, а я продолжал нырять.

За это время физрук успел надеть на голову девушки косынку. Пока я соображал, с чего это он повязал голову ее косынкой, он неожиданно сделал стойку, а она по его часам стала следить, сколько он продержится на руках. Он долго стоял на руках и даже разговаривал с нею в таком положении, что ей, конечно, очень нравилось.

Я уныло залюбовался им, но в это время учитель меня очень громко окликнул, и я от неожиданности посмотрел на него. Наши взгляды встретились. Мне ничего не оставалось как плыть к берегу.

— Ты же замерз, — закричал он, когда я подплыл поближе.

— Вы мне не верите, да? — спросил я, клацая зубами, и вышел из воды.

— Почему не верю, — строго сказал он, подавшись вперед и крепче сжимая костыли своими гладиаторскими руками, — но разве можно так долго купаться. Сейчас же ложись!

— Со мной был мальчик, — сказал я противным голосом неудачника, — я завтра его вам покажу.

— Ложись! — приказал он и сделал шаг в мою сторону. Но я продолжал стоять, потому что чувствовал — мне и стоя трудно будет их убедить, не то что лежа.

— А может, этот мальчик вытащил? — спросил один из ребят. Это был соблазнительный ход. Я посмотрел на учителя и по его взгляду понял, что он ждет только правды и то, что я скажу, то и будет правдой, и поэтому не мог солгать. Гордость за его доверие не дала.

— Нет, — сказал я, как всегда в таких случаях жа-

лея, что не вру, — я его видел вчера, он бы мне сказал...

— Может, ее какая-нибудь рыба унесла, — добавил тот же мальчик, прыгая на одной ноге, чтобы вытряхнуть воду из ушей.

Это был первый камушек, я знал, что за ним посыплется град насмешек, но учитель одним взглядом остановил их и сказал:

— Если бы я не верил, я бы не пришел сюда. — Потом он задумчиво оглядел море и добавил: — Видно, ее во время шторма засосало песком или отнесло в сторону.

И все-таки через пятнадцать лет ее нашли, не очень далеко от того места, где я ее видел. И нашел ее, между прочим, брат моего товарища. Так что и на этот раз она далеко от меня не ушла.

Знаючи говорят, что это редкое и ценное произведение искусства — надгробная стела с мягким, печальным барельефом.

Я с волнением и гордостью вспоминаю нашего учителя, его курчавую голову с прекрасным горбоносым лицом эллинского бога, бога с перебитыми ногами.

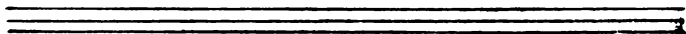
...Хотя в наших морях не бывает приливов и отливов, земля детства — это мокрый, загадочный берег после отлива, на котором можно найти самые неожиданные вещи.

И я все время искал и, может быть, от этого сделался немного рассеянным. И потом, когда стал взрослым, то есть когда стало что терять, я понял, что все счастливые находки детства — это тайный кредит судьбы, за который мы потом расплачиваемся взрослыми. И это вполне справедливо.

И еще одно я твердо понял: все потерянное можно найти — даже любовь, даже юность. И только потерянную совесть еще никто не находил.

Это не так грустно, как может показаться, если учесть, что по рассеянности ее невозможно потерять.

Э



**ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
ЧИКА**

## Ночь и день Чика

— А тебе, Ясон, — спросил Чик, — приходилось убивать человека?

Чик лежал на высокой бабушкиной кровати и, приподнявшись, смотрел в противоположную сторону залы — так называли эту комнату. Там почти в полной темноте лежал Ясон. Ясон курил, и огонек папиросы, когда он затягивался, озарял его впалую щеку, коротенький нос и большие губы.

Между Чиком и Ясоном на своем обычном месте лежал дядя Коля, сумасшедший дядюшка Чика. Ставни среднего окна были открыты, и свет уличного фонаря слегка озарял постель и бритую голову дяди Коли.

В столовой спала тетя Наташа, дальняя родственница Чика. Больше в доме никого не было, все уехали в деревню на похороны...

Обычно Чик спал у себя дома, внизу, на первом этаже. Но сегодня бабушка оставила его здесь, чтобы он присматривал за дядей. Сам-то дядя предпочел бы, чтобы Чик за ним не присматривал, потому что в таких случаях Чик редко удерживался, чтобы не подразнить его.

Правда, сейчас Чик, занятый разговором с Ясоном, не собирался его дразнить. Дело в том, что Ясон был вором. Это все знали. Во всяком случае, знали все родственники. Изредка он заходил к ним домой, иногда оставался ночевать и всегда уходил рано утром.

Задав вопрос, Чик напряженно прислушивался, чтобы не пропустить ни одного слова. Прислушиваясь, он поглядывал сквозь среднее окно на уличный фонарь, вокруг которого толклись мотыльки и мошки.

Ясон не спешил с ответом, зато в тишине без умолку раздавалась песенка дяди Коли. Такие песенки, собственного сочинения, без всяких слов, вернее, с выдуманными словами, он всегда пел перед сном, если у него было хорошее настроение.

Иногда он прерывал песню и, приподнявшись, тревожно смотрел в сторону Чика, чтобы вовремя перехватить его очередную проделку. То, что Чик до сих пор ничего не выкинул, беспокоило его, казалось признаком особого коварства.

— Вижу, вижу, — приговаривал он, делая вид, что разгадал замысел Чика и достаточно сурово покарает, когда это будет необходимо. Еще один оттенок легко улавливал Чик в его предупреждении. Он как бы выманивал его из засады — мол, давай, если ты такой храбрый, действуй побыстрей, а там я с тобой разделаюсь, и мы оба освободимся друг от друга. Иногда он поглядывал на Ясона, стараясь предугадать, чью сторону примет этот неизвестный человек в случае столкновения с Чиком.

Собственно говоря, Чик собирался подбросить ему кошку. С этой целью он взял ее к себе в постель, но сейчас, увлекшись рассказами Ясона, забыл о своих планах. Кошка спала, уютно устроившись на простыне, которой укрывался Чик.

Кошек и собак дядя Коля не переносил. Он испытывал к ним яростное отвращение. Было похоже, что он не видел между ними особой разницы. Во всяком случае, и тех и других он обобщенно называл собаками.

Предупредив Чика, что его тайные приготовления не остались незамеченными, дядюшка на время успокоился и снова затянул свою бесконечную мелодию, иногда подражая каким-то музыкальным инструментам, совершенно неведомым Чикю, а может быть, и всему остальному человечеству.

— Он что, всю ночь будет так скулить? — неожиданно спросил Ясон, не отвечая на вопрос Чика.

— Это он поет, — ответил Чик, несколько обиженный за дядю, — он так попоет немного, а потом заснет.

— Интересно, что ему сейчас кажется? — сказал Ясон и затаился. Снова появились в темноте большие губы, коротенький нос и ямина впалой щеки.

— Ничего не кажется, — ответил Чик несколько раздраженно. — Ты лучше скажи, приходилось тебе убивать или нет?

— Было, — сказал Ясон не очень охотно. Чик не мог почувствовать, жалеет он об этом или ему просто лень вспоминать.

— Так расскажи, — снова подтолкнул он его.

— В ту почь, — начал Ясон, — мы ничего такого не думали. Шли с кино с одним корешком...

— Я его не знаю? — спросил Чик. — Он не из тех, кого я видел на стадионе?

— Не, то был грек, — сказал Ясон с таким видом,

как будто среди тех, что были на стадионе, не могло оказаться грека.

...В прошлом году за драку в ресторане Ясона посадили в тюрьму. Оказывается, он заплатил деньги ресторанному певцу, чтобы тот спел «Здравствуй, моя Мурка». Но певец почему-то отказался петь эту песню, хотя обещал спеть любую другую. Из-за этого все и началось.

Чик вообще считал всю эту историю очень глупой. Если уж Ясону было совсем невтерпеж послушать «Мурку», то он мог прийти к ним домой, и Чик ему спел бы ее, и притом бесплатно.

Одним словом, из-за этого получилась драка, и один из друзей Ясона бросил в певца бутылку из-под шампанского. Но она в певца не попала. Она попала в барабан, и тот лопнул. Не лопни барабан, ничего бы не случилось. А когда барабан лопнул, кто-то решил, что началась стрельба, и позвонил в милицию. Тут приехала милиция, и всех перехватили. Таким образом Ясон оказался на полгода в тюрьме. Вернее, это так считалось, что он сидит в тюрьме. На самом деле он вместе с другими заключенными работал. Чик тогда несколько раз носил ему передачи. Передачи эти — полная сетка продуктов — втайне от домашних собирала бабушка и давала Чику отнести, потому что работал Ясон совсем рядом, в двух кварталах от дома, на стадионе.

Хотя по дорожке похаживал часовой, пройти к заключенным было совсем легко с другой стороны, где в деревянном заборе была не слишком замаскированная дыра. В другое время ее обязательно заделали бы, а сейчас решили оставить, потому что все равно этот забор собирались заменить каменной оградой. (Среди ребят ходили темные слухи о том, что в гребень каменной ограды собираются вцементировать бутылочные осколки, как это делалось в некоторых местах. К счастью, слухи эти впоследствии не оправдались, но тогда мысль о новом каменном заборе с бутылочными осколками наводила на Чика тоску.)

Даже в самый первый раз, когда Чик приходил сюда со своей тяжелой сеткой, наполненной продуктами, он несколько не боялся часового. Он просто дождался, когда тот повернулся к нему спиной, и пролез в дыру. Потом, когда заключенные хвалили его за храбрость, Чик хотя и не протестовал, но про себя удивлялся их наивности.

Пролезая в дыру, Чик совершенно ясно понимал, что не может наш советский часовой выстрелить в нашего

советского школьника. В крайнем случае просто прогонит. Чик это до того ясно понимал, что голова его легко пролезла в дыру. А ведь обычно, когда он пролезал через эту дыру, голова его нередко застревала из-за своего размера и слишком растопыренных ушей. Дело в том, что надо было слегка сунуть голову в дыру, немного поерзать ею, а дальше она сама находила дорогу. Но Чик от волнения часто всовывал голову до отказа, так что поерзать уже было невозможно и приходилось лезть напролом. Чик всегда казалось, что в таких случаях уши его от предчувствия боли сами прижимаются к голове. А все потому, что он слишком волновался. А часового не надо было бояться, и голова Чика, спокойно поерзав, прошла в дыру.

Арестованные, почти все здоровые и молодые ребята, показались Чикуну веселыми и жизнерадостными. Одни из них перетаскивали носилки с песком и гравием, другие гасили в яме известь, третьи копали фундамент для каменной ограды, а четвертые вообще ничего не делали, просто сидели на досках. Чик почувствовал, что Ясона надо искать среди них. Так оно и оказалось.

Чикуну было неловко подходить к нему. Он думал, что Ясону будет стыдно перед ним за то, что он оказался в тюрьме, да еще вдобавок ему и голову побрили. Поэтому сам Чик испытывал неловкость. К счастью, Ясон не смотрел в его сторону, и он незаметно подошел к нему.

— А, Чик! — улыбнулся Ясон, увидев его, и, потрепав по голове, взял сетку. Чик сразу же почувствовал, что Ясон никакого стыда за то, что сидит в тюрьме, или за то, что ему побрили голову, не испытывает. Поэтому он и сам перестал стыдиться. Потом он заметил, что вообще никто из заключенных никакой неловкости не испытывает.

Ясон вынимал из сетки хлеб, сыр, масло, помидоры, соленые огурцы и все это небрежно складывал на досках. Двое заключенных, проходивших мимо с носилками, наполненными гравием, увидев, чем он занят, остановились напротив него и разом, не стовариваясь, бросили носилки, даже не наклонившись.

— А выпить ничего нет? — спросил один из них, усаживаясь рядом с Ясоном, и без всякой видимой причины заголил до колена одну ногу.

— Так это ж бабка! — ответил ему Ясон.

— Вот кран, — показал Чик рукой на колонку. Ему

на миг показалось, что им не дают воды. Все засмеялись, и Чик догадался, что они имеют в виду.

Товарищи Ясона расселись на досках поближе к закуске и стали есть. Сначала почему-то все напали на соленые огурцы и мигом все сожрали. Чик заметил, что все остальное они ели довольно равнодушно. Чик с обидой почувствовал, что рука его все еще ноет от тяжелой сетки.

— Не очень-то, я вижу, вы голодные, — сказал Чик сердито.

Все опять рассмеялись, а тот, что был с оголенной ногой, поощрительно пошлепал свою голую икру — дескать, ничего, справный поросенок.

— Что мы, фрайера, что ли! — сказал он.

Двое из присевших на доски, продолжая жевать и не меняя позы, стали играть в карты. Чик не знал, что это за игра. Он знал только три игры: в «дурака», в «фурт» и в «очко». А это была какая-то странная игра. Один из игроков, беря из колоды карты, самым нахальным образом подсматривал остающиеся. Возьмет две-три нужные ему карты, но при этом обязательно вывернет еще две-три и подсмотрит. А второй игрок как уставился в свои карты, так и смотрит в них не отрываясь. Хоть бы, когда берет карты, на колоду посмотрел, волнуясь, думал Чик. Так нет, он и тут машинально протягивал руку и не отрываясь продолжал смотреть на свои карты. Прямо губошлеп какой-то!

— Да он же все карты подглядывает! — крикнул Чик, не выдержав.

— Ничего, пусть потешится, — сказал тот, так и не оторвав взгляда от собственных карт. И тут Чик по голосу его почувствовал, что он заранее это учел, так что ему даже незачем следить за колодой.

Чик до этого даже и представить себе не мог, что может быть такая игра, где один подсматривает карты, а другой хоть и знает об этом, но никак ему не мешает. Видно, за счет чего-то другого он уравнивает это преимущество, подумал Чик. Может быть, за счет более точной игры или еще чего-то.

Это было похоже на то, как однажды Чик бежал наперегонки с одним мальчиком. Условия были такие: надо было выбегать с одного места в разные стороны и, сделав круг из четырех кварталов, прибежать назад. Чик очень старался, потому что знал, что этот мальчик хорошо бегает.



Они встретились примерпо на середине параллельной улицы. Ревниво пропыхтев друг мимо друга, разбежались. Когда Чик выскочил на свою улицу и уже подбегал к тому месту, где они стартовали, он вдруг увидел, что его соперник выбегает со двора соседнего дома. Значит, как только они разминулись, тот решил срезать дорогу и побежал по дворам.

Соперник тоже заметил, что Чик его видит, он даже не мог скрыть смущенной улыбки и все-таки с тупым усердием продолжал бежать, хотя теперь это не имело никакого смысла...

Все-таки Чик пришел первым. Сперва он чуть было не задохнулся от возмущения, но потом, отдышавшись, понял, что мошенник (он все еще смущенно улыбался) вдвойне наказан. Получалось, что он и меньше бежал, и все равно пришел вторым. Оказалось, что прыгать через заборы тоже нелегко, а в одном дворе за ним еще и собака погналась.

Чик вспомнил этот случай, наблюдая за странной игрой в карты. Он пришел к выводу, что мошенничать не так выгодно, как это кажется многим. А в том, что именно так кажется многим, Чик нисколько не сомневался.

— ...Было уже часов так двенадцать, — продолжал Ясон. — Смотрю, в доме напротив парка окна открыты на втором этаже и свет горит. Прислушался — ничего не слышно, как будто спят. А свет горит. Место тоже удобное, и этаж низкий. В случае чего прыгай и чеши через парк. А кореш, который со мной был, оказался трус, но я не знал. Возле нас тоже ошиваются случайные проходимцы.

«Ты, — говорю ему, — кроме помидоров на базаре, что-нибудь воровал?»

«Я цесный вор, кого хочешь спроси», — отвечает он.

Вообще он некоторые слова не так говорил, потому что грек. Не, среди греков мировые ребята попадают, но этот оказался трус.

«Тогда попробуем», — говорю.

Вижу, дрейфит, но не хочет показывать.

«Подожди, — говорит, — есе рано».

«Ну, рано, рано, — говорю, — нас дети дома не ждут».

Пошлялись по городу, вышли на бульвар — вижу, скучает мой кореш. Ну ничего, думаю, сейчас повеселеет. У сторожа павильона покупаю поллитру и колбасу. Сели на берегу, пьем, закусываем. Вижу, он повеселел.

«Прошел мандраж?» — говорю.

«Какой мандраж? — говорит. — Я ползу, а ты стой на вассере».

Кидаю бутылку в море. Вижу — плавает.

«Вот, — говорю, — кто утонит, тот и стоит на вассере».

Смотрю — я не успею один камень поднять, он уже три кинул. Дал я ему утопить эту бутылку, и мы пошли. Все равно я его в дом не собирался пускать — такого мандражиста пусти, все дело испортит. По дороге зашел в один двор и срезал там бельевую веревку. Запихал в карман. Приходим к дому — вижу, окна все еще открыты и свет горит...

— А разве при свете не опасно? — спросил Чик.

— Еще лучше, — радостно пояснил Ясон, — хотя некоторые не понимают. Когда свет горит, ты сразу все видишь, где что и куда в случае чего бежать. А без света у него преимущество получается.

— У кого «у него»? — спросил Чик.

— Как у кого? — удивился Ясон и, скрипнув кроватью, повернулся к Чики. — У хозяина! Ведь он и без света знает, где что стоит у него. А ты можешь через какой-нибудь стул перевернуться и срок получить.

— Еще бы, — сказал Чик, — ведь он у себя дома.

— В том-то и дело, — вздохнул Ясон. В голосе его прозвучала обида за преимущество хозяина в знании особенностей своей квартиры. Чики это показалось очень смешным.

Пилюм, пилюм, пилюм, пилюм,  
Плюм, плюм, плюм!

Дядя Коля, не прерывая песни, неожиданно перешел на музыкальный инструмент, зазвучавший еще более радостно и энергично.

— Он что, совсем чокнулся? — спросил Ясон, приподнявшись, словно пытаясь разглядеть инструмент, на котором играл дядюшка Чика.

— Да нет, он всегда такой, — сказал Чик.

— Нет, раньше он был лучше, — не согласился Ясон.

— Ты просто с ним никогда не спал, — ответил Чик. — Он всегда так поет, когда у него настроение хорошее.

— С чего он радуется, — пробормотал Ясон, — жи-

вую бабу никогда не видел, за хорошим столом в жизни не сидел...

— Ладно, рассказывай дальше, — перебил его Чик. Он не любил, когда начинались такие разговоры про дядю.

— Некоторые думают, что раз горит свет, — продолжал Ясон, — то люди спят некрепко. Но я тебе скажу — это ерунда. Если человек заснул при свете, он так же крепко спит, как и без света.

— Хватит про свет, дальше рассказывай, — перебил его Чик.

— Ну вот, приходим снова, — продолжал Ясон, — а свет горит.

— Я же сказал, хватит про свет, — терпеливо напомнил ему Чик.

— А я и не говорю, — продолжал Ясон. — Я оставил его на вассере, а сам полез...

— Как полез? — снова перебил его Чик, чтобы он не пропускал интересных подробностей. — Ведь на второй этаж трудно залезть?

— Нет, — сказал Ясон, — там было легко. Там была парадная дверь, а над ней такой козырек. Я залез на этот козырек, оттуда на карниз, а по карнизу дошел до окна.

— У нас тоже такой козырек, — вспомнил Чик и посмотрел на закрытые ставни напротив своей кровати. Само окно было открыто, и достаточно было снаружи просунуть нож или проволочку, чтобы скинуть крючок, на который закрывались ставни.

А вдруг Ясон залезет к Богатому Портному, подумал Чик. Квартира Богатого Портного находилась рядом. Можно было вылезти на карниз, а оттуда перейти на его балкон. Летом он всегда был открытый.

— Да, почти такой, — согласился Ясон и, словно угадав мысль Чика, добавил: — На вашего Богатого Портного уф какой зуб имею...

— Ты что? — сказал Чик строго.

— А что? — спросил Ясон.

— Да ты что! — крикнул Чик. — Я ведь с его сыном дружу!

— Вот, Чик, — сказал Ясон, — ты даже шутку не понимаешь.

— Этим не шутят, — важно заметил Чик.

— Вообще, Чик, я тебе честно скажу, ты мне нравишься, — сказал Ясон, — ты не то что эта колхозни-

ца... И вот, значит, влезаю в комнату, — продолжал Ясон. — Стою у окна. Вижу, на кровати спит мужчина, слегка похрапывает. Молодец, думаю, спи. Комната хорошая, вообще ничего особенного. На одной стене ковер, а на нем кинжал для украшения. Ладно, думаю, видал я в гробу этот кинжал. Рядом шифоньер. Но я тебе честно скажу, я шифоньеры вообще не уважаю. Хуже нет — иметь дело с шифоньерами, особенно если в комнате спит человек.

— Потому что скрипит? — легко догадался Чик.

— Да, скрипит, как арба. Я чемоданы уважаю. Взял за ручку и пошел как фрайер. За это я люблю в поездах работать. Лучше поездов ничего на свете нет. Там тебе никаких шифоньеров. Но вот я нагнулся, и смотрю под кровать, и вижу два чемодана. Один рыжий, другой черный. Потихоньку нагнулся и начинаю вытаскивать черный...

— Собаки! Собаки! Брысь! Брысь! — вдруг заорал дядя Коля, свешиваясь с кровати и заглядывая под нее. Кошка, спавшая у Чика на кровати, вздрогнула и с испугу попыталась прыгнуть, но Чик вовремя ее перехватил.

— Он что, совсем очумел? — воскликнул Ясон и тоже привскочил с кровати. Дядя Коля смотрел на Чика округлившимися глазами.

— Нету! Нету! — крикнул Чик и для ясности сделал широкий отрицательный жест, чтобы успокоить дядюшку.

— Хитришь?! — настороженно спросил дядюшка.

— Нет, не хитрю, — сказал Чик и опять сделал отрицательный жест.

— Собаки нету? — спросил дядюшка, словно пытаюсь уточнить, понимает ли Чик, что именно его беспокоят.

— Нету, — повторил Чик и опять сделал широкий отрицательный жест. Действовать надо было просто и односложно, чтобы исключить оттенки в истолковании его слов.

— Ха-ха-ха, — рассмеялся дядя Коля, — а я думал — собаки...

Последние слова он произнес извиняющимся голосом. Ему стало стыдно за ложную тревогу. Это не помешало ему, видно, для очистки совести, последний раз крикнуть: «Брысь!» После чего, окончательно успокоившись, он снова запел свою песенку.

— Что это? — строго спросил Ясон.

— Ему показалось, что у него под кроватью кошка, — сказал Чик просто. Он чувствовал, что с Ясоном тоже надо говорить односложно.

— По-моему, он говорил о собаках, — еще строже возразил Ясон, — или меня здесь за дурака принимают?

— Он и собак и кошек называет собаками, — объяснил Чик, стараясь придать голосу самую обычную интонацию.

— Тогда откуда ты знаешь, что он кричал на кошку? — спросил Ясон.

— Просто наша Белка сюда редко заходит, — сказал Чик.

— Он что, и собакам и кошкам говорит «брысь»? — спросил Ясон, несколько успокоившись.

— Да, — сказал Чик, — так ему запало в голову.

Вообще-то Чик не раз об этом думал и пришел к выводу, что, раз дядя Коля и собак и кошек называет собаками, какая-то сила заставила его уравновесить эту несправедливость по отношению к кошкам возгласом «брысь». Но Чик не стал излагать Ясону свою догадку — он чувствовал, что это для него слишком сложно.

— А больше ему ничего не запало? — спросил Ясон.

— Нет, — сказал Чик. — Рассказывай дальше.

— Лучше в КПЗ ночевать, чем с ним, — сказал Ясон.

— Он, если его не трогать, никогда не тронет, — сказал Чик.

— Откуда я знаю! — ответил Ясон и добавил: — А вообще он кумекает, о чем мы говорим?

— Что ты! — успокоил его Чик. — Он ничего не понимает, он даже плохо слышит.

— А эта колхозница, интересно, спит? — спросил Ясон. Так он называл тетю Наташу. Слово «колхозница» звучало у него презрительно. Чик у правилась тетя Наташа, и ему было обидно, что Ясон ее так насмешливо называет.

— Да, спит, — сказал Чик.

— Ты тоже язык придерживай, — посоветовал Ясон и, подумав, добавил: — Хотя с тех пор прошло много лет, затаскают...

Чик промолчал.

Дядя Коля всю распелся. Чик чувствовал, что пение доходит до того момента, когда он не в силах передать свой восторг выдуманными словами и перейдет на язык выдуманных инструментов.

— Я вижу, он из тех, что всю ночь верещат,— сказал Ясон, прислушиваясь к пению и правильно почувствовав, что оно не скоро кончится.

— Нет, — сказал Чик. — Ты рассказывай, а он тут же уснет.

— Так я и поверил! У меня знаешь невры какие?

— Какие? — спросил Чик.

— У меня невры как папиросная бумага, — гордо сказал Ясон. — Не дай бог, если я заведусь.

— Надо говорить не невры, а нервы, — поправил его Чик. Пожалуй, это он мстил за тетю Наташу.

— Я и говорю — невры, — сказал Ясон.

— А надо говорить — нервы, — доброжелательно повторил Чик.

— Я и говорю нервы, — повторил Ясон, начиная раздражаться. — Что ты мне мозги лечишь? Недаром мне говорили, что ты ехидина...

— Ладно, — сказал Чик примирительно. — Отчего у тебя такие нер-вы?

— Как отчего? От поездов! — удивился Ясон его наглости. — Сколько раз на ходу приходилось прыгать!

Только он это сказал, как дядя Коля перешел на музыкальные инструменты: «Тюрли фук! Тюрли фук! Тюрли фук!»

Мелодия побежала сквозь скважины загадочной дудки.

— Во соловей! — сказал Ясон и с раздражением вспомнил о тете Наташе: — А колхозница спит... Ей хоть бы что...

Чик промолчал. Он знал, что если сейчас начнет ее защищать, Ясон и в самом деле заведется, и тогда неизвестно, чем все это кончится. Тетя Наташа ни капли не скрывала своего презрительного отношения к Ясону. Он отвечал ей тем же. Он говорил, что она, кроме сарая, где нижут табак, ничего на свете не видела и дальше Очамчиры нигде не бывала, тогда как он объездил полстраны на своих поездах. Он даже сомневался, видела ли она когда-нибудь поезд.

— И видеть не хочу, так же как и тебя, — безжалостно отвечала тетя Наташа. Чик не одобрял такую резкость, тем более что скоро поезда должны были появиться в Абхазии, потому в городе возвели эстакады и Чернявскую году продырявили тоннелем.

Вообще все взрослые родственники поругивали Ясона. Правда, не так уж слишком, потому что он редко

Приходил в гости. Только бабушка как начнет его пилить, так и пилит, пока он не уйдет из дому. Чик знал, что она-то как раз его жалеет, потому что он был сыном ее брата. Другие ему просто предлагали стать человеком, то есть таким, как они. Но он с этим не соглашался, потому что и так считал себя человеком, и притом более высокого сорта, чем они.

Казалось, обе стороны выжидали, чтобы наяву убедиться, чей образ жизни окажется в конце концов более правильным и потому более выгодным. Наверное, из-за этого, хотя и с некоторыми предосторожностями, Ясон пускали в дом, и он, в свою очередь, терпел поучения родственников. Так думал Чик.

Скрипнув кроватью, Ясон потянулся к пепельнице, чтобы достать окурок. Пепельница стояла на полу. Снова спичка озарила коротенький нос, большие губы и тени впалых щек. Он откинулся на подушке и пыхнул папирсой.

— Ты стал тянуть чемодан, и вдруг что-то случилось, — напомнил Чик.

— Да... Слышу — перестал храпеть. Я перемандражил и совсем залез под кровать. Думаю, если он сам проснулся, ничего не заметит. Минут двадцать пролежал под ним, чувствую — спит.

— Начал храпеть? — спросил Чик.

— Нет, — сказал Ясон, — по дыханию вижу. Я по дыханию лучше доктора могу определить, спит человек или притворяется.

— У спящего ровное дыхание, — заметил Чик.

— Это ерунда, — сказал Ясон, — ровное дыхание можно придумать. Но есть такое, что ни за что не придумаешь.

.. — А что это? — спросил Чик.

— Это так не расскажешь, — ответил Ясон, — это надо как следует перемандражить несколько раз, тогда почувствуешь. Да тебе это и не надо знать... Одним словом, вижу — спит. Потихоньку выволакиваю чемодан, подхожу к окну. Смотрю — нет моего паразита. Оказывается, он в парке из кустов выглядывает. Еле увидел. Ничего себе на вассере стоит! Я, значит, тут рискую, а он голову прячет. Даю знак — подходит. Я прицепил чемодан к веревке и осторожно спустил ему. Даю знак, что еще буду спускать. Он отвязывает веревку, переходит улицу, перелезает через ограду и стоит там в ку-

стах... Лиандры, что ли, называются... Такие воючие цветы?

— Да, да, — живо подтвердил Чик, — это олеандры, у них цветы, когда переспеют, вонять начинают...

— И вот он, значит, — продолжал Ясон, — стоит среди этих воючих цветов, сам такой же воючий, а я подымаю веревку, кладу ее на подоконник и только поворачиваюсь, как вдруг открывается дверь во вторую комнату и в дверях останавливается женщина.

— И она тебя не видит? — спрашивает Чик, пораженный таким ходом событий. Чик даже привскочил на кровати, что не понравилось кошке. Но сейчас ему было не до нее.

— Как не видит?! Прямо на меня смотрит! — восторженно говорит Ясон.

— И что она говорит?

— Ничего не говорит. Стоит и смеется!

— Смеется?!

— В том-то и дело, что смеется.

— Но почему?

— Откуда я знаю! Наверно, от страха или стыда. Она же голая.

— И он просыпается от ее смеха? — догадывается Чик, чувствуя, как волосы у него на затылке привстали, аж кожа на голове защемилась.

— В том-то и дело, что нет! Она так тихо, тихо смеется и вся дрожит.

— Но почему она полезла среди ночи в эту комнату? Она что-нибудь услышала? — допытывается Чик, отчетливо представляя эту ужасную картину. Вот она стоит в дверях, тихо смеется и вся дрожит голым телом. Чик почему-то представил, что эта дрожащая кожа совершенно белая, даже слегка пупырчатая, вроде бы от холода, хотя где взяться холоду, когда олеандры на всю улицу воняют. Чик чувствует, что если бы эта женщина была позгорелей, то картина получилась бы не такая ужасная.

— Да нет, — усмехнулся Ясон.

— Я знаю, — вдруг догадался Чик, — она была лунатик! Она искала выход к луне.

— Лунатик! — презрительно повторил Ясон. — Если ты лунатик — лезь на крышу, а не мешай людям... спать.

Чик почувствовал, что последнее слово прозвучало неубедительно.

— И ты его... убил? — спросил Чик, холодея, хотя и



так уже знал, что он именно этого мужчину убил. Он хотел представить, что бы было, если бы этот мужчина не паснул. Но у него ничего не получилось. Он только представил, что этот мужчина неподвижно лежит себе с открытыми глазами и скучно так, скучно смотрит в потолок, как бы заранее готовясь к состоянию мертвеца.

— Да, — сказал Ясон и неожиданно добавил: — Слушай, Чик, у меня папиросы кончились. Где теткинны папиросы лежат, знаешь?

— Знаю, — сказал Чик, вставая, — сейчас принесу.

— Она что, «Рицу» курит?

— Да, — сказал Чик и вышел из залы. Он тихо прошел через столовую, где спала тетя Наташа. Пол в столовой был крашеный и, наверное, поэтому быстрее остывал. Ступать по нему босыми ногами было приятно. Он вышел на веранду и нащупал возле столика, где стоял самовар, начатую пачку папирос «Рица», которые курила его тетушка.

Чик часто бегал за этими папиросами в магазин, потому что тетушка ему доверяла покупать эти папиросы, а старшему брату не доверяла. Тот уже покуривал и мог незаметно открыть пачку, вытащить оттуда пару папирос и снова закрыть ее. Сначала тетушка, если замечала, что в пачке не хватает папирос, все сваливала на фабрику и со странной радостью всем рассказывала, что фабрика ее обманула. Потом однажды было замечено, что фабрика тут ни при чем, а во всем виноват старший брат Чика. Чик олимпиа, что теперь она всем расскажет, что ошибалась насчет фабрики, как бы извинится перед ней. Но ничего такого не произошло. Тетушка про фабрику больше не вспоминала, хотя при случае с таким же странным удовольствием рассказывала, что, оказывается, брат Чика покуривает и поворовывает у нее папиросы. Так как при этом она не вспоминала про фабрику, в головах у знакомых могла произойти путаница, они могли подумать, что фабрика поворовывает папиросы и брат Чика поворовывает, так что неизвестно, что остается курить самой тетушке. Неряшливостью образа мыслей — вот чем удивляли Чика многие взрослые. Среди взрослых первое место занимали женщины. Среди женщин наипервейшее место занимала тетушка.

На веранде, целый день открытой солнцу, было особенно душно. Ночь все еще никак не могла остыть. Светили звезды, но луны не было. Вперед в самом конце неба подымалось легкое зарево. Там был порт. Рядом с

верандой весело светила оцинкованная крыша соседского дома. Уже несколько месяцев в желобе, проходящем вдоль крыши, лежал великолепный теннисный мяч, случайно заброшенный сюда с какого-то соседского двора. Чик нащупал его глазами и с удовольствием убедился, что он на месте. На крышу нельзя было залезть, но он знал, что мячик медленно, но неуклонно продвигается в сторону водосточной трубы. После каждого сильного ливня он продвигался вперед на целый метр или даже полтора. Иногда его задерживали вмятины или рубцы на поверхности желоба, но рано или поздно он все равно перескакивал через них и неуклонно приближался к водосточной трубе.

По расчетам Чика, теперь мячу хватило бы одного или двух хороших ливней, чтобы бултыхнуться в бочку под водосточной трубой. И тут надо было не прозевать этот прекрасный миг. В последние дни стояла страшная духота, и можно было ожидать, что на город вот-вот обрушится хорошая гроза. Но она все еще никак не обрушивалась. Небо оставалось чистым и ясным.

Чик приоткрыл дверь в столовую, где спала тетя Наташа, тихо закрыл и на цыпочках перешел комнату. Открывая дверь в залу, Чик на минуту приостановился. Он прислушался к дыханию тети Наташи, чтобы определить по дыханию, спит она или нет. Хотя он и так знал, что она спит, ему почему-то было любопытно прислушаться к ее дыханию. Дыхания не было слышно. За открытым окном серел мощный ствол кипариса. Чик постоял немного и вошел в залу, прикрыв за собой дверь. Чик прошел мимо дяди Коли, подошел к кровати Ясона и подал ему пачку.

— А этот Лемешев уснул, — сказал Ясон и, зашуршав пачкой, вытащил оттуда папиросу.

— Я же говорил! — напомнил Чик и подошел к своей кровати.

Дядя Коля спал, откинувшись на подушке и приоткрыв рот.

— Рассказывай дальше, — попросил Чик, залезая на кровать. Он укрылся простыней и, нащупав кошку, погладил ее. Она, не просыпаясь, поблагодарила его урчаньем.

— А этот не проснется? — насторожился Ясон.

— Нет, — сказал Чик, — раз уж он заснул, он не проснется... Лишь бы тетя Наташа не проснулась.

— Да за колхозницу я и говорить не хочу, — отмах-

нулся Ясон и, затаившись, продолжал: — Так вот, значит, я стою среди комнаты, а эта женщина смотрит на меня, вся дрожит и смеется. Я показываю ей кулак, чтобы молчала, и, не спуская с нее глаз, лезу в окно. Я уже взялся одной рукой за подоконник, скинул веревку вниз, как вдруг этот мужчина вскакивает, как будто его палкой ударили, и бежит на меня.

— Он тоже был голый? — спросил Чик.

— В том-то и дело, что нет, — ответил Ясон. — Если б он был голый, ничего бы такого не случилось. Голый человек никогда на тебя не полезет. Одним словом, я уже выполз на карниз и только хотел спрыгнуть, как он меня успел схватить. Одной рукой душил за грудь, другой ухо рвет, сволоочь. Я тык-мык, ничего не могу сделать. Страшная боль. Сейчас или ухо оторвет, или задушит. Ну, я сунул в него нож — сразу отпустил. Прыгаю вниз, хватаю веревку и бегу через парк. В этих воплючих лиандрах запутался, упал. Все же вскочил и веревку тоже не бросил, бегу через парк. А сзади уже, слышу, окна открываются, крики раздаются.

— А товарищ где? — спросил Чик.

— Он еще раньше побежал, как только увидел, что мы завозились. Мы договорились в случае чего встретиться на берегу в уборной.

— В уборной? — удивился Чик.

— Да, — сказал Ясон, — там всегда можно закрыться и спокойно посмотреть, что к чему. Вхожу — вижу, одна дверь закрыта. Думаю, он или не он? Думаю, неужели он с чемоданом раньше меня через полгорода пробежал? Так оно и оказалось.

«Это ты, Ясон?» — спрашивает.

«Открывай, — говорю. — Хорошо, что ты в Грецию не убежал».

Одним словом, заперлись там, раскрыли чемодан, смотрим — одно барахло. Лучше б я рыжий взял, в рыжем всегда что-нибудь есть. Правда, там лежал один хороший коверкотовый отрез и две мужские сорочки. Все остальное — ерунда. Отрез загнали одному портному, хорошие деньги дал... Интересно, ваш Богатый Портной отрезы покупает?

— Нет, — сказал Чик, — он такими делами не занимается.

— Ты в натуре дружишь с его сыном?

— Да, — сказал Чик.

— Интересно, где у его пахана деньги лежат, он знает?

Чик не мог понять, шутит он или говорит всерьез.

— Отстань, — сказал Чик, — лучше дальше рассказывай.

— А что рассказывать! — зевнул Ясон. — Ох, поясница... Кроме отреза, я все спустил в уборную. Чемодан тоже сломал и спустил в уборную. А между прочим, этот мандражист сорочки не хотел отдавать. «Зацем, — говорит, — выбрасывать? Я, — говорит, — сестрице отдам, сестрица перекрасит...»

— Значит, золота не было? — спросил Чик после некоторой паузы.

— Откуда золото! — пробормотал Ясон уже ворчливо, сонным голосом.

Ясон начал засыпать. Чик чувствовал какую-то неудовлетворенность от его рассказа. По правде сказать, он ожидал чего-то страшного, таинственного. А тут все оказалось слишком просто, даже как-то противно. Особенно эта подлая попытка перекрасить рубашки убитого и носить.

— Может, ты его ранил? — спросил Чик, немного помолчав.

— Убил, убил, — пробормотал Ясон, с досадой одолевая дремоту. Но Чика это бормотание совсем не убеждало.

Чик замолчал. Вокруг уличного фонаря все так же с бессмысленной яростью толклись мотыльки. Большая черная бабочка, которой раньше там не было, сейчас дрябло трепыхалась среди них.

Он снова представил, как эта женщина тихо смеется, глядя на Ясона, а тот отступает к окну и грозит ей кулаком, а тут вскакивает этот мужчина и безоружный бежит на Ясона.

— Хоть бы сначала за кинжалом побежал! — сказал Чик. Но Ясон ничего не ответил. Он уже храпел.

Странно получается, подумал Чик. Если бы этот мужчина не уснул, ничего бы не случилось. Он бы закричал, как только Ясон появился в окне, а Ясон прыгнул бы и убежал. Сколько случайностей, подумал он, и как, оказываясь, просто убить человека! Чик стало не по себе. Особенно гадостно снова показалось ему предложение перекрасить рубашки, а потом носить.

«Сестрица перекрасит», — вспомнил Чик и вдрогнул. Ветхие ставни в окне напротив Чика время от време-

ни поскрипывали, с гор потягивал ночной ветер. Если бы вор задумал забраться сюда, подумал Чик, он полез бы через это окно. Ведь оно было ближе остальных к железному козырьку над парадным входом.

Теперь Чик прислушивался к ставням. Каждый раз, когда они издавали скрип, Чик замирал и прислушивался. Иногда ему казалось, что кто-то стоит на карнизе и осторожно пробует скинуть крючок на ставне. Крючок еле слышно поскрипывал. Чик понимал, что это ему кажется, потому что крючок поскрипывал вместе со ставней, а ставня покачивалась от ветра. Чик знал, что летними ночами ветер всегда дует с гор. Но все-таки как-то неприятно было это еле слышное «кря-кря...». Слово кто-то пробует крючок, пробует...

Чик лежал на спине, глядя в потолок и прислушиваясь к поскрипыванию ставен. Но потопку, слегка озаренному уличным фонарем, время от времени проходили таинственные тени. Чик стал следить за ними, стараясь отвлечься от неприятных мыслей. Он и раньше замечал эти тени, но никогда не знал, откуда они берутся. Вот проскользнули две тени, а вот целая вереница теней печально прошествовала и растворилась над его головой. Некоторые тени, дойдя до середины потолка, как бы вспомнив, что они что-то забыли, перенитительно возвращались обратно. Иногда ему казалось, что их кто-то окликнул, и вот они возвращаются. Ему казалось, что он даже угадывает смысл этого бесшумного оклика — мол, подождите, сейчас не ваша очередь. Он так думал, потому что через некоторое время эта же самая тень, он узнавал ее по очертанию, снова появлялась и уже спокойно проходила свой непонятный путь.

Чик умом понимал, что они, эти тени, как-то связаны с тем, что происходит на улице, что они идут откуда-то оттуда. Но дело в том, что на улице ничего не происходило. Если бы проезжала машина или фаэтон, или в соседнем доме открывали освещенное окно, или поблизости колыхалось дерево, тогда было бы все понятно.

А сейчас Чик казалось, что эти тени связаны с ушедшим днем или даже с давным-давно прошедшими днями. То ли тени каких-то людей, то ли тени каких-то дневных событий... Что-то там получилось не так, они как-то выскочили из отведенного им времени, и вот они ходят, чего-то ищут, что-то пытаются сделать. Чик было жалко этих неудачников дня — не смогли завершить свои дела днем, что же у них получится ночью?

Так, бывало, в школе, когда тебя выгонят из класса, ходишь по школьному двору неприкаянный, не знаешь, что делать. Купишь стакан семечек у бабки, а они невкусные, или залезешь на турник и висишь, висишь, даже подтягиваться неохота. Все не дождешься звонка, чтобы слиться со своими и быть счастливым оттого, что ты с ними вместе. Правда, потом, после звонка, слившись со своими, ты уже не чувствуешь этой радости, и даже как-то странно, что тебя так тянуло к ним.

Чик вздохнул и повернулся к стене с решительным намерением уснуть. Надо думать о приятном, подумал он, например, о завтрашнем дне. Главное, что он обязательно будет, и все, что сейчас кажется тревожным, исчезнет, а если вспоминать, покажется глупым и смешным.

Сладость предстоящего дня ощущалась как сладость ясности. Он совсем успокоился и, уже засыпая, вдруг подумал, что и ночь по-своему хороша. Именно тем и хороша, почувствовал он, что в ее крошечной тьме с особенной силой ощущаешь сладость предстоящего дня, благодарность за то, что день был и будет.

Чик уже совсем засыпал, а может, даже и заснул, когда Ясон вдруг что-то быстро-быстро забормотал во сне. Чик очнулся и со страхом стал прислушиваться к этому бормотанию. Какая-то злобная жалоба чувствовалась в голосе Ясона. Внезапно бормотание затихло, но тишина сделалась еще страшней, затаила грозный смысл этого бормотания.

Чик приподнялся на постели и посмотрел в сторону Ясона. Но там ничего не было. Было видно только смутное очертание постели. Чик перевел взгляд на дядю. Тот спал, как обычно, слегка закинув голову и приоткрыв рот. Привычная поза дядюшки немного успокоила Чика. Он всегда спал спокойно, никакого там тебе бормотания или угров. Странно, подумал Чик, сумасшедший спит, как нормальный, а нормальный спит, как сумасшедший.

А вдруг он не спит, подумал Чик, а только притворяется, ждет, чтобы я заснул? Может, он теперь жалеет, что все это рассказал? Может, он думает, что я завтра пойду в милицию?

Надо было твердо ему сказать, думал он, что я умею держать язык за зубами. Почему я тогда ему ничего не сказал, подумал он, удивляясь своему легкомыслию.

Все-таки Чик хорошо помнил, почему он тогда промолчал. Нет, не потому, что он думал выдать Ясона.

Он понимал, что это подло. Раз человек доверился, значит, нельзя. Если б Чик сам, как Шерлок Холмс, раскрыл его преступление, тогда б совсем другое дело. А так нельзя — это Чик знал точно. И хоть Чик знал, что никому ничего не скажет, раз тот просил держать язык за зубами, Чик как-то почувствовал, что полностью лишать Ясона тревоги тоже нехорошо. Поэтому он тогда и промолчал. Но сейчас Чик жалел об этом, потому что ему стало страшно.

Он снова попытался уснуть, но у него опять ничего не получилось. Ему показалось, что кошка лежит слишком близко и дышит ему прямо в лицо. Чик ее отодвинул и положил между собой и стенкой на уровне живота. Чик считал, что это достаточно уютное место, но она полежала там с минуту и, видимо, решив, что Чик уже заснул, вкрадчивой походкой подошла к его лицу и улеглась. Чику эта вкрадчивая походка как-то не понравилась. Он ее снова, теперь уже более властно, отодвинул на отведенное место. Кошка как будто уснула, но Чик никак не мог уснуть.

Время от времени подушка делалась липкой и горячей. Чик переворачивал ее и погружал щеку в успокоительную прохладу нетронутой стороны. Через несколько минут она опять делалась невыносимой.

— Ребята, договоримся! — вдруг закричал Ясон и присел на кровати.

Чик тоже вскочил, ожидая самого худшего, но Ясон больше ничего не сказал. Кровать под ним закрипела. Видно, он, так и не проснувшись, снова улегся.

— Ты что-то сказал? — спросил Чик через некоторое время. Голос его прозвучал неприятно. Чик слышал в тишине, как бешено колотится его сердце.словно в ответ на слова Чика Ясон захрапел. Притворяется, подумал Чик, недаром он скрыл от меня признаки спящего человека. Он заметил, что я не сплю, и, чтобы успокоить меня, захрапел. А как только я усну, он встанет и задушит меня.

Пусть только встанет, подумал Чик, храбрясь, я так закричу, что вся улица проснется. Дядя Коля намного сильнее Ясона, так что скрутит его в одну минуту. Да и тетя Наташа его ничуть не боится.

Постепенно Чик опять успокоился, но теперь ему стало грустно. Жизнь показалась ему какой-то непрочной, ненадежной.

Вот так живешь себе, живешь, подумал Чик, и вдруг

кто-то тебя убивает ни с того ни с сего. Он чувствовал, что жизнь от смерти отделяет слишком тонкая, слишком нежная пленка. В этом была какая-то грустная несправедливость. Странно, что днем он этого никогда не чувствовал. Казалось, что днем жизнь защищена от смерти солнечным светом, как апельсин толстой кожурой. Ночь отдирает от жизни ее защитную солнечную кожуру апельсина, и вот уже тысячи враждебных сил готовы вонзиться в обнаженную мякоть жизни. Чик это чувствовал сейчас всем своим телом.

И не только Ясон со своей тайной. Например, скорпион может заползти на кровать. Хотя от его укуса, кажется, никто не умирал, все-таки это ужасно — когда укусит скорпион. Лучше пусть меня сто раз укусит собака, чем один раз скорпион, подумал Чик.

Он привстал и внимательно оглядел стену, чтобы проверить, нет ли поблизости скорпиона. Стена была вся в пятнах отколупнутой штукатурки и в разводах сырости. Хотя Чик ее прекрасно знал, но сейчас, в полутьме, одно пятно показалось ему подозрительным, и он долго ожидал, не шевельнется ли оно. Нет, все-таки это был не скорпион.

Дом, в котором жил Чик, был старый и сырой. В нем водились скорпионы. Чик сам несколько раз находил скорпионов. С каким омерзением, бывало, Чик пригвождал скорпиона к стене пожницами, а тот извивался-извивался и наконец, поняв, что ему некуда деться, закидывал свой отвратительный хвост и жалил самого себя в затылок.

Убитого скорпиона обычно засовывали в бутылку с подсолнечным маслом. Говорят, потом он туда выпускает свой яд, и, если кого-нибудь укусит скорпион, надо смазать этой жидкостью укус. Бутылка со скорпионами висела на солнце на одном из окон веранды. Она висела там с незапамятных времен, и, хотя в доме Чика скорпионы никого не кусали, все-таки, как только обнаруживался скорпион, его убивали и засовывали в бутылку — авось пригодится.

Чик вспомнил несколько выдающихся случаев, связанных с укусами скорпионов, хотя ему совсем не хотелось об этом вспоминать. Так, одному человеку, пока он спал, скорпион залез в туфлю. А когда человек проснулся и сунул ногу в эту туфлю, скорпион его укусил. А другой человек проснулся утром и полез под подушку, где у него лежали часы, чтобы узнать, пора ему



оставать или еще можно полежать в постели. И вот он сует руку под подушку, а там его уже скорпион дожидается.

Чик вдруг увидел, что стрелки часов превратились в осторожные клешни скорпиона, и он никак не мог понять, были ли вообще часы, или это скорпион притворился часами. Эта коварная пейсность превращения часов в скорпиона какой-то страшной тревогой стала давить на Чика, словно это превращение грозило возможностью других, еще более страшных превращений. Может быть, друга во врага, может быть, мамы в мачеху или любимого героя гражданской войны в затаенного шпиона фашистов.

И вот Чик чувствует: чтобы все эти превращения не совершились, он должен во что бы то ни стало ясно себе представить и понять, как и почему часы превратились в скорпиона. Чик сделал немощное усилие над собой, чтобы вырваться из этой неясности, и проснулся.

Ну конечно же, часы лежали под подушкой сами по себе, а скорпион заполз туда сам. Оказывается, Чик задремал, и ему это все примерещилось. Ему захотелось перевернуть разгоряченную подушку. Если под нею окажется скорпион, подумал он, приподымая подушку, надо сразу же его прихлопнуть этой же подушкой, спрыгнуть с кровати и зажечь свет. А там видно будет, что делать дальше.

Нет, скорпиона пока что, во всяком случае под нею, нет. Скорее всего скорпион может заползти в постель со стены. Чик тщательно отодвинул простыню — так, чтобы она ни в одном месте не прикасалась к стене. Пришлось побеспокоить кошку. Она никак не хотела сходить с насиженного места и лежала на нем отяжелевшим комом. Тут он вспомнил, что кошки тоже довольно опасные животные. Он вспомнил рассказ про одну кошку, которая не то задушила больную девочку, не то выпарала ей глаза.

Нет, пожалуй, надо прогнать ее, подумал он, вспомнив, как она упорно хотела остаться лежать возле его головы, да еще, думая, что он уснул, подходила к нему вкрадчивой походкой. Все-таки жалко было выгонять ее с кровати, но он преодолел жалость и спустил ее вниз.

Чик снова улегся, но почувствовал, что для полного спокойствия еще что-то надо сделать. Да, вспомнил он, надо утром вытряхнуть сандалии, прежде чем надевать их на ноги. А то сунешь ногу, а там скорпион. А вдруг

забуду? — подумал он. Он слез с кровати, нашел свои сандалии, перевернул их и придавил к полу, чтобы для скорпиона не оставалось ни одной щелочки.

Чик снова залез на кровать и тут вспомнил об одном потрясающем скорпионе. О нем рассказывал соседский старик Габуня. Однажды на крыше своего дома этот старик заметил огромного скорпиона. Он был величиной с черепаху.

Это случилось до революции, в николаевские времена. Тогда еще попадались огромные первобытные скорпионы. Когда этот скорпион проползал по крыше, под ним трещала черепица. Так рассказывал старик Габуня.

Некоторые не верили его рассказу, считая старика придурковатым. Но Чик сразу поверил. Именно потому, что он был придурковатым стариком, сообразил Чик, он никак не мог придумать, что черепица трещала.

Старик Габуня хотел пристрелить скорпиона, но, пока ходил за ружьем, скорпион залез под какую-то черепицу. Старик не стал разбирать крышу из-за этого скорпиона, он просто махнул на него рукой и продолжал жить в своем доме как ни в чем не бывало.

Чик ни за что не стал бы жить в доме, где есть хотя бы один скорпион величиной с черепаху.

А хорошо быть придурковатым, неожиданно позавидовал Чик старику Габуня. Придурковатому ничего не страшно. Может, у него сейчас черепица на крыше трещит под гигантским скорпионом, а он спит себе и ни о чем не думает.

Чик сам не мог понять, спит он или не спит, когда вдруг что-то мягкое и страшное рухнуло ему на живот.

Скорпион-гигант!!! — мелькнуло в омертвевшем сознании, и в какую-то долю секунды Чик даже успел сообразить, как тот сюда попал: полз по потолку и рухнул под собственной тяжестью. А еще через мгновение догадка спасительной радостью разлилась по телу: да нет! Это же кошка!

Ух, вздохнул Чик, надо ее совсем убрать отсюда. Сам же виноват, что она здесь.

Горло у него пересохло от пережитого ужаса.

Он спустился с кровати, взял кошку в охапку и понес на веранду. Проходя по комнате, где спала тетя Наташа, Чик прислушался к ее дыханию, но опять ничего не услышал — так тихо она спала. Чик постоял немного на прохладном полу и пошел дальше. Здесь было почему-то гораздо спокойней, чем в той комнате. Если б я

здесь спал, подумал Чик, я бы давно заснул. Чик и сейчас перешел бы в столовую, но здесь стояла только одна кушетка, и на ней спала тетя Наташа.

Чик вышел на веранду и выпустил кошку. Он посмотрел на соседскую крышу и привычно нащупал глазами теннисный мяч, лежавший в водосточном желобе. Еще пару хороших ливней, и он скатится вниз. Главное — не прозевать, с приятной озабоченностью подумал он.

В гуще кипариса за окнами веранды слышался тихий гомон спящих птиц. В кипарисе спали воробьи. Он стоял под окном, где спала тетя Наташа.

С кипарисом Чика связывала великая тайна. Из ствола кипариса примерно на уровне окна торчала засохшая ветка. Хотя она и высохла, все-таки она была крепкая, Чик был в этом уверен. У него был немалый опыт лазанья по деревьям, и он по виду ветки мог определить, достаточно ли она крепкая, чтобы выдержать человека.

Чик несколько раз пытался прыгнуть на нее из окна, но каждый раз ему чуть-чуть не хватало смелости. Стоило слегка наклониться к ней и спрыгнуть с подоконника, как можно было вцепиться в нее и слезть вниз. Прыгнуть и зацепиться за ствол было невозможно, потому что он был слишком толстый и гладкий. А за эту ветку можно было. Другие ветки начинались гораздо выше, а здесь, на уровне второго этажа, это была единственная высохшая ветка, вернее, обрубок ветки, сливающийся со стволом и почти незаметный со стороны. Каждый раз, когда Чик хотел спрыгнуть на нее с подоконника, ему чуть-чуть не хватало смелости. В конце концов он решил, что все дело в том, что сейчас нет причины, ради которой стоило бы рисковать, а когда будет стоящая причина, он спрыгнет не моргнув глазом. Чик это знал точно.

И вот однажды ему открылась причина, великий повод, из-за которого он спрыгнет на эту ветку. Скоро так или иначе начнется война с фашистами, думал Чик. И вот если они займут наш город (временно, конечно!) и устроят штаб в нашем доме...

Они, конечно, будут охранять все выходы и входы, но об одном никак не смогут догадаться — что кто-то может из дома спуститься по кипарису. Это им и в голову не придет: кто же будет прыгать на толстый гладкий ствол кипариса! И тут-то Чик совершит свой подвиг.

Он спрыгнет на эту ветку — разумеется, с полной па-зухой тайных документов — и удерет к своим.

Вот какая великая тайна была у Чика. Забыв все свои почные страхи, он сейчас лакомился мечтой о своем будущем подвиге. Насытившись мечтой о великой тайне, Чик стал думать о тете Наташе, потому что с ней у него тоже была связана тайна. Правда, не такая великая, но все же приятная.

Дело в том, что тетя Наташа ему давно нравилась. Чик теперь даже не мог вспомнить, когда она ему начала нравиться. Ему нравилась ее быстрая походка, длинные косы и маленькая голова. А главное — ему нрави-лось, когда тетя Наташа его целовала.

Вообще-то Чик терпеть не мог, когда его кто-нибудь целовал. Как назло, родственники и знакомые их семьи непрерывно чмокались, и Чик, как самому младшему, доставалось больше всех. Увернуться было почти невоз-можно — очень уж они все обидчивые были! Даже ути-раться после поцелуев приходилось тайком.

Особенно противны были поцелуи пьяных, небритых мужчиц. Но еще противней были поцелуи тетушкиных подружек с накрашенными губами. Какую-то злобную энергию вкладывали они в свои поцелуи, словно Чик был виноват, что у них там что-то не получалось.

И вот среди всех этих поцелуев, которые он отбы-вал как повинность, однажды он с изумлением почув-ствовал, что бывают приятные поцелуи. Чик тогда подумал и решил, что это происходит оттого, что от нее хо-рошо пахнет. От тети Наташи пахло деревенской кухней, точнее — запахом копченого сыра и жареной кукурузы.

Этой весной тетя Наташа вышла замуж, и Чик, ког-да узнал об этом, решил, что теперь она не станет его целовать, или даже если будет, то ему самому это бу-дет не так приятно, как раньше. Но когда она приехала в город, и поцеловала его, и Чик прислушался к дейст-вию поцелуев, он вынужден был признать, что ничего такого не случилось. Поцелуи не потеряли приятности, они даже стали еще пахучее.

Удивительно, вдруг подумал Чик, что две мои тайны оказались рядом: по одну сторону окна — кипарис, по другую — тетя Наташа. Что бы это могло означать? — подумал он. Во всяком случае, это неспроста так полу-чилось. Может быть, обе тайны хотят соединиться? Но для чего?

Ему захотелось напиться, и он открыл кран. Спешить

было некуда, и он сначала пустил воду, чтобы вылилась вся, которая была в надземной части трубы. Чик пальцами почувствовал, когда стала подходить свежая подземная вода. Он напился, вытер рот и тихонько, стараясь не скрипеть, вошел в столовую. На этот раз он решил пройти возле кушетки, где спала тетя Наташа.

Он тихонько подошел к кушетке и остановился, застав дыхание. Тетя Наташа спала, завернувшись в простыню. Лицо ее было повернуто к стене. Окно было открыто, и ствол кипариса сейчас казался толще, чем он был на самом деле, и гораздо ближе к окну. Казалось, протяни от окна руку — и достанешь до ствола.

Гомон птиц в хвое кипариса здесь слышался гораздо сильнее, чем на веранде. Непонятно отчего волнуясь, он прислушивался к этому гомону и смотрел на странное, как бы отвернувшееся куда-то лицо тети Наташи. Казалось, что она смотрит сон, как смотрят кино. Чик все еще слышал тихий шорох гомонящих наверху птиц, как вдруг слух его мгновенно обострился, и он отчетливо услышал струенье и щелканье о ствол падающих хвоинок. Эти сухие хвоинки осыпались с веток, на которых спали птицы. Они и днем все время осыпались, но Чик впервые услышал этот струящийся тихий звук.

— Тетя Наташа! — еле слышно позвал он. Ему показалось, что так долго стоять над ней и ничего не говорить как-то стыдно. Он не думал, что она проснется, но она сразу же проснулась.

— Ай! — вскрикнула она с какой-то деревенской грубоватостью, но тут же догадалась: — Это ты, Чик?

— Да, — сказал Чик.

— Ты чего не спишь? — удивленно и нежно спросила она, подымая голову.

— Не знаю, — сказал Чик, — что-то все мерещится, мерещится...

— Я же тебе говорила, не слушай этого дурака, — зашептала она и, быстро вытянув из простыни руки, обняла его за плечи шершавыми ладонями. — Он только и знает, что хулиганские глупости рассказывать... И врет все, выдумывает, не верь ты ему...

Подталкивая его к своей комнате и все-таки удерживая, она целовала его куда попало — в лоб, в щеки, в глаза. Чик готов был целую вечность так простоять, чувствуя прикосновение ее шершавых ладоней и твердых губ, вдыхая чудный запах копченного над костром см-

ра и жареной кукурузы. Но так как она все-таки подталкивала, он понял, что надо идти, и пошел к себе.

Он взобрался на бабушкину кровать и лег, прислушиваясь к волнующему и вместе с тем успокаивающему запаху копченого сыра и жареной кукурузы. Он подумал, что этот запах остался на его плечах от ее шершавых ладоней. Он понюхал свое плечо и удивился, что оно ничем не пахнет. Но он продолжал чувствовать этот запах, и ему больше не только ничего не мерещилось, но даже если бы он нарочно стал думать о самых страшных вещах, они бы его не испугали. Наверное, от этого запаха, подумал Чик, все еще вдыхая слабеющий аромат деревенской кухни и вспоминая дуновение ее шепота на лице.

И вдруг волна забывтья с гулом ударила его откуда-то сбоку и поволокла за собой. Так, бывало, зазеваешься в море, и вдруг прибойная волна шлепнет сзади, накроет с головой и потащит. Вздрогнешь на миг, а потом радостно отдаешься сильному движению шелестящей воды.

...А когда Чик проснулся утром, в комнате никого не было. Свет, как вода под напором, косыми струями, золотыми столбами сквозь тысячи пляшущих пылинок бил в комнату. По силе его Чик понял, что утро началось давно.

Сейчас ставни среднего окна были прикрыты, как и остальные. Чик сразу же догадался, кто их прикрыл. Только он подумал об этом, как распахнулась дверь с веранды в столовую и он услышал быстрые шаги тети Наташи. Она подошла к буфету, скрипнула его дверцей и зазвенела стаканами.

С веранды доносился поющий голос дяди Коли. Постукивая ложкой о дно железной кружки, из которой он всегда пил чай и которую никому, кроме бабушки, не давал в руки, он пел одну из самых своих бодрых песен — песню ожидания утренней трапезы. Чик улыбнулся, представив, как дядюшка держит свою кружку перевернутой до самого последнего мгновения перед разливом чая, чтобы туда не залетела случайная соринка или, не дай бог, муха.

Чик чувствовал, что стол уже накрыт, сахар наколот, самовар кипит, а дядя Коля и тетя Наташа ожидают, когда он встанет. От всего этого он испытывал сейчас необычайный подъем духа, благодарность начинающемуся дню и готов был запеть не хуже дядюшки.

— Собаки, брысь! — раздался голос дяди Коли; на мгновение прервавшего свою песню. На этот раз он и в самом деле имел в виду собаку. Чик услышал удаляющееся цоканье когтей Белки. Чик хотел было ее позвать, но затем решил сначала одеться, а потом уже поиграть с Белкой. Впереди был весь день. Он мимоходом вспомнил о тревогах этой ночи, и многое из того, что казалось страшным, сейчас выглядело совсем не так, словно оно потеряло свой запах или цвет. А некоторые подробности он вообще забыл. Так, одеваясь, он никак не мог понять, какого черта, пока он спал, ему кто-то перевернул сандалии.

\* \* \*

Чик сидел у себя во дворе на толстой виноградной лозе, могучими витками поднимающейся на шелковицу. Он держал уткнувшуюся передними лапами и головой ему в колени свою собачку Белку. Он поглаживал ее одной рукой по спине, иногда выковыривая из шерсти стебельки высохшей травы, колючки репейника, а то и клещей.

Стебельки засохшей травы он отбрасывал, колючки репейника выщелкивал, а если попадались клещи, он их осторожно клал на землю и изо всех сил растирал сандалией.

Когда Чик проводил рукой по голове и дальше по спине собаки, она старалась потереться мордой о его ладонь, показывая, что ей приятно. Если же клещ или колючка оказывались слишком цепкими, она слегка покусывала, но не пыталась уйти. Она только показывала Чику, чтобы он действовал осторожней, ведь все-таки она живое существо и ей больно, хотя она и согласна, что Чик делает полезное дело.

Когда Чик осторожно клал клеща на землю, она с любопытством поглядывала на него, удивляясь, что такое ничтожество заставляло ее так бешено чесаться. А когда Чик раздавливал клеща сандалией, Белка, мотнув головой, фыркала, показывая, что она несколько не жалеет этого паразита.

В нескольких шагах от Чика, упруго щелкая веревкой, прыгала через скакалку девочка Ника. Длинные ноги ее однообразно пригарцовывали, сверкая белыми тапочками, а желтый сарафан все время колыхался, а

иногда, вдруг напузыриваясь, приобретал сходство, впрочем, довольно жалкое, с парашютом.

Чик хмуро, как маленький и притом пресыщенный богдыхан, следил за ее однообразными движениями. Белка тоже искоса следила за пригардывающей девочкой, и каждый раз, когда веревка щелкала по земле, она мигала. Звук этот был ей неприятен. И хотя Чику казалось, что она сама стыдится своего страха, она как бы говорила Чику, продолжая при каждом щелкающем звуке мигать: мало ли что может случиться, а вдруг и меня опрест эта противная веревка.

Чику тоже было неприятно это скакание, но совсем по другой причине. Дело в том, что он в этот день задумал вместе с ребятами и девочками своего двора пойти в поход за мастикой. И вот вместо того, чтобы готовиться к походу или скромно сидеть возле Чика, показывая, что она побаивается, как бы Чик не раздумал брать ее с собой, эта Ника ничего такого и не думала делать.

В поход за мастикой? Пожалуйста, как бы говорила она всем своим видом, но, пока вы собираетесь, я еще попрыгаю.

Этого-то Чик больше всего на свете не любил. Это (Чик затруднялся, как это назвать), одним словом, это было свойственно некоторым мальчишкам и почти всем девочкам. Во всяком случае, Чик еще ни разу не встречал девчонку, которая была бы до конца предана Делу. Их всегда мог отвлечь какой-нибудь пустячок, унижающий Дело.

Например, если ты с ними на лужайке задумал ловить стрекоз, то кто-нибудь из них рано или поздно погонится за бабочкой или начнет собирать цветы, а то поймает божью коровку и будет целый час ее упрашивать, чтобы она взлетела на небо. И так во всем. В этом была какая-то умственная, что ли, неполноценность, но так уж они были устроены, и с этим ничего нельзя было поделать.

И вот тебе, пожалуйста, готовится великий поход за мастикой, а она как ни в чем не бывало скачет на своей скакалке.

Кстати, если кто не знает, что такое мастика, — это жвачка, вываренная из сосновой смолы и процеженная сквозь чистую тряпку. Лучше всего носовой платок, но, разумеется, чистый, еще не встречавшийся с носом.

Жевать мастику, особенно пускать из нее пузыри очень приятно. Но главное, мастика сейчас в моде. По-



являться среди ребят, жуя мастику, прилично, это производит хорошее впечатление.

И наоборот, если ты целыми неделями появляешься среди ребят с пустым ртом, или клянчишь у кого-нибудь, чтобы дали тебе тоже пожевать, или, глядя на других, пускающих пузыри, невольно оттопыриваешь губы и высовываешь язык, это производит на всех плохое впечатление.

Получается, что ты не можешь сходить в поход за мастикой, не умеешь раздобыть сосновой смолы и выварить ее как следует. Или, что еще хуже, все это ты умеешь, но тебя не пускают из дому, а уйти без спроса не хватает храбрости, дрейфишь. Горе тому, кто подолгу не жует мастику, он рискует сделаться всеобщим посмешищем!

Среди ребят своего двора Чик считал себя самым главным. Разумеется, он об этом не говорил, это было бы слишком глупо, но считал это вполне справедливым. Во-первых, он это так считал потому, что так оно и было, а во-вторых, он был старше на три месяца самого старшего из них, Оника, сына Богатого Портного.

Конечно, во дворе были и другие ребята, но это были совсем взрослые парни. Они были старше его на пять-шесть лет, их нельзя было принимать в расчет, у них свое.

Мать Оника говорила, что Чик старше Оника на три месяца, а хитрее на три года. Она это, как попугайка, повторяла тысячу раз.

Чик чувствовал, что в словах ее есть какая-то правда, но она нарочно огрубляет ее. Пожалуй, Чик нашел бы словечко поточней, чтобы определить разницу между собой и Оником. Но Чик отмалчивался, потому что считал унизительным что-то доказывать этой не очень-то умной женщине. Откровенно говоря, ему было неприятно слышать от старших про свою хитрость. Не то чтобы Чик не хитрил, очень даже хитрил, если это было надо. Но он-то знал, что взрослые обитатели их дома, называя его хитрецом, мстят ему, потому что он давно догадался об их взрослых хитростях.

Чик давно заметил, что у них во дворе взрослые, разговаривая с маленькими или между собой, очень часто говорят одно, а думают совсем про другое. И хотя Чик никогда не мешал им думать совсем про другое, они почему-то злились на него за то, что он знает про другое.

Чик просто удивлялся, почему они так злятся на него

за это. Иногда то, про что они думали, было так понятно и близко, что никак невозможно было не догадаться о нем.

Когда Чик был совсем маленький, он, слушая, как во дворе один взрослый, разговаривая с другим, говорит одно, а думает про другое, считал, что это такая игра. Чик замечал, что и другой взрослый при этом думает совсем про другое, так что никого никто не обманывает. Он только не понимал, почему они в конце игры не рассмеются и не скажут о том, что они хорошо поиграли.

А иногда дома, когда собирались гости, Чик замечал, что начиналась всеобщая игра, когда все говорили про одно, а думали не только про другое, а просто про разное. Так что Чик не успевал проследить, кто про что думает, или просто уставал следить.

Правда, случалось, что взрослые забывали про эту игру и кто-нибудь из них начинал рассказывать что-нибудь интересное и ничего другого при этом не думал, и тогда Чик с обожанием слушал этого человека. Конечно, и в таких случаях тот мог прерваться, чтобы сказать что-нибудь понарошку, но Чик на него за это не обижался. Он терпеливо переживал, как если бы этот взрослый закуривал, или опрокидывал в рот рюмку, или произносил тост, не только не имеющий другого, скрытого смысла, а вообще никакого смысла не имеющий.

Своих товарищей Чик разделял на тех, кто чувствует, что взрослые могут говорить одно, а думать совсем другое, и тех, которые этого не чувствуют. Обычно те, которые не чувствовали этого, были более губошлепистыми и счастливыми детьми. Чик чувствовал, что незнание делает их более беззаботными и веселыми, точно так же как знание делает людей более уязвимыми. Чик это знал. Вернее, он это знал, но не знал, что знает.

Просто он чувствовал, что, например, Оник как раз относится к тем ребятам, которые так и слушают взрослых развесив уши, не подозревая, что за их словами может скрываться совсем другое. Он чувствовал, что в этой наивности Оника есть какое-то достоинство, которого он, Чик, теперь лишен навсегда. При всем этом он любил Оника и иногда завидовал этому его достоинству простоты.

Порой Чик сознательно допускал по отношению к Онику некоторые небольшие, как он считал, несправедливости. Он считал, что ему очень уж легко живется на свете.

Вот и теперь, когда они решили отправиться за мастикой, он поручил Онику самое трудное — вынести из дому чистый платок. Дело в том, что после того, как сквозь платок будет процежена расплавленная смола, он делается непригодным к употреблению. Его остается только выбросить, потому что отмыть невозможно. Ничего, думал Чик, семья Богатого Портного от одного платка не обеднеет.

Кроме Оника и Чика, в поход должны были пойти две девочки: Сонька и Ника. И еще Лёсик, который, как понимал Чик, будет еще большей обузой, чем даже девочки.

Лёсик, по слухам, родился с какой-то болезнью, от которой он теперь хромал и заикался. Чик часто задумывался над его странной болезнью, от которой он одновременно хромал и заикался. Чик считал, что он как бы прихрамывает на язык или заикается на ногу. Можно было считать и так и так. Несмотря на свои недостатки, Лёсик был добрым мальчиком, и Чик часто защищал его от ребят.

Из-за своей хромоты Лёсик плохо держался на ногах. Он мог упасть на ровном месте без всякой причины. Просто нога у него подворачивалась.

Однажды, когда он шел по улице, один из соседских мальчишек крикнул ему в шутку:

— Лёсик, осторожно, упадешь!

Услышав свое имя, Лёсик обернулся в его сторону и в самом деле упал. С тех пор на улице и в школе пошла гулять эта дурацкая дразнилка.

— Лёсик, а-ста-рож-но, у-па-дешь! — нараспев кричал кто-нибудь, увидев, как Лёсик с портфелем ковыляет по улице. Обычно в таких случаях Лёсик с улыбкой оборачивался на этого мальчика, всем своим видом показывая, что он понимает, чего они ждут от него. И конечно, старался не падать, хотя иногда, правда очень редко, все-таки падал. Но даже если и падал, он, так же добродушно улыбаясь, вставал, отряхивался и шел дальше.

Лёсика из-за его хромоты родители никогда не пускали со двора. Только в школу отпускали, потому что она была совсем рядом, а больше никуда не отпускали. Конечно же, ему, как и всем ребятам, хотелось сходить на море или на гору или просто посидеть на улице. Но мать его все время следила за ним и строго наказывала, если он выходил за калитку.

Правда, не так давно у родителей Лёсика родились

двойняшки, и матери стало некогда следить за Лёсиком так внимательно, как раньше.

Родители Лёсика захотели иметь второго ребенка, чтобы посмотреть, будет он совсем здоровым или родится такой же, как Лёсик. И тут родились сразу двое и оба здоровые. Лежа в коляске, лупят друг друга ногами и кричат не заикаясь.

Но отец Лёсика был все равно недоволен. Он считал, что им было бы достаточно одного здорового ребенка, а тут родились двое. Опять не так, как он хотел, получилось.

Чик давно заметил, что есть такие мужчины, которые вечно недовольны, что бы жена ни сделала. И женщины тоже есть такие, которые вечно недовольны, что бы муж ни сделал. Лёсикин отец был как раз из вечно недовольных. Чик был уверен, что, если бы Лёсикина мама родила одного здорового ребенка, он все равно что-нибудь придумал бы. Может, сказал бы: раз уж пошли здоровые дети, так родила бы сразу двух.

Так или иначе, сейчас мать Лёсика была целыми днями занята своими двойняшками и про Лёсика слегка подзабыла. Чик решил воспользоваться этим и взять его с собой в поход за мастикой.

Сонька сейчас мыла под краном пустую консервную банку. Она была дочерью Бедной Портнихи, так иногда называли ее маму, чтобы отличить от отца Оника, Богатого Портного. Они жили в самом деле очень бедно и занимали одну из худших комнат во дворе. Тетушка часто говорила об их бедности, хотя сама же говорила и противоположное.

— Ничего себе бедная, — кивала тетушка на Сонькину маму, возвращающуюся с базара, — всегда с полной корзиной идет.

Противоречивость тетушки поражала Чика. Как будто нельзя быть бедным и возвращаться с базара с полной корзиной! Ведь можно покупать самые дешевые продукты, что, кстати, всегда и делала Сонькина мама. Она ходила на базар к самому закрытию, когда наиболее слабовольные крестьяне сдавались и продавали по дешевке свои продукты.

Во дворе было замечено, что она нарочно в самые жаркие дни ходит на базар, то есть в такие дни, когда продукты быстрее портятся.

— Все равно сгниет, — часами бормотала она, стоя на солнце у возле безропотно оползающих персиков

или где-нибудь в мясном ряду. Говорят, самые упорные сдавались вместе со свистком милиционера, закрывающего базар.

Кстати, Чик любил бывать на базаре. Обилие овощей, особенно фруктов, всегда веселило его, внушало желание петь бодрые песни. Единственно, что он не любил на базаре, — это мясные ряды. Не то чтобы Чик был вообще против мяса. Нет, мясо он любил. Но его как-то корбила грубая откровенность яростных кусков, брошенных на прилавок, обреченность коровьих туш, лишесных хвостов и как бы потому облепленных жирными мухами, множество маслянистых крюков, топоров, плах и палаческих фартуков. А самих мясников с растарашенными глазами Чик прямо-таки опасался. Он был уверен, что оголенное мясо развивает в них тайное бешенство, пьянит их.

Однажды Чик видел на базаре, как Сонькина мама спорила с мясником. Чик тогда с ужасом замер, ему показалось, что мясник сейчас выскочит из-за прилавка с топором и погонится за ней. Положение осложнялось тем, что Чик был на базаре со своим сумасшедшим дядюшкой, который был влюблен в Сонькину маму.

Об этом все знали, и Чик в первую очередь. Главное, он тоже не заметил и почувствовал, что происходит что-то неладное. Дядюшка уже замер и уставился на мясника неподвижным взглядом, что обычно означало готовность перейти к энергичным действиям. К счастью, именно в этот миг Сонькина мама сговорила с мясником, и он вlepил шматок мяса в ее растопыренную корзину. Она хохотнула и понеслась дальше. Дядюшка тоже мгновенно повеселел. Чик почувствовал, что у него на сердце отлегло. Черт его знает, что могло случиться!

— Дурачок шумит! — сказал дядюшка, показывая рукой на мясника и посмеиваясь. В то же время он взглядом просил Чика не рассказывать дома о том, что он собирался вступить за эту женщину. Дядюшка стыдился своей страсти, тем более что его довольно-таки безжалостно высмеивали из-за этой несчастной любви.

Так вот, дочь этой женщины, Сонька, была очень привязана к Чику. Иногда Чик подозревал, что по какому-то тайному закону равновесия она испытывала к Чику то чувство, которое дядюшка Чика испытывал к ее матери и на которое мать ее не могла ответить. По этому же закону равновесия Чик тоже не мог ничем ответить на эти чувства. Хотя самую привязанность ценил,

особенно ценил ее беззаветную преданность делам, которые он время от времени затевал. Впрочем, характер привязанности Чик мог и преувеличить из-за склонности к гармоническим конструкциям, которую он неустанно проявлял.

А что сказать о Нике? Она вместе с матерью переехала к ним во двор этой весной. Чик знал от дяди, что Ника — дочь известного танцора Пата Патараая. Дядя сам когда-то танцевал с ним в ансамбле. Дядя говорил, что Пата Патараая такой замечательный танцор, что может танцевать на перевернутой рюмке.

Чик очень долго старался представить, как это можно танцевать на перевернутой рюмке. В конце концов он решил, что отец Ники танцевал на перевернутой рюмке, стоя на конце большого пальца одной ноги и приподняв вторую. Это было похоже на рисунок из замечательной книги «История гражданской войны». Чик эту книгу много раз листал. Там был нарисован дореволюционный крестьянин, который одной ногой стоял на своей земле, а другую держал в воздухе, потому что своей земли у него было так мало, что некуда было поставить вторую ногу. Чик через этот рисунок почему-то легко представил Пата Патараая, танцующего на перевернутой рюмке. Разумеется, в отличие от лохматого, оборванного крестьянина он его представлял одетым в черкеску и в азиатские сапоги.

Хотя при нем об этом старались не говорить, и именно поэтому Чик особенно внимательно прислушивался, он понял, что Пата Патараая арестован. По обрывкам разговоров Чик догадался, что, оказывается, отец Ники довольно часто танцевал при большом начальнике, который оказался вредителем.

Это, по мнению Чика, было слишком. Начальник-то, конечно, вредитель, думал Чик, но отец Ники пострадал по ошибке.

Чик решил, что танцевать на перевернутой рюмке так трудно, что все внимание уходит на то, чтобы не свалиться с этой рюмки, а следить за вредительством начальника одновременно с этим слишком сложно.

Вскоре Чик догадался, что Ника ничего об этом не знает, Чик сам решил, что ей нельзя говорить об этом. Из разговоров взрослых Чик понял, что и соседи тоже ничего толком не знают об этом.

В первые дни, когда они переехали к ним во двор, Чик тоже ничего не знал. Он только заметил, что эту

новую девочку одевают нарядно, как взрослую. Почти каждый день Чик слышал, как она попискивает: это мать ей заплетала косы. Кроме того, она ходила, узко переставляя свои длинные ноги, словно стремилась как можно меньше соприкоснуться с пачкающим ее пространством. А главное, в ее личике, надо сказать, довольно хорошеньком, была та особая отмытость, по которой Чик за километр узнавал детей богатых родителей. У Оника тоже в лице была такая отмытость. По этому признаку он их сразу узнавал, как, скажем, по цвету газированной воды можно было сразу узнать, что в этом стакане двойная порция сиропа.

Чик в первое время старался держаться подальше от Ники. Но все-таки Чик испытывал к богатым какое-то странное любопытство. Поэтому он присматривался к ним и даже прислушивался, если это было возможно. И вот однажды, когда он играл у них под окнами, он услышал, как мать Ники велела дочери сходить за хлебом. Ты смотри, подумал Чик даже с некоторым умилением, их тоже, как и нас, посылают за хлебом. Только Чик так подумал, как Ника высунулась из окна и сказала:

— Чик, я тебя очень, очень прошу, сходи за хлебом. Мне так не хочется... — При этом она с таким приятным бесстыдством, с такими ужимками завертела своей мордочкой, что Чик не смог отказаться. Это была такая неожиданная наглость, что он просто растерялся.

— Давай деньги, — сурово сказал он, и она, вытянув из окна руку, передала ему деньги. Страшно надувшись от оскорбления, Чик поплелся за хлебом.

— Бессовестная, — услышал он голос ее мамы из окна и странный смешок Ники. Почему, почему я не отказался, пораженный, думал Чик всю дорогу и не знал, чем это объяснить. Во всяком случае, он пришел к твердому решению больше у них под окнами не играть.

Потом они подружились, потому что мать Ники к нему хорошо относилась. Это оттого, что Чик и дядя очень дружили и любили друг друга. А так как дядя раньше дружил с ее мужем, вот она и выделила Чика.

Иногда, уходя на базар или по делам в город, она оставляла Чика в квартире вместе с Никой. Чик не раз поражался ее умению, пошкродничав, мгновенно придавать своему облику невинное выражение. Ну, разумеется, перехитрить Чика ей никогда не удавалось.

Убранство в их квартире, как и ожидал Чик, оказа-

лось роскошным. Например, буфет был похож на дворец со стеклянными окошечками, дверцами, карнизиками. Кроме того, там был письменный стол, патефон с целой горой всевозможных пластинок и огромный диван, на котором можно было подпрыгивать, как на сетке циркачей.

Правда, у дяди тоже стоял письменный стол, но остальные вещи здесь были куда лучше.

— А у вас есть персидский ковер? — спросил Чик, заметив, что на стене нет никаких ковров.

— Был какой-то, мама продала, — небрежно ответила Ника.

Вот богатые, подумал Чик, им все равно, был у них персидский ковер или не был, даже толком не знают.

— А у нас есть персидский ковер, — сказал Чик, чтобы что-нибудь противопоставить этой прорве богатства. Он подпрыгивал на пружинящем диване, испытывая удовольствие не только от его упругих толчков под ногами, но и от того, что он бесплатно пользуется всем этим богатством. Чик считал, что сам он живет средне. Он так и говорил: «Мы живем средне», — когда разговоры о том, кто как живет, возникали на улице или в школе.

Ника довольно часто заводила патефон. Некоторые пластинки Чикю очень нравились, но он их воспринимал по-своему. Особенно нравилась одна, где рыцарь пел перед боем: «Паду ли я, стрелой пронзенный, или мимо пролетит она?» Чикю очень хотелось, чтобы она мимо пролетела, эта стрела. Он даже видел этот замедленный полет стрелы, пролетающей мимо рыцаря, который украдкой, одним глазом, с облегчением, но никак не показывая радости, следит за ее полетом. Показывать радость стыдно, а увертываться от летящей стрелы вообще не положено. Ничего не поделаешь, в те времена были такие суровые условия. Так думал Чик.

Иногда Ника заводила пластинки, где выступал ансамбль песни и пляски с участием ее папы. Ансамбль сначала начинал с какой-нибудь кавказской песни, а потом постепенно подогревал себя и доводил до состояния пляски. Одни из них при этом продолжали петь и хлопать в ладоши, а другие впускались в пляс. Чика удивляло, что Ника среди общего топанья радостно улавливала топанье отца.

— Во! Во! — тыкала она пальцем в пластинку. — Это он, он, Чик!



— Да как ты узнаешь? — удивлялся Чик. — Может, это кто-нибудь другой топает?

— Ну что ты, — говорила Ника, каким-то женским движением покачивая головой, — у папы совсем особый звук — легкий, точный...

Чик, сколько ни старался, никак не мог определить, чем отличается топанье Пата Патарая от всех остальных. Он решил, что во всем этом есть доля кривлянья, но считал это вполне простительным грехом, потому что она и в самом деле очень любила отца, которому так не повезло. К тому же такого рода кривлянье было свойственно многим взрослым.

— Тридцать рублей истратила, а что я купила! — например, говорила тетушка каждый раз, возвращаясь с базара. Это тоже было кривлянье, преувеличение. Во-первых, купила дай бог сколько, а во-вторых, хоть цены, по-видимому, в самом деле растут, но ведь не так быстро, как говорила тетушка. По ее словам получалось, что в каждый последующий день базар хуже, чем в предыдущий. Казалось, этими преувеличениями и кривляньем взрослые заклинают себя от большей беды, чем та, которая есть. Они как бы говорят ей: «Не надо тебя, не иди к нам, у нас уже есть точно такая же Большая беда».

Вот этим взрослым привычкам и подражала Ника, думал Чик, когда она говорила, что среди топота многих танцующих узнает топот своего отца по особой легкости да еще и точности.

Однажды, когда Чик играл с ней в прятки, случилось вот что.

Чик спрятался под письменный стол, а Ника почему-то долго его не могла найти. От нечего делать Чик пошарил рукой по тыльной стороне письменного стола и вдруг обнаружил, что там какие-то узкие щели. Чик понял, что это щели между ящиками письменного стола. В дядином письменном столе таких щелей не было. Такой уж тут стоял стол. Может быть, подумал Чик, у богатых так и положено иметь такие щелястые письменные столы.

Снаружи все дверцы его были заперты, а сзади можно было пальцами нащупать щели. Чик с трудом просунул руку в ящик и тронул пальцами какую-то коробку. С трудом шевеля пальцами, он открыл картонную коробку и вдруг почувствовал, что она наполнена какими-то маленькими металлическими предметами. Чик сразу же догадался, что это пистончики для патронов. Чик да-

же вспотел от волнения. Это был целый клад золотистых пистончиков, которые стреляли, как настоящий пистолет, если бить по ним камнем. Но тут Ника его обнаружила, и ему пришлось вылезать из-под письменного стола. После этого Чик еще несколько раз прятался под ним и успел вытащить оттуда и спрятать в карман с десяток великолепных новеньких пистончиков.

— Ты какой-то глупый, Чик, — в конце концов сказала Ника. — Почему ты все время в одно место прячешься?

Чик хмыкнул, подтверждая свою глупость, одновременно сладостно перебирая в кармане пистончики.

— Что это у тебя в кармане? — спросила Ника, чувствуя, что Чик хитрит. Она заглянула ему в глаза.

— Ничего, — сказал Чик, продолжая держать руку в кармане.

— Нет, покажи, что у тебя в кармане, — сказала Ника.

— Ничего особенного, — сказал Чик, — лучше давай играть.

— Нет, покажи! — крикнула Ника и накинулась на него, стараясь выдернуть его руку из кармана.

Чик не давал выдернуть руку из кармана, и они оба повалились на диван. Так как Чик не слишком сопротивлялся, главное было удержать руку в кармане, после некоторой возни Ника оказалась сверху. Она налегла ему на грудь и, упираясь острым локтем одной руки ему в живот, другой старалась выдернуть его руку из кармана.

Чик, конечно, не давался. Он чувствовал, что намного сильнее ее. Она попыталась просунуть руку в карман и в самом деле немного ее туда просунула, кряхтя и обдавая его струями горячего дыхания. Но Чик рукой, что была в кармане, прижал ее руку и не давал ей продвигаться дальше.

Игра эта показалась Чику забавной. Ему показалось, что, если б не острый локоть ее, давивший ему в живот, возня эта была бы даже приятной. Чик вывернул свой живот из-под ее локтя и прислушался, приятно ему или нет. Ты смотри, подумал он, в самом деле очень приятно. Удивительно, что раньше ничего такого он не испытывал. Правда, один раз в детском саду было что-то такое. Но это было так давно, что он забыл про это.

Стараясь держаться так, чтобы это новое ощущение не ослабевало, он в то же время не забывал и о своих

пистончиках в кармане. Он продолжал их сжимать в кулаке и в то же время изо всех сил придавливал ладонь Ники, проползающую в карман.

Ника не на шутку разгорячилась. Чем больше она горячилась, тем приятней становилось Чикю. Чик почувствовал, что надо поощрять ее усилия, чтобы сохранить уровень достигнутой приятности. Он сделал вид, что постепенно сдается, и она еще азартней взялась за него. Постепенно быстро шевелящиеся пальцы Ники добрались до его кулака, и, так как ему было приятно поощрять ее, он дал ей чуть-чуть просунуть палец между своими плотно сжатыми пальцами. Он был уверен, что сумеет ее остановить, когда надо. Но тут Чик ошибся. Царапая ему ладонь своим шарящим пальцем, она вдруг крикнула:

— Знаю! Знаю!

— Скажи, что? — спросил Чик и изо всех сил сжал в кулаке любопытствующий палец, чтобы он больше не шевелился.

— Знаю, — пропыхтела Ника, — это такие штучки для патронов... У папы тоже они есть... Вон там в письменном столе заперты.

Все еще тяжело дыша, она кивнула головой на письменный стол. Сначала Чикю показалось, что она догадалась, откуда он взял эти пистончики, но теперь понял, что она ничего не знает.

На него напал смех. Чик его никак не мог остановить, и она, вдруг обидевшись на него, резко выдернула руку из кармана и вскочила на ноги. Чик смутился и тоже встал. Он не понимал, почему она так обиделась на его смех, ведь она не знала, что он как раз оттуда и вынул эти пистоны. Он тогда не знал, что в таких случаях девочки терпеть не могут, чтобы кто-нибудь смеялся. Он вообще не подозревал, что она тоже что-то почувствовала.

— Ты не веришь, — сказала Ника и серьезно посмотрела на него, — что папа положил туда патроны, и патронташ, и эти штучки?

На Чика опять напал дурацкий хохот, и он никак не мог остановиться. Как же ему не верить, когда он сам их оттуда достал!

— Ах, ты опять?! — закричала она с такой злостью, что Чик сразу же перестал смеяться.

— Верю! Верю! — поспешно ответил Чик. — Честное слово!

— Конечно, — сказала Ника, заглядывая ему в глаза, — как только папа вернется из командировки, я тебе покажу их...

Она еще глубже заглянула Чикю в глаза, стараясь о чем-то догадаться и как бы умоляя Чика уверить ее, что догадываться не о чем. Чик это мгновенно почувствовал.

— Хорошо, — сказал Чик спокойно, — когда он придет, ты меня позовешь и покажешь.

Казалось, солнце упало на лицо Ники, так оно мгновенно просияло. Чик никогда в жизни не видел, чтобы у кого-нибудь так быстро вспыхивало от радости лицо.

— Да, — сказала она, — мы с папой не только покажем, папа тебе подарит их сколько хочешь. Мой папа самый, самый, самый добрый на свете!

— Знаю, — сказал Чик, — мне дядя рассказывал. Но ты уверена, что он мне подарит?

— Конечно! — закричала Ника и даже всплеснула руками в том смысле, что тут и говорить не о чем.

— А если бы он был сейчас здесь, — спросил Чик, — он бы подарил их мне?

— Ну да, — сказала Ника, — он делает все, что я у него попрошу.

— Можно считать, что он мне уже подарил? — спросил Чик.

— Можно, — кивнула Ника и села на диван. Чик уселся рядом.

Все равно, подумал Чик, он бы мне подарил... И потом, он же вернется, когда поймет, что он вредителю никогда не помогал.

— А почему ты мне сразу не показал, Чик? — спросила она и как-то по-особому посмотрела на Чика. Чик насторожился. Ему показалось, что она догадалась, что он что-то почувствовал, и вызывала его на откровенность. Как бы не так, подумал Чик, ни за что на свете.

— Просто так, — сказал он, — это игра такая.

— А мы еще будем в нее играть? — спросила она.

— Да, — сказал Чик как можно проще, — почему бы и не поиграть.

— А мне нравится, — сказала Ника и так откровенно посмотрела на него, что никаких сомнений не оставалось, что и ей была приятна эта возня, но сейчас он никак не хотел говорить об этом.

— Да, — сказал Чик, — это смешная игра.

— Чик, хочешь, я тебе расскажу один секрет? — ска-

зала она и, посмотрев на Чика, как-то хитро раскосила глаза, словно сразу же посмотрела в обе стороны, не подслушивает ли кто.

— Расскажи, — ответил он, чувствуя, как жгучее любопытство сжимает ему горло, и одновременно настораживаясь, чтобы она не выманила его на откровенность.

— Когда мы с папой были в санатории, — начала она, радуясь своему воспоминанию и стараясь заразить Чика этой радостью, но Чик не давал заразить себя этой радостью и держался как можно тверже, — так там был один мальчик, — продолжала она таинственным голосом и опять мгновенно выкосила глаза, словно пыталась застукать подсматривающих, хотя в комнате никого не было и не могло быть, — и у нас было свидание, и мы целовались два раза. Да, да, Чик, два раза, я помню.

Она выразительно посмотрела на Чика и, выставив два пальца, подтвердила, что поцелуев было именно два, а не один и не три.

У Чика дух захватило от этой откровенности. Вот богатые, подумал он, им ничего не стыдно! В то же время его как-то покорибил этот жест рукой, показался грубым. Так с сумасшедшим дядюшкой Чика обычно разговаривали, чтобы он лучше понял, о чем идет речь.

— Я не глухой, можешь пальцами не показывать, — сказал Чик.

— А у тебя, Чик, было свидание? — спросила она почти шепотом и опять выкосилась в обе стороны, словно они собирались сделать что-то недозволенное, а она смотрела, не подглядывает ли кто. А-а, вдруг догадался Чик, она нарочно так делает, чтобы подтолкнуть меня!

— Все это глупости, — сказал он сурово, отвергая эту тему. Вообще-то у Чика никаких свиданий не было, но прямо сказать об этом ему не хотелось.

После этого случая они еще несколько раз играли в выдуманную Чиком игру, покамест он не достал из коробочки в письменном столе все пистоны. Он перевернул всю коробку в ящике, и те из них, которые лежали шляпкой вниз, он доставал, придавив палец к острым краям пистона, а те, которые нельзя было придавить к пальцу, он загонял поближе к краю ящика и доставал их, зажав между пальцами.

Когда они кончились, он решил прекратить эту игру. Он чувствовал, что, если она будет продолжаться, он увязнет в какой-то постыдной тайне. Возможно, это был инстинкт свободы. Чик этого не знал. Он только пони-

мал, что с тайной ему будет жить хлопотно и громоздко, а он этого не хотел.

— Как ты думаешь, — спросил он у нее, когда кончились пистоны, — а целую коробку твой папа мне подарил бы?

— Конечно, — просияла Ника и царственно махнула рукой, — он даже целую коробку конфет может подарить.

Он не чувствовал больших угрызений совести за эту опустошенную коробку с пистонами и теперь окончательно успокоился.

Чик все еще сидел на лозе и гладил Белку, положив ее морду к себе на колени. Приковылял Лёсик и скромно сел рядом с Чиком, показывая, что он благодарен ему за этот поход. Чика беспокоило отсутствие Оника, которого он послал домой за чистым платком. Что с ним?

Сонька вымыла консервную банку под краном и, утирая рукавом брызги с веснушчатого лица, подошла к Чику.

— Хватит? — спросила она и дала Чику понюхать банку. Чик взял в руки банку и внюхался в нее. Все-таки слабый запах рыбных консервов можно было почувствовать. Но от этого, видно, нельзя было избавиться. Белочка тоже потянулась, чтобы понюхать, чем пахнет банка. Чик дал ей понюхать.

«Пахнет!» — фыркнула Белочка и чихнула.

— Ладно, — сказал Чик, — ничего.

— Можно мне скакалку взять? — спросила Ника, не останавливая своих прыжков. Чик от возмущения не мог найти, что ответить. Он молча уставился на нее с некоторой надеждой, что она смутится. Но она как ни в чем не бывало продолжала прыгать.

— Может, ты еще куклу возьмешь? — сказал Чик, сам чувствуя, что слова его недостаточно язвительны.

— Куклу... гы, гы! — Сонька до ушей растянула свою знаменитую улыбку. Лёсик тоже улыбнулся, засопел в поддержку остроумия Чика. Только сама Ника, продолжая скакать, пожалала плечами, показывая, что ничего смешного и тем более остроумного в его словах не находит.

Наконец появился Оник.

— Пахан кушать заставил, — сказал он с отвращением и, оглянувшись на окно своей квартиры, сунул Чику чистый платок. Потом он еще раз оглянулся на

окно и вытащил из кармана десять и пятнадцать копеек.

— На копилку, — сказал Оник и протянул деньги Чику.

— О, молодец, — сказал Чик, сразу же прощая его за опоздание. Он побежал домой и вбросил в копилку деньги. Они собирали деньги на футбольный мяч. Домашние Чика знали об этом, но родители Оника не знали, Чик уговорил его не рассказывать им о копилке. Он чувствовал, что это затруднит приток монет из дома Богатого Портного.

— Мы на огороде будем долго! — ответил Чик на оклик матери и сбежал по лестнице.

Так как отец Оника, как всегда в такое время, торчал с шитьем на балконе, Чик решил выйти через огород на речку и, подымаясь вдоль русла, пробраться на соседнюю улицу.

Огород, или сад, его и так и так называли, представлял собой участок с баскетбольную площадку, на котором росли дикая хурма, инжир, груша, айва, персик, два куста роз и один полудохлый куст смородины, считавшейся здесь, на юге, экзотическим растением. Все деревья были обвиты лозой «изабеллы». Между деревьями на грядках росли лук, кусты помидоров, кинза, петрушка и редкие мощные стебли кукурузы.

Бабушка Чика считалась хозяйкой огорода, и Чик был единственным из ребят, кто беспрепятственно туда допускался. Правда, иногда, когда у бабушки было плохое настроение или она считала, что ребята там топчут грядки, она насылала на них сумасшедшего дядю, и он гнал оттуда всех без разбору. Чик из самолюбия в таких случаях пытался ему объяснить, что он все-таки Чик, а не какой-нибудь чужой. Но это не помогало.

— Иди, иди, иди, — односложно приказывал тот с каким-то бюрократическим, как чувствовал Чик, безразличием к личности каждого. В таких случаях он их всех приравнивал и делал вид, что не узнает Чика. Он как бы говорил своим видом: мне приказано вас гнать, вот я вас и гоню, а кто ты там мне — племянник или не племянник, я не знаю и знать не хочу.

Это больше всего и раздражало Чика. Если бы он, прогоняя их, говорил Чику своим видом: да, я знаю, что ты Чик, а я твой сумасшедший дядюшка, но мне приказано всех гнать, и я гоню всех, — тогда было бы куда легче. Так нет же, он делал вид, что не узнает

его. Вообще Чик заметил, что чем слабее умственно человек, тем меньше он чувствует оттенки. Оттенки — это лакомство умных, вот что заметил Чик. Пожалуй, Чик про себя не сказал бы, что он такой уж умный, но он мог дать голову на отрез, что различает множество оттенков, которых другие не видят.

Вообще, задумываясь о своей голове, он пришел к такому выводу, что некоторые вещи он соображает очень хорошо, а некоторые туговато, с большим трудом. Он считал, что его голова в разных частях работает по-разному. В одной части колесики кружатся весело, быстро, легко, в другой части медленно, со скрипом, как колеса арбы. Он только не знал, где какая часть расположена. Вернее, он предполагал, что там, где виски, работа головы ни к черту не годится, а вот затылочная часть работает хорошо. Может быть, он так думал, считая, что, как говорят, «силен задним умом». Когда он вспоминал давным-давно прошедшие дела, он видел с необыкновенной ясностью, как надо было тогда действовать, а когда они происходили, он этого не замечал. Еще он заметил, что сильные встряски, долгая беготня тоже плохо действовали на его голову. Так, если он перед школой долго играл в футбол, то на первом уроке очень плохо соображал, что к чему. Видно, внутри головы с перегородками было неважно и все колесики перепутывались, мешали друг другу работать.

Во всяком случае, Чик точно знал одно, что та часть головы, которая определяет, что справедливо и что несправедливо, у него работает очень здорово. Этого Чик не сказал бы про многих взрослых.

Вот, например, бабушка. Обычно, когда собирали груши, она всем соседям посылала часть урожая. Это понятно, это хорошо. Но если она на кого-нибудь из них в это время была в обиде, она никому ничего не посылала. Но при чем тут другие, если ты на кого-то в обиде?

Чик тоже бывал на кого-нибудь из своих друзей в обиде, но ему никогда не приходило в голову, что от этого должны страдать все. И когда он брал их с собой в сад, все, что они там срывали с деревьев, он старался делить поровну. Ну иногда, конечно, если уж попадетса очень хороший инжир, он мог его отправить себе в рот ло общего дележа. Все же он стыдился этих минутных слабостей и нередко, проглотив плод, испытывал горькое раскаяние. Эх, думал он в такие мгновения, если бы рас-



какие-то пришло двумя-тремя секундами раньше, я бы не стал его глотать. Но ведь откуда ему взяться, раскаянию, если ты еще этот плод не проглотил?

Однажды, когда Чик был совсем маленький, а Богатый Портной не такой уж богатый, тому поручили собрать с дерева груши для всего двора. В тот год был хороший урожай, и все соседи задолго до начала сбора притихли, чтобы, не дай бог, не обидеть бабушку. Бабушка пыталась к некоторым соседкам придирается, но они смехом и шутками отвечали на ее придирки.

И вот Богатый Портной с корзиной на дереве собирает груши, а ребята со всего двора стоят под деревом и кричат ему, где какая груша еще осталась. Одну грушу, самую крупную и желтую, он никак не мог заметить, хотя она висела на ветке совсем рядом. Ребята все время кричали ему, снизу показывая на нее, а он никак не мог заметить, все время разгребая листья на других ветках.

Наконец он ее заметил. Осторожно дотянувшись, он нежно и плотно обнял ее всей пятерней.

— О-о-о, — похвалил грушу Богатый Портной, — эта пойдет в карман...

И в самом деле, срыв ее с ветки, он осторожно, как яйцо, положил ее в карман. Теперь Чик заметил, что карманы его подозрительно оттопырены. Чика тогда больше всего поразила откровенность Богатого Портного. Он как бы считал, что это и так всем ясно, что такую грушу нельзя в общую корзину положить. Но почему?

Чик тогда почувствовал, что у него испортилось праздничное настроение. В общем, тогда что-то испортилось. Он сам не мог понять, почему одна груша, правда самая хорошая, может все испортить. Но он чувствовал это. Потом он вспомнил, что, как только Богатый Портной потянулся к этой груше и обхватил ее ладонью, он, Чик, ощутил какую-то тревогу за нее. Он как-то по-особому потянулся за нею и сорвал ее. Он так ее взял, словно на ней было написано — только для Богатого Портного. Но почему? Было неясно и неприятно.

Чик шлепнул рукой по карману, чтобы убедиться, все ли на месте. Щелкнул спичечный коробок, стукнул по пальцам черенок перочинного ножичка — все в порядке!

Ника забросила скакалку к себе на веранду, и ребята прошли в сад.

Проходя под грушей, Чик оглядел ее, но еще на ветках не было ни одного спелого плода. Инжир уже немного поспевал, но Чик с утра снял с дерева два спелых, а больше за день не могло поспеть.

Вдруг Сонька подняла с земли упавший инжир.

— Чик! — крикнул Оник. — Она с земли подняла инжир!

— Я только посмотреть хотела, — сказала Сонька и поспешно бросила инжир на землю. Считалось, что подымать с земли палый инжир — признак нищенства. Груши, яблоки и другие достаточно плотные фрукты можно, а инжир нельзя. Чик с упреком посмотрел на Соньку.

— Знаем, знаем, как посмотреть, — сказал Оник и насмешливо закивал головой.

Сонька наступила на инжир и растерла сапожком его сладкое повидло, чтобы показать, до чего ей противно было бы съесть этот инжир. По тому, как она смачно его раздавила и растерла, Чик догадался, до чего ей хотелось съесть этот инжир.

Ребята вылезли сквозь дырявый забор и спустились к руслу речушки. Летом она обычно усыхала и плелась, едва высунув язык. Белочка, конечно, попыталась за ними увязаться.

— Белочка, домой, — сказал Чик строго, но доброжелательно. Белочка оглянулась, словно Чик разговаривал не с ней, с какой-то другой собачкой. Чик давно знал все ее хитрости. — Кому говорят, домой! — Чик прибавил в голосе строгости, но оставил и нотку доброжелательности.

«Ах, ты мне говоришь? Но мне так не хочется, Чик!» — сказала Белка взглядом и, склонив голову, застыла в позе сиротской покорности. Это было нелегко перенести, но Чик стойко держался. Он понимал, до чего ей скучно оставаться во дворе, когда все порядочные люди куда-то уходят, но брать ее с собой было нельзя.

Дело в том, что в последнее время в городе появился сабаков, который ездил по улицам со своей страшной клеткой и ловил зазевавшихся собак. О судьбе собак, попавших в его клетку, ходили самые мрачные слухи. Говорили, что он их убивает, из мяса делает мыло, а

шкурку перекрашивает, чтобы хозяева не узнали, и продает. Недаром Чик ненавидел мыло, хотя его уверяли, что в магазинах то мыло не продают. Продают не продают, все равно противно, думал Чик.

Про одну женщину даже рассказывали, что она купила на базаре мех драгоценного животного, а потом, через некоторое время, когда краска облезла, оказалось, что это шкура ее собственной собаки, которая когда-то пропала у нее. Бедная женщина отмыла шкуру своей собаки и, рыдая, с почестями похоронила у себя в саду. Чик подозревал, что собаколов этот подослан вредителями, чтобы люди, постоянно думая о судьбе оставленных дома собак, нервничали на работе и допускали грубые ошибки.

Однажды собаколов проезжал по улице, на которой жил Чик. Он в это время стоял у калитки с Белочкой. Все собаки ненавидели собаколова и с бешеным лаем провожали его по улице, хотя выскочить ни одна не решилась.

И только Белочка, хотя она была довольно маленькой собачкой, залаяла на него и бесстрашно, правда, иногда оглядываясь на Чика, бросилась на колымагу. Понурая лошадь собаколова даже не обратила на нее внимания. Видно, она привыкла к такому обращению. Может быть, даже она стыдилась, что вынуждена обслуживать своего подлого хозяина. У Чика было к ней какое-то двойственное отношение: с одной стороны, ему было жалко ее, вон какая — ребра торчат. А с другой стороны, он все-таки осуждал ее: раз у тебя такой подлый хозяин — сбеги от него!

Если в тот раз понурая лошадь собаколова не обратила на Белочку внимания, зато сам собаколов обратил. Он с какой-то нехорошей странностью посмотрел на Белочку, хотя ясно видел, что она не беспризорная, что она только что выскочила со двора из-под ног Чика.

Чик тогда погрозил ему кулаком. А этот негодяй, даже вспоминать неприятно, в ответ на угрозу Чика посмотрел на него с такой же сонной деловитостью, как и на Белочку. Чик, конечно, понимал, что собаколов людей не трогает, но мало ли что он может сделать, раз его подкупили вредители.

С того самого дня Чик стал бояться за Белку и старался отучить ее выходить на улицу. С тех пор он еще несколько раз видел проезжающую колымагу собаколова, и каждый раз у него надолго портилось настроение.

Раньше он иногда брал с собой Белку, когда ходил на море или в горы, как сейчас, но с тех пор старался отучить ее от улицы. Поэтому и теперь, несмотря на сиротское выражение, с каким Белка смотрела на него, он сурово отвернулся и пошел дальше.

В этом месте речушка была зажата стенами трехэтажных домов. Из верхних окон этих домов каждую секунду могли вылить помои, и потому приходилось идти, внимательно следя за окнами. Через несколько минут Чик оглянулся, и что же оказалось? Оказалось, что Белочка плетется за ним.

— Ах, так! — угрожающе сказал Чик и гневно посмотрел на Белку. Она продолжала стоять. А между тем в любую секунду из любого окна могла вылететь струя помоев. Особенно опасна была струя из верхних окон, потому что они выливали ее как бы с поверхности земного шара в безвоздушное пространство. Правда, с другой стороны, тут было и свое преимущество. Хотя жители верхнего этажа даже и не смотрели вниз, когда шлепали свои помои, все же благодаря самой высоте, если вовремя заметить летящие помои, можно было от них увернуться. Зато уж если жители нижних этажей, не заметив тебя, шваркнут помоями — никак не увернешься.

«Какие же окна опасней?» — задумался Чик и снова обратил внимание на Белочку. Она смотрела на Чика, терпеливо ожидая его решения. Тут Чик разозлился на себя и на Белку. На себя за то, что он имел дурацкую привычку задумываться над ненужными вещами, а на Белку за то, что она вообще еще тут торчала и, главное думала, что он задумался над ее судьбой — брать ее или не брать, хотя он думал об этих проклятых помоях.

Чик сделал вид, что наклонился за камушком, и, разогнувшись, махнул рукой, словно кинул его.

«Не верю!» — сказала Белка, мотнув головой.

— Ах, не веришь! — вслух ей ответил Чик и, нагнувшись, в самом деле поднял камушек. Правда, выбрал поменьше и бросил его в Белку. Камушек щелкнул несколько раз, подпрыгивая возле Белки. Она приподняла голову, а уши у нее вздрагивали при каждом щелчке.

«Ну, если дело дошло до кампей...» — Чик прямо-таки услышал эти слова, когда она, повернувшись и уныло поджав хвост, затрусилась назад. Сердце у Чика сжалось, но ничего нельзя было сделать, так было надо.

— Чик, скорей, а то нас помоями обольют, — напо-

мнила Сонька. Чик ничего не ответил, и они пошли дальше.

Они прошли мост, перекрывавший улицу, и остановились. После моста было небольшое пространство, где их легко можно было заметить с улицы, особенно с балкона, на котором вечно торчал Богатый Портной со своим утюгом.

Чик осторожно выглянул из-под моста на улицу. Богатый Портной был на балконе. Он, как обычно, фырчал водой изо рта и потом несколько раз проводил утюгом по столику, на котором лежала его очередная работа. Чик хорошо знал последовательность его действий. Они обычно никогда не менялись.

«Фырк! Фырк!» — водой изо рта на тряпку, потом внимательно взглянет на улицу, снова берется за утюг.

Надо было перебежать, пока он фырчит, или через несколько мгновений, когда он начинает гладить. Чик легко, без особой опаски, перебежал открытое пространство. Богатый Портной его не заметил. Оник из-под моста следил за Чиком с испуганными глазами. Он очень боялся, что отец его увидит и вернет домой. Он до того боялся, что сам уже не доверял своему слуху.

— Фырчит или не фырчит? — шепотом спрашивал он у Чика.

— Сейчас зафырчит, — ответил Чик, прислушиваясь к балкону. «Фырк! Фырк!» — раздалось с балкона. Чик переждал несколько мгновений и дал знак Онику. Оник в несколько прыжков одолел опасное расстояние. Ника не стала дожидаться его знаков, а сама спокойно перешла на эту сторону, показывая, что она никого не боится.

Вообще-то Чик преувеличивал опасность, но эта вечная независимость Ники сейчас ему не понравилась. Зато Сонька, дождавшись команды Чика, быстро перебежала на его сторону, показывая, что она в отличие от некоторых угадывает желания Чика и точно их исполняет. Если Чик у нравится считать, что перебежать от моста в безопасное пространство очень, очень опасно, то она так и будет перебежать, как будто это очень, очень опасно.

Чик у было бы приятней, если б она в самом деле чувствовала эту опасность, а не преувеличивала для Чика. Но все же это было лучше, чем самостоятельность Ники.

Бедный Лёсик и в самом деле сильно разволновался и от предстоящей опасности, и от сознания своей неловкости. На полпути между мостом и изгибом реки, где они

укрывались, он шлепнулся в воду и забарахтался, неуклюже шевеля ногами и руками, как перевернутый жук.

Чик, пригнувшись, подбежал к нему. Только он попытался поднять его на ноги, как вдруг откуда ни возьмись у края обрывистого берега появилась Белка. Она радостно взвизгнула и залаяла, решив, что Чик и Лёсик нарочно барахтаются в воде. Чик бросил на нее свирепый взгляд, но Белочка решила, что все это игра, и еще радостней залаяла.

Тут Чик почувствовал, что и в самом деле над ними нависла угроза. Сейчас Богатый Портной подымет голову, увидит их и догадается, что Оник с ними.

Он пригнулся, схватился за рубашку Лёсика изо всех сил и поволок его по воде до самого поворота. Увидев такое, Белка залилась повсю и даже попыталась спуститься вниз. Но тут Чик выглянул и, взяв в руку огромный булыжник и сделав самое свирепое выражение из всех возможных выражений лица, погрозил ей.

— Что ты там увидела, Белка? — хохотнув, поднял голову Богатый Портной.

Чик едва успел скрыться.

— Утя! Утя! Утя! Утя! — раздался голос женщины из соседнего двора. Она думала, что Белка лает на ее уток, и давала им знать, что она не даст их в обиду.

Ребята побежали вперед, а Чик, поддерживая одной рукой Лёсика, тянулся за ними. Здесь речка делала еще один пвгиб, и с улицы их нельзя было заметить. Отсюда был виден только кусок обрывистого склона, на котором стояла Белка и тоскливо смотрела им вслед.

Тут на всех напал смех, а Лёсик, весь мокрый, только сопел и смущенно оглядывал себя.

— Ничего, — сказал Чик и бодро шлепнул рукой по мокрым штанам Лёсика, — пока придем, высохнет.

Ребята пошли дальше. Теперь с обеих сторон над обрывистыми склонами шли сады и огороды. Тропинка была довольно хорошая, так что Лёсик без особого труда попевал за всеми.

Перед самым выходом из речки, где начиналась следующая улица, внезапно впереди показалась собака. Она сидела чуть повыше тропы и грызла большую кость с круглой шишкой на конце. Собака была большая и бездомная. Это было видно и по желтой свалявшейся шерсти, и по тому, как она спокойно расположилась здесь, на диком берегу речки.

Чик знал, что домашние собаки в таких местах не

располагаются. Домашняя собака если и найдет где-нибудь вкусную кость, то она ее притащит к себе, а не будет ее грызть где попало.

Это была опасная встреча. Мало ли что ей взбредет в голову. Они остановились и молча уставились на собаку. Собака тоже перестала грызть свою кость и, приподняв голову, а главное, не выпуская добычу изо рта, тоже молча уставилась на ребят.

Чик мельком подумал, что она сейчас похожа на старого капитана с трубкой. Чик про него читал какую-то книжку, но сейчас не мог вспомнить, что это была за книжка. Там был такой старый капитан с трубкой. Он на вид был свирепый, но на самом деле был очень добрый. Все свирепые капитаны с трубкой, про которых читал Чик, в конце концов оказывались очень добрыми. Конечно, могло оказаться, что и эта собака окажется доброй, но кто ее знает. Ведь сама-то она и не подозревает, что похожа на свирепого капитана с трубкой, который просто так, чтобы было интересней, напустил на себя свирепость.

Они молча бесконечные мгновения смотрели друг на друга, и от этого ребятам делалось еще страшней и страшней.

— Чик,— сказала Сонька тихо, — по-моему, я ее где-то встречала...

— По-моему, она бешеная, — сказал Оник.

Чик сам об этом подумал, но решил, что сейчас правильной будет отрицать это, чтобы его маленькую команду не охватила паника.

— У бешеной должна быть красная слюна, — сказал Чик.

— Бешеные бегут к воде, — сказал Оник, — а она видишь куда пришла?

— Глупости, — сказал Чик и, помертвев от страха, двинулся вперед. Если бы Чик был один и встретился бы в таком месте с такой собакой, которая только смотрит, и молчит, и даже кости изо рта не вынимает, он просто повернулся бы и ушел. Или даже сначала попятился бы как следует, а потом повернулся бы и ушел. Но сейчас, на глазах у всех, он этого сделать не мог.

— Чик, я боюсь за тебя, — услышал он сзади шепот Соньки. Он медленно, не шевелясь, проходил опасное место. Он не смотрел в сторону собаки, но краем глаза следил за ней. Ему казалось, что с каждым шагом морда ее делается все огромней и огромней, он видел ее большие

зубы сквозь небрежный прикус и красную полосу пасти.

Она похожа на старого капитана с трубкой, упрямо думал Чик. Она и есть старый капитан с трубкой, а старый капитан никогда никого не кусает. Старый капитан добрый, он курит трубку мира, и он и подумать не хочет, чтобы кого-нибудь укусить.

Чик прошел для полной безопасности еще шагов десять и остановился. Перевел дух. Теперь все ребята на той стороне завидовали ему. Чик дал знак Онику идти. Оник продолжал стоять.

— Чик, она все еще смотрит, — сказала Сонька.

— Пусть смотрит, — сказал Чик. — Ну, давай, Оник, — сказал Чик, — шевелись!

Оник тоскливо смотрел на Чика и даже не пытался сойти с места. И вдруг неожиданно для всех, содрогаясь смущенной улыбкой, Лёсик заковылял по тропе.

— Только не упади, только не упади, — забормотала Сонька.

Лёсик мужественно проковылял мимо собаки и подошел к Чику.

— Молодец, Лёсик, — сказал Чик и обнял его. Лёсик благодарно засопел.

Сразу же за Лёсиком пошла Ника. Она шла, по своей горделивой привычке узко переставляя ноги и всем своим видом показывая, что ее-то собака никогда не посмеет тронуть. Вот богатые, подумал Чик, вечно им кажется, что все должны знать об их богатстве.

Сонька не захотела одна оставаться и взяла Оника за руку. Так, взявшись за руки как маленькие, они вдвоем перешли опасное место.

И тут собака, повернув голову и все еще не выпуская кости изо рта, удивленно посмотрела на них. Казалось, она хотела сказать:

«Чего это вы тут делали, никак не пойму! Чего-то переговаривались, чего-то переходили по одному? Ничего не понимаю!»

Повеселев от удачного перехода этого опасного места, ребята пошли дальше.

— Я сейчас вспомнила, — сказала Сонька, — я эту собаку на базаре видела.

— Может, она здесь прячется от собачника, — сказал Оник.

— Все может быть, — вздохнул Чик. Напоминание о собачнике всегда портило ему настроение. Видно, от



этого собачника пикуда не денешься. — Возьми у Соньки банку, — сказал Чик, обращаясь к Онику. Нечего было Онику напоминать ему о собачнике, сам виножат.

— За что? — сказал Оник с обидой.

Чик выразительно посмотрел на него, напоминая, что он струсил. Оник понял его намек, но не принял его за уважительную причину. Чика всегда поражало в Онике равнодушие к вопросам личной доблести. Чик, как и все ребята, изо всех сил старался выглядеть храбрее, чем он был на самом деле. Для этого ему нередко приходилось понукать свою упирающуюся храбрость. А Онику и в голову не приходило, что ее надо понукать, пусть себе плетется как-нибудь или даже стоит на месте, если ей так хочется. Вот и теперь он смотрит с обидой на Чика и никак не хочет понять, что хоть как-нибудь должен поплатиться за свое поведение.

— Я платок дал, — напомнил Оник и сам выразительно заглянул Чика в глаза, как бы добавил, что он и деньги сегодня внес в копилку.

— Ничего, Чик, я понесу, — вмешалась Сонька. Она любила, чтобы все было хорошо.

— Ладно, — сказал Чик примирительно.

— Когда мы с папой жили в санатории, — сказала Ника задумчиво, — то там была немецкая овчарка, она из киоска носила в зубах газету.

— Может, скажешь еще, читала, — сострил Оник, повеселев оттого, что ему не пришлось нести эту консервную банку.

— Можешь не верить, — сказала Ника и дернула плечом.

Ребята выбрались на улицу. На гору, где росли мастичные сосны, можно было идти прямой дорогой или в обход. Прямой дорогой можно было прийти быстрее, но там надо было пройти через поселок, где обычно оклачивались «рыжие волчата», как их называли.

Они жили над поселком в одной из двух сталактитовых пещер, которые были на этой горе. В этой пещере они жили вместе с родителями и осликом, на котором ездил по городу и гадал их рыжебородый отец.

Рыжие считали, что это их гора, и они сторожили ее. Городские ребята, поднимавшиеся на эту гору, предпочитали с ними не встречаться. Чик нередко с ними встречался, но тоже предпочитал обойтись как-нибудь без них.

Бывало, сидишь на сосне, напав на хорошее место-

рождение смолы, соскребываешь ее ножом или гвоздем, вдыхаешь скипидарный запах хвои и смолы и чувствуешь себя счастливым золотоискателем, напавшим на хорошую жилу.

И вдруг настроение начинает портиться. Ты еще не понимаешь, в чем дело, но чувствуешь: что-то тебя беспокоит. Ты озираешься и внезапно замечаешь, что из-под хвои соседнего дерева за тобой следит рыжий волчонок, и, видно, давно следит. Встретившись с тобой глазами, он молча грозит тебе кулаком или, что еще хуже, не обращая на тебя внимания, продолжает за тобой наблюдать, как будто ты животное или неодушевленный предмет.

Иной раз в таких случаях и удавалось избежать встречи, если рыжий сам напал на хорошее месторождение смолы и ему неохота слезать с дерева. Но если ты почувствовал что-то неприятное и обнаружил, что рыжий сидит под твоим деревом и ожидает тебя, то тут уж, сколько ни сиди на дереве, он все равно дождетя тебя.

А если ты слишком засиделся, он просто забирает твою обувь и уходит, раз уж ты, скинув ее под деревом, не догадался припрятать. И ты сам стремглав спускаешься с дерева и догоняешь его.

Тут рыжий заставляет тебя покупать у него мастику, хотя ты поднялся на гору не для того, чтобы ее покупать. А если у тебя нет денег, он отбирает из твоих вещей что ему понравится — перочинный ножик, царский пятак для игры в деньги, кусок свинца для грузила или еще что-нибудь.

А если у тебя нечего отобрать, рыжий может закинуть твои башмаки в самые непроходимые заросли.

— Бобик, ищи! — говорит он при этом.

И ты ищешь, потому что это его гора и он тут делает все, что захочет. На самые лучшие, самые плодоносные сосны рыжая команда давно наложила запрет, и никто не смел к ним подойти.

Самый старший из рыжей команды, подросток лет четырнадцати, иногда со своими братьями окружал городских ребят, забравшихся на гору, выбирал из них кого-нибудь поновей и заставлял драться с одним из своих братьев.

Надо сказать честно, что он при этом выталкивал для драки примерно равного на вид волчонка. Но какое уж тут равенство! Чужая гора, чужая молчаливая стая, готовая вот-вот наброситься!

Так что поражение пришельца было неизбежно. Чик это знал. Бывало, если старшему победа казалась слишком быстрой и неинтересной, он кивал на кого-нибудь из рыжиков помладше и говорил:

— А ну, с этим попробуй!

Самый младший рыжик, такой парнишка лет семи, и то, оглядывая городских ребят своими кошачьими глазами, говорил:

— С кем-нибудь подлаться охота...

Конечно, им тоже доставалось, когда они шли в школу или из школы, но тут они были полповластными хозяевами.

Этой весной у Чика было столкновение с одним из рыжиков, но сейчас он не хотел об этом вспоминать, до того это было неприятное воспоминание.

Одним словом, Чик решил идти в обход. Там тоже было одно довольно сложное препятствие, а именно встреча со щенком волкодава, как его называл Чик. Но делать было нечего, лучше было встретиться со щенком волкодава, чем с этими рыжими волчатами.

Ребята перешли улицу, прошли мимо детдома под прохладной тенью кипарисов, потом завернули на крутую пригородную улицу и вышли на полянку, в конце которой проходила длинная каменная стена. Стена эта подымалась почти до самого гребня горы, где росли сосны, богатые мастикой. По этой стене им предстояло подыматься.

На полянке ребята с соседней улицы играли в футбол. Чик сразу заметил среди них Бочо, и в груди у него неприятно екнуло.

Дело в том, что Чику предстояло с ним подраться. Это было неизбежно. Но Чик предпочел бы подраться где-нибудь в другом месте. Если не удастся на своей улице, то все же лучше было бы возле школы или на углу между их улицами. Но драться здесь, где у Бочо были кругом свои ребята, Чик считал невыгодным и несправедливым. Поэтому он предпочел бы сейчас как можно незаметней пройти мимо игроков. Но разве дадут!

— Чик, вон Бочо, — сказал Оник простодушно.

— Не твое дело, — прошипел Чик, разозлившись на него за это простодушие. Оник знал, что Чику предстоит подраться с Бочо, но не понимал, что сейчас Чику это невыгодно.

Они уже почти прошли полянку, когда его окликнул Шурик, нервный сын школьной уборщицы.

— Чик, — крикнул он, — вон Бочо, будешь драться? Чик сделал вид, что не расслышал. Но проклятый Шурик не унимался.

— Бочо, — крикнул он своему голкиперу, — вон Чик, будешь драться?

— Мне что, — ответил Бочо своим сильным голосом и, понимая невероятную выгоду своего положения, не удержался от улыбки, — я всегда готов.

Дальше отмалчиваться было невозможно, и Чик остановился. Вся его команда остановилась.

— Мы сейчас идем за мастикой, — сказал Чик внятно и небрежно, — на обратном пути — пожалуйста...

— Подерись, а потом идите, — мирно посоветовал Шурик.

Этот ехидина знал, что сейчас Чикуну невыгодно драться. Ему очень хотелось посмотреть, как Бочо поколотит Чика. Чик знал, что, если Бочо победит, Шурик захочет подраться с Чиком, чтобы перерешить давно решенный вопрос, кто из них сильнее. Поэтому он так стремился к этому вдохновляющему зрелищу.

Игра остановилась, и все ждали, что будет.

— Какой хитрый, — сказал Шурик, — на обратном пути вы пойдете другой дорогой.

— Нет, — твердо ответил Чик, — раз я сказал, значит, так и будет.

— Или драка, или игра, — сказал хозяин мяча и угрожающе поднял мяч с земли. Он ревновал, что всеобщее внимание от его мяча переключилось на какую-то не слишком вероятную драку.

— Играть, играть! — закричали ребята и стали расходиться по своим местам.

Чик нашел возможным теперь двинуться дальше, не унижая своего человеческого достоинства.

— А что это за москвичка! — крикнул Шурик и под смех ребят изобразил походку Ники.

— Она не москвичка, она на другой улице жила, — сказал Лёсик, не понимая, что Шурик ищет повода для придирок.

— Притворяется москвичкой, — крикнул Шурик, хотя никто, кроме него, и не говорил, что она москвичка, — красавица южная, никому не нужная...

Чик молча проглотил эти оскорбления, в сущности, направленные против него. Вообще-то появляться среди ребят в обществе двух девчонок, причем одна из них фанатичная, и двух мальчиков, причем один из них еле

держится на ногах, а другой хоть и ловкий, но не слишком приспособлен защищать свою честь, было и всегда не очень-то прилично. Но в другие времена эти ребята — вернее, Шурик, а еще вернее, Шурик с их молчаливого согласия — не могли позволить себе такое.

Чик понимал, что авторитет его катастрофически падает. Он решил не откладывать сегодняшнюю драку, чтобы остановить этот обвал престижа.

Чик вспомнил, хотя это было неприятно, с чего все началось. В тот день недалеко от школы, в детском парке, он с одним мальчиком играл в деньги. Они играли в «накидку», так в те времена называли эту игру. Смысл ее состоял в том, что с определенного места игроки бросали свои пятаки на столбик монет, стоящий на каком-нибудь плоском камне. Чей пятак упал ближе, тот первым разбивает этот столбик.

Вокруг Чика и этого мальчика, когда они подходили расшибать монеты, образовалось кольцо из любопытствующих ребят. Среди них были Шурик и один из рыжиков.

В разгаре игры Чик обычно сильно волновался. На этот раз он особенно сильно волновался, может быть, потому, что денег на кону было больше, чем обычно. Два раза, когда на кону стоял сочный столбик серебристых монет, Чик выигрывал право первому расшибать этот сладостный столбик. Оба раза от волнения он промахнулся. Оба раза пятак его в миллиметре от столбика стукнул ребром по земле. И оба раза после того, как он промахивался, в напряженной тишине раздавался тихий смех какого-то мальчика.

Чик чувствовал, как неприятно покалывает его этот смех, но из самолюбия и поглощенности неудачей он не обращал внимания на то, кто именно смеялся.

И вот когда третий раз он получил право первым расшибать столбик монет и, страшно волнуясь и думая все время о том, что ему, после того как промахнулся два раза, теперь промахиваться в третий раз никак нельзя, он прицелился дрожащей рукой, как бы предчувствуя, что обязательно промахнется, ударил изо всех сил и в самом деле промахнулся. Даже еще хуже. Пятак, ударившись рядом, задел столбик монет, и он мягко, гармошкой повалился набок, так и не перевернувшись ни одной монетой.

И тут в третий раз раздавался тихий презрительный смех. У Чика в глазах что-то поплыло. Почему-то все-

гда это называют кругами, но Чик не уверен, что это были именно круги. Скорее это были какие-то остроугольные фигуры.

Теперь Чик разглядел смеющегося. Это был рыжик. Он сидел на корточках совсем близко. Чик, не разгибаясь, со всей силой дал ему по стриженной голове бреющий удар. По боли, ошпарившей ладонь, Чик почувствовал, что он его очень крепко ударил.

Рыжий схватился за голову и стал медленно подыматься, не сводя с Чика ненавидящих глаз. Чик почувствовал тревогу и на всякий случай тоже встал на ноги.

Чик не собирался с ним драться. Чик был чуть ли не на голову выше, старше его и сильнее. Это было ясно всем, в том числе и рыжему. Все еще держась за голову, он смотрел на Чика горящими глазами волчонка. Потом он слегка покосился в сторону своей горы, но она была далековато, и помощи ждать оттуда было бессмысленно. Здесь он был один.

И все-таки он ринулся на Чика. Несколько смущенный, Чик отбросил его, и по легкости, с которой рыжий отлетел, он еще раз почувствовал, насколько сам он сильнее его.

Но не тут-то было. Рыжий с еще большей яростью набросился на него, и Чику ничего не оставалось, как вступить в драку.

Чик дрался, все время чувствуя какую-то неловкость, потому что это была очень неравная драка. Он каждый раз, когда они сцеплялись, пытался отбросить его, но тот со свирепостью, свойственной всей рыжей команде, лез, и лез, и лез на него. В общем, получилась какая-то кошмарная драка. Все время чувствуя неравенство сил, Чик сдерживал себя и от этого действовал как-то нерешительно, неуклюже. Он все время думал о зрителях и старался им показать, что он дерется не в полную силу.

Но рыжий этого не замечал. Он только чувствовал, что раз противник не побеждает, значит, должен победить он. Покряхтывая и урча от кровожадного упоения, он вновь и вновь бросался на Чика, не сводя с него желтых ненавидящих глаз. Чику даже как-то стало не по себе. Он даже почувствовал некоторые панические признаки еще отдаленной усталости. Он как-то слишком упустил его вперед, как-то слишком развил в нем волчий аппетит к драке, покамест сам ковырялся в обороне.

В это время один из ребят постарше, игравших в парке на детском бильярде, подбежал к ним и, схватив ры-

жего в охапку, приподнял над землей. Рыжий стал яростно барахтаться у него в руках, стараясь вырваться, а парень этот, посмеиваясь, продолжал держать его в воздухе, а Чик стоял рядом и не знал, что ему делать.

— Иди-ка ты отсюда, — сказал он Чику, чувствуя, что даже ему не так-то просто удержать рыжего волчонка.

Чик, понурясь, пошел. Не успел он пройти и десяти шагов, как услышал за спиной какие-то крики. Чик быстро обернулся, решив, что рыжий вырвался и мчится за ним.

Рыжий и в самом деле вырвался, но бежал совсем в другую сторону, а за ним мчался паренек, который держал его. Оказывается, рыжий укусил его и убежал.

Тем и закончилась драка. Но почему-то с этого дня началось падение его авторитета. На следующий день в школе разнеслась весть, что один из рыжиков, да не старший и не следующий, а тот, что поменьше Чика, излущивал его в парке да еще укусил взрослого парня, который якобы пытался Чику помочь.

Старший рыжик на одной из перемен, поглаживая своего братца по голове, кивнул на проходящего Чика и стал что-то рассказывать ребятам, окружавшим его. Чик мог представить, что он там рассказывал, тем более что маленький рыжик в это время нагло и весело поглядывал в сторону Чика и все время кивал головой: дескать, все так и было, как мой брат рассказывает.

Чик мрачно, с деланной независимостью ходил по школьному двору. Он считал унижительным доказывать, что этот маленький наглец не мог его победить. Также он считал постыдным требовать свидетельских показаний от очевидцев драки.

Главное, всем так хотелось, чтобы победил маленький рыжик, что тут ничего нельзя было доказать. По глазам маленького рыжика было видно, что он и сам поверил в свою победу. В ближайшие дни он уже без старшего брата показывал на Чика и, по-видимому, рассказывал о своей победе.

Некоторые ребята из других классов приходили посмотреть на Чика, побежденного маленьким рыжиком. Один даже принял за Чика самого большого мальчика из их класса, до того ему хотелось порадоваться разнице между Чиком и маленьким рыжиком.

Чик чувствовал, что людей, охваченных жаждой сотворения мифа, невозможно остановить. Он это точно чув-

ствовал, хотя и не знал, что это так называется. Зато он знал, что очутился в глупейшем положении. Пошатнулось стройное здание годами отработанных оценок. Начался сложный и утомительный процесс переоценки ценностей. Шурик стал дерзить, а Бочо при встрече с ним как-то двусмысленно улыбаться.

Шурик и раньше несколько раз бунтовал, но Чик сравнительно легко ставил его на место. Шурик вместе с матерью жил в одной из школьных полуподвальных комнат. У них над головой весь день звенел школьный звонок. Чик считал, что Шурик от этого нервный и даже слегка психованный.

Чик относил Шурика к числу тех ребят, которые знают, что взрослые могут говорить одно, а думать совсем другое. Как это ни странно, Чик чувствовал, что эта общая черта их не сближает, а, наоборот, отдаляет друг от друга. Чик чувствовал, что именно из-за этого они недолюбливают друг друга.

Хотя Шурик не был сильным мальчиком, связываться с ним никто не любил. Во-первых, он поторговывал чистыми тетрадами, даже глянцевые тетради, в то время великая редкость, у него бывали. В трудную минуту к нему можно было обратиться. Разумеется, продавал он их гораздо дороже, чем они стоили.

А во-вторых, и это главное, из-за его нервности. Распсиховавшись, он в драке мог огреть противника чем попало. Но это-то как раз Чика и не страшило. По домашнему опыту обращения с дядей Колей Чик знал, как с такими людьми надо себя вести.

«Ах, ты психованный? Так я еще психованней!» — вот как надо было с такими людьми себя вести. По этому правилу взрослые мужчины в доме Чика не раз смиряли дядю Колю, когда он, чаще всего в жару, начинал бузить. Шурик прекрасно знал, что Чик не даст ему спуску из-за его психованности, и поэтому сдерживал свою психованность.

Но авторитет Чика начал падать, и было похоже, что Шурик собирается снова помериться силами с Чиком. Ясно было, что при этом он не будет сдерживать свою психованность, а прямо спустит ее с цепи.

В мае этого года, когда ребята большой компанией купались в море, случилось страшное — у Чика пропали трусы. Так как девчонок поблизости не было, а в мокрых, хотя и выжатых трусах ходить еще было холодно,



все купались голые. И вот, когда Чик вышел из воды, обнаружилось, что у него исчезли трусы.

Чик сначала решил, что кто-то подшутил и вскоре трусы возвратят. Но никто трусы не возвращал, и Чик стал волноваться. Сначала он перекопал весь берег, думая, что их зарыли в прибрежную гальку, но трусов нигде не оказалось.

Чик не на шутку разволновался. Он подозревал, что это дело рук Шурика, но ничего доказать не мог. Шурик сидел тут же и, холодно сочувствуя, делал различные предположения. Трусы могли украсть какие-нибудь хулиганы. Чик страшно растерялся и, что скрывать, разревелся. Путь к дому был отрезан. Сейчас все разойдутся, а он голый останется на берегу.

К счастью, Оник оказался преданным и сообразительным другом.

— Ты посиди тут, — сказал он, — а я сбегаю домой и возьму у твоей мамы трусы.

— Нет, — сказал Чик, чувствуя, что сама мысль плодотворна, — она подумает, что я утонул. Лучше ты дай мне твои трусы, я их дома сменю и принесу.

— А если отец тебя заметит в моих трусах и решит, что я утонул, знаешь, какой шухер будет? — сказал Оник, уже заранее зная, что Чик его все равно уговорит.

Тут Чик уверил Оника, что отец его никак не может заметить Чика, потому что домой он возвратится не через калитку, а через речку и огород.

Чик так и сделал. Он бежал всю дорогу, немного стесняясь слишком ярких трусов Оника. За квартал от дома он спустился в речку, добрался до огорода и уже стремглав, как ошпаренный, перелетел через двор, вбежал домой, вытащил из шкафа чистые трусы, переделался в них и тут почувствовал полное счастье безопасности. Никто ничего не заметил. Чик свернул трусы Оника и, сжав их жгутом, выскочил на улицу.

— Оника не видел? — окликнул его Богатый Портной.

Чик на радостях забыл, что он вечно торчит на балконе. От неожиданности Чик спрятал за спину руку со свернутыми трусами. По-видимому, знакомый цвет того, что Чик сжимал в руке, чем-то смутно напомнил ему Оника.

— А это что прячешь? — кивнул головой Богатый Портной.

— Ничего, — сказал Чик и тут уже по-настоящему

му испугался. Чик представил гнев Богатого Портного, если б тот узнал в руке у Чика трусы Оника, каким-то таинственным образом отделившиеся от хозяина.

В это время со двора вышел Алихан и уселся на крыльце Богатого Портного. Богатый Портной посмотрел на Алихана. Алихан посмотрел на Богатого Портного, а потом на Чика, не понимая, что их соединяет.

— Значит, не видел Оника? — снова спросил Богатый Портной и пытливо заглянул в глаза Чика.

— Не видел, — ответил Чик, стараясь твердо глядеть на Богатого Портного. Руки он продолжал держать сзади.

— Что-то хитришь, но что — не пойму, — сказал Богатый Портной.

— Ничего не хитрю, — ответил Чик.

— А что такое, — сказал Алихан и поднял голову, — я видел Оника.

— Ты иди, иди, — сказал Богатый Портной и сделал вид, что перестал интересоваться Чиком.

Чик сразу же понял его хитрость. Он подумал, что сейчас Чик повернется спиной и он увидит, что у Чика в руке. Чик не стал поворачиваться, тем более ему интересно было узнать, как и где Алихан мог видеть Оника.

— Где он? — спросил Богатый Портной у Алихана, делая вид, что совсем не следит за Чиком.

— Только что во дворе пробежал, — сказал Алихан.

Чик быстро повернулся и, прижав руку с трусами Оника к груди, побежал. Как он мог видеть Оника, когда Оник сейчас сидит на берегу, думал Чик радостно, мчась по улице. И, только завернув за угол, Чик вдруг догадался: так это он меня принял за Оника! Чик стало еще веселее, и он бежал до самого моря, напевая песенку вроде дяди Коли и шлепая трусами Оника по своим голым ногам.

Тогда все обошлось прекрасно, и Чик позже, вспоминая этот случай, с благодарностью думал про Оника и с затаенной обидой про Шурика.

Чик так и не узнал, куда делись его трусы. Но одно то, что он мог подумать на Шурика, а мог подумать потому, что Шурик к этому времени так себя вел, что было вообразимо, что он мог это сделать, говорило о степени падения его престижа.

Да, теперь надо было обязательно подраться с Бочо, несмотря на невыгодные условия.

Чик никогда с Бочо не дрался. Бочо ему всегда нравился. Бочо был такой добродушный, такой лупоглазый

коренастик. За эту коренастость да еще сиплый-пресиплый голос Чик его уважал. У него был такой сиплый голос, что те, кто слышал его в первый раз, думали, что он так говорит, потому что никого на свете не боится, а никого на свете не боится, потому что у него старший брат самый сильный парень в городе. На самом деле у него никакого старшего брата не было, просто у него был такой голос от природы.

По какому-то необъяснимому чутью Бочо без драки признал, что Чик его несколько превосходит в силе. Чик это признание чувствовал и в благодарность за то, что тот избавил его от довольно утомительного доказательства, так же молча обещал не пользоваться этим превосходством и уважать его независимость.

Но с тех пор как Чик перенес эту несчастную драку с рыжиком да еще потерял на берегу трусы, все пошатнулось. Бочо при встрече с ним стал блудливо улыбаться, и значение этой улыбки Чик прекрасно понимал. А означала она одно — что, собственно говоря, превосходство Чика ничем не доказано и Бочо готов посмотреть, как Чик его еще будет доказывать.

Ребята подошли к железным решетчатым воротам, почему-то всегда закрытым на замок. Там, за воротами и каменной стеной, на склоне горы рос огромный фруктовый сад с яблоками, грушами, мушмулой, маслинами.

По слухам, до революции здесь жил какой-то важный князь. Но во время революции его свергли, и он куда-то исчез. Чик почему-то представлял, что после того, как его свергли, он покатился вниз по склону горы.

Чик слышал, что после того, как исчез князь, маслины в его бывшем саду перестали плодоносить, хотя расти продолжали. Остальные фрукты продолжали плодоносить, а маслины перестали. Они остались преданными князю.

Чик вообще никогда не любил маслины из-за того, что они какие-то горькие да еще соленые. Он считал это каким-то уродством. Если ты фрукт — ты должен быть сочным и сладким. А если ты не сочный и не сладкий, какой же ты фрукт!

Чик чувствовал какую-то связь между тем, что он не любил маслины, и тем, что они остались преданными князю и не хотели плодоносить, хотя совсем засохнуть почему-то тоже отказывались. Тогда высыхайте совсем,

если вы такие; сердито думал о них Чик, очистите место для наших фруктов!

Чик про эти маслины часто думал. Иногда он считал, что их надо вырубить или сжечь, раз они такие упрямые. Да, сжечь, как сожгли дом князя во время революции.

Эти маслины смущали его душу своей бессмысленной преданностью. Чик считал, что преданность может быть только среди наших, что для врагов это слишком красивое занятие — быть преданным. Но такими уж они уродились, и с этим ничего нельзя было сделать. Главное, что князь никогда не вернется. Чик это точно знал, а они продолжают быть преданными, и от этого их обреченная преданность как бы делается еще преданней и еще трогательней.

Чик никак не мог взять всего этого в толк и не любил вспоминать о маслинах. Но все равно иногда это само лезло в голову, и Чик ничего с этим не мог поделать.

Но сейчас Чик об этом не думал. Он просто вспомнил мимоходом про маслины, которые растут за стеной в саду, и тут же забыл. Сейчас ему было все равно, кому там они преданы или не преданы. Сейчас его занимали более близкие вещи, а главное, предстоящая драка с Бочо в невыгодных для него условиях.

Недалеко от ворот, возле стены, возвышался зеленый холмик, взобравшись на который можно было легко перейти на стену. Ребята влезли на зеленый холмик.

— Всем разуться! — приказал Чик и сам первым разулся. Чик положил сандалии на гребень стены и быстро влез на нее. Стена была горячей от солнца и с непривычки слегка обжигала подошвы ног.

— Оник, — сказал Чик, — будешь подсаживать Лёсика, а я буду его сверху тянуть.

Лёсик наклонился и грудью уперся в стену. Он снизу смотрел на Чика виноватым взглядом, как бы прося прощения за свою неловкость. Чик взял его за шиворот, крепче уперся ногами, чтобы ступни почувствовали неровности кромки стены и вцепились в них. Оник подсел под Лёсика, уперся головой ему в зад, и они одновременно потянули его наверх и плашмя взгромоздили на стену. После этого Лёсик сам постепенно собрался и встал.

— Ну как? — спросил Чик.

— Ничего, — ответил Лёсик, смущенно улыбаясь, и кивнул на ноги, — только жжет.

— Это пройдет, — сказал Чик, — меня и то жгло.

Оник одним прыжком, упершись руками в кромку стены, поднялся на нее. Он вообще был очень ловким, и Чик это в нем ценил. Девочки тоже быстро взобрались на стену, а Ника даже не сняла своих тапочек. Правда, резиновые тапочки цепко держали ее на гребне стены, но Чик считал, что она нарочно не сняла, чтобы не подчиняться его приказу.

Чик решил, что он будет боком идти впереди и придерживать Лёсика одной рукой, а за Лёсиком будет идти Оник и подстраховывать его.

— Ника, возьми Лёсикины сандалии, — сказал Чик, обернувшись.

— Фи, — сморщила Ника свой маленький нос, — мне неприятно, пусть Соня несет.

Чик обычно нравилось, как она морщит свой нос. Она так забавно его морщила, что Чик у каждый раз, когда она его морщила, хотелось слегка щелкнуть его. Но сейчас ему это не нравилось.

— Сонька и так банку несет, — сказал Чик, раздражаясь на себя за то, что ему нравится, как она морщит нос, — а из-за твоей походки над нами смеются.

— Смеются дураки, — ответила Ника, — а мой папа считает, что у меня красивая походка.

Она стояла на стене в своем желтом сарафане и белых тапочках, легкая, независимая, а главное, несколько не благодарная за то, что ее взяли в поход.

— Знаешь как ты надоела со своим папой, — сказал Оник, обернувшись. Он ничего не знал о судьбе ее отца. Никто из ребят, кроме Чика, ничего не знал о судьбе ее отца.

— А ты знаешь, как надоел со своим Богатым Портным, — ответила Ника.

— Сейчас ка-ак сандалией заеду, — сказал Оник, — сразу очутишься в саду.

— Только попробуй, — сказала Ника и нагло посмотрела на Оника своими хотя и синими, но темными от густоты цвета глазами. Глядя ей в глаза и прислушиваясь к ссоре, Чик вдруг подумал: оказывается, богатые не так уж любят друг друга. Чик у почему-то было приятно, что богатые не выступают единым фронтом. Но сейчас, на стене, эта ссора была ни к чему.

— Не надо спорить, — сказала Сонька, — я возьму.

Она протянула руку и взяла у Лёсика его сандалии.

— Хорошо, пошли, — сказал Чик. Он считал, что сейчас спорить здесь, на стене, неуместно. Они стали

медленно подниматься вверх. Боком идти было неудобно, и Лёсик как-то не в лад время от времени с какой-то опасной силой неуклюжего человека дергал Чика за руку. Не успели они пройти и десяти шагов, как вдруг с полянки раздался голос Шурика.

— Лёсик, а-ста-рож-на, упадешь! — пропел он гнусаво. Лёсик, как всегда, обернулся на голос и так дернул Чика за руку, что Чик чуть не слетел со стены.

— Чего ты смотришь, когда они дразнят! — заорал он не своим голосом. Чик даже вспотел от страха. Он страшно разозлился на Шурика за его подлое напоминание, а заодно разозлился и на Лёсика.

— П-привычка, — сказал Лёсик и улыбнулся от смущения.

— Дурацкая привычка, — бормотал Чик, постепенно успокаиваясь.

Они двинулись дальше, и тогда с полянки раздался еще раз голос Шурика.

— Идите, — крикнул он, — там вам рыжие покажут!

В это мгновение Чик окончательно и бесповоротно решил на обратном пути подраться с Бочо. Другого выхода нет, отрезал Чик всякие сомнения, а то совсем на голову сядут. Окончателность решения вдруг успокоила Чика, и он сосредоточил внимание на дороге.

Идти боком по стене, придерживая одной рукой Лёсика, даже Чик было неудобно, а Лёсику и подавно. В конце концов Лёсик засопел и остановился.

— Я сам, — сказал он Чик, заглядывая ему в глаза и стараясь понять, не оскорбил ли его этим решением.

— Хорошо, — сказал Чик, — я тебя буду страховать.

Чик, осторожно обняв Лёсика — при этом он почувствовал, как напряжено его тело, — отошел назад. Теперь Лёсик шел впереди. Сделав шаг одной ногой, он слегка подволакивал другую.

— Вниз не смотри, — сказал Чик, — смотри только вперед.

Слева от стены шел каменистый косогор, а справа росли деревья мушмулы, из-за которых почти не видно было склона. Иногда ветки мушмулы нависали над стеной, и Чик просто так, для разнообразия дороги, нагибал какую-нибудь ветку и потом отпускал. Ветка шуршала своими большими упястыми листьями.

Урожай мушмулы давно собрали, но Чик иногда

встречал на некоторых ветках желтые, сморщенные плоды, которые не заметили сборщики. Теперь, среди лета, они переспели и подсохли, и Чик знал, что они сейчас сладкие как сахар. Но они висели слишком высоко, чтобы достать до них. Все же смотреть на них было приятно, и Чик не забывал хотя бы мельком оглядеть каждое дерево.

— Если хочешь, я понесу банку, — неожиданно предложила Ника.

Казалось, все это время она раздумывала, не унизит ли ее такое предложение, и теперь решила, что можно.

— Ничего, — вздохнула Сонька, — я уж донесу.

Вдруг Чик заметил впереди ветку, усеянную свежей, только что поспевшей мушмулой. Ветка эта проходила слишком высоко, хотя и нависала над стеной. Чик очень хотелось достать до нее, и он стал вглядываться, как бы это сделать. Он заметил, что эта плодоносная ветка скрещивается с другой веткой, которая проходит над ней. А эта другая ветка сама имеет маленькую ветку, которая не идет вверх, как основная, а тянется к стене, хотя и не дотягивается.

Чик сообразил, что если дотянуться до нее и раскачать, то она передаст свои качания большой ветке, от которой она ответвляется, а та, большая, постепенно передаст качания ветке с мушмулой, потому что они перекрещиваются, и она сверху будет давить на нее.

Чик вытянулся в сторону сада и с трудом дотянулся до самого крайнего листика этой ветки. Чик только двумя пальцами сумел дотянуться до него. Но все-таки он его ухватил этими двумя пальцами и стал осторожно и сильно тянуть листик и вместе с ним ветку на себя. Чик знал, что у мушмулы крепкие листья, но все-таки он мог оборваться, и Чик тянул его осторожно. Он старался так его тянуть, чтобы между тем местом листика, за который он держался, и тем местом ветки, за которое держался сам листик, как бы проходила прямая линия. Чик давно заметил, что, если так тянуть листик или тоненькую ветку, они делаются достаточно прочными. Почувствовав мгновение, когда он сможет дотянуться до ветки другой рукой, Чик вытянул ее и, одновременно бросив листик, цапнул ветку. Все получилось так, как и ожидал Чик. Он раскачал эту ветку, а она постепенно раскачала плодоносную, и, когда та достаточно низко опустилась, Чик схватил ее.

Здесь было еще больше плодов, чем он ожидал. И главное, все они, парные и одиночки, были свежие и сочные, как в начале лета. Чик догадался, что тогда эту ветку пропустили, потому что плоды на ней были совсем зеленые.

— Ой, Чик! — восторженно завопила Сонька, увидев, какое богатство им привалило.

— Рвите, — хозяйственно сказал Чик, пригибая ветку как можно ниже. Лёсик неуверенно взялся одной рукой за ветку, а другой потянулся к мушмуле. Оник тоже схватился за ветку и сильно дернул ее в свою сторону. Чику это показалось похоже на то, как телок, дотянувшись до вымени коровы, нетерпеливо дергает за сосцы. Чик отчасти сам почувствовал себя этой коровой, которую дергают за сосцы.

— Чик, а у меня руки заняты! — крикнула Сонька и от нетерпения даже слегка подпрыгнула.

— Давай банку, — сказала Ника, протягивая руку.

— Спасибо, Ника, — сказала Сонька и передала ей банку. Заодно она положила у ее ног и свои и Лёсикины сандалии. Все трое держались руками за ветку и сами живой гроздью повисли на ней, срывая мушмулу, чмокая нежными водянистыми плодами и далеко выплевывая большие, вроде каштанов, и скользкие, как у арбузов, косточки. Несколько минут только и слышен был шорох разгребаемых листьев, чмоканье и кряхтенье.

Вдруг Лёсик посмотрел на Чика и показал глазами на Нику. Чик совсем забыл о ней. Сейчас на лице у нее было то задумчивое и смешное выражение, какое бывает у женщин, которые делают вид, что только что вышли из открытой, быстро мчащейся машины. В крайнем случае — из коляски мотоцикла.

Голова слегка закинута, а ресницы помаргивают, словно продолжают сбивать потоки встречного воздуха, режущего глаза. Сейчас это было особенно смешно, потому что она держала в оттопыренной руке старую консервную банку.

— А ты что? — спросил Чик. Ника вздрогнула и посмотрела на него.

— Я не люблю, — сказала она, вздохнув. Чику показалось, что она сейчас вспомнила своего папу.

Ветка быстро пустела. Чик изо всех сил ее согнул и достал хорошую, спелую двойчатку.

— На, — протянул он ее Нике.

— Я не люблю, — повторила она и замотала голо-



вой, хотя глаза с любопытством оглядели ярко-желтые плоды.

— Раз Чик дает, значит, бери, — вразумительно сказала Сонька и, взяв у Чика двойчатку мушмулы на коротенькой ветке, передала ее Нике. Та ваяла двойчатку, как цветок, и даже слегка примерила ее к своему желтому сарафану.

— Двойняшки, как Лёсикины братья, — сказал Оник, мельком взглянув на подарок и снова берясь за ветку.

Лёсик расплылся в улыбке и засопел. Чик с любопытством посмотрел на Нику, чтобы узнать, как она восприняла эту остроту. Но Ника никак не восприняла эту остроту. Скорее всего она ей даже не понравилась, потому что она слегка пожала плечами: мол, ничего похожего или смешного.

Когда один богатый острит, оказывается, другой его не обязательно поддерживает, подумал Чик, как всегда стараясь сделать вывод из своих наблюдений над жизнью богатых.

— Бросаю ветку, — предупредил Чик и, дождавшись, чтобы Лёсик ее отпустил, сам разжал пальцы. С облегченным шелестом ветка махнула вверх. Чик почувствовал, что рука его ноет от долгого держания сопротивляющейся ветки.

Ребята пошли дальше. Теперь солнце прикрывалось дубовыми деревьями, росшими слева от стены, и прохлада ее приятно холодила подошвы ног. В одном месте колючие плети диких роз перекинулись через стену, и проходить здесь было очень трудно — можно было уколаться.

Чик с Оником с трудом перетащили Лёсика через это коварное место. Каждый раз, когда Лёсик собирался ступить, Чик показывал ему, куда ставить ногу, а иногда, наклонившись, раздвигал плети, потому что неловким ногам Лёсика нужно было побольше свободного места.

Ника, наклонившись в середине этого колючего ковра, усеянного по обе стороны от стены розоватыми цветами, сорвала один цветок, не останавливаясь, вдела его в волосы и пошла дальше. Она так наклонилась и так сорвала розу, словно вся эта заросль нарочно, дожидаясь ее, поползла на стену и расстелилась у ее ног. И розу она сорвала так, как будто всем розам сделала одолжение: мол, раз уж все вы меня просите, я, пожалуй, одну сорву.

Вот богатые! — подумал Чик, изумляясь. Им кажется, что все вокруг только и думают, как бы им лучше

угодить. И не такой уж глупой оказалась привычка узко переставлять ноги, как раз с такой привычкой легко по стенам ходить.

Стена подошла к домику на горе. Здесь надо было слезать, переходить через дворик, а там сразу начинался гребень горы, где росли сосны, богатые мастикой.

Это был маленький деревянный домик с чистенькими окнами, с открытой верандой, с палисадничком, в котором росли на высоких кустах садовые розы — красные, белые и желтые, до того похожие на масло, что хотелось их намазать на хлеб.

Снизу к зеленому дворику подымалась настоящая каменная лестница с широкими площадками и каменными скамейками. Лестница была невероятной длины и, как догадывался Чик, доходила до самых железных ворот, откуда они начинали свой подъем по стене.

Самое удивительное было то, что Чик здесь ни разу не встретил ни одного живого человека. Так что домик этот можно было считать заколдованным. Единственным живым существом, которое здесь всегда встречало Чика, был щенок волкодава.

Чик открыл этот путь к сосновой роще этой весной. С тех пор он здесь бывал пять или шесть раз. И каждый раз щенок волкодава набрасывался на Чика, требуя, чтобы Чик с ним поиграл.

То ли оттого, что он скучал по людям, то ли оттого, что он все-таки был щенком волкодава, играя, он увлекался и начинал очень больно кусать Чика. Чик понимал, что он играет, но щенок не понимал, что, играя, надо кусать послабее, а если Чик пытался показать ему, что он на него злится, щенок начинал кусать еще сильнее, думая, что Чик нарочно предлагает ему более дерзкую игру. Хотя Чик привыкал к этой боли, но все равно было очень больно. К тому же за эти два-три месяца щенок здорово вырос, и, как замечал Чик при каждой встрече, его играющая челюсть все крепче хватала Чика. Может, он думал, что Чик с такой же быстротой растет или привывает к боли? Но Чик рос куда медленнее щенка волкодава, а привыкать к боли ему было неохота. Так или иначе, выхода не было. Приходилось терпеть его игры до самой калитки, ведущей в сосновую рощу.

То, что во дворе этого дома жил щенок волкодава, не мешало Чикю думать, что домик волшебный или заколдованный. Мешала думать бельевая веревка, протянутая вдоль веранды, на которой висели прищепки, похожие на

птичек, сидящих на проводе. Чик, конечно, понимал, что здесь живут люди, но он никак не мог понять, почему их никогда не бывает дома.

Рядом со стеной росло дерево инжира-скоропелки, или, как его еще называют, птичий инжир. Одна ветка этого инжира подходила к самой стене. Если ухватиться за нее и несколько раз перебрать руками, можно смело спрыгивать во двор.

Но сейчас Чик не спешил спрыгивать во двор, потому что дерево было усеяно мелкими черными плодами инжира. Чик еще не спешил потому, что оттягивал встречу со щенком волкодава. Но сам себе Чик в этом не признавался.

— Сбрасывайте обувь, — сказал Чик, оглядывая дерево, — а мы с Оником полезем за инжиром.

Сандалии посыпались вниз.

— А банку можно? — спросила Сонька.

— Можно, — разрешил Чик и, ухватившись за ветку, повис на ней.

Он несколько раз перебрал руками, дошел до ствола, закинул ногу на ветку, за которую держался, зацепился за нее коленом и, слегка раскочавшись в таком положении, ухватился рукой за другую ветку, после чего, подтянувшись, выполз на первую ветку.

— Чик, может, лучше пойдем, пока нет волкодава? — сказала Сонька.

— Ха, — усмехнулся Чик, тяжело переводя дыхание, — от щенка волкодава никуда не уйдешь!

Сам Чик много раз надеялся, пока не видно щенка волкодава, незаметно перейти двор, но ему это никогда не удавалось. Чик пришел к выводу, что щенок нарочно не показывается, покамест кто-нибудь не очутится во дворе. Потому что, если щенок покажется, когда человек стоит на стене, тот еще, чего доброго, раздумает спрыгивать во двор. А если уж спрыгнул, то тебе ничего не остается, как поиграть со щенком.

Оник вслед за Чиком залез на дерево, но сделал это гораздо легче Чика. Чик знал, что он ловчее его, и уж с этим ничего нельзя было поделать.

Они заняли две ветки, нависавшие прямо над стеной. Здесь было полным-полно инжира. Птичий инжир не такой крупный и сочный, как садовый, но зато гораздо слаще.

Чик дотянулся до очень спелого темно-лилового инжира со слегка одрябшей от спелости кожицей, нежно

крутанул его на ветке, чтобы не раздавить плод. Издав тукающий звук, инжир очутился у него в ладони.

Сонька, Лёсик и Ника снизу, со стены, следили за ним. Чик осторожно поднес инжир ко рту.

— Ну как? — облизнувшись, спросила Сонька.

Чик еще и не донес инжир до рта, когда она это спросила. Чик отодвинул руку ото рта педоумевающим жестом, показывая на смехотворную поспешность ее вопроса. Все рассмеялись, а Сонька, застыдившись, опустила голову.

— Мировой, — сказал Чик, пожевывая хрусткую, сахаристую мякоть инжира.

Флодов на дереве было много, и Чик с Оником успевали сами есть и бросать товарищам. Лёсик чуть не свалился со стены, пытаясь поймать брошенный инжир, и Чик строго запретил ему ловить инжир. Инжир шлепался в широко растопыренный Сонькин подол. Ника сначала отказывалась его есть, но потом, попробовав, так разохотелась, что Чик даже не успевал бросать.

— Чик, я уже съела! — кричала она, словно собиралась обрадовать его этим.

Вот они, богатые, думал Чик, слегка раздражаясь, сперва они отказываются есть птичий инжир, а потом кидать не успеваешь, да еще они требуют, чтобы ты радовался их аппетиту.

Чик у сначала было приятно, что ей понравился птичий инжир, но потом, когда она стала просить, не соразмеряя возможности Чика срывать инжир со своими возможностями отправлять его в рот, он стал злиться на нее.

Все же инжира на дереве было так много, что все наелись, и уже даже Сонька стала очищать с него кожуру. Чик предупредил, чтобы кожуру бросали только на ту сторону, а то хозяева узнают, что они здесь делали.

— Чик, а где хозяева? — поинтересовалась Сонька, наевшись, как бы благодарная хозяевам за их долгое отсутствие.

— Я их не видел, но они есть, — сказал Чик и, мгновенно повиснув на ветке, спрыгнул вниз. Чик почувствовал, как у него тяжело бултыхнулся живот, когда он спрыгнул, до того он наелся инжиру. За Чиком спрыгнул Оник. Сонька и Ника повисли на ветке и, перебрав несколько раз руками, чтобы быть поближе к земле, благополучно спрыгнули на землю.

Щенок волкодава нигде не показывался, и Чик стал надеяться, что на этот раз, может, и в самом деле обой-

дется. Теперь оставался Лёсик. Чик и Оник должны были его поддержать, когда он повиснет на ветке.

— Как только я скажу: раз! два! три! — бросай ветку! — приказал ему Чик.

Лёсик уныло слушал его, стоя на стене, и губы его уже начинали расплываться от смущения. Чик у это не понравилось. Раз Лёсик улыбается, значит, не верит в благополучный исход.

— Давай, — взбадривал его Чик, — у тебя же руки сильные.

Лёсик ухватился обеими руками за ветку, но оторвать ноги от стены никак не решался. Главное, он слишком близко от стены ухватился руками, а надо было как можно дальше, где ветка потолще. Чик знал, что инжир очень слабое, ненадежное дерево.

— Подальше! Подальше! — крикнул Чик, но Лёсик неожиданно опустил ноги и как-то грузно и ненадежно закачался на ветке.

— Перехватывай! Перехватывай! — крикнули все в один голос. Ветка угрожающе заскрипела, и Лёсик продолжал качаться, словно оглох. Чик и Оник стояли под опасно раскачивающимся телом Лёсика, и Чик видел его лицо с выпученными глазами, с дурацкой улыбкой до ушей. Чик вытянул руку, чтобы, ухватившись за его ступню, хотя бы остановить это дурацкое покачивание. Только он его схватил за пятку, как Лёсик — видно, ему стало щекотно — рухнул на них всем своим беспомощным и потому грузным телом.

Чик только успел почувствовать неимоверную тяжесть, и они все втроем покатались под косогор. Не успели они остановиться, как Чик услышал вопль девочек и радостный визг щенка волкодава, бросившегося на Чика. Он ухватился зубами за его штаны и, мотая мордой и радостно повизгивая, стал тянуть его с невероятной энергией. Чик даже не мог понять, чего он хочет: то ли с Чика стянуть штаны, то ли самого Чика стащить с Оника и Лёсика, на которых он лежал. Кстати, Лёсик и тут, лежа под Чиком и Оником, продолжал смущенно улыбаться.

Чик удивился, с какой мощью тянет его щенок волкодава, как он быстро взрослеет и как хорошо, подумал Чик, что сам я пошел в поход не в трусах, а в этих крепких, хотя и коротких штанах.

— Бегите к выходу! — героическим голосом крикнул Чик, давая щенку стащить себя с Оника и Лёсика

и тем самым показывая, какая свирепая борьба ему предстоит. — Не забудьте сандалии! — крикнул Чик, давая щенку уволокивать себя вниз по косогору. Отталкиваясь руками от земли, Чик слегка помогал ему.

— Не забудем! — крикнула Сонька и стала собирать обувь.

Лёсик и Оник уже вскарабкались до подножия инжира. Им оставалось перебежать ровную травянистую площадку двора.

— Не бойтесь, я его задержу! — крикнул Чик голосом, преодолевающим неимоверную боль. Оник и ковыляющий за ним Лёсик уже пробежали мимо дома. — Не забудьте банку! — крикнул Чик предсмертным голосом.

Оник остановился, понимая, что ему придется возвращаться.

— А где она? — спросил он у Чика. Это прозвучало довольно глупо. Можно было подумать, что Чик валяется себе на траве, а не сопротивляется свирепому натиску щенка волкодава. Чик успел бросить на Оника такой взгляд, что тот быстро отыскал банку и побежал в сторону калитки.

«Ах, ты не столько играешь со мной, сколько с ним разговариваешь?!» — прорычал щенок и, бросив штаны, с кровожадной радостью ухватил Чика за щиколотку.

Чик давно этого ожидал. И то хорошо, что столько времени успел у него выиграть. Теперь надо было, продолжая схватку и этим отвлекая щенка волкодава, неуклонно двигаться в сторону калитки.

Сжав зубы от боли, Чик слегка подтянул ногу, которую держал юный волкодав. Щенок зарычал, делая вид, что ему мешают грызть вкусную кость. Чик осторожно встал на ноги, чувствуя теплую тяжесть его головы на своей ступне.

В самом деле, это был рослый щенок пепельного цвета, с большой мордой и тяжелыми лапами. Чик слегка двинул ногой, чтобы почувствовать меру сопротивления, когда придется бежать.

Сейчас главное было одолеть подъем и выбежать на ровную площадку двора. Двинув ногой, Чик почувствовал, до чего тяжел щенок и как ему трудно будет бежать от него.

«Добычу отбирают, надо крепче за нее держаться!» — прорычал щенок, как только он двинул ногой, и, перехватив челюсть, удобней взялся за щиколотку. Одновременно с этим он одним глазом хитро посмотрел на Чика,

давая знать, что это он нарочно так прорычал, чтобы играть было интересней. Он предлагал Чику делать вид, что Чик у него отбирает добычу. Ничего себе, делать вид, подумал Чик, когда ты так больно держишься за мою ногу.

Чик наклонился и слегка щелкнул его по уху ладошью.

«Не отвлекай меня, — прорычал щенок, — знаешь, какую вкусную кость я грызу».

Еще бы не знать, подумал Чик с раздражением. Он наклонился и теперь посильнее щелкнул его по уху.

«Ах так», — твякнул щенок и прыгнул, пытаюсь схватить Чика за руку.

Чик успел отдернуть руку и изо всех сил побежал вверх по косогору. Он успел выбежать на лужайку двора, когда щенок его догнал.

— Чик, беги сюда! — закричали в один голос ребята и замахали руками.

Они стояли по ту сторону штaketника и оттуда в полной безопасности следили за ним.

— Вам хорошо! — успел крикнуть Чик, когда щенок догнал его и снова ухватился за ногу. Сгоряча, превозмогая боль, Чик проволочил его несколько шагов, но боль стала до того нестерпимой, что Чик упал.

Все-таки, несмотря на боль, он мог бы и не упасть, но так выглядело героичней, а Чик это любил. К тому же он надеялся, что щенок отпустит ногу и схватится за штаны и тогда можно будет без всякой боли проволочиться с ним до калитки. Но щенок за штаны не ухватился, и Чику пришлось, чтобы дать отдохнуть ноге, сушить ему в пасть кисть руки.

Все-таки щенок был не очень умный. Как он ни кусал Чика, как ни терзал его своей свирепой игрой, одного он никак не мог понять, что Чик при всем при этом движется к своей цели. И когда Чик, хлопнув калиткой, очутился по ту сторону забора и, протянув руку между планками штaketника, прикрыл калитку щеколдой, щенок вдруг обо всем догадался и заскулил. С него сразу слетела вся свирепость.

«Ну, Чик, ну, пожалуйста, ну поиграй еще немножко», — жалобно скулил щенок и вилял хвостом. Чик отряхнулся и, посмотрев на щенка, укоризненно покачал головой. Он ему дал знать, что если щенок будет еще так кусаться, то Чик вообще прекратит с ним всякие игры.

Щенок жалобно смотрел на Чика, но тут у самой его

морды заструилась большая усатая бабочка с красными в черных пятнах крыльями.

«Ну и не надо!» — мотнул щенок головой и, одновременно щелкнув зубами, хотел поймать бабочку, но та мягко отпрыгнула в воздухе, и страшная пасть захлопнулась возле нее. Щенок от удивления вытаращил глаза и даже облизнулся, чтобы убедиться, что это летает не другая бабочка, а та же самая: до того он был уверен, что защелкнул ее пастью. Раздраженный сплошными неудачами (то Чик не захотел с ним поиграть, то эта бабочка не захотела попадать ему в пасть), он бросился за ней. Бабочка не спеша струилась в воздухе, и щенок, догоняя ее, несколько раз щелкал зубами, но та каждый раз слегка сдувалась в сторону и лениво мерцала над лужайкой двора.

Наконец щенок ей надоел, и она залетела за косогор. Щенок добежал до края лужайки и остановился. Больше он в сторону ребят не оборачивался. Он сделал вид, что залюбовался открывшимся ему пейзажем. На самом деле, как догадывался Чик, он стыдился своей неловкости и не хотел показывать своего смущения.

Ребята вышли на гребень горы. Весь гребень и склон были покрыты сосновыми и более редкими кедровыми деревьями. Под ногами пружинила скользкая прошлогодняя хвоя. Стволы сосен прозрачно краснели, словно какой-то пламень просвечивал изнутри. Пахло разогретой смолой, земляной сухостью и далеким морем.

Город, ржавея ржавыми крышами, красиво вытянулся вдоль дуги залива. Большой пароход с красной каймой на трубе подходил к пристани, оставляя за собой длинный, почему-то не расходящийся след.

— Корабель! Корабель! — закричал Оник.

— Не корабель, а корабль, — поправил его Чик, Чик не любил, когда какие-нибудь знакомые слова неправильно, непривычно произносили. Сейчас Чику показалось, что красивый, стройный корабль как-то скособочился оттого, что Оник его неправильно назвал.

— А мы с папой и с мамой на пароходе в Батум ездили, — сказала Ника.

Никто ее не поддержал, и она замолкла.

— Чик, — спросил Лёсик, — отчего в городе столько ржавых крыш?

— Не знаю, — сказал Чик, — наверно, от дождя.

— Красиво? — спросил он у Лёсика через несколько мгновений, не дождавшись его восторгов. В сущности, ес-



ли как следует вдуматься, может быть, Чик для того и тащил сюда Лёсика, чтобы через его восхищение снова порадоваться самому. Так всегда бывало интересно. Когда ты к чему-нибудь хорошему уже привык, а другой только что это видит или узнает и начинает изумляться, тогда и тебе становится как-то приятно.

— Здорово, — сказал Лёсик и, благодарно взглянув на Чика, засопел.

— Это еще что, — сказал Чик, раскрывая несметность своих сокровищ, — здесь пачинается первое селение.

— Здесь, где стоим? — переспросил Лёсик и стал наивно осматриваться, словно ища пограничный знак между городом и деревней. Он никогда не был в деревне.

— Вообще на этой горе, — пояснил Чик.

Лёсик еще более благодарно засопел и уважительно оглядел гору, хотя никакого селения здесь не было.

Они снова залюбовались своим городом. Отсюда все было видно как на ладони: и зеленое поле стадиона, и базар, и школу, в которой они учились, и их собственный дом с торчащим над крышей зеленым копьём кипариса.

Соньке даже показалось, что она видит на балконе Богатого Портного с утюгом. Но это, пожалуй, было преувеличением. Сам балкон можно было заметить, но увидеть на нем Богатого Портного, да еще с утюгом, было невозможно, потому что все сливалось со стеной.

— Я и то не вижу, а ты видишь, — обиженно сказал Оник.

Чика всегда охватывала какая-то странная грусть, когда он издали, с горы, смотрел на свой дом. Чик никак не мог понять, отчего ему становится грустно, и даже пытался думать об этом.

Ему чудилось, что он когда-нибудь навсегда расстанется со своим городом, и то, что он на него сейчас смотрит как бы со стороны, было похоже на то, как он его будет вспоминать издали, совсем из другого города, откуда он не сможет, как сейчас, спуститься к нему. От всего этого Чик становилось немножко грустно и немножко важно.

Были видны прямые улицы города, по которым быстрыми жучками проползали машины и совсем медленно плелись фаэтоны. Вдруг Чик показалось, что на одной улице промелькнула колымага собачника. Может, Чик и ошибся, но в груди у него что-то екнуло, и сразу же перестало быть немножко грустно и немножко важно,

а стало как-то тоскливо. А вдруг Белочка сейчас на улице?

Чик понял, что никогда-никогда он не будет себя чувствовать полностью счастливым, пока этот собаколов существует в городе.

— Пора собирать мастику, — сказал Чик, чтобы делом перебить тоскливое состояние.

Было решено, что он и Оник залезут на сосны, а остальные будут искать мастику у подпожия других деревьев. Чик предупредил, чтобы они далеко не разбрелись и громко не разговаривали, чтобы не привлекать внимания рыжих. Кроме того, Чик показал на четыре самых толстых сосны, считавшихся личной принадлежностью рыжих, и приказал даже не подходить к ним, чтобы не давать им повода к придирам.

Чик ходил под соснами и, оглядывая стволы от подпожия до самых вершин, старался определить, есть ли выход хорошей смолы. Иногда его можно было просто увидеть, а иногда о его существовании можно было догадаться по тоненькой струйке засохшей смолы, стекающей откуда-то сверху. И если ручеек достаточно свежий, можно было надеяться, что наверху выход смолы еще никем не тронут.

Чаще всего смола выступала на трещинах ствола или на местах с ободранной корой. Получалось так, что если на дереве ранка, то почти обязательно там есть скопление смолы. Может быть, думал Чик, дерево этой смолой лечится от ран?

Чик остановился возле сосны, которая показалась ему подходящей. Во всяком случае, на верхней развилке ствола Чик заметил желтоватую высохшую полоску, похожую на след, который остается на поверхности кастрюли, когда молоко перебежит через край.

Здесь росли сосны какой-то особой породы, в отличие от тех, которые Чик видел в других местах. Они были очень ветвисты, и ветки начинались довольно близко от земли.

Все же добраться до первой ветки не так-то просто. Чик снял сандалии и, не видя поблизости никаких кустов, зарыл их в прошлогоднюю хвою подальше от своего дерева. Он подошел к своему дереву и оглянулся на холмик, куда зарыл сандалии, при этом он старался смотреть на него с той степенью пронизательности, на которую способен посторонний взгляд. Ничего, получилось не очень заметно.

Чик решительно плюнул на ладони и, обхватив ногами и руками скользкий, шелушащийся ствол, стал карабкаться по нему. До первой ветки надо было пройти всего метра три, но, пока Чик взобрался на нее, он весь вспотел, а грудь, и живот, и ладони, и ступни нестерпимо горели от трения о скользкий шелушащийся ствол. Кто думает, что влезть на сосну легкое дело, пусть сначала попробует, а потом говорит.

Чик, тяжело дыша, уселся на ветку, осторожно снял майку и вытряхнул из нее набившиеся туда чешуйки коры. Те, которые прилипли к потной коже живота и груди, он отковырял руками, а те, которые прилипли к спине, стряхнул майкой, шлепая ею, как полотенцем. Чик знал, что, если сейчас не отодрать эти чешуйки, тело будет здорово чесаться.

Передохнув и снова надев майку, Чик полез выше. Он дошел до развилки и заглянул в нее. Там был довольно широкий, но небогатый выход мастики. Мастика была желтая и покрывала дно развилки, как корочка сливок дно кастрюльки, если уж от сравнения с этой кастрюлькой некуда деться. Вообще-то Чик очень любил сливки, и те, которые бывают на поверхности кастрюли с молоком, и особенно те, которые можно ложкой соскребать со дна. К тому же он уже не прочь был поесть чего-нибудь, вот ему и мерещились сливки из кастрюли с молоком.

Чик уселся на ветке возле развилки. Прежде чем приступить к делу, посмотрел вниз и по сторонам. Соньки и Оника нигде не было видно. Зато он увидел Нику. Ярко выделяясь своим желтым сарафаном, она стояла возле толстого багрового ствола сосны и соскребывала с него смолу. А может, просто любовалась снующими по стволу муравьями. Сверху трудно было разглядеть.

Чик подумал, что это довольно красиво получается, если кто-то в желтом сарафане стоит возле толстого красного ствола сосны. Но тут он вспомнил, что это как раз один из тех запретных стволов, на которые он им показывал. А она теперь, может, назло подошла к этому стволу. Вот богатые, подумал Чик, для них любой запрет ничем, они даже с рыжими не считаются.

По дрожащей в разлад с ветерком вершине одной из сосен Чик догадался, что на ней сидит Оник. Высоко взобрался Оник, этого у него не отнимешь. То, что есть, — есть.

Открыв перочинный ножик и упершись грудью в одну из веток развилки, Чик выскребал из нее смолу и

кдал в маленький газетный кулек. С приятным шелестом сухие кусочки смолы сыпались в бумагу. Там, где были свежие выходы, смола была вязкая, и Чик, отодрав ее лезвием, счищал ее в кулек, с наружной стороны для упора подставив ладонь.

Чик выскреб углубление в развилке, смял кулек, чтобы из него ничего не высыпалось, и положил его в карман. Потом он почистил лезвие перочинного ножа о ствол, защелкнул его и ножичек сунул в карман. Чик решил, прежде чем слезать с дерева, воспользовавшись высотой, как следует оглядеть соседние деревья.

Оглядывая соседние деревья, Чик подымался все выше и выше. На самой вершине, уже опасно покачиваясь, Чик снова оглядел окружающие сосны, но нигде ни одного стоящего выхода смолы не обнаружил. И вдруг он случайно бросил взгляд на тоненькую ветку возле себя и обмер.

Белый с желтыми прожилками самородок величиной с кулак висел на ней как сказочный плод. Чик даже и не слышал никогда, чтобы на такой тоненькой ветке образовался такой мощный самородок.

Ветка покачивалась под тяжестью Чика, и вместе с ней покачивался самородок. Чик испугался, что самородок может сорваться и, рухнув, разбиться на мелкие кусочки. Больше не раздумывая, он потянулся к нему и, почти не веря, что все это происходит наяву, оторвал его от ветки. Самородок целиком, чисто оторвался от ветки. Он был сух и приятно увесист.

Сильно волнуясь, Чик перенес его в левую руку, правой залез в карман, вытащил кулек и осторожно вложил его туда. Сразу наполнившийся кулек Чик снова положил в карман.

Продолжая волноваться, Чик стал слезать с дерева. Слезая, он все время думал, что раз ему так повезло, обязательно что-нибудь случится. Не может быть, чтобы ничего не случилось, раз ему так повезло. От волнения у него дрожали руки и ноги. Один раз нога соскользнула с ветки, на которую он стал, но Чик все еще крепко держался руками, так что он сумел найти ногу более устойчивое положение.

Начинает случаться, подумал Чик, но все-таки решил не сдаваться судьбе. Он решил ее перехитрить. Он слезал очень быстро и очень осторожно. Быстро — чтобы судьба не успела придумать что-нибудь очень коварное,

а осторожно — чтобы она не могла использовать его быстроту.

Дойдя до последней ветки, он повис на ней, потом обхватил ногами ствол, потом отпустил одну руку и обхватил ею ствол, потом, быстро отпустив вторую руку, ухватился за ствол с другой стороны и, шурша шелухой ствола, обжигая живот и ноги, полетел вниз.

Очутившись на земле, Чик очень удивился и обрадовался, что еще ничего не случилось. Но тут он вспомнил про сандалии и испугался, что их незаметно унес кто-нибудь из рыжих. Ведь сверху он не мог следить за этим холмиком.

Ну да, подумал Чик уныло, потому-то, наверное, ничего не случилось. Было обидно, что, оказывается, не он перехитрил судьбу, а просто она изменила способ мести. Все же он подбежал к месту, где он закопал сандалии, и быстро ногой разметал хвою.

Вот это да! Сандалии целехонькие лежали там, где их положил Чик. Чик теперь окончательно поверил, что с ним ничего не случится.

Чик вытряхнул сандалии и огляделся. Ему было очень хорошо, так легко, весело. Лёсик и Сонька вместе стояли возле одной сосны и собирали мастику прямо в банку. Чик махнул им рукой, чтобы они подошли к нему.

— Что случилось, Чик? — закричала Сонька издали.

Чик хлопнул себя ладонью по лбу, показывая, что раз она так громко кричит в роще, где их могут услышать рыжие, значит, она идиотка. Бедные тоже бывают с придурью, подумал Чик мельком.

Сонька и Лёсик подошли к нему.

— Их нигде не видно, Чик, — уже преувеличенным шепотом сказала Сонька.

— Так ты их и увидишь, — сказал Чик, вынимая из кармана кулек.

— Ой, Чик, какая здоровенная! — воскликнула Сонька восхищенно.

— Тихе, тихе, — сказал Чик миролюбиво, хотя на этот раз голос ее был такой же громкий, как и раньше. Но если человек в первый раз в жизни видит такое чудо, как ему удержаться?!

— Можно понюхать, Чик? — спросила она.

— Конечно, — сказал Чик и поднес кулек к ее носу.

— Пахнет, как роза, — сказала Сонька, внюхавшись, и даже чмокнула языком.

Возможно, она имела в виду самую пышность запаха, а не его качество.

— При чем тут роза? — сказал Чик, несколько оскорбленный нелепостью сравнения. Чик сразу же стал думать, почему ей пришел в голову запах розы, а не какой-нибудь другой. Наверное, решил Чик, она хотела сказать, что мой самородок имеет самый лучший запах, а так как самый лучший запах считается у розы (Чик считал это предрассудком), вот она и сравнила.

— Чик, можно, я переложу его в банку? — не угованивалась Сонька.

— Подожди, — сказал Чик, к ним подходили Оник и Ника.

Лёсик долго сопел над самородком, нюхая его.

— Пахнет мастикой, — наконец сказал он.

— А ты хотел, чтобы чем? — язвительно спросил Чик. Простота Лёсика, как и слишком пышное сравнение с розой, не понравилась Чику. — Дело не в запахе, а в породе, — спокойным голосом владельца счастья объяснил Чик, — такой большой кусок белой мастики очень редко попадается.

— Давай запомним место, — сказала Сонька, — а в следующий раз ты снова сорвешь его здесь.

Чик не стал ей отвечать, потому что это было слишком глупо. Ждать самородка на этом же месте было все равно что ждать самое красное яблоко или самую крупную грушу на той самой веточке, на которой они висели в прошлом году.

— Посмотрите, что Чик нашел! — крикнула Сонька, увидев приближающихся Оника и Нику. Гордясь за Чика, она присоединилась к нему, она как бы сказала им: смотрите, чего добились наша пара, а чего добились вы?

Оник и Ника шли рядом, и Чик, оглядев их, подумал, рассеянно ревнуя: уж не целовались ли они? За Оника-то он был спокоен, но черт-те что Нике могло взбрести в голову. Может, она вспомнила того мальчика из санатория. Интересно, сколько бы она теперь пальцев оттопырила?

— Где нашел? — спросил Оник и, взяв в руки самородок, понюхал его. Ника тоже, наклонившись, понюхала. Всем казалось, что самородок должен пахнуть чем-то особенным.

— На этом дереве, — сказал Чик и с удовольствием рассказал, как все было.

— Чик, можно, я буду его нести? — сказала Ника и высыпала свою добычу в ладони в банку. Она мастику собирала прямо в ладонь.

— Как хочешь, — сказал Чик и пожал плечами.

— Я первая хотела нести, Чик, — жалобно сказала Сонька и посмотрела на Чика.

— Он будет в банке, — решил Чик.

Все высыпали свою добычу в банку, а сверху положили самородок. Теперь все хотели нести банку с мастикой, но Чик решил, что правильной всего, если ее будет нести Сонька.

— Кто ее тащил из дому, тот и будет нести, — сказал Чик. — А теперь к роднику.

Вспомнив о роднике, все почувствовали жажду и стали быстро к нему спускаться. Родник был расположен ниже по косягору, там, где кончалась роща и начинался открытый склон, местами поросший зарослями папоротника, кустами сассапарилы и ежевики.

На этом же склоне, только ниже и левее, в одной из сталактитовых пещер жили рыжие волчата вместе со своими родителями и осликом, которого они на ночь загоняли в пещеру.

— Этот самородок знаете на что похож? — неожиданно сказала Ника.

— На что? — спросила Сонька.

— На горный хрусталь, — сказала Ника задумчиво. Чик почувствовал, что у нее начинаются воспоминания.

— Это что еще за горный хрусталь?! — спросила Сонька, понимая, что Ника как-то пытается умалить ее победу. Чик тоже ничего не слышал про горный хрусталь. Он только знал одно: как только начинают говорить про богатых, то обязательно вспоминают, что у них хрусталь и драгоценности.

— Когда папа танцевал в Батуме, то мы ходили в музей и видели там горный хрусталь и другие полудрагоценные камни, — сказала Ника.

— Фу ты! — сплюнул Оник. — А я думал, что это она так долго не вспоминает про своего полудрагоценного папу.

Все рассмеялись, потому что это было смешно, учитывая, что никто из них ничего не знал о ее папе. Всем казалось, что она все время хвастается своим папой. Чик хоть и не рассмеялся, но почувствовал какую-то приятность, услышав слова Оника. Сначала он даже не мог

понять, откуда эта приятность. Ах да, потом догадался Чик, раз он так сказал, значит, они не целовались.

— У нее папа — великий танцор, — напомнил Чик, — мне дядя говорил...

Оник хмыкнул. Сонька незаметно пожала плечами, но возразить никто не посмел. Если уж Чик призывал в свидетели дядю, возражать ему было трудно и даже опасно.

Родник был расположен в маленькой ложбинке под маленьким каменистым обрывчиком. Кто-то давным-давно обложил его камнями, чтобы он не осыпался и не мелел.

Ребята набросились на родник — кто став на колени, кто лежа на животе и опираясь грудью и руками о мокрые камни, тянули и тянули ледяную воду. И только бедняга Лёсик почему-то не мог дотянуться ртом до воды и стал пить, набирая ее в ковшик ладони. Но и ладонь у него протекала, такой уж он был неловкий.

— Сонька, ты будешь на вассере стоять, — сказал Чик; утираясь и тяжело передыхая после вкусного водопоя. Он чувствовал, что этим скучным занятием сейчас никого не займешь, кроме нее. Всем хотелось смотреть, как будет вариться мастика.

— Почему всегда я? — захныкала Сонька. — Я и банку несла всю дорогу.

— А кто нес самородок? — напомнил Чик.

Сонька опустила голову.

— Если рыжие нас здесь застанут, все пропало, — сказал Чик, давая знать Соньке, что теперь от нее зависит вся их судьба.

Сонька молча повернулась и вышла из ложбинки на косогор.

— Не стой там, — крикнул Чик вполголоса, — а то увидят. Смотри из-за куста.

Сонька неохотно присела за куст. Когда кто-нибудь что-то делает недобровольно, подумал Чик, он всегда пытается небрежностью отомстить тем, кто его заставил это делать. Чик это и по себе знал.

— Несите сухие ветки, — сказал Чик и стал сооружать из камней очаг.

Через несколько минут ребята нанесли столько сухих веток, что можно было не то что мастику сварить, а целого баранчика зажарить. Чик подsunул сухую хвою между камнями, сверху наломал тонких веточек, а потом наложил ветки покрупнее.



Он поставил на камни банку с мастикой, проверил, крепко ли она держится на камнях, а потом, вынув из кармана спичечный коробок, чиркнул спичкой и поднес огонь к сухой хвое. Она вспыхнула и затрещала. Поднялся клуб дыма, сильно запахло смолой. Ребята сидели вокруг огня и следили за тем, что происходит. Ника и Лёсик вообще впервые видели, как варится мастика. На дне коробки зашипела подтаивающая смола, как масло на сковородке.

— Начинается, — сказал Оник.

— Пусть меня сменил кто-нибудь, — напомнила о себе Сонька.

Чик ничего не ответил ей, даже не оглянулся. Он стал помешивать прутиком в банке.

— Чик, она все время сюда смотрит, — сказал Лёсик. Он понимал, что только им и захотят заменить Соньку, если придется. Он хотел, чтобы удлинители время ее дежурства за счет его плохого качества.

Смола в банке постепенно расплавлялась и закипала. Самородок Чика подтаивал и оседал. С каждой секундой он делался все меньше и меньше. Чик непрерывно помешивал прутиком в банке, чтобы там поменьше комочков оставалось.

Продолжая помешивать, он сорвал несколько стеблей папоротника, росшего у ручья, смял их, чтобы потом можно было ухватиться за горячую крышку консервной банки.

— Приготовиться, — сказал Чик Онику и Нике. Теперь Чик, щурясь от едкого дыма, все быстрее и быстрее помешивал кипящую массу, чтобы не подгорало на дне и не осталось ни одного нерастаявшего комочка. От самородка ничего не осталось, но Чик не жалел об этом, он знал, что его находка придаст всей мастике серебристый оттенок.

— Уже и то как вкусно пахнет, — сказал Лёсик, с удовольствием внюхиваясь в запах кипящей смолы.

Ника и Оник, присев на корточки над самым ручейком, растянули платок, держа его за углы.

— Чик, пора, — сказал Лёсик, боясь, что кипящая масса мастики перебежит через край.

— Должна три раза взойти, — сказал Чик важно, слегка приподымая банку и снова ее опуская на огонь. — Учись, как варить мастику.

— Хорошо, — сказал Лёсик и польщенно засопел.

После третьего восхода розовой кипящей и нузырящей-

ся массы Чик, покрепче обхватив крышку комком папоротника, осторожно приподнял банку, поднес ее к растянутому над ручьем платку и постепенно вылил содержимое в платок, стараясь попасть в середину. Платок грузно осел.

— Крутите быстрее, — сказал Чик.

Оник и Ника приподняли и свели края платка так, чтобы мастика никуда не выливалась.

— Чик, жжется, — сказала Ника.

— Подожди, — сказал Чик и, отбросив банку, осторожно взял у нее края платка.

Чик и Оник одновременно в разные стороны закручивали свои концы платка, стараясь, чтобы пылающая, расплавленная масса смолы оставалась в середине, а не затекала за края. Наконец они сжали ее в тугий аппетитный узел.

— Теперь все, — сказал Оник.

— Никуда не денется, — добавил Чик.

Чик и Оник, изо всей силы докручивая концы платка, сжимали и сжимали тугой комок с мастикой, пока золотистая, как мед, струйка не просочилась сквозь платок и не стала стекать на дно ручья.

— Идет! Идет! — крикнул Лёсик, пораженный впервые увиденным сотворением мастики.

Чик и Оник продолжали крутить платок, чтобы не дать остыть расплавленной смоле. Золотистый холмик, закручиваясь, поднимался со дна ручья.

— Рыжий! — неожиданно вскрикнула Сонька. Все обернулись к ней. — Правда, правда, — повторила Сонька, испуганно закивав головой.

— Ничего, — сказал Чик, докручивая. Дело было сделано, и теперь одна минута ничего не решала. Они докрутили платок, и Чик, с трудом раздрав слипшийся платок, посмотрел внутрь. Там оставался комок выжимки с кусочками древесины и хвои. Этот грязный комок ненужных веществ сам по себе радовал его взгляд как свидетельство чисто сделанного дела. Чик бросил платок в огонь. Теперь он ни на что не годился. Платок пыхнул и в несколько секунд сгорел. Оник странно посмотрел на свой исчезающий платок.

— Пойду посмотрю, — сказал Чик и поднялся на край ложбинки. Он улегся рядом с Сонькой и стал выглядывать из-под куста.

— Вон там, — кивнула Сонька на кусты сассапарилы и ежевики. Это было метрах в пятидесяти от родника.

Чик всмотрелся в кусты, но ничего подозрительного не заметил.

— Может, показалось? — спросил Чик. Рядом с ним шмякнулся Лёсик. Оник и Ника тоже залегли за кустом.

— Честное слово, — сказала Сонька, — два раза голова выглянула.

— Хоть бы я увидела этих рыжих, — шепнула Ника. Она училась совсем в другой школе и ни разу рыжих не видела.

— На вид они обыкновенные рыжие, — сказал Лёсик.

— Ха, на вид! — усмехнулся Чик, показывая, что ничто не может быть столь обманчивым, как внешность рыжих.

Несколько минут ребята всматривались в кусты сассапарилы и ежевики, но так ничего и не увидели. Вдруг вершина одного из кустов шевельнулась.

— Вон! Вон! — шепнула Сонька.

— Ну и что? Ветер, — сказал Оник, все же вполголоса.

И вдруг сразу из-за кустов появилась рыжая голова. Она со звериной осторожностью посмотрела вокруг себя и на несколько мгновений задержалась, повернувшись в сторону родника.

— Учуял, — не то удивленно, не то испуганно выдохнул Лёсик.

Голова рыжего отвернулась. Теперь она не скрывалась в кустах. Он протянул руку и, сорвав молодой побег сассапарилы, отправил его в рот. Вернее, отправил в рот кончик побега и, жуя, постепенно втягивал в рот весь стебель. Потом он снова обернулся в сторону родника и, перестав жевать, замер, прислушиваясь. Стебель продолжал торчать у него изо рта.

— У них нюх, как у волков, — сказал Оник шепотом.

— Их так и называют — рыжими волчатами, — пояснила Сонька для Ники, гордясь этой хоть и опасной, но все же необычайной достопримечательностью своего края города.

Рыжий все еще смотрел в сторону родника. Но вот стебелек, торчавший у него изо рта, шевельнулся, потом задвигалась челюсть, и он, не меняя позы, вобрал в рот весь побег. Видно, что он совсем успокоился, потому что снова повернул голову, выискивая глазами свежие побеги сассапарилы.

— Я не знала, что их едят, — сказала Ника.

— Еще как, — сказала Сонька, — мама даже на базаре их покупает и готовит с орехами.

Теперь рыжий больше не оборачивался. Он стоял и мирно пасся в кустах. Иногда, фыркнув, громко выплевывал косточки от ягод. Видно, ягоды он поглощал вместе с побегами, когда они ему попадались. Даже не отделяет ягоды от листьев, с восхищением подумал Чик.

— Потихоньку назад, — сказал Чик. Ребята немного отползли от куста и, встав на ноги, вернулись в ложбину.

— Они что, дикие, что ли? — спросила Ника.

— Полудикие, — сказал Чик, окуная руки в ручей и вынимая оттуда уже остывшую и почти затвердевшую массу мастики. Чик помял ее в ладонях, вытянул колбаской, разделил, отметив ногтем пять равных частей, и сказал Онику: — Кусай!

Оник откусил первым, а потом все остальные. Теперь все с удовольствием жевали мастику, сплевывали накапливающуюся слюну, вынимали изо рта, мяли в руках, и, когда сгибали ее упругую массу, она на сгибе делалась золотистой и нестерпимо блестела.

— Чик, а ты говорил, она белая будет? — спросила Ника.

— Потом побелеет, — сказал Чик, жуя.

— Теперь за ягодами, чтобы пузыри пускать, — сказал Оник.

Ребята загасили костер, поливая его водой из банки. Закинули банку в кусты, разбросали камни самодельного очага, чтобы поменьше следов оставалось для рыжих. Потом углубились в рощу, так и не замеченные рыжими. Там, в начале рощи, тоже было одно место, где росли кусты сассапарилы. Чик и Оник хорошо знали это место.

— Неужели из-за этих ягод мастика будет делать пузыри? — спросила Ника, когда они подошли к зарослям сассапарилы.

— Еще как! — в один голос сказали Оник и Чик.

Они стали рвать красные и зеленые ягоды сассапарилы величиной с чернику. Расколов ягоду зубами, они выплевывали плодик, а потом соскребали зубами тончайшую пленочку вокруг косточки. После этого косточка тоже выплевывалась, а пленочка жевывалась в мастику. Достаточно было жевать десяток пленочек, как мастика делалась даже на прикус упругой, как резина.

— Какая нежная, — сказала Ника, сняв пальцем с кончика языка зеленовато-прозрачную пленку.

Первым выдул пузырь Оник. Чик не спешил. Чик продолжал жевать. Надо ее как следует разжевать, чтобы пузыри делались крупными и достаточно громко лопались.

— Я одного не пойму, — сказала Ника, — кто первым догадался, что надо сдирать пленочку, чтобы пузыри получались?

Чик даже перестал жевать, до того он поразился этому вопросу. Ему самому это не раз приходило в голову. Он никак не думал, что это и ей может прийти в голову, да еще с первого раза.

— Сам не знаю, — сказал Чик. Это в самом деле невозможно было понять, кто догадался первым соединить мастику с этой пленочкой.

— Так делают все с незапамятных времен, — сказала Сонька.

— Тогда кто догадался первым до незапамятных времен? — спросила Ника.

— Первобытные люди, — сказал Оник и выдул пузырь. Все посмотрели, какой у него получится пузырь. Пузырь у него получился хороший, величиной с персик.

— Первобытные люди мастику не жевали, — сказал Чик, дождавшись, когда лопнет пузырь.

— Тогда кто? — спросил Оник, слизывая языком кусочки мастичной пленки, оставшейся на губах от лопнувшего пузыря. Он посмотрел на Чика с выражением тусклого любопытства к вечности.

— Не знаю кто, но только не первобытные люди, — сказал Чик. Он был уверен, что первобытные люди мастику никогда не жевали. Тем более пузырей не пускали. Вообще лучше было об этом не думать. Это могло навести на мысли о началах и концах вообще. Чик не любил этих мыслей, но они иногда сами приходили, и от них некуда было деться.

Чаще всего они приходили на закате, в хорошую погоду, в теплое время года. Кроме того, Чик заметил, что в городе они приходили к нему гораздо реже, чем в деревне. Но и в городе приходили, если вдруг на улице встречалась похоронная процессия, или вечером возле моря, или днем где-нибудь в таком месте, как сейчас.

В таких случаях Чик с нежной печалью думал о непонятности строения Вселенной. Вот, например, наша планета, думал Чик, с ее горами, зелеными долинами,

теплыми морями — это понятно, это хорошо. А вот дальше идут звезды, а за этими звездами другие звезды, а за другими звездами еще другие неведомые звезды. Ну а дальше что? То, что некоторые звезды на самом деле планеты, на которых, может быть, есть жизнь, служило очень слабым утешением. А что дальше, дальше что? Вот что было непостижимо. Если Вселенная имеет конец, то что за этим концом? А если она его не имеет, то как это представить? Да и как это может быть, чтобы какое-то расстояние длилось, длилось, длилось и никогда, никогда не кончалось?

Душа Чика ни конца Вселенной не могла принять, ни отсутствия этого конца. Вот что было удивительно. И Чик, когда об этом думал, заранее понимал, что ни один из взрослых ему не ответит на этот вопрос. Ведь ответ взрослого мог бы означать одно из двух: или есть бесконечность, или есть конец. Но Чик никак не мог принять такую бессмысленность. Может быть, есть что-то третье, но что?

И еще вот что было удивительно. Сначала об этом думалось с нежной печалью, даже как-то сладко-сладко становилось. Так бывало, когда в школе решаешь задачу и чувствуешь, что идешь по правильному пути. Значит, думая об этом, вспоминал Чик, я решаю какую-то нужную задачу и иду по правильному пути, поэтому сначала хоть грустно, но грусть приятная. Но потом я чувствую, что решение уходит куда-то и я не могу найти ответа, и тогда становится тоскливо.

В такие минуты Чик ругал себя за то, что стал думать об этом, до того ему делалось тоскливо. Но не думать он уже не мог. Он и думал и тосковал по бездумью. Если это было в деревне, он тосковал по беззаботной городской суете, где ни дети, ни тем более взрослые об этом не думают. Хорошо им там не вспоминать об этом, с завистью думал Чик и хотел туда, в город, в родной двор, в забвение суеты. Тоска эта доводила Чика до ощущения какого-то космического сиротства, особенно если его не прерывали или тем более не звали на ужин.

Если же звали на ужин, в первые минуты Чик, входя в кухню, никак не мог взять в толк, как это все эти мужчины и женщины, его родственники, могут говорить о каких-то шнуromетрах табака, о каких-то там бригадирах, которые вечно чего-то там недоприписывают? Как это можно обо всем этом говорить, когда еще не решен во-

прос, где конец Вселенной и как он может быть вообще?

Но потом постепенно у веселого очажного огня, кусая пахучий кусок вяленого мяса, дуя на горячую мамалыгу, Чик чувствовал с некоторым легким смущением, как его тоска быстро улетучивается куда-то и он теперь с удовольствием вслушивается во взрослые разговоры. А думал он в такие минуты, вспоминая о началах и концах, но не чувствуя их, что потом когда-нибудь додумает это.

Поэтому Чик и сейчас, чтобы случайно не задуматься об этом, решил приняться за пузыри. Он как следует помял в руках мастику, сунул обеими руками расплющенный комок в рот, вытянул его языком, стараясь нигде не придавить, убрал язык и дунул в образовавшийся мешочек. Пузырь получился неплохой, но все-таки у Оника он был гораздо крупней.

Теперь все делали пузыри, и они то и дело лопались. Ника сразу же научилась делать пузыри, у нее был длинный, ловкий язык. У бедняжки Лёсика и пузыри получались кривобокими, потому что у него язык плохо ворочался. Но за этот день он столько увидел и столько достиг, что можно было им гордиться. Так думал Чик, с удовольствием гордясь им и тем самым гордясь собой. Все-таки кто бы взял такую обузу, как Лёсик, думал Чик, мысленно пробегая по рядам знакомых ребят с их улицы или из школы, и все они малодушно или презрительно отворачивались от Лёсика. А вот я взял, думал Чик, поглядывая на Лёсика с отцовским умилением. Взял, хотя будет очень трудно на обратном пути громоздить его на стену. Ничего, думал Чик, как-нибудь взгромоздим, зато он всю жизнь будет помнить этот поход за мастикой.

Ребята пошли обратно и снова вышли к таинственному домику, во дворе которого жил щенок волкодава. Щенок сидел посреди двора и грыз кожаную тапку. Он не обратил на них внимания, хотя они подошли к самому забору. Знаем, знаем, подумал Чик, это твой старый трюк.

— Я его отвлеку, а вы проходите к инжиру, — сказал он остальным, просовывая руку между планками штакетника и отодвигая щеколду калитки.

Пожеывая мастику, он вошел во двор и направился к щенку. Тот на мгновение оторвался от тапки, посмотрел на Чика и мотнул головой.

«Не хочу играть!» — сказал он Чику этим движением головы и снова взялся за тапку.

Что за черт, подумал Чик, ничего не понимаю. И в это мгновение в доме скрипнула дверь и на веранде появилась женщина. Чик даже испугался — до того это было неожиданно, а главное, что женщина была Чику хорошо знакома. Звали ее тетя Лариса. Она довольно часто приходила к тетушке в гости. Они обе были горбоносенькие, и у обеих брови срастались на переносице. Чик считал, что это сходство помогло им сдружиться. Им легко было хвалить и считать друг друга красавицами. Потому что, если одна называла другую красавицей, получалось, что это она про себя говорит. Во всяком случае, тетушка считала, что вся ее цветущая юность прошла в боях с легионами женихов, которые штурмовали ее как крепость. Но взять крепость сперва почему-то удалось какому-то старенькому персидскому консулу, а уж второй раз дядя Чика, как считал Чик, и крепость одолел, и консула прогнал, и сам засел в этой крепости. На самом деле тетушка сама прогнала консула, а уж потом вышла замуж за дядю, но этого Чик тогда не знал. И вот вдруг он оказался во дворе тетушкиной подруги.

— Чик, — страшно удивилась эта женщина, — что-нибудь случилось?

— Ничего, — сказал Чик, — мы мастику собирали.

Тут тетя Лариса увидела и остальных ребят, все еще стоявших за забором.

— Ах, мастику, — сказала она, улыбнувшись, потому что обрадовалась, что ничего не случилось. — Проходите, детки. А дома знают? — с тревогой спросила она у Чика.

Чик ожидал этого вопроса.

— Конечно, — сказал он. Чик считался правдивым мальчиком, потому что врал очень скупое, только по необходимости.

Из домика, дожевывая хлеб, вышел подросток. Это был ее сын Омар. Он несколько раз приходил со своей мамой, когда надо было тащить фрукты, которые они приносили тетке в подарок. Но Чику с ним не удавалось поговорить, потому что он сразу же уходил или играл на улице со своими сверстниками.

Иногда тетя Лариса приходила одна, с большим букетом цветов. В таких случаях тетушка преувеличенно суежилась вокруг цветов, чтобы незаметно было, что на



самом деле ей гораздо больше нравится, когда приносят фрукты.

— А где наш Омарчик, я скучаю по нашему золотому Омарчику, — говорила тетушка, сажая тетю Ларису за свои бесконечные чаи. Чик не только понимал, что она говорит одно, а думает другое, он прямо-таки чуть ли не над каждым сказанным словом мог поставить подразумеваемое.

«А где ваши фрукты? Я соскучилась по вашим персикам, яблокам, хурме!» — вот что на самом деле означали тетушкины слова.

Тетя Лариса уставилась на детей, смутно узнавая их.

— А эта синеглазка не дочь Патарая? — спросила она у Чика, кивнув на Нику.

Ребята стояли за Чиком, сдержанно, через два-три положенных такта, пожевывая мастику.

— А вы знаете моего папу? — расцвела Ника и потянулась к тете Ларисе с благодарным вниманием.

— Конечно, знала, — вздохнула тетя Лариса, — бедный Пата...

Она еще что-то хотела сказать, но Чик сделал самые страшные глаза из всех, какие мог, показывая, что об этом нельзя говорить.

— Что с тобой, Чик? — глупо удивилась тетя Лариса и сделала круглые глаза. Все-таки, видно, она что-то почувствовала, потому что больше ничего не стала говорить.

— Вот Чик дает! — засмеялся Омар, увидев, что Чик сделал страшную морду. Он, конечно, и вовсе ничего не понимал.

— Ребята, может, поедите инжиру? Вон там скоро-спелка растет, — кивнула она в сторону степы.

— Нет, — сказал Чик за всех, — нам не хочется...

— Тогда открой им ворота, Омар, — сказала тетя Лариса, лучезарно улыбаясь. — Скажи тете, что в субботу приду.

Раз уж вам ничего не хочется поесть, вы хоть возьмите мою прекрасную улыбку, казалось, хотела она сказать, глядя им вслед.

— Хорошо, — сказал Чик и пошел к лестнице. У него немного отлегло на душе. Он очень боялся, что тетя Лариса скажет еще что-нибудь про отца Ники. С этими взрослыми трудно дело иметь, думал Чик, они ничего не понимают.

— Чик, Чик, — вдруг окликнула его тетя Лариса, что-то вспомнив.

Чик остановился. Вся его команда тоже остановилась.

— Я сейчас тебе роз нарежу, подожди! — крикнула она.

— Что вы, тетя Лариса! — закричал Чик, страшно испугавшись. — Мы сейчас не домой идем... Мы идем в гости...

— Вот и хорошо, — согласилась тетя Лариса, — придете в гости с розами.

— Я хотел сказать, мы не в гости, мы в парк кататься на гигантских шагах, — лихорадочно поправился Чик, злясь на тетю Ларису, что она его вынуждает врать и при этом довольно глупо.

— Жаль, — сказала тетя Лариса, — такие розы пропадают.

— Мне тоже жалко, — согласился Чик, — но что поделаешь.

Тетя Лариса повернула к дому, а Омар вприпрыжку через одну-две ступени стал спускаться к ним.

У нее розы пропадают, а я должен позориться, подумал Чик. Сейчас появиться на полянке с охапкой роз все равно что навеки себя похоронить. Проще принести их на свою могилу, чем ходить с ними по улицам.

— Какие гости, какой парк? — спросила Сонька, разводя руками. — Нас и так уже ищут, наверное...

— Это он с понтом, — сказал Оник, понимая, почему Чик отказался от роз.

— Так я бы понесла, — добавила Ника, пожав плечами.

Чик ничего не ответил. Он посмотрел на Нику. Она как-то скучно притихла, как будто отделилась от всех. Хуже нет, подумал Чик, чем хранить чужую тайну. Он решил не обращать на нее внимания, чтобы она успокоилась, если что-то заподозрила. А может, и не заподозрила, подумал Чик, успокаивая самого себя. Может, она просто так притихла.

Лестница была длинная и крутая. Время от времени она расширялась до размеров площадки, на которой с обеих сторон стояли каменные скамейки.

По обе стороны от лестницы, за каменным барьером, росли розы, георгины, карликовые пальмы и всевозможные кактусы, один уродливее другого. Чик знал, что эти площадки сделаны для того, чтобы князь со своей сви-

той, поднимаясь по лестнице, отдыхал на каждой площадке и нюхал цветы.

Чем ниже они спускались, тем больше волновался Чик, думая о предстоящей драке. Если бы этот Омар хоть бы постоял рядом, когда они будут драться, Чик считал бы, что ему повезло. Но сам говорить ему об этом Чик не хотел. Это было бы очень стыдно. Если бы само собой в разговоре случайно он узнал о предстоящей драке в невыгодных для Чика условиях, тогда другое дело.

— А вы давно здесь живете? — начал Чик издали.

— Всегда, — ответил Омар, останавливаясь и оглядываясь на Лёсика. Он все никак не мог понять, почему Лёсик отстаёт, хотя понять это было проще простого. Такая непонятливость ничего хорошего не сулила, и Чик пожалел, что начал разговор очень уж издали. — ...Здесь же государственный сад, — продолжал Омар, — а мой папа работает садовником.

Слова о государственном саде прозвучали со странной внушительностью, как если бы эти фрукты предназначались не для еды, а для какой-то символической цели, например для сельскохозяйственной выставки или для какого-нибудь праздничного парада, чтобы пронести их.

— Я знаю, — сказал Чик и, показывая свою осведомленность, добавил: — До революции здесь жил князь...

— Точно, — сказал Омар, — отец его помнит, он у него садовником работал...

Вот это да, подумал Чик, и у князя садовником работал, и у нас.

Он очень удивился этому, но постарался скрыть свое удивление, чтобы не огорчать Омара.

Они уже подходили к воротам, и Чик почувствовал, что никак не сумеет случайно намекнуть Омару о предстоящей драке. Сквозь узоры решетчатых ворот Чик успел заметить, что ребята все еще на полянке, хотя уже и не играют в футбол. Он понимал, что Бочо среди них, хотя его и не было видно. Сгрудившись, они сидели посреди полянки. Хозяин мяча сидел на своем мяче, как на трибунке, вполне законно возвышающей его над остальными.

Скрежеща ключом, Омар открывал ворота, и Чику теперь хотелось хотя бы задержать его у ворот, чтобы ребята на полянке заметили его в обществе этого внушительного подростка.

— Омар, а почему маслины у вас не родятся? — спросил Чик в отчаянии, пытаясь его задержать.

— Ну их к чертовой матери, эти маслины! — неожиданно вспыхнул Омар и, открыв скрипучие ворота и нетерпеливо придерживая их, пропустил ребят наружу. — Из-за них у отца знаешь какие неприятности?!

— Да, я знаю, — подтвердил Чик тоскливо, чувствуя, что разговор не получился.

Омар, видно, тоже почувствовал, что слишком резко обошелся с Чиком, хотя и не знал, что Чик надо.

— Заходи, — кивнул он уже из-за ворот, — у нас есть кое-что повкуснее этих вонючих маслин.

Громыкнув закрытым замком, чтобы проверить его надежность, Омар исчез, и ребята остались одни. Главное, что на полянке так ничего и не заметили.

Ребята пошли через полянку. Чик старался шагать как можно независимей. Он даже решил, как только поравняется со всей этой компанией, пустить пузырь.

Через несколько секунд их заметили. Чик не смотрел на них, но он это понял по тишине, которая воцарилась на поляне. Это была неприятная, насмешливо-ожидательная тишина. Пора пускать пузырь, подумал Чик, почувствовав, что поравнялся с ними. Он сунул язык в расплюсченную мастику и выдул довольно приличный пузырь. Пузырь лопнул ему в лицо.

— Чик! — крикнул Шурик, дождавшись, чтобы пузырь лопнул. Все-таки ему было интересно посмотреть, какой получится пузырь.

Чик обернулся, словно только что всех их заметил.

— Или ты дерешься с Бочо, — сказал Шурик, — или ты честно говоришь, что сдрейфил.

Чик оглядел всех сидевших и лежавших на траве и успел заметить, как Бочо глупо и горделиво улыбается. Он сделал вид, что только что вспомнил об обещанной драке. Он медленно слизнул в рот пленочки мастики, оставшиеся под носом и на подбородке, и, продолжая жевать, спокойно сказал:

— Всегда готов!

Глаза у ребят загорелись от любопытства. Бочо не в силах был сдержать блудливой улыбки, до того выгодные условия драки предстояли ему.

— Чик, не дерись, их много, а ты один! — бесстрашно крикнула Сонька.

— Глупости, — сказал Чик и подошел к ребятам.

Он считал, что пока он очень здорово держится и дай бог держаться так до конца.

Все встали, предвкушая удовольствие поглазеть на драку. Только хозяин мяча продолжал, покачиваясь, сидеть на своем мяче.

Широкоплечий и большоголовый Бочо, глядя на Чика, как-то снисходительно улыбался, словно ясно видел побежденного и опозоренного Чика. Переносить эту улыбку было ужасно неприятно.

— Здесь будем? — спросил он своим сильным голосом.

— Где хочешь, — сказал Чик, чувствуя, как челюсть его, жующая мастику, сама остановилась. Чик усилием воли снова принялся жевать, стараясь ничем не выдать своего волнения.

— Так давай! — просипел Бочо и стал подходить к Чику, внимательно всматриваясь в него, чтобы не пропустить признаки робости или нерешительности.

«Неужели так сразу, так быстро?!» — содрогнулся Чик внутренне, в то же время ни на секунду не забывая, что никак нельзя показывать своего страха.

— Оник, держи. — Чик вынул мастику изо рта и, не спуская глаз с надвигающегося Бочо, протянул назад руку.

Раньше Оника подбежала к нему Сонька и выхватила мастику.

— Чик, их много, а ты один! — опять бесстрашно крикнула Сонька.

— Ничего, — сказал Чик, продолжая внимательно смотреть на Бочо. Чик был уверен, что никто не вмешается в драку, потому что это были ребята с соседней улицы, и они знали Чика. Но все-таки, когда все «болеют» за твоего противника, до чего же неприятно драться. Вдруг Бочо остановился в нескольких шагах от Чика.

— Если хочешь, отойдем, — кивнул Бочо на край поляны, где начиналась стена. Сейчас, когда у него было столько болельщиков, он хотел показать, что он в них не нуждается. Наверное, ему и в самом деле так казалось.

— Как хочешь, — сказал Чик, радуясь передышке, но показывая, что не боится никаких болельщиков.

— Ребя! — заорал Бочо изо всех сил. — Вы стойте здесь, а мы пойдем подеремся!

Он мог это сказать гораздо тише, но он хотел своим голосом напугать Чика. Голос у него в самом деле был

внушительный. Главное, он здорово хрипел и даже сипел. Чик его отчасти за этот голос уважал, но не сейчас, когда он его пугал этим голосом.

— Давай! — радостно отозвались ребята. — Мы будем отсюда смотреть, как ты его отколошматишь!

Чик и Бочо решительно направились в сторону стены.

— Чтоб не фасонил со своей москвичкой! — крикнул вслед один из ребят. В его голосе прозвучала вечная слободская ненависть вот к таким чистеньким, хорошо одетым девчонкам, как Ника. Чик у совершенно неуместно полезла в голову какая-то мысль насчет бедных и богатых. Но он ее не успел додумать, да и не хотел додумывать, это она сама полезла ему в голову, когда он услышал голос этого мальчишки.

— Она не москвичка, — услышал Чик просящий мира голос Оника, — она в нашем дворе живет...

— А фасонит, как москвичка, — уверенно сказал тот же голос, и Чик показалось, что он услышал, как тот презрительно цвиркнул сквозь зубы слюной, хотя услышать это было никак невозможно.

— Чик, не бойся, мы здесь! — вдруг пронзительно крикнула Сонька, и голос ее обдал Чика какой-то великоленной волной бодрости, хотя он и понимал, что помощи от своей компании ждать бессмысленно.

Услышав Сонькин крик, ребята с улицы Бочо захохотали, до того им это показалось смешным.

— Лёсик, а-а-сто-рожна, у-па-дешь! — гадливым голосом пропел Шурик и фальшиво захохотал, показывая хохотом, чего стоит Чик и вся его команда.

Чик и Бочо стояли в двух шагах друг от друга. Они еще как-то недостаточно подогрелись для драки. Бочо угрюмо, исподлобья глядел на Чика, стараясь припомнить какую-нибудь старую обиду. Но, видно, обида не припоминалась, и Бочо начинал злиться на Чика за то, что он никак не может припомнить какую-нибудь стоящую обиду. Чик это чувствовал.

— Ха! — вдруг хрипло усмехнулся Бочо, глядя на Чика. Что-то унижительное было в его усмешке.

— Чего смеешься? — спросил Чик и бегло оглядел себя.

— Ха! — усмехнулся Бочо еще более хрипло и добавил: — Посмотри на мои плечи и на свои.

Это была правда. Бочо был куда шире Чика, зато у

Чика грудь была намного здоровее, чем у Бочо, и Чик это знал.

— А грудь? — сказал Чик и, набрав воздуха, изо всех сил растопырил ее.

— Что ты мне суешь свою грудь! — страшным голосом захрипел Бочо.

— А что ты мне суешь свои плечи! — ответил ему Чик, собрав все свое мужество. Все-таки Бочо здорово его подавлял своим голосом.

Вдруг Бочо протянул руку и молча приложил ладонь к его груди. Чик прямо растерялся, до того это был страшный и непонятный жест.

— Ты чего меня лапаешь? — в ужасе крикнул Чик. — Хочешь драться — дерись!

— У тебя сердце дрожит, я слышу! — закричал Бочо радостно. — Вот до чего ты меня дрейфишь!

Сердце Чика и в самом деле страшно колотилось. Но какое он имел право дотрагиваться до Чика и слушать, как стучит его сердце?!

«Ах, ты так!» — подумал Чик, и в это же мгновение его осенила военная хитрость.

Он приподнял голову и как бы украдкой бросил многозначительный взгляд наверх, в сторону домика, где жила тетя Лариса. Бочо сразу же клюнул. Он тоже поднял голову и, посмотрев туда, снова уставился на Чика, теперь уже подозрительно.

— Ты чего туда смотрел? — спросил он не так уж хрипло, как раньше.

— Никуда я не смотрел, — сказал Чик, успокаиваясь оттого, что Бочо начинал волноваться.

— Нет, смотрел.

— Нет, не смотрел.

— Может, скажешь, что ты с Омаром знаком? — спросил Бочо.

Чик промолчал. Надо было, чтобы рыба получше села на крючок.

— Чего молчишь? Скажи, скажи, — насмешливо торопил его Бочо. На самом деле он начал тревожиться.

— Он мой троюродный брат, — нахально отчеканил Чик.

— Ха! — хрипло усмехнулся Бочо, думая, что поймал Чика. — Тогда почему по стене лезли?

— Потому что их дома не было, — сказал Чик, чувствуя, что Бочо сам себя загоняет в ловушку.

— А сейчас? — раздраженно просипел Бочо.

— А сейчас они дома, — сказал Чик, чувствуя, как тело его освобождается от страха, легчает.

— Ребя! — крикнул Бочо, как бы отчасти жалуясь и раздражаясь из-за того, что они его подвели. — Он говорит, что Омар его брат?!

— Не верь, не верь, — крикнул Шурик, как человек, больше всех заинтересованный в победе Бочо, — он все придумал!

— Пусть скажет, как зовут его маханю! — крикнул тот мальчик, который назвал Нику москвичкой.

— Да, — снова оживившись, прохрипел Бочо, — скажи, как зовут его маханю?

— Тетя Лариса, — сказал Чик презрительно.

— Ребя, — крикнул Бочо с отчаянной надеждой, — он говорит, тетя Лариса!

— Правильно, — мрачно подтвердили ребята.

— Правильно! — крикнула Сонька и даже подпрыгнула от радости. — Она к ним часто в гости ходит.

— Ненавижу ехидину! — крикнул Бочо и ринулся на Чика. Другого выхода у него не было.

Чик почувствовал страшный удар в скулу, голова его загудела, и он бросился в драку, как в воду. Чик слышал за спиной топанье бегущих ребят. Он и так знал, что, как только начнется драка, все прибегут. Но теперь ему ничего не было страшно. Он изо всех сил махал руками, стараясь попасть в раздваивающееся и мелькающее лицо Бочо, не чувствуя ударов, которые тот ему наносил.

Главное — стараться попасть в лицо, в которое почему-то до удивления, какое бывает во сне, трудно попасть, и оно все время расплывается, и только отовсюду смотрят темные глазщи Бочо и мелькает его лобастая стриженная голова. Иногда они сцеляются, потом расцепляются, изредка обмениваясь яростными словами.

— Получай на закуску!

— Ах, ты плашмя?!

— Вот тебе, вот тебе, головой!

Сопение, кряхтенье, тяжелое дыхание, обмен ударами и обмен впечатлениями от ударов. Но время идет, и Чик чувствует, как тяжело наливаются руки и тело, как они слабеют с какой-то непонятной быстротой, как все трудней и трудней дышать. Неужели, думает Чик, чув-



ствуя, что начинает теряться, неужели только я так устал? И почему у меня дыхание кончается, как же моя широкая грудь?

И вдруг Бочо хватается за лоб и мгновенно выходит из круга, образованного прибежавшими ребятами. Чик ничего не понимает, у него перед глазами все покачивается, но он чувствует, что случилось что-то радостное, неожиданное.

Бочо некоторое время стоит, пригнувшись, и ладонью щупает лоб.

— Фонарь? — вдруг спрашивает он, опустив руку и удивленно оглядывая всех.

— Фонарь! — подтверждает тот, что назвал Нику москвичкой, и переводит взгляд на Чика, словно только сейчас заметив какие-то интересные подробности в его облике, которых он раньше не замечал.

Чик смотрит на Бочо. Все смотрят на Бочо. У Бочо над глазом появилась огромная шишка.

— Фонарь? — спрашивает Бочо и оглядывает друзей с какой-то трогательной надеждой, что они его разуберут в этом.

— Фонарь, фонарь, — подтверждают все удивленно и с посвежевшим интересом к его личности смотрят на Чика.

— Ой-ой-ой! — неожиданно запричитал Бочо, снова схватившись за лоб. — Что я дома скажу? Что я дома скажу?!

— Ничего, — сказал Чик, — надо холодное... Оник, дай свой пятак...

Оник неохотно вынул из кармана тяжелый царский пятак и протянул Чику. Чик взял пятак и, подойдя к Бочо, приложил его к шишке. Чик чувствовал, что каждое его движение сейчас уверенно и свободно и никому не может прийти в голову, что он подлизывается или как-то слишком расчувствовался. И Бочо с такой трогательной надеждой и доверчивостью смотрел на Чика, так безропотно надеялся на его помощь, так глубоко был поглощен возможностью предстоящего наказания родителями, что Чик чувствовал, как внутри у него все переворачивается от нежности и благодарности к Бочо за эту прекрасную победу.

— Смачивай в воде и прикладывай, — говорит Чик, — а пятак потом когда-нибудь отдашь...

Оник с молчаливым упреком посмотрел на Чика в

том смысле, что ему хорошо быть щедрым за счет других. Чик ответил ему на это восторженным взглядом, показывая, что в часы великих побед нельзя считаться с такими мелочами. Чик краем глаза заметил, что Шурик старается не попадаться ему на глаза, прячется за спинами ребят, как предатель Мазепа.

Уходя со своей командой, Чик напряг слух. Он чувствовал, что он должен что-то очень приятное услышать за спиной. И он в самом деле услышал. Он услышал целую фразу, которая потрясла его своей былинной красотой.

— Ребята, пу и колотушка у этого Чика, — сказал кто-то.

Зарево славы подымалось за его спиной. Чик ощущал в своем теле необыкновенную легкость. Он почти не чувствовал земли. Он почти ничего не видел и не слышал. Что-то радостно лопочут друзья, Сонька ему сует мастику, но он ее почему-то положил не в рот, а в карман. Потом появились какие-то волнения, стали говорить, что нас, наверное, ищут, что нам, наверное, попадет. Кого ищут, чего ищут? Он только чувствовал какую-то легкость, легкость и музыку. Будто слышится какой-то оркестр, вроде тех предпраздничных оркестров, которые за несколько дней до праздника начинали шагать по городу, как бы пробуя будущее веселье. Чик страшно любил эти пробы будущего веселья и, бывало, как только услышит такой оркестр, вместе с Белочкой выбегал на улицу и долго-долго провожал его.

— Чик, — вдруг донеслось до него сквозь музыку оркестра, — я тебе что-то хочу сказать.

Они уже шлепали по тротуару, вот-вот свернут на свою улицу. Это был голос Ники.

— Ага, — сказал Чик, не останавливаясь и не оборачиваясь, потому что никак не хотел упускать музыки, которую он слышал, — говори...

— Только один на один, — сказала Ника, и Чик по ее голосу почувствовал, что она остановилась. Ему стало тревожно.

— Что? — спросил Чик, останавливаясь и с легкой досадой чувствуя, что музыка уходит вперед; ну ничего, догоню, подумал он. — Вы идите, — кивнул он остальным.

— Чик, — тихо сказала Ника и прямо посмотрела ему в глаза своими темными от густоты синевы гла-

зами, — почему эта женщина сказала про папу «бедный»?

Чик сразу все вспомнил.

Он вспомнил, что все это время, пока они спускались с лестницы и пока он готовился к драке, она как-то замкнулась и съежилась. Теперь он понял, что она все время думала о словах тети Ларисы...

— Просто так, — сказал Чик, — женщины всегда так говорят.

— Нет, — сказала Ника и с какой-то упрямой силой посмотрела ему в глаза, — разве мой папа никогда не вернется?

Чик вдруг почувствовал, что музыка, все еще игравшая вдалеке, вдруг смутилась и смолкла. У Чика мурашки побежали по спине. Неужели она все знает, подумал он.

— А разве он вам не пишет? — осторожно спросил Чик.

— Редко, и мне отдельно, и маме отдельно, — тихо сказала она, — а раньше, когда ездил в командировки, он всегда нам вместе писал...

— Что тут такого, — сказал Чик и радостно, оттого, что это было в самом деле так, вспомнил, — мой дядя, когда ездит в командировки, иногда пишет всем отдельно...

Чик почувствовал, что она поддается. Глаза ее потеплели, в них уже не было той упрямой твердости, с которой она смотрела на него вначале. Но его это почему-то не обрадовало. Он почувствовал, хотя и не осознавал, что она не убедилась в правильности того, что он говорил, а снова покорилась неизвестности. Чик это почувствовал.

— Но почему так долго, Чик? Уже девять месяцев прошло, — сказала она.

— Покамест все выяснят, — начал Чик и впервые с раздражением подумал о тех, кто и в самом деле так долго выясняет: знал отец Ники, что начальник, перед которым он танцевал, вредитель, или не знал? То, что сам начальник мог и не быть вредителем, Чик и в голову не приходило.

— Что выяснят? — спросила Ника и удивленно посмотрела ему в глаза.

— Чик, — крикнула Сонька, — нас, может, ищут, а вы там шепчетесь!

Чик обернулся. Сонька на него смотрела взглядом женщины, устающей от бесплодной любви. Чик удивился этому взгляду, потом вспомнил о его неуместности и раздраженно отмахнулся. Он и так чуть не проговорился, а тут еще Сонька пристает со своей дурацкой ревностью.

— Как что выяснят! — ответил он Нике. — В командировке всегда что-нибудь выясняют.

— Я его люблю больше всех, — сказала Ника, — я его буду ждать до гроба.

Чик почувствовал, что она повторила чьи-то слова, наверное, собственной мамы.

— Еще бы! — с жаром подхватил Чик, напав на благодарную тему, где можно ничего не выдумывать. — Еще бы такого не любить. Мой дядя говорит, что он великий танцор, что он мог танцевать на рюмке... Представляешь, такая маленькая рюмочка и на ней взрослый человек танцует?! Я на перевернутом ведре и то бы не смог танцевать, а он на рюмке...

— Ну, вы идете или мы пошли! — со злостью крикнула Сонька.

Глупая, подумал Чик, обернувшись, тут совсем другое дело.

— Пошли, — сказал он Нике таким тоном, словно теперь уже все стало ясно. Но он понимал, что далеко не все ясно, и это его все-таки смущало. Он попробовал прислушаться к той музыке, которую слышал до разговора с Никой, но не услышал ее. Оркестр куда-то скрылся.

Только они дошли до угла своей улицы, как лоб в лоб столкнулись с соседским мальчишкой Абу.

— Чик, вас ищут, — радостно крикнул он, — думают, вы утонули.

— Я же говорила, я же говорила, — затараторила Сонька, гневно поглядывая на Нику. Лёсик от волнения расплылся в улыбке. У Чика тоже что-то неприятно кольнуло в груди.

Абу стоял перед ними, любуясь их растерянностью и смущением.

— Чик, это правда, что ты фонарь поставил Бочо? — вдруг спросил он, перестав любоваться их растерянностью.

Чик произвольно улынулся. Слава обгоняла его и выходила навстречу.

— Да, — сказал Чик, не в силах сдвинуть расползающиеся в улыбке губы, — но откуда ты узнал?

— Да тут один проезжал на велике и сказал, — ответил Абу и с посвежевшим уважением, как те на поляне, взглянул на Чика. — За мастикой ходили?

— Да, — сказал Чик доброжелательно, — а правда, что нас здорово ищут, или треплешься?

— А-а-а! — махнул Абу рукой. — Немножко поискал и бросил... Пойду посмотрю, какой ты фонарь поставил Бочо.

— Оц, наверно, уже домой ушел, — сказал Чик.

— Ну тогда поиграю в футбол, — ответил Абу и пошел дальше.

Ребята радостно заработали челюстями и пошли своей дорогой. Все-таки хорошо, что Абу их успокоил. Когда они зашли за угол, Чик сразу же увидел на балконе сутулую спину Алихана, склоненную над игровой доской. Он играл в нарды с Богатым Портным. Ясно, что Богатому Портному сейчас не до Оника. Оник сразу же повеселел.

В сущности, Богатый Портной и тетушка были главными паникерами. Но тетушка тоже, как и Богатый Портной, если увлечется чем-нибудь, могла и не вспомнить о его существовании...

Чик заметил, что Белочка сидит у калитки и смотрит в их сторону. Видно, она их еще не узнала, но почувствовала что-то знакомое. Чик не хотел подавать голоса, чтобы с балкона на них не обратили внимания. Он только всплеснул руками и ударил ими по ногам, как если б сидел на скамейке и приглашал ее на колени. Белочка мгновенно склонила набок голову, и, когда Чик повторил этот жест, она сорвалась с места и помчалась навстречу. Она бежала своей боковой побегкой, которую Чик так любил, и она его всегда так смешила.

Белочка с разгону налетела на Чика и в прыжке несколько раз лизнула ему лицо. Потом она для приличия лизнула Оника и Соньку, не слишком скрывая, что больше всего обрадовалась Чику. Она бегала вокруг них, визжала и прыгала... Она очень соскучилась и совсем не помнила, что Чик ее обидел. Ну, где можно еще отыскать такую веселую, добрую собаку? Нет, подумал Чик, с этим собаководом надо что-то делать, иначе не будет спокойной жизни.

Ребята приближались к дому. С каждым шагом Чик чувствовал, что слабеет и слабеет их походный уют, вот-

вот совсем распадется, потому что каждый сейчас занят собственной тревогой встречи со своими родителями.

Чикю всегда бывало немножко грустно в такие часы. Но ничего не поделаешь, он и сам сейчас занят этой тревогой. Поэтому ему было приятно, что рядом кружится Белка, словно он с ней особенно и не расставался, словно так: вышли немного погулять, а теперь возвращаются домой. Одомашненный тем, что Белочка была рядом, Чик подходил к дому с плутоватой и, может, потому тайно веселящей надеждой на безнаказанность.

## Чаепитие и любовь к морю

Было около одиннадцати часов утра. Тетушка сидела на веранде на своем обычном месте перед распахнутым окном, откуда хорошо просматривался двор. Недалеким местом это называлось «капитанским мостиком».

Отсюда она не только наблюдала за жизнью двора, но и нередко вмешивалась в нее, иногда полностью меняя ход тех или иных коммунальных баталий. Чика всегда поражало то мгновение, та неуловимая неожиданность, когда тетушка из постороннего наблюдателя и миротворца превращалась в соучастника скандала.

Какое-то пустячное слово, какой-то пренебрежительный жест мог послужить детонатором ее взрывного характера. Но сегодня, слава богу, и во дворе все было тихо, и тетушка была особенно благодушно настроена.

Тетушка пила чай с пирожками и персиками и угощала Евгению Александровну, новую соседку по двору, которая недавно вместе с мужем и сыном Эриком переехала сюда жить.

Чик тоже пил чай, но в отличие от тети, нарезавшей в свой стакан весь сочащийся, исходящий соком персик, он съел его отдельно, а чай с пирожками пил отдельно. Чикуну казалось, что Евгения Александровна тоже хотела бы съесть свой персик отдельно, но тетушка сама нарезала ей в стакан персик, говоря, что чай с персиком это совершенно особый деликатес.

Вообще тетушка любила пить чай. Впрочем, кофе тоже. Но в чай в отличие от кофе она всегда что-нибудь клала. Если были лимоны, она пила чай с лимоном; если лимонов не было, пила с мандаринами, с яблоками, с клубникой или, как сейчас, с персиками.

Дядя Коля, сидевший в углу веранды за отдельным столиком, тоже, как и Чик, выпил свой чай с пирожками отдельно, а персик съел отдельно. Всем досталось по персику, но в вазе, стоявшей прямо перед Чиком, оставался еще один персик, и Чик был сильно озабочен его судьбой: кому он достанется?

Тетушка вроде про него и забыла, но взять самому было неудобно, потому что тетушка могла остановить

его попытку и, не стесняясь присутствия малознакомой женщины, пристыдить его.

Чтобы обратить внимание тетушки на этот неиспользованный персик, Чик несколько раз отгонял от него мух, а один раз даже раздраженную осу. Он ждал, что тетушка обратит на это внимание и в конце концов скажет: «Съешь, Чик, этот персик, чтобы не собирать здесь мух!»

Но тетушка, увлеченная разговором, не замечала Чика, и судьба последнего персика оставалась неясной.

Еще сильнее, чем судьбой персика, Чик был озабочен необходимостью выпросить у тетушки разрешение пойти на море. Этого ждал не только Чик, но, можно сказать, вся его команда. Если бы тетушка разрешила Чику идти, то и всем остальным родители разрешили бы.

\* \* \*

Чик вдруг вспомнил мальчика, которого несколько раз видел на море. Вот уж кто явно ни у кого не спрашивал, идти ему на море или не идти.

Первый раз он его встретил на «Динамке». Так называлась бывшая пристань, теперь переоборудованная для водного спорта. Здесь была сооружена вышка для прыжков в воду, расставлены дорожки для плавания — одна на пятьдесят метров, другая на двадцать пять. Кстати, именно здесь Чик убедился, что может пронырнуть в длину двадцать пять метров. Правда, такое расстояние он проныривал в прыжке со стартового причала, но все равно это было неплохо.

Так вот, этот мальчик, ростом не больше Чика, одинаково хорошо прыгал со всех трех ступеней вышки. Чику он нравился за бесшабашную удаль, с которой он прыгал с вышки.

Однажды Чик видел, как несколько взрослых ребят поспорили, прыгнет он или нет с самой высокой точки, а именно с крыши бильярдной, которой увенчивалась вышка.

Они предложили ему прыгать, но он сначала отказывался, говоря, что ему неохота взбираться на эту крышу. Тогда один из взрослых сказал, что он только делает вид, что не хочет прыгнуть, а на самом деле просто боится.

Мальчик сразу же разгадал эту хитрость.



— Смотрите, — обратился он к своим друзьям и, кивнув на этого взрослого, сказал: — Гнилой заход делает...

Взрослые посмеялись этому выражению, Чикуну оно тоже понравилось.

— А за рубль прыгнешь? — вдруг предложил один из взрослых.

— Конечно, — ответил он.

— Так давай, — сказал тот, что предлагал деньги.

— Ваш свет, — обратился он к взрослому. Взрослые снова рассмеялись.

На мальчишеском языке это означало: покажи свое право вступать в игру, то есть где твои деньги...

Тот, что предлагал прыгать за деньги, достал из кармана кошелёк и вынул оттуда новенький, хрустящий, словно проглаженный утюгом рубль.

Мальчик поднялся на третью ступень вышки, оттуда вскарабкался на крышу бильярдной по одному из четырех столбиков, подпиравших ее.

Глядеть, как он вскарабкивается на крышу бильярдной, было неприятно, потому что он мог сорваться и грохнуться на деревянный помост причала.

Сейчас Чикуну были неприятны и эти взрослые, заставившие мальчика заниматься таким опасным делом.

Но потом, когда мальчик благополучно вскарабкался на крышу и, бросившись оттуда вниз головой, прекрасно вошел в море, только чуть-чуть прилепнув воду слегка закинувшимися ногами, Чикун перестал сердиться на взрослых.

Через несколько минут мальчик вышел на помост причала мокрый, весело возбужденный, и Чикуну вдруг показалось, что взрослые обманут его и не отдадут рубль. Но тот, что обещал рубль, передал его ему, улыбкой показывая, что он ничуть не жалеет потерянных денег.

Мальчик, держа двумя пальцами деньги, чтобы не замочить, стал прыгать на одной ноге, вытряхивая из ушей воду и одновременно приговаривая:

— Гоните рубчик — еще прыгну!

Но взрослые посмеялись и, громко предполагая, что таким путем он их оставит совсем без денег, ушли в бильярдную.

Через несколько дней Чикун снова встретил его, но уже совсем в другом месте. Он его встретил в море, у развалин старой крепости. Там был большой обломок скалы, торчавший из моря в десяти метрах от берега.

Чик подплыл к нему и с большим трудом вскарабкался на него. Здесь он и увидел мальчика. Но сейчас у него был совсем другой вид. Посиневший от холода, он лежал на скале, плотно прижимаясь к ней и стараясь унять озноб, колотивший его.

Возле него в позе нетерпеливого ожидания стоял Керопчик. Про Керопчика можно было сказать, что он довольно известный хулиган. Рядом с Керопчиком стояло еще двое взрослых парней.

У всех троих тела были разрисованы наколками. Из разговоров между ними стало ясно, что мальчик ныряет возле скалы и достает для них мидии, которые они собираются продать на базаре.

Горка мидий килограммов в десять лежала на поверхности скалы. Керопчик время от времени напоминал мальчику, что ему пора прыгать со скалы и нырять за мидиями.

— Сейчас, дай согреться, — отвечал мальчик, не попадая зуб на зуб.

По его голосу Чик догадывался, до чего ему надоело нырять, и в то же время чувствовалось, что он в чем-то зависит от Керопчика и не смеет ему отказать. На «Динамке» он был веселый, вольный, он сам диктовал условия взрослым людям и даже шутил над ними. Здесь было совсем другое дело, и Чик стало его жалко.

— Давай я половлю? — предложил Чик.

— А ты сможешь? — спросил Керопчик.

— Я на «Динамке» дно достаю, — похвастался Чик.

— Ну, давай прыгай, — сказал Керопчик без особой веры в Чика.

Чик подошел к краю скалы, обращенному к морю, и приготовился прыгать.

— Справа будет острая свая — не порежься, — сильным голосом сказал мальчик, не отрывая подбородка от скалы.

— Хорошо, — сказал Чик и прыгнул в воду.

Вынырнув из воды, он подплыл вплотную к скале, набрал воздуха и нырнул. Чик считал себя неплохим ныряльщиком. Особых достижений у него не было, но все-таки он доставал дно на конце «Динамки» и мог в длину пронырнуть около двадцати пяти метров.

Нырнув, Чик увидел подводную часть скалы, поросшую морской травой. Трава эта в ритме движений волн колыхалась. Колыхнется — раздуется и снова опадает, колыхнется — раздуется и снова опадает.

Между колыхавшимися пучками травы мелькнули морской карась и маленькая рыбка-зеленуха. Чик показалось, а может, так оно и было на самом деле, что карась, стараясь остаться незамеченным Чиком и думая, что тот его не видит, колыхнулся вместе с пучком травы, за которой он прятался.

Чик знал, что морская трава крепко держится за поверхность скалы, и, ухватывая пучки этой травы и перебирая руками, стал погружаться в глубину. Таким нырянием он надеялся сохранить силы и подольше остаться под водой. Руками, хватающими пучки травы, он чувствовал острые края мелких мидий и уходил все глубже и глубже, надеясь добраться до крупных мидий.

В то же время он внимательно смотрел налево от себя, боясь неожиданно напороться на острую сваю. Но сваи не было видно. Трава внезапно кончилась, и Чик отпустил ее, не успев перевернуться, и его как-то само собой выбросила на поверхность выталкивающая сила моря.

Чик старался отдышаться, а Керопчик сверху глядел на него своими козлиными глазами. Он ничего не спросил, потому что и так было видно, что Чик плоховато нырнул.

— Что-нибудь достал? — спросил один из парней, сопровождавших Керопчика.

— Хоть вынырнул — и то хлеб, — сказал Керопчик.

Чик снова нырнул. На этот раз он решил, опять держась за траву, дойти до того места, где она кончается, но не бросать ее, а, еще держась за нее, перевернуться вниз головой и дальше нырять собственными силами.

Так он и сделал. Продолжая держаться за траву, он перевернулся и нырнул дальше. В полумгле он заметил несколько свай, торчащих в воде, и конец одной из них напоминал острый край свежеразбитого оконного стекла.

Не дай бог напороться, подумал Чик и, ухватившись за другую сваю, неприятно колющую руку мелкими мидиями, несколько раз перебрав руками, ушел по свае вглубь, в темноту.

Руками он чувствовал, что свая здесь обросла более крупными мидиями, и попробовал выдернуть одну. Но он даже не смог ее расшатать. Тогда Чик взялся за другую мидию, шатавшуюся, как зуб, и с отчаянием последних усилий дернул ее и, выдернув, едва, не задохнувшись, вырвался наверх. Это была большая мидия, величиной с мужской кулак.

Он вытащил руку с мидией над водой, и Керопчик сверху посмотрел на нее оценивающим взглядом.

— Хорошая, — сказал Керопчик поощрительно, — только сразу несколько вырывай.

«Легко говорить, — подумал Чик, — ты бы сам попробовал...» Он подплыл к сачку, на веревке свисавшему со скалы, и вбросил туда свой трофей.

После этого Чик, сколько ни нырял, доставал только очень маленькие мидии или совсем ничего не мог достать.

Откровенно говоря, Чик просто боялся напороться на один из обломков этих свай. Чик заметил, что там торчит еще одна свая с зубчатым, рваным краем.

Вообще Чик не любил нырять в незнакомом месте. Особенно в таком месте, где неожиданно перед носом может оказаться свая или какой-нибудь другой предмет с заостренным краем. В конце концов один из друзей Керопчика сказал ему, чтобы он подымался наверх, и Чик вцепился в веревку, к концу которой был привязан сачок с его мидией, правда большой, но слишком одинокой. Другие мелкие мидии, которые он доставал, Керопчик браковал, и Чик их отбрасывал.

Друг Керопчика втащил Чика наверх, и по тому, как тот его тащил, Чик почувствовал, что неудача сделала его тяжелее, чем он есть. Единственным, правда, слабым утешением Чика было то, что он и в самом деле достал очень крупную мидию.

Мальчик все еще лежал на скале. Теперь Чик с еще большей очевидностью почувствовал превосходство его во всем, что можно было сделать в море. Превосходство было настолько полным, что Чик не завидовал ему, а просто восхищался им и жалел, что Керопчик имеет над ним какую-то власть. Немного согревшись, Чик прыгнул в сторону берега и поплыл к нему.

\* \* \*

Конечно, в другое время Чик мог решиться увести свою команду на море и без всякого разрешения, но не сейчас.

Дело в том, что два дня тому назад Чик был застигнут в школьном саду сторожем школы, и хотя Чику удалось удрать, но проклятый старик Габунья, то есть сторож, пришел к ним домой и пожаловался на Чика. Хорошая репутация Чика этим обстоятельством была сильно

подорвана. Считалось, что Чик на такие вещи не способен, считалось, что только его старший брат способен на такие вещи.

Поэтому, понимая, что сейчас шансы на разрешение слишком малы, Чик и не осмеливался просить. Он ждал удобного случая, ждал такого мгновения, когда тетушка так увлечется своим рассказом, что может разрешить Чик-у что угодно, только бы он ей не мешал.

Сейчас тетушка довольно увлеченно (но Чик затруднялся определить, достаточно ли увлеченно для его просьбы) рассказывала о своей знаменитой встрече с принцем Ольденбургским, который когда-то до революции жил в Гаграх и был там самым главным человеком.

В одном из поместий принца работал садовником один из родственников тетушки. И там тетушка встрети-лась с принцем, который приехал со своей свитой осмот-реть сад.

В этом рассказе было одно противоречие, которое сильно смущало Чика и даже раздражало его иногда. По одним рассказам тетушки она была тогда совсем ма-ленькая девочка, а по другим получалось, что она была уже довольно взрослой девушкой и принц залюбовался ее красотой. Сейчас тетушка излагала именно второй ва-риант. Она сказала, что принц залюбовался ее красотой и хотел привлечь ее ко двору. Она так и сказала: «при-влечь ко двору».

Услышав такое, Чик украдкой взглянул во двор из-за тетушкиной спины. Ника, сидя на виноградной лозе, читала книгу. Рядом с ней сидела Сонька и гладила Бел-ку, очищая ее шерсть от всякой нацепившейся на нее дряни. Ухаживая за Белкой, она как бы заменяла Чика.

Оник сидел рядом с ней с выражением унылой за-думчивости на лице. Поймав взглядом взгляд Чика, он кивнул ему головой, словно спрашивая: «Ну как там? Долго еще мне здесь сидеть с выражением унылой за-думчивости на лице?» Чик в ответ пожал плечами, по-казывая, что он старается, но ничего определенного по-ка сказать не может. Белка по выражению лица Оника поняла, что он смотрит на Чика, и сама, повернув голо-ву, посмотрела наверх, где Чик, сидя на тахте, выгляды-вал в окно из-за тетушкиной спины. Белка несколько раз махнула хвостом, показывая, что она видит Чика и радуется этому.

Сонька тоже поняла, что Чик смотрит в их сторону,

и, взглянув наверх, просияла. Лицо ее засветилось уверенностью, что Чик добьется своего.

В это время вошла во двор ее мать, возвращавшаяся с базара. Как всегда, она старалась понезаметней проشمыгнуть в свою комнату. Но тетушка заметила ее.

— Ну как базаровала? — громко спросила она у тети Фаины, и та, вздрогнув, остановилась.

— Они сошли с ума хуже вашего брата, — отвечала тетя Фаина, продолжая держать на весу корзинку, — скоро картошка таки будет дороже золота.

Тетушка кивнула ей головой в знак того, что любопытство ее исчерпано, и та, повернувшись, пошла дальше.

— Вот женщина, — сказала тетушка, закуривая папиросу, — всю жизнь жалуется и всю жизнь полные корзины с базара тащит... Да... На чем я остановилась?

— Вы сказали, что принц Ольденбургский был очень богатый человек, — напомнила Евгения Александровна.

— Он был миллиардер, — уверенно сказала тетушка и, пыхнув дымом, прихлебнула чай. — В Гаграх ему принадлежали все дворцы и вся земля...

Все это Чик тысячу раз слышал.

— Вся земля и ее недра? — спросил Чик.

— Какие недра? — растерялась тетушка.

— Ну, недра, — пояснил Чик, — сейчас земля и ее недра принадлежат народу, а раньше они принадлежали царю, помещикам и фабрикантам.

— Отстань, Чик, — сказала тетушка, — не вмешивайся, когда взрослые разговаривают... Разумеется, недра тоже ему принадлежали... В тот день он посадил меня в свою машину и катал по всему городу. Это было бесподобно... Все умирали от зависти...

Чик погружился в свои размышления. Его всегда удивляла и радовала уверенность Соньки, что Чик все может. Бывало, Чику страшновато подраться или что-нибудь там сделать, но Сонька тут как тут со своей уверенностью, что Чику ничего не страшно, и это как-то взбадривало, окрыляло его.

Так, совсем недавно, когда вдруг исчезла Белка и ее не было целый день и целую ночь и Чик был в страшном отчаянье, что ее поймал собаколов, именно Сонька сумела убедить его, что Белка жива и ее надо только хорошенько поискать.

Чик ей поверил и немного успокоился. В самом деле собаколов со своей колымагой уже давно не появлялся

на их улице. А Белка сама далеко от дома никогда не уходила.

Чик вместе со своими друзьями прочесал все дворы своего квартала, спрашивал, не видел ли кто Белку. Но Белку никто не видел. И что же? Совсем рядом с домом во дворе грузинской школы Чик услышал завывание собаки. Он перескочил через забор и, остановившись посреди школьного двора, снова стал прислушиваться. Через некоторое время он услышал тихий скулеж, доносившийся, как показалось Чик, со стороны школьного дровяного склада.

Чик подбежал к самому сараю, на ходу крича: «Белочка! Белочка!» Из сарая донесся до него такой радостный визг, что у Чика горло перехватило.

Так вот оно что! Оказывается, проклятый школьный сторож, живущий рядом с Чиком и стороживший школьный сад и самую школу, словно ее кто-то мог унести, оказывается, этот старик Габуня запер в сарае бедную Белочку!

Вообще-то Чик подозревал Габуня, но никак не думал, что тот пустится на такую подлость! И все из-за одного цыпленка! Правда, Белка его слегка придушила, пока Чик успел вырвать его из пасти собаки. Правда, цыпленок потом сдох... Но ведь Белка схватила этого цыпленка в нашем дворе, думал Чик, ведь Габуня сам виноват, что разрешил своим цыплятам разгуливать по чужим дворам.

— Белочка, — крикнул Чик, — подожди, я тебя выручу!

Но как ее выручишь? Чик обошел весь сарай, но там не было ни одной щели, достаточно большой, чтобы просунуть руку, а не то чтобы самому пролезть. Может, сделать подкоп, подумал тогда Чик, но это было слишком рискованно: старик Габуня мог поймать его до того, как он прорвет проход.

Как это ни странно, самым слабым местом оказался огромный замок, висевший на дверях сарая. Кстати, летом обычно сарай бывал открыт, а теперь вдруг замок... Чик подергал его и заметил, что крюк с петлей, вбитый в дверной косяк, оказался расшатанным. Чик подергал замок минут десять-пятнадцать, крюк вылез из косяка, и дверь со ржавым скрипом отворилась...

Чик бросился к углу сарая, откуда навстречу ему, гремя цепью, которой она была привязана, рвалась Белка. Она подняла ужасный визг, совершенно не понимая,

что старик Габуния может их услышать. Он жил рядом со школьным двором, и Белка об этом прекрасно знала, но она так обрадовалась Чик, что обо всем забыла.

Она лизала Чика в лицо, она прыгала ему на грудь, она хватала его за штаны! Своим лаем и визгом она плакала, смеялась, жаловалась на старика Габуния и даже ухитрилась укорить Чика за то, что он так долго не выручал ее!

Проклятый живодер, подумал Чик, не находя рядом с собакой не только миски с едой, но и вообще какой-нибудь посуды, из которой Белочка могла бы похлебать воды. Было ясно, что старик Габуния решил уморить ее здесь голодом и жаждой.

Но больше всего Чик поразился, увидев возле стены сарая, где была привязана Белка, довольно большую яму. Оказывается, Белка пыталась сделать подкоп и вырваться наружу! Ну где в мире можно отыскать такую смелую и сообразительную собаку!

Чик спустился в яму, чтобы удобней было отвязывать Белку, потому что она своими радостными прыжками и непрерывным трепыханием никак не давала ему снять с ее шеи эту проклятую гремучую цепь. И только он снял эту цепь и еще стоял в яме, которая приходилась ему по бедра, как в дверях появился старик Габуния.

— А-а-а, сукин сын, — сказал он по-мингрельски, что Чик, все равно было неприятно, как если бы он сказал это по-русски. Некоторое время удивленно глядя на Чика, он добавил по-русски: — Посмотрим, как ты отсюда выйдешь... — Он продолжал стоять в дверях, продолжая удивляться, как понял Чик, тому, что он, Чик, почти по пояс в земле. И вдруг Чика осенило.

— Как вошел, так и выйду, — ответил Чик и еще ниже пригнулся в своей яме.

— А-а-а, сукин сын, — повторил сторож по-мингрельски, но Чик, разумеется, опять его понял. В следующее мгновение сторож ударил себя по лбу и сказал по-русски: — В земле дырка делал, да?!

Чик еще ниже нагнулся, словно стараясь влезть в этот несуществующий проход. В этот миг сторож Габуния, тяжело стуча ногами, побежал вдоль сарая, чтобы поймать Чика, когда он будет вылезать с той стороны.

Чик вместе с Белкой ринулись к дверям и побежали



через школьный двор, уже издали осыпавшие безопасными проклятиями старика Габуня.

Чик побежал к себе во двор и вместе с Белкой поднялся к тетке на второй этаж и там притаился.

Конечно, старик Габуня пришел во двор, подняв дикий скандал, предъявляя вздорное требование уплатить курицей за цыпленка, задушенного несколько месяцев назад. Но тут тетушка со своего «капитанского мостика» пустила в Габуня такую пулеметную очередь, что тот вынужден был замолкнуть и обратиться со двора.

Чик знал за тетушкой немало недостатков, но она любила животных и жалела их, и Чик многое прощал ей за это.

Чик снова выглянул во двор. Ребята сидели в тех же позах на виноградной лозе, и только у Оника вид был еще более унылый, чем раньше. Чик заметил, что тетя Тамара вышла из своей кухонной пристройки с ведром и украдкой поглядывает вверх на тетушку Чика. Чик сразу понял, что она хочет взять из бочки дождевой воды, но пытается это сделать незаметно для тетушки.

Бочка принадлежала тетушке, и она обычно давала дождевой воды соседкам, но иногда, когда слишком долго не было дождей или она была не в настроении, та или иная соседка лишалась возможности пользоваться дождевой водой.

Во времена детства Чика почему-то все женщины считали своим долгом мыть голову дождевой водой. Позже этот обычай вымер, из чего, разумеется, не следует, что женщины перестали мыть голову. Но они упростили этот высокий ритуал и стали пользоваться обыкновенной водопроводной водой.

Так вот, Чик заметил, что тетя Тамара поглядывает наверх, стараясь поймать мгновение, когда тетушка покинет «капитанский мостик», чтобы незаметно черпнуть ведром из бочки.

Но тетушка была занята новой соседкой и потому, не отвлекаясь на другие дела, продолжала сидеть на месте. Кстати, одна из особенностей тетушки заключалась в том, что она сейчас всеми силами старалась угодить Евгении Александровне. Эта женщина была новым членом во дворе, и тетушке было ужасно приятно угощать ее чаем, фруктами, кофе и оказывать ей массу всяких незаслуженных услуг.

Чик знал, что месяца через два эта женщина ей смертельно надоест, кончится ласковая близость тетушки, и

она отстранит ее от себя, еще дай бог, без словесного кровопролития.

И эта женщина, как и все другие, привыкнув к дармовым угощениям и ко всем удобствам дружбы с тетушкой, будет потрясена неприятной резкостью ничем не заслуженного охлаждения.

Хорошо еще, если тетушка мирно охладевала к своей очередной подруге. Чаще всего дело кончалось грандиозным скандалом, после чего женщина, с которой тетушка дружила, изгонялась из ее дома и они несколько месяцев не разговаривали.

Позже, если у тетушки под рукой не оказывалось достаточно интересной собеседницы, а точнее сказать, слушательницы, а еще точнее, зрительницы, она первая делала шаг примирения с отброшенной подругой. И та сперва робко начинала сходить с тетушкой, но потом тетушка, объяснив их разрыв клеветой предыдущей приятельницы («я, дуручка, всему поверила»), окончательно успокаивала ее и осыпала ничем не заслуженными, как и предыдущее изгнание, милостями.

Чик никогда в жизни не видел человека такого доброго и такого несправедливого одновременно — все зависело от настроения.

Чик снова выглянул во двор и снова увидел тетю Тамару, поглядывающую наверх в ожидании, когда тетушка покинет свой пост.

Попытка тети Тамары похитить дождевую воду напомнила Чикю о том, что он сам ждет сильной грозы, чтобы, в конце концов, этот теннисный мяч, все еще торчащий в желобе, проходящем вдоль крыши соседнего дома, выкатился по водосточной трубе и бултыхнулся в воду.

Чик посмотрел на теннисный мяч, застрявший в желобе, потом случайно взгляд его упал на чердачное окошко, и он увидел в чердачном окне этой крыши тетушкину кошку Ананаци.

— Тё, смотри, где Ананаци, — сказал Чик.

— Ананаци, как ты туда попала? — спросила тетушка, хотя ничего особенного в этом не было. Но сейчас ей хотелось показать Евгении Александровне, что у нее очень воспитанные кошки.

У тетушки было две кошки, звали их Ананаци и Апапаци. Чик знал, что имена кошек не существуют ни на одном из многочисленных языков, которые знает тетушка. Имена эти придумала сама тетушка, они каким-то

образом передавали ее нежное отношение к своим кошкам и еще то, что они, эти кошки, родственницы, то есть Ананаци мать Апапаци.

— Иди ко мне, моя золотая, иди ко мне, моя дорогая, — нараспев повторяла тетушка, но Ананаци, сидя на чердачном окне соседней крыши, смотрела на них спокойными неузнающими глазами.

Тогда тетушка взяла с тарелки один пирожок и, громко зовя обеих кошек, вышла из галереи на открытую лестничную площадку.

— Ананаци, Апапаци, — звала тетушка на весь двор, но раньше, чем кошки, на призыв ее отозвалась Белка. Она вырвалась из рук Соньки и побежала наверх.

— Нет, Белочка, — громко сказала тетушка, — ты свою долю уже получила, а я хочу накормить моих дорогих кошечек. Ананаци! Апапаци! — громко звала тетушка, но Ананаци, которая сидела у открытого чердачного окна, даже не шевельнулась.

Только кошки бывают такими, подумал Чик. Собака никогда так не сделает. Собака или прибежит на зов хозяина, или, если не прибежит, всем своим видом покажет, что она обижена на хозяина или боится его. Но вот так вот прямо смотреть в глаза хозяину и совершенно никак не выдавать своего отношения к нему умеют только кошки.

В конце концов Апапаци откуда-то прибежала, а тетушке надоело звать Ананаци.

— Ешь вместе с Белочкой, если эта дура по чужим чердакам шатается, — сказала тетушка и, как понял Чик, разделила пирожок между кошкой и собакой. Это понял не только Чик, но и Ананаци. Поняв, что ее больше не зовут, а пирожок разделен, она громко и жалобно замыкала.

В это время тетушка возвращалась на свое место, а тетя Тамара, пользуясь тем, что двор исчез из кругозора тетушки, быстро подошла к бочке и, сунув туда ведро, наполнила его водой и ринулась назад. Но в это время мяукнула Ананаци, и тетушка на полпути назад открыла одно из окон галереи и стала громко укорять Ананаци за то, что та, когда ее просили, не пришла, а теперь жалобно мяукает.

Одновременно с этим она проследила за тетей Тамарой, которая с ведром дождевой воды ушла к себе, думая, что ее никто не видит. Продолжая укорять Ананаци, тетушка сказала несколько слов о некоторых, кому

слаще украсть, чем попросить у хозяйки, которая, если с ней обращаться по-хорошему, готова поделиться последней рубашкой, а не то чтобы ведром дождевой воды.

Несколько мгновений тетушка ждала, но тетя Тамара ей ничего не ответила, и тень возможного скандала, легшая на двор, потихоньку рассеялась.

— Ну и сиди там, дурочка, — сказала тетушка, обращаясь к Анапаци.

Тетушка подошла к столу, но, увидев, что чай уже допит, вдруг сказала:

— А знаете что? Я угощу вас настоящим турецким кофе.

— Ну что вы, — отвечала Евгения Александровна, — мы с вами так славно почаевничали...

— А теперь покофейничаем, — уверенно сказала тетушка, — тем более вы у себя в России понятия не имеете, что такое настоящий турецкий кофе.

Тетушка опять вошла в кухню, где у нее стояли примуса и керосинки. Возможность заново приступить к угощению вдохновляла ее. Она даже запела свой любимый романс:

И в тот час упительной встречи  
Только месяц в окошко глядел...

Чик почему-то страшно нравилась эта песня в исполнении тетушки. В сущности, никакого другого исполнения он не знал, но в тетушкином исполнении эта песня казалась ему очень красивой.

— Пойду посмотрю, как готовится кофе по-турецки, — сказала Евгения Александровна и улыбнулась Чик, словно извиняясь, что тетушка вокруг нее столько хлопочет, встала и ушла к тетке.

Чик заранее жалел ее за ее будущее разочарование, но помочь ей ничем не мог, да и охоты не было. Ему во что бы то ни стало надо было вырваться к морю, а он до сих пор ничего не придумал, чтобы получить разрешение у тетушки.

\* \* \*

Чик одного никак не мог понять, как это люди, живущие у моря, не любят ходить на море. А таких было очень много. Тетушка тоже была такой.

По своей воле Чик ни одного бы дня не пропустил,

чтобы не выкупаться в море. Он любил море в любую погоду.

И смешно сказать, но каждый раз, когда он ходил на море, перед самой встречей с морем у него возникало страшное волнение, которое он ничем не мог объяснить. Оно было похоже на страх, что вдруг море не окажется на месте, или какие-то силы помешают с ним встретиться, или вдруг милиция запретит купаться в море.

Однажды Чик купался в море, когда был шторм около трех баллов. В тот день вообще мало кто купался, и тем более Чик было лестно. Дожидаясь самой большой волны, Чик, умирая от страха, бесстрашно приближался к ней, стараясь поднырнуть под волну, пока выгнутый гребень ее с замедленной яростью не опрокидывался над ним, не успев подцепить Чика.

Со стороны посмотреть, кажется, что вот-вот человека раздавит многотонная масса воды, а на самом деле, если ты успел поднырнуть под гребень, волна перепрыгивает через тебя, как нерасчетливый хищник.

Но если ты успел поднырнуть под опасную волну, ты должен следить в оба, чтобы не оказаться под ударом следующей. На этом многие попадают.

Чик сам на этом однажды попался, но, слава богу, отделался наждачной царапиной на ноге. Прибойная волна со страшной силой взболтнула его, потом проволокла по песку и презрительно выбросила на берег. От обиды и перенесенного страха Чик тогда немного прослезился, но, к счастью, никто ничего не заметил, потому что он и так был весь мокрый. С тех пор Чик стал гораздо внимательней.

Но если ты отплыл от опасной зоны прибоя и катаешься на волнах, ты должен помнить, как надо выходить на берег. Дело в том, что некоторые малоопытные пловцы, возвращаясь на берег, вдруг начинают чувствовать, что сколько они ни гребут, а с места почти не сдвигаются. И они, не понимая, в чем дело, теряются, и иногда возможны несчастные случаи из-за этого.

Когда ты находишься по ту сторону линии прибоя, но достаточно близко от нее, на тебя действует течение откатной волны. Но внешне это течение незаметно, потому что проходит под водой.

И вот неопытный человек, находясь в нескольких метрах от линии прибоя, никак не может понять, почему он к ней никак не подплывет. И его тогда охватывает ди-

кий страх, он начинает бешено и бесполезно грести, быстро устает, и тогда все может случиться.

А надо, если не хватает сил перегрести встречное течение, отдаться волне, и она сама тебя вынесет. Но и отдаваясь волне, надо держаться у самого гребня и в то же время не давать себя втащить на гребень, чтобы не оказаться в опасном водовороте прибоя.

Чик даже удивлялся, почему на пляже не вывешивают такие плакаты или таблички, рассказывающие, как надо вести себя человеку, который решил купаться во время шторма. Ну, шторм, конечно, слишком громкое слово, но все-таки.

Чик готов был сам написать такую инструкцию, если бы у него кто-нибудь попросил бы это сделать. Но он понимал, что такой инструкции никогда не вывешают, потому что купаться, когда волнение больше двух баллов, вообще запрещено. А если человек не знает о запрете? А если человек, вроде Чика и некоторых других людей, и знает о запрете, а все равно лезет в воду?

Однажды Чик, придя на море, услышал, что в море на днях утонул человек. Несколько дней море штормило. Но Чик не придавал значения этому слуху, потому что мало ли что говорят. С детства он слышал про утонувших людей, но никогда не видел настоящего утопленника. Чик лежал на теплой гальке и отдыхал, когда услышал про это. Он поднял голову и увидел множество людей, сгрудившихся у края пляжа и глядевших в море, все время показывая на что-то.

Многие люди спешили присоединиться к толпе, а некоторые даже бежали к ней, подгоняемые странной смесью любопытства и ужаса, что с человеком может случиться такое, и тайной радостью, что это случилось с каким-то другим человеком, а не с тобой.

Чик это понимал, потому что его самого охватило именно такое любопытство. Он подбежал к толпе, но, сколько ни вглядывался в море, ничего не мог разобрать, и все время ему хотелось думать, что все это выдумки, что ничего такого не может быть.

А между тем толпа, обрастая все новыми и новыми людьми, двигалась вдоль моря и все время показывала на какую-то точку, которая тоже двигалась в воде.

Чик долго никак не мог разглядеть эту точку. И он все время спрашивал у одной женщины, стоящей рядом с ним, а та ему все время показывала на эту точку, ко-

торая время от времени всплывала в воде и снова исчезала.

Наконец Чик в самом деле уловил эту точку, это пятно, означающее человека, но никакого сходства с человеком не имеющее.

Когда Чик разглядел это слегка розовеющее пятно, ему стало удивительно, что он его до сих пор не замечал. И потом, когда один мужчина подошел к Чику и стал строго спрашивать, почему другие видят утопленника, а он не видит, Чик сам стал ему показывать на это пятно, то исчезающее в мутной воде, то снова на мгновение появляющееся. И этот человек тоже долго не мог поймать глазами это пятно, потому что мгновенья, когда Чик показывал на пятно, хватало, чтобы оно исчезало под водой.

Оно, это страшное и таинственное пятно, приближалось к берегу наискосок, потому что так работало течение.

Вдруг появились на берегу два спасателя. Один из них — молодой, тонкий парень лет восемнадцати, другой — мужчина лет тридцати, геркулесовского сложения. Они подтащили к самой кромке прибоя лодку, дождались мгновения, когда к берегу шла самая маленькая волна, и потащили лодку прямо в пену прибоя. Геркулес вскочил в лодку и схватился за весла, а юный все толкал ее и, выскочив за линию прибоя, вскарабкался в лодку, и они поплыли прямо к этому пятну.

Когда они близко к нему подплыли, тот, что был помоложе, вынул со дна лодки веревку с петлей. То проваливаясь в ямину, то подымаясь на гребне волны, они несколько раз осторожно подходили к этому таинственному пятну, но словно не решались слишком близко к нему подойти. С берега казалось, что они боятся повредить утопленника, наехав на него лодкой. И это было странно. В конце концов спасатель, тот, что был помоложе, накинул на тело петлю, и, видно, удачно, потому что старший стал грести к берегу и веревка натянулась.

Они опять проскочили линию прибоя, и было видно мгновенье, когда лодка почти висела в воздухе, держась на воде только кормой, и весла беспомощно трепетнули в воздухе, а потом младший, не бросая веревку, выскочил из лодки, вслед за ним выскочил старший, и оба по пояс в белой пене прибоя тащили свой груз: младший тянул веревку, а старший — лодку.

И уже на берегу младший продолжал тянуть и тя-

нуть веревку, а потом, обернувшись к какому-то парню в толпе, сказал:

— Помогай, чего стоишь?

И парень молча взялся за веревку, и Чик почувствовал, что это не случайный человек, и угадал в толпе прошелестевшие слова: «Его товарищ...» Чик с ужасом следил вместе с толпой, как тело человека, на мгновение скрывшись в буруне прибоя, было выволочено на берег и лежало сейчас в нескольких метрах от Чика.

То, что Чик увидел, потрясло его, как ничто в жизни не потрясало. Чик видел труп примерно двадцатилетнего юноши в красных трусиках с какими-то синими пятнами на теле и с побелевшими пальцами ладоней, изъеденными и размытыми морской волной. Такие изъеденные водой ладони бывают у женщин после долгих стирок, вспомнил Чик.

Но у женщин это почему-то не бывало страшно, а здесь было страшно. Было страшно все тело, местами изъеденное морской водой.

Чика пронзила мысль, хотя он этого до конца не осознавал, его пронзила мысль о незащитности человека, его слишком большой телесной хрупкости.

Чик помнил, что в деревнях и в городе ему приходилось видеть мертвых животных, и эти животные гораздо дольше сохраняли сходство со своим живым обликом.

А здесь Чик видел почти разложившийся труп, который пробыл в воде всего, может, двое, может, трое суток.

И Чик ощутил тогда, хотя и не осознавал этого, но ощутил именно тогда очень важную для себя мысль.

Он подумал тогда: «Не может быть, чтобы человеческая жизнь вся умещалась в размеры этой жизни, случайно оборванной штормовым морем. Это было бы слишком жестоко и бессмысленно». Именно тогда, до конца не осознавая эту мысль, но с огромным тайным упорством Чик решил, что человеческая жизнь — это обязательно что-то большее, чем существование в пределах случайной или неслучайной смерти.

— Вот видите! — грубо крикнул молодой спасатель, глядя на толпу и показывая на труп. — Вот что с вами будет, если во время шторма вздумаете купаться...

Потом пришел милиционер, пришла машина «Скорой помощи», толпа стала редеть, и Чик тоже ушел. Он ушел, стыдясь своих суетных вопросов, которые он задавал в толпе еще до того, как увидел труп. Он все хотел узнать, как именно погиб этот парень, но никто тол-



ком ничего не знал, да и дело, как понимал теперь Чик, было не в этом.

Он почувствовал, что море, которое он так любил, может быть жестоким и равнодушным, но все равно он его любил, как любят жизнь, зная, что она может быть и равнодушной и жестокой, и все-таки упрямо ожидая от нее чуда счастья.

\* \* \*

После того как Евгения Александровна ушла к тетушке на кухню, Чик и дядя Коля остались, можно сказать, один на один. Как только они остались вдвоем, дядюшка сразу же уставился на Чика, чтобы выяснить, собирается его Чик дразнить или не собирается.

Именно вот этим вопросительным выражением лица, пытающимся определить, собирается Чик дразнить его или нет, дядюшка каким-то образом настраивал Чика поддразнить его даже тогда, когда сам Чик не думал об этом.

Чик сейчас было не до дядюшки. Ведь он все еще никак не мог найти подходящий случай, чтобы попросить у тетушки разрешения идти на море. Должен же он наконец угадать такое ее настроение, когда она все на свете разрешает, лишь бы ее в эти минуты не беспокоили.

Сейчас Чик раскаивался, что не попросил у нее разрешения, когда она рассказывала о встрече с принцем Ольденбургским. Он боялся раньше времени рисковать, зная по опыту, что после принца она обязательно прихватит рассказ о персидском консуле, за которого она вышла замуж, потому что тот ей не давал проходу. Так она ему нравилась.

Это был гораздо более увлекательный рассказ, потому что тетушка на все подарки и знаки внимания отвечала персидскому консулу: «Нет!» В конце концов она ему сказала, что он рыжий, а ей не нравятся рыжие мужчины. И тогда персидский консул признался ей, что он на самом деле брюнет, а волосы и бородку красит в рыжий цвет, потому что в Персии очень редко встречаются рыжие и поэтому в персидских краях рыжий цвет высоко ценится.

И в самом деле вскоре персидский консул волосами на голове и бородкой почернел как ворон, и тетушка стала относиться к нему гораздо нежнее.

Но, оказывается, с персидского консула день и ночь

не сводили глаз люди из ЧК. И они были сильно взволнованы тем, что рыжий персидский консул вдруг почернел. Они никак не могли понять, с какой целью он стал черным. Они предполагали, что он выполняет задание английской разведки, но почему он из рыжего стал черным, они никак не могли понять.

И тогда они вызвали тетушку и очень вежливо с ней говорили, прося дать разъяснения по этому вопросу. Тетушка сказала им то, что она знала. Она сказала им, что он сватается к ней, а она, как девушка, не выносящая рыжих мужчин, призналась ему в этом. В ответ на ее честное признание он признался, что до сих пор красил волосы, но если ей не нравятся рыжие мужчины, то он с удовольствием перестанет их красить.

Тогда человек из ЧК, который с ней говорил, сказал, что он удивляется ее наивности и если она действительно уверена, что естественный цвет волос у консула черный, так пусть она им принесет несколько волосинок для анализа. Она это сделает, сказал ей человек из ЧК, если она, конечно, патриотка.

Тетушка очень удивилась такому предложению, но потом решила, что тут нету ничего страшного, потому что вертела персидским консулом как хотела.

Во время одной из встреч с персидским консулом она сказала ему, что хочет попробовать сделать ему более модную прическу. Персидский консул не только согласился, он был вне себя от радости. Тетушка вынула свой гребень из собственных волос и как бы шутя стала перчесывать персидского консула. Почувствовав руки тетушки у себя на голове, персидский консул был вне себя от блаженства. Он даже слегка заснул, пока тетушка вычесывала из его головы нужные для химического анализа волосинки.

Вычесанные из головы персидского консула волосы она отнесла в ЧК, и оттуда через некоторое время ей сообщили, что химический анализ волос доказал, что они действительно крашены.

Тут тетушка сильно рассердилась на персидского консула и сказала ему, что он обманщик, что он и в самом деле рыжий человек, а только переокрасил свои волосы в черный цвет, чтобы угодить английской разведке и загубить ее цветущую молодость.

И тогда персидский консул пал на колени и заплакал, говоря, что волосы у него действительно крашены в черный цвет, но в действительности они никогда не бы-

ли рыжими, а были черными, но он посидел согласно возрасту и не хотел перед ней, такой молодой, показаться старым.

Тут тетушка обрадовалась, говоря, что ей седые мужчины нравятся, подняла его с колен и вышла за него за муж, и вскоре они уехали в Персию.

Чик рассчитывал именно во время этого рассказа прервать тетку и попросить ее отпустить его на море, но он не знал, что тетушка его вздумает делать кофе по-турецки и скорее всего сейчас там, в кухне, рассказывает эту историю. Чик вздохнул и снова вспомнил о море.

\* \* \*

В тот день Чик был на море с дядюшкой. Дядюшка сидел на конце причала и ловил рыбу своей безопасной для рыб, лишенной крючка, удочкой. Разве что найдется глупая рыба, что тянет свинцовое грузило и проглотит его. Чик знал, наблюдая за дядюшкиными опытами, что настолько глупых рыб в Черном море не водится.

Метрах в пятидесяти от берега какой-то человек ловил рыбу с лодки. Чик довольно близко подплыл к этой лодке и следил, как этот человек ловит рыбу.

Чик знал этого человека немного, но тот его навряд ли знал. Этот человек жил рядом со спортплощадкой и вечно скандалил со спортсменами, когда к нему во двор залетал мяч. Он боялся, что мяч разобьет одно из окон его дома, но на памяти Чика ни разу окно не было разбито, а этот жилец приходил в необыкновенную ярость, если мяч падал близко от его дома.

Сейчас он ловил рыбу на закидушку. Одну снасть он держал в руке, а две другие, намотанные на бамбуковые прутики, свисали за бортом. Сами бамбуковые прутики были воткнуты в борт лодки. Если рыба начинала клевать, бамбуковые прутики слегка прогибались, и рыбак брался за шнуры, привязанные к бамбуковому пруту.

Два раза при Чике рыбак снял рыбу со своей закидушки и с той, которая была привязана к бамбуковому пруту. Первый раз это была розовая барабулька, во второй раз великолепный серебряный ласкирь величиной с мужскую ладонь. Без особых и даже без всяких признаков радости рыбак оба раза снял рыбу с крючка, бросил ее на дно лодки и снова наживил крючки.

Чик следил за ним метрах в десяти от лодки, чтобы

не мешать ему рыбачить и в то же время все видеть самому.

Рыбак это время от времени смотрел в сторону берега, словно ждал кого-то, с кем договорился рыбачить, а тот все не приходил.

Потом Чик догадался, что рыбак этот следит за его дядюшкой.

— Хочешь заработать миллион? — вдруг спросил он у Чика.

Чик улыбнулся из воды, показывая, что он понимает, что человек шутит.

— Серьезно говорю, — без всякой шутки отвечал ему рыбак и, наживив крючки на закидушки, бросил за борт снасти, — если только ответишь на один вопрос.

Он сделал движение, как будто отсчитывая Чику бесконечные деньги.

— Какой вопрос? — заинтересовался Чик и как бы на правах заинтересованного человека подплыл к лодке. Чик ужасно хотелось попроситься в лодку порыбачить.

— И что делает этот человек на причале? — кивнул рыбак, явно имея в виду дядю Чика. — Наживки не вижу, рыбы не вижу и крючки то же самое, — он загнул три пальца и посмотрел на Чика, как бы предлагая ему решить уравнение с тремя неизвестными.

— Это мой дядя, — сказал Чик, — он просто так развлекается.

— Как — просто так? — удивился рыбак. — Он что, малахольный?

— Немножко, — сказал Чик.

— Тогда совсем другое дело, — сказал рыбак и, пальцем поддев шнуры на обеих закидушках, намотанных на бамбуковые прутья, попробовал, нет ли клева. — Почему сразу не сказал... Я думал, шпион какой-то...

«Когда, интересно, я мог ему сразу сказать?» — подумал Чик.

— Дядя, — сказал Чик, — можно мне с вами порыбачить?

Человек посмотрел на Чика, стараясь, как показалось Чик, найти в его облике черты опасной родственности с дядей.

— А залезть можешь? — спросил рыбак.

— Смогу, — сказал Чик и осторожно подплыл к корме.

Чик ухватился за корму и, изо всех сил выпрыгнув из воды, сумел перевесить себя в лодку и вползти в нее.

Хозяин лодки снял с бамбукового прутика одну из закидушек и передал Чику. У него были густые черные усы и то горделивое выражение лица, какое бывает у очень глухих людей восточного происхождения.

— Если будет клевать, сразу не дергай, — сказал он Чику с таким видом, словно Чик только что дал слово сразу дернуть за шнур при первой же поклевке... — Сразу не дергай, — снова повторил он ворчливо и вдруг добавил: — А дядя твой кушает нормально?

— Да, нормально, — ответил Чик, — только у него аппетит больше, чем у нас.

— Ты смотри, — удивился рыбак, — значит, все кушает, что мы кушаем?

— Да, — сказал Чик, — все...

Чик давно заметил, что глуповатые люди довольно подробно с большим удовольствием интересуются жизнью дяди. По наблюдениям Чика, им приятно убедиться лишний раз в достаточно значительном расстоянии между умом дяди и их собственным умом.

— Я, например, — сказал хозяин лодки, — когда кушаю дынь, чихаю иногда до двадцати раз...

Чик косвенно польстил ему, сказав, что дядя с удовольствием ест арбузы и дыни и при этом никогда не чихает.

Хозяин лодки спрашивал подробности о жизни дяди. Чик ему отвечал, не переставая прислушиваться к своей лёске. Сначала, когда он начал говорить с хозяином лодки, у него вроде несколько раз клюнуло, но он выдержал характер и не стал дергать шнур. Потом у Чика перестало клевать, а хозяин лодки все расспрашивал про дядю, а сам за это время вытащил одну колючку и одну барабульку. Чику стало обидно.

— У меня что-то совсем не клюет, — сказал Чик с обидой в голосе.

— У тебя, наверное, уже склевала, — сказал хозяин и, прислушавшись к собственному шнуру, подсек рыбу, — по-моему, барабулька будет...

В самом деле он вытащил барабульку, снял ее с крючка и, продолжая держать ее в руке, поднес к лицу.

— Минэ все интересуется, — сказал он, — вот я смотрю на рыбу и думаю: это рыба барабулька. Но минэ интересуется, что она думает, когда смотрит на минэ...

Он бросил барабульку на дно лодки, где та, потрепав, затихла. Чик вытащил свой шнур и в самом деле убедился, что крючки на обоих поводках пустые.

Чик никогда в жизни по-настоящему не рыбачил, но он постарался скрыть это от хозяина лодки.

Хозяин лодки наживлял ему крючки, и Чик жадно вглядывался, как тот берет в руки креветку и, начиная с хвоста, продевает ее всю в крючок, иногда отламывая головку, иногда оставляя.

Чик спросил у него, почему он так делает, хозяин ответил, что рыба боится креветок с длинными усами и поэтому таким креветкам он отламывает голову. Чик обратил внимание на то, что у хозяина лодки тоже были большие усы.

Чик закинул свой шнур, и, когда грузило легло на дно, он сразу почувствовал удар какой-то рыбы. Чик замер в ожидании нового удара. Через минуту он почувствовал сдвоенный удар и подсек какую-то рыбу. Чик стал вытаскивать шнур и, чувствуя пальцами тяжесть живой, упирающейся рыбы, испытал настоящее счастье.

— Главное — не давай слабину, — сказал хозяин, радуясь за Чика, и внезапно сам подсек рыбу и стал тянуть ее наверх.

Чик, наклонившись к воде, увидел, как в глубине проблеснула его рыба и блеск ее становился все ярче и ярче, а хозяин тоже поймал рыбу, и почти одновременно они вытащили свой улов. Чик держал большого, дрожащего и бьющегося в руке ласкиря, а хозяин, поймавший барабульку, показывал Чику, как надо действовать, когда рыба поймана.

Хозяин лодки вытащил изо рта рыбы крючок, причем сделал это так ловко, что наживка так и осталась на крючке. После этого он демонстративно бросил рыбу на дно и так же демонстративно бросил леску за борт.

Чик вытащил крючок изо рта своего ласкиря и, стараясь действовать в ритме, который продемонстрировал ему хозяин, бросил конец своей закидушки на дно лодки, а великолепного, бьющегося, большого, плоского, ласкиря бросил в море.

Рыба влетела в воду как бы с радостным вскриком: «Идиот!» Чик почувствовал невероятную горечь потери.

— Ты от своего дяди далеко не ушел, — сказал хозяин лодки, — ты разве не понял минз?

— У меня как-то нечаянно получилось, — сказал Чик чуть не плача.

— Ничего, — утешил его хозяин, — ~~бывает~~. Я, например, когда кушаю дынь, до двадцати раз могу чи-

хоть. Ни один дохтур, ни один профессор не может сказать, почему это получается. И в Тифлисе, и в Баку я спрашивал у профессоров, почему так получается. Никто ничего не может сказать. Не надо, говорят, кушать дынь, не будешь чихать. Это я и без профессоров знаю. Ты минэ скажи, почему чих получается и почему до двадцати раз иногда чихаю, а больше двадцати раз никогда не получается...

Чик никак не мог понять и даже решительно отказывался понимать, какое отношение имеет так глупо упущенный им ласкирь к чиханию хозяина лодки.

Через некоторое время хозяин, увидев чайку, севшую на воду недалеко от лодки, сказал:

— На воде сидит птичка под названием чайка. Это я думаю про нее, но что она про минэ думает, вот что минэ интересно...

Несмотря на странные разговоры хозяина лодки, рыбалка получилась прекрасная. Чик поймал три барабульки, двух ласкирей, шесть колючек и одну морскую иглу, серебристую длинную рыбу с клювом водоплавающей птицы.

Чик сделал себе небольшой кукан из кусочка лески и продел в нее всю свою добычу.

Хозяин подвез его к причалу и на прощанье сказал:

— Видишь во-он там гора?

Чик посмотрел, куда тот показывал, и увидел конусообразную вершину далекой-далекой горы.

— Минэ интересно, что есть за этой горой. Тысячи рублей не жалко, если кто-нибудь скажет, что есть за этой горой.

Пока Чик сходил с лодки и объяснял дяде, что пора сматывать удочки, возле лодки столпились отдыхающие и рассматривали улов хозяина лодки. Особенно удивлялись люди морской игле, а хозяин лодки охотно объяснял названия и повадки различных рыб.

Когда дядюшка сматывал удочки и они уходили с причала, Чик напоследок слышал голос хозяина лодки:

— Я, например, когда кушаю дынь, до двадцати раз чихаю... Минэ интересно...

\* \* \*

Кажется, переосторожничал, подумал Чик, возвращаясь к действительности. И так как дядюшка продолжал смотреть на него в ожидании подвоха, Чик маши-

нально скатал крошку хлеба и вяло махнул рукой, сделав вид, что кидает в него этот катыш.

Дядюшка мгновенно затвердел всем телом, уставился на Чика зелеными глазами и даже подался немного вперед, показывая готовность дать отпор любым проискам Чика.

И тут Чика осенило! Надо подразнить дядю, чтобы он начал бузить, как это бывало раньше, и тогда тетушка может отпустить его на море, попросив Чика пойти с ним как разумную, сопровождающую силу!

Чик набрал полные легкие воздухом и, напрягая лицо, как если бы надувал футбольный мяч, подул в сторону дядюшки. Между ними было около четырех метров, и навряд ли дуновение Чика достигало дяди Коли, но тот сразу же принял меры срочной санитарной обороны.

— Дурачок, — сказал дядюшка и быстро перевернул свою кружку, из которой он обычно пил чай, чтобы воздух, испорченный пребыванием внутри Чика, не коснулся этой священной посуды. Из тех же санитарных соображений после этого он ладонью прикрыл лицо, но так, чтобы и лицо было защищено, и он мог продолжать следить за Чиком.

Чик с новой силой набрал воздух в легкие и снова подул на дядю. Чик дул в него, как дуют в костер, чтобы он разгорелся. Сейчас Чик старательно раздувал в нем пламя безумия.

— Дурачок, с ума сошел! — крикнул дядя.

— Чик, что там еще?! — спросила тетушка с кухни, где она варила кофе и откуда Чика не было видно.

— Не знаю, — ответил Чик, продолжая глядеть на дядю, — он ко мне придирается. — Говоря это, Чик пожал плечами.

Дядюшка не столько понял его слова, сколько понял пожатие плеч как выражение полной неосведомленности Чика причиной дядюшкиного гнева. Чик знал, что это его еще больше разозлит.

— Дурачок, дразнит, дразнит! — закричал дядя, обернувшись в сторону кухни. Потом он быстро повернулся к Чику, чтобы не пропустить мгновенья, когда Чик снова будет его дразнить.

Чик услышал тетушкины шаги. По мягкому звуку шагов было понятно, что она несет полный джезвей кофе.



Чик, не спуская глаз с дядюшки, тяжело вдохнул и снова направил струю воздуха в сторону дяди. И теперь формально можно было считать, что Чик и сейчас и раньше только тяжело вздыхал, а не дразнил дядю. И дядя эту его новую уловку хорошо понял, и это вызвало новый прилив его гнева.

— В чем дело? — спросила тетушка и, продолжая держать в одной руке дымящийся, источающий аромат свежесваренного кофе джезвей, другой приподняла две кофейные чашечки, стоявшие на столике дяди, переставила их на общий стол и разлила в них кофе. Сначала понемногу в обе чашечки, чтобы каймак разделился поровну, а потом остальное. Струя кофе из джезвей выливалась замедленно и маслянисто, и было видно, что кофе очень густой. Чик не любил такой кофе, но смотреть на эту густую, маслянистую струю было приятно.

Разлив кофе, тетушка уселась на свое место, а Евгению Александровну усадила на ее. Гостья сидела спиной к дяде Коле, и это теперь приводило ее к некоторому беспокойству, хотя она из приличия старалась делать вид, что совершенно спокойна за свой затылок.

— Ну, в чем дело? — несколько раздраженно спросила тетушка, уловив во взгляде дядюшки ожидание справедливого наказания Чика. На этот раз она свой вопрос сопровождала нетерпеливым жестом руки, заранее признающим вздорными все его претензии. Жест ее дядюшке явно не понравился.

— Воздух кидает в Колю! — отвечал дядюшка гневно и потряс ладонью, повторяя тетушкин жест, на этот раз означающий, что вздорность претензий свойственна не ему, а скорее ей.

Тетушка посмотрела на Чика.

— Я только вдохнул, — сказал Чик, — а ему покачалось, что я дышу на него.

— Совсем спятил? — спросила тетушка и, чтобы он ее лучше понял, слегка посверлила указательным пальцем свой висок.

Тут тетушка допустила ошибку. Видно, она была слишком увлечена своей беседой с Евгенией Александровной и хотела побыстрее отделаться от этого маленького недоразумения. Кроме того, она хотела показать новому человеку, что она всегда контролирует положение и сумасшествие дяди скорее забавно, чем опасно.

Оскорбительность предположения, что он спятил, окончательно вывела дядюшку из себя. Он вскочил со

стула, подошел к столу, за которым сидела тетушка, и, низко наклонившись в ее сторону, спросил с гневным удивлением:

— Я спятил?!

Он спросил это отчасти как бы не веря своим ушам, тем более что он был глуховат.

— Да, ты, — спокойно ответила тетушка, положив горящую папиросу в пепельницу и прихлебывая кофе. Всем своим поведением она показывала Евгении Александровне, что ей незачем волноваться, что все это сущие пустяки. Евгения Александровна слегка побледнела, когда дядюшка вскочил с места и подошел к их столу.

— Это ты спятила!!! — крикнул дядюшка и погрозил тетушке пальцем. На Чика он взглянул с еще большим укором и, погрозив ему пальцем, добавил с не меньшей убежденностью: — Это он спятил!!!

Потом он посмотрел на Евгению Александровну с выражением гневного укора, но и с желанием разобраться, на чьей она стороне. Видимо, не определив этого, он отвернулся от нее, и по выражению его лица можно было понять, что он оставляет за собой право высказаться об этой малознакомой женщине несколько позже, когда прояснятся ее позиции.

Под взглядом дядюшки Евгения Александровна побледнела еще заметней.

— Кажется, он бузить начинает, — сказала тетушка, глубоко вздохнув и теперь входя в роль угнетенной женщины, вынужденной во цвете лет быть сиделкой при тяжело больном брате, — господи, за что такое наказание?!

— Как бы дверь не начал кромсать, — добавил Чик, вспоминая об одном из ближайших этапов нарастания дядюшкиного гнева. В самом деле, в таких случаях, если гнев его ничем не погасить, он начинал со страшной силой хлопать какой-нибудь из дверей, так что известка с потолка сыпалась на пол.

Дядюшка продолжал смотреть на тетю, ожидая от нее последней искры, не хватающей ему для сокрушительного взрыва. Когда Чик сказал про дверь, Евгения Александровна беспокойно забегала глазами. Тетушка ничего не ответила, а только скорбно вздохнула, поникнув головой.

— Сегодня жарко, — как бы объясняя дядюшкино состояние, напомнил Чик.

— Ах, да! — ожила тетушка и хлопнула себя по лбу. — Я же совсем забыла... Чик, я тебя очень прошу, сходи с ним на море...

— Хорошо, — сказал Чик, стараясь ничем не выдавать своей радости.

Дядюшка не меньше Чика любил море. Но без взрослых его отпускали только в очень жаркие дни с Чиком. В жаркие дни на него что-то находило или считалось, что может найти, а море действовало на него успокаивающе.

— Море, — сказала тетушка веско, словно щелкнула ножницами, перерезавшими тлеющий бикфордов шнур.

— Море?! — переспросил дядя, как бы не веря своим ушам. Теперь голос у него был почти дружеский.

— Да, море, — повторила тетушка, снова зажигая недокуренную папиросу и показывая Евгении Александровне, что заминка была совершенно случайной и она, тетушка, как всегда, полностью контролирует положение. — Можешь взять, — добавила тетушка, видя, что Чик снова принялся отгонять мух от персика.

Чик осторожно взял персик, надкусил его сочащуюся нежную плоть и, прежде чем оторваться от надкуса, всосал в рот излишки сока, чтобы он не пропал.

— Море, море, — радостно забормотал дядюшка и, уже так же радостно обращаясь к Евгении Александровне, стал объяснять ей поступок Чика, окрашивая его в юмористические тона.

— Мальчик фу, фу! — показывая, что Чик дул в его сторону, объяснял дядюшка, похихатывая над глупым чудачеством Чика. — Мальчик дурачок...

Дядюшка пошел в залу за своей удочкой, которая стояла возле его кровати.

— Так на чем я остановилась? — спросила тетушка, прихлебывая уже остывший кофе.

— Вы говорили, что к вам стал свататься персидский консул...

— Да, консул, — подтвердила тетушка, — он проходу не давал ни мне, ни моему отцу...

Через пять минут Чик спускался по лестнице вместе с дядей Колей, у которого за плечом торчала вполне оснащенная удочка, если не считать такой маленькой детали, что на конце лески не было крючка.

— Разрешила? — хором спросили ребята, видя Чика, спускающегося по лестнице вместе с дядей.

— Разрешила, — ответил Чик и добавил: — Только дядю надо будет напоить водой с сиропом...

Чик все-таки чувствовал некоторые угрызения совести за то, что он добился разрешения таким коварным способом.

— Конечно, — согласился Оник, понимая, что финансовое бремя, как обычно, ляжет на него.

— С двойным сиропом, — жестко добавил Чик.

— Конечно, — снова подтвердил Оник: Ведь недаром он был не кем-нибудь, а сыном Богатого Портного.

## Животные в городе

Из деревни приехал дедушка с коровой и телянком. Корова эта была записана на имя тетушки, хотя, в сущности, принадлежала дедушке. Но она была записана на тетушку, и деревенское начальство решило, что корову надо отдать тому, на кого она записана. Вот дедушка и пригнал корову вместе с телянком.

Чик сначала на корову и ее телянка не обратил внимания. Внимание его целиком было поглощено лошастью дедушки. Дедушка приехал верхом на лошади, корову вел на веревке, а телянок сам шел за коровой. Дедушка загнал корову вместе с телянком в сарай, лошадь привязал к забору, а сам ушел на базар, помахивая камчой.

Чик подошел к лошади. Она была рыжая. От нее пахло приятным запахом пота и кожей седла. Лошадь искоса смотрела на Чика и клацала удилами. Когда Чик приблизился к лошади, он почувствовал волнение. Точно такое же волнение он испытывал, когда приближался к морю. Чик очень удивился похожести этого волнения на то, потому что лошадь ничем не напоминала море. Может быть, дело было в том, что запах ее напоминал запах моря?

Чик осторожно скинул поводья со штaketника и вывел лошадь на улицу. Лошадь послушно шла за ним. Чик остановил лошадь, закинул поводья к седлу и, задрав ногу, попытался вставить ее в стремя. Задирать ногу было ужасно трудно, но Чик все-таки добрался ногой до стремени. Но когда он попытался оттолкнуться второй ногой от земли, чтобы взобраться на седло, лошадь повернула голову и попыталась укусить его за задранную ногу. Чик ее быстро убрал, и тогда лошадь отвернула голову.

Чик снова задрал ногу и попытался оттолкнуться от земли другой ногой, но лошадь опять повернула голову и хотела укусить его. Чик опять быстро убрал ногу. Чик сильно разволновался. Он никак не мог понять: в самом деле она пытается его укусить или только делает вид? Чик решил перехитрить лошадь. Он так натянул поводья, чтобы она повернула голову в противополож-

ную сторону. Тогда он снова вставил ногу в стремя и снова попытался оттолкнуться от земли, но тут лошадь, обо всем догадавшись, опять повернула к нему голову и попыталась дотянуться до его ноги. Чик снова убрал ногу. Он даже вспотел от волнения. На него уже посматривали прохожие и соседи, те, что стояли на улице или сидели на ступеньках своего крыльца.

В деревне он часто видел, как всадники садятся на лошадь и она точно так же поворачивала голову, чтобы схватить их за ногу, но они успевали вскочить в седло, и лошадь, не дотянувшись до ноги, отворачивалась и послушно шла в ту сторону, куда направлял ее всадник.

И Чик решил рискнуть. Он подумал, что в крайнем случае ей не так-то легко будет прокусить его сандалию. Он снова приподнял ногу, вставил ее в стремя и, не обращая внимания на голову лошади, изо всех сил оттолкнулся другой ногой. Он упал грудью на седло и, как ему показалось, неизмеримо долго докарабкивался до него, так что лошадь за это время могла бы откусить ему ногу. Но она не откусила ему ногу, и он успел перебросить через седло вторую ногу и, усевшись, вдел ее в стремя.

Радость победы пронзила Чика. В деревне он уже несколько раз садился на оседланную и неоседланную лошадь. Но тогда его обязательно кто-нибудь подсаживал и закрывал от лошадиной головы. А тут он сам сел, и лошадь его не укусила. Теперь Чик подумал, что она умница, что она и не собиралась его кусать, но ей надо было испытать, трус он или нет. А раз уж он сел, она пошла, повинувшись поводам.

Чик шагом доехал до следующего квартала, натянул поводья, и лошадь послушно стала. Потом он потянул один повод, и лошадь послушно повернулась. Чик слегка ударил ее ногой в живот, и она пошла. Но Чик хотел, чтобы она перешла на рысь. Но лошадь его не понимала или делала вид, что не понимает. Чик несколько раз ударял ее ногой в живот (он знал, что это не больно), а она упрямо продолжала идти шагом. Она как бы ему говорила: «Чего ты меня лупишь, я и так иду».

Чик еще несколько раз ударил ее ногой, но она продолжала идти шагом. Тогда Чик крепче ударял ее, и она, словно догадавшись о его желании: «Ах ты, хочешь, чтобы я пошла рысцой? Так бы и сказал», — затрусила.

Чик почувствовал, как затряслась его голова, затряслась грудь, затрясся живот, и даже почувствовал, что внутри живота затряслась селезенка. По правде сказать, трястись на лошади было не особенно приятно, но Чик понимал, что со стороны это должно выглядеть великолепно.

Трясаясь, он видел, что некоторые ребята из соседних дворов стоят у калиток и следят за ним. С его собственного двора вышел Оник с велосипедом, за ним Ника, Сонька и Лёсик.

— Чик, где взял лошадь? Чик, дай сделать круг! — кричали соседские ребята, когда он проезжал мимо.

— Чик, покатай! — крикнула Сонька и запрыгала на месте, когда он поравнялся с ними.

Оник вскочил на свой велосипед и сопровождал Чика до самого конца квартала.

— Чик, а быстрее можешь? — спросил Оник.

— Конечно, могу, — сказал Чик. Ему самому порядочно надоело трястись рысцой. Ему хотелось попробовать галопом.

На углу он повернул лошадь, ударил ее несколько раз ногой, но она как тряслась рысцой, так и продолжала. Тогда Чик въехал на тротуар, подъехал к молодой шелковице, росшей у забора, протянул руку и выломал небольшую ветку. Он очистил ее от листьев и взмахнул хлыстом. Еще когда он только стал выламывать ветку, Чик почувствовал, что лошадь под ним подобралась и уши у нее стали торчком. Он почувствовал, что она изменила к нему отношение. Он почувствовал, что она теперь внимательно следит за его хлыстом.

Он не очень сильно ударил ее хлыстом, и она пошла рысью. Тогда он резко взмахнул хлыстом и не успел ее ударить, как почувствовал, что его перестало трясти, что могучая сила подхватила его и понесла. Лошадь пошла галопом.

Рядом мелькнул школьный двор, школьный сторож старик Габуня, притаившийся в кустах в ожидании разорителей школьного сада, мелькнули ребята, стоявшие в калитке их дома, соседские ребята у соседских калиток, мелькали прохожие, и все время, не отставая от лошади, рядом летел Оник на своем велосипеде. Оник раздражал Чика, потому что Чик боялся, что он попадет под копыта разгоряченной лошади. К тому же Чик хотел, чтобы Оник отставал от мчащейся галопом лошади, а тот упрямо не отставал.

Проехав квартал, Чик с трудом изо всех сил натянул поводья и, остановив лошадь, повернул ее назад. Выезжать из своего квартала он не решался.

Он снова пустил лошадь галопом и снова почувствовал ровное и сильное качание, почувствовал, как душа его от страха и наслаждения опускается куда-то в живот, а встречный воздух режет глаза и набивается в рот. Да, мчаться галопом — это совсем не то, что трястись рысцой!

Доехав до конца квартала, он опять изо всех сил натянул поводья и с большим трудом остановил лошадь. Чик почувствовал приятную усталость. «Пожалуй, хватит», — подумал Чик. Теперь он повернул лошадь и шагом доехал до своего дома. Он остановил лошадь, бросил поводья, вынул ноги из стремян и слез с лошади. Когда он спрыгнул с нее, он почувствовал надежную твердость земли, по ней было непривычно приятно ходить.

Теперь надо было угостить лошадью своих товарищей по двору. Первым он допустил к лошади Оника, предупредив его, что лошадь может его укусить, но он будет удерживать ее голову, коротко взяв поводья. Со свойственной ему ловкостью Оник легко вскочил в седло, Чик сел на его велосипед и поехал рядом.

— Оник, упадешь, убью! — крикнул отец Оника, Богатый Портной, работавший на балконе и хорошо видевший оттуда улицу.

Чик ехал рядом с Оником на его велосипеде и время от времени давал ему указания. Оник хотел попробовать пойти галопом, но Чик ему не разрешил ввиду близости его грозного отца. Проехав квартал сначала шагом, потом рысью, Оник вернулся к дому и слез с лошади.

Потом катались девчонки, и Чик вместе с Оником подсаживал их на лошадь. Чик с удовольствием следил, как Ника красиво трясется на лошади, идущей рысцой, а Сонька рысцой идти не захотела, но и она довольно хорошо сидела в седле.

Теперь очередь была за Лёсиком. Лёсик был инвалидом от рождения, руки и ноги плохо слушались его. Он, конечно, и не мечтал покататься на лошади, но именно поэтому Чик очень хотелось, чтобы Лёсик испытал это удовольствие.

Чик попросил девочек подержать лошадь под уздцы, а сам вместе с Оником стал громоздить Лёсика на седло. Оник поддерживал Лёсика, а Чик, приподняв его непослушную ногу, вдел ее в стремя. Потом Чик подсел под



Лёсика, и они вместе с Оником положили его животом на седло. Неумелое тело Лёсика оказалось ужасно тяжелым, и у Чика от напряжения дрожали ноги, и глаза, казалось, выскочат из глазниц. К тому же, когда они громоздили его, лошадь сделала шаг, и Чик чуть не рухнул под телом Лёсика. Он с трудом удержался и, когда они положили Лёсика на седло, выпрямился. Теперь надо было так передвинуть его тело, чтобы он оказался верхом на лошади. Чик велел Онику перейти на другую сторону и там поддерживать Лёсика, чтобы он не рухнул туда, а сам, приподняв его ногу, стал осторожно перекидывать ее через седло. И вот Лёсик оказался в седле.

Все это время Лёсик ужасно сопел и изо всех сил старался облегчить свое тело. Оказавшись в седле и вдев вторую ногу в стремя, он облегченно вздохнул, заулыбался, и было видно, что он доволен и совсем не боится.

— Держись руками за луку! — сказал ему Чик, и, взяв лошадь за поводья, повел ее.

Неумело растопырив ноги в стремях, держась обеими руками за переднюю луку, Лёсик, смущенно улыбаясь, сидел в седле.

— Лёсик на лошади! Лёсик на лошади! — кричали соседские ребята и громко смеялись, но Чик, не обращая внимания на их смех, осторожно вел лошадь. Лёсик, покачиваясь, сидел в седле, продолжая смущенно улыбаться. Чик чувствовал, до чего Лёсику приятно ехать верхом, и ему самому от этого было приятно.

Дойдя до угла, Чик осторожно повернул лошадь и сказал Лёсику:

— Хочешь, дам поводья?

Это было опасно, но Чик чувствовал, что Лёсик совсем-совсем будет счастлив, если он ему даст поводья и Лёсик сам поведет лошадь.

— Да, — сказал Лёсик и еще шире улыбнулся своей смущенной улыбкой.

Чик завел поводья за голову лошади и дал их в руки Лёсику. Лёсик неумело ухватился за них.

— Прижимайся ногами к животу, — сказал Чик.

Лёсик прижался ногами к животу лошади, но все равно ноги у него как-то неловко висели и неумело торчали в стремях. Лошадь стояла.

— Ударь ногой! — сказал Чик.

Лёсик ударил сильнее, но лошадь продолжала стоять. Она чувствовала бессилие Лёсика. Чик сбоку подо-

шел к лошади и, думая, как бы она не понесла, ладонью шлепнул ее по ляжке. Лошадь пошла. Чик шел сзади, все время следя за телом Лёсика, боясь, что он не сумеет удержать равновесие и сверзится. Лёсик, пыхтя, сидел на лошади и довольно сносно держался.

Вдруг впереди появилась машина, и Чик сильно испугался. Он не знал, что делать. Лошадь шла посреди дороги, и Чик не знал, чего ожидать: то ли она понесет, то ли она прыгнет в сторону и Лёсик рухнет, то ли машина наедет на них.

— Поворачивай! — крикнул Чик, когда машина была совсем близко, и Чик захотелось закрыть глаза, чтобы ничего не видеть. В последние мгновения лошадь сама сделала несколько шагов в сторону, и машина, подняв столб пыли, проехала мимо.

Когда пыль улеглась, Чик увидел, что лошадь идет себе по краю улицы, а Лёсик сидит в седле как ни в чем не бывало. Какая же она умница, подумал Чик, какой же молодец Лёсик, что не растерялся!

Когда лошадь поравнялась с их домом, Чик забежал вперед, чтобы остановить ее, но Лёсик потянул поводья и остановил ее сам. Он сидел в седле, смущенно и горделиво улыбаясь, и вся улица смотрела на него. Чик велел девочкам держать лошадь по уздцы, а сам вместе с Оником помог Лёсику слезть с лошади. Успех окрылил Лёсика, и тело его сделалось гораздо более послушным, и Чик с Оником было намного легче спускать его с лошади, чем громоздить на нее.

После Лёсика ребята с других дворов стали проситься на лошадь, но Чик сказал, что лошадь устала, надо сделать перерыв и попасти ее. На противоположной стороне улицы была крошечная лужайка, где росла довольно густая трава. Чик подвел туда лошадь, и она с хрустом, не обращая внимания на удила, стала рвать траву и есть. Все хотели держать лошадь за поводья, пока она пасется, но Чик разрешил держать ее одному из мальчиков, который еще не катался.

Впрочем, больше никому не удалось покататься на лошади, потому что пришел хорошо известный на этой улице драчун и заводила, по прозвищу Кабан. Это был очень здоровый восемнадцатилетний парень, и на улице Чика никто не смел ему прекословить.

— Чья кляча? — спросил он, останавливаясь напротив ребят и лениво оглядывая лошадь. Руки он держал за поясом.

— Это к Чикку дедушка приехал, — сказал Оник.

— Он корову привез с телятком, — пояснила Сонька, словно пытаясь своим пояснением избавиться от Кабана.

Но избавиться от него было невозможно.

— Попробуем, что за штучка, — сказал Кабан, и, подойдя к мальчику, державшему поводья, взял их у него.

Он вывел лошадь на улицу. Ему и в голову не приходило, что надо бы попросить разрешения у Чика. Чикку было неприятно, что он назвал дедушкину лошадь клячей, и было неприятно, что он собирается на ней кататься, но помешать ему было невозможно. Кабан делал все, что хотел, и никогда ни у кого не спрашивал разрешения.

Чик надеялся, что лошадь его укусит, но Кабан, приподняв свою толстую ногу, сунул ее в стремя, оттолкнулся от земли и грузно уселся в седло. Лошадь даже не повернула голову. Чикку показалось, что она прогнулась под тяжестью Кабана.

Кабан шагом проехал до конца квартала. Чик очень боялся, что поедет куда-нибудь дальше, но Кабан завернул лошадь и поехал назад. Грузно трясясь на лошади, он рысцой проехал мимо них и доехал до конца квартала. Чик опять испугался, что он куда-нибудь уедет, но Кабан и тут завернул лошадь и шагом поехал назад. Чикку показалось, что ему надоело кататься и он сейчас слезет с лошади. От этого Чика охватила тайная радость. Он подумал, что, кажется, все кончится мирно.

Кабан доехал до них, и по его ленивой посадке Чикку показалось, что он собирается слезть с лошади. Но Чик ошибся, Кабану и в самом деле надоело просто так кататься, и он, вынув ноги из стремян, перевернул свое тяжелое тело и уселся на лошади задом наперед.

Все стали смеяться, а Кабан погнал лошадь, и она пошла. Поводья ее волочились по земле, и она шла с нелепо повернувшимся к хвосту всадником. Чик почувствовал ужасное унижение за лошадь и за дедушку. О, если б она сейчас взбрыкнула и сбросила его с седла! Но лошадь спокойно шла, ничем не угрожая унижающему ее всаднику. Неужели она этого не понимает?

Как же он ее повернет на углу, думал Чик, надеясь, что во время попытки повернуть ее лошадь что-нибудь сделает с этим хулиганом. Доехав до угла, Кабан попытался повернуться и дотянуться до поводьев, но не су-

мел дотянуться и слез с лошади. Он повернул ее назад и сел нормально верхом. Чик облегченно выдохнул, но, когда лошадь пошла, Кабан снова повернулся в седле и сел задом наперед. Теперь он подъезжал задом наперед, иногда с улыбкой оглядываясь, и многие взрослые смеялись его выходке и кричали:

— Вот Кабан дает!

Чику горько было слышать этот подхалимский смех. Он чувствовал, что они смеются не столько оттого, что им смешно, сколько для того, чтобы угодить Кабану.

Поравнявшись с ними, Кабан вдруг наклонился и, схватив лошадь за хвост, потянул его наверх. Теперь он двумя руками держал за кончик нелепо вскинутый лошадиный хвост, и лошадь, окончательно униженная, шла с обиженным задом и не пыталась сбросить и растоптать своего угнетателя.

Чик почувствовал себя раздавленным подлым унижением, которому Кабан подвергал дедушкину лошадь. Мучительный ком сдерживаемого возмущения стоял в гортани Чика, и он его сглатывал судорожными глотками, потому что ясно осознавал свое бессилие. Он мог бы на коленях умолять его не издеваться над лошадью, но это только еще сильнее унизило бы Чика, а Кабан все равно бы не послушался.

— Чик, вон дедушка твой идет! — крикнула Сонька с таким отчаянием в голосе, что Чик мгновенно уловил: она чувствует все, что он сейчас переживает.

Чик посмотрел в ту сторону, куда она показывала, и увидел дедушку, который шел, помахивая камчой, навстречу своей лошади. Что же сейчас будет, подумал Чик, предчувствуя что-то неслыханное. Чик понимал, что дедушка не вынесет унижения своей лошади, но что может сделать маленький, хотя и жилистый дедушка против могучего Кабана?

Дедушка уже заметил свою лошадь и заметил задом наперед сидящего на ней всадника. Он только не видел, что тот еще держит ее за хвост.

Не спуская глаз со своей лошади и еще, видимо, до конца не поняв, что делает над ней этот человек, сидящий задом наперед, дедушка приближался. В походке его появилась какая-то воинственная вкрадчивость. Казалось, он боится вспугнуть дичь и, сам удивляясь ей, идет на нее. В нескольких шагах от лошади он остановился. В правой руке он держал приподнятую камчу.

Но Кабан, сидевший на лошади задом наперед, его не видел.

— Клянусь аллахом, — воскликнул дедушка по-абхазски, словно осознав смысл происходящего, — этот человек глумится над моей лошадью!

В следующее мгновение он схватил лошадь под узды. Лошадь остановилась, и Кабан, не понимая, в чем дело, повернул голову.

— Слезь! — крикнул дедушка по-абхазски, но по движению камчи в его руке можно было понять, что он имеет в виду.

В ответ Кабан только рассмеялся, и теперь дедушка заметил, что тот сжимает в руках кончик хвоста его лошади.

— Брось хвост моей лошади! — крикнул дедушка по-абхазски и, не дожидаясь, пока тот станет бросать хвост лошади, сам схватил хвост лошади и дернул его вниз. Но Кабан, смеясь, смотрел вниз на дедушку и продолжал сжимать в руках кончик хвоста. Огромный Кабан на лошади выглядел как памятник перед маленьким дедушкой. Чик почувствовал, что унижение дошло до предела: Кабан лошадь унизил, Чика унизил, а теперь унижал самого дедушку. Но что можно было сделать против него? Что?!

В это мгновение в воздухе мелькнула дедушкина камча, и плеть хлестнула Кабана по рукам. Кабан бросил хвост и с криком затряс руками, словно окунул их в кипяток.

— Слезь с моей лошади! — крикнул дедушка по-абхазски.

— Ну, старый хрыч, держись! — взревел Кабан и, перекинув ногу, сполз с лошади. Лошадь сделала несколько шагов вперед, и маленький дедушка остался один на один с огромным Кабаном.

Кабан ринулся на дедушку. Не отступив ни на шаг от ринувшегося на него тела Кабана, дедушка снова взмахнул камчой, и Чик увидел, как в воздухе откинулась назад голова Кабана и красный рубец перерезал его лицо. На мгновение Кабан замер и снова ринулся, пытаясь схватить дедушку своими могучими лапами, и снова дедушка, не отступив ни на шаг, взмахнул камчой, и голова Кабана отдернулась с такой силой, что он рухнул на спину.

В следующее мгновение Чик с восторженным ужасом увидел, что дедушка сидит верхом на Кабане и, держа

его одной рукой за горло, другой бьет его рукояткой камчи по лицу. Всесильный Кабан не только не перевернул дедушку, не перебил его одним ударом, но он, по сути, даже не сопротивлялся. Он только пытался вырваться и орал как зарезанный, а дедушка методично колотил по лицу рукояткой камчи.

Сколько это длилось? Минуту, две, три? Чик не мог понять. Наконец Кабан вырвался из-под дедушки и, отбежав шагов на двадцать, повернулся окровавленным лицом и истерическим голосом стал кричать ему всякие непристойности, которые дедушка все равно не понимал, потому что Кабан кричал их по-русски.

— Над лошадию вздумал глумиться! — то и дело повторял дедушка, отряхивая той же рукояткой камчи свои брюки и оглядывая их со всех сторон. Кабан, чувствуя, что дедушка его не понимает, сделал похабный жест и крикнул:

— Вот тебе!

Дедушка, увидев этот похабный жест, сделал несколько быстрых шагов в сторону Кабана, но тот с неожиданным проворством побежал и бежал до самого угла. Дедушка победно взглянул в его сторону, пригрозил ему еще раз камчой и, поймав свою лошадь, пошел во двор.

Чик ликовал. Никогда в жизни никто так не мог напугать Кабана, как напугал его дедушка, ничего не знавший о его славе первого хулигана этой улицы. В тот же день дедушка на своей лошади уехал в деревню, а Кабан хоть и не перестал быть одним из первых хулиганов, но в квартале, где жил Чик, он вел себя довольно тихо. Слишком многие люди видели, как дедушка Чика лупцевал его, а он ничего не смог сделать.

Одним словом, дедушка уехал, а корова с теленком остались. Чик пас ее вместе со своим сумасшедшим дядей Колей на собственной и близлежащих улицах, хотя это и не разрешалось. Вместе с дядюшкой и ребятами своего двора Чик пас корову и рвал траву для нее и ее теленка.

Иногда тетушка вместе с Чиком и дядей рвала траву. Вечерами она показывала мужу свои натруженные ладони и говорила, что он сделал из нее несчастную женщину, и спрашивала, что бы сказал бывший муж, персидский консул, если бы увидел, как она руками рвет траву для пропитания коровы. Муж ее, дядя Чика, отворачивался и молчал, потому что не знал, что бы мог сказать персидский консул при виде натруженных рук тетушки.

В такие минуты Чик жалел дядю и с раздражением думал о неведомом персидском консуле.

Тетушка доила корову два раза в день, а потом пускала под нее теленка. Корова оказалась хитрая. Иногда она прятала молоко, и тогда тетушка почти ничего не могла надоить. Тетушка прикладывала к вымени грелку с теплой водой, чтобы корова расслабилась и пустила молоко, но она, если уж ей втемяшилось в башку прятать молоко, крепко его держала при себе и отпускала только тогда, когда теленок тыкался ей в вымя. В конце концов тетушка приспособилась пускать под нее теленка и одновременно доить ее — из одного сосца тянет молоко телепок, а из другого сосца выдаивает его тетушка.

В первое время Чик пас корову рядом с домом во дворе грузинской школы. Там была густая, летняя, неистоптанная школьниками трава. Корова с удовольствием ела эту траву, и все были довольны, что нашли ей такое близкое и удобное пастбище.

Но это длилось не более недели. Видно, школьный сторож, вздорный старик Габуния, куда-то уезжал или был болен. Однажды он появился на школьном дворе и прогнал оттуда Чика вместе с коровой. Как Чик его ни упрасивал, старик был неумолим, хотя на кой ему черт эта школьная трава, было непонятно.

Кроме школьного двора и самой школы, старик Габуния охранял и школьный сад. Он иногда часами сидел, пританчившись в кустах, ждал, не вздумают ли мальчишки с их улицы забраться туда. Чик уговорил Оника и Лёсика похаживать за забором возле сада, чтобы возбуждать бдительность старика Габуния. Старик затаивался в кустах, и Чик, воспользовавшись этим, успевал несколько часов попасть корову в школьном дворе. Но это длилось недолго. Старик Габуния догадался о хитрости Чика и стал прерывать засаду внезапными обходами школьного двора. Чикун пришлось переместиться на новое место.

За три квартала от дома была большая поляна, на одной стороне которой строился Дом правительства, так называлась эта стройка, а другая сторона представляла собой большую зеленую лужайку. Здесь-то Чик и приспособился пасти свою корову.

Около десяти безмятежных дней провел Чик вместе с коровой на этой лужайке. Хотя Чик знал, что здесь корову пасти нельзя, он не думал никуда уходить отсюда, тем более что здесь его никто не трогал.

В сущности, пасти корову нельзя было нигде, хотя держать корову разрешалось. Чика удивляло и потрясало это противоречие. Из разговоров взрослых Чик знал, что корову в их городе разрешают держать. Но из этих же разговоров он знал, что пасти ее нигде не разрешают. Чик никак не мог одно соединить с другим. Он решил, что это произошло так. Один взрослый начальник разрешил держать коров, из чего следовало, что пасти их в городе можно. Но другой взрослый начальник запретил пасти коров, из чего следовало, что держать их в городе нельзя. Получалось, что первый взрослый начальник ничего не знал о запрете второго начальника, а второй взрослый начальник ничего не знал о разрешении первого начальника. Чик считал, что это противоречие кому-то из взрослых начальников надо растолковать, но кому именно, он не знал.

Однажды, когда на этой лужайке он пас корову вместе со своим сумасшедшим дядюшкой, к ним подошел милиционер.

— Уходите домой, — сказал он, — здесь корову пасти нельзя.

— Почему? — спросил Чик миролюбиво.

— Потому что здесь Дом правительства строят, — сказал милиционер и кивнул на стройку.

— Дом правительства пускай строят, — согласился Чик со строительством, — корова им не мешает.

— Мешает, — возразил милиционер.

— Чем мешает? — спросил Чик.

— Дом правительства строят, — терпеливо повторил милиционер, — комиссия может из Москвы приехать... Что, они на вашу корову будут смотреть?

— Зачем им смотреть на корову, — сказал Чик, — они будут смотреть на строительство.

— А если посмотрят на корову? — спросил милиционер.

— Ну и что, — сказал Чик, — посмотрят и отвернутся.

— Комиссия отвернуться не может, — строго заметил милиционер, — а корову в черте города пасти не разрешается.

— А держать корову в городе разрешается? — спросил Чик.

— Держать разрешается, — ответил милиционер.

— Но раз держать разрешается, — сказал Чик, — значит, и пасти разрешается.



- Нет, не значит, — ответил милиционер, — ты меня не путай, я законы знаю.
- Но раз держать разрешается... — начал было Чик.
- Держать разрешается, но пасти не разрешается, — перебил его милиционер.
- Это неправильно, — сказал Чик.
- Это правильно, — сказал милиционер.
- Но раз держать разрешается... — сказал Чик.
- Еще одно слово, — сказал милиционер, — я оштрафую корову.
- Все равно неправильно, — сказал Чик.
- Все, — сказал милиционер, — штраф пять рублей.
- А у меня денег нет, — сказал Чик.
- А это кто такой, — спросил милиционер, — он глухонемой?
- Нет, — сказал Чик, думая, что милиционер довольно близко попал, — он мой дядя.
- Вот он и заплатит, — кивнул милиционер на дядюшку Чика.
- Батум, Батум, — сказал дядя, чувствуя непорядок и начиная раздражаться.
- В Батуме то же самое, — сказал милиционер, — законы везде одинаковые.
- У меня денег нет, — сказал Чик.
- Это мы выясним, — сказал милиционер.
- Он сумасшедший, — сказал Чик.
- Как штраф платить, все сумасшедшие, — сказал милиционер.
- Батум! Батум! — более четко повторил дядя.
- Он правда сумасшедший, — сказал Чик.
- Тогда почему он не в сумасшедшем доме? — удивился милиционер, как и все в таких случаях.
- Ему разрешается, — сказал Чик, — он вреда никому не приносит.
- А справка есть? — спросил милиционер.
- Да, — сказал Чик, — он всегда с нами живет.
- А почему он вспомнил про Батум? — спросил милиционер.
- Он всегда про Батум вспоминает, — сказал Чик.
- Очень интересно, — загадочно сказал милиционер, — но в Батуме граница.
- Он всегда про Батум вспоминает! — воскликнул Чик, чувствуя, куда гнет милиционер, и стараясь отвлечь его от этих мыслей.

— Шпионы ходят по стране, — сказал милиционер.

— Знаю, — согласился Чик.

— В том числе и под видом сумасшедших, — сказал милиционер.

— Знаю, — согласился Чик, потрясенный тем, что милиционер подозревает дядю в том, в чем Чик сам подозревал его когда-то. — Но он настоящий сумасшедший. Его доктор Жданов проверял.

— Этот номер не пройдет, — сказал милиционер, — я вас всех забираю в милицию. Там все выяснят... Корова не бодается?

— Нет, — сказал Чик, — она мирная.

— Вот и хорошо, — сказал милиционер и отобрал у Чика веревку, за которую была привязана корова. — Я ее поведу.

— Мы уйдем домой, — сказал Чик, чувствуя, что опоздал с этим предложением.

— Поздно, — сказал милиционер, наматывая веревку на руку. — Ты попался через свои ехидные вопросы.

С этими словами он повел корову через поляну в сторону милиции. Чик с дядей шли рядом. По дороге Чик еще несколько раз просил милиционера отпустить их домой, но тот был непреклонен.

Они вошли во двор милиции, и милиционер крепко привязал корову к забору. Там росла густая трава, и корова тут же начала ее есть, но милиционер на это не обратил внимания, хотя корова начала есть траву, когда он ее только привязывал.

Велев им ждать у входа, милиционер вошел в небольшой дом, стоявший во дворе милиции. Чик был сильно расстроен случившимся и не знал, что думать. В те времена очень многих людей подозревали в шпионстве. Чик сам в этом подозревал дядю, но потом понял, что все это чепуха. Он понимал, что в конце концов через доктора Жданова они докажут, что дядя не шпион. Но сколько времени на это понадобится? И не продержат ли их все это время в милиции?

Сколько Чик ни думал, как выйти из этого положения, он ничего не мог надумать. Одна надежда оставалась на доктора Жданова. Доктор Жданов был известным в городе психиатром. Когда про кого-нибудь хотели сказать, что он псих, говорили: «Тебя надо к доктору Жданову отправить!»

Чик с дядей довольно долго стояли у входа в этот домик. Вдруг Чик увидел, что во двор милиции зашел

милиционер-абхазец, живший с Чиком на одной улице. Рядом с ним шла женщина, и даже издали было заметно, что она ярко раскрашена. Платье на ней тоже было яркое.

Милиционер шел в их сторону, но он на них с дядей не смотрел, хотя обоих прекрасно знал. У Чика сердце забилося от радости и тревоги. Он изо всех сил старался быть замеченным милиционером. И в самом деле, подойдя близко, милиционер на него посмотрел. Но он его не сразу узнал, потому что никак не ожидал встретить его здесь.

— Я Чик! — воскликнул Чик, помогая милиционеру узнать себя.

— Кто не знает, что ты Чик, — сказал милиционер, останавливаясь, — но как ты здесь оказался? О, да еще с Колей!

И тут ему Чик все рассказал и про корову, и про дядю.

— Бедный мальчик, — сказала женщина, когда Чик рассказывал, и попыталась заплакать, но потом, как догадался Чик, вспомнила, что она раскрашена, и раздумала плакать.

— Ты себя пожалей, — сказал милиционер, тоже заметив, что она хотела заплакать.

— А я ни в чем и не виноватая, — сказала женщина, — мне дите жалко.

— Никуда не уходи, жди меня здесь, — сказал милиционер Чик и вошел вместе с женщиной в домик.

Чик увидел открытые окна домика и подошел к ним, надеясь узнать что-нибудь о своей и дядиной судьбе. Из комнаты доносились голоса людей, и один из этих голосов принадлежал знакомому милиционеру. Другой голос Чик признал за начальнический. Третий голос принадлежал женщине, которую ввел знакомый ему милиционер. Чик понял из их разговора, что она занимается чем-то запретным, но чем именно, Чик не мог понять. Она говорила, что приехала из Воронежа, чтобы купаться в море и загорать, а не для того, чтобы заниматься этим. Но чем именно, она не говорила. А они говорили, что она приехала не загорать и купаться, а заниматься этим. Она говорила, что она этим нигде не занималась, ни здесь, ни в Воронеже. А они говорили, что она этим занимается здесь и, судя по всему, занималась этим же в Воронеже. Она говорила, что она в Во-

ронее этим не занималась, а работала воспитательницей. А они говорили, что она воспитательницей работала давно, а потом занималась этим, потому что нигде не работала. Она говорила, что она потому нигде не работала, что ее кормил муж и ей незачем было этим заниматься. Но они сказали ей, что согласно документам она с мужем разошлась еще до того, как она работала воспитательницей, и поэтому после того, как она бросила работать воспитательницей, муж ее не мог кормить, и она занималась этим и сюда приехала, чтобы и здесь заниматься этим. Разговор был ужасно интересным, но Чик не мог понять, чем она занималась. Чик смутно догадывался, что ее яркое платье и ярко раскрашенное лицо имеют какое-то отношение к этим занятиям, но что это за занятия, он не мог понять.

— Чтобы тебя в двадцать четыре часа в городе не было! — наконец сказал начальник, и Чик понял, что судьба этой женщины решена.

Она попробовала было заплакать, но потом то ли вспомнила, что слишком накрашена, то ли голос начальника был слишком непреклонным, и она, поняв, что это не поможет, перестала пытаться. Через минуту она вышла из домика и пошла по двору, покачивая бедрами и бросаясь в глаза ярким платьем.

— Слушай, это ты задержал мальчика с коровой? — услышал Чик голос своего милиционера.

Видно, что милиционер что-то ответил, но Чик не расслышал что.

— Какого Миши? — спросил голос, который Чик еще раньше признал за начальнический.

— Миши, который директором гастронома работает, — сказал свой милиционер.

— Ах, этого Миши, — сказал голос начальника, — ну, пусть войдут...

Чик отошел от окна. Через несколько секунд вышел свой милиционер и сказал:

— Входите вместе с дядей.

Чик оглянулся на корову. Она охотно ела сочную мялищескую траву. Они прошли в комнату, где за деревянным барьером сидел начальник. Милиционер, который их привел, стоял возле барьера.

— Так это вы нарушители общественного порядка? — спросил начальник.

Чик по его голосу понял, что он добродушно настроен.

— Мы пасли корову, — сказал Чик откровенно.

— Знаю, — отвечал начальник, — но пасты корову в городской черте не разрешается... Тем более возле Дома правительства.

— А как же, — сказал Чик, чувствуя, что входит в запретную зону, но не в силах удержаться, — держать корову разрешается, а пасты не разрешается?

— Очень просто, — ответил начальник, — надо кормить ее дома, как-то: сеном, отрубями, помоями, арбузными корками... А пасты в городской черте не разрешается... Понял?

— Понял, — сказал Чик.

— Я вижу, ты понятливый, — сказал начальник. — А это твой дядя?

— Да, — сказал Чик.

— С какого года он с вами живет? — спросил начальник.

— С незапамятных времен, — отвечал Чик, — он всегда с нами живет.

— Доктор Жданов его смотрел? — спросил начальник.

— Да, — сказал Чик, — доктор Жданов ему разрешил с нами жить.

— Ладно, — сказал начальник, — забирайте корову и скажите дома, что пасты ее в городской черте не разрешается.

— Хорошо, — сказал Чик и сделал дяде знак, показывая, что им можно выходить.

Чик поспешил выходить, потому что на стене милицмейской комнаты висел плакат, изображавший пограничника, ставшего ногой на распластанного на земле шпиона. Дядюшка с доброжелательным интересом уже присматривался к этому плакату. Он мог, по привычке принимая за себя любое понравившееся ему изображение мужчины, сказать: «Это я».

Чик боялся, что такое самозванство дядюшки может вызвать новые осложнения, и поспешил вывести его из помещения. Когда они вышли, корова все еще жадно паслась возле забора, и Чик даже пожалел, что все так быстро кончилось. Они отвязали корову и благополучно вернулись домой.

Богатый Портной разрешил пасты корову на своем участке, где он строил дом. Там росла хорошая трава и было несколько фруктовых деревьев. Корова ела траву, а если ей попадались паданцы, она съедала и паданцы.

— Пускай кушает — не жалко, — говорил Богатый Портной, заметив, что корова ест паданцы.

Так он говорил каждый раз, когда видел, что корова ест паданцы, и Чик удивлялся этому. Чик считал, что достаточно было об этом сказать один раз. Но Богатый Портной каждый раз, заметив, что корова ест паданцы, говорил об этом. Из этого Чик заключил, что ему все-таки жалко паданцы.

Когда корова съела всю траву на участке Богатого Портного, Чик стал пасти ее неподалеку от этого участка на небольшой поляне перед маленьким ветхим домиком. По наблюдениям Чика, в этом месте кончался город, и поэтому здесь можно было пасти корову.

В домике, по слухам, жил какой-то сумасшедший парень, и, хотя Чик опасался его, он все же надеялся, что встреча с ним не так уж опасна. Так как Чик сам приходил сюда со своим сумасшедшим дядюшкой, он надеялся, что сумасшедшие найдут друг с другом общий язык. Чик в своей жизни видел только одного сумасшедшего, и этим сумасшедшим был его дядя. Он был довольно мирным сумасшедшим, и Чик надеялся, что этот сумасшедший парень тоже будет достаточно мирным, тем более когда увидит, что с ним его сумасшедший дядя. Они поговорят между собой, думал Чик, про свои сумасшедшие дела, поделятся своими смешными фантазиями и мирно разойдутся.

На поляне паслась корова, принадлежащая этому сумасшедшему парню, но она, по наблюдениям Чика, была вполне нормальная и тихо паслась рядом с тетушкиной коровой.

В тот день Чик вместе с дядюшкой, Оником, Сонькой и Никой пасли корову на этой полянке. Там росло грушевое дерево с мелкими, но очень вкусными плодами, черными изнутри. Чик с Оником сначала сбивали груши камнями, но это было неудобно, потому что ветки были расположены высоко и камни редко задевали плоды. Чик решил, что можно залезть на эту грушу и трусить ее. Он считал, что это ничейная груша, потому что она росла посреди полянки, а полянка не входила ни в чей участок.

Чик и Оник залезли на грушу и стали трясти ветки. Груши дождем падали вниз, но тут под деревом появились обе коровы и какие-то бродячие свиньи.

— Гоните свиней! — крикнул Чик с дерева.

Ему было противно, что свиньи подбирают те же гру-

ши, которые подбирают девочки. Чик в те времена не ел свиному и вообще был воспитан в нелюбви к свиньям, и это воспитание еще долго сказывалось на нем.

Девочки пытались гнать свиней, но те были такие нахальные, что отходили на несколько шагов и первыми прибежали, когда мальчики начинали трясти ветки. Они пользовались тем, что девочки не могли их огреть камнем или палкой. Коровы тоже ели груши, но они не с такой жадностью набрасывались на них. Они поедали груши более медленно и прилично. А свиньи, поедая груши, чавкали так, что с дерева было слышно.

Увидав, что Чик и Оник трясут грушу, из ветхого домика вышла старушка и стала ругать их за то, что они трясут грушу. Ругаясь, она подошла к дереву. Чику и Онику не мешала ее ругань, тем более что ругалась она по-мигдальски. Но самое смешное, что ее ругань ей самой не помешала набрать полный подол груш, который натрясли Чик и Оник, и с этим полным подолом, продолжая мирно ругаться, она удалилась к себе домой.

Чик и Оник слезли с дерева, и девочки угощали их грушами, которые собрали в подолы, а потом высыпали в одном месте на чистую травку. Несмотря на коров, свиней, старушку из ветхого домика, девочки набрали много груш, и они дружно их ели, и груши были сочные, с темным нутром и с маленькими скользкими семечками.

Дядя Коля, который сам для себя отдельно собирал груши и с особенной яростью гнал свиней, потому что был очень брезглив, сейчас тоже ел свои отдельные груши, обтирая каждую из них платком. Он бы ни за что не взял груши из девчачьих подолов, потому что был брезглив не только по отношению к животным, но и ко всем людям, кроме бабушки.

И вот они уже доели свои груши и подумывали, чем бы заняться на этой полянке, чтобы не скучать, когда вдруг услышали голос того сумасшедшего парня. Они даже не заметили, когда он пришел домой. Может, он даже не приходил домой, может, он просто спал, а сейчас проснулся и стал громко кричать.

Чик почувствовал смутную тревогу. Ему показалось, что крик этого сумасшедшего имеет к ним какое-то отношение. Вдруг сумасшедший подошел к калитке своего двора и выглянул на полянку. Вид у него был страшный: лохматая голова и лицо, обросшее бородой, и сам одет в какие-то лохмотья.

Чик сравнил глазами его со своим сумасшедшим дя-

дюшкой, аккуратно выбритым, одетым в поношенную, но опрятную одежду, и почувствовал, что его дядя, пожалуй, не сладит с таким дикарем. Дядюшка вообще не понимал, что происходит, тем более что плохо слышал. Он безмятежно сидел на траве и, наевшись груш, напевал песенки собственного сочинения.

А сумасшедший парень продолжал бушевать у себя во дворе, иногда высовываясь над калиткой своей лохматой головой и глядя в их сторону грозным взглядом. Он явно был недоволен их присутствием здесь. Чик, содрогаясь, подумал, что было бы, если бы он увидел, как они трясут грушу. Может быть, стал бы камнями сбивать их с дерева.

Ребята тоже почувствовали тревогу. Лицо Ники слегка побледнело. А во дворе ветхого домика перекрестывались голоса старушки и сумасшедшего. Теперь Чик жалел, что стал здесь пасти корову. Он подумал, что другие владельцы коров, живущие в городе, потому и не пользовались этой полянкой, что знали, кто здесь живет. А он-то думал, что всех перехитрил: и за чертой города, и близко, и полянка хорошая.

Ребята встали на ноги и стояли, растерянно столпившись. Они чувствовали, что голос старушки едва удерживает сумасшедшего во дворе. Продолжая ругаться, тот все чаще подходил к калитке и бросал на них грозные взгляды.

Наконец дядюшка тоже кое-что расслышал и, глядя в сторону ветхого домика, мирно сказал:

— Человек кричит! Человек с ума сошел!

Он всегда так говорил, но на этот раз попал в точку. И до чего же мало было на него надежды! Он по сравнению с этим сумасшедшим казался нормальным старичком. А Чик так надеялся, что сумасшедшие в случае чего найдут между собой общий язык. Но, оказывается, сумасшедшие бывают совсем разные, оказывается, они отличаются друг от друга еще сильнее, чем нормальные люди.

И вдруг сумасшедший с топором выскочил из калитки.

— Зачем корова?! — кричал он издали, приближаясь к ним.

Чик не знал, что делать, он почувствовал, что его руки и ноги коченеют от ужаса. Все же он одолел околечение и дернул дядю за рукав, подталкивая его в сторону приближающейся грозной фигуры:



— Скажи ему что-нибудь! Скажи!

— Отстаешь! Мальчик с ума сошел! — отвечал дядя, отстраняясь рукой и показывая, что он не собирается связываться с этим сумасшедшим, сколько бы его Чик ни патравлял на него.

— Зачем корова? — орал сумасшедший, приближаясь с топором и показывая на корову. И этот топор со свежеструганным топорщиком, сверкавшим белой древесиной, он держал как пушинку, и чувствовалось, какая в нем неимоверная сила.

«Зарубит, — подумал Чик, ощущая в себе самом какую-то пустоту, — нас зарубит и корову зарубит». Все ребята и дядюшка Чика стояли, скованные ужасом, и слова не могли произнести. Он приближался, и голова его с яростными глазами и лохматой бородой, казалось, росла на глазах.

В следующее мгновение Чик очнулся, почувствовав, что он вместе со всеми бежит вдоль лужайки от сумасшедшего. Впереди всех бежал дядюшка Чика.

— Зачем корова?! — слышался яростный голос сзади, и этот голос раздавался все громче и громче.

Чик чувствовал, что через минуту он их догонит и произойдет что-то чудовищное. Сквозь ужас этого бегства он успел подумать о том, что Лёсик со своими больными ногами и десять шагов не пробежал бы от этого страшного человека. И, чувствуя ужас, он все-таки обрадовался этому маленькому везению, тому, что Лёсика нету с ними. Они обежали полянку и сейчас приближались к тому месту, где стоял домик этого сумасшедшего. Та самая старушка вышла из калитки и, что-то крича, палкой грозила своему сыну.

Ребята бежали изо всех сил, но сумасшедший их медленно догонял. И вдруг каким-то образом оказалось, что от толпы бегущих отделилась Сонька и сумасшедший словно отрезал ее от других, устремился за ней.

Оба они оказались впереди остальных, и Чик с ужасом видел, как быстро уменьшается расстояние между Сонькой и сумасшедшим. Он ее догонял и должен был вот-вот ее догнать, и у Чика мелькнуло в голове, что он выбрал Соньку потому, что она была хуже всех одета, точно так же, как собаки, если у них есть выбор, направляют свою ярость на самого плохо одетого человека.

Он уже пытался цапнуть Соньку рукой, свободной от топора, но она каким-то чудом увернулась и вдруг побе-

жала в сторону старушки и, подбежав, спряталась за ней.

Этого никто не ожидал, и сам он, конечно. Теперь он перешел на шаг и направился вслед за ней. Но это уже был не сумасшедший, бегущий с топором.

— Зачем корова?! — заорал он снова, но движения его потеряли решительность.

Старушка что-то отвечала ему по-мингрельски, и, когда он приблизился, она сделала несколько шагов ему навстречу, грозя поднятой палкой и прикрывая Соньку.

Грозя ему палкой, старушка отгораживала Соньку, а он медленно напирал на нее, и старушка, бочком отступая, продолжала отгораживать Соньку, и в конце концов так получилось, что он оказался у самой калитки, и старушка, бесстрашно грозя ему палкой, втолкнула его в калитку и прикрыла ее своей спиной. Больше всего поразило Чика в этой картине, что он явно боялся ее палки, хотя и наступал на старушку.

— Уходи, уходи! — сказала старушка, махнув рукой всем, и Чик побежал к корове и стал ее гнать с лужайки.

Сумасшедший время от времени орал из-за калитки, и волны ярости в его голосе то kloкотали сильнее, то ослабевали. Особенно сильно они kloкотнули, когда Чик с коровой проходили мимо дома.

— Зачем корова?! — яростно и даже с каким-то отчаянием крикнул он им вслед, и Чик, спиной чувствуя смертельную опасность, вместе со всей компанией покинул полянку.

Через некоторое время после этого случая, запомнившегося Чикю на всю жизнь, тетушке надоело рвать траву, надоело прикладывать грелку к вымени прячущей молоко коровы, и вообще корова ей смертельно надоела. Она устроила дяде скандал, говоря, что он ей сгубил молодость, а теперь окончательно губит ее жизнь этой несносной коровой. Пришлось корову вместе с теленком отогнать в деревню, уже к другому родственнику, и Чик об их дальнейшей судьбе больше ничего не слышал.

## Защита Чика

Чик сидел на вершине груши, росшей у них в огороде. Он сидел на своем любимом месте. Здесь несколько виноградных плетей, вытянутых между двумя ветками груши, образовывали пружинистое ложе, на котором можно было сидеть или возлежать в зависимости от того, что тебе сейчас охота. Охота сидеть — сиди и поклевывай виноградины, охота лежать — лежи и только вытягивай руки, чтобы срывать виноградные кисти или груши.

Чик очень любил это место. Оно было во всех отношениях удобное и приятное. Во-первых, оно было хорошим, потому что прямо с этого места можно было рвать виноград, груши и даже инжир. Он рос в соседнем дворе, и между огородом, где росла груша, и инжировым деревом высилась стена. Но одна ветка инжира вытянулась в сторону груши и прямо упиралась в нее. Так что при желании инжир можно было достать отсюда. Инжир был особенно вкусным именно потому, что дерево было чужим. Чик об этом сам догадался. Поедая чужие плоды, он удивленно думал над этой загадкой природы. Инжир, который рос в их огороде, был того же сорта, но плоды чужого инжира были гораздо вкусней.

Кроме всего прочего, это место Чикуну нравилось и тем, что он отсюда всех видел, а его никто не видел. Вообще Чикуну взрослые не разрешали лазить по деревьям не потому, что жалели фрукты, а потому что боялись, что он упадет с дерева. Но самое смешное заключалось в том, что, когда дома у него или у тетушки нужны были фрукты, ему давали корзину и просили нарвать винограду, груш или инжира.

— Только смотри, Чик, не упади, — предупреждали они.

— Да не бойтесь, не упаду, — отвечал Чик и с корзиной проходил в огород.

По мнению взрослых, получалось, что раз они предупредили его, чтобы он не падал, значит, он будет крепче держаться за ветки. По этому же нелепому мнению взрослых получалось, что если он сам залез на дерево, то он обязательно будет проявлять стремление падать с не-

го. Это было тем более глупо, что как раз с корзиной перелезть на дереве с ветки на ветку гораздо трудней и опасней, чем лазить по деревьям без всякой корзины.

Да, Чик любил это место. Кроме всего, это место имело еще одно достоинство, которое заключалось в том, что Чик здесь мог от всех отъединиться. Можно точно сказать: Чик любил людей. Но иногда они ему здорово надоедали. И тогда Чик замечал, что люди сами же мешают себя любить. Ему надоедала тетушка со своими вечными рассказами о своей якобы изумительной молодости, надоедала бабушка, надоедали друзья. Даже сумасшедший дядюшка и то надоедал.

И когда они ему все надоедали, ему негде было от них укрыться, кроме как на вершине этой груши. И он потихоньку залезал на грушу и сидел там до тех пор, пока люди ему не переставали надоедать. Бывало, час сидит на груше или два сидит на груше, а потом слезает и сам чувствует, что люди ему больше не надоедают. И он посвежевшими глазами смотрит на них, разговаривает, играет, слушает их рассказы.

Но сегодня Чика не радовало ни его любимое место, ни ласковое солнце, которое просвечивало сквозь листья груши и винограда. Дело в том, что в школе у Чика случилась ужасная неприятность. Учитель русского языка, Акакий Македонович, или как его называли, Закидонович, сказал ему, чтобы он на следующий день пришел в школу с кем-нибудь из родителей.

И это было ужасно. Чик хорошо учился, и все домашние гордились его учебой. Мало того, что они гордились его учебой, они постоянно ставили его в пример старшему брату, который плохо учился и плохо вел себя в школе. Родителей постоянно вызывали в школу из-за его старшего брата. Иногда учителя сами приходили домой жаловаться на него. И вдруг Чик, гордость тетушки, сделал такое, что его родителей вызывают в школу! Чик понимал, какой это будет для тетушки невероятный удар. Вернее, какой это будет великолепный повод сыграть невероятный удар, который нанес ей Чик исподтишка.

В последние годы тетушка, как бы махнув рукой на старшего брата Чика, перестала говорить, что он загубил своей дурной учебой и плохим поведением ее лучшие, золотые годы. Она стала придерживаться версии, что старший брат Чика получился таким, потому что не она его воспитывала, а мать Чика. А Чик получился таким хо-

рошим в учебе и поведении потому, что его воспитанием занималась она.

Чик с содроганием представлял, что будет говорить его тетушка. Она начнет с того, что бросила персидского консула, с которым жила как сыр в масле, ради своих инвалидов. Имелась в виду бабушка, которая была вполне здорова, и дядюшка, который не был инвалидом, хотя и был сумасшедшим. Она будет снова говорить, что загубила молодость на брата Чика, хотя из него ничего не получилось. Но у нее оставалась последняя надежда на Чика, и вот, оказывается, именно Чик нанес ей последний, смертельный удар, от которого она навряд ли выживет.

Нет, нет, Чик никак не мог сказать дома, что в школу вызывают родителей. Но, с другой стороны, прийти в школу без кого-нибудь из взрослых нельзя было, потому что Акакий Македонович никогда ничего не забывал. Он бы его просто не допустил до уроков.

«Что же делать?» — с отчаянием думал Чик и ничего не мог придумать. Хорошо бы вообще остаться на дереве и никогда с него не слезать. В тайном убежище Чика можно было даже спать без особого риска, а от голода спасали бы груши, виноград и соседский инжир.

Чик снова и снова вспоминал случившееся в школе. Был урок русского языка, который проводил Акакий Македонович. У него была привычка в стихотворной форме писать правила русской грамматики на доске, а потом эти стихотворные правила ученики должны были переписать в свои тетради и заучить наизусть. Эти правила в стихах Акакий Македонович сам придумывал и тихо гордился этой своей способностью. Другим учителям и в голову не приходило арифметические или физические законы представлять в стихотворной форме. Это умел только Акакий Македонович. И он этим тихо гордился, хотя ученики часто посмеивались над его грамматическими стихами. Но они никогда не смеялись при нем, обычно на перемене. А тут Чик не утерпел.

Сегодня Акакий Македонович своим красивым наклонным почерком написал на доске стихи на тему «Как пишется частица «не» с наречиями».

Как писать частицу «не»  
В нашей солнечной стране?  
То ли вместе, то ли врозь?!  
Не надеясь на авось,  
Вы поймете из примера,

Нужного для пионера.  
НЕКРАСИВО жить без цели,  
Это так, но в самом деле  
НЕ КРАСИВО, а ужасно,  
Жить без цели, жить напрасно  
И теперь любому ясно,  
Как писать частицу «не»  
В нашей солнечной стране.

Это были обычные для Акакия Македоновича гладкие стихи, ласково всовывающие в головы учеников правила русской грамматики. Якобы всовывающие. Все равно ученики запоминали правила грамматики по учебнику, а стихи приходилось заучивать наизусть в угоду Акакию Македоновичу.

Чика всегда раздражали и смешили эти стихи. Они раздражали и смешили его своей вкрадчивой и панвной хитростью. Они как бы говорили: «А теперь, ребята, соберемся в кружок и поиграем в стихотворение. Это будет и приятно и полезно».

На самом деле Чик ничего в них ни приятного, ни полезного не находил. И другие ученики тоже не находили. Но всем приходилось смириться и учить наизусть эти стихи.

На этот раз Чик особенно смешными показались строчки про солнечную страну. Чик, конечно, понимал, что, когда говорят так, имеют в виду не выпадение осадков в их республике, а то, что в солнечной Абхазии люди живут хорошо. И Чик был согласен, когда его страну называли солнечной. Но он никак не понимал, какое это отношение имеет к грамматическому правилу.

И потому эта дважды повторенная строка про солнечную страну показалась Чикю особенно смешной. Он переглянулся с учеником Севастьяновым, и они закивали друг другу и заулыбались. Севастьянов вместе с Чиком всегда первым чувствовал что-нибудь смешное или нелепое, происходящее в классе. И они всегда в таких случаях переглядывались и начинали улыбаться или смеяться. И им было приятно, что они так хорошо друг друга понимают, и от того им становилось еще веселее.

Чик почувствовал, что Акакий Македонович заметил его улыбку и понял, что эта улыбка относится к стихотворению. Но Чик не придавал этому значения, он тогда еще не знал, что на свете существует авторское самодлюбие.

— А теперь, ребята, — сказал Акакий Македонович, — хором прочтем стихи. Читайте с выражением и следите за моими руками.

Как писать частицу «не»  
В нашей солнечной стране?! —

грянул класс тридцатью глотками.

Высокий, со смиренно-покатыми плечами, с детским чубчиком на лбу, Акакий Македонович стоял у стола. Выражением лица, а также дирижерскими движениями рук он подсказывал ребятам правильную интонацию и скорость, с которой надо читать стихи.

Когда ребята читали строчку:

То ли вместе, то ли врозь? —

Акакий Македонович развел руками, и лицо его выразило полное недоумение по поводу этого страшно запутанного вопроса. Зато потом, когда ребята прочитали строчки:

Вы поймете из примера,  
Нужного для пионера... —

лицо Акакия Македоновича просветлело, оно выразило надежду, что смекалистые пионеры во главе с опытным Акакием Македоновичем выберутся из этого дремучего леса, куда заводит детей коварная частица.

Некрасиво жить без цели... —

читали ребята, и Акакий Македонович, удрученно склонив голову со своим детским чубчиком на лбу, как бы упрекал живущих без цели: «Некрасиво, нехорошо».

Не красиво, а ужасно,  
Жить без цели, жить напрасно.

Тут лицо Акакия Македоновича выразило высшую степень отвращения к такому образу жизни. Зато после этой строчки уже до самого конца стихотворения лицо его светлело и светлело, показывая, как он радуется тому, что теперь все пионеры знают, как писать с наречиями эту хитрую частицу.

И теперь любому ясно,  
Как писать частицу «не»  
В нашей солнечной стране.

Все это время Чик переглядывался с Севастьяновым, и они тряслись от сдержанного смеха в самых забавных

местах внешнего поведения Акакия Македоновича. Но, оказывается, все это время, изображая на лице то блаженство, то ужас, Акакий Македонович потихоньку следил за Чиком. А Чик этого не знал.

Когда стихотворение было прочитано, Акакий Македонович, сложив ладони и смиренно прижав их к груди, сказал:

— Мы сейчас с вами, ребята, хором прочитали стихотворение, чтобы лучше усвоить новое правило. А что делал все это время Чик? Чик все это время смеялся. Давайте, ребята, всем классом попросим Чика рассказать, над чем он смеялся, и, если это действительно смешно, посмеемся вместе с Чиком. Встань, Чик, и расскажи нам, над чем ты смеялся?

Чик встал. Ему совсем не хотелось говорить, что он смеялся над стихотворением. Тем более ему не хотелось говорить, что он смеялся и над поведением самого Акакия Македоновича.

— Я смеялся просто так, — сказал Чик.

— Нет, Чик, ты скромничаешь, — сказал Акакий Македонович, — по-моему, ты нашел что-то смешное в нашем стихотворении. Может быть, мы все ошибаемся, так поправь нас, Чик.

Все это он сказал очень спокойным, доброжелательным голосом, но хотя Чик и не нравилась его поза со смиренно сложенными у подбородка ладонями, он как-то поверил его голосу. Чик тогда не имел представления о существовании авторского самолюбия. Также не вполне исключено, что Чик захотелось покрасоваться перед всем классом, показать перед всеми, что он нашел ошибку у Акакия Македоновича. И он решил сказать свое мнение про строчку о солнечной стране.

— По-моему, — сказал Чик, — одна строчка неправильная.

— Очень интересно, — заметил Акакий Македонович, продолжая держать руки у подбородка сложенными ладонями, и, как бы кланяясь, слегка нагнулся вперед, — какая строчка?

— У вас сказано, — бодро начал Чик, —

Как писать частицу «не»  
В нашей солнечной стране?

— Удивительно, как ты это заметил, — сказал Акакий Македонович.

— Но ведь получается, — пояснил Чик, — что пра-



вило это только для нашей солнечной страны, а для дождливой страны не годится?

Класс засмеялся. Чик с некоторой тревогой заметил, что Акакий Македонович слегка побледнел.

— Глупый смех, — сказал Акакий Македонович, — нелепое замечание. Мы живем в солнечной стране, и, естественно, правила нашей грамматики рассчитаны на нашу страну.

— А если кто-то пишет частицу «не» в другой стране, — продолжал Чик, не давая себя сбить, — разве правило для него не годится?

Но тут прозвенел звонок, и Акакий Македонович решил, что Чика надо крепко наказать. Может быть, если бы не прозвенел звонок, он постарался бы доказать, что Чик не прав. Но теперь у него для этого не было времени, и он решил Чика наказать.

— Мы всегда за критику, — сказал Акакий Македонович, — но мы против критиканства. Завтра придешь с кем-нибудь из родителей, придется с ними серьезно поговорить...

И класс снова рассмеялся. На этот раз он рассмеялся неожиданному повороту в судьбе Чика. Чик хотел крикнуть Акакию Македоновичу, что это несправедливо, что ему никак нельзя приводить родителей в школу, но Акакий Македонович взял в руки журнал и со свойственной ему фальшивой смиренностью удалился из класса.

И вот теперь Чик сидит на вершине груши на пружинистом ложе из плетей виноградной лозы и думает, что же ему завтра делать.

Как писать частицу «не»  
В нашей солнечной стране...

Проклятые стихи! Зачем, зачем, думал Чик, я ввязался в этот дурацкий спор! Все равно Закидонович не прав! Страна тут ни при чем! И никакого значения не имеет, солнечная она или дождливая! Но как быть завтра? Ведь без родителей его не пустят в школу.

Чик дотянулся до небольшой виноградной кисти, сорвал ее и стал машинально есть виноград, сплевывая шкурки, которые падали вниз, иногда шлепаясь на листья груши. Чик был в таком тоскливом состоянии, что виноград ему казался не сладким, а каким-то пресным, водянистым.

Он оглядел двор. Сонька и Ника играли в «класси-

ки». Лёсик покачивал в коляске своих братьев-двойняшек. Оника во дворе не было. Чик знал, что он пошел на стадион. Белочка, любимая собака Чика, лежала посреди двора и, наверное, скучала по Чику, не зная, куда он делся. На верхней лестничной площадке второго этажа сидела бабушка и грелась на солнце, перебирая в руках четки. Рядом стоял сумасшедший дядюшка Чика и напевал себе бессмысленные песенки собственного сочинения. Изредка он поглядывал вниз на кухонную пристройку, где возилась Сонькина мать, тетя Фаина. Он ее любил с незапамятных времен безответной, упорной любовью. Об этом все знали. Хорошо ему живется, подумал Чик, поет себе песенки, ни о чем не думает, никто его родителей не вызывает в школу.

Чик оглядел крышу флигеля, в котором жил Лёсик. В желобе, ведущем к водосточной трубе, все еще лежал теннисный мяч. Уже целых два года Чик ожидал, когда струя дождевой воды загонит его в водосточную трубу и он вывалится в бочку, стоящую под ней. Но уже несколько месяцев, как мяч остановился в двух метрах от трубы и не хотел двигаться дальше. Видно, там его что-то сильно задерживало. Но Чик упрямо надеялся, что пойдет сильный ливень и поток в конце концов загонит мяч в трубу.

В распахнутых окнах веранды второго этажа была видна тетушка Чика в своей классической позе со стаканом крепкого чая в руке и с папиросой, дымящейся в пепельнице. Она что-то оживленно рассказывала невидимой собеседнице, и Чик совершенно не исключал, что она хвастается его учебой. Подумав об этом, Чик вспомнил о завтрашнем дне и затосковал с новой силой.

Вдруг в воздухе грохнул восторженный вопль толпы. За два квартала отсюда был расположен стадион. Там сегодня местная команда играла с городом Армавиром. Судя по взрыву восторга, наша команда забила мяч. Обычно, если мяч забивала приезжая команда, на стадионе устапавливалась обидчивая тишина.

Чик знал, что сегодня на стадионе игра, но из-за своего плохого настроения туда не пошел. Что за охота идти на стадион, когда у тебя на душе скребут кошки? Несколько мужчин, сидя на крыше соседского дома, издали наблюдали за игрой. Чик не любил таких крохоборов. Когда мальчишки смотрят с крыши или с дерева, это понятно: значит, у них нет денег, а пройти зайцем они не

решаются. Но когда взрослые, жалея деньги, следят за игрой с крыши своего дома — это как-то противно.

— Костя! — крикнул один из мужчин, обернувшись в колодец своего двора.

— Костя спит, — ответил ему женский голос.

— Разбуди его, Тамара, разбуди!

— Зачем его будить? — ответила женщина.

— Интерес имею что-то сказать ему, — крикнул мужчина.

— Он ругаться будет, — ответила женщина.

— Не будет, клянусь детьми! — крикнул мужчина. — Я ему скажу такое, что он радоваться будет, а не ругаться!

— Чего тебе? — раздался через минуту сильный мужской голос. Видно, женщина разбудила мужа.

— Костя, — восторженно закричал человек с крыши, — наши хамают их, как пончик! Уже два мяча забили!

— Зачем разбудила, — раздраженно сказал мужчина, — я еще полчаса поспал бы...

— Он поклялся детьми, — визгливо сказала женщина, — я думала, что-то по работе!

— Ладно, — сказал мужчина, — арбуз под кран поставила?

— Поставила, — ответила женщина.

— Тогда припеси, — сказал мужчина, — хоть арбуз покушаем, раз ты меня разбудила.

Некоторое время во дворе было тихо, а на крыше следили за тем, что происходит на стадионе.

— Слушай, в игре забили или со штрафного? — крикнул мужчина со двора, и Чик почувствовал, что голос его посвежел от первого ломтя арбуза.

— Клянусь детьми, оба мяча забили в игре, Костя! — восторженно крикнул мужчина с крыши.

— Ладно, — примирительно сказал тот, что кушал арбуз, — если что-нибудь будет интересного — крикнешь!

— Обязательно, Костя! — крикнул человек с крыши и снова повернулся в сторону стадиона. Во дворе было тихо, и Чик подумал, что разбуженный сейчас ест второй ломоть арбуза.

Вообще Чик любил бывать на стадионе. Недавно дядя Чика, разумеется, не сумасшедший, а, наоборот, самый умный дядя Риза водил его на стадион. И надо было, чтобы так повезло. Наша местная команда обыграла тби-

лиское «Динамо». Единственный раз в жизни Чик видел, что наша местная команда обыграла тбилиское «Динамо». Все болельщики города вместе с Чиком мечтали о таком дне. И вот этот день наступил, и восторгам болельщиков не было конца. Они беспрерывно рукоплескали финтам наших нападающих, с преувеличенным весельем хохотали над каждой неудачной подачей мяча противником и взрывом восторга встречали каждый гол, забитый нашей командой.

Правда, Чик от дяди знал, что на этот раз тбилисцы прислали молодежный состав команды и поэтому она играла слабее, чем обычно. И Чик чувствовал, что радость его по поводу победной игры нашей команды от этого несколько ущемлена. Но он также чувствовал, что радость болельщиков от этого никак не уменьшается. Главное, что тбилисцы проигрывали, а остальное никого совершенно не трогало. Чик чувствовал в глубине души некоторую зависть к такому упрощенному восприятию радостей жизни. Он понимал, что он сам на это не способен.

А самое интересное, что после каждой удачной обводки нашим игроком их игрока или после каждого неудачного паса их игрока, а уж тем более после каждого забитого гола нашими игроками весь стадион оборачивался и смотрел куда-то, а куда они все смотрят, Чик никак не мог понять.

— Куда они смотрят, дядя? — спросил Чик.

— Они считают, что на стадионе есть один болельщик из Тбилиси, вот они все и пытаются его разглядеть.

— Они его знают? — удивленно спросил Чик.

— Не больше, чем нас с тобой, — ответил дядя.

— Куда же они все смотрят? — спросил Чик, удивляясь, как это можно на переполненных трибунах разглядеть одного человека.

— Им кажется, — сказал дядя, — что они его могут разглядеть. Может, они меня принимают за него или еще кого-нибудь...

Чика тогда очень удивило это безумие толпы. Ну как можно на трибунах огромного стадиона разглядеть одного человека, даже если он и в самом деле здесь? Каждый раз после удачи наших футболистов или неудачи их футболистов сотни людей оборачивались, многие вскакивали с мест и старались разглядеть этого неведомого тбилисца, чтобы насладиться выражением растерянности, подавленности на его лице. Чик тогда хорошо почув-

ствовал многостороннюю, как бы уходящую в бесконечность глупость толпы.

Ну до чего же смешные эти люди! Во-первых, явно не зная, где именно сидит этот неведомый тбилисец, они все-таки все смотрели куда-то наверх и в сторону центральной трибуны. Можно было подумать, что этот тбилисец заранее дал всем слово сидеть на таком месте, где его легче всего будет разглядеть. Но, разумеется, он никому никакого слова не давал, если он вообще был на стадионе. Просто всем удобнее было таращиться наверх, и они его искали там, куда им удобней было смотреть.

И еще смешно было, что все, вскакивая с мест и уставившись вдаль с торжествующей улыбкой и явно никого не разглядев и нисколько этим не разочаровавшись, через минуту успокаивались и начинали следить за игрой, словно они достигли своей цели. Их успокаивающие лица с выражением дурацкого торжества как бы говорили: «Ну, может быть, я его на этот раз и не разглядел, но уж он-то никак не мог не разглядеть моей торжествующей улыбки, а это — главное».

И еще смешно было, что толпа, десятки раз вскакивая, чтобы разглядеть удрученного тбилисца, совершенно забывала опыт своих предыдущих беспечных вскакиваний, и на лицах вскакивающих и оборачивающихся людей не было ни малейшего следа мысли о возможности повторения неудачи. Каждый раз они верили, что именно на этот раз они увидят злосчастного тбилисца.

— Чик, кинь кисточку винограда, — услышал он чей-то голос.

Чик оглянулся. Из окна дома, высящегося рядом с грушей, торчала голова толстого мальчика. Он учился с Чиком в одной школе, только был из другого класса. Он жил на третьем этаже, и окно его находилось на одном уровне с Чиком. Сейчас он вынес на подоконник тетрадь, задачник, чернильницу и ручку. Вообще этот мальчик считался маменькиным сыночком и невысоко ценился Чиком и другими ребятами.

Тем не менее Чик сорвал большую гроздь винограда и небрежно швырнул ее в окно. Толстый мальчик поймал кисть на грудь и стал есть виноград. Он быстро прикончил гроздь и снова попросил Чика:

— Чик, кинь теперь мне грушу!

Чик неохотно потянулся за грушей.

— Не ту, Чик, во-о-он ту! — сказал мальчик и, вы-

тянув из окна толстую руку, показал на грушу, висевшую на конце ветки далеко от Чика.

— Бери, пока дают! — сказал Чик и, сорвав грушу, висевшую близко от него, кинул ее в окно.

Мальчик опять на грудь поймал грушу и стал уплетать ее. Он ел ее, так сочно вонзая зубы в плод, что Чику самому захотелось, и он, сорвав грушу, стал ее есть.

— Чик, отчего ты все время на дереве сидишь? — спросил мальчик, шумно жуя и причмокивая.

Чик сразу все вспомнил, и кусок груши, который он жевал, сделался водянистым и невкусным.

— Чтобы бросать тебе груши и виноград! — ответил Чик сердито.

— Нет, правда, Чик, — сказал мальчик, доедая свою грушу, — я уже давно заметил, что ты сидишь на дереве... Кинь теперь виноград!

— На твое пузо не напасешься, — сказал Чик, но сорвал еще одну кисточку и бросил ее в окно. Хотя этот мальчик его рассердил, Чик чувствовал, что не может не бросить ему кисть винограда. Он подумал, что когда человеку уже сделал что-то хорошее, трудно не сделать ему еще раз что-то хорошее. Это потому так получается, думал Чик, что если ты ему откажешься делать что-то хорошее, то пропадет то хорошее, что ты ему сделал раньше. А тебе не хочется, чтобы оно пропадало.

— Кроме шуток, Чик, — снова спросил мальчик, — почему ты так давно на дереве сидишь?

— Я теперь отсюда никогда не слезу, — сказал Чик.

— Мама, — обернулся мальчик в комнату, — Чик говорит, что он никогда с дерева не слезет.

Мать ему что-то ответила, но Чик не расслышал ее голоса.

— Чик, но ты же умрешь с голоду, — сказал мальчик, явно повторяя слова матери.

— Нет, — сказал Чик, — я буду есть груши, виноград, инжир, а хлеб ты мне будешь из окна кидать.

— Мама, — обернулся мальчик в комнату, — Чик говорит, что он будет кушать фрукты, а хлеб я ему из окна буду кидать.

Мать ему что-то ответила.

— Чик, — сказал мальчик, явно повторяя слова матери, — но ведь хлеб нельзя из окна кидать?

— Значит, груши и виноград в окно можно кидать, — язвительно проговорил Чик, — а хлеб из окна нельзя?!

Приоткрыв рот, мальчик задумался на несколько секунд. По-видимому, он почувствовал в словах Чика какую-то справедливость. Не в силах сам разрешить этого противоречия, он обратился к матери.

— Мама, — сказал он, — а Чик говорит: почему груши и виноград в окно можно кидать, а хлеб из окна нельзя?

Чик с большим интересом ожидал, что ему скажет его мама. Но она ничего не ответила сыну, а, подойдя к окну, выглянула в него и сказала Чику:

— Чик, ты его отвлекаешь от уроков.

— Он сам первый начал, — ответил Чик.

Мать мальчика закрыла окно и ушла в глубину комнаты. Мальчик некоторое время с недоумением глядел на Чика из-за стекла, по-видимому, стараясь осмыслить его слова, и, скорее всего так и не осмыслив их, занялся своими уроками. Время от времени, подымая голову над задачкой, он снова глядел на Чика, явно вспоминая его слова, но Чик уже на него не смотрел. Он смотрел во двор.

Девочки продолжали играть в «классики». Лёсик, сидя возле коляски со своими двойняшками, читал книгу. Тетушка продолжала пить чай на веранде. Бабушка, сидевшая на верхней лестничной площадке, ушла оттуда на веранду, а сумасшедший дядюшка Чика, воспользовавшись тем, что бабушка за ним не следила, спустился вниз и сейчас, сосредоточенно склонившись к стене кухонной пристройки, подглядывал за тетей Фаиной. Одна сторона кухонной пристройки была обращена к огороду, и дядя как раз стоял с этой стороны, потому что здесь его со двора никто не видел. Но Чик с груши хорошо видел его склоненную спину и голову, прильнувшую к фанерной стене.

Чик знал, что дядя Коля любит тетю Фаину, но он никак не мог понять, какое таинственное удовольствие доставляет ему следить за тем, как грязнуха тетя Фаина возится в своей захлавленной кухоньке. Эта кухонная стена пестрела кожаными латками, при помощи которых муж тети Фаины, по профессии сапожник, латал дырочки в кухонной стене. Эти дырочки в стене довольно умело пробуравливал гвоздиком дядя Коля, чтобы следить за тетей Фаиной. Кстати, вдоволь насладившись зрелищем тети Фаины, дядя вставлял в дырочку маленький колышек, специально соструганный им, чтобы дырочку не было заметно со стороны. Об этом знали все, и все смеялись

над наивной хитростью дяди Коли. Но Чик в отличие от всех догадался (во всяком случае, он так думал) еще об одном предназначении этого колышка. Чик решил, что этим колышком дядя не только скрывает дырочку от постороннего глаза, но как бы пресекает возможность для других подглядывать за тетей Фаиной.

Кстати, дырочку эту все равно рано или поздно обнаруживала тетя Фаина или ее муж, и во дворе подымался небольшой скандал. Дядя Коля в результате получал от бабушки несколько подзатыльников, которые он, как виновный, переносил с безропотной застенчивостью, а тетушка в зависимости от настроения ругала или дядю Колю, или тетю Фаину, доказывая, что она нарочно совращает дядюшку.

Муж тети Фаины, ворча, что его жена — честная женщина, ставил на стене кухни очередную латку, и дядя Коля несколько дней воздерживался от подглядываний за тетей Фаиной. Но потом он или забывал о случившемся, или под влиянием своей неутихающей страсти снова просверливал дырочку в стене и снова сосредоточенно замирал над щелочкой, подглядывая за тетей Фаиной, готовившей обед.

Чик с дерева следил за дядей Колей, как вдруг из кухни выскочила тетя Фаина, обогнула ее и очутилась за спиной дяди Коли, продолжавшего смотреть в щелочку.

Она хлопнула его по спине, дядя Коля разогнулся и, страшно сконфуженный, развел руками, видимо, показывая, что страсть, владеющая им, сильнее его воли.

Чик решил, что она сейчас подымет крик, обращаясь к тетушке, все еще пившей чай на веранде, но она неожиданно сделала совсем другое. Она сунула дяде Коле кошелку и, показывая на дерево, на котором сидел Чик, сказала:

— Груши, груши...

Дядя посмотрел на дерево, потом на тетю Фаину, потом опять на дерево и, наконец уразумев ее просьбу, закивал головой и радостно улыбнулся, благодарный ей за то, что она не ругает его. Он тряхнул в руке кошелку и быстро направился к груше.

Чик никак не ожидал такого оборота дела. Дяде Коле строго-настрого запрещали лазить по деревьям, да он и не пытался никогда влезать на дерево. А тут, оказывается, вон что!

Дядя Коля быстро разулся и с необыкновенной энер-



гией, которую Чик определил как следствие его ненормальности, влез на грушу. Сумасшедший дядя и племянник, тайно залезшие на одно дерево, — это было слишком! Если он долезет до вершины, подумал Чик, то он обнаружит, что Чик без разрешения влез на дерево, и поймет, что Чик его самого застукал за тайным сбором груш для тети Фаины. Интересно, сообразит ли он все это?

Но дядя Коля до вершины не долез, а долез только до середины дерева, повесил кошелку на сучок и стал дотягиваться до груш, срывая их и перекладывая в кошелку. Действовал он быстро, но и достаточно осмотрительно, чтобы не упасть с дерева. Оказывается, сумасшедшие тоже чувствуют, как надо держаться на дереве, чтобы с него не упасть. Чик понял, что дядя Коля все это проделывает не в первый раз. Человек, который первый раз влез на дерево, не может действовать столь уверенно и четко.

До чего же хитрая, оказывается, тетя Фаина! Оказывается, она использует любовь дяди Коли, чтобы получать задарма фрукты. Покамест дядя Коля собирал груши, тетя Фаина несколько раз выскакивала из своей кухоньки и глядела на дерево. Чик понял, почему она это делает. Она не хотела, чтобы дядя Коля сам принес ей на кухню кошелку. Тетушка в этом случае его могла заметить с веранды.

У Чика был большой соблазн срывать виноградины и сверху бросать их на голову дяди Коли. Сидя в густой листве своего укрытия, он мог оставаться для него незамеченным. Но Чик все-таки не решился тронуть его. Все-таки он же никогда не пробовал дразнить дядю Колю на дереве. Вдруг он от неожиданности сорвется с дерева и упадет? Лучше не пробовать.

Набрав груш, дядя Коля слез с дерева, а тетя Фаина подбежала к нему, отобрала у него кошелку, и, пока дядя Коля обувался, она с кошелкой, незаметно прижав ее к бочку, шмыгнула к себе на кухню.

Ну и дела, подумал Чик. Вот как она, оказывается, использует любовь дяди Коли. Дядя Коля обулся и снова подошел к кухонной пристроечке и стал глядеть на тетю Фаину в щелочку, по-видимому решив, что теперь он вполне заслужил это удовольствие. Но недолго пришлось ему смотреть в щелочку. Тетя Фаина выскочила из кухни, подошла к дяде Коле и, ткнув его в бок, сказала, показывая во двор:

— Хватит, иди, иди!

Дядя Коля посмотрел на нее растроганным взглядом и виновато пожал плечами. Он как бы робко намекал на то, что на этот раз заслужил некоторую благодарность. Но тетя Фаина оставила этот намек без внимания и, снова ткнув его в бок, показала рукой, чтобы он убирался отсюда. После этого тетя Фаина быстро удалилась, метнув взгляд в сторону веранды, где тетушка Чика продолжала, сидя у окна, пить чай. Дядя, как показалось Чыку, тяжело вздохнул, вынул из кармана колышек, воткнул его в дырочку и ушел во двор.

Во двор вошел дядя Алихан, катя перед собой свой лоток с восточными сладостями. Он остановил лоток у порожка своей комнаты, вынес из комнаты большую тарелку и, переложив в нее непроданные сласти, внес в комнату. Потом зажег керосинку, стоявшую у порога дома, и поставил на нее кувшин с водой. Подогрев воду, он вынес из комнаты таз, налил в него воду из кувшина, уселся на маленькой скамейке, разулся и окунул ноги в таз с водой. Распаривать ноги в горячей воде было его любимым занятием. Обычно, распаривая ноги, он скреб подошвы особой ложечкой, при этом постанывая от удовольствия.

Но на этот раз до ложечки не дошло, потому что во двор вышел Богатый Портной с нардами под мышкой. Жена Алихана вынесла два стульчика. На один из них они поставили нарды, а на другой уселся Богатый Портной. Они раскрыли доску, расставили фишки и стали метать кости. Дядя Алихан, играя в нарды, время от времени подливал из кувшинчика в таз горячую воду, с удовольствием замирая и прислушиваясь к действию воды на его покрытые мозолями ноги. При этом Богатый Портной с раздражением смотрел на него и нетерпеливыми восклицаниями тормозил его и заставлял браться за кости. Так было всегда. Богатый Портной ни за что не хотел верить, что такое пустячное занятие, как распаривание ног и поскребывание подошв ложечкой, может человеку доставлять какое-то удовольствие.

Снова со стороны стадиона раздался взрыв восторга толпы. Видно, наши забили гол.

— Разве это футбол! — воскликнул Богатый Портной. — Это не футбол, Алихан!

— Почему не футбол? — миролюбиво возразил Алихан, подымая свои круглые брови над круглыми глазами.

— Потому что футбол копчился, — сказал Богатый

Портной, — кто слышал, чтобы Армавир играл в футбол? В Армавире всегда только семечки кушали. Футбольные годы — это тридцать пятый, тридцать шестой, тридцать седьмой! Это золотые годы футбола!

Чик понял, что сейчас он начнет хвастаться, как он играл в футбол.

— В тридцать пятом году, как сейчас помню, — начал Богатый Портной, — играем с Батумом на нашем поле. Никак не можем забить гол. Тут мне Арчая подает, и я с ходу иду на прорыв. А трибуны волнуются: «Браво, браво, правый инсайд!» А кто правый инсайд? Я правый инсайд! Одного хавбека обвожу! Второго хавбека обвожу и врезаю в девятку! Трибуны с ума сходят: «Браво, браво, правый инсайд!» А сейчас Армавир бросил семечки и начал играть в футбол.

— Значит, научились, — мирно возразил Алихан и подлил в таз воду из кувшинчика.

— Что ты говоришь, Алихан, — крикнул Богатый Портной. — Где Армавир, где футбол?!

— Ладно, играй, — сказал Алихан и метнул кости.

Богатый Портной продолжил игру, ворча и постепенно успокаиваясь.

Тут во двор вошел какой-то человек и подошел к дяде Коле. Дядя Коля сидел на одном из камней, огораживающих клумбу со сливой посредине, и, помахивая веточкой шелковицы, отгонял от себя мух.

Человек что-то стал спрашивать у дяди Коли, но дядя Коля явно его не понял и стал отмахиваться от него веткой шелковицы. Тот продолжал свои расспросы, и дядя Коля несколько более раздраженно отмахнулся от него веткой.

Тут Богатый Портной и Алихан заметили этого человека, и Алихан раскрыл было рот, чтобы объяснить ему, что он имеет дело с сумасшедшим. Но Богатый Портной движением руки остановил его, чтобы позабавиться этим недоразумением. Человек снова обратился к дяде Коле, и Богатый Портной затрясся от сдерживаемого смеха. Дядя Коля уже довольно резко отмахнулся от него своей веточкой шелковицы.

— Отстань, — сказал он ему по-турецки и добавил по-русски: — Иди, иди!

Небольшой словарь дяди Коли, по подсчетам Чика, около восьмидесяти слов, состоял из абхазских, турецких и русских слов. На этих языках говорили дома, и он со-

ставил себе небогатый, но затейливый язык из смеси трех языков.

— Что вам надо, товарищ? — наконец обратился к этому человеку Богатый Портной, словно только что заметив его.

— Я у него спрашиваю, не живет ли в этом дворе Габуния, — сказал человек, недоумевая, — а он мне ничего не отвечает.

— Так он же сумасшедший, — ответил Богатый Портной восторженно, — разве вы не знаете?

— Нет, конечно, — ответил человек и опасливо отстранился от дяди Коли.

— Да, — восторженно подтвердил свои слова Богатый Портной, — он самый настоящий сумасшедший!

— Я же не знал, — сказал человек, опасливо косясь на дядю Колю, который, обернувшись к Алихану и Богатому Портному, стал им, смеясь и делая рукой всякие знаки, объяснять нелепость поведения этого человека, обращающегося к нему с праздными вопросами.

— Если вас что-нибудь интересует, — продолжал Богатый Портной с важностью, — вы можете спросить у меня. У Алихана тоже можете спросить, но у него нельзя спрашивать, потому что это будет пустой номер. А если вас интересует Габуния, работающий сторожем в школе, он живет в следующем дворе направо.

— Спасибо, — сказал человек и, как показалось Чика, с облегчением покинул их двор.

— Вот люди, — сказал Богатый Портной, — мы здесь сидим и играем, но он у нас не спрашивает, а спрашивает у бедного Коли.

Богатый Портной разговорился, и, видно, ему еще хотелось поговорить.

— Ладно, играй, — прервал его Алихан, и Богатый Портной метнул кости.

И тут внезапно Чика осенила гениальная мысль: он приведет в школу дядю Колю! Ведь его там никто не знает. А если учителю что-нибудь покажется странным, то Чик объяснит это тем, что дядя Коля плохо слышит. Он ведь и в самом деле плохо слышит.

Осчастливленный своей удивительной догадкой, Чик быстро слез с дерева и вошел во двор. Белочка подбежала к нему и стала прыгать вокруг него, показывая, до чего она по нему соскучилась. Поглаживая прыгающую Белку, Чик с удовольствием обошел дядю Колю, деловито вглядываясь в него и стараясь почувствовать, какое впе-

чатление он произведет завтра на Акакия Македоновича. Дядя тоже насторожился, следя глазами за Чиком. Ему казалось, что Чик присматривается к нему, чтобы начать его дразнить.

— Собака, — по-абхазски прикрикнул он на прыгающую Белку, тем самым предупреждая, что готов дать отпор любому злему умыслу Чика.

Но Чик и не думал его дразнить. Он готов был броситься на шею дяде Коле и восторженно прижать его к груди. К сожалению, дядя Коля такие вещи не понимал. Чик отошел от него и стал ходить по двору, обдумывая план завтрашних своих действий.

Как дядю Колю выманить со двора и привести его в школу? Конечно, лучший способ — пообещать ему лимонад. Дядя Коля больше всего на свете обожал лимонад. Магазин, где продавали лимонад и всякие другие продукты, был расположен рядом со школой. Надо привести туда дядю Колю, напоить его лимонадом и потом, когда благодушие его достигнет предела, завести его в школу.

Но где взять деньги на лимонад? У Чика денег не было, а дома с деньгами было трудновато. Дома денег не дадут. Где же их взять? Конечно, у Оника, сына Богатого Портного. У него копилка, в которую он опускает монеты почти каждый день.

Чик имел большое влияние на своих товарищей по двору. Он мог уговорить Оника одолжить ему эти деньги. Но он знал, что от этого у Оника испортится настроение. Чик не хотел, чтобы у Оника портилось настроение. Он решил что-нибудь обменять на деньги, которые даст ему Оник. Что же ему дать? У Чика не было ничего такого, что бы могло понравиться Онику.

Но, видно, гениальный замысел не приходит один, он приводит с собой другие гениальные догадки, чтобы выполнить этот замысел. Чик понял, что он предложит Онику. Он ему продаст теннисный мяч, который застрял в желобе крыши. Хотя формально мяч этот Чик не принадлежал, но Чик его первый заметил, и это означало, что он будет принадлежать Чикю.

Чик посмотрел на небо. Ему хотелось, чтобы на небе были тучи и собиралась гроза. Тогда легче было бы уговорить Оника, потому что во время грозы поток воды в желобе может подхватить мяч — и он, пройдя водосточную трубу, бултыхнется в бочку.

Небо, к сожалению, было синее, и никаких признаков

ухудшения погоды Чик не заметил. Но ничего, все равно теперь он уговорит Оника. Надо взять у него денег на две бутылки лимонада. Такой мячик стоит гораздо больше, чем две бутылки лимонада.

— Наши выиграли четыре — ноль! — восторженно закричал Оник, вбегая во двор.

— Армавир — это не команда, — сказал Богатый Портной, уже обращаясь к Онику, — в Армавире только семечки кушают!

Чик взял Оника под руку и отвел его подальше от всех к подножию кипариса. Оник еще был пронизан восторгом победы наших футболистов. Чик чувствовал, что очень скоро восторг его угаснет, но ничего нельзя было сделать, решалась судьба.

— Оник, — сказал Чик, — мне позарез нужно сорок копеек для одного дела.

— Но у меня нет, — сказал Оник, постепенно тускнея.

— Знаю, — сказал Чик, — но ты их должен выпутать из своей копилки.

— Из копилки папа не разрешает, — сказал Оник, окончательно загрустив.

— Знаю, — сказал Чик, — но мне позарез нужно сорок копеек. Я тебе продаю свой теннисный мяч за сорок копеек.

— А он что, уже выкатился? — оживился Оник и даже удивленно посмотрел на небо.

— Нет, — сказал Чик, как человек, придерживающийся суровой правды, — но скоро начнутся ливни, и он выкатится...

— Выкатится, — уныло повторил Оник, опять потускнев, — он целых два года все выкатывается...

— Обязательно выкатится, — сказал Чик уверенно, — ведь больше ему некуда деться.

Оник уныло посмотрел на синее небо.

— На небе ни одной тучки, — сказал Оник.

— Правильно, — сказал Чик, — но что это значит?

— Это значит, — сказал Оник, — что погода хорошая и дождя не будет.

— Нет, — сказал Чик, — это значит, что скоро будет дождь.

— Почему? — удивился Оник.

— Как же ты не понимаешь, — сказал Чик, — раз уже столько дней погода хорошая, значит, скоро должен

пойти дождь. Не может же быть все время хорошая погода?

— Все-таки неизвестно, выкатится мяч или нет, — сказал Оник.

— Выкатится, — повторил Чик убежденно, — ему больше некуда деться... И вот что... Если тебе жалко денег, так я у тебя потом выкуплю мяч, и получится, что ты все это время бесплатно пользовался моим мячом...

— А когда выкупишь? — оживился Оник.

— Не знаю, — сказал Чик честно, — но ведь чем дольше я не буду у тебя выкупать мяч, тем больше ты будешь им бесплатно пользоваться.

— Ладно, сейчас принесу, — сказал Оник, задумавшись над двусмысленным предложением Чика. С одной стороны, вроде лучше бы Чик его быстрее выкупил, а с другой стороны, чем дольше он не будет выкупать, тем дольше можно им бесплатно пользоваться.

Оник бежал домой и чувствовал, что он сделал выгодную сделку. Он вытряхнул из копилки сорок копеек, поставил копилку на место и вернулся во двор. Он передал деньги Чику, и Чик положил их в карман. Тут Оник вспомнил, что мяча еще нет и погода не портится. Он опять загрустил, и Чик это почувствовал.

— Не унывай, — сказал Чик, щупая в кармане две двадцатикопеечные монеты, — скоро у тебя будет прекрасный теннисный мяч.

— Нет, — вздохнул Оник, — я ничего.

Остаток дня и весь вечер Чик думал о предстоящем походе с дядей Колей в школу. Он испытывал необычайный прилив нежности к дяде Коле, но не знал, как его проявить. Он бросал на него долгие взгляды, особенно когда оставался с ним наедине или когда на них никто не смотрел. Раньше обычно Чик эти мгновения использовал для того, чтобы подразнить его. И когда сейчас Чик смотрел на дядю Колю, дядя Коля тоже смело устремлял на него свой взгляд в ожидании, что Чик его сейчас начнет дразнить. Но Чик ему взглядами старался сказать, что он его любит и никогда, никогда его больше не будет дразнить. Он также пытался объяснить дяде Коле взглядами, к какому большому и важному делу он приставлен Чиком.

Но дядя Коля его взглядов не понимал. Он только знал, что раз Чик стал на него глазеть, то, значит, Чик собирается его дразнить. И он готовился к обороне, слегка подбравшись и глядя на Чика твердым, почти не

мигающим взглядом. В конце концов кроткий взгляд Чика дяде надоел, и он, решив, что этот кроткий взгляд — новый способ издевательства, упрощенно пожаловался бабушке:

— Мальчик смотрит.

— Уж и посмотреть на тебя нельзя, — сказала бабушка и слегка хлопнула дядю по спине.

На следующий день перед началом занятий Чик воспользовался моментом, когда дядюшка был вне поля зрения взрослых, подошел к нему и показал свои деньги. Дядюшка очень заинтересовался деньгами и, наклонившись, внимательно их рассмотрел.

— Лимонад, лимонад, — громко сказал Чик и, махнув рукой, дал ему знать, что он может пойти с ним в магазин и выпить лимонаду.

— Лимонад? — обрадованно переспросил дядюшка.

— Лимонад, — подтвердил Чик и положил деньги в карман.

— Пошли, — сказал бодро дядюшка по-турецки и добавил по-русски: — Мальчик хороший.

Они спустились со второго этажа во двор, и Чик, знаком остановив дядюшку, забежал домой за портфелем и пиджаком отца. Чик заранее завернул в газету этот пиджак и собирался по дороге напялить его на дядю. Чик считал, что в пиджаке у дяди будет более солидный, интеллигентный вид. А так он выглядел как-то несолидно — то ли деревенский пасечник, то ли сторож какого-то сада.

Чик схватил портфель и сверток с пиджаком и выскочил во двор. Он очень боялся, что мама, или тетушка, или бабушка остановят их, пока они выходят со двора. Но их никто не заметил, и они, выйдя на улицу, быстрыми шагами дошли до угла. У дядюшки был тот целенаправленный вид, какой у него бывал, когда они шли на море, на базар или в баню.

На углу Чик развернул сверток и подал пиджак дяде. Дядюшка с удивлением оглядел пиджак.

— Черим-баба? — догадался дядюшка, что пиджак принадлежит отцу Чика. Так он его называл.

— Надевай, надевай, — кивнул Чик.

— Колю ругать? — спросил дядюшка, имея в виду, что без спросу надевать чужие вещи не положено, хотя он очень любил всякую обновку.

— Нет, нет, — заматал головой Чик, а потом утвердительно закивал: можно.



— Можно? — спросил дядюшка, склоняясь надеть пиджак и радостно глядя на него.

— Да, да, — сказал Чик и подал ему пиджак.

Дядюшка надел пиджак и взволнованно оглядел его. Он сунул руки в карманы и вынул из одного из них платок. Тут взыграла его обычная брезгливость; пиджаку он был рад, но грязный платок ему был ни к чему.

— Гадкий, — сказал он по-турецки и, держа платок двумя пальцами, вручил его Чикю.

Чик молча положил платок в карман, и они подошли к магазину, где торговал толстый продавец Месроп.

— Дядя Месроп, две бутылки лимонада, — сказал Чик и, стукнув монетами, положил их на прилавок.

Дядюшку распирала радость и от предстоящего лимонада, и от нового пиджака.

— Черим-баба, Черим-баба, — сказал он продавцу, хлопая себя ладонями по груди и показывая, что отец Чика подарил ему новый пиджак.

— Хороший, хороший, — сказал Месроп, знавший дядю Колю, и показал ему большой палец в знак высокой оценки пиджака.

— Хороший, — согласился дядя Коля и поощрительно похлопал Чика по плечу в знак одобрения всех его действий. Он был взволнован и возбужден.

Месроп открыл две бутылки лимонада, вымыл стакан и поставил его перед дядей. Дядя быстро налил себе в стакан желтый бурлящий лимонад и, продолжая держать одной рукой бутылку, поднес другую руку ко рту и, блаженствуя и судорожно двигая горлом, вылил туда весь стакан. Потом он быстро, словно боясь, что лимонад испарится, налил второй стакан, и не успели пузырьки в нем успокоиться, как он с такой же быстротой вылил его себе в горло. После третьего стакана, опорожнив бутылку, он сделал небольшую передышку.

Пока он пил, толстый, тяжело дышащий Месроп добродушно следил за ним, радуясь за него, что он может так наслаждаться такими простыми вещами, и одновременно радуясь за себя, за то, что он в отличие от дяди Коли нормальный человек, а не сумасшедший.

Дядя Коля, слегка опьянев от выпитого лимонада, стал знаками и восклицаниями рассказывать Месропу свою запутанную историю взаимоотношений с Чиком. Он ему пытался объяснить, что вот Чик по своему недомыслию иногда его дразнит, а на самом деле довольно

добрый мальчик, потому что подарил ему пиджак и еще угостил лимонадом.

После второй бутылки дядя был в полном восторге. Как только они отошли от прилавка, Чик повернулся в сторону школы, которая находилась рядом, и, показывая на нее, сказал:

— Пойдем в школу.

— Школа, школа, — согласился дядя, взглянув на нее, но еще не понимая, что Чик его туда приглашает. О предназначении школы дядя, как понимал Чик, догадывался. Но в таких мелких подробностях, как учителя, директор, вызов родителей, он, конечно, не разбирался.

Чик, взяв его за рукав, слегка потянул в сторону школы.

— Школа, школа, — повторил Чик, стараясь голосом довести до его сознания свое намерение и внушить, что это намерение ничего опасного для него не содержит в себе.

— Школа? — переспросил дядя.

— Да, школа, школа, — повторил Чик и снова потянул его за рукав.

— Пошли, — сказал дядя по-турецки и отправился вместе с Чиком в сторону школы.

Чика несколько тревожило, что дядя, общаясь с учителем русского языка, может употреблять перусские слова. В крайнем случае, решил Чик, он скажет учителю, что дядя хорошо понимает по-русски, но плохо говорит.

Как раз прозвенел звонок на большую перемену, и Чику вдруг пришла в голову возможность нового препятствия. Он боялся, что кто-нибудь из его друзей, встретив его в школе с дядей и не понимая, для чего он его привел, невольно выдаст, что дядя сумасшедший.

В самом деле, как только они вошли в школьный двор, навстречу им бросилась Сонька.

— Чик, зачем ты дядю привел? — крикнула она.

— Молчи, — сказал Чик, — потом все узнаешь.

— Что узнаю, Чик? — спросила Сонька, но Чик, сделав страшные глаза, прошел мимо Соньки.

Перед учительской была большая открытая веранда, где на переменах прогуливались учителя. Чик заметил среди них Акакия Македоновича. Чтобы дойти до лестницы, ведущей на веранду, надо было пройти мимо скульптуры трубача, трубящего в трубу. Чик очень боялся, что дядя, увидев эту скульптуру, остановится и будет, показывая на нее рукой, говорить: «Я, я, я...»

У него была привычка принимать за себя всякое изображение поправившегося ему человека, будь то скульптура, плакат, фотокарточка или газетный снимок.

Стараясь прикрывать трубача, Чик дошел с дядей до лестницы и поднялся с ним на веранду. Чик чувствовал вдохновение. Он понимал, что решается его судьба.

Акакий Македонович стоял один у балюстрады. Чик с дядей подошли к нему.

— Акакий Македонович, здравствуйте, — сказал Чик, первым поздоровавшись, чтобы незаметно было, что дядя не отвечает на приветствие. Обычно дядя не здоровался и не прощался. Для него это были слишком мелкие подробности жизни. Но руку подавать он умел, хотя и не любил из брезгливости.

— Здравствуйте, — обернулся Акакий Македонович, смотревший в другую сторону.

Оглядев Чика и дядю, он подал дяде руку. Дядя пожал протянутую руку. Для начала было неплохо.

— Это мой дядя, — сказал Чик и, как бы откровенно признаваясь, добавил: — Он плохо слышит.

Акакий Македонович, взяв дядю под руку, стал прогуливаться с ним по веранде. Чик правильно сделал, что предупредил Акакия Македоновича о том, что дядя плохо слышит. Дядя и в самом деле плохо слышал. Но Чик заботился не о том, чтобы Акакий Македонович приспособился к его слуху. Нет, его хитрость состояла в том, что, предупредив, что дядя плохо слышит, он тем самым оправдывал некоторые странности, которые Акакий Македонович мог заметить за дядей.

Чик точно не знал, о чем говорит Акакий Македонович с дядей. Он только услышал, когда они проходили мимо него, что Акакий Македонович читает ему свои последние грамматические стихи.

...И теперь любому ясно,  
Как писать частицу «не»  
В нашей солнечной стране.

— Спрашивается, что тут странного? — сказал Акакий Македонович, и они прошли мимо. Неизвестно, ждал ли Акакий Македонович на свой вопрос какого-то ответа. Чик ничего не слышал. Но он надеялся на характер Акакия Македоновича. Ему было важнее всего самому говорить, а не слушать, что ему говорят.

По виду дяди было заметно, что он польщен разговором, который затеял с ним этот важный человек. А то,

что человек этот важный, дядя мог понять потому, что тот был в галстукe и в шляпe. Акакий Македонович очень редко и неохотно расставался со своей зеленой велюровой шляпой.

Вдруг в конце веранды появилась Сонька. Она никак не могла понять, почему Чик пришел в школу со своим сумасшедшим дядей. Чик сделал страшное лицо, давая ей понять, чтобы она ни за что на свете не приближалась к нему. Сонька в недоумении стояла в конце веранды, не понимая причины волнения Чика и еще более не понимая, почему учитель прогуливается с сумасшедшим дядюшкой Чика.

Снова прошли мимо него Акакий Македонович с дядей Колей. По лицу дяди было заметно, что он доволен разговором, который ведет с ним серьезный взрослый человек.

— Я думаю, тут сказывается влияние улицы, — донесся до Чика голос Акакия Македоновича.

— Улица, улица, — повторил дядя по-русски знакомое ему слово.

Дойдя до конца веранды, они повернулись и подошли к Чику.

— Я надеюсь, Чик, ты теперь осознал всю неуместность своего поведения на уроке? — сказал Акакий Македонович.

— Да, — согласился Чик смиренно, — осознал.

— Я тут обсудил с твоим дядей твоё поведение и надеюсь, он всё передаст твоим родителям.

— Конечно, — сказал Чик, как бы слегка сожалел о неизбежной пунктуальности дяди.

— Не скрою, — добавил Акакий Македонович, понижая голос, — твой дядя мне показался странным.

— Он необразованный, — пояснил Чик странность дяди.

— Да, это заметно, — подтвердил его слова Акакий Македонович и протянул дяде руку. Дядя пожал протянутую ему руку.

— До свидания, — сказал Акакий Македонович.

— До свидания, — ответил Чик за обоих и поспешил увести дядю с веранды.

Чик шел с дядей по лестнице. Рядом вприпрыжку спускалась Сонька, то и дело спрашивая:

— Чик, что случилось?

— Ничего не спрашивай, — отвечал ей Чик, — потом все расскажу.

Сонька отстала. Чик чувствовал за спиной взгляд Акакия Македоновича, в душу которого явно закрались какие-то подозрения. Чику хотелось, чтобы дядя как можно благопристойней покинул школьный двор.

Внезапно посреди двора дядя остановился у колонки и, отвернув кран, стал усердно мыть руки. Он всегда мыл руки, если с ним кто-нибудь здоровался. Чику это очень не понравилось, но он не стал останавливать дядю, боясь, что это может привести к непредвиденным осложнениям.

Чик украдкой оглянулся на веранду и встретился взглядом с Акакием Македоновичем. Тот перевел удивленный взгляд с дяди на Чика, как бы требуя объяснить поведение дяди. Чик слегка пожал плечами, как бы давая знать, что необразованные люди вроде дяди вечно моют руки, как только им на глаза попадается какая-нибудь колонка.

Но тут дядя, вымыв руки и вытерев их платком, поднял глаза и увидел скульптуру трубача. Он стал показывать на нее рукой и, радостно стучая себя в грудь другой рукой, повторять:

— Я, я, я...

Акакий Македонович еще более удивленно наклонился над балюстрадой веранды, стараясь разглядеть предмет, на который указывал дядя. По-видимому, он все-таки не догадался, что дядя имеет в виду статую. Слова, которые дядя произносил, он не мог расслышать.

Чик подхватил дядю под руку и увел его со двора. Дядя слегка упирался и оглядывался. Он явно недостаточно налюбовался скульптурой. Чик вывел его со школьного двора, направил в сторону дома и отпустил, надеясь, что он по инерции уже сам дойдет до дома, никуда не сворачивая. Дядя быстрой походкой удалялся. Несколько раз он оглянулся, надеясь разглядеть скульптуру трубача, но теперь веранды не было видно.

Прозвенел звонок, и Чик побежал в свой класс. Чик был счастлив, что сумел перехитрить Акакия Македоновича. Его немножко смущало, что, как только дядя придет домой, с него совлекут пиджак отца, не понимая, как он к нему попал. Но это было не страшно. Главное, что тетушка, ни о чем не зная, могла спокойно пить чай на своей веранде.

## Чик на охоте

Чик проснулся рано утром. Он тихо встал, чтобы не разбудить спящих. Он надел майку, потом натянул поверх трусов короткие штаны с карманами и продел в них пояс брата, который Чик еще ночью выдернул из его брюк и положил возле своей кровати.

Он собирался идти на охоту за перепелками и в случае удачи рассчитывал, что перепелок можно головками засовывать за пояс и они будут держаться. Как миленькие будут держаться, только пояс затягивай потуже! Хотя было тепло, Чик влез в рубашку. Он сообразил, что перепелки иногда могут падать в колючие кустарники, и тогда в майке все тело исцарапаешь. Поэтому лучше в рубашке. Надел на ноги сандалии, застегнул пряжки и вышел на веранду.

Чик открыл кран и умылся. Когда Чика не видела мама или тетушка, он умывался очень быстро. Если бы проводились всесоюзные соревнования по быстроте умывания, Чик мог бы стать чемпионом страны. Умывался он молниеносно. Со стороны можно было подумать, что он проверяет воду на влажность. Мазанул мокрыми руками по правой и левой щеке — и все. Да, вода продолжает оставаться влажной. Чик воду любил в виде моря. Или море, или ничего.

На столе стояла миска с грушами. Над ними уже кружились осы. Осы были желтые, как груши. Чик взял со стола свой учебник по истории древнего мира и стал убивать ос. Две осы он убил, а одна улетела, хотя и была тяжело ранена. Уже убитых ос Чик окончательно раздавил на столе тем же учебником истории. Сгреб их спичечной коробкой на учебник и выкинул за окно. Чик знал, что даже мертвой осе нельзя доверять: осу можно раздавить, но она и после этого сохраняет способность жалить. Жить уже не может, но жалить еще может. Вот что такое оса.

Расправившись с осами, Чик тихонько отворил дверцу буфета. Дверца сладостно скрипнула, потому что там лежала любимая еда Чика. Когда в буфете ничего, кроме хлеба, не лежало, дверца скрипела скучно.

Чик отрезал от буханки самую поджаристую горбуш-

ку, намазал ее маслом, а сверху еще размазал повидло. Можно было повидло размазать так густо, что масла не будет видно. Но Чик так не любил. Он любил есть хлеб с маслом и повидлом так, чтобы одновременно видеть и масло и повидло. Поэтому он повидло размазал как бы небрежно, волнами. Когда сразу стоят перед глазами и хлеб, и масло, и повидло, получается гораздо вкусней. Чик это точно знал. Про самую любимую еду в мире всегда все точно знаешь.

Вообще Чик ел все, кроме помидоров. Помидоры не лезли. Какая-то противная слизь. Но Чик не терял надежды с годами преодолеть свою неприязнь к помидорам. Иногда, когда его никто не видел, Чик тренировался, чтобы привыкать к помидорам. Успехи были, но небольшие. Чик заметил, что после моря помидоры как-то легче идут.

Чик решил, что дело в медузах. Медузы слизистые и помидоры слизистые. Когда наглядишься на слизистые да еще тряские медузы и подумаешь: а если бы тебе пришлось есть медуз? — помидоры легче идут.

В голодном состоянии Чик мог съесть целый помидор, густо осыпав его солью. Конечно, приходилось проявлять большую силу воли. Зимой, когда по утрам мама заставляла его выпивать ложку рыбьего жира, тоже приходилось проявлять большую силу воли. У Чика была сила воли, и он надеялся с годами привыкнуть к помидорам. Но не все сразу.

Поев, Чик напился из-под крана, хотя пить ему не хотелось. Но он знал, что идет на охоту, а там кто его знает, скоро ли напьешься. Проявляя силу воли, Чик постарался как можно больше выпить прохладной утренней воды. Везде нужно было проявлять силу воли. Чик знал, что сила воли у него есть, но проявлять ее было не всегда охота.

Боясь, что его не пустят, Чик никого не предупредил, что собирается на охоту. Взрослые — странные люди. Когда, бывало, уйдешь на море или в горы, они потом ругаются и говорят, ты хотя бы предупредил! А когда предупреждаешь — не пускают. Чик сегодня решил пойти средним путем. Он решил не предупреждать, но оставить записку. Он вырвал из старой тетради неисписанный кусок листа, макнул ручку в чернильницу и, подумав, написал: «Иду на охоту с Белкой. Ждите к обеду с перепелками».

Чик перечитал написанное, и ему показалось, что он

напрасно хвастанул перепелками. Он почувствовал, что это нехороший признак. Чик только собирался на охоту, но уже проникся охотничьим суеверием. Он тщательно замазал чернилами ненужное слово. Положил записку посреди стола и придавил ее чернильницей, чтобы ее не снесло порывом случайного ветерка.

Он достал из-за буфета свой лук и три стрелы с жестяными наконечниками, заточенными напильником. Чик проверил на пальце наконечники, словно за ночь их могли притупить мыши. Нет, наконечники в порядке. Он надел на плечо лук тетивой вперед, как ружейный ремень. Заткнул за пояс стрелы. Наконечниками вверх, чтобы не царапали ноги. Потом стал шевелить животом, прислушиваясь, где и как наконечники упираются в живот. Приладил так, чтобы не упирались. Теперь он себя чувствовал не хуже, чем те воины, что изображены в учебнике древней истории.

Чик взял из миски две груши, глазами выбрав те, что получше. Одну себе, другую своей собаке Белке. Только он хотел вонзить зубы в ту грушу, что была особенно крутобокой, как мелькнуло: нечестно! Себе берешь ту, что получше, а любимой собаке ту, что похуже. Чик все-таки вонзил зубы в лучшую грушу и, уже вонзив, разозлился на Белку. Нечего баловать, сурово подумал Чик, другие собаки вообще не знают, что такое груша!

Он отрезал от буханки еще одну горбушку. Белочка тоже любила горбушку. Чик вышел во двор.

— Белочка! — позвал он не очень громко, чтобы не будить соседей.

Она спала посреди двора возле виноградной лозы. Услышав его голос, Белочка приподняла голову и посмотрела на Чика, словно удивляясь спросонья: в такую рань?!

— Белочка, Белочка, — снова позвал Чик и издали показал ей грушу.

Белочка вскочила и подбежала к нему. Но Чик бросил ей сначала горбушку. Белочка не очень охотно ее ела, то и дело подымая голову и завистливо прислушиваясь к Чику, сочно чмокавшему своей грушей. После того как она съела весь хлеб, Чик поставил возле нее грушу.

Белочка ела все фрукты. Чик ее давно приучил к этому. Она даже ела виноград. Было бы враньем сказать, что она выплевывала шкурки. Виноградины она глотала целиком. Она даже отличала на вкус белый виноград



от черного. Черный виноград «изабелла» Белочка предпочитала любому белому винограду.

Чик много раз делал такой опыт. Он подзывал Белку и клал перед ней две кисточки — черный и белый виноград. И Белочка всегда сперва съедала черный виноград, а потом, в зависимости от настроения, могла съесть и белый виноград, а могла и не съесть. Если, конечно, она была голодной и ничего другого под рукой не было, она тут же могла слопать кисточку белого винограда. Но если была возможность выбирать, она всегда начинала с черного.

Самое смешное, что Чик тоже всегда черный виноград предпочитал белому. Нет, он, конечно, Белочку несколько не приноравливал к своему вкусу. Она сама поняла, что черный виноград приятней белого. Взрослые утверждали, что надо больше любить белый виноград, потому что это столовый сорт, а черный виноград «изабелла» любить не так уж культурно, потому что это не столовый сорт. Мало ли что надо! Надо, но неохота! Чик так считал: что вкусней, то и культурней! И Белочка это понимала.

Только самый небессовестнейший человек мог сказать, что Белочка любит черный виноград, потому что он похож на мясо. Нет, просто Белочка была умнейшая собака и знала толк во вкусных вещах.

На ее необыкновенную сообразительность Чик и надеялся, беря ее на охоту. В эти теплые осенние дни охотники возвращались из-за города с перепелками, до того аппетитно телепавшимися вокруг пояса, что Чик прямо замирал от неведомой прежде охотничьей страсти. И Чик решил во что бы то ни стало сходить с Белкой на охоту.

Раньше они никогда не бывали на охоте, и Белочка была дворняжкой. Она была дворняжкой среднего роста, вся белая, особенно после купания, с темно-коричневым пятном на левом ухе и левом боку. Как будто кто-то лил сверху коричневую краску, а Белочка пробежала вниз. Кап! кап! — и два коричневых пятна. В отличие от охотничьих собак, которые бывали или очень лохматые или неприлично-голые, у Белочки была ровная, приятная шерстка.

Чик давно приучил Белочку искать еду или какую-нибудь спрятанную вещь. Сначала приучил искать еду, а потом уже, дав понюхать палку, спичечный коробок, карандаш или учебник, вообще любой предмет, достаточно удобный для зубов, он прятал его, а потом говорил:

— Белочка, ищи!

Белочка искала и находила. Еду можно было и не давать нюхать, она ее и так находила. Белочка была умнейшая собака. Если ей сказать: Белочка, ищи! — и ничего не давать нюхать, она искала особенно азартно, она уже знала, что ее ждет еда.

Нюх у нее был исключительной силы. Котлету, например, она вынюхивала за тридцать шагов. На этот нюх Чик и надеялся, беря ее на охоту. Правда, Чик слышал, что охотничьи собаки при виде перепелки делают какую-то стойку. Чик думал, что охотничьи собаки, как цирковые, делая стойку, поднимаются на задние, а то и передние лапы. Нет, Белочка этого не умела. Чик ее никогда не приучал стоять на задних лапах.

Чик почему-то всегда было не по себе, когда собака стоит на задних лапах. Собака, становясь на задние лапы, делалась похожей на униженного человека. Возвышаясь до двуногого существа, она каким-то образом становилась жалкой и униженной. Может быть, эти передние лапки, опущенные как тряпочки, может, неустойчивость всей ее позы вызывала в Чике ощущение униженности? Чик было ужасно неприятно, когда кого-нибудь унижали. Особенно ему было неприятно, когда унижали животное. Поэтому Чик никогда не учил Белочку стоять на задних лапах и выклянчивать сахар! Ищи! И тогда ты его сама заработала!

Три дня тому назад, когда Чик окончательно решил во что бы то ни стало сходить на охоту, он срезал хорошую ветку кизила в соседнем школьном саду. Он и раньше делал лук и стрелы и всегда на лук вырезал кизловую ветку. Считалось, что кизил самое подходящее дерево для лука. Стрелы Чик сделал из прутьев молодого ореха. Он их вырезал в том же школьном саду. Сад, который охранял старик Габунья, отличался исключительным многообразием фруктовых деревьев. К тщательно обструганным стрелам Чик прикрепил наконечники, вырезанные из крышки консервной банки.

За три дня Чик так натренировался в стрельбе из лука, что в пятнадцати шагах запросто попадал в ту же многострадальную консервную банку, уже до этого лишенную своей крышки.

Вчера Сонькина мать принесла с базара перепелок. Чик попросил Соньку тайком взять одну перепелку из дому с тем, чтобы натаскать на нее Белку, а потом вер-

путь. Сонька принесла перепелку. Чик дал ее понюхать Белке и спрятал.

— Белочка, ищи перепелку! — говорил Чик, нажимая на последнее слово, чтобы выработать в ней условный рефлекс. И Белочка великолепно находила перепелку и приносила ее в зубах.

— Но, Чик, — говорили ему во дворе, — это же мертвая перепелка, а надо, чтобы она находила живую!

— Пока потренируется на мертвой, — бодро отвечал Чик, — а потом будет находить и живую.

Белочка восемь раз находила перепелку и приносила ее Чике в зубах. А на девятый раз, когда она из сада несла перепелку, Сонькина мать вошла во двор и увидела Белку с перепелкой во рту.

— Чик, — радостно обернулась она на Чика, — твоя Белка перепелку поймала!

И тут все дети и жена старого Алихана начали хохотать. Им показалось смешным, что она так сказала. И Сонькина мать, хотя и вполне справедливо считалась глупой женщиной, подозрительно посмотрела на Соньку. Сонька, не выдержав ее взгляда, опустила глаза. Потом она так же посмотрела на Чика, но Чик проявил силу воли и не дал сбить своего взгляда. Но она все равно догадалась. Очень уж ехидно хохотала жена старого Алихана.

— Моя перепелка! — крикнула она истошным голосом и, набросившись на Белочку, вырвала у нее из рта перепелку.

Она подняла ужасный шум и, держа в вытянутой руке перепелку, обращалась к тетушке Чика. Тетушка в это время сидела на веранде второго этажа на своем обычном месте. Она попивала чай и, покуривая, следила за жизнью двора. Сонькина мать кричала, протягивая в сторону тетушки перепелку, словно предлагая ее немедленно обменять на более свежую.

— Ваша Белка мне всю перепелку исclusionявила, — кричала она, — это все Чик! Ваша Белка мне всю перепелку исclusionявила! Зачем мне такая перепелка!

Тетушка спокойно дождалась паузы в ее криках, отхлебнула чай, затаилась папиросой и, выпуская дым, громко сказала:

— А ты, эфлюпка, думаешь, охотничьи собаки в перчатках приносят перепелок!

Хорошо ей тогда тетушка сказала. Белочка не только исclusionявила перепелку, она ее слегка поджевала зубами

и вымазала в пыли. Но ведь Чик собирался после натаски хорошенько вымыть перепелку под краном и высушить на солнце. Никто не ожидал, что Сонькина мать так рано вернется домой. Несмотря на это препятствие, Чик считал, что Белка достаточно хорошо натренировалась.

Чик с Белочкой вышли на улицу. Чик всем телом чувствовал бодрую свежесть сентябрьского утра. На востоке, прямо над Чернявской горой, золотилось облачко, радуясь, что оно раньше всех поймало солнечные лучи.

Чик надо было идти в противоположную сторону. Он знал, что там, где кончается город, но еще не начинается деревня, есть огромная поляна, выходящая к морскому берегу. Он слышал, что там городские охотники охотятся на перепелок и диких голубей.

Не успел Чик дойти до конца своего квартала, как его обогнал фэзтон. Лошадки, выбивая из немощной улицы легкую пыль, шли ровной рысдой. Кузов фэзтона мерно покачивался. Было бы величайшей глупостью не воспользоваться попутным транспортом. Чик быстро догнал фэзтон и уцепился за его задок.

Фэзтон проехал мимо греческой церкви и мимо школы, где учился Чик. Ему вдруг пришло в голову, что было бы смешно, если бы директор школы, Акакий Македонович, побежал за фэзтоном, чтобы выяснить, это Чик бесплатно катается или он обзавелся. И было бы еще смешней, если бы при этом Белочка, не зная, что Акакий Македонович директор школы, стала бы яростным лаем отгонять его от Чика.

Но, конечно, ничего такого не могло случиться, потому что день был воскресный и в школе никого не было. Почему-то Чик всегда было грустно за школу, когда она стояла вот такая пустая-пустая. Без звонка и без детей. Сам-то Чик очень любил выходные дни и каникулы, но ему было грустно смотреть на пустую школу. Ему казалось, что она скучает без детей. Тем более что его школа и раньше, до революции, была гимназией и за всю свою долгую жизнь здорово привязалась к детям. Чик почему-то это чувствовал.

А между тем Белочка стала волноваться. Она не привыкла, чтобы Чик ехал, прицепившись к фэзтону, а она бежала рядом. Она несколько раз требовательно взлаяла возле Чика, предлагая ему немедленно слезть. Потом она, по-видимому, решила, что Чик не виноват, что его на-

сильно тащат на этом чуде. Она храбро выбежала вперед и стала облаивать фаэтонщика.

— Пошла вон! — услышал Чик хриплый голос фаэтонщика и звук щелкнувшего кнута. Белочка залаяла сильнее, но Чик знал, что кнут ее не достал. Иначе бы она завизжала.

Фаэтон ехал все дальше и дальше, и Белочка, делая непродолжительные передышки, упорно его облаивала.

Скатерть белая залита вином,  
Все гусары спят непробудным сном,  
Лишь один не спит... —

красиво спел седок и вдруг добавил:

— Свежая барабулька под гудаутское вино хорошо идет. Больше ничего мне в жизни не надо. Не надо мне никакие чебуреки, никакие пенерли. Свежая барабулька, жаренная на собственном жире, и гудаутское вино — больше ничего не хочу!

— Ты не прав, Боря, — мягко возразил второй седок, склоняя его к миролюбию, — я тоже уважаю барабульку под гудаутское вино. Но горячее пенерли — это горячее пенерли. Наши отцы и деды не были дураками, когда любили горячее пенерли...

— Что хочешь со мной делай! — воскликнул первый седок, — свежая барабулька, вот только что из моря, еще играет, зажаренная на собственном соку, и гудаутское вино!

Чик услышал, как он при этом чмокнул, и понял, что любитель гудаутского вина послал вину воздушный поцелуй. По-видимому, гудаутское вино все еще находилось в достаточно обозримой близости.

— Пенерли, чебуреки, шашлыки — даром не хочу, — продолжал тот, — а, между прочим, хорошо провел стол наш вчерашний тамада! Находчивый! Отвальную, говорит, буду пить из вазы! Крепко сказал! И не только сказал, но и выпил, сукин сын! Интересная личность!

— Что ты, что ты, Боря! — одобрительно зацокал второй седок, — он вообще застольный, хлебосольный парень! У него и отец был такой, и дед был такой! Но ты напрасно обижаешь пенерли. Горячее пенерли...

— Никакого пенерли мне не надо! — весело перебил его первый седок, — свежая барабулька и гудаутское вино!

Скатерть белая залита вином,  
Все гусары спят непробудным сном,  
Лишь один не спит...

Опять он так красиво запел, что Чик замер от удовольствия. Чик обожал русские романсы, но не знал, что это так называется. Любителей объяснять такие вещи генетической памятью он мог прямо-таки поставить в тупик. Если во времена предков Чика гусары и забредали в горы, то им, конечно, было не до романсов. Да и навряд ли предки Чика, стоя с кремневкой за каменным укрытием, прислушивались, не раздадутся ли со стороны русского лагеря звуки любимых романсов.

Но только Чик сладостно настроился узнать, что же делает этот единственный неспящий гусар, как поющий седок опять оборвал песню. Чик от возмущения чуть не свалился. Нельзя же так!

— Сейчас покушаем жирный хаш, — оборвал песню поющий седок, — и домой! Отдых! Отдых!

— Все же ты напрасно обижаешь пенерли, — проворчал второй седок, — наши деды не были дураками, когда любили горячее пенерли.

— Костя, — грозно воскликнул первый седок, — если ты идешь на принцип, я тоже иду на принцип! Я голову наотрез даю за свежую барабульку, жаренную в собственном соку, и гудаутское вино!

Лошадь цокала копытами, фэзтон уютно поскрипывал, а Белочка время от времени лаем напоминала фэзтонщику: «Отпустите Чика! Отпустите Чика!»

— Слушайте, — обратился фэзтонщик к седокам, — я с ума сойду от этой собаки! Впервые в жизни так долго гонится!

— Не обращай внимания, Бичико! — бодро воскликнул тот седок, что пел про гусаров. — Собака лает — караван идет! Прекрасная поговорка!

— Да, но совсем голову заморочила, — проворчал фэзтонщик, — лошади тоже нервничают!

Теперь Чик знал, куда они едут. На окраине города был один дом, где по утрам можно было съесть хаш. Дядя Чика хаживал в этот дом. Да, хаживал.

Наконец фэзтон остановился. Чик быстро соскочил с задка и перебежал на тротуар, незамеченный фэзтонщиком. Белочка, увидев соскочившего Чика, перестала лаять и побежала к нему. Было похоже, что она гордится своей победой: заставила фэзтон остановиться и отпустить Чика.

— Парень! — крикнул фэзтонщик.

— Вы меня? — спросил Чик, остановившись.

— А разве здесь есть кто-нибудь? — спросил фэзтонщик, кивая на пустынную улицу.

— Откуда я знаю, — сказал Чик, голосом показывая, что степень безлюдности улицы его как-то не занимала.

— Чья это собачка? — грозно спросил фэзтонщик и издали кнутовищем ткнул в Белочку.

Чик взглянул на Белочку, как бы обнаружив ее только благодаря точной указке кнутовища.

— Первый раз вижу! — сказал он.

По взгляду фэзтонщика было видно, что он смутно догадывается, что Чик катался у него на запятках. Чик показалось, что тот не прочь дотащить его до того места, где Чик прицепился к фэзтону, но он никак не мог вспомнить, в каком месте начала облаивать его Белочка.

— Тогда чего она за тобой пошла? — мрачно спросил фэзтонщик.

— Не знаю, — удивился Чик и, взглянув на Белочку, поднял глаза на фэзтонщика, — а разве она за мной идет?

— Ладно, Бичико, — сказал один из седоков, выходя из фэтона и разминаясь, — береги нервы! Эта собака за тобой тоже бежала! Сейчас покушаем один жирный хаш, выпьем по стопарю и споем «Аллаверди»!

Чик по голосу понял, что это был тот седок, который пел про гусаров. Чик пошел дальше, как-то спиной чувствуя, что фэзтонщик все еще смотрит ему вслед. Белочка мирно семенила рядом.

Через десять минут Чик вышел на огромный приморский луг, озаренный восходящим солнцем. Местами луг был изрезан овражками, над которыми кустилась ежевика, сассапариль и облепиха, выбрасывающая вверх длинные прутья, унизанные желто-маслянистыми ягодами. То там то здесь виднелись выжженные солнцем коричневые заросли папоротников. Посреди луга угадывалось болотце, обросшее камышами и деревьями.

По лугу ходили охотники, время от времени окликаая своих петляющих в кустах собак. Слышались то одинокие, то взхлеб, как бы догоняющие друг друга выстрелы.

Чик пошел в сторону болотца, то и дело приговаривая:

— Белка, ищи перепелку!

Белка бежала впереди, иногда принюхиваясь к травам и кустам. Они прошли заросли папоротника, и вдруг со-

всем близко Чик увидел двух охотников. Один из них был с ружьем, а другой держал на руке серого ястреба. Охотники переговаривались.

— Здесь упал, я точно знаю, — сказал тот, что был с ружьем. — Дик, ищи!

И сразу же в колючих зарослях что-то усердно затрещало. Чик понял, что там собака.

— В такие колючки собаку нельзя пускать, — заметил тот, что был с ястребом в руке. Он погладил его свободной рукой, показывая, что он-то своего ястреба в такие колючки не пустит. Ястреб сверкнул желтым глазом, взмахнул крыльями, и колокольчик на его ноге громко взбрякнул.

— Подумаешь, костюм порвет, что ли, — небрежно ответил тот, что был с ружьем, и опять крикнул: — Дик, ищи!

В зарослях опять усердно затрещало.

— А твоя собака перепелку надыбала, — сказал тот, что был с ружьем, кивая второму охотнику.

Чик заметил рыжую собаку, медленно приближающуюся к зарослям конского щавеля. Она шла, словно с трудом отрывая ноги от земли. Наконец, в нескольких метрах от зарослей остановилась, вытянув отвердевший хвост и слегка приподняв переднюю лапу. Чик понял, что это и есть стойка. Охотник теперь держал ястреба, слегка заломив руку за спину. Он тихо подошел к своей собаке и замер, всматриваясь в заросли. Чик показалось, что он неимоверно долго ждет. Наконец Чик услышал:

— Пиль!

Собака бросилась в заросли конского щавеля. Оттуда вырвалась какая-то птица и метнулась в небо. Охотник кинул ястреба вслед, но тот, как-то презрительно пролетев мимо, стал удаляться в сторону моря, быстро и мощно взмахивая крыльями. Чик, напрягая глаза, следил за ним и увидел, что ястреб уселся на далекую чинару.

Потрясенный хозяин ястреба так и застыл с открытым ртом. Второй охотник стал хохотать.

— Вот тебе и пиль, — сказал он сквозь хохот, — ястреб ни при чем! Твоя собака стойку делает на трясогузку!

— Ладно тебе! — огрызнулся хозяин ястреба и с ненавистью посмотрел на свою собаку. Она пробежала метров десять за ястребом, вернулась и сейчас, виновато виляя хвостом, глядела на своего хозяина. Хозяин нагнулся, поднял сучковатую палку и швырнул в собаку. Со-



бака отскочила. Хозяин пошел в сторону чинары, громко ругая свою собаку. Когда он отошел шагов на тридцать, собака снова побежала за ним, но он опять сделал вид, что собирается кинуть в нее камень. Собака отскочила и села, тоскливо глядя на удаляющегося хозяина. Чику стало жалко неудачливую собаку.

Вдруг кусты рядом с Чиком затрепали, и оттуда выпарапалась собака второго охотника, держа в зубах трепыхающегося голубя.

— Ко мне, Дик! — радостно крикнул охотник и сам быстро подошел к своей собаке.

— Молодец, мой Дик, молодец, — урчал он, наклоняясь к ней и вынимая у нее изо рта все еще трепыхающегося голубя, — я же знал, что он там упал!

Он разогнулся с голубем в руке и вдруг, небрежно тряхнув рукой, размозжил ему голову о приклад ружья и сунул в ягдташ. Чику видеть это было неприятно, но он, сдерживаясь, не выдал своего чувства.

— А ты что, мальчик, пришел охотиться? — вдруг спросил он, как бы на радостях позволяя себе заметить Чика.

— Да, — сказал Чик.

— А разве стрелой можно попасть в перепелку? — удивился охотник.

— Не знаю, — сказал Чик, — с пятнадцати шагов бьет по консервной банке.

— Ну если твоя собачка получше той, — кивнул он в сторону второго охотника, — может, что-нибудь возьмешь. Попробуй на болоте. Там бывают водяные курочки.

— Хорошо, — сказал Чик, польщенный, что охотник говорил с ним без насмешки.

Чик пошел в сторону болота, время от времени поворачивая:

— Белочка, ищи перепелку!

И Белочка усердно искала, петляя впереди него и приюхиваясь к кустам и траве. Чик вдел в тетиву слегка раздвоенный конец стрелы и, не натягивая лука, шел за собакой. Кузнечики так и стреляли из-под ног. Белочка усердно искала перепелок, хотя один раз глуповато подпрыгнула, пытаясь схватить стрельнувшего кузнечика, а другой раз погналась за вспыхивавшей бабочкой.

— Белочка, ищи перепелку! — напоминал Чик, нажимая на последнее слово.

И Белочка бежала, нюхом своим прочесывая траву.

И вдруг — Чик даже не успел опомниться — прямо откуда-то у него из-под ног вылетела перепелка и низко-низко полетела над травой трепыхающим коричневым комом. Чик все-таки успел натянуть лук и навскидку пустить ей вслед стрелу. Он видел, как стрела, сверкнув на солнце, стала догонять перепелку, но через несколько мгновений сбавила скорость и вонзилась в землю. А перепелка улетела, не думая сбавлять скорости.

Как только Чик выстрелил, Белочка помчалась за перепелкой и стрелой. Стрела вонзилась в землю. Белочка подскочила к ней, выдернула из земли и победно принесла ее Чикю с таким видом, словно все получилось так, как они с Чиком задумали.

Чик был ужасно огорчен и неудачей такого хорошего выстрела, и тем, что Белочка, не заметив перепелку, пробежала мимо нее, а Чик сам вспугнул ее своими шагами.

— Что ж ты, эфиопка, не почуяла перепелку, — упрекнул ее Чик, небрежно вырвав у нее изо рта стрелу.

Белочка посмотрела на Чика, приподняв одно ушко, как бы выражая полное недоумение: разве я не принесла тебе стрелу?

— Не стрелу, — сказал Чик сердито и внятно, — как ты могла пропустить перепелку? Пропустить!

Белочка на секунду призадумалась и вдруг весело трянула головой и замахала хвостом в знак того, что она ничего не понимает и даже не хочет понимать, но ей все равно хорошо с Чиком. Повернулась и побежала вперед!

— Белочка, ищи перепелку! — говорил Чик, быстро шагая за Белкой и голосом приказывая ей не отвлекаться на мелочи. Сейчас Белочку нервировали наглые сороки, взлетающие у самых ног и тут же рядом садящиеся на землю. Это, конечно, задевало самолюбие Белки: или ты боишься, и тогда улетаешь совсем, или ты не боишься, и сидишь на месте. Нет, взлетит и тут же сядет в трех шагах. Наглость!

Иногда Белочка, словно внезапно оглохнув и не слыша криков Чика, вытянув морду, сентиментально нюхивалась в какие-то якобы родимые запахи, исходящие якобы от знакомых кустов, хотя они здесь были первый раз, и у Белочки не могло быть никакого знакомства с местными кустами. В такие минуты она напоминала Чикю некоторых тетушкиных подруг (да и тетушку!),

которые точно с таким же выражением лица нюхали пустые флаконы из-под духов.

Примерно через полчаса перепелка выпорхнула справа от Чика, но полетела не вперед, а в сторону моря. Чик успел повернуться и пустить ей вдогонку стрелу. Стрела красиво взлетела гораздо выше перепелки, но летела точно в ее направлении, так что можно было надеяться, что она сверху накроет перепелку. Но когда стрела пошла вниз, перепелка уже вылетела из-под нее.

Стрела вонзилась в траву возле белого камня, похожего на череп человека, и, покачнувшись, застыла торчком. Белый камень, похожий на череп, и стрела, торчком стоящая возле него, напоминали поле древней битвы. И Чик уже стал осторожно приискивать глазами, что бы напоминало заржавленный меч, полусгнившее копьё или щит. Но тут на поле древней битвы влетела веселая Белка, схватила зубами стрелу и принесла ее Чику. На этот раз, вынимая у нее из зубов стрелу, он ничего ей не сказал. Перепелка вылетела в стороне от Белки, и она имела право ее не унюхать.

Перед самым болотом Белочка подняла ворону, и она летела над землей, лениво колыхаясь, как большая волшебная тряпка. Чик сгоряча принял ворону за коршуна, но вовремя спохватился и мягко опустил уже натянутую тетиву.

Солнце вовсю сияло, когда Чик подошел к болоту. Его поверхность во многих местах была покрыта грязно-зеленой ряской.

Там, где не было ряски, в болотной воде отчетливо отражался противоположный берег, обросший ежевичником, восклицательными знаками камышей и ольховыми деревьями. Рядом росли мускулистый самшит и мускулистый дубок. Было похоже, что они, напрягая узловатые ветви, соревнуются, кто из них покрепче. Но Чик знал, что самшит — самое крепкое дерево в мире. Дуб занимает не то второе, не то третье место.

Чик удивился, что отражение кустов и деревьев в воде выглядит красивей, чем они сами на берегу. Чик призадумался, но не понял, почему это происходит.

Вообще Чик задумывался над многими вопросами, на которые взрослые ему не могли ответить. Вот что его волновало в последнее время. Чик знал, что подсолнух всегда следит за солнцем своей золотистой шапкой — и это хорошо. Но вот что делает подсолнух, когда начинается солнечное затмение? Опускает головку, думая,

что солнце уже закатилось, или ждет, когда затмение кончится? Если ждет, откуда он знает, что это затмение и оно скоро кончится? Это же страшно интересно!

Но ни один из взрослых не мог ему ответить на этот вопрос. Некоторые добродушно смеялись, когда Чик задавал им этот вопрос, а некоторые как-то тоскливо замыкались, думая, что Чик хочет поймать их в какую-то ловушку. И какая тут может быть ловушка, и чего они все время боятся какой-то ловушки?! Глупо!

Чик этой весной вырастил у себя на огороде три великолепных подсолнуха. И все три дружно поворачивали свои золотые шапки в сторону солнца. И тут все было правильно. Но как их проверить на солнечное затмение?! Где его взять? Это уже от него не зависело.

Когда Чик подошел к самому илистому берегу, в воду посыпались лягушки. Точно так же пловцы во время соревнований шлепаются с мостков в воду. И точно так же некоторые из них шлепаются с опозданием.

Чик шел вдоль илистого берега и все время смотрел на противоположный, где кусты ежевики и сассaparилля иногда ниспадали к воде. Ему все время мерещилась курочка, выходящая из воды, хотя Чик очень трудно было совместить курицу с водой. Так как Чик никогда не видел водяной курочки, он ее представлял как обычную курицу.

И вдруг не из воды, а из ежевичника вышла какая-то замызанная птица величиной с цыпленка. Чик и не знал, что подумать, но он понял, что это дичь и надо в нее стрелять. Замызанная птица ходила по бережку, что-то выклеывая из земли и то и дело вскидывая головку, кажется, тоже замызанную, и к чему-то прислушиваясь.

Чик вдруг подумал, что Белочка ее заметит и лаем вспугнет. Поэтому он, стараясь скрыть от Белочки свое охотничье волнение, осторожно прицелился, натянул тетиву до отказа и, уже чувствуя, что у него все начинает плыть перед глазами, выстрелил.

Стрела перелетела болотце и вонзилась в землю в нескольких сантиметрах от водяной курочки, которая ничуть не испугалась. Она посмотрела на стрелу и, обратив внимание на блеск верхней части наконечника, высовывавшегося из земли, клюнула его. После третьего клевка стрела повалилась, и курочка, потеряв к ней интерес, снова стала искать в земле корм. Чик был несколько уязвлен таким неуважительным отношением к его стреле. Он выхватил из-за пояса вторую стрелу и

только вложил ее в тетиву, как курочка вошла в заросли камыша. Чик ждал, ждал, ждал, но она больше не вышла.

Надо было достать стрелу. С того берега к ней невозможно было подойти, настолько он был заколочен. Чик посмотрел на Белку. Белка посмотрела на Чика. Чик стал осторожно подходить к Белке, чтобы схватить ее и заставить плыть за стрелой. Чик не был уверен, что она, доплыв до того берега, догадается вернуться со стрелой. Все-таки слишком много времени прошло с тех пор, как он выстрелил. Но надо было попробовать. Чик решил, что если она все-таки не догадается взять стрелу, то он на ее глазах пустит вторую стрелу, которая вонзится в землю рядом с первой и тогда, возможно, Белка догадается прихватить и первую стрелу. Чик самому было ужасно неприятно лезть в болотную воду.

Чик поймал Белку и сразу же по ее сопротивлению почувствовал, что она не хочет лезть в болотную воду. Но до чего же умная собака! Он ей еще ничего не сказал, а она уже все знает. Чик подошел с ней к самой воде, поставил ее в воду и приказал:

— Белка, плыви!

Белка стояла в воде, раздумывая, плыть или не плыть.

— Плыви, плыви! — взбадривал ее Чик.

Белка постояла, постояла, потом неохотно лакнула несколько раз болотную воду и, решительно повернув, вышла на берег и села в стороне от Чика. Она посмотрела на Чика и с отвращением стряхнула с подбородка капельки воды, словно сказала Чик:

«По такой воде не то что плыть, ее даже пить неприятно!»

Чик опять поймал Белку и, разувшись, внес ее в воду и подтолкнул в направлении того берега. Белочка покорно проплыла несколько метров и вдруг свернула, стараясь выйти на землю подальше от Чика. И Чик теперь появлялся, почему она проплыла вглубь несколько метров. Если бы она сразу повернулась, Чик ее остановил бы. А так, отплыв на несколько метров, она уже могла маневрировать. Дьявольски умная собака!

Чик понял, что она не поплывет, и разделся сам. Он стал входить в теплую, неприятную воду и чем глубже входил, тем труднее было выдирать ноги из илистого дна. Чик слышал, что ил может всосать человека, и поплыл, не дожидаясь, пока вода дойдет у него до горла. Чик

быстро переплыл болото, даже внутри воды стараясь как можно меньше соприкоснуться с водой.

Чтобы ил при выходе из воды не всосал его в свои недра, Чик доплыл до самой кромки болота, уже животом чувствуя бархатистое коварство мягкого дна. Он вылез из воды, весь вымазанный илом. Чик поднял стрелу и уже хотел плыть назад, когда заметил, что ежевичник усеян крупными спелыми ягодами. Такого огромного количества ежевики Чик никогда не встречал на одном месте. И вдруг он догадался, что стоит на такой земле, где никогда не ступала нога человека. Кроме первобытного, который тоже мог переплыть болото, чтобы достать свою стрелу.

Чик отмыл руки и приступил к ежевике, думая, до чего приятно ее есть там, где ни разу не ступала нога человека. Кроме первобытного. Но его можно не считать. Время от времени он вспоминал о водяной курочке и поглядывал в камыши, но ее не было видно. Срывая и стряхивая на ладонь мягко-увесистые и уже теплые от солнца ежевичины, Чик поглядывал на тот берег, где возле его одежды сидела Белка. Она поняла, что Чик что-то ест, и начала проявлять беспокойство. Чик набрал горсть ежевики и очень аппетитно отправил ее в рот, при этом громко и сладостно чмокая, чтобы Белка слышала, как он наслаждается. Он и к ежевике ее приучил, она ее очень любила.

Белочка несколько раз нетерпеливо подвыла, давая знать, что она чувствует себя обделенной. Наконец не выдержала и подошла к воде. Она зашла по колено в воду и посмотрела на Чика. И Чик, чтобы придать ей больше смелости, высыпал в рот полную горсть ежевики и громко зачмокал, показывая невероятность своего наслаждения. И Белка уже хотела поплыть, но опять два-три раза лакнула воду, и сразу как-то поскучнела и, забыв про ежевику, вышла на берег. И она опять посмотрела на Чика, словно хотела сказать:

«Как можно плыть по воде, которую даже пить противно!»

— Ну и сиди там! — ответил Чик сердито и, уже больше не оглядываясь, продолжал есть ежевику.

Солнце слегка припекало, глинистый ил на теле Чика высох и как-то забавно стягивал кожу. Наевшись ежевики и жалея, что ее еще так много здесь остается, он взял в руки стрелу, подумав, переложил ее в рот, надкусив за середку древка, вошел в воду и сразу поплыл,

чтобы не иметь дело с болотным илом, всасывающим живых людей. Выйдя на берег, он бросил стрелу и отмыл тело.

Чик сидел возле своей одежды и Белочки. Было приятно высыхать на солнце, слушая далекие выстрелы. Они раздавались так странно. Вдруг лихорадочно: шлеп! шлеп! шлеп! — и все тихо. Потом редкие, одиночные, как бы из последних сил — шлеп! — и еще раз еле-еле: шлеп! И ни звука. И кажется, все навсегда кончилось. А потом опять. И снова тишина. Только теплое солнце, запах болота и вянущих трав. Чик было хорошо.

Чик так любил море и всегда жалел народы, у которых нет теплого моря, чтобы летом купаться. Он, конечно, знал, что многие приезжают к ним купаться в море, но он прекрасно понимал, что все приехать не могут. И он жалел их. А теперь, после купания в болоте, высыхая на теплом солнышке, он подумал, что, пожалуй, в болотной воде тоже можно купаться. Особенно если очистить ее от ряски.

Чик обратил внимание на мошкару, столбиком стоящую над водой и толкущуюся внутри своего столбика. Чик вдруг почувствовал, до чего им весело. Толкутся, толкутся, сами не зная, чего толкутся, но им все равно весело. Греет солнышко, кругом все свои, и они толкутся себе и при этом сами из своего столбика не выходят.

Иногда певидимым дуновеньем снесет их в сторону или приподымет, и они все внутри столбика перемешиваются. И вот что забавней всего — сама мошкара не замечает, что все перемешалось, что рядом с одними мошками уже танцуют совсем другие мошки, а они толкутся себе, как будто ничего не изменилось! Глупышки, толкутся себе — и все!

Вдруг Чик заметил, что по болотцу гуськом плывут утки. Они плыли в узком проходе между двумя большими кусками ряски. Казалось, караван судов плывет между ледовыми полями, рассеченными ледоколом.

Чик вострепенулся от волнения, решив, что это дикие утки. Их было семь штук. Они были серые, и из хвоста каждой торчало белое перышко. Но они плыли так спокойной и так беззаботно, что Чик сказал себе, не будь смешными! Это домашние утки.

Доплыв до свободной от ряски (ряска всем мешает) воды, они стали нырять, смешно переваливаясь и мелькая красными лапками. Казалось, они изо всех сил вкапываются в воду, а вода их не пускает. Вкапываются,

вскапываются в воду, вот-вот докопаются до корма, а вода их не пускает, и они вытягивают голову из воды, чтобы отдышаться.

Чик здорово удивился, что утки так далеко забрели от жилого дома. Продолжая за ними послеживать, он вытряхнул из сандалий травяную труху и стал одеваться. Вдруг одна утка встрепенулась, взмахнула крыльями и полетела над водой, медленно набирая высоту. Следом остальные, и через минуту они летели в сторону моря. Тут-то Чик докумекал, что прохлопал уток. Если б он знал! Ведь они так спокойно проплыли мимо него. Он мог заиросто стрелой попасть в любую из них! Но теперь они черными точками мелькали над морем.

Чик горестно повздыхал, приладил две стрелы к поясу и, взяв на изготовку лук с одной стрелой, пошел дальше. На охоте, подумал Чик, всегда надо ожидать дичь, нельзя расслабляться и думать о народах, живущих вдали от теплых морей, и соображать, как бы их приспособить к болотам. Всему свое время!

— Белка, ищи перепелку! — говорил Чик, стараясь сам не отвлекаться и не давать отвлекаться Белочке. Они довольно долго шли и шли, но перепелки почему-то не попадались. Становилось все жарче и жарче, и уже чувствовалось дыхание разогретого моря.

Чик остановился под ореховым кустом и стал наблюдать за двумя охотниками, стоявшими под сенью дикой яблони. Чик понял, что они ждут голубей, потому что они не выходили из-под дерева и время от времени поглядывали в ту сторону, откуда налетали перелетные голуби.

Чик долго из-за орешника следил за ними. Ему хотелось посмотреть на голубиную охоту. Один из них был высоким и красивым. Другой был маленький и черненький. Высокому наконец надоело высматривать голубей, которые все не налетали, и он, как палку, положил ружье на плечи и лениво подвесил руки с обеих сторон.

Он о чем-то стал переговариваться со вторым охотником, и разговор постепенно оживлялся, и голоса делались все громче и громче. По некоторым словам, долетавшим до Чика, он понял, что они говорят совсем не об охоте. Но о чем они говорят, Чик не мог понять.

— Честное слово, — вдруг сказал высокий и красивый, — был бы у меня кусок золота, ушел бы работать простым прорабом. Каждый месяц отрезал бы кусочек к



зарплате... Так же нельзя работать! Присылают безграмотных инженеров! Как я им могу доверять!

Чик ужасно удивился, что инженеры могут быть безграмотными. В той среде, где жил Чик, считалось, что инженеры самые культурные люди. Детям говорили: «Учись хорошо, инженером будешь!»

Но чтобы инженер не мог ни читать, ни писать — такого Чик и не слыхивал. И в то же время по голосу этого высокого охотника Чик точно знал, что он не шутит. Неужели вредители? Конечно, вредители! Они везде вредят! Но почему же, мелькнуло у Чика в голове, прежде чем принимать на работу инженера, не сказать ему: «А ну, прочти страницу! Только громко и с выражением!»

И липовый инженер сразу засыплется! Но, может быть, вредители не разрешают проверять безграмотных? Непонятно.

— Летят! — вдруг спохватился маленький, и оба, вскинув ружья, плотнее прижались к яблоне.

Чик посмотрел в ту сторону, откуда должны были лететь голуби, но ничего не увидел, кроме дуги залива, белого столба маяка и сизо-золотистых холмов. И вдруг он заметил над холмами какие-то точки, которые приближались, дрожа и сдвигаясь то вправо, то влево. Но почему, уже волнуясь, подумал Чик, охотники уверены, что голуби пролетят именно над ними?

Дрожащие в небе точки, дрожа и непрерывно перемещаясь, близились и близились. Когда они были уже метрах в ста от яблони, вдруг раздалась пальба, и голуби сперва заматались на месте, а потом, не долетев до яблони, резко свернули на север, но и там их встретили лихорадочные выстрелы, и они опять заматались на месте и вдруг всей стаей пошли в сторону яблони.

Только они долетели до яблони, как из-под нее раздалась близкие, оглушающие выстрелы: бах! ба-бах! бах!

Голуби опять заматались в небе, и Чик натянул лук и выстрелил в того из них, что был поближе к нему. Не успела стрела подняться до той высоты, на которой трепетал голубь, как он плеснул в сторону, а другой голубь рванулся на стрелу. На миг стрела и голубь слились в одной точке, но в следующее мгновение голубь пролетел, не задетый стрелой, и она, повернувшись, пошла вниз, сверкая на солнце наконечником.

Снова из-под яблони раздалось несколько выстрелов, и один голубь кувыркком пошел вниз.

— Мой! — крикнул маленький охотник и вслед за своей собакой побежал к зарослям папоротника, куда хлопнулся голубь.

Стая пролетела дальше, и через несколько минут слышалась отдаленная пальба. Высокий красивый охотник стоял под яблоней, озираясь. Он явно пытался понять, откуда взялась эта взвизывавшая стрела. Чик вышел из-за кустов, чтобы успокоить его.

— Ах, вот кто это! — сказал он, улыбнувшись Чикю. — Ты, кажется, стреляешь лучше меня. А ну, покажи свой лук!

Чик подошел к нему и по дороге, нагнувшись, поднял свою стрелу. Она на этот раз не смогла вонзиться в сухую, твердую землю. Она лежала. Было бы, конечно, красивей, если б она торчала из земли.

— Ты что, всегда так охотишься? — спросил он, улыбаясь. Сейчас он прислонил свое ружье к стволу яблони и стоял, заложив руки за ремень патронташа, свободно висевший у него на поясе. Чик заметил, что из ягдташа у него ничего не торчит.

— Нет, — сказал Чик, подавая ему лук, — в первый раз.

— В первый раз, — удивился он, рассматривая лук, — я видел, с каким точным опережением ты послал стрелу. Ты будешь настоящим охотником. Как тебя зовут?

— Чик, — сказал Чик.

— Чик? — удивился охотник.

Началось, подумал Чик. Дело в том, что многие удивлялись его имени. И это было неприятно. И даже больно, когда начинали насмешничать и говорить, что такого имени на свете вообще не существует. Чик потихоньку наводил справки насчет своего имени и однажды в пионерлагере даже встретил мальчика, которого звали тоже Чик.

Чикю захотелось иметь его под рукой, и он попытался переманить его в свою школу, обещая ему показать на горе такое место, где можно раздобыть мастичную жвачку, и показать дикое семейство рыжих, живущее в пещере. Чик даже слегка преувеличивал дикость семейства рыжих, назвав их семейством первобытных людей. Но это был до того вялый Чик, что он даже не удивился семейству первобытных людей.

Потом, убедившись, что этот мальчик бегает плохо, еле-еле плавает и ни разу не залез ни на одно дерево, Чик решил, что даже лучше, что он остается в своей школе. Подальше, подальше. Еще будут путать с ним и

спрашивать, это какой Чик? Но все-таки Чик был рад, что встретил его. Мальчик-то плохонький, зато он может служить доказательством из самой жизни, что такое имя существует на свете.

— Да, — сказал Чик, стараясь говорить просто, непринужденно, — я знал одного мальчика, его тоже звали Чик.

— Чик, — вдруг крикнул высокий, красивый охотник своему товарищу, — твой тезка пришел к нам в гости!

В это время маленький, чернявый охотник, взяв из зубов своей собаки голубя, совал его в свой ягдташ.

— Не может быть? — обернулся он и быстро взглянул на Чика узкими китайчатыми глазами.

— Да, — посмеиваясь, сказал высокий, — иди, познакомлю.

Он передал Чикю его лук, чтобы он встретил второго Чика в полном вооружении. Так показалось Чикю. Второй охотник подошел к Чикю и серьезно протянул ему руку.

— Будем знакомы, Чик, — сказал он просто.

— Чик, — сказал Чик, протягивая ему руку и внимательно глядя ему в глаза.

Глаза у него были хоть и китайчатые, но вполне серьезные.

Чик взглянул в глаза высокого охотника, но тот, как и раньше, продолжал посмеиваться. Так что Чик никак не мог понять, разыгрывают его или нет. Все-таки было странно, что взрослого человека называли Чиком.

— А на работе как вас зовут? — осторожно спросил Чик.

— На работе? — переспросил он и задумался. — Порядочные люди называют меня Чичико Теймурович. А вот такие испорченные люди, как этот дядя, пользуясь тем, что они учились со мной в школе, прямо на собрании говорят: «Чик, у нас план горит!»

Тут высокий, что-то вспомнив, начал хохотать.

— Ох, Чик, — сказал он, обращаясь к Чикю, — если б только я один! Я тебе сейчас расскажу такой смешной случай, что ты просто обхохочешься.

— Нечего ребенка портить! — строго перебил его чернявый. Ему было неприятно, что товарищ хочет выставить его в смешном виде. Чикю очень захотелось узнать про этот случай.

— При чем тут ребенок! — хохотал большой, красивый охотник, — просто интересный случай. Слушай, Чик, ты поймешь, в чем соль. Если уж ты пускаешь стре-

лу с таким точным опережением, ты поймешь, в чем соль. Однажды к Чичико Теймуровичу, нашему главному инженеру, пришла на работу жена. Секретарши не было, и она прямо вошла к нему в кабинет. Сидит, разговаривает с мужем. И вдруг влетает секретарша...

— Не порть мальчика! — перебил его чернявый, но Чичу показалось, что его китайчатые глаза масленисто улыбаются.

— При чем мальчик! — сквозь хохот воскликнул рассказчик и, взглянув на Чика, продолжил: — Вбегает секретарша и, не заметив жены, прямо с порога кричит: «Чик, главбух наотрез отказался!» И тут его жена, услышав такое, хватает графин и швыряет в секретаршу со словами: «Какой он тебе Чик, фиштифлюшка!» И еще кое-что добавила. Графин, слава богу, в стенку — и вдребезги. Шум-гам! Я прибегаю и еле успокаиваю его бедную жену. Она в предобморочном состоянии. «Воды!» — кричу секретарше. А она мне кивает на его жену: «Она графин разбила! Нет воды!» Ты представляешь, Чик?

— Да, — сказал Чик, — очень смешно... Это был последний графин?

Тут оба охотника стали хохотать как сумасшедшие, а большой сквозь хохот кивал Чичу головой, дескать, ты прямо в точку попал. Продолжая смеяться, большой охотник присел, прислонившись к стволу яблони и знаками показывая, чтобы Чик сел рядом. Отсмеявшись, он стал вытаскивать из ягдташа бутерброды, помидоры и огурцы. Присел и маленький охотник, осторожно положив рядом с собой двухстволку и сняв с пояса флягу.

— Когда я увидел, с каким опережением летит его стрела, — сказал большой охотник, протягивая Чичу бутерброд, — я сразу понял — у этого парня есть голова на плечах. Ты видишь, как он тебя раскусил?

Все стали есть бутерброды с колбасой. Чичу всякая колбаса казалась очень вкусной, потому что в доме Чика по мусульманскому обычаю не ели никакой, подозревая всякую колбасу в связях со свиной. Чик ел бутерброд и хрустел огурцами, а помидоры не брал, как бы по рассеянности.

— Ты что не берешь помидоры? — заметил большой охотник.

— Сегодня не хочется, — сказал Чик как можно проще.

Чик все хотел спросить у него насчет безграмотных инженеров. Но пока ему это было как-то неловко. Но по-

том, когда оба охотника несколько раз приложились к флаге, Чик осмелился.

— Вы говорили, — обратился Чик к большому охотнику, — что вам присылают безграмотных инженеров. Их присылают вредители?

Охотники переглянулись.

— Эх, Чик, — сказал большой охотник, — если бы вредители! Безграмотных балбесов нам присылают некоторые институты.

— И они не умеют ни читать, ни писать? — поразился Чик.

Охотники опять переглянулись, и большой спросил у маленького:

— Как ты думаешь, наш новый начальник участка может читать и писать?

— Не знаю, — задумчиво пожал плечами маленький, — под зарплатой подписывается аккуратно. Может, он ее рисует?

— Пожалуй, рисует, — согласился большой охотник.

И вдруг Чик понял, что они его разыгрывают. Как-то сразу понял — и все! Он понял, что инженеры на самом деле умеют читать и писать. Тогда в чем дело?

— Значит, вредители ни при чем? — спросил он, стараясь не раздражать взрослых назойливостью, но и не дать им увильнуть от правды.

— Запомни, Чик, — сказал большой охотник и взглянул на него печально и серьезно, — невежество и недобросовестность — вот самый страшный вредитель.

— Как так? — поразился Чик. Он понял из его слов, что настоящих вредителей как бы и нет совсем, а есть глупость и лень. Чик и сам прекрасно знал, что есть глупость и лень. Но он считал, что есть и страшные вредители. Чик знал, что страна идет от победы к победе, несмотря на злобные дела вредителей. А если вредителей нет, а есть только глупость, получалось как-то неинтересно, негероично, скучно получалось.

— Да, да, милый Чик, — сказал большой охотник и приобнял его, — невежественный инженер, не справляясь со своей работой, любит поговорить о вредителях. А недобросовестный рабочий ворует цемент, доски, все, что плохо лежит, и тоже любит поговорить о вредителях. Мы же строители, у нас все как на ладони.

— Как так, — снова удивился Чик, — а кто отравляет консервы?

— А ты ел отравленные консервы? — спросил большой охотник.

— Нет, — сказал Чик, — но я слышал, что многие люди отравлялись.

— Я тоже не ел, но слышал, — сказал большой охотник, — и никогда не видел людей, отравленных консервами.

Чик тоже не видел людей, отравленных консервами. Он напряг все свои способности к здравому соображению и сказал:

— Отравленные умерли, поэтому мы их не видим.

— Что-то я не слышал, — улыбнулся Чик большой охотник, — чтобы кто-нибудь из умирающих в своем завещании написал: умираю от консервов.

Слово «завещание» Чик встречал в книгах. Он знал, что это заявление, которое пишет умирающий человек. Когда человек в последний раз перед смертью пишет заявление, оно называется — завещание.

— Выходит, совсем нет вредителей? — спросил Чик, чувствуя, что жить становится довольно скучно. Чик надеялся разоблачить хотя бы одного вредителя — и притом в недалеком будущем. Он даже знал кого — собаколова.

— Ну как тебе сказать, Чик, — проговорил маленький охотник, вставая и подзывая собак, чтобы раздать им остатки бутербродов, — наверное, встречаются отдельно взятые вредители.

— В отдельно взятой стране, — почему-то добавил большой охотник.

— Но мы их не видели, — скучновато закончил маленький охотник.

Чик незаметно, но очень внимательно проследил за ним, чтобы убедиться, честно он собакам раздает еду или обделяет Белочку. Нет, он поровну раздал собакам остатки хлеба и колбасы, и Чик стало стыдно за свои подозрения.

— Дай-ка я попробую выстрелить из твоего лука, — сказал маленький охотник, и Чик с удовольствием вручил ему лук и стрелу. Как хорошо, что он не заметил его подозрительные взгляды, как хорошо!

— Тугая, — уважительно сказал маленький охотник, натянув тетиву.

— С пятнадцати шагов в консервную банку бьет без промаха, — доложил Чик.

Маленький охотник вложил стрелу в тетиву и стал

поводить луком, не зная, во что ударить. Но вот он поднял лук и нацелился в самое краснобокое яблоко на вершине яблони. Чик сразу понял, что он целится именно в это яблоко. Стрела просверкнула, впилась в яблоко, хищно качнулась, словно хотела поглубже в него впитаться и, не отпуская его, вместе с ним полетела на землю. Она даже на земле его не отпустила!

— Вот это выстрел! — сам себя похвалил маленький охотник и, подскочив к стреле, приподнял ее и в шутку откусил яблоко прямо со стрелы, как с вилки.

Но тут большой охотник подскочил к нему и отнял стрелу и лук. Он выбрал глазами яблоко, нацелился и, хотя благодаря своему большому росту был гораздо ближе к нему, чем его товарищ к своему яблоку, промахнулся.

Маленький охотник, доедая свое яблоко, стал хохотать над ним, но большой охотник наконец с третьего выстрела сбил яблоко.

И Чик у было так приятно глядеть, как это взрослые дяди отнимают друг у друга лук и веселятся, как дети. И Чик знал, что они любят друг друга, хотя все время подтрунивают друг над другом. Они уже сбили много яблок, и Чик хрустел яблоком, и сами они хрустели яблоками, и Белочка грызла яблоко. И только охотничьи собаки, обиженные и напуганные падающими яблоками, уселись в сторонке, неодобрительно поглядывая на своих хозяев.

Наконец они насытились игрой (яблоками тоже), и большой охотник, возвращая Чик у лук и стрелу, сказал:

— Спасибо, Чик. Удовольствие — лучше всякой охоты.

Чик был тронут.

— Чик, твоя собака ест яблоко! — удивился маленький охотник, только что заметив Белку, грызшую яблоко. Поздновато заметил. Белка уже грызла второе яблоко, придерживая его одной лапой. На земле, конечно.

Это были зрелые, вкусные яблоки. Если яблоко было зеленое, Белка от силы съедала одно. А зрелых яблок она могла съесть несколько. Из этого Чик заключил, что у собаки, как и у человека, бывает оскомина.

— Да, — сказал Чик, — она ест все фрукты. Яблоки, груши, инжир, виноград.

— Ну и собака! — удивился маленький охотник и вдруг его маслянистые, китайчатые глаза лукаво залучились. — Ах, Чик, если б ты знал, какая у меня была

охотничья собака! В мире больше нет такой собаки. И однажды на охоте я ее потерял. Зову, зову, ищу, ищу — нет, затерялась. И вдруг через три года охочусь в тех же местах и встречаю ее!

— Она одичала, но узнала хозяина! — воскликнул Чик.

— Нет, — печально признался маленький охотник, — все было гораздо хуже. Я увидел, ты представляешь, Чик, скелет моей любимой собаки, делающий стойку на мертвую перепелку! Оказывается, когда я ее потерял, она нашла перепелку и, сделав стойку, три года ждала меня!

— Это... это гениальная собака! — воскликнул Чик, пораженный невероятной красотой верности своему долгу.

— Да, Чик, — повторил маленький охотник, — три года она ждала, когда я подойду с ружьем и возьму перепелку.

Чик так живо и так любовно представил картину невероятной красоты верности своему долгу, что ему захотелось внести в нее точность.

— Нет, — сказал Чик уверенно, — ждала она дней десять, а потом умерла с голоду... Так, бывает, часовой замерзает на часах...

Чик на мгновение подумал, что умершая от голода собака должна была свалиться. Но потом решил, что вполне возможно, что она продолжала стоять на ногах. На четырех, хоть и мертвых, ногах вполне можно устоять. Еще живая, столько дней стоя на одном месте, она нашла самую лучшую точку равновесия. Чик до того был захвачен невероятной красотой подвига собаки, что ему не приходило в голову подумать: а чего, собственно, ждала перепелка?

— Да, Чик, вот какие бывают собаки, — вздохнул маленький охотник, а потом добавил: — Ты со своей стрелой доставил нам столько удовольствия, что я хочу дать тебе поохотиться с ружьем.

И у Чикахватило дух. Воздух прямо застрял в груди.

— Ты когда-нибудь стрелял из ружья?

— Только в тире, — выдавил Чик застрявший в груди воздух.

— В тире это не то, — сказал маленький охотник и подал Чикую свою двустволку.

Чик впервые взял в руки охотничье ружье и сразу же почувствовал его нешуточную, смертоносную тяжесть.

— Только вот что, — передумал его маленький охотник, — все время держи ствол подальше от себя. Цели-



ться ты умеешь. Увидишь дичь, нажимай на спусковой крючок... Новичкам везет. Недаром ты диких уток заметил на болоте. Здесь они редко садятся...

Чик успел рассказать охотникам о том, как он стрелял в водяную курочку и увидел диких уток.

— В этих местах иногда появляется черный лебедь, — продолжал маленький охотник, — он прилетает с моря... Это очень осторожная птица... Но новичкам везет, кто его знает...

— А куда идти? — спросил Чик, балдел от счастья, и уже уверенный в глубине души, что ему повезет.

— Прямо в сторону моря, — сказал маленький охотник, — он иногда тут появляется... Особенно в папоротниках...

Чик пошел вперед. Он с трудом держал тяжелое ружье. Белочка выскочила вперед. Чика это нервировало, но сейчас прогнать ее было бы слишком суетливо. Он боялся, что Белочка, не зная, как себя вести с черными лебедями, вспугнет его. Или чего доброго, сам он сгоряча заденет ее какой-нибудь дробинкой.

Чик шел и шел и все время думал о том, чтобы помнить о местонахождении Белочки во время выстрела в черного лебедя. Не горячиться!

И вдруг он увидел черного лебедя. И главное, в стороне от Белочки. Высунув длинную шею из папоротников, лебедь стоял в тридцати шагах от Чика и прислушивался к чему-то.

Чик нагнулся и, еле удерживаясь на ногах, — тяжесть ружья так и тянула ткнуться носом в землю, — сделал еще шагов десять и распрямился. Лебедь все еще стоял над папоротниками, вытянув шею и к чему-то прислушиваясь. Чик приложился к ружью, прицелился, взял пониже шеи лебедя, там, где в папоротниках скрывалось его тело. И, одновременно думая о том, что нельзя торопиться, чтобы не промазать, но и нельзя медлить, потому что Белочка может набежать, стал нажимать спусковой крючок. Он нажимал, испуганно удивляясь, что выстрела все нет и нет, а потом вдруг как бабахнуло!

Вместе с выстрелом раздался лай Белки и хохот бегущих к нему охотников. Чик ничего не мог понять. Лай, хохот, бегущие шаги, а лебедь как стоял, так и стоит! И вдруг он вспомнил, что есть еще и второй ствол, и заторопился, чтобы выстрелить до того, как прибежит Белка. И он прицелился еще раз и, уже ничего, кроме

шнящего азарта, не испытывая и уже совершенно не чувствуя тяжести ружья, бабахнул второй раз.

И опять лебедь стоит как замороженный. Прибежала Белка, неистово лая на ружье, прибежали хохочущие охотники, а Чик ничего не мог понять и только повторил:

— Вон лебедь! Два раза! Не улетает!

— Пойдем посмотрим, — сказал маленький охотник, и они подошли к тому месту, где стоял лебедь.

И вдруг сквозь расступившиеся папоротники, как в бредовом сне, Чик увидел, что нет никакого лебедя, а есть старая перевернутая коряга, торчащая в небо одним корневищем, изогнутый конец которого Чик издаleка принял за шею лебедя.

— Не обижайся, Чик, — воскликнул маленький охотник, пригибаясь к коряге и ища на ней следы его выстрелов, — все охотники покупаются на этом. Ты не первый!

— Но ведь корепь совсем не похож на шею черного лебедя, — закричал Чик, пораженный такой необъяснимой ошибкой, — он даже не черный, а коричневый!

— Все охотники покупаются на этот розыгрыш, — повторил маленький охотник, показывая Чикю на следы его дробинки, — четыре дробинки. Неплохо!

Чик смотрел на корягу, всю изрыбленную дробинками, и никак не мог отрешиться от мысли, что с ним сейчас случилось какое-то чудо. И хотя в первую минуту он как-то смутился и даже обиделся на обман, теперь, узнав, что многие охотники стали жертвой этой шутки, перестал обижаться. Он и раньше слышал, что охотники подшучивают друг над другом. Но ощущение пережитого чуда не проходило. Как, как он мог ошибиться?!

И когда они пошли назад, Чик оглянулся с того места, откуда он стрелял. Он поразился, что теперь в корневище, торчавшем над папоротниками, он никакого сходства с лебедем, и тем более черным, не видит. Чик подумал, что если бы у него спросили, какую птицу напоминает это корневище, он в лучшем случае ответил бы, страуса. И то, если бы спросили, какую птицу, а не зверя!

У яблони Чик подобрал свой лук и стрелы, распрощался с обоими охотниками и пошел дальше.

— Чик, — крикнул ему вслед большой красивый охотник, — по воскресеньям мы всегда здесь. Приходи!

— Хорошо, — сказал Чик и пошел дальше, все еще

думая о том, как было здорово стрелять и какое странное он пережил чудо, приняв обыкновенное корневище за шею лебедя.

Чик шел и шел и все время заставлял Белку искать перепелок. Белке надоело искать, и она теперь, слышав голос Чика, небрежно нюхает траву, нюхает кустик и бежит дальше. Еще одна перепелка, опять пропущенная Белкой, выскочила у Чика из-под ног, но он на этот раз так поздно спохватился, что даже не успел ей вслед пустить стрелу.

Травяная труха набилась в сандалии Чика, и он снял их и тщательно вытряхнул, прислушиваясь к отдаленным выстрелам. Теперь он легко отличал выстрелы в перепелок от выстрелов в голубей. В перепелок стреляли один или два раза. А в мечущихся голубей сразу раздавалось множество как бы мечущихся выстрелов.

Теперь нас трое с именем Чик, подумал он. Конечно, у этого дяди имя Чик уменьшительное. Но это не так важно. Важно, чтобы люди почаще слышали его и привыкали к нему. Чик иногда месяцами забывал о своем имени. Живет себе и не думает, как и все. Но иногда кто-нибудь начинал удивляться, и портилось настроение.

Было жарко, и дыхание близкого моря становилось все слышней. Тянуло выкупаться. Но Чик решил не купаться в море. Нельзя путать два таких больших дела, как купание в море и охота. Одно из двух. Пришел на охоту, будь верен охоте до конца.

Вдруг Чик увидел совсем недалеко от себя человека с ястребом. И как раз в это время его собака сделала стойку. Чик, непроизвольно подражая собаке, замер. Собака с хвостом, затвердевшим, как замерзшая веревка, сделала несколько шагов и остановилась. Чик тоже с отвердевшими от волнения ногами сделал несколько шагов и остановился. Охотник приподнял ястреба на ладони и крадущейся походкой пошел за собакой. Остановился. Он постоял возле собаки и вдруг приказал ей по-абхазски:

— Возьми!

Собака рванулась вперед, перепелка вылетела из травы, и Чику подумалось, что охотник слишком медлит со своим ястребом. Но вот он швырнул его, и ястреб, сверкая на солнце рыжими крыльями, с такой мощной скоростью стал догонять перепелку, что казалось, она неподвижно трепещет в воздухе, а он неотвратимо нале-

тает. Ястреб ударил в перепелку и, сразу отяжелев, опустился в кусты. Охотник побежал за ним и через несколько минут разогнулся над кустами, держа в одной руке ястреба, а в другой живую перепелку, которую он сунул в большой, самодельный ягдташ, висевший у него на поясе. Теперь Чик заметил, что ягдташ шевелится от живых перепелок.

— Что, мальчик, интересно? — улыбаясь, спросил у него охотник.

По его одежде Чик понял, что это деревенский человек. Он был одет в серую рубаху, перехваченную тонким кавказским поясом, в брюки галифе и резиновые сапоги. И хотя на вид он был старый, у него было красное, обветренное лицо и голубые, молодые глаза.

— Да, — сказал Чик, не скрывая восхищения.

— Хочешь попробовать? — улыбнулся охотник, и глаза его сияли, радуясь за Чика. Чик понял, что это очень добрый человек.

— Держись рядом, — сказал охотник наставительно, — я тебя научу охотиться с ястребом.

Чик подошел к охотнику. Ястреб, сидевший у него на руке, взбрыкнув колокольцем, сразу же повернулся в сторону Чика, стремительно наклонив голову и глядя на него желтыми, ненавидящими глазами. Чик у стало немного не по себе. Он незаметно перешел и стал по левую руку от охотника. И теперь ястреб, еще более стремительно наклонив голову, уставился ненавидящими глазами на Белочку, словно хотел сказать, а ты что, шавка, тут делаешь?! Белка тоже перешла на другую сторону и засемила рядом с Чиком. Ястреб все еще сердито поглядывал на них.

— Чужого сразу узнает, — сказал охотник, блаженно улыбаясь и несколько раз встряхнув рукой, заставил ястреба смотреть вперед.

— Снежок, — окликнул охотник свою собаку, ища ее глазами. Чик показалось трогательным и смешным, что охотник своей абхазской собаке дал русское имя Снежок.

Узнав, что Чик абхазец, охотник поощрительно кивнул головой и сказал ему по-абхазски:

— Во всем мире ястребиную охоту знают только турки и мы. Другие народы и слыхом не слыхали о ястребиной охоте.

Чик почувствовал, что если бы охотник не узнал, что он абхазец, он бы ему этого не сказал.

— А я читал, что в Средней Азии охотятся с беркутом, — осторожно, чтобы не сердить его, заметил Чик.

— Да, — неожиданно легко согласился охотник, — я тоже слышал. Они у нас научились. Но первыми в мире с ястребами начали охотиться турки. Из чего это видно? Это видно из того, что все названия ястребов турецкие: казылгуш, лачин и другие. Ястреб — птица с характером. Гордая птица. Ты видел там болото? Ястреб будет умирать от жажды, но из этого болота не выпьет. Только свежую, ключевую воду пьет... Снежок, где ты? Сюда, сюда!

— А что он ест? — спросил Чик.

— Что он ест? — загадочно улыбаясь, переспросил охотник. — Только яйца, сваренные вкрутую! Некоторые глупые охотники дают ему перепелку. Он, конечно, ее съест. Почему не съест? Перепелку каждый слопает. Но такой ястреб во время охоты, зазеваешься, и сам сожрет перепелку. Надо с самого начала приучать его к яйцам, сваренным вкрутую.

— А как ловят ястребов? — спросил Чик.

— О, — кивнул охотник, блаженно заулыбавшись и одновременно ища глазами свою собаку, — ловить ястреба самое интересное в мире занятие. Сначала ловишь на кузнечика сорокопутку. Знаешь сорокопутку?

— Да, — сказал Чик, чтобы не мешать плавности рассказа.

— А теперь ты спросишь, почему ястреба ловят на сорокопутку, а не на воробья или, скажем, дрозда? А потому ловят на сорокопутку, что ни одна птица в мире так хорошо не играет, как сорокопутка. Делаешь шалашик на высоком месте, чтобы издали видно было. Укрываешь его листьями, травой, чтобы ястреб сверху не понял, что рядом человек. Натягиваешь возле шалаша сетку, а под сеткой сорокопутка на шпагате. И вот ты видишь — далеко в небе ястреб кружится. Ты — дерг за шнур, и сорокопутка заиграла под сеткой. И ястреб ее замечает. Не может не заметить. Бьет с километровой высоты, аж испугаться можно, если не привыкши. Так и свистит крыльями — шша! — и с размаху в сетку! Сетку он не видит, до того его раздражила играющая сорокопутка. Ты мигом его накрываешь сеткой, и он твой. Сперва покусается, а потом смирится. Привязываешь к его ноге крепкий шпагат, вбиваешь планку в дерево возле своего дома и держишь его там. Первые два-три дня он все время так делает...

Чик посмотрел на лицо охотника и вдруг увидел, что тот сделался похожим на ястреба. Охотник с горделивой осторожностью повернул голову направо. Потом с такой же горделивой осторожностью повернул голову налево. Потом опять направо и опять налево.

— Смотрит, чтобы никто к нему не подошел, — продолжал охотник, — но через два-три дня привыкает к хозяину. Ты ему даешь крутое яйцо, и он его ест. Если не сразу, то на второй или на третий день съест. А потом приучаешь к охоте. Живую перепелку привязываешь к шпагату, подбрасываешь и следом пускаешь ястреба на шпагате. Он ее хватит и хочет съесть. Но ты отнимаешь у него перепелку: знай свой паек! Крутое яйцо!

Некоторые слишком гордые ястреба сперва отказываются охотиться. Тогда ты его перестаешь кормить. До шести дней можно не кормить ястреба. Не умрет! Рано или поздно голодный ястреб погонится за перепелкой. Он ее ловит, ты у него отнимаешь перепелку и сразу же даешь крутое яйцо, вот твой паек! Заслужил! За десять дней я любого ястреба могу приучить к охоте!

— А для чего колокольчик на ноге? — спросил Чик.

— Ага, колокольчик, — с удовольствием повторил охотник и опять блаженно улыбнулся, — я же сказал — ястреб — гордая птица. Бывает, ястреб летит на перепелку, но промахивается. И от стыда он улетает и прячется в кустах или на дереве. В листьях его не видно, но только шевельнулся, и ты слышишь колокольчик. И находишь его. Иногда он сам слетает к тебе на руку, потому что поостыл. Иногда приходится лезть на дерево и доставать его.

Теперь, скажем, он ударил перепелку и сел в такие кусты, что его не видно. Сливается с травой и листьями. Опять же колокольчик выручает. Дзинь-дзинь! — и ты его находишь. Вот для чего колокольчик. Где мой Снежок? Это бродяга, а не собака! Снежок! Снежок! Сколько ястребов, столько характеров!

— А когда кончается сезон перепелок, — спросил Чик, — вы их отпускаете?

— Да, — вздохнул охотник, — отпускаем. Но иногда ястреб так привыкает к человеку, что никуда не улетает. Или прилетит и сядет на руку, давай яйца вкрутую! Привыкает к человеку. Я несколько раз оставлял у себя зимовать таких ястребов. Жалко, не хочет улетать.

— И потом на следующий год опять охотились с ним?

— Нет, — сказал охотник и снова улыбнулся, — на следующий год он уже для охоты не годится. На следующий год он уже капет.

— Как? Как? — не понял Чик.

— Капет, — повторил охотник, — так говорится на нашем охотничьем языке. Ястреб, который перезимовал в человеческом доме, он уже окапетился. Для охоты не годится. Сам себе для корма кое-что добывает, но для охоты не годится. Капет. Вот так же, бывает, деревенский человек два-три года проработает в городской конторе, а потом вернется в деревню, но он уже для сельской работы капет. Ноги окапетились, руки окапетились, и душа окапетилась. Так и ястреб, который зимовал в человеческом доме, он уже на следующий год капет. До срока одряхлел: капет. Ястребиная охота такая: охотник может быть старый, но ястреб всегда должен быть молодой... Куда делся мой Снежок? Снежок, Снежок, Снежок!

Снежок не показывался.

— Перепелку учуял, — кивнул охотник и плавно побежал в ту сторону, где, как он догадывался, была его собака. Во время бега руку с ястребом он держал на весу, а ястреб, стараясь не потерять равновесия, взмахивал крыльями и перебирал ногами, как цирковой канатоходец. Глядя на ястреба, Чик бежал за охотником. И вдруг показался Снежок. Он стоял от них шагах в двадцати, вытянул все свое тело и хвост.

— Я тебе сейчас дам ястреба, а ты иди на собаку, — тихо сказал охотник и снял с руки ястреба. Только Чик потянулся за ним, как охотник обиженно отстранился:

— Кто же ястреба берет как мочалку? Снизу надо! Вот так!

Чик заломил ладонь, и охотник вложил в нее ястреба. Чик приятно почувствовал его мускулистую легкость и сухой жар ястребиного тела. Чик сразу же показалось, что у ястреба температура тела выше, чем у человека. Чик много болел малярией и считал себя большим знатоком по части определения температуры тела без градусника. Сам того не желая, он невольно определил, что у ястреба температура примерно тридцать девять градусов.

— Слишком не зажимай, задушишь, — сказал охотник, — и главное — кидай вперед. Некоторые глупцы сгоряча разбивают ястреба о землю. Кидай вперед!

Чик до этого уже бросил свой лук и сейчас держал ястреба в заломленной ладони над плечом. Ястреб шевелил царапающими когтями, но Чик терпел и медленно приближался к собаке.

Чик близко подошел к собаке и смотрел вперед, стараясь выглянуть в траве перепелку, но ее не было видно. Только Чик хотел дать ей команду — и покрылся холодным потом. В последний миг он догадался, что собирается по-русски дать команду собаке, а она скорее всего не знает русских слов, и получится какая-нибудь глупость.

— Возьми! — крикнул Чик по-абхазски, и собака рванулась вперед. Перепелка взлетела, и Чик швырнул ей вслед ястреба. Сверкая на солнце мощными рыжими крыльями, ястреб помчался по воздуху, с невероятной быстротой догоняя перепелку. И опять Чик показалось, что перепелка неподвижно трепещет в воздухе, а ястреб налетает. Он сбил ее с лету и, отяжелев от добычи, опустился в кусты.

— Беги отнимай! — крикнул охотник.

Чик побежал сломя голову, и стрелы, торчащие за поясом, стали больно царапать живот, но он, не сбавляя скорости, вырвал их из-за пояса, отбросил, подбежал к кустам и шлепнулся на траву. Он всматривался в самые запутанные хитросплетенья ежевичных плетей, ореховых и кизиловых веток и ничего не видел. Вдруг совсем рядом взбрыкнул колоколец, и Чик открылась такая картина.

Ястреб сидел на перепелке, жадно растопырив крылья, и с какой-то тугой яростью долбил перепелку по голове своим крючковатым клювом. И головка перепелки так обреченно отскакивала от неумолимого клюва и перепелка была такой беспомощной, что Чик содрогнулся от ужаса и возмущения. В следующий миг он рванулся в кусты, дотянулся до ястреба и выволок его вместе с перепелкой.

— Молодец, — сказал подоспевший охотник, — это твоя первая перепелка.

Он взял у него ястреба, уже из руки хозяина рвущегося к перепелке и бешено глядящего на нее.

— Возьми ее себе, — сказал охотник, видя, что Чик ему протягивает перепелку.

— Нет, нет, — решительно сказал Чик, отдавая ему испуганную птицу, — я просто так, я хотел только посмотреть.



Чик был потрясен, но он знал, что это надо скрывать, что стыдно показывать, и старался скрыть свое потрясение. Он никак не мог соединить свое восторженное восхищение могучим ястребом, неотвратимо налетающим и бьющим перепелку, и тем же ястребом, грузно сидящим на маленькой перепелке и, сверкая беспощадным, желтым глазом, продалбливающим ее бессильную головку.

Чик еще не понимал, что и то и другое зрелище в своем соединении и есть истинная жизнь, но он чувствовал, что ему раскрылась какая-то горестная правда, и как бы предугадывал, что в будущем от этой правды будет много печали.

— Выучись охотиться с ястребом, — улыбаясь, сказал охотник, засовывая перепелку в ягдташ, — никакой другой охоты не захочешь. Когда хорошая высыпка, бывает, так намахаешься, что плечо болит.

— Да, да, конечно, — отвечал Чик, изо всех сил сдерживаясь и в то же время с надеждой и завистью глядя на улыбающегося охотника и думая, что раз он, старый, добрый охотник, все это видел и улыбается, значит, со временем и он, Чик, привыкнет и не будет придавать этому значения.

Чик собрал все свои стрелы, поднял лук, и они с охотником пошли дальше. И Чик постепенно успокоился.

— А как тебя зовут, мальчик? — спросил охотник.

— Чик, — сказал Чик, вздохнув.

— Хоть бы и Чик, — ответил охотник, не глядя. И Чик так понравилось, что охотник не споткнулся о его имя, а тут же нашел ему свое местечко.

— Так вот, Чик, слушай, что я тебе расскажу, — продолжал он, — человек — это такой зверь, что любого зверя перевертит. Я вот ястребов приручаю. Это что! У нас в деревне был один крестьянин. Звали его Миха. Так он ворона приручил. Я тебе сейчас расскажу не то, что выдуманно людьми, а то, что было на самом деле. Так вот, у этого Михи всегда на плече сидел ворон. Скажем, мотыжим кукурузу или табак, а он у него на плече сидит. Иногда взлетит, полетает и снова на плечо. Или Миха идет на мельницу. Впереди ослик, а сзади он с вороном на плече. Или на лошади куда едет. Он верхом на лошади, а ворон верхом на нем. Надоест сидеть, полетает, полетает и снова садится на него. Иногда он у него на голове сидел. Куда захочет, туда и сядет.

Они любили друг друга. Жить друг без друга не могли. Если Миха уезжал в город на машине арбузы или орехи продавать, он ворона с собой не брал. Кто же арбузы продает с вороном на плече. Нескладно. Да и милиция не разрешит. Он его оставлял дома, и ворон скучал. Если Миха два-три дня не приезжает, ворон два-три дня ничего не ест. А жена Михи не любила ворона, стыдилась перед людьми. Вечно проклинала мужа: «Чтоб я тебя с этим вороном в один гроб положила!»

А он смеется и поглаживает своего ворона. А жена еще больше злится. И вдруг его ворон стал подолгу исчезать. Улетит и не прилетает. Иногда полдня его нет, а иногда и на всю ночь улетает. А бедный Миха беспокоится, ничего не может понять. И тогда он решил выследить его.

Однажды ворон улетел, а он потихоньку за ним. И выследил. Смотрит, на опушке леса его ворон сидит на ольхе рядом с воронихой. Оказывается, его ворон нашел себе подружку, и они теперь муж и жена. Вот куда отлучался его ворон!

Миха подошел к ольхе и стал звать его. Ворон забеспокоился: «Кар! Кар!» — и слетел к нему на плечо. А ворониха с дерева: «Кар! Кар!» — и он снова слетел с плеча и сел на ветку рядом с воронихой. Хозяин опять его звать. Бедный ворон с ума сходит. То к нему на плечо, то к воронихе. И все-таки в последний раз сел к нему на плечо, и они ушли. И Миха был рад, что победил. Он нам об этом случае много раз рассказывал.

Но потом ворон опять стал улетать к своей воронихе. То полдня его нет, а то и на всю ночь пропадает. И бедный Миха заскучал. Бывало, к вечеру выйдет на пригорок и стоит ждет. Люди к вечеру ожидают свой скот, а он своего ворона.

Добрые люди, видя такое, посмеивались. А дурные, есть же и дурные люди, злились. Они говорили, что это позор для нашего села. По нашим законам мужчина может держать на плече ружье, ястреба, орла. Или, скажем, мешок с кукурузой. Но никак не ворона. Но и против ворона в законе тоже ничего не сказано. Вот они и злятся, не знают, как быть.

А бедному Михе надоело, что его любимый ворон так часто от него улетает, а иногда и на всю ночь. И он снова выследил его и увидел, что тот опять сидит на дереве рядом с своей воронихой. Но теперь уже в другом месте. Миха был с ружьем. Подкрался, выстрелил и убил

ворониху. А бедный ворон места себе не находит. Летает над своей воронихой: «Кар! Кар! Кар!» Час летает, два летает. То сядет рядом с ней, то опять взлетит и плачет на дереве: «Кар! Кар! Кар!»

Не по себе стало Михе. Взял он мертвую птицу за крыло, отнес в самые густые чащобы и забросил туда: «Лисица подберет!» А ворон за ним: «Кар! Кар!» — но уже к нему на плечо не садится.

Опечалился Михе и пошел домой. Проходит день, два, три. Ворон не прилетает. Месяц прошел — не прилетает. Жена от радости сама летает лучше вороны. И вдруг на второй месяц ворон прилетел и сел к нему на плечо. Михе не нарадуется, а жена снова за свое: «Чтоб я вас обоих в один гроб положила!»

И они снова зажили, как раньше. И годы прошли, и мы все забыли о той воронихе, а некоторые даже и не знали. И вот однажды мы работаем на табачной плантации. Мотыжим табак. Ворон, как всегда, сидит у него на плече. И вдруг гром, молния, гроза. Недалеко был табачный сарай, и мы все туда. А ворон Михе слетел у него с плеча и сел на большой бук, что рос возле плантации. Вижу, Михе повернулся к буку.

— Ты что, — кричу ему сквозь грозу, — побежали в сарай!

— Нет, — отвечает он, — я под буком пережду! Он поближе!

— Опасно, — кричу ему, — слишком большое дерево. Молния может ударить!

— Ворон, — кричит он, — никогда не сядет на дерево, в которое молния ударит!

Мы и побежали в сарай, а он под дерево. Гроза! Земля слилась с небом, гром, молния! И один раз гром ударил так близко, что мы думали — сарай обрушится. Аж запахло. Так только молния пахнет.

— Никак молния ударила по буку! — сказал кто-то.

— Нет, — смеется другой, — у Михе ворон ученый. Он любую молнию отведет!

И вот проходит полчаса, и как это летом бывает — ливень смолк, тучи разошлись, брызнуло солнце. Мы — в поле. А где Михе? Нет Михе. Смотрим на бук — стоит, как стоял. А Михе нет. Куда делся? Подходим к буку и видим — Михе с той стороны сидит на земле, привалившись спиной к стволу. Вот так сидит...

Охотник слегка откинулся, прикрыл глаза, и лицо его стало важным и неподвижным.

— Мертвый? — ужаснулся Чик.

— Мертвее и не бывает, — кивнул охотник и продолжил: — ну, тут, конечно, шум, крик. Смотрим на бук и видим: по всему стволу идет черная трещина. Значит, молния ударила, но он не загорелся, слишком сильный ливень был. А беднягу Миху убило. Кричим в деревню, сбежались люди, и вдруг один из них находит в траве мертвого ворона.

Подивились сельчане, а некоторые вспомнили, как Миху жена проклинала: «Чтоб я вас обоих в один гроб положила!»

Так и получилось, хоть в один гроб клади. Покойника тут же взяли домой, а родственники его зароптали, жена накликала, ведьма. Но потом мудрые старики успокоили их и сказали, что наши женщины, что поделаешь, издавна так ругаются. Нет такого абхазского мужчины, чтобы жена ему не сказала: «Чтоб я тебя с твоей лошадью в один гроб положила!» А тут просто случайно совпало.

— И их вместе похоронили? — не выдержал Чик.

— Нет, — улыбнулся охотник, — кто же ворона положит в гроб с человеком? Насмешка получится. Но главное не это. Ты понял, Чик, почему ворон полетел на этот бук?

Чик словно хлопнулся в муравейник: мурашки так и побежали у него по спине!

— Не может быть! — воскликнул он, ужасаясь такой мести и как бы в глубине души желая, чтобы так оно и было, но чтобы ему это точно доказали.

— Да, Чик, — сказал охотник, загадочно улыбаясь. — ворон ему отомстил за воронику. Шесть лет он вынашивал эту мсть! Шесть лет!

— Случайное совпадение! — воскликнул Чик, в глубине души желая, чтобы так оно и было, но чтобы ему это неопровержимо доказали.

— Ты когда-нибудь слышал, — спросил старый охотник и хитро взглянул на Чика, — что молния убила человека?

— Конечно, — сказал Чик.

— А я, как видишь, не только слышал, но и видел. А теперь ты мне скажи, ты когда-нибудь слышал, что молния убила козу, собаку или буйвола?

— Нет, — ответил Чик, порывшись в памяти, — а что?

— А то, что животные чувствуют, где ударит мол-

ния, — уверенно сказал охотник, — скажем, в горах гроза. Козы в загоне. На самом возвышенном месте, как всегда, старый козел. Вожак. Если молния должна ударить в то место, где он сидит, знаешь, что он делает?

Когда Чик жил в горах в доме дедушки, он часто видел таких козлов. Они всегда шли впереди стада. Важный вид, огромные рога и длинная пожелтевшая борода. И сейчас Чик ясно увидел такого старого козла. Крутом гроза, а он сидит на возвышенном месте, мокрой бородой тыкаясь в траву. И у Чика в голове вдруг мелькнула гениальная догадка.

— Он мокрой бородой заземляется, — воскликнул Чик, — и рога служат громоотводом!

— Нет, — сказал старый охотник, улыбкой оценивая затайливость Чика, — если в то место, где сидит старый козел, через минуту должна ударить молния, он...

Тут охотник придал своему лицу глуповато-величественное выражение и стал похож на старого козла. Он застыл на несколько секунд, изображая на своем лице правильную догадку тупой головы.

— ...он тихонько встанет с места и переседет вот туда, — показал рукой старый охотник на то место, куда пересел козел, — а молния ударит в то место, где он сидел.

— А-а-а, — вспомнил Чик, — это как землетрясение. Наукой доказано, что животные чувствуют землетрясение.

— И без твоей науки, — сказал старый охотник, — народ это всегда знал. И не только землетрясение. Животные все чувствуют. Вот что было со мной в моем доме. Это было лет восемнадцать-двадцать назад. К вечеру завyla собака и вся скотина забеспокоилась. Мы приуныли. Что-то нехорошее должно случиться. Соседи перекликаются. У них то же самое. Старяки советуют не ложиться, дежурить всю ночь. Мы ждали, ждали, но ничего не случилось, и, немного успокоившись, легли. И вдруг я просыпаюсь, сам не знаю от чего. Вроде что-то скрежетнуло. Открываю глаза, не дай бог, тебе, Чик, увидеть такое!

— Что случилось? — спросил Чик.

— Открываю в постели глаза, — сказал охотник и слегка запрокинулся, показывая, как человек просыпается среди ночи, — звезды над головой! Оказывается, нет ничего страшнее, как в собственном доме открыть глаза и увидеть звезды над головой. Женщины в крик! Все

повскакали с постелей и во двор. Дурной ветер прошел над нашим селом, вот что случилось. Налетел — и нет его! У нас крышу как бритвой срезало! У других и скот погиб, и много всякого убытка имели люди от этого ветра. Никого не убило, но кое-кого поранило.

И вот скотина за пять-шесть часов это почувствовала. И то же птицы. Ты можешь сказать, что ворон случайно полетел на этот бук. А я тебе скажу — за двенадцать лет, пока он жил у бедного Михи, сколько раз дождь заставлял нас на табачной плантации. Один аллах знает! И мы всегда уходили в табачный сарай — и ворон с нами. Иногда он даже раньше нас туда влетал. Видит — дождь. Мы побросали мотыги — значит туда. Мы — в табачный сарай, а он уже там сидим на сушильной раме и смотрит, смотрит. Отчего же он только в этот раз полетел на бук?! Потому что уже почуял, что молния тянется к буку, и он понял, что пришел его час. Сам погиб, но отомстил за ворониху.

— А если б молния промахнулась? — спросил Чик.

— Молния бьет без промаха, — сказал старый охотник, — ястреб еще может промахнуться, а молния никогда. Если уж чего наметит, бьет без промаха.

— А если б Миха все же побежал с вами, что тогда? — спросил Чик.

Охотник удивленно взглянул на Чика.

— Нет, не мог он побежать с нами, — сказал охотник задумчиво, — потому как его срок пришел. Не мог он побежать с нами.

— А если б все-таки побежал? — допытывался Чик.

— Ну если б он с нами побежал, — сказал старый охотник, — ворон прилетел бы к нам и ждал другого случая. Ворон ждать умеет. Знаешь, сколько он живет?

— Триста лет, — подсказал ему Чик.

— Вот такие чудеса бывают в жизни, — сказал охотник, блаженно улыбаясь, и, взглянув на своего ястреба, добавил: — а мой ястреб сейчас слушает и злится: чего ты не охотишься, чего ты разболтался, старый?! Да и тебя, бедняга Чик, я словами заморил, ты уж прости старика!

— Что вы, что вы! — поспешно ответил ему Чик, умиляясь покаянию старого охотника, — я никогда ничего такого интересного не слышал!

Чик взглянул на ястреба, и тот полыхнул на него глазами с такой ненавистью, что Чик стало немного не по себе. Может, еще отомстит?

— Ну, я пойду, Чик. Вон уже где солнце, — сказал старый охотник, — мне еще кукурузу ломать надо. Заходи! Видишь наше село? Спроси Бадру, все тебе скажут, где я. Много чего видел на охоте... Снежок! Снежок! Куда ты провалился?

Чик распроцался со старым охотником, снова вытряхнул из сандалий травяную труху и пошел назад. Очень уж он далеко зашел. Солнце стояло все еще высоко, а Чик казалось, что прошло много времени. Он и в самом деле не успеет домой к обеду.

Он шел назад, уже не останавливаясь и не заставляя Белку искать. Он насытился охотой и все время думал о вороне и его мести. Конечно, жалко этого беднягу, но все-таки он был большой эгоист. Зачем он убил ворониху? Ворон иногда улетал бы к своей воронихе, иногда прилетал бы к хозяину. Так бы они и жили. Почему он хотел, чтобы ворон любил только его? Если бы Миха ради любви к ворону ушел бы от своей крикливой жены и жил отдельно, тогда другое дело. Тогда все было бы честно.

Теперь выстрелы раздавались гораздо реже, и Чик видел, что многие охотники бредут в сторону города. Вдруг он услышал слева от себя сразу много беспорядочных выстрелов. Он взглянул в ту сторону и увидел далеко в небе мечущихся голубей.

Один из них отделился от стаи и полетел в сторону моря. Чик решил во что бы то ни стало держать его взглядом, пока он совсем не исчезнет в далеком, струящемся мареве. Голубь летел в сторону моря, то сливаясь с воздухом, то выблискивая из него, и Чик напрягал зрение, чтобы как можно дольше не упускать его, а он все летел и летел в сторону моря. И вдруг он повернул, исчез, появился гораздо ближе. И все ближе, и ближе, и ближе и внезапно, примерно в двадцати метрах от Чика, опустился и сел на ветку дикой хурмы.

Силуэт голубя был такой отчетливый, что Чик решил попробовать выстрелить в него, хотя он сидел все-таки далеко. Чик снял лук с плеча, вставил в него стрелу, совсем не волнуясь, прицелился и пустил стрелу выше голубя, чтобы она долетела. Описав в воздухе плавную дугу, у самой хурмы стрела пошла вниз и ударила голубя. Чик за несколько мгновений до удара почувствовал, что стрела летит удивительно точно, и, когда она стала снижаться, сам слегка присел, как бы помогая

ей правильно снизиться. Стрела слилась с голубем, и он на глазах у Чика упал в кусты под хурмой.

Чик побежал, и Белка, чувствуя удачу, с радостным лаем помчалась за ним. Чик подбежал к хурме, шлепнулся на живот и заглянул в кусты. Голубь трепыхался, попав в рогульку между ветвями лещины. Зажмурив глаза, чтобы не наткнуться на колючку, Чик вполз в кусты. Только он хотел схватить голубя, как тот вывалился из рогульки и, упав на землю, сделал несколько шагов в сторону от Чика и остановился озираясь. Это был голубь пепельного цвета, и Чик увидел на его клюве капельку крови.

Видно, стрела попала ему в голову и слегка оглушила его. Чик осторожно дотянулся до него, но в последний миг голубь ловко увернулся, отошел и снова остановился. Видно, он плохо понимал, что происходит. Снаружи Белка радостно лаяла, но в кусты, между прочим, не лезла. Хорошо тебе лаять снаружи, думал Чик, принаравливаясь проползти между колючими ветками ежевики. На этот раз Чик сумел схватить голубя и, стараясь не раздавить его в ладони, выполз из кустов.

Увидев голубя, Белка стала бесноваться от радости и в прыжке пыталась схватить его за хвост. Чик прикрикнул на Белку и внимательно осмотрел клюв голубя. Капля крови все еще держалась на нем. Чик осторожно оттер ее пальцем. Он подождал не появится ли на клюве новая капля, но она, слава богу, не появилась. Это был красивый, светло-пепельный голубь.

Чик был радостно возбужден. Он надел на плечо лук и вспомнил о стреле, ударившей голубя. Под кустами ее не было. Видно, она застряла в зеленой шапке кустов. Чик ухватился за ветку лещины и стал изо всех сил трясти ее, но стрела так и не упала.

Ладно, примирился Чик с потерей стрелы, на охоте всякое бывает. Ему было особенно жалко эту стрелу, потому что именно она вонзилась в землю совсем рядом с водяной курочкой, а теперь ударила в голубя. Конечно, ребятам можно было показать на другую стрелу и сказать, что она поразила голубя. Но ведь самому себе не скажешь. Ладно, подумал Чик, другие на охоте даже собаку теряют.

Не замечая ни жары, ни усталости, Чик радостно шел через поле.

— Неужели вот этой стрелой сбил? — спросил первый охотник, встреченный Чиком.



— Да, — сказал Чик, — с двадцати шагов взял.

— Молодец, парень, — похвалил его охотник, — на жаруху себе заработал.

Чик и в голову не приходило, что можно этого голубя зажарить. Он уже решил приручить его, как тот Миха своего ворона. Но Чик не будет эгоистом. Если голубь со временем найдет себе подружку — пускай! Чик не станет ее убивать. Дело не в мести. Голубь, конечно, не ворон. Пусть живут, пусть наживают деток, пусть его голубь иногда улетает, а иногда прилетает. Чик был уверен, что в один прекрасный день голубь навсегда прилетит к нему во двор со своей подружкой и голубятами.

Встречные охотники удивлялись, как это Чик стрелой взял голубя, но никто не удивлялся, что он попал в него с двадцати шагов. Так что Чик, пока пересекал поле, довел количество шагов до тридцати. Его просто вынудили. Люди такие непонятливые. Иногда приходится кое-что преувеличивать, чтобы они удивились так, как сами должны были удивиться непреувеличенному. А раз сами не удивились, сами виноваты — глотайте преувеличение!

...К сожалению, Чик не удалось приручить дикого голубя. Два дня он жил во дворе под ящиком. И два дня он ничего не ел. Воду пил, если насильно окунуть голову в блюдечко с водой. А есть не хотел. Чик теперь знал, что ястреба могут жить без еды до шести дней, но сколько может жить дикий голубь, он не знал.

Поэтому к концу второго дня он его выпустил. Чик посадил его на ладонь, и голубь с минуту скучно сидел у него на ладони. А потом почувствовал свободу. Чик это понял за несколько секунд до того, как голубь взлетел.

Он как-то подобрался и уперся коготками в ладонь Чика. А до этого не упирался. А тут уперся коготками в ладонь Чика, уперся, поерзал, уперся, поерзал, как будто проверял Чика, отпустит он его или нет. Поверил и взлетел! Он быстро исчез из глаз, потому что в городе много домов и они закрывают небо. Голубь улетел, а Чик еще не знал, что ему в награду остается длинный, сказочный охотничий день.

## Чик знал, где зарыта собака

Не будем скрывать, Чик играл в деньги. Как хороший дворянин, он почти всегда был в проигрыше. Чик слишком сильно волновался и от этого проигрывал. Он очень хотел выиграть и от этого очень волновался. А оттого, что очень волновался, он проигрывал. А оттого, что проигрывал, он еще сильнее хотел выиграть. А оттого, что еще сильнее хотел выиграть, он еще сильнее волновался и тем вернее проигрывал.

В те времена играл в «накидку», или, как чаще говорили, в «расшибаловку». С некоторого расстояния бросались тяжелые царские пятаки, и чей пятак падал ближе к серебряному столбику монет, тот и разбивал его.

Другая игра называлась «об стенку». Надо с таким умением ударить ребром своей монеты о стенку, чтобы она, отлетев, упала рядом с монетой противника. При этом, если ты можешь растопыренной кистью руки (от кончика большого пальца до кончика безымянного) дотянуться от своей монеты до монеты противника, значит, ты выиграл.

Бывали, конечно, сложности. Например, ты считаешь, что дотянулся от своей монеты до монеты противника, а тот говорит, что это только кажется, а на самом деле между кончиком твоего пальца и краем монеты есть невидимый просвет. Как быть? Очень просто. Противник становится на четвереньки и, почти тыкаясь ртом в свою монету, изо всех сил поддувает под нее. Если она сдвинулась, значит, он прав, ты не дотянулся.

Была и самая простая игра — в «орла — решку». Подкидывается вращающаяся монета, и противник на лету говорит, на что она упадет — на орла или решку. Угадал — выиграл.

Чик предпочитал эту игру, потому что тут ничего не зависело от волнения. Но любил «расшибаловку». Какое это было счастье — ближе всех накинуть свой пятак к серебряному столбику монет. Потом, точно и спокойно нацелившись, своим пятаком ударить по этому столбику. Обычно несколько монет отлетало и хотя бы одна из них ложилась на орла, что давало тебе право бить еще раз. А в это время тебя ожидают остальные монеты, аппетит-

но завалившиеся набок. И ты с силой вколачиваешь пятак в самую верхнюю из накренившейся груды монет, и все остальные великолепно взлетают и падают. Так в цирке веселые акробаты взлетают с конца доски, когда на другой конец вспрыгивает тяжелый толстяк. И нет в мире ничего прекраснее этих волнующих минут.

Но и нет в мире ничего горестней, когда ты, честно завоевав право первым расшибить столбик монет, вдруг от волнения промазываешь своим пятаком или так неловко ударяешь по столбику серебра, что он заваливается, но ни одна монета не перевернулась. И тут твой противник, сладострастно посапывая, склоняется над приготовленным тобой пиршеством.

Эх, уж лучше в «орла — решку»! Чик чувствовал, что в полете вращающейся монеты должна быть какая-то закономерность. И, если угадать, в чем она заключается, можно предсказать, какой стороной ляжет монета. Но как угадать?

И вдруг эта тайная закономерность ему приснилась. Теперь уже трудно установить, читал ли Чик к этому времени «Пиковую даму» Пушкина. Скорее всего читал. Ему приснилась маленькая безобразная старушка, которая подбрасывала рядом с Чиком монету, беззвучно выкрикивая «орел!» или «решка!», подбегала к упавшей монете и, беззвучно хохоча, тыкала в нее пальцем, дескать, опять угадала. Бегала она почему-то без обуви, прямо в белоснежных носочках.

Чика эти носки как-то смутно беспокоили. Он чувствовал, что видел их на гораздо более приятных ногах. И это мешало ему сосредоточиться на монете.

Каждый раз выцелкивая монету из большого пальца, старушка показывала Чику, какой стороной она лежит на пальце, но Чик не придавал этому значения. Он только слышал, что она выкрикивает во время полета монеты, и потом видел, как она, хохоча, тыкает пальцем в упавшую монету, мол, опять угадала. Но только Чик приближался, чтобы взглянуть на монету, как она ловко ее подхватывала и снова выцелкивала с большого пальца.

И вдруг Чик понял, чьи носки надела старушка, хотя стремился понять, правильно ли она угадывает, какой стороной падает монета. В таких носках, и даже именно в этих, любила ходить Ника. И Чик почувствовал какую-то приятность от желания сдернуть с этой старушки белоснежные носки и вернуть их Нике. Теперь он даже не мог понять, что сильнее его волнует: вот это желание

сдернуть со старушки носки или узнать тайну закона вращения монеты. То одно отвлекало, то другое.

От этих волнений Чик проснулся и стал обдумывать свой сон. Он решил, что надо не подбегать к старухе, когда монета падает на землю, а прямо прыгнуть на монету. Тогда он успеет увидеть, какой стороной она упала на землю. О белоснежных носках Ники ему теперь было стыдно вспоминать. Но в то же время он почему-то знал, что из-за них старушка ему приснится снова.

Едва он уснул, как появилась старушка. Она даже появилась немного раньше. Он еще только засыпал, а она уже тут как тут. И снова принялась дразнить его и безобразничать с монетой. Но Чик изловчился и прыгнул на монету раньше, чем старуха успела ее подобрать. И мгновенно ему стало все ясно. Монета падает той стороной, какой она перед броском лежала на пальце!

И Чик у во сне стало до того весело, что он начал хохотать, а старушка, поняв, что Чик овладел ее тайной, стала яростно топтать ногой в белоснежном носочке.

И чем сильнее сердилась старушка, тем веселее делалось Чик у. И чем веселее делалось Чик у, тем яростнее старушка топала ногой. Топанье вдруг перешло в четкий пионерский марш на месте. И, когда она, маршируя на месте, особенно размашисто подняла ногу, Чик изловчился и сдернул с ее недотопнувшей ноги один носок.

Старушка поднесла кулачок к глазам и стала делать вид, что она маленькая обиженная девочка и вот-вот расплачется. Ах, ты дразнишь меня, притворяясь маленькой девочкой, подумал Чик, так и я подразню тебя, фальшивая старушка! И Чик сделал вид, что он еще совсем неразумное дитя и тянет в рот все, что ни попадет ему в руки.

Чик куснул носок и вдруг почувствовал, что он рассыпается во рту, как сухое пирожное. Было ужасно вкусно. И он стал его быстро есть, заранее нацеливаясь на второй носок. Он почему-то знал, что следующий носок будет еще вкусней.

И тут старушка вроде догадалась об угрозе, нависшей над вторым носком. Она лживо всплакнула и словно для того, чтобы вытереть слезы, не глядя, сняла второй носок и поднесла его к своим глазам, сухоньким, как две пустыньки.

Особенно фальшивым Чик у показалось то, что старушка, сняв с ноги носок, продолжала держать эту ногу на весу, как бы боясь ее испачкать. И, хотя вторая нога

твердо, как куриная лапа, стояла в уличной пыли, все это как бы означало, что за вторую ногу она не отвечает, за нее отвечает Чик. Утерев выдуманные слезы, старушка вдруг громко высморкалась в носок, и Чик по звуку ясно понял, что нос ее в отличие от глаз не был сухим. Теперь Чик не только перестал мечтать о втором носке, но и с отвращением догадался, что она и с тем носком, который он уже съел, неоднократно обращалась так же.

После этого она, как бы успокоившись, натянула носок на ногу, которую она все еще держала на весу, и облегченно поставила ее на землю, словно радуясь, что ей удалось не запылить ее. И тут она вдруг подмигнула Чикку и ускакала, глупейшим образом прыгая на одной ноге, той, которая была в носке. Что она хотела этим показать? Что боится запылить вторую ногу? Но ведь вторая нога и так стояла в пыли! Вот кривляка!

На следующий день после школы Чик пошел в огород, чтобы там в тиши и без свидетелей проверить вещий сон. Белка, увидев, что Чик идет в сторону огорода, весело засемила вслед за ним, надеясь поживиться фруктами. Но груши и инжир уже кончились, а хурма еще не поспела. Белка была умнейшей собакой, но времена года слегка путала. Пока на деревьях еще есть листья, она думала, что и фрукты на них еще должны быть, только надо как следует порыться в листве. Особенно ей было тяжело отказаться от мысли, что груши кончились. Очень уж она их любила.

Обычно Чик залезал на дерево, но иногда бамбуковой палкой сбивал груши. Палка стояла в саду, прислоненная к какому-нибудь дереву. Упавшую и разбившуюся грушу Чик отдавал Белке. И Белка привыкла к этому. Как только Чик брал в руки палку, Белка подбегала к нему и, подняв голову, внимательно следила за ее кончиком, шарившим в листве.

Когда Чик слишком долго выбирал, какую грушу сбить, Белочка, подняв голову и следя за палкой Чика, некоторое время вежливо молчала, а потом, бывало, слегка подвоет, напоминая о себе.

И Чика однажды осенило: Белочка, подавая голос, выбирает грушу! Чик был потрясен. Обычно, кончиком палки выпрастывая из листвы очередную грушу, он присматривался к ней — достаточно ли спелая? А так как он шел от ближайших веток к самым отдаленным, получалось, что он движется от менее зрелых к более зрелым.

И Белочка своим подвыванием как бы говорила: «Стоп! Вот эта груша мне подходит!»

Несмотря на радость по поводу этого открытия, Чик в отличие от некоторых ученых тех лет стал добиваться абсолютной чистоты эксперимента. Он решил попробовать доказательство от обратного. Теперь на глазах у ожидающей Белки он стал двигаться кончиком палки от самых зрелых груш к более зеленым. Примерно в середине этого пути Белочка начинала подвывать, хотя качество груш снижалось и она этого не могла не видеть. Напрашивалась мысль, что Белочка своим подвыванием дает знать не о том, что та или иная груша ей понравилась, а просто выражает нетерпение.

Но Чик не смирился с этой скучной мыслью. Все-таки он верил, что Белочка выбирает грушу. И он придумал такой опыт. Он выбирал кончиком палки большую желтую грушу и некоторое время возился возле нее, как будто собирался сбить. Потом он переходил к одной из самых зеленых груш и некоторое время водил кончиком палки возле нее, как будто собирался сбить. А Белочка все это время, подняв голову, следила за ним. Так он переходил от одной груши к другой до пяти-десяти раз! И что же оказалось? Оказалось, что на пятьдесят переходов от ярко-желтой груши к зеленой Белочка двенадцать-четырнадцать раз подвывала, когда палка была возле спелой груши. И только четыре-шесть раз возле зеленой.

Да! Белочка еще на дереве отличала хорошую грушу от плохой! И, если она все-таки иногда подвывала возле плохой, это только означало: «Сбей хоть какую-нибудь!»

Конечно, Чик своим друзьям и знакомым демонстрировал способности Белки. Как учитель с длинной бамбуковой указкой в руке, он двигался от самой зеленой к более спелым, и Белочка начинала подвывать, и получалось очень здорово.

Ребята дивились мудрости Белки и ее мичуринским способностям. И только соседский мальчик Абу, владелец глупейшей собаки Джек, стал от зависти придирааться.

Этот его Джек был настолько глупым, что всегда с лаем бросался на Чика, когда он входил к ним во двор. И, хотя Чик уже лет сто входил в этот двор, Джек не мог его отличить от какого-нибудь бродяги. Бросался с яростным лаем, а уже в трех шагах, узнав Чика, вилял

хвостом, делая вид, что он просто пошутил. Вообще собаки часто похожи на своих хозяев.

И вот этот Абу, тыкая рукой на вершину дерева, вдруг говорит ему:

— Чик, почему она не выбрала во-он ту грушу?

В самом деле, груша, на которую он показывал, была зрелее той, что выбрала Белка, но надо же знать меру, даже когда имеешь дело с такой собакой, как Белка.

И до чего же неблагодарный этот Абу! Мало того, что Чик бесплатно показывал способности Белки, он его еще угостил грушей. Правда, от этой груши отказалась Белка, но это была вполне хорошая груша. Белка ее даже не тронула, она ее только понюхала и отошла. И вот этот Абу теперь говорит такое.

— Твой Джек свинью от человека не может отличить, — сказал Чик, — а от Белочки ты хочешь, чтобы она все понимала, как мы.

И вот Чик пришел на огород и стал подбрасывать монеты, а Белочка подбегала к ним, нюхала и смотрела на Чика, не понимая, почему он подбрасывает такие несъедобные вещи вместо того, чтобы сбить ей грушу.

Подбрасывая монеты, Чик убедился, что в его руках великое открытие. Удивительно, что до него об этом никто не догадался. Вероятно, дело в том, что монета, которую подбрасывают в воздух, обычно, ударившись о землю, отскакивает и переворачивается. И поэтому никто не заметил, что падает она все-таки той стороной, которой взлетела. На пять бросков примерно четыре раза монета ложилась правильно. Это была высокая точность.

Чик подбрасывал пятикопеечные, трехкопеечные и однокопеечные монеты, и они почти всегда падали той стороной, какой они лежали у него на большом пальце.

Чик заметил еще, что чем выше подбрасываешь вращающуюся монету, тем точнее она ложится. И еще он заметил, что чем мельче по размеру монета, тем точнее она ложится.

И Чик подумал: почему точность падения монеты увеличивается с высотой броска или уменьшением величины монеты? Дело в количестве вращений, решил он. Чем выше бросаешь монету, тем больше она вращается. И чем мельче монета, тем больше она успевает вращаться, даже если ты ее и не так высоко закидываешь.

Поэтому крупную, пятикопеечную монету надо забрасывать гораздо выше, чем, скажем, однокопеечную. Но в

крупной монете есть и своя выгода, она тяжелее отскакивает от земли и, отскочив, реже переворачивается.

Чик целый час тренировался. Он учел и грунт. На сырой, влажной земле всякая монета плохо отскакивала и потому почти всегда ложилась точно. Чик все учел. Радостно волнуясь и теперь зная, что волшебные ему никак не помешают, он вышел на улицу.

Только он вышел на улицу, как увидел своего сверстника, грека Анести. У Анести было прозвище Боцман, потому что он умел свистеть сочетанием любых пальцев. Это у него хорошо получалось. У Чика прозвища не было, потому что многие само его имя воспринимали как прозвище.

Боцман стоял напротив дома доктора Ледина и жевал смоляную жвачку, время от времени выдувая ленивые пузыри.

— Сыграем? — сам же предложил он Чику.

— Давай, — согласился Чик, стараясь не выдавать себя торопливостью. Он подошел к Боцману.

— Ваш свет? — спросил Боцман.

Чик сунул руку в карман и вынул горсть денег. У него было семьдесят копеек.

— Ваш свет? — спросил Чик, и Боцман полез в карман. Он вынул горсть денег. Там было копеек восемьдесят — восемьдесят пять. Точнее на глазок трудно было определить.

Взаимная платежеспособность была установлена.

— «Об стенку», в «расшибаловку»? — спросил Боцман.

— Неохота возиться, — сказал Чик, как бы ленясь и не слишком дорожа своими деньгами, — давай покидаем в «орла — решку»?

— Идет, — сказал Боцман, — чур, я первый подкидываю!

Когда играли в «орла — решку», каждый стремился подкидывать сам.

— Хорошо, — согласился Чик.

— По пять или по десять копеек? — спросил Боцман и вынул из кармана пятак для подбрасывания в воздух.

— По десять, — сказал Чик, как бы не дорожа своими деньгами.

Боцман остановил жующие челюсти, положил пятак на большой палец, поддел его под указательный и сильно подбросил вращающуюся монету. Она лежала у него на «орла». Чик проследил за монетой и, чтобы Боцман ни о



чем не мог догадаться, уже перед самым падением ее на землю крикнул:

— Орел!

Пятак слабо отскочил от земли и затих, удержавшись на «орла». Боцман дал Чику десять копеек и снова подбросил пятак. Подбрасывая его, он каждый раз останавливал свои жующие челюсти.

Чик снова помедлил и снова выкрикнул почти в последний миг, на что упадет монета. И снова угадал. Боцман молча дал ему еще десять копеек. Великое открытие действовало пока безотказно. Боцман снова подбросил монету и снова проиграл. Теперь он вообще перестал жевать жвачку. И он снова молча подбросил монету и снова проиграл.

И вдруг Чику стало как-то не по себе. Получалось, что он его вроде обманывает. Чик вспомнил, что он много раз проигрывал Боцману, но это сейчас не помогало. Ему ужасно захотелось вспомнить случай, когда Боцман его несправедливо обижал. И такой случай мгновенно припомнился.

Брат Боцмана, звали его Христо, занимался боксом. Он был на несколько лет старше Боцмана, ему было лет шестнадцать. Однажды он принес домой перчатки и песочные часы и предложил Чику побоксировать с братом.

Чик знал, что он сильнее Боцмана, но также знал, что Боцман очень ловкий. Они стали боксировать, и первый раунд прошел на равных. Во втором раунде Христо погречески сказал своему братцу: «Алихора! Алихора!» Это значит: быстрее, быстрее. Ага, подумал Чик, они мне навязывают темп. В журнале «Вокруг света» Чик читал много всяких рассказов про знаменитого американского боксера Джо Луиса, чемпиона мира. И Чик стал лихорадочно вспоминать, какими приемами отвечал Джо Луис, когда ему навязывали темп. Чик до того сосредоточился на воспоминаниях, что забылся и не заметил, как Боцман нанес ему резкий удар. Чик брякнулся на землю, хотя было совсем не больно.

Чик быстро вскочил, но Христо, неприятно засмеявшись, сказал: «Нокдаун!»

Смех Христо прозвучал нехорошо. Он прозвучал как знак фамильного превосходства. Чик был уверен, что, если бы он послал в нокдаун его братца, Христо и не подумал бы так засмеяться.

Но это еще полбеды. Вслед за старшим братом и Боцман рассмеялся самодовольным, наглым смехом. Смех

его как бы означал: я давно знал, что Чик плохо держится на ногах. И в этом была подлость.

Чик с Боцманом никогда не дрался, но полное преимущество Чика в уличной драке Боцман давно признал. Да оно легко вычислялось. Чик спокойно поколачивал некоторых мальчиков, которые спокойно поколачивали Боцмана. Простая арифметика. И вот Чик брякается на землю от случайного удара, и Боцман издевательски смеется над ним, забывая об этом. И Чик припомнил сейчас подлый смех Боцмана.

— Анести, — сказал Чик, как бы отбрасывая чадру его прозвища, чтобы прямее видна была его бесстыжесть, — почему, когда в позапрошлом году Христо принес перчатки и мы дрались и я упал, почему ты тогда смеялся надо мной?

— Потому что ты смешно шлепнулся, — сказал Боцман с раздраженным недоумением.

— Анести, — горестно повторил Чик, как бы пытаюсь терпеливо докопаться до его совести, — это же нечестно — смеяться, когда человек упал от твоего удара. Это же нечестно, Анести!

Боцман прямо-таки застыл от возмущения. Потом он яростно выплюнул из своего рта жвачку и крикнул:

— Ты посмотри! Он выигрывает и он же вспоминает! Играй!

— Хорошо, — сказал Чик.

Боцман снова подкинул монету. И Чик снова, стараясь отдалить его от своей тайны, крикнул перед самым приземлением ее:

— Решка!

Монета упала на «решку». Но, видно, Чик переборщил, и Боцман что-то заподозрил.

— Почему ты молчишь, когда пятак наверху, — спросил он, — а говоришь, только когда он возле земли?

— Все по правилам, — ответил Чик, — когда хочу, тогда и говорю.

— Нет, — сказал Боцман, — я заметил, что ты говоришь, когда пятак уже еле-еле крутится и можно разглядеть, на что он упадет.

— Не смейся людей, — сказал Чик.

Боцман подумал, подумал и решил:

— Я буду копейку кидать... Посмотрим, как ты разглядишь...

— Как хочешь, — сказал Чик.

Чик, конечно, помнил, что чем мельче монета, тем точ-

нее она падает. Множественность вращений увеличивала точность.

Боцман подбросил копейку.

— Орел! — крикнул Чик, когда монетка была еще на взлете.

Копейка упала на землю, отскочила и замерла на «решке».

— Вот видишь, — крикнул Боцман, — я понял, что ты меня фрайеруешь!

— Кидай, — сказал Чик, отдавая ему десять копеек. Боцман выиграл еще раз, а потом все проиграл до последней копейки.

Он стал играть на последнюю копейку и выиграл копейку. Стали играть на две копейки, и Боцман снова выиграл. Стали играть на четыре копейки, и Боцман снова выиграл.

С тех пор как стали играть на копейку, Чик даже не смотрел Боцману на руку. Говорил наугад. Он знал, что на копейке далеко не уедешь. Боцман снова сыграл на все деньги и все проиграл уже вместе с последней копейкой.

Он был здорово раздражен, что ему начало везти, когда у него оставалась только одна копейка. Он двинул было челюстями, чтобы немного успокоиться на жвачке, и вдруг обнаружил, что жвачки во рту нет.

— Где моя жвачка?! — крикнул он и посмотрел на Чика с таким видом, как будто Чик незаметно вытащил ее у него изо рта.

— Ты ее выплюнул! — сказал Чик.

— Подумаешь, один раз в жизни выиграл! — крикнул Боцман и, передразнивая Чика, добавил: — Зачем ты смеялся, зачем ты смеялся? Свалился, как гнилая груша с дерева, потому и смеялся!

Чик махнул рукой и пошел от него. Деньги приятно тяжелили карман. Монеты Боцмана, знакомясь с монетами Чика, дружески перезвякивались. Какая-то смутная неприятность чуть-чуть давала о себе знать, но монеты дружески перезвякивались, и Чик под эту музыку успокоился.

На углу большие мальчишки играли в «расшибаловку». Они играли на цементном тротуаре. Когда они, став на корточки, долбили своими тяжелыми царскими пятками уже рассыпавшуюся кучу денег, на тротуаре стоял перезвон, как в маленькой кузне: тюк! тюк! тюк! Деньги куют деньгами.

Среди ребят, следящих за игрой, Чик заметил двух сверстников. Один из них был Бочо, а другой Славик. У Славика было нежное румяное лицо, и он нравился девочкам. За все это он получил прозвище Суслик.

Суслик жил рядом, напротив стадиона. Он учился в одной школе с Чиком, но в другом, параллельном, классе. Год назад он вместе с родителями переехал в Мухус из Москвы. Сначала ребята не верили, что он из Москвы. Многие приезжие мальчишки норовили выдать себя за москвичей. Иной придет из Краснодара или даже из Армавира, а норовит выдать себя за москвича.

Однако вскоре пришлось поверить. Иногда он выходил из дому прямо в носках, без обуви. Сидит себе на крылечке в носках или даже гоняет в футбол в носках. Ему было не жалко носков. На такой шик мог решиться только москвич.

Славик был единственным сыном своих родителей. Его отец и мать, оба работали в обезьяньем питомнике. Они были ученые. Профессорская семья, говорили на улице Чика. Это была единственная профессорская семья, о которой слышал Чик. Чик точно не знал, оба родителя Славика профессора или каждый из них полупрофессор, и потому в целом семья профессорская.

Да, Суслик был хорошенький и нравился девочкам. Но у него была странная привычка: что ни скажет — хохоток.

В первое время Чику как-то чудно было слышать этот хохоток. Он сперва даже думал, что в словах Славика, вероятно, скрыта какая-то острота, понятная в Москве, но еще непонятная в Мухусе. «Айда пить лимонад! Ха! Ха!», «Пошли на бартеж! Ха! Ха!», «Махнули на море! Ха! Ха!»

Потом Чик догадался, отчего это — избыток здоровья, благополучия, богатства. Казалось, вокруг Суслика роятся миллионы пылинки счастья и заставляют его все время чихать смехом. Чик чувствовал, что Суслика что-то неуловимое связывает с Оником. Но Оник никогда не доходил до того, чтобы бессмысленно хохотать. А уж если бы он вздумал выйти в носках на улицу и гонять в футбол, тут бы его отец, Богатый Портной, завопил бы на весь город.

В то время, все еще продолжая интересоваться загадочной душой богачей, Чик сблизился со Славиком. Чик еще не был у него дома, но знал, что приглашение на-

зревает. И вот однажды Славик на перемене, пробегая мимо него, остановился и сказал:

— Чик, приглашаю на день рождения! Мировая шапковка и мировые девчонки! Жди меня после школы! Забегу за тобой! Ха! Ха!

Чик пришел из школы и стал ждать. Он даже сразу надел на себя свежую белую рубашку и первые свои длинные брюки, с непривычки накаляющие икры ног.

— Ты куда собрался? — спросила мама.

— Да тут один москвич пригласил, — мимоходом ответил Чик.

Но вот он его ждет да ждет, а Славика все нет. Чик все это время тоскливо сидел дома. Он даже в сад не пошел, боясь, что Славик заскочит и, не найдя его дома, убежит. Мама начала коситься на него, как бы думая, что Чик чего-то там не понял и простодушно преувеличил свою близость с москвичами.

Наконец Чик вышел на улицу и стал ждать Славика, сидя на крылечке Богатого Портного. Поглаживая Белку, он смотрел и смотрел, когда из-за угла выскочит Славик. Но Славик все не выскакивал. Становилось все тоскливей и тоскливей. Оказывается, ничего в мире нет ужасней этого, когда тебя приглашают на день рождения, обещают зайти, а потом не заходят.

Если сперва и можно было самому прийти, то теперь, когда он столько часов прождал, никак нельзя было приходиться самому. Но ведь он ясно сказал, что забежит за Чиком! Сказал или не сказал? Сказал. Значит, они веселятся без него. Поглаживая Белку, Чик тоскливо вздыхал и смотрел туда, откуда должен был появиться Славик и все никак не появлялся. Стало смеркаться.

И вдруг в голове у Чика мелькнула странная надежда. Речка, пересекавшая улицу и проходившая мимо сада, проходила и мимо дома, где жил Славик. Эту речку, почти пересыхавшую летом, довольно заслуженно именовали канавой. Так вот, Чикуну пришло в голову, что Славик спустился вниз и по канаве подошел к саду Чика, прошел сад, вошел в дом и, увидев, что его нет, тем же путем отправился к себе.

Чик сорвался с места и побскал домой. Если Славик и в самом деле заходил, можно пойти к нему и без приглашения. Мама очень удивилась вопросу Чика и, отрицательно покачав головой, грустно сказала:

— Раздевайся...

Нет, Чик не хотел раздеваться. Он снова вышел на

улицу. И как это он мог подумать, что Славик по канаве придет приглашать его на день рождения. Нет, когда идут приглашать на день рождения, ходят по улице, а не по канаве.

И вдруг снова мелькнула надежда: что-то случилось с отцом или матерью! Они там делают всякие опыты с обезьянами. Какая-нибудь горилла могла укусить отца или маму! Тогда, конечно, не до гостей!

Чик вскочил со ступенек и направился в сторону дома Славика. Белочка попыталась увязаться за ним, но Чик со всей строгостью загнал ее во двор. Нет, он не собирался заходить к Славику, но все-таки Белка сейчас ему могла помешать. А вдруг собирался? Нет!

Чик прошел свой квартал, завернул на улицу, где жил Славик, и уже издали понял, что там ничего не случилось. Окна были распахнуты, на улицу лился праздничный свет, а когда Чик проходил мимо дома, он услышал музыку и взрывы смеха.

Мутная горечь предательства заволокла душу. Он дошел до конца квартала и почему-то повернул назад, хотя мог дать кругалю и вернуться домой с противоположной стороны. Ему еще раз хотелось пройти мимо этого дома. Нет, ни за какие награды он бы теперь туда не вошел, но ему почему-то хотелось еще раз пройти мимо. Ему хотелось, чтобы Славик выглянул и позвал его. А Чик ему в ответ равнодушно сказал бы: «Не могу... Спешу в кино...»

Или еще что-нибудь. Чик теперь больше всего думал о завтрашнем дне. Ему было бы завтра ужасно стыдно встречаться со Славиком. Странно, вдруг подумал Чик, предают тебя, а почему-то стыдно тебе. Конечно, можно было этого Суслика завтра налупить! Но тогда будет еще стыдней. Раз налупил, значит, очень дорожил этим праздником!

Только он поравнялся с домом, как распахнулась дверь и оттуда высыпали мальчики и девочки. И среди них — предательство, кругом предательство — Ника!

Так вот почему Славик его не пригласил, потому что он пригласил Нику и хотел быть с нею без него. Коварство! Коварство! Чик даже не знал, что они знакомы! Но когда же он прошел во двор?! Конечно, тогда, когда Чик сидел еще дома и ожидал его.

— Чик, — воскликнул Славик, — а я забыл за тобой заскочить! Что ж ты сам не пришел? Ха! Ха!

— Да я в кино был, — небрежно бросил Чик, изо всех сил держа себя в руках.

— Вот и проводишь Нику, — сказал Славик, — а то ее некому провозжать!

Ника подошла к нему как ни в чем не бывало. Чик был поражен, что ни Славик, ни она не испытывают никакого чувства вины. Мальчики и девочки шумной гурьбой отправились в сторону центра, а Чик со своей спутницей пошли в обратную сторону. Чик молчал, и она молчала. Главное, ничего не показывать.

— Он что, тебя приглашал? — вдруг спросила Ника, взглянув на него бледнеющим в темноте лицом.

— Кажется, — сказал Чик, держа себя в руках, — а тебя?

— Нет, — сказала Ника, — я была у подруги, а он зашел за ней и уговорил меня.

У Чика немного отлегло от сердца. Значит, он все-таки к ним во двор не заходил.

— Обо мне что-нибудь говорили? — спросил Чик с некоторой тревогой.

— Нет, — сказала Ника, — о тебе никто не вспоминал...

До этого Чик хотел, чтобы так оно и было, а теперь почему-то стало обидно: предадут и даже не вспомнят!

— Ты знаешь, Чик, — вдруг добавила Ника, — Славик мне кажется каким-то глупым... А некоторым девочкам он нравится... Почему он все время подхихикивает?

Лейся, освежающий ливень, лейся на душу! Нет, Нику не проведешь своими хихиканьями и шлепаньем в носках по тротуару!

— Глупый?! — всколыхнулся Чик. — Да он просто идиот!

— Зато папа у него такой добрый, такой славный, — вздохнула Ника.

— Насчет отца не знаю, — сказал Чик, — но Суслик, он и есть Суслик.

Был чудесный майский вечер. Кругом летали светляки. Чику всегда казалось, что свегляки, грустно вспыхивая, ищут в темноте потерянный день. Сами вспыхивают светом и сами же ищут свет дня. Чику казалось, что они своими вспышками канючат, как малые дети: «Куда делся день? Куда делся день?»

Ника шла рядом, спокойно перебирая ногами в белых носках. Бледнело лицо, мелькали носки. Вдруг Ника легким движением руки поймала светляка и вложила его под прядь своих волос. Казалось, она сорвала в воздухе цветок и украсила им свою голову. И Чик вспомнил, как

во время похода за мастикой они шли по каменной стене и она срывала розы и втыкала их в свои волосы. Они молчали. Светляк, вспыхивающий под прядью волос, высвечивал ее как бы ждущее ухо. Ждет да ждет. Ждет да ждет. Чик стало так хорошо, что он совсем забыл о Славике.

Но на следующий день Чик опять все вспомнил и уже никогда не мог забыть своей обиды, хотя Славика ничего не говорил. Славик чувствовал, что Чик охладил к нему, но никак не мог понять, в чем дело. Месяцы шли. Иногда Славик пытался что-то вспомнить и взглядом даже как бы просил Чика подсказать, в чем дело, но Чик ничего не подсказывал.

И вот сейчас, когда Чик увидел Славика, стоявшего рядом с Бочо и следящего, как большие мальчики тяжелыми царскими пятаками куют и куют деньги, он понял, что час возмездия настал.

— Чик, сыграем? — крикнул Славик, увидев его.

— Ваш свет? — спросил Чик, останавливаясь у края улицы.

— Чик, — крикнул Бочо, только теперь заметив его, — сыграй лучше со мной. Суслик со мной не хочет играть.

В это время Славик уже спрыгнул с цементного тротуара на немощеную улицу, и деньги сами тяжело звякнули у него в кармане. Чик тоже тряхнул карманом. Было чем тряхнуть.

— А что с тобой играть, — ответил Славик, на мгновение обернувшись в сторону Бочо, — у тебя — ха! ха! — всего двадцать копеек!

Чик любил Бочо, но сейчас он ему не мог объяснить, почему не хочет с ним играть.

— Потом, потом, — крикнул он ему и взглянул на Славика.

— В «орла — решку»? — спросил Славик, имея в виду, что место, удобное для «расшибаловки», на тротуаре занято.

Чик кивнул. Дичь сама шла на охотника.

— Чур, я первый! — крикнул Славик и достал пятак.

Опять договорились играть по десять копеек. Славик подкинул пятак и сразу выиграл. Он слабовато подкидывал. Потом дважды выиграл Чик. Потом опять Славик. Славик как-то слабовато подкидывал. Он начал играть сравнительно недавно и поэтому еще не научился лихо подкидывать монету.



— У тебя что, руки слабые? — спросил Чик.

— Как так?! — возмутился Славик и подставил Чику полусогнутую руку, показывая силу своих мускулов. Чик внимательно пощупал мускулы Славика. Да, мускулы были неплохие, но Чик сделал вид, что у него по этому поводу остаются немалые сомнения и только дальнейшая игра Славика может рассеять их.

— Попробуй повыше, — сказал Чик.

— Могу и повыше, — согласился Славик.

Игра пошла живей. Но Чик не так часто выигрывал, как хотелось бы. Дело в том, что здесь земля была сухая и твердая и пятак слишком высоко отскакивал, нарушая Великий Закон, открытый Чиком во сне при помощи маленькой старушки.

Чик стал озираться, ища местечко помягче, повлажнее. И тут взгляд его упал на колонку с водой. Она стояла на углу в пятнадцати шагах от них. Вокруг нее была влажная земля — женщины, время от времени плеская ведрами, отходили от нее в разные стороны. Да и местные пацаны, поджав струю ладонью, любили разбрызгивать воду горизонтальными фонтанами. Так что место было подходящее.

— Жарко, — сказал Чик, — пойду напьюсь.

Он подошел к колонке, открыл кран и нарочно стал долго пить воду, вернее, делать вид, что пьет, надеясь, что Славику надоест ждать и он сам подойдет. Но Славик не подходил.

Умываться было бы слишком подозрительно. Чик вспомнил, что в жаркие дни бабушка иногда смачивала водой из-под крана лоб его сумасшедшего дядюшки, чтобы он не буянил. И он стал, пошлепывая ладонью, плескать себе воду на лоб. Чик долго плескал себе воду на лоб, надеясь, что Славику надоест ждать и он подойдет к нему.

— Да ты что, спятил?! — крикнул Славик, и Чик поразился его случайной догадке. Чик продолжал охлаждать себе лоб. — Да ты будешь играть или нет?! — крикнул Славик.

— Подходи, подходи, сыграем, — отвечал Чик, как бы стараясь не терять время. Он продолжал шлепать себе воду на лоб.

Славик не выдержал и подошел. Они стали снова играть. На влажной земле пятак ложился как надо. Изредка если слегка и отскочит от земли, перевернуться ему уже почти никогда не хватало сил. Чем чаще Славик про-

игрывал, тем больше раздражался, чем больше раздражался, тем выше закидывал пятак. А чем выше он его закидывал, тем точнее пятак ложился. Вообще проигрывающий всегда старался как можно выше кинуть монету. Он как бы старался докинуть ее до высоты везения.

Минут через двадцать Чик его полностью обыграл. У Славика было полтора рубля мелочью, и все эти деньги теперь приятно тяжелили карман Чика.

Оказывается, чем больше деньги оттягивают карман, тем выше подымается настроение. Чик это ясно почувствовал. Чик подумал, что это вроде качелей. Когда на одном конце деньги оттягивают карман, на другом конце подымается веселье души. Чик еще был настолько юн, самоощущение богача было для него настолько ново, что он и не подозревал о том, что богачи могут впадать в мрачную меланхолию от боязни потерять свои деньги.

— Я пойду за деньгами, — сказал Славик, — ты меня жди.

Жди! Чик опять все вспомнил и почувствовал себя отомщенным.

— Подождем, подождем, — ответил Чик многозначительно, но Славик ничего не понял и побежал в сторону дома.

— Чик, сыграем? — сказал Бочо своим сиплым голосом. Он все это время стоял рядом. Ну до чего же Чик нравился этот сиплый голос Бочо! Чик отдал бы половину своих денег, а может, и все, чтобы иметь такой голос. Такой голос мог быть у капитана, о котором до того часто думал Чик, что иногда видел его как живого. Капитан, продутый всеми ветрами, но прокуренный одной-единственной трубкой, — вот мечта Чика, которую он иногда видел наяву.

— Нет, Бочо, — ответил Чик, — я с тобой не буду играть, я со своими ребятами не играю.

— Но ты же играл с Бодманом? — удивился Бочо.

— Откуда ты знаешь? — удивился Чик.

— Тут один на велосипеде проезжал, — сообщил Бочо, — он сказал, что ты очистил Бодмана... Греки волнуется, Чик!

Чик был до того увлечен игрой, что не заметил этого велосипедиста. Теперь он понял, что Бодман своей глупой жалобой на подглядывание Чика взволновал свой двор.

— Пусть волнуется, — ответил Чик, — Анести надо мной нечестно смеялся, и я его за это обыграл. И брат

его нечестно подсказывал ему, когда мы боксировали. Алихора! Алихора! Как будто я не знаю, что это означает.

— Чик, а я знаю, отчего ты выигрываешь, — сказал Бочо и хитренько посмотрел на него.

— Откуда знаешь? — удивился Чик.

— Сам догадался, — уверенно сказал Бочо.

— Тогда скажи, — попросил Чик.

Бочо ужасно нравился Чик. Особенно он ему стал нравиться после того, как Чик красиво победил Бочо в честной драке и в невыгодной для себя обстановке. Но он всегда считал Бочо простаком. И вдруг такое!

— А ты будешь со мной играть? — спросил Бочо и с дьявольской пронизательностью добавил: — Только не на этом месте, Чик. Ох, не на этом!

— Как хочешь, — бормотнул Чик, удивленный его догадливостью.

— Тебе возле колонки везет, — уверенно сказал Бочо.

— А как ты догадался? — спросил Чик радостно. Он понял, что Бочо пошел не научным путем, а путем колдовства.

— Очень просто, — сказал Бочо, возбуждаясь от собственной догадки, и от этого голос его еще сильнее засипел, — сначала я никак не мог понять, чего это ты торчишь и торчишь возле колонки. А потом, когда ты стал плескать себе воду на лоб, я понял, что ты его приманиваешь к этому месту. Да ты никогда в жизни не плескал себе воду на лоб! А тут вдруг плескаешь и приманиваешь, плескаешь и приманиваешь! И приманил! На этом заколдованном месте Славик двадцать два раза подбрасывал монету и ты семнадцать раз угадал. Э, думаю, тут нечистая сила!

— Да, — скромно согласился Чик, радуясь, что Бочо ничего не понял, — ты правильно догадался.

— А как ты заколдовал это место, Чик?

— А ты никому не скажешь? — спросил Чик серьезно и в то же время чувствуя, до чего же ему будет сейчас весело выдумывать.

— Чтоб я похоронил свою маму, если скажу! — поклялся Бочо.

— Здесь собака зарыта, — важно сказал Чик.

— Собака?! — удивился Бочо и стал внимательно всматриваться в землю, словно хотел разглядеть сквозь землю труп собаки. — Твоя Белочка, что ли?

— Да ты с ума сошел! — вздрогнул Чик, на мгновение представив такое. — Белочка жива-здоровая!

— Какая же собака, — спросил Бочо, — немецкая овчарка, что ли?

— Порода не имеет значения, — важно заметил Чик.

— Так ее что, живую зарыли? — допытывался Бочо.

— Нет, — сказал Чик, — она давным-давно умерла, и ее здесь зарыли.

— Разве можно зарыть собаку там, где люди воду берут? — неожиданно удивился Бочо.

Чик никак не ожидал такого вопроса, но не растерялся. Голова работала легко, весело. Стоило шевельнуться, и карман Чика издавал тяжелый, переливающийся звон.

— Ну какой же ты, Бочо, недотепа, — сказал Чик, — колодезь когда поставили? Два года назад! А собаку зарыли давно. Это же не колодезь. Вода течет себе по трубе и к собаке не притрагивается.

— Чик, а там, где ты Бодмана обчесал, тоже зарыта собака? — вспомнил вдруг Бочо.

— Да, — твердо сказал Чик.

— Да у вас что, дохлых собак зарывают на улице?! — удивился Бочо. — А у нас, если собака сдохнет, ее зарывают где-нибудь на огороде или на свалке.

— Это теперь так принято, — сказал Чик, — а раньше, до революции, было принято по-другому.

— Чик, — вдруг спросил Бочо, — а почему ты до сегодняшнего дня часто проигрывал, если знал колдовские места, где зарыты собаки?

— В том-то и дело, что не знал, — сказал Чик, — этот секрет открыл мне один старый капитан. Я с ним рыбачил, и я ему понравился. А ему этот секрет открыл один старый пират во время гражданской войны. Этого пирата взяли в плен, и капитан уже хотел повесить его на рее. «Вздернуть на рее вы меня можете, — сказал старый пират, — но кто вас научит беляков брать на бордаж? Ох и посмеюсь я над вами сверху, когда вы вздумаете идти на бордаж!» Пираты всегда так шутят. И тогда капитан призадумался и сказал: «Учи! Только честно! Дарю тебе за это жизни!» — «Свистать команду на полубак! — крикнул старый пират. — Начинаю учить!» И он научил наших моряков брать на бордаж вражеские суда и стал нашим. А в перерывах между боями он учил капитана пить ром, показывать карточные фокусы, вязать пиратские узлы. Он даже хотел ему сде-

лать цветную наколку. Но капитан отказался. «Запомни, — сказал он ему, — я революционер, а не хулиган. Так и передай!» Чик эту фразу услышал в прошлом году в разговоре двух мужчин, и она ему ужасно понравилась своей гордой красотой.

— Кому должен пират передать? — не понял Бочо.

— Другим пиратам, — сказал Чик, — чтобы они больше никогда не приставали к нему со своими цветными наколками. И вот этот пират научил его находить заколдованные места, где зарыта собака.

— А насчет кладов, Чик, — спросил Бочо, — что он сказал насчет кладов?

— Насчет кладов, — сказал Чик, — капитан пока молчит... Не все сразу...

— И ты теперь знаешь все места, где зарыта собака? — спросил Бочо.

— Нет, — сказал Чик, — пока на двух улицах. Мне хватает.

Бочо на мгновение призадумался.

— Чик, — спросил он потом, — а скажи мне точно, в каком месте ты обыграл Боцмана?

Чик про себя улыбнулся его наивной хитрости. Он уже твердо решил, что завтра раскроет Бочо свой научный секрет. А сегодня еще можно было пошухарить. И он сказал ему правду.

— Дом доктора Ледина знаешь? — спросил Чик.

— Кто же его не знает, — кивнул Бочо в сторону дома доктора Ледина.

— От середины дома отсчитай пять шагов в сторону улицы и попадешь в точку.

Бочо призадумался.

— А еще где? — спросил он.

— Ты что, думаешь, достаточно знать, где зарыта собака?

— А что? — спросил Бочо.

— Нет, — сказал Чик, — это еще не все. Это почти ничего. Если б дело было только в зарытой собаке, ты знаешь, сколько бы негодяев поубивало собак! Они бы зарывали бедных собак в таких местах, где люди почаще собираются играть, и давай всех обчесывать!

— А в чем дело, Чик? В чем? — спросил Бочо, приплясывая от нетерпения.

— Во-первых, собака под землей должна пролежать не меньше ста лет, — строгим голосом сказал Чик, — и, прежде чем играть, надо про себя три раза произнести

колдовское слово... А от породы собаки ничего не зависит... Лишь бы она пропела под землей лет сто.

— Какое слово, Чик, какое? — взмолился Бочо.

Чик сделал многозначительное лицо и кивнул на перекресток. К ним приближались два брата-близнеца. Всегда серьезные, всегда одинаково одетые, они и в деньги всегда приходили играть вместе. И всегда или оба выигрывали, или оба проигрывали. Так получалось. Если один проигрывает, другой ему дает свои деньги. Иногда один играет, а другой просто смотрит. Если тот, кто играет, проигрывает, второй прерывает игру, отводит его чуть в сторонку, и они начинают шептаться. После этого или второй вступает в игру вместо первого, или первый меняет вид игры. Хоть выигрывают, хоть проигрывают, они всегда оставались серьезными. За все это им дали общее прозвище «Два Брата — Гроб да Лопата».

— Чик, — засипел Бочо вполголоса, — скажи колдовское слово. Лопату я беру на себя.

— Нет, Бочо, — твердо сказал Чик, — завтра все узнаешь, а сегодня я играю один.

Чик взглянул в сторону братьев и хлопнул себя по карману. Братья посмотрели друг на друга, потом взглянули на Чика и разом кивнули.

Они подошли к Чику и вытащили из карманов мелочь. У каждого было почти по рублю. Может создаться ложное впечатление, что у ребят Мухуса было много карманных денег. Нет, конечно. Но если человек приходит играть, значит, он накопил деньги. Только такой милый простак, как Бочо, приходит с двадцатью копейками и канючит, чтобы с ним поиграли. Настоящие игроки копят деньги к игре.

И вот они стали играть. Опять по десять копеек. То один подбрасывает пятак, то другой. И проигрывают, хоть и медленней, чем Славик, но проигрывают.

Вдруг старший близнец отвел в сторону младшего, и они стали шептаться. Пошептались, пошептались и подошли. Шептание кончилось тем, что старший близнец сменил свой пятак на трехкопеечную монету, а младший — на двухкопеечную. Снова стали бросать. Через некоторое время младшему повезло три раза подряд, а старший продолжал проигрывать своей трехкопеечной монетой.

Братья снова отошли, пошептались, пошептались, и старший, взяв все деньги у младшего, стал подкидывать

копеечную монету и все проиграл. Все проиграв, они, как обычно, молча повернулись и ушли.

— Чик, — сказал Бочо восторженно, — ты теперь у всех можешь выиграть. Сыграй с этими.

Чик посмотрел на трюгар. Там продолжали ковать деньги тяжелыми царскими пятаками. Все эти ребята были года на три, на четыре старше Чика.

— Налупить могут, — твердо сказал Чик.

— А что же Суслик не приходит? — удивился Бочо.

— Ха, — усмехнулся Чик, — Суслик уже давно забыл про нас. Наверное, бегаёт по двору в носках. Пойдем погужуемся. Я угощаю!

Чик облапил Бочо одной рукой, как щедрый старший брат, и повел его угощать. Через перекресток на углу под церковной оградой стоял со своим лотком продавец сластей. В десяти шагах от него возле той же церковной ограды ютился магазинчик.

Они подошли к лотку. За стеклом лотка, как тропические рыбки в аквариуме, краснели леденцы на палочках. Сверкали козинаки с ядрами орехов, схваченными золотистым медовым лаком. Рубчатые трубки вафель, наполненные легкой пеной крема, призывали похрустеть легкой жизнью.

— Выбирай, Бочо, — махнул Чик рукой на лоток.

Бочо сразу ткнул пальцем на леденец-дирижабль. Потом на козинак. Потом вопросительно посмотрел на Чика, и Чик кивнул, мол, выбирай, выбирай.

— И еще две вафли, — сказал Бочо.

— Мне то же самое, — добавил Чик.

— Платить, платить кто будет? — насторожился продавец. Чик властно звякнул тяжелым карманом. Все обошлось в рубль двадцать копеек.

Они сели на густую травку, росшую у самой стены церковной ограды. Сначала съели вафли, то отсасывая из трубки легкий крем, то сокрушая хрупкую сладость самой трубки. Потом разгрызли козинаки, яростно липнущие к зубам и как бы пытающиеся вырвать их взамен ядрышков орехов, выломанных зубами из хрустящей плитки. А потом, уже спокойно переговариваясь, сосали свои леденцы, вкусно припахивавшие горелым сахаром.

Было приятно помечтать о деньгах, которые они выигрывают в ближайшее время. Каждый купит по футбольному мячу. Потом, если дела пойдут хорошо, они купят по велосипеду. А потом, если дела пойдут очень хорошо, они купят весельную лодку на двоих.

— Учти, — предупредил Чик, — Лёсик, Оник, Сонька и Ника будут кататься вместе с нами. Чтобы ты потом не обижался.

— Но ведь Лёсик такой неловкий, — сразу же обиделся Бочо, — он свалится за борт! Кто его будет спасать? Ты?!

— Ничего, — жестко поправил его Чик, — в штиль можно...

— Чик, — взмолился Бочо, — но ведь он даже на ровной земле падает! Свалится за борт и пустит пузыри! Как пить дать, утонет!

Трудно отказать человеку, когда он о чем-нибудь просит таким сильным голосом старого капитана. Но Чик был тверд.

— Ничего, — жестко отрезал он, — в мертвый штиль можно.

Бочо внимательно посмотрел на Чика, понял, что его не переупрямишь, и успокоился.

— А чего ты только на двух улицах узнал, где зарыты собаки? — спросил он. — Надо узнать на всех.

Чик сейчас, после сладостей, как-то поднадоели зарытые собаки, но уже нельзя было отступить.

— Заработаем на этих собаках, а потом пойдем дальше, — сказал Чик, — ты только приманивай богатых мальчиков.

— Я знаю двоих с моей улицы и одного с Карла Либкнехта, — сказал Бочо, — а где вторая улица с зарытыми собаками?

— Вот эта улица, где мы сидим, — сказал Чик.

— Аж зубы ноют от сладости, — заметил Бочо и отбросил оголенную леденцовую палочку. Дирижабль полностью переместился в живот Бочо.

Чик тоже отбросил свою палочку, хотя и не полностью дососал свой дирижабль.

— Выпьем лимонаду, — сказал Чик, вставая.

Они подошли к магазину и поднялись по деревянным ступенькам к прилавку.

— Бутылку лимонаду, — сказал Чик и положил деньги на прилавок, — хочешь «раковые шейки»?

Он обернулся на Бочо. Это были очень вкусные конфеты.

— Неохота, Чик, — мотнул головой Бочо и удивленно посмотрел на Чика. Чик в ответ слегка кивнул головой, давая знать, что он его понимает.

— Мне тоже неохота, — сказал Чик и солидно доба-



вил любимую поговорку мухусчан: — Белый хлеб и то надоедает.

Они уже допили лимонад, когда возле магазина какой-то мальчик остановил свой велосипед, лихо соскочил на землю и прислонил его к церковной ограде. Мальчик был в новенькой ковбойке и длинных черных брюках. Позвякивая сверкающими зажимами на брючинах, он поднялся к прилавку.

Ни разу не взглянув на Чика и Бочо, он попросил у продавца килограмм халвы и три пачки чая. Расплатился, вложил свои покупки в кошелку и спустился к своему велосипеду.

Как только мальчик подошел к прилавку, Бочо стал подталкивать Чика и делать ему страшные гримасы. Чик ничего не мог понять и даже стал злиться на Бочо. Но, когда мальчик отошел со своими покупками, Бочо быстро шепнул ему:

— Чик, лафа! Это самый богатый мальчик в городе. Он сын главного мясника! Сыграй с ним! Сыграй, Чик!  
— Хорошо, — сказал Чик, — подмани его.

Мальчик в ковбойке, повесив кошелку на руль, взгромоздился на свой велосипед и уже хотел одной ногой оттолкнуться от земли, но тут к нему подбежал Бочо. Они немного пощептались.

— Идет, — сказал мальчик и властно оглянулся на Чика.

Чик подошел.

— Подъезжай к колонке, — сказал Бочо, — там поиграете. И другие пацаны посмотрят, как ты играешь.

— Зачем мне другие, — ответил мальчик, — прямо здесь покидаем в «орла — решку».

Он все еще держал под собой велосипед, хотя стоял на земле. Видно, он долго играть не собирался.

— Нет, нет, — сказал Бочо взволнованно и даже слегка повернул велосипедный руль в сторону колонки, — наши пацаны хотят посмотреть, как ты играешь.

— Так зови их, — холодно заметил мальчик и, поправив руль, повернулся к Чику. — Кидаем?

— Конечно, — сказал Чик, удивляясь, что мальчик так и не слез со своего велосипеда.

— Но... Чик! — воскликнул Бочо, делая огромные глаза и напоминая, что надо двигаться к месту, где зарыта собака. Чик уверенно кивнул, давая знать, что он обо всем помнит, и бросил таинственный взгляд на землю между мальчиком и собой.

Бочо так и остался с разинутым ртом. Он был поражен догадкой. Особенно его поразило то, что они как раз именно здесь сидели себе и ели сладости, а собака была зарыта на расстоянии вытянутой ноги.

— Как, и здесь?! — все-таки переспросил он, не веря своей догадке.

— Будь спок, — кивнул Чик.

В это время богатый мальчик вынул из карманчика ковбойки новенькую сверкающую копейку и, придерживая велосипед левой рукой, положил ее на большой палец правой руки. Нет, он слезать со своего велопа не собирался.

— На сколько? — спросил он у Чика и посмотрел на него темными, бесстрашными к проигрышу глазами.

— По десять копеек, — сказал Чик, уверенный, что мальчик предложит играть по двадцать копеек и они сторгуются на пятнадцать.

— Полтинник или еду! — презрительно сказал мальчик и решительно взялся за руль.

— Ладно, — согласился Чик, — кидай!

Копейка взлетела, отскочив от большого пальца мальчика.

— Орел! — крикнул Чик.

Сверкнув золотой каплей, копейка упала на «орла». Мальчик на нее даже не взглянул и снова подбросил копейку.

Чик снова угадал. Мальчик все так же, не слезая с велосипеда, холодно взглянул на упавшую монетку. Пока Чик ее подымал, он вынул из кармана мятый рубль и сунул Чик, как грязную промокашку.

— На все! — сказал мальчик, имея в виду свой проигрыш, и снова кинул монетку.

Чик опять угадал. Беря второй рубль уже слегка дрожащей рукой, Чик чувствовал, что его опять затопляет знакомое мутное волнение. Но ведь тут только запоминать, как монетка лежит на пальце, больше ничего не надо!

— На все! — повторил мальчик, глянув на Чика холодными глазами.

Монетка метнулась в небо. Мальчик опять проиграл.

— На все! — сказал мальчик и снова метнул монету.

— Решка! — крикнул Чик, чувствуя, что душа его падает вместе с золотой каплей.

Монетка так и вцепилась в землю на «решку». Молча

повозившись рукой в кармане и как бы прислушиваясь к возне своей ладони, он вынул оттуда трешку и рубль.

Чик, потрясенный богатством, которое ему почти небрежно суют, все-таки мимоходом успел удивиться чуткости пальцев этого мальчика — точно выщупывает из кармана то, что надо.

Чик подал ему копейку.

— На все, — спокойно сказал мальчик.

— Как? — не выдержал Чик и стал терять слова от волнения. — А вдруг... а ваш свет?

Дальше был какой-то сон. Чик выиграл еще раз, одновременно испытывая и восторг, и ужас от понимания, что так вечно продолжаться не может. А вдруг может?

— Решка! — крикнул он в очередной раз.

Монетка упала на землю. Она даже не отскочила.

— Орел! — холодно поправил мальчик.

Не веря своим глазам, Чик поклонился. Копейка лежала на «орла». Чик теперь смутно воспринимал происходящее. Он только вынимал из кармана мятые деньги, а мальчик в ковбоекке небрежно совал их в свой карман.

Вынимая последний рубль, Чик притронулся к собственному серебру, собрал все свои силы и тряхнул карман, издавший тяжелый звон.

— На все! — крикнул он и, подняв копейку с земли, положил на большой палец, поддел его под указательный и выпулил в небо.

— Орел! — крикнул мальчик, словно все понял.

Копейка упала на «орла». Чик выгреб из кармана весь свой сегодняшний урожай, и мальчик высыпал его в свой карман.

— Чик, играй на мон! — в отчаянии крикнул Бочо.

— Я играл с ним, а не с тобой, — сказал мальчик и уже сам, опять-таки продолжая держать свой велосипед между ногами, но теперь накренив его почти до земли, дотянулся до своей копейки. Распрямился, сдунул с нее песчинки, поцеловал и сунул в кармашек ковбойки.

— Моя везучая копейка, — сказал он, застегивая кармашек.

Мальчик оттолкнулся одной рукой от стены, нажал на педаль, одновременно усаживаясь в седло, и, вильнув рулем, уехал не оглядываясь.

Чик и Бочо пошли в сторону дома.

— Чик, что случилось?! — орал Бочо оглохшему от гора Чику. — Может, собаку кто-нибудь отгрыл?

— Не знаю, — бормотал Чик, плохо воспринимая происходящее.

И вдруг им вслед зазвенел церковный колокол: донн! донн! донн! Бочо, пораженный догадкой, остановился и ударил себя в лоб.

— Дураки мы! Дураки! — крикнул он сиплым голосом. — Собака-то зарыта, но рядом с церковной стеной колдовство не действует! Как же ты об этом забыл? Я что-то чуял, когда приманивал его к колонке! Но ничего, Чик, мы победим! Завтра отыграемся на мои!

К сожалению, Чик так и не удалось отыгаться. Дело в том, что на следующий день начались дожди, а в Мухусе ребята играли только под открытым небом. А через неделю, когда дожди кончились, великий закон, открытый Чиком, почему-то перестал действовать.

Мы, как и Чик, не понимаем, в чем тут дело. Возможно, это был день великого везения. Бывают же такие дни у людей. Вот и Чик выпал такой день, хотя везение и не дотянуло до заката.

Будем надеяться, что современная наука даст исчерпывающее объяснение этому явлению. Не исключено, что магнетической силой своего желания выиграть Чик заставлял монету подчиняться своей воле. Но почему монета в самый решительный миг взбунтовалась, остается загадкой. То, что в самом Чике магнетическая сила желания выиграть к этому мгновению никак не исчерпалась, не вызывает сомнения. Остается предположить, что дождливая неделя смыла из атмосферы те вещества, которые служили проводниками сигналов от Чика до монеты. Одним словом, слово за наукой, а мы замолкаем, дабы оставаться в рамках свойственного нам реалистического повествования.

## Чик и Пушкин

В классе было тихо-тихо. Александра Ивановна сидела за столом и читала «Капитанскую дочку» Пушкина. Даже пылинки в солнечном луче, падающем на стол учительницы, казалось, стали медленнее кружиться, все пристраиваясь и пристраиваясь к спокойному и милому порядку книги. Александра Ивановна ее читала уже много дней, и каждый раз в классе устанавливалась волшебная тишина.

Чик ужасно любил эти минуты. Конечно, и книга была мировая, и Александра Ивановна здорово читала. Но тут было еще что-то другое. Чик это чувствовал. В голосе Александры Ивановны журчал уют, слаженность всей жизни, где всем, всем людям будет хорошо. Сначала в классе, как сейчас, а потом и во всем мире. И хотя книга была как бы не об этом, но через голос учительницы получалось, что и это в ней есть.

Он чувствовал, что всем классом слушать Александру Ивановну, читающую эту книгу, гораздо слаще, чем одному. Оказывается, когда многие рядом с тобой наслаждаются книгой, гораздо слаще делается и тебе самому.

И Чик любил сейчас всех ребят класса за то, что они так послушно наслаждаются. Ну, Александру Ивановну он и всегда любил больше всех остальных учителей.

Он любил ее старое, морщинистое лицо в пенсне, ее высокую, легкую фигуру в аккуратном сером пиджаке и этот ровный голос, старающийся не выдавать того, что сама она чувствует при чтении, чтобы не было взрослой подсказки, где смеяться, а где горевать. Чик и за это ей был благодарен.

Чик вдруг вспомнил свое далекое, в первом классе, знакомство с Александрой Ивановной. Какой он был тогда глупый! Он пришел в первый класс с опозданием. Его не хотели принимать, потому что он не дотягивал по возрасту. А потом приняли.

И он, не зная школьных правил, в первое время то и дело попадал впросак. Так, он долго не мог понять, что в классе нельзя громко разговаривать. Почему? Разве кто-нибудь спит или больной?

Школа предлагала ему во время урока как бы заснуть

для жизни, чтобы проснуться для учебы. А Чик, громко разговаривая, как бы отстаивал прекрасную возможность одновременно жить для жизни и жить для учебы. И снова начинал громко разговаривать с соседями.

Наконец Александре Ивановне надоела непонятливость Чика, и она ему предложила выйти из класса, тем более что он уже тогда был громкоголосым. И Чик стал собирать портфель, чтобы выйти вместе со своими вещами, а класс вдруг стал хохотать над ним. И Чика больно пронзил этот гогот класса.

Он растерялся и посмотрел на Александру Ивановну, не понимая, почему над ним смеются. И вдруг увидел, что она тоже смеется над ним, но смеется, любя его. Чик взгляделся в нее: да-да, смеется любя! И у Чика сразу отлегло! Если бы школьники своим смехом хотели унижить его, она бы не могла вместе с ними смеяться любя! Его любимый дядя Риза тоже часто так смеялся над ним. И Чик точно знал, смеяться любя — это еще больше любить.

Александра Ивановна, продолжая смеяться, показывала рукой, что портфель можно оставить в парте, а самому выйти из класса. Чик неохотно оставил портфель и вышел. Он все-таки не мог понять, почему он должен оставить портфель. Видимо, сказывалась детская привычка, выходя из игры, забирать с собой свои игрушки.

И все эти годы в школе над Чиком сияла любящая улыбочка Александры Ивановны, и он привык к этому и думал, что это будет вечно. Чик не знал, что через год литературу и русский язык будет преподавать директор школы Акакий Македонович и тогда не только не будет этой любящей улыбочки, но и кончится праздник литературы. Она поскучнееет, как и сам Акакий Македонович.

И Чик будет так странно и грустно видеть, как Александра Ивановна легкой и быстрой походкой проходит по школьному двору, но теперь всегда, навсегда идет не к ним в класс, а в другой, в другие.

И это будет так странно, так грустно, как если вдруг мама, возвращаясь с базара, повернет в другой двор и каждый раз будет поворачивать в другой двор и никогда не будет поворачивать к себе домой, к нам домой.

Чик не знал, что это тоска по вечному. Детство верит, что все будет вечно: и мама, и солнце, и мир, и любимая учительница. А тут вдруг вечность укоротилась на Александру Ивановну. Она как бы есть и ее как бы нет.

И Чик, продолжая любить Александру Ивановну, старался не попадаться ей на глаза. Не то чтобы избегал, но старался не попадаться ей на глаза. Было как-то стыдно. Получался какой-то обман природы. Только разогнался вечно любить Александру Ивановну, а тут вдруг вместо нее Акакий Македонович со своей вечнозеленой шляпой. Чик, конечно, не сравнивал. Он это чувствовал.

Но сейчас до этого было далеко-далеко! Этого даже не было вообще. В классе струился и струился голос Александры Ивановны. И чем больше Чик слушал, тем сильнее ему нравился Савельич. Вот чудило! И как он предан своему барчуку, и как бесстрашно готов защищать его. Прямо как насадка цыпленка!

Чика уже учили, что холопство — это плохо. И он с этим был согласен. Но хотя Савельич по должности был холоп и его преданность барину надо было презирать, Чик не только не чувствовал этого презрения, он просто обожал его.

Сам готов каждую минуту умереть за своего барчука, а сам ворчит, ворчит, ворчит. И то ему не так и это ему не так. Как будто он барин. Он барин своей преданности. Вот таких преданных ворчунов Чик обожал больше всех на свете.

Преданных, которые никогда не поварчивают на тех, кому они преданы, Чик не любил. Они такие скучные! Ходят с таким надутым выражением, мол, преданными быть очень трудно. Смотрите, смотрите, какие мы преданные! Думаете, легко быть преданными? Очень трудно быть преданными! Но вот мы преданные и не ворчим.

Чик даже не очень верил в такую преданность. Да ты лучше поворчи, как Савельич, тогда и видно будет, насколько ты предан. Нет, не ворчат! Ну и катитесь со своей скучной преданностью!

Каждый раз, когда по ходу чтения должен был появиться Савельич, Чик переглядывался с одним учеником. Звали его Сева. Они, переглядываясь, понимающе улыбались друг другу: сейчас, сейчас Савельич учудит что-нибудь смешное.

Чик всегда переглядывался с Севой. Когда в классе надвигалось что-нибудь смешное, а другие ученики еще не понимали, что смешное надвигается, они уже переглядывались и кивали друг другу. Было приятно чувствовать, что они уже знают о приближении смешного, а класс еще ничего не подозревает. Скрипит себе перьями или шушукается.

Этот Сева был удивительный пацан. Он смешное замечал даже лучше Чика. Он не был шумным шалуном, но не был и тихоней. Он был спокойным, вот что удивительно.

Учился хорошо, но и не лез в отличники. Одевался довольно бедно, но всегда чистый и аккуратный. Сидит себе такой глазастик с круглой, светлокурчавой головой и только поглядывает внимательно по сторонам, где бы высмотреть что-нибудь смешное. Даже на контрольной он находил время заметить и обратить внимание Чика на мальчика, который так увлекся шпартгалкой, что прямо сунул голову в парту, забыв, что учитель его вот-вот накроет.

В прошлом году к ним в класс пришел новичок, который каждый день перед большой переменной на уроке потихоньку съедал свой завтрак, принесенный из дому. Жадный, боялся, что попросит кто-нибудь на переменной.

Сева первый это заметил, хотя ученик сидел далеко от него и ел исключительно осторожно. И с тех пор Сева и Чик не пропускали ни одного дня, чтобы не полюбоваться глупой жадностью этого мальчика. И мальчик этот давно заметил, что Сева и Чик следят за его тайными завтраками, и всем своим видом показывал, что неприятно удивлен их вниманием.

Незадолго до большой перемены Сева и Чик начинали глядеть на этого мальчика, как бы поощряя его: давай начинай! Мальчик обидчиво надувался, как бы говоря: захочу — начну, захочу — нет! Но все равно начинал. Особенно смешно было, что он после каникул думал, что Сева и Чик за лето подзабыли о нем. Но не тут-то было! Только он полез одной рукой в парту, чтобы приготовить бутерброд для укуса под партой, как был пойман взглядами Севы и Чика: никуда не уйдешь, начинай!

Сева сразу заметил, что математик проявляет смешную странность. Если он приходил на урок не в духе, всегда первым вызывал к доске одного и того же мальчика. Самого тихого ученика, единственного очкарика во всем классе.

Бывало, входит математик туча тучей, садится за стол, открывает журнал. А Сева уже переглядывается с Чиком и кивает на того мальчика. А тот ничего не подозревает, скромно сидит себе за своей партой.

— Анциферов, к доске!

Анциферов вздрагивает, поправляет очки и идет к доске.



Однажды на переменке Сева подозвал Чика своей улыбкой. Чик охотно подошел.

— Видел вчера нашего математика. Он с женой шел с базара, — сказал Сева, глядя с улыбкой на Чика и предлагая начать веселиться.

Чик решил, что веселиться рановато.

— Ну и что? — пожал он плечами. — Многие мужчины сейчас ходят с женщиной на базар. Это до революции они стыдились ходить с женщиной на базар.

— Я за ними пристроился, — сказал Сева, продолжая лучезарно улыбаться, — они всю дорогу ругались.

Чик и тут не нашел большого повода для веселья.

— Ну и что? — настаивал Чик на более веских доказательствах. — Многие мужчины ругаются со своей женой. Я слышал.

— Она была в очках, — добавил Сева и расплылся.

— Ну и что? — упорствовал Чик, требуя более четкого определения повода для веселья, хотя смутно что-то почувствовал. — Многие женщины ходят в очках. Ничего особенного.

Сева, продолжая лучезарно улыбаться, таинственно кивнул на Анциферова. Чик глянул на Анциферова, и вдруг как молнией его пробило: тут очки и там очки! Он злится на жену и, приходя в класс, рокошет, как гром:

— Анциферов, к доске!

Далеко же Сева видел смешное! Ох, как далеко!

В другой раз на уроке истории учитель рассказывал об одном древнегреческом полководце. Чик случайно взглянул на Севу. Он сидел в другом ряду впереди Чика. Оказывается, Сева уже всюду улыбается и кивает на учителя. Оказывается, он уже давно видит смешное.

Но это был очень хороший учитель, и полководец, о котором он рассказывал, был грозный полководец. Чик приглядывается к учителю, прислушивается к его словам: ничего смешного! А Сева все кивает и улыбается, кивает и улыбается. Чик снова прислушался. Нет, все в порядке, и учитель здорово говорит, и полководец шутить не любит. А Сева все кивает! Скоро урок кончится, а Чик ничего не поймет!

И вдруг его осенило! Очень уж горячо учитель истории рассказывал о греческом полководце! А сам по национальности грек! Своих нахваливает, своих! — вот что означали улыбки и кивки Севы.

И в самом деле Чик вспомнил, что о полководцах других древних народов он так горячо не говорил. Ну, там

Дарий, Цезарь, Ганнибал. Было от чего погорячиться, но там он что-то не слишком горячился.

Они тогда тихо и хорошо повеселились на уроке. Все, что ни говорил учитель, становилось смешным. Потому что он был грек и, рассказывая о древнегреческом полководце, горячился. А ребята только косились на Чика, не понимая, почему он трясется от тихого смеха. Они, конечно, знали, что учитель грек, но им и в голову не приходило, что он болеет за древнегреческого полководца. Очень уж далеко это было! Но он был грек и болел за древнегреческого полководца, хотя и не подсуживал.

Сева жил на горе недалеко от того места, где обитали рыжие волчата. Однажды Чик пришел к нему домой, и они вместе вышли на склон рвать молочай для свиньи. Севин отец держал свинью. Они набрали целый мешок молочая, и, пока рвали его, Сева успел рассказать Чику про свою свинью столько забавного, что Чик от смеха чуть не скатился с горы.

Эта свинья очень дружила с собакой Севы. Если его собака сцеплялась с каким-нибудь бродячим псом, свинья бежала на помощь. Где бы она ни была, она по голосу узнавала, что ее друг в беде, и бежала на выручку, еще издали издавала воинственным визгом пугая чужую собаку.

Это была исключительно храбрая свинья и так предана Севиней собаке, как будто она сама ее родила. Иногда, увидев бродячую собаку, она первая шла на пс и оглядывалась на своего дружка, стараясь увлечь его на боевые действия. Иногда Севиней собаке неохота было драться. Но неудобно — свинья уже в атаке. Приходится бежать за ней.

Она так любила Севину собаку! Иногда, когда собака лежала во дворе, свинья приходила и укладывалась рядом с ней, норовя положить голову на спину собаке. А Севиней собаке неловко встать и уйти, потому что она знает, как свинья ее любит и как она предана ей. И вот свинья похрюкивает, положив голову на спину собаке, а собака молчит, терпит, только старается дышать в сторону, чтобы воняло поменьше. Иногда даже перпендикулярно к небу вытягивала голову, чтобы глотнуть свежего воздуха. Но не уходила, не могла обидеть преданную свинью.

Да, Сева — это Сева! Вот так Чик сидел в классе, наслаждаясь чтением Александры Ивановны и каждый раз переглядываясь с Севой, когда появлялся Савельич.

Вдруг в классе раскрылась дверь и вошел неизвестный мужчина. Ребята, грохнув крышками парт, вскочи-

ли. Мужчина, красиво склонившись в сторону Александры Ивановны, спросил:

— Можно?

— Пожалуйста, — сказала Александра Ивановна с улыбкой и уступила ему свое место.

Чик заметил, что девочки ожили и зашумели: Отелло! Отелло! Мужчина движением руки посадил ребят и сам сел, скрипнув стулом. Александра Ивановна села напротив него на первую парту.

— Ребята, — сказал мужчина, — я артист местного драматического театра. Зовут меня Евгений Дмитриевич Левкоев. Я сейчас веду драмкружок в вашей школе. Я ищу талантливых, сценически одаренных школьников. Есть они у вас?

Некоторые девочки смущенно подхихикнули. Ребята молчали. Чик впервые видел артиста в такой близости. Он еще совсем маленьким один раз был в городском театре, и ему там больше всего понравилась изображенная при помощи световых эффектов быстро мчащаяся машина. Было очень похоже.

Артист был в голубом костюме и в голубом галстуке, и глаза у него были голубые. Он был немолодым, крупным человеком с длинной жилистой шеей, чем-то похожий на отяжелевшего, одышливого орла. Чик видел таких голошеих орлов в приезде зверинце. Они неподвижно стояли на камнях, приоткрыв клювы и тяжело дыша. Чик жалел их. Было ясно, что они привыкли к высоте и им трудно тут в потном, летнем городе.

Чика удивило выражение лица артиста. Оно у него было брюзгливое. По лицам некоторых гостей, которые приходили к ним домой или к тетушке, Чик заметил, что такое выражение бывает как раз у тех из них, кто слишком любит вино. И Чик никак не мог понять, почему у этого артиста такое же брюзгливое выражение на лице. Ему тогда и в голову не могло прийти, что артист тоже может увлекаться вином.

— Ну что? — кекотнул Евгений Дмитриевич, задрав голову и оглядывая класс, как если бы ученики сидели не в этом маленьком помещении, а в общей зале человек на двести. Чик и Сева одновременно переглянулись.

Некоторые девочки уже начали подталкивать друг друга, яростно перешептываясь и тихо полаяя. Однако все молчали.

— Кто у вас выразительно читает стихи и басни? —

спросил Евгений Дмитриевич и посмотрел на Александру Ивановну, опять задирая голову выше, чем надо.

Александра Ивановна несколько заволновалась, смущенно улыбнулась, оглядывая класс, потом снова повернулась к Евгению Дмитриевичу и что-то ему сказала. Потом она опять повернулась лицом к классу, поймала глазами Чика и кивнула:

— Чик, выходи!

Чик уже знал, что без него не обойдется. Он был самым громогласным в классе и считался начитанным мальчиком. Смешно было бы думать, что дело обойдется без него. Но Чик не хотел начинать первым. С такой карты не начинают! И он пытался это объяснить знаками, но Александра Ивановна его не поняла, она решила, что он смущается.

— Иди, Чик, иди, — повторила она, окидывая его улыбкой. Ребята начали посмеиваться, тем более что Евгений Дмитриевич, опять задрал голову, искал Чика совсем в другом конце класса.

Чик вышел, встал рядом со столом и прочел свое любимое революционное стихотворение, где мать и сын сражаются на баррикаде (сын явно не старше Чика) и оба, пронзенные пулями, умирают, обнявшись.

Чик и раньше нравилось это стихотворение, потому что он его и прочел. Вообще-то стихи ему редко нравились. Но это стихотворение очень нравилось.

А тут, как только он начал его читать, какая-то сила вздернула его, трепанула, ударила в голову, и Чик загудел стихами, как мотор. Сила откуда-то бралась сама, Чик только голосу подпускал. И он, читая, заново почувствовал невероятную жалость к героической маме и героическому мальчику.

— Да, — сказал Евгений Дмитриевич, когда Чик кончил читать, и, опять приподняв голову, оглядел Чика так, как если бы Чик был вдвое выше, — да, когда бы все так чувствовали поэзию...

Чик продолжал стоять, ощущая в себе прилив огромных и, главное, совсем не исчерпавшихся сил. Он теперь прилаживался запустить «Белеет парус одинокий». Но его никто не просил. А сам он был так оглушен собственным чтением, что не расслышал Александру Ивановну, попросившую его сесть на место.

Чик продолжал стоять. Класс начал смеяться. А Александра Ивановна встала и, улыбаясь, подтолкнула Чика к его месту. Чик мапинально двинулся к своей парте.

Дошел, раздумчиво постоял возле нее, как бы ожидая, что его вернут, а потом вяло сел. Он еще не понимал, что такого рода артистическое рвение принято скрывать.

После Чика еще двое мальчиков и две девочки читали стихи и басни. Но это было жалкое зрелище. Евгений Дмитриевич во время их чтения несколько раз находил глазами Чика и, качая головой, смотрел на него, как Посвященный на Посвященного. Чик уже остыл, и ему ужасно понравились эти взгляды. Чик давно заметил, что так переглядываются интеллигентные люди, когда другие люди, находясь рядом, начинают умничать и рассуждать. Прозвенел звонок.

— Завтра в пять часов в пионерской комнате, коллега, — добродушно клеткотнул Евгений Дмитриевич и, потрепав Чика по шее, вышел из класса. Чик был очень польщен его шутливыми словами.

На следующий день в назначенное время Чик пришел в пионерскую комнату. Там уже собралось человек десять мальчиков и девочек из других классов. Они были ровесники Чика или чуть постарше.

Евгений Дмитриевич окончил занятия со старшеклассниками и занялся новичками. Сразу же узнав Чика, он радостно клеткотнул и не забыл посмотреть на него, как Посвященный на Посвященного. Чик с удовольствием принял этот взгляд и ответил ему таким же. Это было все равно как с Севою. Только там дело касалось смешного, а тут искусства. А в остальном одно и то же.

Евгений Дмитриевич объяснил ребятам, что школе предстоит подготовить к городской олимпиаде постановку по произведению Пушкина «Сказка о попе и его работнике Балде».

Теперь для проверки способностей он давал мальчикам и девочкам прочесть кусочек из этой сказки. Мальчики и девочки стали читать. А девочки зачем? — подумал Чик, на роль бесенка, что ли? Многие из них, особенно девочки, ужасно волновались, сучили ногами или неожиданно всплескивали руками.

Видимо, от волнения они, начиная читать, путали слова, заикались, а уж о громогласности и говорить было нечего. С громогласностью было совсем плохо. Шептуны какие-то. Таким голосом еще кое-как можно было подсказывать на уроке, а не выступать в городском театре, где должна была проходить олимпиада.

Чик чувствовал себя вполне спокойно. Он был заранее уверен, что роль Балды достанется ему и Евгений

Дмитриевич об этом прекрасно знает, но, чтобы не обижать других приглашенных ребят, он вынужден с ними повозиться, делая вид, что еще не выбрал исполнителя главной роли.

Чик чувствовал себя до того уверенно, что когда кто-нибудь из ребят ошибался в интонации или неправильно произносил слово, поправлял чтеца, стараясь при этом переглянуться с Евгением Дмитриевичем взглядом, подтверждающим правильность его, Чика, Посвященности. Евгений Дмитриевич отвечал на эти взгляды несколько утомленными, но не отвергающими Посвященность Чика взглядами.

Когда дело дошло до Чика, он спокойно прочел заданный кусок. Чик читал с легким утробным гудением, что должно было означать наличие невероятных голосовых сил, которые пока сдерживаются дисциплиной и скромностью чтеца.

— Вот ты и будешь Балдой, — клеткотнул Евгений Дмитриевич.

Чик ничего другого и не ожидал. Одному мальчику из параллельного класса, который читал с ужасным мингрельским акцентом, Евгений Дмитриевич сказал:

— Ты свободен.

Чик стало жалко этого мальчика. Другим он или ничего не сказал, или дал знать, что должен еще подумать об их судьбе. А этому прямо так и сказал.

Кстати, звали его Жора Куркулия. Это был такой светлоглазый крепыш со смущенной улыбкой и широким деревенским румянцем на лице. По акценту, с которым Жора говорил на русском языке, Чик точно знал, что мальчик этот вырос в деревне.

Любя своих чегемских родственников, Чик немного покровительствовал деревенским мальчикам, которые учились в городе. Встречаясь с Жорой на переменах, Чик гостеприимно кивал ему и как бы говорил: «Учись, Жора. Читай книги, ходи в кино, пользуйся турником, шведской стенкой, параллельными брусьями и будешь не хуже нас, городских». Жора смущенно улыбался в ответ и как бы отвечал: «Я, конечно, постараюсь, если смогу преодолеть свою деревенскость». И вот Евгений Дмитриевич, не зная, что Жора деревенский, а с такими надо быть помягче, говорит ему обидные слова.

— Можно я просто так побуду? — сказал Жора в ответ и улыбнулся жалкой, а главное, совершенно необижанной улыбкой.

Евгений Дмитриевич пожал плечами и, кажется, в этот же миг забыл о существовании Жоры Куркулия.

Наконец роли распределены, и дети стали готовиться к выступлению на олимпиаде. Репетиции дважды в неделю проходили в пионерской комнате. Старшеклассники ставили сценку из какой-то бытовой пьесы, а после них разыгрывалась «Сказка о попе и его работнике Балде».

Иногда Евгений Дмитриевич немного задерживался со старшеклассниками, и тогда ребята досматривали хвост пьески, где гуляка-муж, которого сослуживцы и домашние долго уговаривали исправиться и который как будто склонялся на уговоры, но вдруг в последнее мгновение хватал гитару (на репетиции он хватал большой треугольник) и, якобы бряцая по струнам, запевал:

Я цыганский Байрон,  
Я в цыганку влюблен.

— Не Байрон, а барон, запомни, — поправлял его Евгений Дмитриевич, но это не меняло сути дела. Из его пения ясно следовало, что он все еще тянется к распутной жизни своих дружков.

После нескольких репетиций Чик вдруг почувствовал, что роль Балды ему смертельно надоела. Честно говоря, Чик и раньше эта сказка не очень нравилась. Но он об этом подзабыл. А сейчас она и вовсе потускнела в его глазах.

И чем больше они репетировали, тем яснее Чик понимал, что никак не может ощутить себя Балдой. Какое-то чувство внутри его оказывалось сильнее желания войти в образ. Это чувство с каким-то уличающим презрением к его фальшивым попыткам войти в образ преследовало его на каждом шагу.

Пока еще разучивали текст, громогласность и легкость чтения давали Чикю некоторые преимущества над остальными ребятами, и он продолжал переглядываться с Евгением Дмитриевичем взглядом Посвященного.

Этот взгляд Посвященного Чик в первое время ухитрился распространять даже на постановку старшеклассников, когда они заставляли их за репетицией. Чаще взгляд Посвященного вызывал все тот же гуляка-муж, упрямый не только в своем распутстве, но и в искажении своей песенки:

Я цыганский Байрон,  
Я в цыганку влюблен.

Но потом, когда все стали разыгрывать свои роли, Чик почувствовал бездарность своего исполнения, однако все еще преувеличивал достоинства своей громкости и все еще продолжал бросать на Евгения Дмитриевича уже давно безответные взгляды Посвященного. В конце концов Евгений Дмитриевич не выдержал и на один из Посвященных взглядов Чика так клетотнул ему навстречу, что Чик вынужден был погасить в своих глазах это приятное выражение.

Чтобы оправдать перед самим собой свою плохую игру, Чик стал замечать все больше и больше недостатков в образе самого Балды. Так, Чика раздражал грубый и наивный обман, когда Балда вместо того, чтобы тащить кобылу, сел на нее верхом и поехал.

Казалось, каждый дурак, тем более бес, хотя он и бесенок, мог догадаться об этом. А то, что бесенку пришлось подлезать под кобылу, Чик находил подлым и жестоким. Да и вообще мирные черти, вынужденные платить людям ничем не заслуженный оброк, почему-то были Чикю приятней самоуверенного Балды.

А между прочим, Жора Куркулия все время приходил на рететиции и уже как-то стал необходим. Он первым бросался отодвигать столы и стулья, чтобы очистить место для сцены, открывал и закрывал окна, иногда бегал за папиросами для Евгения Дмитриевича.

Жора стал вроде завхоза маленькой труппы. К тому же оказалось, что он по воскресеньям ездит домой к себе в деревню и привозит оттуда великолепные груши «дюшес». Он приносил на рететицию сумку с грушами и всех угощал.

Евгений Дмитриевич тоже охотно ел сочные груши, вытянув длинную шею, чтобы не закапать костюм. Он со вздохом втягивал в себя нежный сок и с выдохом говорил:

— Божественно... Божественно... Ублажил, меценат.

— Чачу тоже могу привезти, — однажды сказал Жора, улыбаясь и кося глазами от смущения, — сами варим...

Чика рассмешило это предложение. Если бы Сева был здесь, он обязательно переглянулся бы с Чиком, обращая его внимание на хитрый заход Жоры. Ясно, что виноградную водку он не мог предложить пацанам, значит, он имел в виду Евгения Дмитриевича.

— Нет, спаивать труппу я тебе не позволю, — сказал Евгений Дмитриевич шутливо.



Но потом во время других репетиций, он с какой-то забавной серьезностью спрашивал у Жоры, как у них в деревне гонят чачу, сколько виноградных отжимков идет на один самогонный котел и сколько бутылок первача получается с одного котла.

И тут Чик окончательно уверился, что Евгений Дмитриевич любит выпить. А Жора Куркулия все ему подробно объяснял. На его широком румянном лице все время порхала смущенная улыбка. И вдруг Чик понял, что Жора большой хитрец. Ведь он раньше Чика догадался, что Евгений Дмитриевич любит выпить. Иначе бы он не осмелился сказать глупость про чачу. Взрослый человек, да еще артист, не станет брать выпивку у мальчика. Тут Жора сглупил. Но то, что Евгений Дмитриевич любит выпить, он понял точно. Но как? Это была загадка.

Однажды, когда ребята уже репетировали в костюмах, Евгений Дмитриевич предложил Жоре роль задних ног лошади. Жора расплылся от удовольствия.

Лошадь была сделана из твердого картона, выкрашенного в рыжий цвет. Внутри лошади помещались два мальчика, один спереди, другой сзади. Первый просовывал свою голову в голову лошади и выглядывал оттуда через глазные дырочки. Голова лошади была прикреплена на винтах к туловищу, так что лошадь довольно легко могла двигать головой, и получалось это естественно, потому что и шея и винты были скрыты под густой гривой.

Первый мальчик должен был ржать, качать головой и указывать направление своему туловищу, потому что там, сзади, второй мальчик находился почти в полной темноте. У него была единственная обязанность — оживлять лошадь игрой хвоста, к репнице которого изнутри была прикреплена деревянная ручка. Тряхнул ручкой — лошадь тряхнула хвостом. Оба мальчика соответственно играли передние и задние ноги лошади.

Жора Куркулия получил свою роль после того, как Евгений Дмитриевич несколько раз пытался показать мальчику, играющему задние ноги, как выбивать звук галопирующих копыт. У мальчика никак не получался этот звук. Вернее, когда он вылезал из-под крупа лошади, у него этот звук кое-как получался, а под лошадью он как-то сбивался.

— Вот так надо, — вдруг не выдержал Жора Куркулия и без всякого приглашения выскочил и, топоча своими толстенными ногами, довольно точно изобразил галопирующую лошадь.

Этот звук, издаваемый ногами Жоры, очень понравился Евгению Дмитриевичу. Он пытался заставить мальчика, игравшего задние ноги лошади, перенять этот звук, но тот никак не мог его перенять.

После каждой его попытки Жора выходил и точным топотанием изображал галоп. При этом он, подобно чечеточникам, сам прислушивался к мелодии топота и призывал этого мальчика прислушаться и перенять. У мальчика получалось гораздо хуже, и Евгений Дмитриевич поставил Жору на его место.

Иногда перед репетицией или после Евгений Дмитриевич снова возвращался к самогонному аппарату и спрашивал про разные фрукты, из которых готовят водку. Чик, умирая от внутреннего смеха, слушал этот мирный разговор большого и маленького. Он очень сожалел, что не может при этом перемигиваться с Севой. Так было бы гораздо интересней. Остальные ребята все принимали за чистую монету и уныло дожидались, когда Евгений Дмитриевич окончит этот скучный разговор.

Чика особенно смешило, что Евгений Дмитриевич, стараясь скрыть от Жоры удовольствие, которое он получает от своих расспросов, напускал на себя угрюмство. Как будто бы просто интересуется жизнью и обычаями местных народов. Но Чик теперь точно знал: любит, любит Евгений Дмитриевич это дело!

Иногда Евгений Дмитриевич, как бы очнувшись, раздраженно прерывал Жору:

— Ладно, хватит! Что ты завел: грушевая, тутовая! По местам. Начинаем!

— Нет, я так просто, — краснея и лукаво беря на себя вину, отвечал Жора, — сами варим! По-домашнему! По-селенски!

— Ты все же школьник, — клекотнув, прерывал его Евгений Дмитриевич, — не надо об этом!

На одной из следующих репетиций вдруг из-под задней части лошадиного брюха без всякой на то причины Куркулия издал радостное ржание.

Ты смотри, как обнаглел, удивился Чик. Оказывается, люди из долинных деревень — это совсем не то, что горцы. А я пугал, как дурак. Думал, там деревня и здесь деревня! Горцы — это совсем другое. Нет, Жора не горец!

А Евгения Дмитриевича это ржание привело в восторг. Он немедленно извлек Жору из-под лошади и заставил его несколько раз заржать. Особенно понравилось Евге-

пию Дмитриевичу, что ржание его кончалось храпцем, и в самом деле очень похожим на звук, которым лошадь заканчивает ржанье.

— Все понимает, чертенок, — повторял Евгений Дмитриевич, с наслаждением слушая Жору.

Разумеется, он тут же стал требовать от мальчика, игравшего передние ноги лошади, чтобы тот перенял это ржанье. После нескольких унылых попыток этого мальчика, видимо, сразу же ошеломленного предательским ржанием задней части лошади, Евгений Дмитриевич махнул на него рукой и поставил Жору Куркулия на его место. Хотя толстые ноги Жоры больше подходили к задним ногам лошади, пришлось пожертвовать этим небольшим правдоподобием ради правильного расположения источника ржанья.

Репетиции продолжались. Чик все еще продолжал придавать исключительное значение своей громогласности, которую с некоторой натяжкой можно было отнести за счет нахрапистости Балды. Чик чувствовал бездарность своего исполнения, но не замечал, как эта бездарность постепенно переходит в недобросовестность. Он совсем не повторял дома свой текст.

Однажды, когда он, забыв строчку, споткнулся, вдруг лошадь обернулась в его сторону и протянула:

— Попляши-ка ты под нашу ба-ля-ляй-ку!

Все рассмеялись, а Евгений Дмитриевич сказал:

— Тебе бы цепи не было, Куркулия, если бы ты избавился от акцента...

Иногда Жора подсказывал и другим ребятам. Видно, он всю сказку выучил наизусть.

Однажды Чик на своей улице играл с ребятами в футбол. И вдруг со стороны школы мчится Жора Куркулия. Он бежал и на ходу делал какие-то знаки руками, явно имевшие отношение к Чику. Сердце у Чика екнуло. Ему давно пора было идти на репетицию, а он спутал дни недели и думал, что надо идти туда завтра. Жора Куркулия приближался, жестахми выражая великое недоумение по поводу того, что случилось.

Было ужасно неприятно видеть его приближение. И Чик вдруг вспомнил, что точно так же ему однажды было неприятно видеть приближение старушенции библиотекарши. Но где эта старушенция и где Жора Куркулия? Он стал вспоминать случай с библиотекаршей, чтобы понять, что их соединяет, одновременно чувствуя всю глущую неуместность этого воспоминания.

Чик тогда потерял книгу, взятую в библиотеке, и старушенция уже извещала его о необходимости немедленно возвратить книгу. Она извещала его об этом в письме, написанном ведьминским коготком на каталожной карточке с дыркой. Чик не понимал, зачем эта дырка нужна в карточке. Он только вспомнил, что в одной книге описывалась тюремная камера. И там в дверях был глазок. Чик поднес карточку к лицу и посмотрел в дырочку, и ему стало грустно.

Все же он тогда решил, что как-нибудь обойдется. Он готов был вместо потерянной отдать любую книгу из своей маленькой библиотечки. Даже две, даже три! Но его цепенила необходимость объясняться с этой ехидной старушечкой. Она же все равно не поверит ни одному его слову!

И вдруг он сидит на самой макушке груши, а старушенция, как в страшной сказке, появляется во дворе и спрашивает у соседей, где он живет. А соседи по простоте, конечно, не со зла, показывают не на квартиру, а на грушу, где он сидит. И она пошла прямо к дереву, а Чик сам одеревенел и не знал, что делать.

И вот она подошла к дереву, выискала его глазами, погрозила пальцем и заверещала:

— Что, решил на дереве от меня спрятаться! Слезай, слезай, негодный мальчишка!

О, если бы груши были боевыми гранатами! Он бы забросал ее сверху! Но груши — это только груши. И он стал слезать. А куда денешься? Не улетишь, не птица. Получалось, что он спускается прямо ей в руки. Унизительно. В довершение всего, когда Чик уже был на полпути к земле и рядом не было ни одной плодоносной ветки, она вдруг сказала, странно подхихикнув:

— Нет, чтобы угостить свою старую библиотечкаршу свежей грушей! А ведь весь в долгах, как в шелках!

Чик в это время, раскорячившись, сползал по стволу. Он остановился и посмотрел вниз. Ему и в голову не могло прийти, что в таких случаях можно угощать. И ему стало как-то стыдно, что он ее не угостил, хотя и казалось очень странным угощать ее грушами. И он, глядя на нее в нерешительности, сделал как бы гостеприимное движение снова вскарабкаться на макушку.

Но она махнула рукой и опять подхихикнула:

— Слезай, слезай! Что тебе старая библиотечкарша? Ей и паданца довольно!

С этими словами она ловко кружанула длинной юбкой

и подняла с земли грушу. Чик точно знал, что это не паданец. Эту великолепную грушу он случайно уронил, дотягиваясь до нее. Правда, она разбилась с одного боку, но была вполне хорошей.

Чик молча стал слезать, удивляясь, что она и тут, на дереве, настигла его своим ехидством. Он тогда ей дал книгу «Рассказы о мировой войне», и она на этом успокоилась, но Чик перестал ходить в городскую библиотеку.

Эту старушенцию и другие дети не любили. Она всегда ухитрялась всучить не ту книгу, которую ты сам хочешь прочесть, а ту, которую она тебе хочет дать. Она всегда ядовито высмеивала попытки Чика отстаивать свой вкус. Бывало, чтобы она отвязалась со своей книгой, скажешь, что ты ее читал, а она заглянет в глаза и спросит:

— А о чем там рассказывается?

И ты бубнишь что-нибудь, а очередь ждет, а старушенция, покачивая головой, торжествует свою победу и записывает на тебя дважды опостылевшую книгу. Да еще, поджав губы, кивает вслед, мол, мальчик и сам не понимает, какую хорошую книгу он получил.

И вот теперь он забыл пойти на репетицию, а Жора застает его играющим в футбол! Так что же соединяет старушенцию с Жорой? Груша! Груши! Глупо! Зачем он об этом вспомнил?!

\* \* \*

Когда они вошли в пионерскую комнату, Евгения Дмитриевича там не было. У Чика мелькнула надежда, что все обойдется. Он стал лихорадочно переодеваться. У него было такое чувство, что если он успеет надеть лапти, косоворотку и рыжий парик с бородой, то сам как бы исчезнет и некого будет ругать.

И Чик в самом деле успел переодеться и даже взял в руки толстую, упрямо негнущуюся противную перевку, при помощи которой Балда якобы мутит чертей. В это время в комнату вошел Евгений Дмитриевич. Он посмотрел на Чика, и Чик как-то притаил свою сущность под личиной Балды.

Чик у него оказался не очень сердитым, и у него мелькнуло: хорошо, что он успел переодеться.

— Одевайся, Куркулия, — вдруг клекотнул Евгений Дмитриевич и, взглянув на Чика, как бы не замечая об-

лика Балды, а видя только Чика, добавил: — А ты будешь на его месте играть лошадь.

Чик выпустил веревку, и она упала, громко стукнув об пол, как бы продолжая отстаивать свою негнущуюся сущность. Чик стал раздеваться. И хотя до этого он не испытывал от своей роли никакой радости, он вдруг почувствовал, что глубоко оскорблен и обижен. Обида была так глубока, что он не стал протестовать против роли лошади. Если бы он стал протестовать, всем стало бы ясно, что он очень обиделся.

Жора Куркулия стал поспешно одеваться, время от времени удивленно поглядывая на Чика, словно хотел сказать: как ты можешь обижаться, если сам же своим поведением довел до этого Евгения Дмитриевича? Каким-то образом его взгляды, направленные на Чика, одновременно с этим выражали и нечто противоположное: неужели ты и сейчас не огорчен?

Чик старался не выдавать своего состояния. Жора Куркулия быстро оделся, подхватил негнущуюся веревку, крепко тряхнул ею, как бы пригрозив сделать ее в ближайшее время вполне гнущейся, и предстал перед Евгением Дмитриевичем таким ловким, подтянутым мужичком.

— Молодец! — клетотнул Евгений Дмитриевич.

Молодец?! — думал Чик с язвительным изумлением. Как же он будет выступать, когда он лошадь называет лёшадью, а балалайку — баляляйкой?

Началась репетиция, и оказалось, что Жора Куркулия прекрасно знает текст, а уж играет явно лучше Чика. Правда, произношение у него не улучшилось, но Евгений Дмитриевич так был доволен его игрой, что стал находить достоинства и в его произношении, над которым сам же раньше смеялся.

— Даже лучше, — сказал он, — Куркулия будет местным кавказским Балдой.

А когда Жора стал крутить негнущуюся веревку с какой-то похабной деловитостью и верой, что сейчас он этой веревкой раскрутит там, на дне, мозги всем чертям, при этом не переставая прислушиваться своими большими, выпуклыми глазами к тому, что якобы происходит под водой, Чик стало ясно: ему с ним не тягаться.

Чик смотрел на него, бесплодно удивляясь, что у Жоры все получается лучше. Но это его не только не примирило с ним, но еще больше растравляло. Если бы, думал Чик, глядя на него из отверстий лошадиных глаз, я

бы мог поверить, что все это правда, я бы играл не хуже.

Не прошло и получаса со времени появления Чика на репетиции, а Куркулия уже верхом на нем и своим бывшем напарнике галопировал по комнате. В довершение всего напарник этот, раньше игравший роль передних ног, теперь запросился на свое старое место, потому что очень быстро выяснилось, что Чик галопирует и ржет не только хуже Жоры, но и этого мальчика. После всего, что случилось, Чик никак не мог бодро галопировать и весело ржать.

— Ржи веселее, раскатистей, — говорил Евгений Дмитриевич и, приложив руку ко рту, ржал сам, как-то чересчур благостно, чересчур доброжелательно, словно сзывал лошадей на пионерский праздник.

— Чик ржит, как голёдная лёшадь, — пояснил Жора, выслушав слова Евгения Дмитриевича. Тот кивнул головой. Как быстро, думал Чик, Жора привык к своей новой роли, как быстро все забыли, что я еще полчаса тому назад был Балдой, а не ржущей частью лошади.

Чикун пришлось переместиться на место задних ног. Оказалось, что сзади гораздо труднее: мало того, что там было совсем темно, так, оказывается, еще и Балда основной тяжестью давил на задние ноги. Видимо, радуясь освобождению от этой тяжести, мальчик, вернувшийся на свое прежнее место, весело заржал, и Евгений Дмитриевич был очень доволен этим ржаньем.

Так, начав с главной роли Балды, Чик перешел на самую последнюю — роль задних ног лошади, и ему оставалось только кряхтеть под Жорой и время от времени подергивать за ручку, чтобы у лошади вздымался хвост.

Но самое ужасное заключалось в том, что Чик как-то проговорился тетушке о своем драмкружке и о том, что он во время олимпиады будет играть в городском театре роль Балды.

— Почему ты должен играть Балду? — сначала обиделась она, но потом, когда Чик ей разъяснил, что это главная роль из сказки Пушкина, тщеславие ее взыграло. Многим своим знакомым и подругам она рассказывала, что Чик во время олимпиады будет играть главную роль, по сказкам Пушкина — обобщала она для сокрытия имени главного героя. Все-таки имя Балды ее несколько коробило.

И вот в назначенный день Чик за кулисами. Там было полным-полно школьников из других школ, каких-то

голенастых девчонок, тихо мечущихся перед своим выходом.

Чика вся эта тихая паника не трогала. Его волновала тетушка. Он выглянул из-за кулис и увидел в полутьме сотни человеческих лиц. Он стал вглядываться в них, ища тетушку. Вместо нее он вдруг увидел Александру Ивановну. Это Чика почему-то взбодрило, и он на всякий случай отметил место, где она сидела. А тетушки не было видно. У Чика мелькнула радостная мысль: а вдруг тетушку в последнее мгновение что-нибудь отвлекло и она осталась дома! Она так любила отвлекаться!

Нет, она была здесь! Она сидела в третьем ряду, совсем близко от сцены. Она сидела вместе со своей подружкой тетей Медеей, со своим мужем и с сумасшедшим дядюшкой Чика.

Зачем она его привела, для Чика так и осталось загадкой. То ли для того, чтобы выставить перед знакомыми две крайности их семьи, мол, есть и сумасшедший, но есть и начинающий артист. То ли просто кто-то не пошел, и дядюшку в последнее мгновение приодели и прихватили с собой, чтобы не совсем пропал билет.

Уже какие-то дети играли на сцене, а тетушка оживленно переговаривалась со своей подругой. Это было видно по их лицам. Чик понял, что для тетушки все, что показывается до его выступления, вроде журнала перед кинокартиной.

Чик вздохнул и с ужасом подумал о том, что будет, когда она узнает правду. Теперь у него оставалась последняя надежда — надежда на пожар в театре. Чик знал, что в театрах бывают пожары. За сценой он сам видел двери с обнадеживающей красной надписью «Пожарный выход». Хоть бы она понадобилась! Чик вспоминал душераздирающие описания пожаров в театре и на пароходах. К тому же он увидел за сценой и живого пожарника в брезентовом костюме и в красной каске. А вдруг, думал Чик, этот пожарник сейчас ринется с места и все начнется! Нет! Стоит у стены и с тусклой противопожарной неприязнью следит за мелькающими мальчишками и девчонками.

Но время идет, а пожара все нет и нет. И вот уже кончается сцена, которую разыгрывают старшеклассники их школы, и подходит место, где мальчик, играющий гуляку-мужа, должен, пробрэнчав на гитаре (на этот раз настоящей), пропеть свою заключительную песню.



Сквозь собственное уныние со страшным любопытством Чик прислушивался, ошибется на этот раз мальчик или нет.

Я цыганский... Байрон,  
Я в цыганку влюблен, —

прошел он упрямо, и Евгений Дмитриевич, стоявший за сценой недалеко от Чика, схватился за голову. Чику стало немного легче от того, что и Евгений Дмитриевич пострадал.

Но вот началось их представление. Лошадь должна была появиться несколько позже, поэтому Чик был свободен и высунулся из-за кулис и стал следить за тетушкой. Когда он высунулся, Жора Куркулия стоял над оркестровой ямой и крутил свою веревку, чтобы вызвать оттуда старого черта. В зале все смеялись, кроме тетушки. Даже сумасшедший дядя Чика смеялся, хотя, конечно, ничего не понимал в происходящем. Просто раз всем смешно, что мальчик крутит веревку, и раз это ему лично ничем не угрожает, значит, можно смеяться...

И только тетушка выглядела ужасно. Она смотрела на Жору Куркулия так, словно хотела сказать: «Убийца, скажи хотя бы, куда ты дел труп моего любимого племянника?»

У Чика оставалась смутная надежда полностью исчезнуть из пьесы, сказав, что его в последний момент заменили на Жору Куркулия. Признаться тетушке, что он с роли Балды докатился до роли задних ног лошади, было невыносимо.

Интересно, что Чику и в голову не приходило попытаться выдать себя за играющего Балду. Тут было какое-то смутное чувство, подсказывавшее, что уж лучше Чик — уныженный, чем Чик — отрекшийся от себя.

Голова тетушки уже слегка, по-старушечьи, покачивалась, как обычно бывало, когда она хотела показать, что даром загубила свою жизнь в заботах о ближних.

Жора Куркулия ходил по сцене, нагло оттопыривая свои толстые ноги. Играл он, должно быть, хорошо. Во всяком случае, в зале то и дело вспыхивал смех.

Но вот настала очередь Чика и его напарника. Евгений Дмитриевич накрыл их крупом лошади, Чик ухватился за ручку для вздымания хвоста, и они стали постепенно выходить из-за кулис.

Лошадь появилась на окраине сцены и, как бы мирно пасясь, как бы не подозревая о состязании Балды с Бе-

сенком, стала подходить все ближе и ближе к середине сцены.

Появление лошади вызвало хохот в зале. Чик с удивлением почувствовал некоторое артистическое удовольствие от того, что волны хохота усиливались, когда он дергал за ручку, вздымающую хвост лошади.

Зал еще громче засмеялся, когда Бесенок подлез под лошадь и стал пытаться ее поднять. А уж когда Жора Куркулия вскочил на лошадь и сделал круг по сцене, зал загрохотал от хохота.

Успех был огромный. Когда лошадь ушла за кулисы, зрители продолжали бить в ладоши, и Евгений Дмитриевич вывел лошадь на сцену, придерживая ее за гриву. Тут раздался свежий шквал рукоплесканий, и Чик даже в темноте внутри лошади было件нятно, что теперь зрители приветствуют не их, а своего любимого актера.

Когда лошадь снова появилась, Жора Куркулия опять попытался взгромоздиться на нее, но Чик и его напарник не дались и стали отпрыдывать, и зрителям это очень понравилось. И тогда Чик наугад стал лягаться и один раз попал копытом в толстое бедро Жоры. Зрители стали еще больше смеяться. Они думали, что все это заранее разыграно, а на самом деле Чик и его напарник очень устали и не хотели больше его катать. Особенно не хотел Чик.

И вдруг свет ударил Чик в глаза. Чик не сразу понял, что случилось. Буря плещущих рук! Лица! Лица! Лица! Оказывается, Евгений Дмитриевич снял с них картонный круп лошади, и они предстали перед зрителями в своих высоких рыжих чулках под масть лошади. А Евгений Дмитриевич стоял рядом и, задирая голову, кивал галерке. Ах, вот откуда у него привычка смотреть выше, чем надо, подумал Чик, уныло удивляясь, что ему в голову лезут неуместные мысли.

Как только глаза его привыкли к свету, он взглянул на тетушку. Голова ее теперь не только покачивалась по-старушечьи, но как бы в предобморочном бессилии сползла набок.

И Чик стало тоскливо в предчувствии долгих укоров тетушки, которые он услышит дома. И чем сильнее зал аплодирует и смеется, тем хуже будет потом Чик. Ему стало совсем сиротливо, и он бессознательно потянулся глазами к тому месту, где сидела Алоксандра Ивановна.

Она смеялась, как и все, но при этом смотрела на Чика любящим, любящим, любящим взглядом! Даже изда-

лека это было ясно видно. Волна бодрящей благодарности омыла душу Чика. Какая там разница, задние ноги лошади или Балда? Главное, что все это смешно. Александра Ивановна! Вот кто Чика никогда в жизни не предаст, и Чик ее никогда в жизни не забудет!

А вокруг все смеялись, и даже сумасшедший дядюшка Чика пришел в восторг, увидев Чика, вывалившегося из брюха лошади. Сейчас он пытался обратить внимание тетушки, что именно Чик, ее племянник, оказывается, сидел в брюхе лошади. Бедняга не понимал, что как раз это и убивает тетушку.

Но стоит ли говорить о том, что Чик потом испытал дома? Не лучше ли мы крикнем отсюда:

— Занавес, маэстро, занавес!

\* \* \*

Однажды, когда прозвенел звонок с последнего урока, Сева подозвал Чика своей улыбкой и кивнул на тетрадь, лежавшую у него на парте. Ребята с радостным грохотом покидали класс.

— Что? — сказал Чик, взглянув на тетрадь и все еще не понимая, как можно извлечь из нее веселье.

Сева, продолжая таинственно улыбаться, снова кивнул на тетрадь. Это была тетрадь из серии, посвященной столетию смерти Пушкина. На первой странице был рисунок, изображавший прощание Олега с конем, и напечатаны стихи «Песнь о вещем Олеге». У Чика была такая тетрадь, и он ее хранил, потому что тетради этой серии были большой редкостью. Но ему и в голову не приходило, что в ней может быть что-нибудь смешное.

Сева продолжал таинственно улыбаться.

— Что? Что? — спросил Чик, пытаясь понять намек Севы.

Класс опустел.

— Не знаешь? — спросил Сева.

— Нет, — сказал Чик, — а что?

— Здесь написано, — Сева ткнул пальцем на рисунок в тетради, -- долой его.

Сева, продолжая таинственно улыбаться, кивнул на портрет, висевший на стене. На портрете Сталин обнимал девочку Мамлакат.

Вредители! Чик так и похолодел.

— Не может быть! — воскликнул он.

— Да, да, — подтвердил Сева, — только здорово за-

маскировано. Надо долго искать. Хитрюги! Но я сам доискался. Хочешь одолжу тетрадь?

— У меня есть такая! — крикнул Чик. — Я сам найду!

— Ищи, — сказал Сева, продолжая улыбаться, — потом расскажешь. — Он с улыбкой взглянул на Чика, ожидая ответной понимающей улыбки. Но Чик не мог улыбнуться. Он сплился, но никак не мог понять, что же в этом Сева находит смешного. Ничего смешного. Ничего смешного в этом нет.

— Завтра поговорим, — неопределенно бросил ему Чик.

Чик от волнения почти бежал домой. Он много слышал о тайных вредительских знаках, хитрейшим способом нанесенных на папиросные коробки, на санитарные плакаты, на книги о революции и даже на детские кубики.

Но сам он их никогда не видел. Люди рассказывали. Как-то так получалось, что никогда под рукой не оказывалось предмета с ядовитыми знаками вредителей, откуда они попискивают: мы есть, мы есть!

И только один раз в жизни он видел такой предмет, но тогда все кончилось как-то плохо.

Чика иногда отпускали на море вместе с сумасшедшим дядей. Дядю одного не отпускали на море, как сумасшедшего. А Чика одного не отпускали, потому что он еще был пацаном. А вместе их отпускали. Чика с дядей отпускали, как ребенка со взрослым. А дядю с Чиком отпускали, как сумасшедшего с разумным человеком.

И вот однажды они идут домой, бодрые и прохладные после купания. Дядя напевает себе песенки собственного сочинения, на плече у него удочка без крючков, а Чик шагает рядом.

И вдруг впереди на приморском пустыре, у самого выхода на улицу, Чик заметил толпу взволнованных мальчишек. Чик сразу же понял, что там что-то случилось. Он подбежал к толпе. Внутри этой небольшой, но уже раскаленной толпы детишек стояло несколько подростков.

— Вредители! Вредители! — слышалось то и дело.

Один из подростков держал в руке кусок плотной белой бумаги величиной с открытку. Все старались заглянуть в нее. Чик тоже просунулся и заглянул. На бумаге отчетливо тушью был выведен торпедообразный предмет, который часто рисуют в общественных уборных. А под ним написаны оскорбительные слова.

— Я иду с моря, а это здесь валяется, — говорил мальчик, державший в руке эту бумагу.

— Пацаны, вои вредитель! — вдруг крикнул кто-то, и все помчались вперед, и Чик вместе со всеми, подхваченный сладостной жутью странного возбуждения. В самом конце пустыря на улицу сворачивал какой-то человек.

Ребята уже на улице догнали толстого мужчину с неприятным лицом. Он был в шляпе и с портфелем в руке. Он озирался на кричащих пацанов с ненавистью и страхом. Громко вопя: «Вредитель! Вредитель!» — они шли за ним, то окружая его, то отшатываясь, когда он резко, как затравленный кабан, оборачивался на них. Самые смелые пытались к нему гадливо притронуться, как бы для того, чтобы убедиться, что он есть, а не приснился.

Этот человек был так похож на плакаты с изображением вредителей, что Чик сразу поверил: он, он подбросил эту подлую, самодельную открытку!

Особенно подозрительны были шляпа и портфель, туго и злобно набитый не то взрывчаткой, не то отравляющими веществами. Ребята все гуще и гуще его окружали, и ему все чаще приходилось затравленно озираться, все короче делались его передышки.

— Нельзя! — вдруг раздался громовой голос дяди Коли. Все остолбенели, а Чик обернулся на своего забытого дядю. Он со страшной решительностью приближался к толпе, явно готовый хлестнуть любого своей удочкой, которой он теперь размахивал. Ребята, смущенные его решительностью, молча расступились, давая ему дорогу. Он подошел к этому человеку и, слегка загородив его, ласково сказал:

— Иди, мамочка, иди...

— Спасибо, товарищ, — сказал человек дрогнувшим голосом. Его рыхлые щеки покрылись мучной белизной. — Я... я ничего не понимаю.

Ребята снова зашумели.

— Удушю мать! — крикнул дядя, обернувшись к толпе. Это было его любимое ругательство, но сейчас он его произнес предупредительно.

— А почему они консервы отравляют? А почему подбрасывают вот это? — загалдели ребята.

Чик почувствовал себя в сложном положении.

— Это мой дядя! Он не понимает, он сумасшедший! —

стал Чик оправдывать дядю и даже притронулся к его плечу, мягко намекая, чтобы он уходил отсюда.

— Аг!!! (Прочь! — на его жаргоне) — вдруг заорал он на Чика, стряхивая его руку и глядя на Чика бешеными, неузнающими глазами. Почувствовав, что дело пахнет хорошей затрещиной, Чик отошел.

У дяди Коли была такая особенность. Иногда на людях он не любил узнавать своих. Наверное, ему казалось, что чужие, незнакомые люди принимают его за нормального человека, а свои как бы выдают, что это не совсем верно. И если уж он не хочет тебя узнавать, связываться с ним было опасно.

— Какие консервы? Я ничего не понимаю! Я приехал в командировку, остановился в гостинице «Рица» в двенадцатом номере, — самым голосом пытаюсь успокоить толпу, говорил человек.

— Дурачки, дурачки, — односложно успокаивал его дядя.

Вдруг он что-то вспомнил. Он бросил удочку, вытащил из кармана блокнот и красный карандаш.

С блаженной улыбкой он нанес на листик несколько волнистых линий и, вырвав его из блокнота, бодро вручил растерянному человеку.

— Справка, справка, — сказал дядя и, махнув рукой, показал, что владелец этой справки теперь может беспрепятственно гулять по городу. Дядя иногда выдавал людям такие самодельные справки или деньги. Видимо, он заметил, что справки и деньги облегчают людям жизнь. И он помогал им, когда находил нужным.

Человек посмотрел на листик, ничего не понимая. Все же он торопливо положил его во внутренний карман пиджака. При этом он мельком бросил взгляд на толпу притихших ребят, как бы осозная, что этот человек ему уже помог, так что, может, и его справка пригодится. Может, вообще в этом городе все так положено. Все это Чик прочитал на лице этого человека и вдруг тоскливо усомнился, что он вредитель.

— Сумасшедшие, — сказал дядя, кивнув на толпу ребят, и весело рассмеялся, призывая человека быть снисходительным к этим несмышленишкам.

— Вот именно какое-то сумасшествие, — подтвердил человек и, горячо пожав дяде руку, стал быстро уходить. До конца квартала было недалеко, и Чик подумал, что если этот человек, как только завернет за угол, даст стрелкача, значит, он действительно вредитель. А если просто

так пойдет, значит, они ошиблись. Но теперь бежать и подглядывать за ним почему-то было неохота.

Тут к толпе ребят подошел милиционер.

— Дядя милиционер, он вредителя отпустил! — загалдели пацаны, бесстрашно показывая пальцем на дядю Чика. Дядя ужасно не любил, когда на него показывают пальцем, но ребята этого не понимали.

— Он за угол завернул! Он еще близко! — кричали они, почувствовав подмогу.

Милиционер вместо того, чтобы ловить вредителя, так цыкнул на них, что ребята разбежались в разные стороны. Волна возбуждения была разбита. И Чик успокоился окончательно.

А дядя в это время жестами и голосом пытался рассказать милиционеру, как глупо вели себя эти ребята.

— Ничего, Коля, ничего! Все пройдет! — говорил милиционер, успокаивая дядю. Он дружески похлопывал его по плечу. Видно, они были давно знакомы.

Чувствуя за собой некоторую вину, Чик подобрал удочку и пристойно вручил дяде. Дядя рассеянно кивнул ему, давая знать, чтобы Чик не приставал к нему, пока он дружески разговаривает с милиционером. Наговорившись, он повеселел и уже бодро зашагал рядом с Чиком, держа на плече свою удочку и напевая свои песенки.

Вот что случился в прошлом году. А теперь вредители добрались до тетрадей, и значит, Чик доберется до них, потому что у него есть такая тетрадь.

Да! Наконец-то он доберется до них! Чик бежал домой и с каким-то жутким азартом думал, как он достанет тетрадь и начнет выковыривать оттуда тайные знаки вредителей. А вдруг тетрадь куда-нибудь запропала? А вдруг кто-нибудь из вредителей пробрался к ним в дом и утащил тетрадь, чтобы Чик их не разоблачил?

От них всего можно ожидать! До них, конечно, уже дошло, что Чик давно подбирается к ним. И они на всякий случай могли выкрасть эту тетрадь. Сначала тетрадь, а потом, может, и самого Чика, если он не угомонится. Жутко! Весело!

Под самыми окнами Чика ребята играли в футбол. Улица Чика на улицу Бочо. Вместе с ребятами с улицы Бочо играла девочка. Она часто с ними выступала. И она играла неплохо. Но Чик терпеть не мог, когда девочка играет в футбол. Как-то неприятно во время игры сталкиваться с потной девчонкой. Фальшь! Фальшь! И нечего

трясти юбкой и нарочно кричать грубые слова, чтобы перемальчишить мальчишек.

Чик был за равенство между мужчиной и женщиной. Но только не в футболе. Футбол — мужская игра. Любые другие игры — пожалуйста! Но только не футбол. Фальшь!

— Чик, — крикнул Анести, — где ты пропадаешь? Мы проигрываем! Становись вместо Абу нападающим! Абу, уходи, чтоб я не видел тебя!

— За что?! — крикнул Абу.

— Ты даже с аута не можешь на голову подать мяч, — отвечал Анести, — какой ты игрок? Кандёхай!

Играть в футбол или разоблачать вредителей родины? Чик предпочел долг.

— Я не буду играть! Мне некогда, — сказал Чик и вошел в калитку.

— Он заучился, заучился, — раздался позади ехидный голос Шурика.

Мама стирала во дворе и не заметила, что Чик влетел в дом. Чик бросил портфель, подбежал к столу, в ящике которого лежали его книги и тетради. Дернул ящик — тетрадь на месте! Не успели! Чик опередил.

Сидеть! Сидеть! Не отзывать ни на какие призывы с улицы или со двора. Чик положил тетрадку на стол, сел, придвинул поудобней стул и приступил к благородной экзекуции извлечения вредительских знаков, упрятанных на рисунке обложки.

Там был изображен князь Олег, скорбно обнимающий своего коня перед тем, как навсегда расстаться с ним. Под рисунком в два столбика с переносом на последнюю страницу были напечатаны стихи Пушкина «Песнь о вещем Олеге».

Через несколько минут Чик обнаружил букву Д, искусно замаскированную в виде стремени. Первая буква подлого призыва — это была крупная добыча.

Ну и негодяи, ну и хитрецы! — подумал Чик, радуясь и продолжая поиски. Он долго искал букву О, но никак не мог ее найти. Поэтому он в конце концов решил, что узоры на седле Олега, изображенные в виде кружочков, могут сойти за букву О. Это открытие принесло Чикю меньше исследовательского удовольствия. Тут он почувствовал некоторую натяжку. Получилось, что сразу подряд идут четыре О.

О! О! О! О! Негодяи! — можно было воскликнуть, но это делу не помогало.



Для той надписи, о которой говорил Сева, достаточно было двух О. Как быть? В голове у Чика мелькнула догадка: а что, если на рисунке упрятана еще одна вредительская надпись, которую Сева не заметил? Тогда для нее пригодятся эти два лишние О.

И Чик решил изменить метод поисков. Он решил не задаваться целью искать буквы по ходу вредительской надписи, а искать любые буквы. Даже такие, каких нет в этой надписи. Таким образом, набрав как можно больше букв, составить из них первую вредительскую надпись, а из сочетания оставшихся букв догадаться, из каких слов состоит вторая надпись. К ней уже есть эти два лишние О.

Чик продолжал поиски и долгое время ничего не находил. Через некоторое время его внимание привлекла подозрительно поднятая нога Олегова коня. Она была приподнята и согнута под прямым углом. Ее можно было принять за букву Г. Правда, перекадина получалась длинней и толще самого столбика, на котором она держалась. Довольно-таки уродливая буква. Эта уродливость буквы раздражала Чика. То ли буква, то ли черт его знает что! Она как бы смеялась над серьезностью самого дела Чика. И он решил не включать ее в собрание букв. Ему даже захотелось ударить коня по ноге, чтобы он ее выпрямил, а не держал полусогнутой, как будто его собираются ковать.

Чик приустал от поисков и как-то невольно стал прислушиваться к пыхтению футболистов на улице, к ударам мяча и крикам. Чик решил послушать их немного и узнать, какой счет. Удары мяча сладко отдавались в груди, как удары волн на море. Чик любил море и любил играть в футбол.

— Со кифале! Дос со кифале! — то и дело кричал Анести.

Во время игры он сильно волновался и иногда переходил на греческий язык. Он все время кричал одно и то же. Просил мяч на голову. Он хорошо играл головой, и поэтому все ему должны были подавать на голову: с ауа, со штрафного, с любого места.

Он мог шагов десять провести мяч на голове. Отбил головой, принял на голову, отбил головой, принял на голову. В конце концов у него все-таки отнимали мяч. Но один раз в жизни вот так, играя головой, он влетел в ворота противника.

Чик с удовольствием прислушивался к силному голосу Бочо, хотя тот сейчас играл против его улицы.

— Какой счет, пацаны? — крикнул чей-то незнакомый голос.

— Семь — восемь, догоняем! — весело отвечал Ане-сти. — Оник, не спи! Пасуй! На голову! На голову! Со кифале!

И вдруг Чика страшно потянуло туда, на улицу, на футбол. Вот так, бывало, лежишь еще больной, но уже выздоравливая, и вдруг голоса играющих на улице ребят. И так потянет к ним, так потянет! Но нельзя — еще больной.

Чик вздохнул и стал взглядом рыться в гриве коня. Там было удобно припрятать несколько букв. Чик сильно рассчитывал на гриву, но она совсем не оправдала его надежд. Он не нашел там ни одной буквы, и взгляд его остановился на фигуре самого Олега. Внимание Чика привлек меч. Он мог сойти за букву Т, если бы над перекладиной не торчал эфес, совершенно ненужный для буквы и для дела Чика.

Не зная, куда его деть, Чик погрузился в раздумья. Он стал теревить рукой этот ненужный эфес. Он почувствовал пальцами холод железа. Чик незаметно вытащил меч из ножен и стал им играть. Меч был очень тяжелый и, может быть, поэтому он неожиданно превратился в шашку, после чего Чик без особых раздумий вскочил на коня, отпихнув слегка обалдевшего Олега, и помчался с чапаевской лавиной на беляков!

— Со кифале! — вдруг раздалось под самым окном.

Чик вздрогнул и очнулся. Никаких тебе беляков, никакой тебе чапаевской лавины. Он сидит за столом, а на столе все та же тетрадь. А на улице голоса ребят.

— Пеналь! Пеналь! Пеналь! — вдруг заорал Оник и побежал, боясь, что эту радостную весть у него отнимут.

— Хенц! Хенц! Клянусь мамой, хенц! — в ответ засипел Бочо, явно пытаясь догнать Оника и тем самым всем внушить, что это ошибка.

— Пеналь! Пеналь! — убегая, не давался Оник. Он был легконогим.

— Хенц! Хенц! — в отчаянье кричал Бочо, отставая. Отстал.

И тут все как-то уверились, что был все-таки пенальти.

— Считаю одиннадцать шагов!

— У тебя шаги нецесные! — голос бесстрашного карапуза с улицы Бочо.

— Пацаны! Он говорит, у меня шаги нечестные?!

— Нецесные! Нецесные!

— А честный фингал не хо?

— Попробуй!

— Я буду считать!

— Нет, я буду считать!

— Считаю!

— Не дрейфь, пацанва! Я любой мяч, как пончик, схавую!

— Я капитан! Я буду бить!

— Ты только головой играешь! Головой будешь бить пеналь?!?

— Я первый закричал пеналь! Я бью!

— Ты первый закричал, а я первый заметил!

— Ты мазила!

— Пусть бьет! Я любой мяч, как пончик, схавую!

— Бью! Тихо! Не люблю, когда под ногу говорят!

— Разогнался до центра! Нецесно! Нецесно!

— Пусть разогнался! Любой мяч, как пончик, скушаю!

— Бью! Тихо! Не мешайте!

— Гол! Гол! Восемь — восемь!

— Нецесный мяц! Нецесный мяц!

Пацаны там веселятся, подумал Чик, а я должен тут искать и искать замаскированные буквы. Но и бросать нечестно... Нельзя быть безвольным, нельзя! Чик вздохнул и снова склонился над тетрадью.

Сейчас Чик вдруг заметил то, чего раньше на этом рисунке не замечал. Конь одного из дружинников, как-то изумленно приподняв голову, смотрит на Олегова коня, словно он слышал гадание кудесника, но никак не может поверить своим ушам. А конь Олега стоял, круто опустив голову, как бы мрачно насупившись. Так наказанные дети, отплакавшись, стоят в углу, упрямо опустив голову, самой своей позой выражая несогласие с наказанием.

— Да ты что, с ума сошел! — как бы восклицает конь дружинника. — Я, например, своего хозяина никогда не предам!

— А я что, виноват, что ли? Так положено по гаданию, — насупившись и не подымая головы, отвечает конь Олега.

— А ты не соглашайся с гаданием, а ты протестуй! — советует конь дружинника.

— Тут протестуй — не протестуй, все равно конец, — отвечает конь Олега.

Чик стал читать стихи для того, чтобы присмотреться, не было ли у коня какого-нибудь выхода. А какой может быть выход? Не впускать змею в собственный череп, когда он лежит в поле без всякого присмотра?

Чик, конечно, знал эти стихи и раньше, но никакого особого интереса к ним не испытывал. Теперь, читая их и дойдя до гадания кудесника, Чик мельком подумал, что кудесник шпион и нарочно разлучает Олега с любимым конем.

Читая стихи, Чик с удивлением чувствовал, что они оживают и оживают. Так, бывало, неохота есть, а начнешь — и неожиданно еда вкуснеет и вкуснеет.

И вдруг, когда он дошел до места, где змея, выползшая из черепа коня, обвилась вокруг Олега, «и вскрикнул внезапно ужаленный князь», что-то пронзило его с незнакомой силой.

Это была поэзия, о существовании которой у Чика были самые смутные представления. В этой строчке замечательно, что не уточняется, отчего вскрикнул князь. Конечно, отчасти он вскрикнул и от боли, но и от страшной догадки: от судьбы никуда не уйдешь.

И Чик как бы одновременно с Олегом догадался об этом. И его пронзило. И дальше уже до конца стихотворения хлынул поток чего-то горестного и прекрасного, может быть, постижения непостижимого смысла жизни.

Ковши круговые, запенясь, шипят  
На тризне плачевной Олега;  
Князь Игорь и Ольга на холме сидят;  
Дружина пирует у берега;  
Бойцы помивают минувшие дни  
И битвы, где вместе рубились они.

Чик чувствует какую-то грустную бессердечность жизни, которая продолжается и после смерти Олега. И в то же время он понимает, что так и должно быть, что даже мертвому Олегу приятней, что там наверху, на земле, озаренной солнышком, жизнь продолжается, река журчит, трава зеленеет.

Олег словно видит Игоря и Ольгу на зеленом холме, видит пирующую у берега дружину и с тихой улыбкой говорит:

— Конечно, друзья, мне бы еще хотелось посидеть

с вами на зеленом холме, попировать с дружиной, поговорить о битвах, где мы вместе рубились, но, видно, не судьба. И все же мне приятно видеть отсюда, что вы кушаете, пьете на зеленом холме. Пируйте, пируйте! Если бы вас не было на земле, если бы вы все умерли, мне было бы здесь совсем тоскливо и одиноко.

Обливаясь сладкими слезами и не думая о том, что плакать стыдно, Чик несколько раз прочел это стихотворение, удивляясь, что слова начинают светиться и зеленеть как трава, на которой сидят Игорь и Ольга.

Как ныне собирается вещей Олег  
Отмстить неразумным хазарам,  
Их села и нивы за буйный набег  
Обрек он мечам и пожарам.

Слова засияли, словно переводные картинки, промытые слезами Чика. В них стал приоткрываться какой-то милый дополнительный смысл. Чик не знал, откуда берется этот дополнительный смысл, но он чувствовал, что этот смысл появился... Неразумным хазарам... Неразумным... Неразумным... Прощающий упрек, даже улыбка прощающего упрека чувствуется в этом слове.

В каждой строчке Чик теперь улавливал слова, перекликающиеся и даже улыбающиеся друг другу тайной понимания — Собирается, Неразумным, Буйным, Обрек.

Чик чувствует, что Олег и не хотел бы мстить хазарам да приходится, и потому он так неохотно собирает с я. Он как бы говорит, собираясь в поход:

— Ну, зачем вы, хазары, такие неразумные? Если бы вы, как обычно, набежали и ушли, я, может, и не собрался бы в поход. А то ведь устроили буйный набег... А за это приходится ваши села и нивы обречь мечам и пожарам.

Тут все обречены, и Чик это чувствует. Хазары обречены быть неразумными и потому обречены устраивать буйные набеги. Олег их за это обречен обрывать мечам и пожарам, хотя сам уже носит в себе свою обреченность погибнуть от любимого коня.

Чик затих над столом. Он не понимал, что с ним произошло. Краем сознания он все еще помнил, что искал на рисунке. Нет, он не перестал верить в существование вредителей. Но они куда-то далеко-далеко удвинулись и стали маленькими-маленькими. И даже если они воровато нацарапали на этом рисунке какие-то нехорошие слова и юркнули в какую-то щель, как это все мелко и глу-

по. Даже искать эти слова мелко и глупо, если в жизни могут происходить такие великие истории, как истории Олега и его коня.

— Чик, где ты? — донесся до Чика тетушкин голос. — Я же видела, ты прибежал из школы! Обедать, Чик! Горячий украинский борщ, Чик! Мама тебе такой не приготовит, Чик!

Горячий украинский борщ? Обедать тоже как-то глуповато. Чик прислушался к себе и вдруг с удивлением почувствовал, что мог бы и пообедать. Даже не прочь пообедать. Что делать! Ведь и дружина пировала у берега после всего, что случилось с Олегом. Тетушка, конечно, прекрасно готовит обеды, только зачем она маму приплела? Вот люди!

Чик вздохнул, спрятал тетрадь в стол и пошел к тетушке обедать.

## Годвиг Чика

Чик шел из школы, весело помахивая портфелем, и ни о чем не думал. И вдруг увидел!

Напротив греческой церкви в десяти шагах от Чика стояла колымага собаколова. Хозяин колымаги, грузный мужчина в брезентовой робе, с лицом красным, как шматок сырого мяса, держа в руке огромный сачок, подкрадывался к собаке. Он кинул ей кусок хлеба. Собака сначала недоверчиво понюхала подачку, потом осторожно взяла ее в рот и стала есть, уже благодарно поглядывая на собаколова и помахивая хвостом. О доверчивость мира!

Собаколов сделал несколько шагов в сторону собаки, но теперь она уже съела хлеб и, насторожившись, опасно покосилась на сачок, который слегка развевался на древке в его вытянутой руке.

Собака замерла. Собаколов, продолжая неподвижно держать над собой сачок, свободной рукой полез в карман и слегка завозился там. Потом из кармана высунулся кусок хлеба, он его на ходу располовинил, прижав карман к телу («Еще других собак приманивать!» — мелькнуло у Чика), вытащил руку и кинул подачку.

Теперь хлеб упал на таком расстоянии, что до собаки можно было достать сачком. Чик с ужасом ожидал того, что должно случиться, и в то же время, удивляясь и стыдясь себя, чувствовал, что ему хочется, чтобы у собаколова все получилось.

На самом деле, но он этого не осознавал, в нем уже окончательно вызрело решение бороться с этим негодяем, и душа его жаждала доказательной наглядности творимого зла.

Собака сделала несколько осторожных шагов, подобрала хлеб, снова взглянула на дрябло покачивающийся в воздухе треугольник сачка и стала есть хлеб, поглядывая на собаколова и как бы в такт жуящим челюстям радуясь хвостом.

В следующий миг мешок сачка перевернулся в воздухе и, с хищной телесностью раздувшись на лету, прихлопнул собаку. Раздался раздирающий душу плач собаки. Собаколов быстро перебрал руками поближе к сачку, мерзко гребанув сачком по земле, перевернул и поднял в

воздухе сачок с кричащей и барахтающейся собакой внутри.

Он быстрыми шагами подошел к дверце колымаги, расположенной сзади, открыл ее, вдвинул туда мешок сачка, тряхнув, вывалил собаку, а в клетке сразу же заместились и завывали другие собаки.

Собаколов вытащил свой сачок и прихлопнул дверцу. Он прислонил сачок к своей колымаге, просунул дужку замка, висевшую на дверном кольце, во второе кольцо, крутанул торчащий из замка ключ, подергал замок и, убедившись, что он заперт, бросил ключ в карман. словно возбужденный удачливой охотой, подрагивая крупным телом, он обошел колымагу, взгромоздился на передок и погнал свою клячу.

А Чик молча глядел вслед. Мешковина сачка колымагалась над колымагой, как грязное знамя грязного дела. Чик всегда ненавидел собаколова, но теперь он понял, что пришел его час. Теперь или никогда! Надо во что бы то ни стало освободить собак, а там будь что будет! Сколько можно мечтать о подвиге и ничего не делать?! Так может и вся жизнь пройти!

Весь этот день Чик был рассеян и как бы сам не свой. Он вяло поиграл в футбол во дворе грузинской школы. Команда Чика проигрывала, но его это почему-то не трогало. Во время игры он оказался один на один с вратарем противника и вдруг, сам не зная почему, послал мяч ему прямо в руки.

Потом в том же школьном дворе он вяло поиграл с Анести в деньги. Они играли возле кучи наваленных дров, и вдруг пятнадцатикопеечная монета Чика вкатилась туда. Чик отказался ее достать, сказав при этом фразу, которая дерзостной роскошью на долгие годы запомнилась ребятам:

— Охота была из-за пятнадцати копеек в дровах ковыряться!

Потом он проиграл Анести тридцать копеек и вдруг, махнув рукой, сам перестал играть, хотя деньги еще были и он мог отыграться.

— Что случилось, Чик? — удивился Анести.

— Настроение кехо (нету), — ответил Чик на полугреческом.

Он чувствовал, что в голове его тихо звенит, а в груди что-то теплеет, теплеет. Он не понимал, что это вдохновение. Давний замысел наказать собаколова и отпустить на волю пойманных собак подступил и требовал немед-



ленного воплощения. И от этого позванивало в голове и что-то теплело в груди. Он думал.

Перед глазами Чика то и дело всплывала дверца колымаги — железная сетка на деревянной раме. На раме большой замок. Как его открыть незаметно для живодера? Да еще на ходу?!

Достать связку ключей и наугад пробовать их? Вдруг какой-то подойдет? Нет, на ходу невозможно открыть замок, даже если бы удалось найти подходящий ключ!

Эх, если бы железным молотком так садануть по замку, чтобы он разлетелся! Но Чик знал, нету у него в руках такой силы, пока нету!

А что, если использовать одну из бабушкиных палок? У бабушки было несколько палок. Одна из них была очень крепкая. Из какого-то горного дерева. Если ее сунуть в дужку замка и концом палки сбоку опереться в заднюю стенку, а другой конец изо всех сил потянуть от себя, получится мощный рычаг и замок отлетит. Но Чик вдумался в этот план и отбросил его. На ходу использовать рычаг невозможно. Точка опоры все время будет уходить вперед.

Наконец он вот что придумал. Надо достать длинную веревку, привязать к ее концу крепкий железный крюк, а на другом конце сделать петлю. Когда колымага собаколова будет проезжать по такой улице, где есть штакетник, надо подбежать к нему, закинуть за планку петлю, догнать колымагу и сунуть крюк в дужку замка.

Собаколов будет продолжать ехать, веревка натянется, и замок сорвется. Конечно, если замок на кольцах держится очень крепко, веревка может лопнуть. Но Чик заметил, что дверца у собаколова была довольно ветхая. Одно из колец, на которых держался замок, должно было выскочить. А то и оба сразу!

Чик внимательно оглядел все бельевые веревки, висящие во дворе, чтобы ночью срезать наиболее подходящую. Но все веревки оказались слишком старые, измочаленные дождями и мокрым бельем. Тогда Чик в голову пришла такая мысль. Надо срезать одну из этих никудышных веревок, тогда хозяева купят и протянут новую. И тут Чик срежет новую веревку, а старую снова привесит.

Выбор Чика пал на веревку Богатого Портного. Уж кому-кому, а ему купить новую веревку — раз плюнуть. Но ведь, прежде чем идти на операцию по освобождению собак, Чик должен как следует потренироваться с веревкой. Тренироваться можно только в глубине сада. Боль-

ше негде. Но здесь, конечно, кто-нибудь мог увидеть его, узнать новую веревку Богатого Портного и рассказать ему об этом. Как быть? Очень просто! Надо перекрасить эту веревку, высушить, а потом начать тренировку.

У тетушки в уборной на втором этаже стояло ведро с красной краской. Однажды, когда бабушка была в деревне, Чик вынес ведро на лестничную площадку и, окуная в него старую сапожную щетку, вывел на стене дома большую красивую надпись: «Рот Фронт».

Это был знак братства с испанскими республиканцами. Но через месяц из деревни приехала бабушка, разгневалась на эту надпись и велела сумасшедшему дядюшке Чика стереть ее керосиновой тряпкой. Нет, она не испытывала никаких тайных симпатий к генералу Франко. Чиком такая глупость даже в голову не приходила. Просто бабушка была неграмотной деревенской старухой и не имела понятия ни об испанцах, ни о гражданской войне в Испании. Дядюшка Чика тем более.

Дядюшка усердно стирал керосиновой тряпкой надпись Чика, а бабушка с верхней лестничной площадки властно показывала ему концом палки, какие места надо еще дотереть. Чик стоял и смотрел, как исчезают волнующие его слова.

— Бумага, бумага, бумага, — залопотал вдруг дядя и весело обернулся на Чика.

Он бросил тряпку, сжал в пальцах невидимую ручку, окунул ее в невидимую чернильницу и стал писать по воздуху на невидимой бумаге. Потом он громко рассмеялся и кивнул на стену, показывая, что Чик окончательно спятил и вместо того, чтобы писать на бумаге, измазал краской дом. Дядя вообще любил уличать многих людей в сумасшествии. Особенно он любил уличать в этом Чика.

Да, было дело. Но на этот раз Чик надеялся использовать краску более успешно. Поздно ночью он с ножом в руке выскользнул из дому. Двор был пуст. Возле каморки Алихана стояла скамеечка, сидя на которой тот обычно парил ноги в горячей воде. Чик взял эту скамеечку и, становясь на нее, срезал веревку Богатого Портного с обоих концов. Он сматал ее, отнес в сад и забросил в самом дальнем углу за кусты крапивы.

На следующий день, возвратясь из школы, Чик вошел во двор и увидел, что вся семья Богатого Портного столпилась возле того места, где раньше был прикреплен ближайший конец их веревки. Сам Богатый Портной натягивал новую. Все идет, как надо, подумал Чик, но,

приблизившись, разглядел, что Богатый Портной натягивает не новую веревку, а новый провод. Сейчас он плоскогубцами накручивал конец провода на гвоздь. Накрутив, покачнул тугой провод, сказал:

— До коммунизма хватит, да? А там будем посмотреть...

С новой веревкой Богатого Портного сорвалось, и Чик стал подумывать, не обойти ли ночью соседние дворы. И вдруг вспомнил! Когда у тетушки была корова, они ее пасли на длинной, крепкой веревке. Потом корову снова угнали в деревню, а моток веревки бабушка держала под своей кроватью.

Ночью Чик тихо вытащил этот моток из-под кровати спящей бабушки, отнес его в сад и забросил за те же кусты крапивы. После этого он вытащил оттуда веревку Богатого Портного и навеки спустил ее в уборную! Будет знать, как проводом заменять бельевую веревку!

Дома Чик нашел в ящике с инструментами вполне подходящий для его замысла крюк и старый замок. Он принес их в сад. Крюк положил у подножия айвы, а замок повесил к одному из ее сучков приблизительно на такой же высоте, на какой висел замок собаколова. Айва отстояла от забора, отделяющего сад от речушки, примерно метрах в двадцати. В промежутке между айвой, на которой висел замок, и забором, куда надо было закидывать петлю, Чик и собирался тренироваться.

После этого Чик поднялся наверх, взял корзину для сбора фруктов, незаметно вложил в нее ведерко с краской и прошел в сад. Только он вынул из корзины ведерко, как в сад пришел его сумасшедший дядюшка. Обычно сюда, в глубину сада, он никогда не заходил. Только поздней осенью заходил, когда поспевала дикая хурма, растущая тут. Но, оказывается, он заметил, что Чик стащил ведерко с краской.

— Нельзя, нельзя, — сказал он строго, показывая на ведерко, а потом на стены домов, между которыми был зажат сад, — милиция, милиция!

Чик долго ему объяснял, что не собирается красить стены домов, но дядюшка ему не верил, неожиданно для Чика проявляя общественную жилку и защищая стены чужих домов. И вдруг Чика осенило. Он схватил ведерко с краской и подошел к забору, отделяющему сад от речушки.

— Забор! Забор! Забор! — стал вдалбливать ему Чик. И до дяди дошло. Хотя забор, отделяющий сад от речуш-

ки, отродясь никогда не красили, дядя знал, что вообще-то заборы принято красить. Он радостно улыбнулся и поощрительно замахал руками и головой, показывая, что полностью одобряет затею Чика. Дядя ушел, напевая песню, и можно было надеяться, что дома он не будет подымать шума, тем более что, выходя из сада, он на радостях прильнул к одной из дырочек в фанерной стене кухонной пристройки, где обычно возилась его безответно любимая тетя Фаина, мать Соньки. Прильнув, замер надолго.

Чик вынул веревку из-за кустов крапивы и стал думать, как начать ее красить. Он понял, что если красить ее, растянув на земле, то и веревка испачкается, и земля будет в краске. Чик решил поднять веревку на дикую хурму, перекинуть ее через ветку так, чтобы она обоими концами доходила до земли. Потом слезть с дерева, связать эти концы и, окуная веревку в ведро, перетягивать ее через ветку, пока она вся не окрасится. А потом оставить ее так, пока она не высохнет.

Чик заткнул веревку за пояс и стал подыматься на хурму по виноградной лозе. Он дополз до первой ветки хурмы и стал перебираться с ветки на ветку, пока не достиг такой высоты, откуда оба конца могли достать до земли. Тут он вынул веревку из-за пояса, перевесил через ветку и стал опускать вниз, пока оба конца не коснулись земли. После этого он слез с дерева и связал оба конца. Окунав нижнюю часть веревки в ведро с краской, Чик стал двигать веревку так, чтобы окрасившаяся часть шла наверх, и при этом стараясь так стоять, чтобы краска не капала ему на голову.

Закончив работу, Чик спустился к речушке и тщательно с песком отмыл руки. Потом он выглянул во двор и, заметив, что ни бабушки, ни тетушки не видно, вложил ведро в корзину, поднялся наверх и поставил его на место. Хотя сумасшедший дядюшка Чика, напевая свои самодельные песенки, стоял на верхней лестничной площадке, Чик спокойно прошел мимо него, не боясь, что он пойдет проверять забор. Сумасшедшие чем хороши? Они думают прерывисто. Раз уж Чик его успокоил относительно предназначения ведерка с краской, он тут же выкинул все это из головы. Правда, через полгода он мог вспомнить и потребовать Чика к ответу за непокрашенный забор, но тогда это будет нестрашно.

Через два дня веревка была уже почти сухой, и Чик собирался ее снять, когда случилось неожиданное. Белоч-

ка загнала на хурму тетушкину кошку Ананаци. Ананаци была злопамятной и гордой кошкой. Если уж Белочка загоняла ее на дерево, она могла несколько дней просидеть там без еды и питья. Тетушка из-за этого сильно страдала.

Согнать Ананаци с дерева было ужасно трудно. Чик был уверен, что в ее жилах течет кровь диких кошек. На деревьях она преображалась, и, если Чик взлезал за ней и пытался ее поймать, она прыгала с ветки на ветку и устраивалась на такой верхотуре, что это было опасно для ее жизни. Рукой ее нельзя было достать. На дереве она не давалась никому.

Еще хорошо, что Чик придумал кормить ее с конца палки, которой сбивали груши. Кусок мяса или рыбы подвязать к концу палки и тихо-тихо подвести к месту, где она сидит. Глядишь, посидит, посидит, а потом соизволит съесть поданную еду.

Был только один способ насильно вернуть ее на землю. Это можно было сделать, если она устраивалась где-нибудь на кончике боковой ветки. Тетушка выносила простыню, и ее вчетвером держали под этой веткой, а Чик в это время поддерживал ветку палкой для сбивания груш и сильно тряс ее, пока кошка не срывалась с ветки и не рушилась на простыню. Но это возможно было, если она устраивалась на боковой ветке, а не на вершине дерева. Тут приходилось ждать, пока ей самой заблагорассудится слезть с дерева.

И вот Чик приходит из школы, тетушка на весь двор и окрестные дома зовет свою кошку, а она в это время сидит на хурме, как раз на той ветке, через которую была перекинута веревка Чика. Не успел Чик обдумать, как быть с кошкой, когда тетушка с верхней лестничной площадки заметила ее.

— Ананаци! Ананаци! — закричала она радостно и прибежала в сад. — Чик, почему ты мне не сказал, что она здесь? — крикнула тетушка, подбегая к Чику.

— Да я сам ее только заметил, — сказал Чик, стараясь подготовиться к ответу, когда она спросит про веревку.

— А это что за веревка? — спросила тетушка, осторожно тронув веревку. — Чик, ты украл веревку Богатого Портного и перекрасил ее? Ты опозорил нашу семью, Чик!

— Клянусь дядей Ризой, — сказал Чик, — это не его веревка!

Дядя Риза был братом тетушки и самым любимым дядей Чика. Тетушке не понравилось, что Чик из-за какой-то веревки клянется именем ее брата.

— Да начхала я на веревку Богатого Портного, — неожиданно повернула она, — хоть бы ты у него и спер ее!

— Нет, нет, — сказал Чик, — эту веревку мне в школе выдали. Мы готовимся к игре «Граница на замке». Вон замок, видишь! — Он кивнул на айву.

Но тетушка уже потеряла всякий интерес к веревке.

— Чик, а как быть с Ананацци? — взмолилась тетушка. — Она второй день ничего не ест. Может, ты ее поймаешь и спустишь с хурмы?

— Ты же знаешь, что она вскарабкается на самую макушку, если я полезу за ней, — напомнил Чик. — Давай накормим ее по моей веревке.

— Как это? — спросила тетушка.

— Очень просто, — сказал Чик. — Ты видишь, она сидит возле самой веревки. Ты принеси из дому что-нибудь, мы прикрепим к веревке, а я по веревке подыму ей.

Тетушка принесла из дому великолепную котлету и большую булавку. Чик бы сам с удовольствием съел эту котлету. Он осторожно приткнул булавкой к веревке котлету и стал тихо перетягивать веревку. Котлета пошла наверх. Кошка, сидя на ветке, безучастно следила за ними. Чик подвел котлету к самой ветке и замер. Кошка неподвижно сидела в двух шагах от нее.

— Ананацци моя милая, Ананацци моя хорошая, — взбадривала ее снизу тетушка.

Кошка с минуту безучастно смотрела вниз, а потом вдруг заинтересовалась котлетой и осторожно по ветке подошла к ней. Понюхала и стала есть. Тетушка тихо ликовала. Ананацци съела всю котлету, причем так умело, что ни один кусочек не упал вниз. После этого она облизнула булавку, ожила, умылась и вдруг вместо того, чтобы занять прежнее место, пошла по ветке до самого ее покачивающегося кончика. Видно, она решила промять ноги. Это с ее стороны было большой ошибкой.

— Скорее простыню, — тихо приказал Чик. — Мы ее сейчас стряхнем!

Тетушка побежала за простыней. Вскоре она вернулась. За нею двигались дядя Коля, тетя Фаина и Сонька. Она их прихватила по дороге.

Они вчетвером держали простыню. Все смотрели вверх

на кошку, и только дядя Коля с обожанием смотрел на тетю Фаину.

— Внимание, — сказал Чик.

Веревка была перекинута у самого ствола, и Чик стал передвигать ее поближе к концу ветки, чтобы как можно крепче тряхнуть ее. Кошка покачивалась на конце ветки, пока еще ничего не подозревая, и бесстрашно смотрела вниз.

— Если будет падать немного в сторону, сразу сдвиньте простыню, — сказал Чик. — Начинаю.

Чик изо всех сил дернул веревку. Ветка сильно покачнулась, но Ананаци удержалась на ней. Чик, не давая ей опомниться, стал изо всех сил дергать за веревку. Ветка шумно сотрясалась, кошка извивалась на ней, стараясь сохранить равновесие. Чик не давал ей опомниться, чтобы она не вспрыгнула на другую ветку. Вдруг она сорвалась и несколько секунд висела на передних лапах. Чик дернул изо всех сил за веревку, и кошка, мяукнув дурным голосом, полетела вниз. Она тяжело шлепнулась на простыню, а тетушка ее тут же подхватила на руки. Поглаживая ее одной рукой и говоря ей ласковые слова, тетушка пошла домой. Дядюшка следовал за ней, брезгливо отстранив от себя развевающуюся простыню. Дядя считал кошек и собак грязными тварями и близко их к себе не подпускал.

— Чик, что это у тебя за веревка? — спросила Сонька.

— Скоро все узнаешь, — сказал Чик важно, — а пока держи язык за зубами.

Все ушли из сада. Чик развязал концы веревки и стянул ее с ветки. Он накрепко тройным узлом привязал к одному концу крюк, а на другом сделал петлю.

Он так живо представлял себе все, что должно случиться. Вот едет колымага. Чик накидывает петлю на планки ближайшего штакетника, догоняет ее и всовывает крюк в дужку замка. Раздается хруст вырванного замка, дверь распаивается, и собаки выскакивают на волю.

От ветхого забора до айвы было метров двадцать. На такое расстояние Чик и рассчитывал. Чик накидывал петлю на планки забора и изо всех сил бежал к айве, где на сучке висел замок. Он быстро и точно всовывал крюк в дужку замка.

Вся операция длилась пять-шесть секунд. Набросив петлю на планки забора, Чик ухватывался за крюк и, бросив остальной моток веревки на землю, бежал к айве.

Веревка иногда путалась в зарослях сада, и Чик решил, что, пожалуй, это рискованно. Она и на улице может за что-нибудь зацепиться. После многих пробегов от забора до айвы Чик убедился, что моток веревки лучше всего закинуть на левую руку и чуть приподнять ее, чтобы он не выпал на ходу, а свободно разматывался.

Каждый раз, пробегая с веревкой, Чик ясно представлял, как это все будет происходить на самом деле. Вскоре он догадался о своей ошибке. Нельзя сначала забрасывать петлю на штaketник, а потом догонять колымагу. Так можно промахнуться, не рассчитав скорость ее передвижения и возможные последствия, которые неожиданно могут возникнуть на пути.

Надо наоборот! Сначала вдеть крюк в дужку замка на двери, а потом бежать к забору. Всякий забор бывает довольно длинным. Замок, можно сказать, точка, а забор — линия. Надо сначала закрепить в точке, а потом выбрать на линии наиболее удобное место.

Теперь Чик, продев крюк в дужку замка и приподняв левую руку с мотком веревки, бежал к забору. Все получалось хорошо. Но тут перед глазами Чика всплыла возможность еще одной ошибки. Если, пока он бежит к забору, веревка будет провисать, крюк, вдетый в дужку замка, может соскочить от тряски колымаги на неровностях улицы. Моток надо держать продетым в левую руку, но правой рукой надо веревку пропускать сквозь ладонь так, чтобы она все время была достаточно натянута. Тогда крюк не соскочит.

Чик теперь бежал, пропуская веревку сквозь ладонь правой руки. Теперь он чувствовал, что она все время достаточно натянута.

Чик все время бежал прямо от айвы к забору, но вдруг понял, что это неправильно. Надо забирать немного вправо или влево.

Вдев крюк в дужку замка, надо бежать наискосок по ходу колымаги. Потому что, если бежать прямо, а колымага будет двигаться очень быстро, веревки может не хватить, и он не дотянется до штaketника. Надо бежать наискосок, но в то же время помнить, что нельзя обгонять колымагу и высовываться, потому что собаколов может его заметить и догадаться обо всем.

Чик все, что мог, предусмотрел. Он так долго тренировался, что у него на левой руке возле локтя, где разматывалась веревка, кожа покраснела и саднила, но Чик терпел. Ему даже было приятно. Свобода даром никому



не достается! Завтра, завтра все решится! Он забросил веревку в заросли крапивы и пошел домой.

Утром, выйдя из дому с портфелем в руке, Чик незаметно юркнул в сад. Он осторожно вынул из зарослей крапивы свою веревку и поставил туда портфель. Он тщательно, как парашютные стропы (так казалось Чик), кольцами свил веревку, просунул в нее голову, а потом руку. Теперь веревка висела у него на плече, как солдатская скатка.

И тут только он заметил, что за ним увязалась его собака Белочка. Она видела, как Чик сунул портфель в кусты крапивы, и сейчас бдительно следила за Чиком, ожидая приказа «Ищи!».

Чик не на шутку забеспокоился. Вдруг, когда он уйдет, Белочка вытащит его портфель из кустов крапивы и принесет домой? Скандал! Вообще-то он никогда не заставлял ее искать портфель. Но носить портфель иногда давал. Когда Чик возвращался из школы, Белочка чаще всего у калитки дожидалась его. Издали, узнав Чика по голосу, она радостно бежала ему навстречу. И тогда Чик для смеха иногда давал ей в зубы свой портфель. И Белочка, подволакивая его на ходу, несла портфель до калитки. Нет, она не нарочно подволакивала его по пыльной дороге. Просто она была небольшой собакой.

Вообще-то Белочка так и не примирилась за несколько лет с тем, что Чик тратит время на школу. Чик это точно знал. Объяснить ей, что Чик обязан ходить в школу, было никак не возможно. Но сейчас Чик забеспокоился: а вдруг она ненавидела его портфель и только скрывала до сих пор свою ненависть? А теперь, оставшись с ним один на один, вынесет его из крапивы и разорвет его вместе с книгами и тетрадями? Да если просто проволочет его во двор, тоже нехорошо. Дома догадаются, что он не был в школе.

Надо ее как следует отвлечь, чтобы она о портфеле совсем забыла. Чик подошел к груше и сбил палкой самую великолепную грушу, до которой только мог дотянуться. Груша была до того соблазнительной, что Чик сам ее разок откусил и, держа ее в вытянутой руке, сказал:

— Возьми!

Белка радостно прыгнула, но Чик приподнял руку.

— Белка, возьми!

Белка снова прыгнула, но Чик отдернул руку, и она не достала. Нет, он не мучил ее этим. Белочка сама зна-

ла, что это игра. Она весело подпрыгивала. Раз уж Чик сказал «возьми», он обязательно даст ей ухватить грушу. Белочка продолжала прыгать. В мире нет умнее и чище-плотней собаки. Под грушей лежат довольно съедобные паданцы, но она их ни за что не тронет. Ей подавай снежис, прямо с ветки!

Вовсю расшухарив Белку, Чик наконец дал ей возможность цапнуть грушу и съесть. Все это он проделал для того, чтобы Белочка начисто забыла о спрятанном портфеле.

Белочка съела грушу и, приподняв морду на дерево, грянула головой, предложив Чику еще поиграть с грушей или виноградом, лоза которого висела вокруг группы.

— Хватит, Белка, — сказал Чик и, сделав свирепое лицо, крикнул: — Пошла домой!

Белочка вздрогнула, внимательно взглянула на Чика, мотнула головой, как бы сказав: «Не верю в твою свирепость!» — и завилыла хвостом.

Тогда Чик решил отделаться от Белки более точным приемом.

— Белочка, купаться, — сказал Чик ласковым голосом.

Белочка терпеть не могла купаться. Видимо, воспоминания о мыле, которым ее мылила тетушка во время купания, были для нее самыми горькими и отвратительными. Она сразу поскучнела, и хвост у нее опустился.

— Купаться, купаться, — сказал Чик с фальшивой ласковостью, и Белочка, повернувшись, побежала во двор прятаться. Чик был уверен, что, если Белочке посреди пустыни Сахары сказать «купаться!», она тут же бы зарылась в какой-нибудь бархан. В таких случаях она теряла свою сообразительность и даже не заметила бы, что поблизости нет ни лохани, ни оазиса.

— Для тебя же стараюсь, — вздохнул Чик вслед убежавшей Белке и, перейдя сад, нырнул в пролом забора. Теперь Чик надеялся, что из головы Белочки выветрилась память об оставленном в кустах крапивы портфеле. Чик прошел по руслу речушки, проскочил под мостом и вылез на улицу.

Он чувствовал во всем теле легкость веселящего волнения. На углу перед самой школой, где Чик собирался свернуть в сторону моря, он догнал Бочо.

— Чик, что это у тебя за красная веревка? — удивился Бочо.

Чик решил, что теперь уже можно все рассказать.

Тайна не успеет дойти до ушей собаколова. Он ему все выложил, и Бочо загорелся помогать.

— Я буду искать отсюда до моря, — сказал Чик, — а ты ищи отсюда до Ботанического сада. Встретимся здесь.

— А это куда? — Бочо мотнул в руке портфель.

— Портфель тебе не мешает, — объяснил ему Чик, — дверь открывать буду я. Ты ищи собаколова и спрашивай у пацанов, кто его видел.

— Ох, Чик, — покачал головой Бочо, — излупцует же он тебя кнутом, если догонит.

— Знаю, — сказал Чик, — но сперва пусть догонит.

Чик пошел в сторону моря. Встречные иногда удивленно поглядывали на моток красной веревки на груди Чика и даже высказывали желание остановиться и поговорить по этому поводу, но Чик сурово проходил мимо. Каждый раз, проходя мимо ограды из штакетника, Чик думал: здесь можно было бы. Иногда попадались штакетники с такими милыми, крепенькими плашками, что просто хотелось их расцеловать. Дойдя до угла квартала, Чик внимательно посмотрел в обе стороны, пытаясь вдалеке различить знакомую колымагу. Но пока ее нигде не было видно.

— Чик, это водолазная веревка? — крикнул ему знакомый пацан и подбежал к нему. — Откуда она у тебя?

— От водолаза, — сказал Чик. — Собаколова не видел?

— Нет, — ответил пацан, — а зачем он тебе?

— Так, дело есть, — сказал Чик и прошел.

Чик встретил еще нескольких знакомых пацанов, и все они удивлялись его веревке, но собаколова никто не видел. Внимательно оглядывая на перекрестках поперечные улицы, Чик дошел до самого приморского пустыря, где бывали бродячие собаки и куда собаколов часто заглядывал. Но сейчас здесь никого не было.

Чик вышел на параллельную улицу и пошел назад, оглядывая на перекрестках поперечные улицы и мимоходом любясь попадающимися на пути штакетниками. Он дошел до своей улицы, прошел мимо школы и остановился на перекрестке, где они условились встретиться с Бочо.

Бочо еще не подошел, и Чик стал ждать. Прозвучал звонок на перемену, и Чик повернулся спиной к школе, чтобы его никто издали не узнал. Потом раздался звонок на урок. Было слышно, как ребята с веселым шумом

устремилась в классы. Потом все затихло. Бочо все не было.

И вдруг он появился вдалеке. Он бежал по улице Чика, то и дело взмахивая портфелем. Чик понял, что Бочо бежит с какой-то новостью.

— Чик, — задыхаясь, крикнул Бочо, подбегая, — он едет по вашей улице! Он сейчас возле спортплощадки остановился. Там собака! С ним рядом сидит второй человек!

Чик раздумывал несколько секунд. Надо его встретить на том углу квартала. Там начинается длинный штакетник забора грузинской школы. Это даст возможность маневрировать.

— За мной! — крикнул Чик, и они побежали. Когда они добежали до угла, из-за поворота улицы, покачиваясь на неровностях немощеной дороги, показалась колымага. Собаколов постегивал кнутом свою клячонку, жадно озирая улицу в поисках зазевавшейся собаки. Рядом с ним сидел какой-то рыжий человек. Наверное, он учился ловить собак. Между ними на длинном древке вяло колыхался сачок, как грязное знамя грязного дела.

Чик отвернулся к забору, чтобы не вызывать никаких подозрений. Колымага, поскрипывая, приближалась. Медленно, медленно приближалась! Вот она поравнялась с ним. Чик это почувствовал и быстро обернулся.

Дав ей проехать чуть дальше себя, Чик скинул с плеча моток веревки, продел его в левую руку, правой ухватился за конец с крюком и ринулся за колымагой.

Он быстро догнал ее, зацепил крюк за дужку замка и побежал к штакетнику, не давая ослабнуть разматывающейся веревке. Закинул петлю за две планки штакетника, сдернул ее пониже и обернулся.

Через секунду веревка натянулась, и Чик, холодея от ужаса, увидел, что замок не оторвался, а колымага просто остановилась. Все пропало!

Но нет! Собаколов ничего не понял и пару раз сильно стеганул свою клячу. Она рванулась, одно из колец соскочило, и дверь с треском распахнулась. Но собаки почему-то не выскакивали. А собаколов и сейчас ничего не понял! Он встал с места и, громко ругаясь, стал изо всех сил нахлестывать свою клячу. Она опять рванулась, крюк на конце веревки все еще торчал в дужке замка, веревка снова натянулась, дверь с ужасающим скрежетом вырвало из петель, и она с грохотом повалилась на улицу!

О, вырванный с корнем гнилой зуб злодейства! Соба-

ки радостным потоком стали выпрыгивать из колымаги — белые, черные, желтые, пятнистые, серые.

— Чик, атанда! — откуда-то издали раздался голос Бочо, и Чик очнулся.

Собаколов уже спрыгнул с передка и бежал к дверце колымаги. И тут Чика захлестнул страх. До этого страха не было, а тут захлестнул. Чик рванулся и побежал навстречу собаколову, но в сторону дома. Краем глаза он успел заметить, что Бочо перекинул портфель во двор грузинской школы и сам перемахнул через забор. Он успел удивиться, что Бочо принял более умное решение, но менять свое было уже поздно. Увидев бегущего Чика, собаколов ринулся к тротуару.

Чик прорвался мимо свистнувшего у его ног кнута и побежал дальше. Собаколов за ним. Чик обогнал несколько освобожденных им собак, и вдруг одна из них с лаем бросилась за ним и вцепилась в штаны. Прокусить штаны она не смогла, но, пока Чик отцеплялся от нее, собаколов догнал его своим кнутом. Струей кипятка кнут плеснул по ногам. Чик подпрыгнул от боли и сразу же оторвался от собаки и собаколова. Тот продолжал бежать за ним, но Чик чувствовал, что теперь он уже его не достанет, именно потому, что успел ошпарить кнутом. «Оказывается, человек, как и лошадь, может от удара кнута увеличивать скорость», — подумал Чик на бегу. До кнута ему казалось, что он бежит на предельной скорости, но после кнута он явно поднажал.

— Молодец, Чик, молодец! — доносились голоса уличных соседей.

Чик вбежал во двор, пробежал его, ворвался в сад и вскарабкался на спасительную грушу. По бешеному лаю Белки Чик догадался, что собаколов уже во дворе.

Чик докарабкался до макушки груши и стал следить за двором. Отсюда весь двор был как на ладони. Собаколов, отбиваясь кнутом от Белки, атакующей его со всех сторон, прошел до самой лестницы, ведущей на второй этаж, где жила тетушка.

— Где этот мальчик?! Где этот хулиган?! — орал он, поглядывая на соседей и стараясь угадать, кто прячет Чика. Он не знал, что Чик пробежал в сад.

Тетушка появилась на верхней лестничной площадке и, стоя над горшками цветущей герани, смотрела вниз, пытаясь понять, что происходит.

— Оставь собаку, — кричала она. — Что тебе надо?

— Где этот хулиган? — кричал собаколов. — Я его сдам в милицию!

Тут во двор вошли несколько соседей по улице, и один из них крикнул тетушке:

— Чик открыл дверь его ящика! Все собаки бежали!

— Я его в колонию отправлю, — кричал собаколов. — У меня свидетели!

Тут двор поднял возмущенный гвалт.

— В колонию?! — вскрикнула тетушка. — Да я тебе сейчас за это глаза выцарапаю, живодер несчастный!

Она огляделась как бы в поисках предмета, при помощи которого можно было бы выцарапать глаза собаколову, и увидела, что за ее спиной стоят дядя Коля и бабушка. Они вышли из дому, привлеченные шумом. Тетушка решила не искать больше предмет, при помощи которого можно было выцарапать глаза собаколову, а заменить его сумасшедшим дядюшкой Чика.

— Коля, гони его со двора, — крикнула тетушка и, поясняя свою мысль на понятном ему языке, добавила: — Он плохой! Плохой!

— Плохой?! — переспросил дядя Коля и свесился с перил, стараясь разглядеть, насколько плох собаколов.

— Плохой! — крикнула тетушка. — Гони его отсюда!

— Сумасшедший? — переспросил дядюшка. — Кричит?!

Вообще-то он не любил связываться с чужими и сейчас пытался сам себя разгорячить.

— Да, сумасшедший! Да, кричит! — крикнула тетушка и показала на себя. — На меня кричит!

Дядюшка сделал решительное движение, чтобы побежать вниз, но бабушка властно придержала его за рубашку и даже дала ему легкий подзатыльник, чтобы он в мирские дела не вмешивался. Она не любила, когда ее сына пытались так использовать.

— Он мне план поломал! — кричал собаколов, то отмахиваясь кнутом от Белочки, то грозя этим кнутом тетушке. — Ты его от меня не спрячешь! Я его в колонии сгною!

Вдруг тетушка быстро нагнулась, схватила самый большой горшок с геранью и с криком «Вот тебе колония!» швырнула его в собаколова.

Такого он явно не ожидал. Горшок с цветущей геранью, пропламенев в воздухе, полетел вниз. Собаколов

успел отпрыгнуть, и горшок, глухо выстрелив, разбился у его ног. Черепки разлетелись, а герань с большим комом земли вокруг корней каким-то чудом стала торчком, продолжая цвести как ни в чем не бывало. Чик подумал, что она вполне приживется, если ее пересадить в другой горшок.

Белочка продолжала захлебываться лаем. Собаколов и тетушка переругивались. Жители соседнего двухэтажного дома на шум выглядывали из окон, но не могли понять, что происходит внизу. Флигель, в котором жила Ника, скрывал от них собаколова.

Наконец одна из соседок поймала глазами Соньку, стоящую в углу двора, и крикнула:

— Сонька, что там случилось?

— Чик освободил собак, — радостно крикнула Сонька, — собачник его ищет!

Но тут Сонькина мама выскочила из своей кухоньки и, подбежав к Соньке, стала загонять ее домой, крича:

— Мы ничего не знаем! Мы ничего не видели!

Она всегда всего боялась и сейчас не знала, чем все это кончится.

— Чик освободил собак! — еще раз бесстрашно крикнула Сонька, пока мать тащила ее в дом.

Тут во двор вошел помощник собаколова с веревкой в руках. Богатый Портной, до этого безучастно наблюдавший за происходящим, вдруг ожил. Он подошел к этому человеку, взял у него из рук веревку и стал с любопытством приглядываться к ней. Потом он стал ее мерить, разворачивая руки, как продавцы тканей. Веревка была явно длиннее, чем он предполагал, и Богатый Портной, пощупав крюк, вернул ее помощнику собаколова.

— Такой крюк пароход может остановить! — сказал Богатый Портной, возвращая веревку. Он нарочно сделал вид, что его больше всего поразила этот крюк, чтобы никто не подумал, что он интересовался самой веревкой.

— Я это сейчас в милицию отвезу! — крикнул собаколов, кивнув на веревку. — В колонию пойдет твой сын, в колонию!

Тетушка схватила самый маленький горшочек с геранью и швырнула в собаколова. Из этого Чик понял, что она начала успокаиваться. Этот горшочек вдребезги разбился у ног собаколова, а герань сломалась.

Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы в это время во двор не вошел дядя Риза, любимый дядя Чика. Все женщины двора при виде его, как всегда, замолкли и

стали прихорашиваться. Маленький, красивый, всегда хорошо одетый, он подошел к собаколову и стал тихо с ним говорить.

— Не слушай его, — крикнула сверху тетушка, — он живодер!

Дядя еще некоторое время поговорил с собаколовом, а потом вынул из пиджака бумажник, достал оттуда красненькую тридцатку и дал ему. Тот, взяв деньги, как-то легко успокоился и пошел со двора вместе со своим товарищем, который все еще держал в руке моток веревки.

Белочка с лаем сопровождала их до калитки, и собаколов несколько раз нехорошо на нее посмотрел. Но теперь он не взмахивал кнутом, а волочил его по земле.

Чик подумал, что собак в колымаге было штук пятнадцать. Собаколов получил тридцатку. Значит, они оценивают живую собаку в два рубля? А веревка? Интересно, за сколько рублей он ее загонит?

Уличные соседи, переговариваясь, стали выходить со двора. Некоторые из них явно ожидали большего. Дядя им подпортил зрелище. Сейчас он приподнял герань за стебель, легким движением стряхнул ком земли с корней и поднялся наверх.

— А где Чик? — спросил он у тетушки.

Тетушка растерянно огляделась и развела руками. Увлеченная борьбой за Чика, она о самом Чике подзабыла.

— Я здесь, дя! — крикнул Чик с груши.

Дядя обернулся, поймал Чика любящими, насмешливыми глазами и поманил пальцем. После этого он отдал герань тетушке и вошел в дом. Пока Чик спускался с дерева, сумасшедший дядюшка Чика уже пришел в сад и наполнял землей новый горшок для герани, чудом уцелевшей после падения со второго этажа.

Чик поднялся наверх и прошел в залу, где дядя, раздетый и укрытый простыней, лежал на своей кровати. После работы он любил умыться и часок отдохнуть. Его мокрые редующие волосы блестели и были зачесаны на косой пробор. Голые, мускулистые руки были высунуты из-под простыни и держали книгу.

— Поди-ка сюда, — сказал он Чикю, показывая на постель и откладывая книгу, на которой Чик успел прочитать: «Ги де Мопассан». Чик присел на постель.

— Рассказывай, — кивнул дядя, сияя на Чика улыбкой, — о подвигах, о доблестях, о славе.

И Чик рассказал ему все. Как он давно ненавидел со-



баколова, как он своими глазами видел доверчивую собаку, пойманную в его подлый сачок, как он придумал распахнуть его дверь и выпустить всех собак.

— Ты молодец, Чик, — сказал дядя, любуясь Чиком, — но и собачника надо понять. У него ужасная работа, но это работа. И ты прав, и он по-своему прав.

— Как так? — удивился Чик.

— Ну, Чик, — сказал дядя, глядя на него своими блестящими глазами, — это как змея и человек. В природе змеи кусаться. В природе человека убивать змею. Так они вместе живут тысячелетия и будут жить. Такова природа, Чик: змее кусать человека, а человеку убивать змею.

— А уж? — сказал Чик, подумав.

Дядя вдруг расхохотался, схватил его голыми руками и, прижав к себе, поцеловал в лоб. Чик не видел ничего смешного в том, что он спросил, но ему приятно было, что дядя хохочет.

— А в природе ужа, — сказал дядя сквозь хохот, — страдать за сходство со змеей!

Чик решил, что они слишком далеко отошли от дела.

— Дя, — сказал Чик, — он ловит не только бродячих собак. Он ловит любых собак, которые оказались на улице.

— Конечно, конечно, — сказал дядя, — здесь возможны ошибки.

— Не ошибки, — поправил его Чик, — а вредительство. Хозяин собаки все время думает на работе: а вдруг моя собака выбежала на улицу и ее поймал собаколов? И от этого он на работе волнуется и совершает грубые ошибки.

— Чик, — сказал дядя, и глаза его строго подтвердили, — я тебе уже объяснял, что все это ерунда. Ты ведь не раз убеждался в этом. Нет никаких вредителей! Есть разгильдяи, труссы, подлецы... И, наконец, просто дураки!

— Кто же тогда арестовал отца Ники? — спросил Чик и уже сам строго посмотрел на дядю. — Он ведь был твой друг?

Последние слова Чик произнес с невольным упреком. Если дядя не признает, что есть вредители, значит, он признает, что отца Ники правильно арестовали. Но ведь это не так!

— Чик, — сказал дядя, и вдруг в его всегда ясных, умных глазах появилось выражение тоски, — отец Ники

был моим другом, и я никогда от него не отрекался. Запомни, никогда! Он был честным человеком! Как бы тебе объяснить? Ты этого сейчас не поймешь...

— Нет, пойму, — твердо перебил его Чик и твердо посмотрел ему в глаза.

— Бывают времена, когда... когда многие люди... живут, как пьяные, — сказал дядя медленно и с трудом подбирая слова, — а ты знаешь, что пьяные бывают безумными и жестокими?

— Да, конечно, — сказал Чик и мгновенно припомнил то, чего, в сущности, никогда не забывал.

Несколько лет назад Чик шел с пацанами на море. Вдруг они увидели перед собой на тротуаре двух пьяных. Один был большой и здоровый, а второй был среднего роста. Тот, что был поменьше, что-то сказал большому. Здоровый обхватил его руками, поднял над землей и бросил. Тот упал и долго не мог встать. Но потом встал, и они пошли дальше. Видно, он опять сказал здоровому что-то неприятное, и здоровый опять приподнял его на руках и бросил на землю. И второй опять растянулся на тротуаре. Он долго не мог встать, а большой, самодовольно ухмыляясь, помог ему встать, и они, пошатываясь, пошли дальше. И видно, тот, что был поменьше, опять что-то неприятное сказал большому, и тот опять его приподнял над землей и бросил, как деревянную куклу.

На этот раз ребята были совсем близко, и Чик услышал, как пьяный, падая, стукнулся затылком о каменный бордюр тротуара. И этот звук, этот стук перевернул всю его душу!

Упавший теперь лежал неподвижно, а здоровый, сопя, пытался его приподнять, а у того обвисли руки, и глаза были закрыты. А этот все сопел над ним, ничего не понимая и пытаясь его поставить на тряпичные теперь ноги. И это было ужасно, что он никак не поймет того, что случилось с его товарищем.

Потом собралась толпа. Большого забрала милиция, а за маленьким приехала «Скорая помощь». Говорили, что он не умер, что он только потерял сознание, но Чик на всю жизнь запомнил этот случай.

И Чик, всегда содрогаясь, вспоминал тот беспомощный стук головы о бордюр тротуара, тот жестокий, нечеловеческий звук равнодушия к человеческой жизни.

— А отчего они как пьяные? — спросил Чик. Он внимательно смотрел дяде в глаза.

Дядя помолчал мгновение и вдруг тихо, словно не Чику, а самому себе, с горечью выдал сквозь зубы:

— Ты вырастешь, Чик, и все поймешь. — И вдруг добавил, как-то странно взглянув Чику в глаза: — И если даже с твоим дядей что-нибудь случится, ты всегда верь, что он был честным человеком...

— Нет, — выдал Чик, чувствуя, что внутри у него все сжалось. Он обхватил руками его шею. — Нет! Нет! Нет!

— Я тоже так думаю, — сказал дядя, целуя Чика, — кажется, худшее позади... И не надо об этом... Нарви-ка нам лучше винограда к обеду...

Чику стало легче. Внутри отпустило. Он ужасно любил, когда дядя ему говорил: нарви груш, инжира, винограда. Чик в такие минуты чувствовал себя фруктовым кормильцем семьи.

— Дя, — вдруг вспомнил Чик, — собаколов не отомстит Белочке за то, что я выпустил собак?

Дядя рассмеялся, вскочил с постели и стал быстро одеваться. Он все делал легко, быстро.

— Я думаю, — сказал он, — этот человек больше никогда по нашей улице не проедет. Ты его хорошо проучил.

Когда Чик с корзиной спустился во двор, Сонька выскочила с его портфелем в руке.

— Чик, — сказала она, — ты забыл под грушей свой портфель. Белочка начала грызть, но я у нее отняла его.

Чик за всеми делами этого дня совсем забыл о своем портфеле. Значит, Белочка все-таки о нем не забыла! Ай да Белка!

Чик взял портфель и вошел в сад. Он повесил его на сучок и взобрался на грушу. Когда он лег на вершину, стал рвать спелые гроздья «изабеллы», на лестничной площадке появилась тетушка с ведром и кружкой. Она стала поливать цветы. Самая большая герань была уже водворена в новый горшок. Чик заметил, что тетушка ее особенно усердно поливает, как пострадавшую в схватке с собаколовом. Поливая цветущие красным цветом герани, тетушка громко напевала одну из своих любимых песен:

Белые, бледные, вечно душистые,  
Эти цветы расп-вели-и-и...

## Чик идет на оплакивание

— Чик, — крикнула тетушка сверху, — подымись, ты мне нужен!

Чик повернул голову. Тетушка сидела на обычном своем месте у окна веранды. Но сейчас она не попивала чай, хозяйственно озирая двор, как это бывало всегда, а, глядя в зеркало, старательно выщипывала брови. Чик понял, что она собирается идти в гости. Она выщипывала брови, когда собиралась идти в гости или в кино. Бедные тетушкины брови! Редкая огородница с такой тщательностью выпалывала грядки с кинзой и петрушкой, как тетушка свои брови.

Чик в это время обкатывал и оббивал новенький футбольный мяч, подаренный Онику отцом. Одновременно с этим он отрабатывал хитрейший прием обмана вратаря во время исполнения пенальти. Оник стоял в воротах, обозначенных двумя кирпичами.

Вот что придумал Чик. Он много раз замечал, что взрослые футболисты, собираясь бить пенальти, порой по нескольку раз подходят к мячу и капризно подправляют его, чтобы он удобней стоял. И Чик догадался, что это можно использовать.

Надо пару раз подойти к мячу, подправить его, потом отойти, изобразить на лице неудовольствие (опять не так стоит!), снова подойти якобы для переладывания мяча и тут неожиданно пнуть его без разгона. Вратарь не успевает и глазом моргнуть: мяч в воротах!

Чик считал, что в этом нет никакой подлости — спортивная хитрость! Вратарь после свистка обязан ждать мяч в любую секунду. Никто не оговаривал, сколько раз можно подходить и переустанавливать мяч после свистка.

Услышав голос тетушки, Чик тут же подключил его к маневрам, отвлекающим вратаря от неожиданного удара. Он изобразил на лице крайнее раздражение: тут никак не можешь установить мяч, а тут еще тетушка кричит! С этим выражением он снова подошел к мячу и, даже вытянув руки, слегка наклонился к нему — и... удар! Мяч влетел в левый угол и отскочил от забора, возле которого были расположены ворота.

— Нечестно! — завопил Оник. — Тёханша твоя кричала!

— А я тебя как учил? — строго перебил его Чик. — Был свисток — жди удара! Я сейчас приду!

Перескакивая через ступеньки, Чик побежал наверх. Белочка ринулась за ним, думая, что тетушка учудила второй завтрак, что с ней иногда случалось. Бывало, завтрак давно прошел, до обеда еще далеко, а тетушка сидит, попивая чай, и вдруг ее озаряет:

— А что, если я пирожки поджарю, Чик? Горсовет на нас не обидится?

— Не обидится! — радостно подхватывал Чик эту вкусную шутку.

Ох и легка была тетушка на подъем! Она никогда не ленилась доставить себе удовольствие. А если при этом сидели рядом с ней соседка, или подруга, или Чик, она со всеми щедро делилась удовольствием. Чик любил ее за размах. Она доставляла себе удовольствие с таким размахом, что и окружающим кое-что перепало. Что, денег нет? Не беда! Размахнется персидским ковром и продаст! Опять завеселеет!

— Чик, — сказала тетушка, когда он к ней подошел. Не глядя на него, она продолжала требовательно всматриваться в свое горбоносое лицо и выщипывать сверкающими щипчиками брови, — умерла моя дорогая Циала... Мы с тобой должны пойти на оплакивание. Надень свежую рубашку и новые брюки...

Чик никогда не ходил на оплакивание умерших. Это было то счастливое время, когда еще никто из близких и даже знакомых не умирал. Умирили чужие. И Чик иногда видел похоронные процессии,двигающиеся по улицам, и вместе с другими ребятами забирался на забор или вскарабкивался на деревья, чтобы заглянуть в лицо покойнику. Это было любопытно и грустно, но тогда ему и в голову не приходило плакать.

Тетя Циала была приятельницей тетушки. Чик ее слегка недолюбливал, и было за что. Нет, конечно, он ничуть не обрадовался, узнав, что она умерла. Ему даже было ее жалко, но не сильно. Он вслушался в свою жалость и подумал, что со слезами, пожалуй, тут будет туговато.

— Я тоже должен плакать? — спросил он у тетушки.

Тетушка продолжала выщипывать брови, требовательно вглядываясь в свое лицо. Она всегда так вглядывалась в свое лицо, когда смотрела в зеркало. Вглядываясь в

свое лицо, она как бы сурово выговаривала ему: да, от природы ты красивое. Но ты само не стараешься. Вечно тебе приходится помогать!

— Ты должен постоять у гроба, как мальчик из приличной семьи, — сказала тетушка, продолжая глядеть в зеркало, — а плакать тебя никто не обязывает... Если при виде моей дорогой подруги, лежащей в гробу, у тебя не польются слезы, ты не в нас, а в тех, кого я сейчас не хочу называть.

Начинается, подумал Чик. Ему было неприятно выслушивать это. Тетушка имела в виду его маму. Они не любили друг друга. Это началось еще до Чика, и уже ничего невозможно было исправить.

Тетушка была замужем за братом мамы, а мама замужем за братом тетушки. Нет, тут кровосмесительства не было. Чик это точно знал. Это было вроде перекрестного опыления.

Мама считала, что тетушка слишком занята собой и недостаточно любит ее брата. А тетушка считала, что чегемцы вообще люди черствые и довольно дикие. Мама и ее брат были родом из села Чегем. Чик любил своих чегемских родственников, и он точно знал, что они совсем не черствые и не дикие, хотя у них нет электричества. Просто они сдержанные. У них не принято сюсюкать или, скажем, нацеловывать детей. Но они добрые, только они стыдятся говорить об этом. Почему тетушка этого не понимает? Странно!

Может, вообще жители долин не могут понимать жителей гор? Но ведь Чик сам родился в городе, почему же он хорошо понимает чегемцев? Чегемцы тоже посмеивались над жителями Мухуса, но, пожалуй, добродушно.

— Когда они к нам приезжают, — говаривали чегемцы, кивая на городских, — мы режем козу или курицу. Ставим на стол вино. А когда мы к ним приезжаем, они нас чаем угощают. Да что мы, больные, что ли, чтобы чай хлестать?

Тут, конечно, тоже было некоторое недопонимание. Но ничего особенного. Просто смешно. Чик часто спорил с тетушкой, стараясь ей внушить, что чегемцы не черствые и не дикие. Они другие. Они горцы! Но тетушка с ним никогда не соглашалась.

И сейчас Чик не на шутку встревожился. Он решил, что, если он не расплатится над гробом тети Циалы, тетушка окончательно уверится, что чегемцы жестокие и

дикие люди. Он не за себя боялся, ему было обидно за чегемцев.

Чик пошел домой переодеваться. Спускаясь по лестнице, он взглянул на Оника. Тот, дожидаясь его, бил по мячу, отскакивавшему от забора.

— Я пошел на оплакивание, — бросил Чик в сторону Оника.

— Куда? Куда? — переспросил Оник, поймав мяч в руки и поворачиваясь к Чику.

— На оплакивание тети Циалы, — пояснил Чик с выражением превосходства в житейском опыте, — она умерла. Мы с тетей идем на оплакивание.

Оник явно старался понять, как это происходит. Но не мог. У него тоже никто из близких и знакомых не умирал.

— А это интересно? — спросил он, как всегда уверенный, что Чик все знает лучше него.

— Это... это, — начал Чик, стараясь соединить все, что он слышал о таких делах. Он смутно припомнил, что взрослые в разговорах о похоронах огромное значение придают погоде. — Это как с погодой повезет. Бывает, повезет покойнику с погодой, а бывает, не повезет, и тут уж ничего не поделаешь...

— Как так?! — воскликнул Оник, выронив мяч от удивления. — А разве мертвые разбираются в погоде?

— Будь спок, — сказал Чик неожиданно даже для себя, — что-то, а погоду они чувят!

Оник так и замер, задумавшись. Чик пошел домой переодеваться. Минутное удовольствие с розыгрышем Оника испарилось, и Чик снова почувствовал тревогу: а вдруг не заплачется?

Чик стал вспоминать об умершей. Тетя Циала была крупная, полная, пожилая женщина. Несмотря на полноту, она быстро и легко двигалась. Тетушка говорила, что она настоящая аристократка. Чик верил этому. Он считал, что крупные, полные аристократки должны двигаться легко, быстро, иначе кто же поверит, что они аристократки.

Чик знал, что ее муж был абхазским князем. Он его никогда не видел, но тетя Циала порой упоминала его в разговорах. Если уж никак нельзя было обойтись без него, она как бы, махнув рукой, упоминала его. Получалось, что ее муж был деревенским князем. Так себе князьком. Иногда тетюшка злилась на тетю Циалу и тогда говорила:

— У нее, видите ли, муж — князь! В Абхазии, если у человека три буйвола, он уже князь! Начхала я на таких князей!

Тетушка так говорила, потому что ее первый муж был персидским консулом и она с ним некоторое время жила в Тегеране. Чик вообще не представлял, чем занимаются консулы. Он знал, чем занимались древнеримские консулы, а чем занимаются современные консулы, не знал.

Он знал, что консул был иностранной шишкой и тетушка им вертела как хотела. Вот он и красил волосы, чтобы понравиться тетушке. А у тетушки, известное дело, настроение меняется, как погода. В какой цвет прикажет тетушка, в такой цвет и выкрасит волосы консул. А чекисты, по рассказам тетушки, бывало, сбивались с ног: куда девался этот черноволосый консул и откуда взялся этот рыжий персидский мулла?

У тетушки раньше был консул, а у подруги ее — капитан парохода «Цесаревич Георгий». Вот они и сдружились. У кого карта старше? Консул бьет капитана или капитан консула? Консул был старенький, а капитан молодой. Очко за Циалой! Но консул был настоящим мужем тетушки, а капитан был только возлюбленным тети Циалы. Она мечтала стать женой капитана, но не вышло. Очко за тетушкой!

Теперь у тетушки муж — сын простого крестьянина, и Чик любил своего дядю, но тут, по их понятиям, тетушка проигрывала. Там князь, хоть и деревенский. Общий счет 2 : 1 в пользу тети Циалы.

А не многовато ли вообще князей для нашего маленького города? — вдруг подумал Чик. Он иногда проникался чувством социальной хозяйственности, хотя его никто об этом не просил.

Чик читал множество современных русских книжек, и там иногда упоминались случайно уцелевшие на просторах нашей Родины князья, графы, офицеры. Но они почти всегда прятались в подвалах, в заброшенных избушках, а то и в стогах с сеном. Выйдут из укрытия, повредят-повредят и снова — юрк в подвал или нырнут в стог.

Но это там, за кавказским хребтом. А у нас князья живут себе под теплым солнышком и не скрывают, что они князья. Правда, по наблюдениям Чика, они и не вредят. Может, потому, что они ленивые? Чик слышал, что абхазские князья самые ленивые в мире. Чик читал книжку о самом ленивом русском барине Обломове.

Интересно, если высадить на необитаемом острове аб-



хазского князя и Обломова, кто из них первым возьмется за труд? Головоломная задача!

Обломов, пожалуй, поборей и попроще. Он в конце концов, несмотря на лень, согласился бы первым вскарабкаться на кокосовую пальму, но Чик понимал — не сможет. Мускулы слабые. У наших князей, конечно, с мускулами получше. Они ездят верхом, платочки там всякие поднимают зубами во время танцев, но они ужасные гордецы. Попробуй загнать его на кокосовую пальму — умрет от голода под пальмой, но не влезет. А чего заноситься? Глупо!

Чик всю жизнь слышал о великой любви тети Циалы и капитана парохода «Цесаревич Георгий», но он мало что знал о конце этой истории. Он только знал, что однажды пароход в море ограбили какие-то пираты и после этого у тети Циалы с капитаном все пошло кувырком.

Она об этом иногда говорила с тетушкой, но, как только появлялся Чик, они или закруглялись, или тетушка его просто прогоняла. Там была какая-то страшная тайна. Там был какой-то желтоглазый человек (несколько раз Чик успевал ухватить эти слова), который помешал любви тети Циалы и капитана.

А до желтоглазого была великая любовь. Когда пароход входил в мухусский порт, капитан приглашал на палубу свою возлюбленную и бесплатно катал ее в роскошной каюте до Батума и обратно. А в Одессу тетя Циала никак не могла прорваться. Капитан ее туда не брал. Нет, нет, у него не было жены. Видно, она еще была слишком молоденькая, и капитан все ждал, чтобы она остепенилась и он смог бы привести ее к своим стареньким родителям. Нет, там не было жены капитана. Чик это точно знал. Если б там была жена, до Чика обязательно дошли бы разговоры, что эта негодяйка, недостойная целовать пятки тете Циале, при помощи цыганки приворожила бедного капитана.

Чик долго не любил тетю Циалу, и вот за что. Однажды, когда Чик был совсем маленький и лежал больной, она вдруг его навестила. Он лежал внизу у мамы, и поэтому было удивительно, что она его навестила. До этого она к маме почти никогда не заходила. А тут вдруг зашла. Но у Чика была большая температура, и он не обратил внимания на это. Он все видел, как в тумане. И вдруг она к нему пристала с самым ненавистным ему вопросом:

— Кого ты больше любишь, маму или тетю?

С этим ненавистным вопросом раньше к нему приставала только тетушка.

— Одинаково, — отвечал Чик, что стоило ему немало самообладания. Тетушка ждала другого ответа, но никогда не могла добиться. А тут вдруг эта чужая тетя пристала к нему с этим же вопросом. И он, оскорбленный самим вопросом, и чтобы скорее от нее избавиться, и оттого, что был больной, и оттого, что мама была рядом, выдохнул:

— Маму!

И вдруг из-за спины грузной тети Циалы, как бесенок, выскочила тетушка и закричала:

— Ах, так!

И Чик разрыдался! Никогда, никогда в жизни он так долго и горестно не плакал!

— Я ослаб, — говорил он сквозь рыдания, чтобы они поняли, что он не двуличный, что это он от болезни. Тетушка, конечно, бросилась его целовать, обнимать, успокаивать и всякое такое. По лицу бедной мамы, Чик это видел даже сквозь слезы, пошли красные пятна, но она им ни слова не сказала! Они сейчас гости — вот что такое чегемка! Но зато, когда они ушли, тетя Циала получила столько проклятий вслед, что этого хватило бы на всю мировую аристократию.

Чик выздоровел и потом с месяц не мог простить тетушке этот глупый и жестокий розыгрыш. Но потом простил. Все-таки он любил тетушку, и она его, конечно, любила. А вот тете Циале он этого не мог простить еще целых два года. А потом простил. А куда денешься? Ходит и ходит к тетушке. Пришлось простить.

Все это Чик мельком вспоминал, пока переодевался, и вдруг осознал, что тетя Циала умерла и то, что он сейчас так вспоминает о ней, нехорошо. Его опять охватила тревога: сумеет ли он заплакать, да еще с такими мыслями?

Но вот они вышли с тетушкой на улицу и повернули налево. День был теплый, солнечный, ласковый. Тетушкины каблуки легко и даже бодро стучали по тротуару. На углу несколько мальчиков играли в деньги, а другие толпились вокруг играющих и наслаждались звоном монет, которые долбили тяжелые царские пятаки.

Среди зевак стоял Анести. Когда они приблизились, он поднял голову и посмотрел на Чика. Чик вдруг подумал, что Анести ему предложит играть в деньги. Этого

еще не хватало! Тетушка была уверена, что Чик никогда не играет в деньги. Поэтому Чик, глядя на Анести, сделал ему страшную гримасу и отрицательно покачал головой. Но Анести его не понял, а может быть, понял наоборот.

— Чик, сыграем? — спросил он, когда они поравнялись, и, хлопнув по карману, звякнул мелочью.

— Нет, — сухо бросил Чик и уже хотел пройти мимо, но тетушка остановилась.

— Что ты, мальчик, — сказала она, — Чик никогда не играет в деньги!

— Пацаны, — расхохотался Анести, — Чик никогда не играет в пети-мети!

Ребята рассмеялись, но тетушка ничуть не смутилась.

— Да, — сказала тетушка, — Чик никогда не играет в азартные игры! Куда только смотрят ваши родители?! Правильно говорят по-русски: не та мать, которая родила, а та мать, которая воспитала.

Чик это было неприятно слышать. Это был камушек в огороде мамы. Бывало, если Чик проявлял сообразительность или приносил хорошие отметки, тетушка говорила, что это результат ее воспитания. А когда Чик попадал в какую-нибудь неприятную историю, она говорила:

— Яблоко недалеко от яблони падает.

Это был намек на его чегемское происхождение. По если она имела в виду яблоню во дворе дедушкиного дома (Чик обожал эту яблоню), то можно сказать, что он далеко, до самого Мухуса, укатился от этой яблони.

Но вот ребята остались позади, и Чик снова заволновался: а вдруг ему не заплачется у гроба? И вообще как это происходит? Может, дети плачут вместе? Тогда можно, как в школьном хоре, только слегка раскрывать рот.

— Тё, — спросил Чик, — а дети плачут со взрослыми или отдельно?

— Ну, какой ты, Чик, — сказала тетушка не глядя, а каблучки ее продолжали бодро стучать по мостовой, — мы подойдем с тобой к гробу моей дорогой подружки. Постойм. Поплачем. Потом я еще пособолезную близким, а ты выйдешь во двор и подождешь меня там.

Чик задумался. Тетушкины слова его ничуть не успокоили. По бодрому, невозмутимому стуку ее каблучков Чик был уверен, что сама она ничуть не сомневается в том, что слезы у нее польются, когда это будет надо.

И Чика стали раздражать эти ее каблучки, и он решил смутить ее уверенность.

— Тё, — сказал он, — а вдруг тебе не заплачется?

— Как это мне не заплачется? — удивилась тетушка, не сбавляя бодрости каблучков. — Что ты выдумываешь, Чик? У гроба своей лучшей подруги могут не заплакать только люди, о которых я сейчас не хочу говорить! И ты знаешь, кто эти люди, Чик! Знаешь, Чик, не притворяйся!

Чик опять тревожно задумался: а вдруг не заплачется? Что тетушка тогда будет говорить о чегемцах? Будет ужасно, если она тут же, у гроба, станет объяснять другим людям, что Чик не плачет, потому что пошел в своих родственников по материнской линии. Надо во что бы то ни стало заплакать!

Он с новой силой почувствовал груз долга на своих плечах. И сразу же, как это бывало и раньше, позавидовал тем губошлепистым мальчикам, которые этого никогда не чувствуют. Оник, например, никогда этого не чувствует. Хорошо ему живется, черт бы его подрал!

Они шли и шли, и тетушка встречала многих своих знакомых женщин и заговаривала с ними о смерти своей подруги. То по-русски, то по-абхазски, то по-грузински, а то и по-турецки. Мелькала одна и та же фраза на всех языках:

— Бедная Циала!

— Циала рыцха!

— Сацкали Циала!

— Языг Циала!

И почти все они обязательно заговаривали о погоде.

— Слава богу, хоть с погодой повезло, — утешала одна.

— Если погода продержится, обязательно приду на похороны, — обещала другая.

— Счастливая, жила, как хотела, и после смерти получила такую погоду!

— Отчего она умерла?

— Сердечница, — то и дело отвечала тетушка, — она всю жизнь была сердечницей!

Чикуну казалось, что тетя Циала стала сердечницей после того, как рассталась с любимым капитаном. Любовь навсегда ранила ее сердце, и она с тех пор стала сердечницей.

— Ах, как ей повезло с погодой!

Почти все разговоры сводились к этому. Чик удив-

лялся такому вниманию к погоде. Можно было подумать, что после смерти некоторых людей начинается наводнение.

И вот они наконец подошли к дому князя. Ворота в зеленый двор были широко распахнуты. Во дворе цвели кусты поздних роз и георгинов. С внутренней стороны двора несколько лошадей было привязано к штакетнику. Чик понял, что это прибыли деревенские родственники князя.

Под длинной виноградной беседкой, густо лиловеющей спелыми гроздьями, были расставлены столы, на которых виднелись бутылки с вином и лимонадом, блюда с соленьями и лобио. Людей за столами было не очень много, и они сидели небольшими группками, как это бывает, когда в застолье много мест, а люди малознакомы. Чик понял, что это поминки.

Они вошли во двор. У низкого столика перед входом в дом отдельно от всех стоял невысокий человек в черном костюме со скорбным лицом. Он повернулся к тетушке, явно ожидая, что она к нему подойдет, но тетушка, ускорив шаг, прошла мимо.

— Бедный князь, я еще к вам подойду, — бросила она ему мимоходом совсем новым для Чика голосом, показывая, что ее уже душат слезы и ей бы только донести их до той, кому они предназначены.

Когда ж она успела, удивился Чик и с ужасом подумал, что тетушка уже ко всему готова, а он, дурак, только глазел, оглядывая двор, и теперь ни к чему не готов. Из широко распахнутых дверей одноэтажного дома раздались призывные рыдания, и Чик еще больше запаниковал, чувствуя, что сейчас на виду у всех опозорится.

Надо бежать, бежать, пока не поздно! Но в это мгновение тетушка, словно догадавшись об этом, крепко схватила его за руку и с какой-то хищной торопливостью ринулась к распахнутым дверям.

Гроб стоял посреди большой комнаты. Вдоль стен на стульях сидели женщины в черном и несколько мужчин, одетых в черкески с кинжалами на боку. Чик догадался, что это деревенские родственники князя.

В сторонке у окна толпились музыканты с восточными инструментами в руках и с восточным выражением в глазах. У изголовья гроба, засыпанного цветами, стояли несколько женщин, по-видимому, самых близких родственниц. Глядя на покойницу, они всхлипывали и рыдали.

Остановив наконец взгляд на гробе, засыпанном цветами, Чик оцепенел. Его вдруг осенила леденящая догадка, что именно потому столько цветов набросано сверху, чтобы скрыть то страшное и непонятное, притаившееся под цветами и именуемое смертью. И он, оцепenea, подумал: как можно жить, если это страшное и непонятное есть в жизни?

А тетушка уже не в силах додержать слезы, зарыдала навстречу рыданиям и, бросив замешкавшегося Чика, пошла к гробу. Однако перед тем, как его бросить, она строгим тычком в спину показала, куда ему надо двигаться.

И эти ее неутешные рыдания, и почти одновременный маленький, хитренький тычок в спину, как бы знак из милой, повседневной жизни тетушки, да и самого Чика, вывели его из оцепенения, словно подсказали, что можно, можно жить, если люди делают такие смешные вещи даже здесь, возле ужаса, заброшенного цветами.

Тетушка вдруг замолкла и упала щекой на усыпанное цветами тело покойницы. Она немного полежала так, а потом с рыданиями выпрямилась, как бы потеряв последнюю каплю надежды, что жизнь еще теплится под цветами. И теперь, взглянув на стоящих у гроба, она стала рыдать вместе с ними. Рыдающие, глядя друг на друга, возбуждались взаимной чувствительностью, и каждая как бы в благодарность за неутешные рыдания другой сама начинала рыдать с новой силой.

Чик все это видел, стоя у гроба рядом с тетушкой и глядя на сурово постраanneвшее лицо тети Циалы, ощущал, что комок рыдания подкатывает к его горлу, но никак не может протолкнуться сквозь него, и потому он не может заплакать.

Ему много раз казалось, что комок вот-вот прорвется и тогда польются слезы. Но проклятый комок не прорывался, и горло у него начало саднить от напряжения.

А тетушка вместе с другими женщинами продолжала рыдать, иногда наклоняясь к гробу и растолковывая подруге, как ее здесь любят, а суровое лицо мертвой выражало досадливое неудовольствие всей этой шумихой.

Женщины продолжали рыдать, а у Чика все сдавливало горло, но комок ни туда, ни сюда. А между тем Чик чувствовал, что сюжеты из жизни, которые тетушка излагала рыдая, начинают повторяться («звезда моей цветущей юности», «таких преданных теперь нет», «ради нее я бросила персидского консула и вернулась на роди-

ну») и она через мгновение обратится к Чику и подключит его к своему плачу.

И Чик, чувствуя, что это вот-вот может случиться, а тетушка, увидев, что он все еще не плачет, преувеличенно ужаснется и вдруг такого наговорит о жестоких чегемцах...

И он в отчаянии приложил кулаки к глазам и стал их тереть изо всех сил, чтобы выжать слезы. Но слезы никак не выжимались, а глазные яблоки, наоборот, ссыхались от боли. И тогда Чик (была не была!) незаметно ослюнявил обе ладони и потом так же незаметно, продолжая как бы утирать глаза, обмазал их слюной. Правда, от волнения слюна тоже куда-то подевалась, но хоть слегка удалось увлажнить подглазья.

Только он это сделал и еще продолжал кулаками прикрывать глаза, как понял по голосу тетушки, что она повернулась к нему:

— Чик, где наша любимая Циала? Кто тебя осиротил, Чик? Кто теперь будет тебя угощать конфетами, Чик?

Когда тетушка плачущим голосом произнесла свои первые слова, обращенные к Чику, что-то в груди у него дрогнуло, комок в горле стал мягко раздуваться, и Чик понял: сейчас пойдут слезы. Сами пойдут, только не надо им мешать.

И он перестал кулаками тереть глаза, и слезы поднялись сами, увлажнив его замученные глаза, как вдруг тетушка своим дурацким упоминанием дурацких конфет все испортила.

Никогда в жизни, ни разу тетя Циала не угощала его конфетами. Нет, она не была жадной. Она, как и тетушка, была щедрой. Просто она вспоминала о существовании Чика только тогда, когда видела его. В конце концов Чик не такой уж маленький, чтобы рыдать над умершей только потому, что она его угощала конфетами. И тут комок в горле Чика стал сжиматься, сморщиваться и куда-то исчез.

— Открой глаза, Чик! Не стыдись слез, — рыдала тетушка, — есть минуты, когда мужчина не должен стыдиться слез!

Чику стало очень стыдно, и он никак не мог оторвать кулаки от глаз, тем более что жалкая влага слюны, которой он их смочил, успела подсохнуть.

И вдруг ударила музыка и сразу перекрыла все, о чем Чик сейчас думал. Музыка была до того печальной,

что Чика мгновенно заполнила острая, сладостная жалость. Ему стало жалко сумасшедшего дядю Колю с его безнадежной любовью к матери Соньки, ему стало жалко тетушку неизвестно за что, мимоходом он пожалел и неведомого персидского консула, бедного старикашку, который все красил и перекрашивал волосы и никак не мог угодить тетушке, ему стало жалко Белочку, которую собаколов мог поймать в любую минуту и отдать живодерам, ему стало жалко тетю Циалу, и в самом деле по гроб жизни любившую своего капитана, ему стало жалко хромого Лёсика, который всю, всю свою жизнь так и будет подволакивать ногу, ему стало жалко испанских республиканцев, он предчувствовал, что герои обречены, ему стало жалко отца Ники, невинно арестованного, и Нику, все еще думающую, что отец в дальней командировке. Ему вдруг припомнилось и стало жалко котенка, который когда-то давно тонул в канаве, а мальчишки вдобавок кидали в него камнями, а Чик стоял рядом и ничего не решался сделать не потому, что боялся мальчишек, а потому, что боялся прослыть слюнтяем... Ему стало жалко всех, всех и себя стало жалко за то, что он так глупо, так глупо боялся прослыть слюнтяем...

И удивительней всего было то, что, как только он начинал жалеть кого-нибудь, музыка мгновенно устремлялась к месту жалости и омывала именно эту жалость. И каждый раз Чик чувствовал, что она жалеет именно этого человека, это животное, а не кого-то вообще. Но откуда музыка знает обо всех его жалостях и как она успевает мгновенно вместе с Чиком переходить от одной жалости к другой?

И Чик чувствовал, что по лицу его текут и текут невыдуманные слезы и откуда-то издалека доносится голос тетушки. Наконец музыка смолкла, и Чик очнулся, но слезы продолжали течь. И он стал глядеть на тетушку, чтобы она как следует разглядела эти слезы и больше никогда плохо не думала о чегемцах.

И Чик теперь не сводил с тетушки своих плачущих глаз, и тетушка, кажется, начала что-то понимать и даже слегка кивнула Чику головой. Но Чик продолжал глядеть на нее плачущими глазами, требуя более ясных признаков покаяния, и она наконец наклонилась к Чику и шепнула ему на ухо:

— Я жальюсь тобой, Чик! Я всегда знала, что ты пошел в нас, а не в этих бессердечных людей!

Ну, что ты ей скажешь? Сколько же упрямства в этой



маленькой горбоносой голове! И вдруг тетушка с рыданием обратилась к мертвой и сказала ей, что Чик просит разрешения в последний раз поцеловать ее и навек проститься.

Все подхватили ее рыдания, и заплаканные взоры обратились к Чику, как бы пораженные его не по годам мудрой чувствительностью. Чику было страшно целовать мертвую, он даже не знал, куда правильной всего ее поцеловать, и все-таки, стараясь не выдать, как это ему неприятно, наклонился и поцеловал ее в лоб.

Он почувствовал губами не принимающую его поцелуй какую-то потустороннюю твердость прохладного лба и, стараясь не выдавать облегчения и затаенного дыхания, распрямился и стал проходить к дверям. И уже там в последний раз услышал тетушку:

— Подруга юности, скажи, где «Цесаревич Георгий», где мы?

Чик вдохнул всей грудью свежий, золотой воздух ясного дня, и было глазам так вкусно смотреть на зеленую траву, кусты роз и георгинов, на рыжие крупы лошадок, привязанных к штакетнику и лениво помахивающих хвостами.

Но губами он еще чувствовал ту враждебную, потустороннюю твердость прохладного лба, и ему очень хотелось вытереть губы, но он стыдился это сделать. Ему казалось, что все сразу догадаются, что он стирает следы поцелуя. Вдруг кто-то ласково положил ему руку на плечо. Чик обернулся. Это был распорядитель поминального застолья.

— Мальчик, — сказал он, — можешь пойти перекусить и выпить лимонад. Лимонад любишь?

— Да, — сказал Чик и пошел к виноградной беседке.

За сдвинутыми полупустыми поминальными столами сидели не только взрослые, но и дети, дожидавшиеся своих родителей. Подходя к беседке, Чик вдруг увидел рыженькую девочку с лицом, как подсолнух. И этот сияющий подсолнух сейчас был повернут к нему и явно призывал подойти. Чик подошел и сел напротив девочки. Он все время помнил губами потустороннюю, враждебную твердость лба покойницы, но слизнуть этот налет смерти мешала брезгливость, а утереть рукавом было стыдно: подумают — двуличный, сам целует, а потом утирается.

Поэтому Чик сделал озабоченное лицо, посмотрел на свои ноги, пробормотал что-то насчет проклятых шнурков

и, склонившись под стол, изо всех сил, до хруста стал вытирать губы концом скатерти.

Вдруг он заметил, что под столом с противоположной стороны торчит паблюдающая за ним головка девочки. Приподняв свой край скатерти, она следила за ним.

Чик стало неприятно, что она его видит, и он на всякий случай стал жевать край скатерти, сначала думая намекнуть на то, что он сумасшедший и потому так странно обращается под столом со скатертью, но потом решил, что это слишком громоздко и потребует новых, соответствующих выдумок, и стал щупать скатерть, как бы пробуя ее на эластичность. А потом, растопырив ее двумя руками, изо всех сил подул на нее, смутно намекая, что изучает свойства ткани для неких, может быть, парусных надобностей. Но девочка продолжала следить за ним смеющимися глазами из сумрака подстоля. Сейчас было особенно заметно, что на ее мордочке полным-полно веснушек.

Чик выпрямился над столом. Девочка тоже разогнулась.

— А я знаю, почему ты вытер губы, — сказала она, отстая все его версии, — я тоже не люблю целовать покойниц, но мама заставляет.

— Не в этом дело, — сказал Чик, — ты откуда?

Чик взял бутылку лимонада, налил в стакан и, некоторое время подержав губы в колючей сладости, выпил стакан и поставил на стол.

— Я в седьмой школе учусь, — сказала девочка, приятно grimасничая, — а ты?

— Я в первой, — сказал Чик и кивнул головой в сторону своей школы.

— Знаю, — сказала девочка, — там Славик учится.

Девочка взяла из тарелки с соленьями большой помидор и, обливаясь соком и шумно чмокая, надкусила его. Чик не любил, когда девочки едят слишком жадно. Он считал, что девочки должны есть как бы нехотя. Ну, фрукты еще так-сяк. Но только не соленые помидоры.

— Обожаю соленые помидоры, — сказала девочка, — я уже третий ем. А ты любишь соленые помидоры?

— Я вообще не люблю помидоры, — сказал Чик и добавил: — Вытри подбородок.

Девочка быстро нагнула голову и, ничуть не стесняясь окружающих, с разбойничьей лихостью вытерла краем скатерти подбородок. Бросив скатерть, она посмотрела на Чика и сделала на своем лице еще одну ужимочку,

которая опять понравилась Чику. Как это она угадывает делать на своем лице именно такие ужимочки, которые должны мне понравиться? — подумал Чик с благодарностью.

Чику нравились далеко не всякие ужимочки, которые делали девочки на своем лице. Уж на что Ника была мастерицей по таким ужимочкам, и то она однажды сделала такую гримасу, что Чик после этого минут десять не мог на нее смотреть.

Тогда у нее был день рождения. Девочки и мальчики сидели за столом, уплетая вкусные салаты и весело болтая. И Чик тайно любовался нарядной, оживленной Никой. И вдруг ее хорошенькое лицо, как в страшном сне, исказилось отвратительным выражением свирепости пещерной женщины, которая собирается броситься на другую пещерную женщину.

— Моль! — закричала она в следующее мгновение и стала бегать по комнате, стараясь прихлопнуть ее ладонями. Грубо и некрасиво. Нельзя же при виде моли делать такое пещерное выражение лица. Моль — это все-таки не муха цеце!

— Откуда ты знаешь Славика? — спросил Чик и, потянувшись за бутылкой, опрокинул ее над стаканом. На столе еще было полным-полно бутылок с лимонадом.

— Кто же его не знает, — сказала девочка с задумчивой нежностью, — первая школа — это Славик и Чик.

Чик замер, с научной строгостью прислушиваясь к действию славы на себя. Действие было приятное. После этого он с мимолетной беглостью пробежал по клавиатуре своих подвигов: донырнул почти до флажка, нашел крупнейший самородок мастичной смолы, победил Бочо в драке на чужой территории, попал стрелой в дикого голубя, научил Белку есть любые фрукты... Да мало ли?

— А что ты знаешь о Чике? — спросил Чик, проследив за опрятностью интонации, чтобы ничем не выдать себя.

— Все! — сказала девочка. — На городской олимпиаде ваша школа давала представление «Сказка о попе и его работнике Балде»... Так вот он там играл задние ноги лошади...

Девочка захлебнулась от хохота. А потом, отхохотавшись, посмотрела на Чика и, сделав новую гримаску, спросила:

— Неужели ты не слышал? Он же в вашей школе учится!

Гримаска на этот раз показалась Чикю глуповатой.

— Слышал, — сказал Чик, — но что тут смешного? Смешного что?

— Так ведь он всем объявил, что играет главную роль, роль Балды, — сказала девочка, склонившись над столом и снизив голос, чтобы Чик сильнее заинтересовался. — А тут вдруг задние ноги лошади! Он что думал? Думал, они сыграют и уйдут со сцены, и никто не узнает, что Балду играл не он. Потому что Балда был в гриме и с бородой. Ну а мальчиков, игравших задние и передние ноги лошади, и вовсе не было видно. Они были покрыты картонной фигурой лошади. Мне все подружка рассказала. Она там была. А тут раздались аплодисменты, аплодисменты после того, как они сыграли, и режиссер на сцену вывел за гриву лошадь и снял с мальчиков картонное туловище лошади. И тут-то весь театр и увидел, что Чик выступает под видом задних ног. Смехота! Он всех обманул и свою тетушку, которая затащила в театр всех родственников и знакомых, чтобы похвастаться Чиком. Тетушка его, говорят, упала в обморок, а дядя прямо там, не сходя с места, сошел с ума и до сих пор сумасшедший. Чуть где увидит лошадь, начинает бормотать: «Чик! Чик! Чик!»

— Все это вранье, — сказал Чик, смутно чувствуя, что нагромождение глупостей — необходимая плата за славу. — У Чика дядя всегда был сумасшедший.

— Вот и попался, — сказала девочка, — кто бы сумасшедшего пустил в театр? А если человек уже в театре сходит с ума, тут уж ничего не поделаешь. Думали, что он отойдет. А он так и не отошел до сих пор. Как увидит лошадь, тычет на задние ноги и бубнит: «Чик! Чик! Чик!»

— Глупо, — сказал Чик, — глупо.

Пока Чик разговаривал с девочкой, с улицы во двор входили мужчины и женщины. Некоторые шли, держа в руках букеты цветов. Мужчины останавливались возле князя, жали ему руку, а потом, сняв шляпу или кепку и положив ее на столик, входили в дом. Когда они выходили во двор, распорядитель всех приглашал к поминальным столам. Одни садились за столы, а другие уходили.

Справа от Чика на некотором расстоянии от него уселась шумная компания местных мужчин. Их было человек восемь. Обсев стол с двух сторон, они наложили себе

в тарелки лобio, разлили по стаканам вина, сказали по несколько слов за упокой души умершей, по обычаю отлили чуть-чуть из стаканов, кто на лаваш, а кто просто в тарелку, и выпили. Принялись есть, макая лаваш в лобio и громко захрустывая еду красной квашеной капустой.

— Слушайте меня, — сказал один из них. Он сидел напротив, наискосок от Чика. — Учтите, — продолжал он, — я точно знаю, как это было. Помнится, это случилось двадцатого сентября 1906 года по тогдашнему стилю. Они тремя группами вошли на пароход «Цесаревич Георгий». Первая группа вошла в Новороссийске, вторая в Гаграх, а третья здесь, у нас...

Чик прямо почувствовал, что уши у него стали торчком. Девочка продолжала что-то говорить, но звук ее голоса выключился. Теперь Чик заметил, что один из друзей рассказчика, сидевший со стороны Чика, был его старый знакомый. Это был тот самый глуповатый рыбак, с которым Чик когда-то рыбачил. Он сидел к нему ближе всех, и Чик его сразу узнал. Он его узнал по большим усам и какой-то забавной важности выражения лица.

Рядом с рассказчиком сидел красивый курчавый человек. Чик и его узнал. Однажды, когда Чик был с дядей в кофейне, этот красивый курчавый гуляка веселился со своими друзьями рядом за столиком. Тогда он время от времени выкрикивал:

— Среди абхазцев есть еще герои, как, например, Мишка Розенталь!

И все смеялись, когда он так выкрикивал. И Чик смеялся. Ясно же, что Розенталь не может быть абхазцем, потому и смешно. Чик любил понять, почему смешное смешно.

Но сейчас он не спускал глаз с рассказчика. Это был довольно старый человек с небритым, морщинистым лицом, хриплым уверенным голосом и выпуклыми бараньими глазами. Он был вроде тех стариков, которые вечно сидят в кофейнях. Только Чик подумал, что у него бараньи глаза, как тот сказал:

— ...Тогда возле пристани была кофейня, где можно было покушать харчо из бараньих мошонок. Для здоровья лучше ничего нет! Где сейчас такое харчо найдешь?!

Чик поразился, что рассказчик перешел на баранье харчо именно в тот миг, когда Чик подумал, что у того выпуклые, бараньи глаза. Такие странные, таинственные

совпадения у Чика случались много раз. Только подумаешь о ком-нибудь, что он, оказывается, всю жизнь был похож на какое-то животное, а ты этого не замечал, как вдруг этот человек делает что-то такое, что точно подтверждает твою мысль. Может, Чик немножко гипнотизер и внушает мысли на расстоянии?

Однажды Чик вместе с другими мальчиками отдыхал на траве после футбола. Вдруг Чик заметил, что один из пацанов до смешного похож на загнанного верблюжонка. А до этого не замечал. А тут заметил. И в этот же миг этот мальчик вдруг сказал: «Пацаны, пить охота, умираю!»

Но почему он это не сказал ни секундой раньше, ни секундой позже? В другой раз Чик на уроке заметил, что у одной девочки прямо-таки кошачья мордочка. Чик, пораженный этим сходством, смотрел, смотрел, смотрел на нее, стараясь на расстоянии внушить ей, чтобы она мякнула. И вдруг, нет, она не мякнула, она сделала хуже, она ощерилась по-кошачьи! У Чика прямо мурашки пробежали по спине: так и блеснули кошачьи зубки!

И сейчас случилось то же самое! Потому что позже, когда Чик множество раз вспоминал рассказ этого человека, он убеждался, что баранье харчо совсем никакой роли не играет в том, что он говорил. Почему же он его вспомнил? Чик ему это внушил, подумав, что у рассказчика бараньи глаза.

— ...И вот, значит, — продолжал тот, — все они были в бурках, потому что под бурками прятали оружие. Желтоглазый сам разработал эту операцию и сам в бурке находился на борту. Но тогда никто его не знал, кто кровник, кто революционер, кто абрек. Их было двадцать пять человек. И вот, значит, в час ночи, когда пароход проходил мимо Очамчиры, они одновременно захватили вахтенного офицера и рулевого и заставили его остановить пароход, перекрыв все ходы и выходы. Желтоглазый сам вошел в каюту капитана и приставил маузер к его голове:

«Почту!»

Бедный капитан что мог сделать? Капитан вместе с ним спустился в почтовую камеру, разбудил почтового чиновника и приказал ему отдать деньги и ценные бумаги. Всего двадцать тысяч. Пассажиров не грабили. Чего не было, то не было! Зачем выдумывать?

После этого желтоглазый что делает? Приказывает капитану спустить шлюпку, посадить в нее четырех мат-

росов для гребли и двух помощников капитана как заложников. После этого он со своими товарищами спустился в шлюпку, оттолкнулся от трапа, и вдруг...

— Девочка упала в море! — неожиданно вставил знакомый Чик усатый рыбак. Все разом взглянули на него. Теперь Чик вспомнил, что тот, слушая рассказчика, то и дело шевелил губами, может быть, про себя вспоминая эту историю. А теперь не выдержал и вставился, потому что рассказчик позабыл про девочку.

— Какая девочка? — растерялся рассказчик и посмотрел на рыбака своими выпуклыми глазами. — Я про это ничего не знаю.

— Уфуфовская девочка, — смачно произнес рыбак, довольный, что мог встать, — она упала в море, потому что высунулась из поручней, чтобы посмотреть в лодку. А мать в этот момент забыла про дочку, и она выпала. А он прыгнул с лодки и спас девочку! А через пятнадцать лет — такое в мильон лет один раз бывает! — она стала его женой. Но тогда он не знал об этом! Тем более девочка — ей тогда было пять лет. Где ребенок, где революционер?

— Хо! Хо! Хо! Хо! — удивленно заохали слушатели и с удовольствием переместили свое внимание на рыбака, что ужасно не понравилось рассказчику.

— Какая девочка?! — крикнул он возмущенно. — Откуда ты взял?! Тифлисские, петербургские, наши местные газеты — все тогда писали об этом случае. Никто не вспомнил никакую девочку! Тем более она же была на пароходе, она же рассказала бы нам, если б девочка упала за борт.

— Кто она? — спросил один из слушателей.

— Она, — повторил рассказчик и многозначительно кивнул на распахнутые двери дома, куда то и дело входили и выходили соболезнующие. Все поняли, о ком идет речь, и с таким видом взглянули на дверь, как будто ожидали, что тетя Циала вот-вот появится в дверях и подтвердит слова рассказчика. Не дождавшись, снова перевели взгляд на него.

— Сейчас громко не будем говорить, — продолжал тот, снижая голос, — тем более князь во дворе... Учтите, князь — прекрасный бухгалтер! Лучшего бухгалтера в Абсоюзе нет. Учтите!

Он оглядел своих друзей, словно проверяя, учитывают они это или нет. Те закивали головами. Чик ужасно удивился, что князь может быть бухгалтером.

— Да, — продолжил рассказчик, — она любила капитана... Об этом все старые мухусчане знают... И вот, значит, шлюпка отходит от «Цесаревича Георгия», и вдруг...

— Девочка падает в море, — быстро вставился рыбак, — а желтоглазый сбрасывает бурку, ниряет пирамо на дно, достает девочку, и пароход делает овация, не смотря что ограбил почту!

— Хо! Хо! Хо! — снова заудивлялись слушатели, а рассказчик так и застыл с раскрытым ртом. Он думал, что окончательно победил рыбака, а тот, раздувая усы, снова выплыл с девочкой на руках.

— Слушай, — грозно обратился к нему рассказчик, — если ты будешь фантазировать, я уйду! То, что я говорю, — история! А то, что ты говоришь, — воздух-трест!

— У нас в Баку так рассказывали, — миролюбиво пожав плечами, проговорил рыбак, очень довольный, что сумел еще раз встаться.

— У вас в Баку, — передразнил его рассказчик, — кушают плов и запивают нефтью. От этого у тебя такие фантазии. Я старый мухусчанин, я знаю все, как было на самом деле... Одним словом, только шлюпка отошла от «Цесаревича», и вдруг...

Рассказчик бросил свирепый взгляд на бывшего бакинца. Но тот, сложив руки на столе и изобразив на лице покорную прилежность, слушал его, как отличник.

— ...И вдруг сверху с палубы раздается выстрел...

— Я же всегда говорил, — неожиданно вставился красивый и чернявый гуляка, — среди абхазцев есть еще герои, как, например, Мишка Розенталь!

Все, кроме рассказчика и усатого рыбака, рассмеялись.

— При чем тут абхазцы? — Рассказчик раздраженно посмотрел на него. — Ты же сам абхазец?

Гуляка, подмигнув компании, стал разливать в стаканы вино.

— Розенталь шапошник будет? — спросил усатый рыбак. Чик заметил, что большие усы придавали его словам глупый смысл.

Все подняли стаканы.

— Какой там шапошник! Такой же пьяница, как и он! — кивнул рассказчик на своего соседа и, уже ворча в стакан, выпил и успокоился.

— Вообще неизвестно, кто стрелял, — продолжил он



свой рассказ, — абхазец, грузин, русский. История этого не знает. История говорит, что он ни в кого не пошал. Но желтоглазый рассерчал и хотел снова пришвартоваться, чтобы наказать стрелявшего. Но капитан сверху упрямил его не делать этого, потому что он сам найдет и накажет стрелявшего. Желтоглазый махнул рукой, и шлюпка ушла к берегу...

И вот проходит полгода, я сижу в той же кофейне и кушаю жирный харчо из бараньих мошонок. Такое харчо сейчас наркому не подадут — нету! И вдруг ко мне подходит молодой полицейский Барамия.

«Из Одессы, — говорит, — пришла совершенно секретная инструкция от полковника Левдикова насчет ограбления парохода «Цесаревич Георгий».

«Садись, — говорю, — дорогой друг. Все что хочешь закажу — выпьем, покушаем, поговорим. Мы тоже люди, мы тоже носом воду не пьем, мы тоже хотим знать, что пишет полковник Левдиков!»

И он присаживается и говорит:

«Только никому ни слова! Голову с меня снимут!»

«Что ты, что ты! — говорю. — Неужели мы, местные ребята, будем друг друга продавать! Никогда!»

Я заказываю все, что надо, и мы потихоньку сидим, кушаем, пьем, разговариваем. И вот, дай бог ему здоровья, полицейский Барамия все рассказывает мне, чем дышит департамент полиции, чем дышит лично полковник Левдиков. Оказывается, по сведениям полковника Левдикова, в ограблении парохода «Цесаревич Георгий» принимал участие некий молодой человек — маленького роста, рыжий, вэснущатый, вэснушки даже на руках. И он просил все полицейские участки Закавказья искать его по этим приметам.

Когда рассказчик сказал о вэснущатости, Чик рассеянно вспомнил о вэснушках девочки, сидевшей напротив, и посмотрел на нее. И она вдруг с какой-то испуганной быстротой спрятала от него руки. Видно, у нее тоже были вэснущатые руки. Глупышка, мимоходом подумал Чик, если б она знала, чьи вэснушки сравнивает со своими жалкими вэснушонками!

— Все понимаю, — сказал один из слушателей, — но что озпачает слово «некий», не понимаю.

Рассказчик кивнул головой в знак того, что это недоумение уже не раз возникало и он его всегда легко рассеивал.

— Пекий, — сказал он, — по-русски означает «странный».

— Хо! Хо! Хо! Хо! — удивленно заохали слушатели. Отохав, один из них спросил:

— Неужели полковник Левдиков уже тогда знал, что он странный?

— Полковник Левдиков — это полковник Левдиков, — важно кивнул рассказчик, — учтите, когда он на фаэтоне проезжал по Одессе, генерал-губернатор дрожал. А теперь слушайте, что дальше происходит!

Через год наша мухусская полиция задерживает молодого человека, похожего по приметам. Начальник полиции, уже зная, что наша землячка во время ограбления парохода была на борту, вызывает ее и устраивает очную ставку.

— Кого ее? — спросил один из слушателей.

— Как кого? — удивился рассказчик и повернулся к распахнутым дверям дома.

Все повернулись к распахнутым дверям. И Чик повернулся к распахнутым дверям, хотя понимал, что это глупо. Оттуда сейчас вышли музыканты и стали приближаться к поминальным столам. Один из них вытряхнул слюну из мундштука неведомого Чику инструмента и снова ввинтил его. Чик вспомнил то чудесное, грустное, удивительное, что он испытал, когда у гроба заиграла музыка, и ему было неприятно осознавать, что музыкант вытряхнул именно слюну, но, увы, он точно знал, что это была слюна.

В это время два фаэтона, отцокав по мостовой, остановились возле дома. Из одного фаэтона вышла женщина с двумя детьми, а из другого вышел плотный мужчина средних лет в белом чесучовом кителе, в темных брюках галифе и в маслянисто сверкающих сапогах.

Фаэтонщик осторожно снял с сиденья венки, оббитый лентой, и поднес женщине. Женщина, подправив на венке ленту, подставила его мальчику и девочке, подтолкнув их к обеим сторонам венка. Женщина стала сзади, мужчина присоединился к ней, дети приподняли венки, и маленькая процессия стала торжественно входить во двор.

— Арутюн приехал, — зашелестели многие сидящие за поминальными столами и обернули головы в сторону вошедших во двор.

Чик сразу узнал мальчика. Это был тот самый велосипедист, который недавно обыграл его в пух и прах.

Маленькая процессия поравнялась с местом, где стоял одинокий князь. Мужчина что-то сказал своим, и они остановились. Мужчина крепко пожал руку князю. Потом дети приподняли венок, и семья медленно двинулась в сторону распахнутых дверей дома. Заметив музыкантов, сидящих за столом, мужчина небрежным движением руки дал им знать, чтобы они следовали за ним.

Музыканты суетливо повскакали и стали подбирать инструменты.

— Дайте перекусить, — сказал один из них, продолжая сидеть.

— Ты что, не видел, кто зовет? — обернулся к нему другой. — Давай, давай!

Музыканты быстро собрались и вошли в дом. Вскоре оттуда стали доноситься приглушенные звуки музыки.

— Повезло ребятам, — восторженно кивнул рассказчик в сторону музыки.

— Чем? — спросил рыбак.

— Дай бог мне столько здоровья, сколько он им отвалит, — пояснил рассказчик и добавил: — Он десять лет работает приемщиком скота на бойне и за это время ни разу не взял зарплаты. Расписывается — и бухгалтерам на чай! Учтите, в наше время скот золотом хезает — только подбирай!

— Хо! Хо! Хо! Хо!

— И вот, значит, — продолжил рассказчик, — начальник полиции вызывает ее для опознания. Так у них это называется. Она мне потом все рассказала. Мы же с ней выросли на Первой Подгорной. С детства были как брат и сестра. «Как только я вошла в кабинет, — говорит она мне потом, — я его сразу узнала». — «А он?» — говорю. «А он, — отвечает она, — я думаю, еще за дверью меня узнал. Ты бы только видел взгляд его желтых глаз!» — «Какой взгляд?» — говорю. «Ну, как тебе сказать, — говорит и немного так задумалась. — Начальник полиции у меня спрашивает, как тот вошел в каюту капитана, как они вышли вскрывать почту, как сажались в шлюпку, как раздался выстрел. Все спрашивает. Около часу расспрашивал. А этот стоит возле стола начальника и, не поворачивая головы, — то на меня, то на него. И ни разу не шевельнул головой!» — «Неужели ни разу?» — спрашиваю. «В том-то и дело, что ни разу! — говорит. — Знаешь, — говорит, — как смотрит овчарка, когда двое разговаривают в комнате?» — «Как смотрит, — удивляюсь я, — что я, овчарку не видел!» —

«А вот так смотрит, — говорит, — овчарка лежит, положив голову на лапы, и, если в это время двое разговаривают в комнате, она своими желтыми глазами то на голос одного, то на голос другого, а голова как лежала на лапах, так и лежит. Вот так и этот целый час то на меня, то на начальника своими желтыми глазами, а головой ни разу не шевельнул». — «А-а-а, — говорю, — теперь дошло. Вот почему ты не призналась!» — «Еще бы, — говорит, — я его не признала, и полиция его отпустила». — «А чего же они не дождались капитана?» — говорю. Когда она мне это рассказывала, с капитаном у нее уже все было кончено. И вот она тяжело так вздохнула и говорит: «Не знаю... Может, начальник полиции его еще больше испугался... Он ведь и на него смотрел, не поворачивая головы».

Вот как это было! Но дальше слушайте, дальше! Через полгода капитан узнал, что начальник полиции вызывал ее по этому делу. Он сам пошел в участок и убедился, что задержанный и отпущенный был тот самый человек. Наверное, фотокарточку показали. Но он в полиции ничего не сказал, а с ней порвал!

Он же все-таки был мужчина. А желтоглазый его унизил. Я забыл сказать, что, когда он с маузером вошел в каюту, он сперва отнял у капитана пистолет. При любимой женщине отбирает оружие! Настоящий мужчина такое не забывает! И теперь, конечно, она, сделав вид, что не узнала его, фактически предала капитана. Так получается, если со стороны капитана посмотреть. И он с ней порвал!

В следующий заход «Цесаревича Георгия» капитан не вышел на берег, а вахтенный матрос не пустил ее на борт. Бедная, бедная, чуть с ума не сошла! Когда пароход отошел, она бросилась в море, и боцман пристани вытащил ее еле живую! Откачали!

Тут рассказчик взглянул на рыбака и, что-то вспомнив, сказал:

— Ах, вот откуда ты взял, что девочка упала в море! У вас все перепутали. Ограбление парохода, женщина в море, странный революционер!

— Килянусь детьми, как слышал, так и рассказал! — ответил рыбак и положил обе руки на сердце.

Компания выпила еще по стакану вина и закусила. Человек в белом чесучовом кителе вышел из дому вместе с женой и детьми. Распорядитель подскочил к нему и, широким жестом указывая на столы, пригласил садиться.

Тот кивнул ему, а потом, повернувшись к фээтонам, что-то сказал распорядителю. Распорядитель ринулся через двор, издали рукой показывая фээтонщикам, чтобы они сейчас же шли к столам. Те мгновенно его поняли и вошли во двор.

Человек в белом чесучовом кителе и маслянисто сверкающих сапогах благодушно и важно приближался к столам. Отвечая на приветствия, он кивал во все стороны. Он выбрал пустое пространство возле Чика. Расселись. Рядом с Чиком хлопнулся сын, дальше скрипнул стулом глава семьи, дальше его жена и дочка. В Чике шевельнулось и ожило его старое любопытство к богатым.

— Арутюнджан, хорошо выглядываешь! — крикнул какой-то человек и восторженными глазами посмотрел на белый китель.

— Тьфу, тьфу, не сглазить, — ответил тот и, приподняв скатерть, постучал по деревяшке стола, — еще один пятнадцать лет вот так хочу. Больше не надо!

Растопырив руки, он погладил себя ладонями по широкой груди и посмотрел во все стороны, давая всем оглядеть свою ладную, плотную фигуру, которую он хочет сохранить в таком виде ровно пятнадцать лет.

— Еще пятьдесят лет, Арутюнджап! — щедро выбросив вперед руку, предложил ему тот, как бы в благодарность за внимание к его словам.

— Не, не, не... Еще один пятнадцать лет! — повторил свои условия белый китель и, похлопывая себя по широкой груди, дал всем оглядеть свою ладность. — Больше не хочу!

После этого он плеснул себе в тарелку лобио, налил вина и выпил за упокой души умершей.

— Бедный князь, — вздохнула его жена, оглядываясь на князя, — как он ее любил! Говорят, он ее перед смертью носил на руках по этому двору. Она проталкалась с жизнью... Ты минэ никогда не носил на руках!

— Ты начини умирать, — спокойно предложил человек в белом кителе, окуная лаваш в лобио и отправляя его в рот, — я тебя от Мухуса до Еревана на руках пронесу!

Ты посмотри, подумал Чик, оказывается, богатые мясники иногда бывают остроумными. Чик всегда проверял остроты, которые слышал или вычитывал из книг. Как сливки в молоке, так и смешное в человеческом языке самое вкусное. Так считал Чик.

Он оглянулся на маленького, одинокого князя, жалея его и радуясь его силе. Он представил, как маленький князь носит на руках статную тетю Циалу, иногда пригибаясь, чтобы дать ей понюхать цветы. Наверное, у него железные мускулы, подумал Чик, только не видно под одеждой.

Девочка, сидевшая напротив него, сейчас уставилась на нового мальчика. Тот, еще садясь за стол, окинул глазами Чика, явно вспомнил, что недавно обыграл Чика, но его равнодушные глаза ничего не выразили, кроме скуки.

Чик считал, что в таких случаях тот, кому повезло, должен хотя бы взглядом выразить некоторое сочувствие. Мол, игра есть игра, мол, сегодня я у тебя выиграл, а завтра, может, ты у меня выиграешь. Нет, смотрит, как будто ничего не случилось!

А девочка все сияла подсолнухом своего лица и ерзала, пытаясь обратить на себя внимание этого мальчика. Конечно, Чик сам ее первый забросил, до того ему было интересно узнать историю «Цесаревича Георгия». Но теперь ему стало немного грустно. Ну отвернулся от нее во время рассказа, ну и что? Лопай себе соленые помидоры, пей лимонад! Кто тебе мешает? Глупая! Из всего рассказа только и поняла, что веснушки на руках! Но чьи, чьи веснушки, если б ты знала!

Чик всегда считал, что жизнь прекрасна, но с верными людьми и раньше бывало туговато. Сейчас эта девочка те же самые гримасы, которые дарила Чику, стала направлять на этого мальчика. А он попивал лимонад, даже не глядя на нее.

— Вы и обратно на фэзтонах поедете? — наконец спросила она.

— Ага, — буркнул мальчик.

— На обоих?

— Ага, — буркнул мальчик.

Ужимочки, ужимочки, ужимочки. И так, словно Чика здесь нет. Чик поразился такому прямо-таки мошенническому использованию ужимочек. Ну ладно, тебе теперь интересно приманивать другого мальчика. Так давай, для другого мальчика выдумывай другие ужимочки! Нет, на глазах у Чика нахально пускает в ход те же самые!

— А я знаю тебя, — сказала девочка.

— Откуда? — холодно спросил мальчик.

— Ты лучший велосипедист третьей школы, — улыбнулась девочка, — разве нет?

— Не только третьей, — немного смягчившись, ответил он и повернулся к Чику: — Сыграем?

— А разве можно здесь играть? — удивился Чик.

— Да не здесь, балда, а на улице, — проговорил мальчик вполголоса и, оглядывая Чика холодными, бесстрашными к проигрышу глазами, добавил: — Сразу кинем по рубчику?

Чик отрицательно покачал головой. Ему неохота было играть, да и рубля у него не было. И вдруг он услышал над собой голос тетушки:

— Чик, ты здесь? Нам пора! Твой дядя придет обедать, а нас нет! Нельзя, нехорошо огорчать дядю! Пойдем, Чик, пойдем!

Чик и не собирался оставаться. По голосу тетушки Чик понял, что смерть подружки освежила в ней любовь к своему мужу. По разным причинам такое случалось и раньше. Теперь она несколько дней будет ласково жужжать, жужжать, жужжать вокруг него, а потом соскучится и ужужжит в сторону новых развлечений.

Чик встал и кинул беглый взгляд на девочку. Подсолнух замер, словно не понимая, где тут солнце, а где луна. Чик пошел.

— Разве это Чик? — услышал он сзади ее голос.

— Ну, Чик, ну и что? — сказал мальчик. — Я его недавно как фрайера обчесал!

Больше Чик ничего не услышал. Они с тетушкой вышли на улицу.

— Бедная Циала, — вздохнула тетушка и добавила знакомым Чику по раздольным чаепитиям голосом: — Ох и наплакалась я вдосталь!

Каблучки ее бодро застучали по тротуару. Чик задумался.

## Чик и лунатик

Красная звезда стояла в небе. Иногда, словно пробуя привязь, она вздергивалась и стремительно прорезала синеву, но через мгновение вдруг замирала и победно парила на месте. Вытянутый красный хвост подрагивал и посверкивал на солнце.

Этого змея, сделанного в виде красной звезды, запустили в небо два десятиклассника — старший сын доктора Ледина и старший брат Анести. Сейчас они, стоя рядом, гордо, как на плакате, смотрели в небо. Сын доктора держал в руке катушку. Рядом толпились Чик и его ровесники.

Змей, сделанный из красной материи в виде красной звезды, казался Чику чудом техники. Чик умел делать змея, но только из газетной бумаги и в виде четырехугольника. А тут красная звезда парит в небе!

— Пошлем «телеграмму», — важно сказал брат Анести и вытащил из кармана блокнот. Он вырвал из него один листик, надорвав со всех сторон, округлил, сделал внутри дырочку и наизил бумажку на нить, уходящую в небо.

Бумажка трепыхнулась и пошла вверх, мгновениями раздумчиво останавливаясь, словно набирая силы, и снова скользя в небо. И это было удивительно. Какая сила подымает листик? Почему, если просто так подбросить такой же листик, он поколыхается, поколыхается и падает на землю? А этот идет вверх и вверх. Почему? Чик не мог понять.

Он слышал, что существуют восходящие и нисходящие потоки воздуха, и готов был согласиться, что листик подымают восходящие потоки. Но почему, почему листик всегда попадает на восходящие потоки и никогда на нисходящие? «Телеграмма» ни разу не возвращалась.

— Чик, — окликнул его в это время Бочо, — подойди ко мне.

Бочо пришел со своей улицы и теперь стоял в тенечке напротив компании, запускающей змея. Чику не хотелось отрываться от «телеграммы». Он взглянул на Бочо и сказал:

— Подойди ты!



Чик снова поднял голову. Уже мерцающий клочок белой бумаги шел и шел в сторону звезды.

— Подойди, Чик, дело есть! — снова крикнул Бочо.

Чик взглянул на него, удивляясь его упорству. Бочо сделал руками таинственные знаки, показывая, что владеет тайной, которой нельзя поделиться при свидетелях. Чик, переходя на его язык, показал руками, что ему очень интересно досмотреть, как «телеграмма» дойдет до змея.

Бочо, презрительно махнув рукой, сделал вид, что сплюнул, и даже растер ногой невидимый плевок, показывая, что и запущенный змей, и «телеграмма» — все это полная ерунда по сравнению с тайной, которой он хочет поделиться.

Чик еще раз взглянул на небо и подошел к Бочо.

— Ну что? — спросил Чик.

— Ну что, ну что! — засопел Бочо. — Пойдем сядем на крыльцо, и я там все расскажу.

Он кивнул на толпящихся ребят, давая знать, что новость, о которой он собирается рассказать, не терпит случайных ушей. Чик понял, что дело нешуточное. Они молча отошли к парадному крыльцу Богатого Портного и сели на прохладные ступеньки.

— Чик, — взволнованно засипел Бочо, — мы вчера с одним пацаном с нашей улицы ходили ночью вырезать бамбуковые удилица.

— Где? — спросил Чик.

— Ты не знаешь, — сказал Бочо, — на Беслетке. Туда только на лодке можно подойти. Со стороны улицы собака привязана.

— Ну и что?

— Послушай дальше, потом будешь нукать. И вот мы подошли к берегу, возле которого заросли бамбука. Привязали лодку — и в заросли. А дальше там дом стоит. Вроде вашего, двухэтажный. И вот мы выбрали себе два бамбука и вырезаем. Вдруг из дому какая-то музыка раздается. Но я даже не слушал. Подумаешь, музыка! А этот пацан с нашей улицы стал бить меня в бок, как малахольный. «Ты что, — говорю, — очумел?» — «Тише, — говорит, — сейчас лунатик появится». — «Где?» — говорю. «На крыше!» — говорит и снова толкает меня в бок. И, Чик! Я чуть не умер! Он появился, Чик!

— И что? — спросил Чик, чувствуя, что у него волосы на затылке заинтересованно ожили.

Ребята, следившие за змеем, радостно завопили. Чик понял, что «телеграмма» дошла. Но сейчас ему было неохота смотреть ни на змея, ни на «телеграмму».

— Он появился на крыше весь в белом, Чик!

— В белом ходили привидения, и то до революции, — поправил его Чик, — разве лунатики ходят в белом? Может, он был в пижмей рубашке и в кальсонах?

— Нет, Чик! Весь в белом, как курортник на бульваре!

— Ну а дальше что?

— Он прошел по краю крыши, а потом пропал.

— Как пропал? — спросил Чик, недовольный, что лунатик так быстро исчез.

— Он зашел за дерево. Там внизу растет дерево, и ветки в том месте нависают над крышей. Он слез с крыши на балкон второго этажа.

— По ветке, что ли?

— Не знаю, Чик. Но он слез с крыши и через балкон зашел в дом. Его из дому эта музыка приманила.

— Как так музыка приманила?

— Точно, Чик, приманила! Он идет по крыше, а она его приманивает. Он идет, а она его приманивает. Он так и идет на музыку!

— А потом что?

— А потом, когда он уже вошел в дом, приманивать его было незачем. И музыка кончилась. Приманила! Этот пацан, с которым я ходил срезать удилица, говорит, что за лето он уже три раза видел, как лунатики гуляют по этой крыше...

— В одном доме столько лунатиков! — удивился Чик. — Они что, стараются в одном доме жить?

— Если б из одного дома, Чик, — горестно вздохнул Бочо, — я бы даже не стал рассказывать тебе об этом. В том-то и дело, что они совсем не из этого дома, Чик!

— Откуда же они? — удивился Чик. Он до сих пор считал, что лунатики гуляют по крыше собственного дома. Оказывается, у них есть любимые крыши, где они встречаются и молча прогуливаются.

— В том-то и дело, что там рядом военный санаторий, Чик! Чуешь? Военный!

Чик почувствовал, и у него мурашки пошли по спине. Приближалось коварство врага, но Чик еще не знал, почему им выгодны лунатики.

— А разве военные бывают лунатиками? — спросил он.

— Еще как бывают, Чик, еще как! Это шпионская квартира. Они лунатской музыкой приманивают военного из санатория. И он по крыше к ним сходит. А они у него выпытывают тайны и отпускают: теперь иди! Лунатик как загипнотизированный. Он говорит все, о чем спрашивает шпион.

— А разве бывает лунатская музыка? — спросил Чик, потрясенный и все-таки стараясь изо всех сил держаться здравого смысла.

— Есть, Чик! Какой-то немец составил. Пацан, с которым я срезал удилице, в музыкальную школу ходит. Он все про музыку знает. Они все время играют одну и ту же музыку. Лунатскую. Приманят военного лунатика, узнают у него военную тайну и отпускают: теперь иди!

— А почему они свет гасят? — спросил Чик, стараясь изо всех сил держаться здравого смысла.

— Я и это разгадал, Чик! Я все время о них думал. Они гасят свет и начинают допрашивать лунатика. На всякий случай. Лунатики иногда неожиданно просыпаются. И если они будут допрашивать его при свете, он проснется и может их запомнить в лицо. А потом где-нибудь на базаре или на улице встретит и разоблачит. А так, проснулся в чужой квартире, кругом темно. «Где я?» — говорит лунатик. «Вы в чужую квартиру залезли. Уходите, а то милицию позовем!» Лунатику стыдно. Он же знает, что сам не свой. Он к балкону. А они ему: «Куда? Вон двери!» И он выходит. Вот как они действуют, Чик! Пойдем заявим на пограничаству!

— Я сначала должен все увидеть своими глазами, — сказал Чик.

— Так пошли, Чик! Сегодня тоже будет лунная ночь, если тучи не напозаут.

— Нет, не напозаут, — сказал Чик, взглянув на небо.

— Пойдем, — сказал Бочо, — только надо достать бутылку вина.

— Для чего? — удивился Чик.

— Сторожу-лодочнику надо дать, — сказал Бочо, — думаешь, он бесплатно отпускает на лодке?

Чик вспомнил, что наверху у тетушки в зале рядом с письменным столом на тумбочке стоит бочонок с вином. Когда приходят гости, кто-нибудь из домашних вытягивает шлангом из бочонка в графин вино и угощает гостей.

— Бутылку вина я достану, — сказал Чик.

— Вот и хорошо! — обрадовался Бочо. — Ты можешь

в десять часов вечера тихо выйти из дому, чтобы родители не знали?

— Да, — кивнул Чик, — ровно в десять часов жди меня под этим балконом.

Чик кивнул на тетушкин балкон. Он решил заночевать у тетушки. От тетушки улизнуть будет легче, чем из дому от мамы. Чик это точно знал.

— Я тебе свистну, — сказал Бочо, — только никому ни слова. Вспугнуть могут.

— Могила, — сказал Чик и встал, — значит, до вечера?

— До вечера, — согласился Бочо и пытливо взглянул в глаза Чика, — а ты не мандражишь, Чик? Что мы будем делать, если лунатик опять спустится к шпионам?

— Там видно будет, — сказал Чик, — приходи под наш балкон.

— Хорошо, — сказал Бочо и пошел к себе домой.

Чик посмотрел на ребят, глазающих на небо, и удивился, что можно заниматься такими пустяками, когда шпионы чуть ли не каждую ночь потрошат наших военных лунатиков.

Надо заняться вином. Чик вошел во двор и поднялся на второй этаж. Сумасшедший дядюшка Чика стоял на верхней лестничной площадке и, не сводя глаз с кухонной пристройки, где возилась его любимая тетя Фаина, распевал свои песенки. Бабушка сидела рядом на скамеечке и перебирала четки. Чик зашел на веранду. Тетушка ее сейчас подметала.

Он прошел в столовую, оттуда в залу, где возле письменного стола на тумбочке громоздился пузатый бочонок с вином. Легкий резиновый шланг был накинут на бочонок.

Надо было действовать быстро и решительно. Тетушка еще минут пятнадцать будет подметать веранду. За бабушку и дядю Колю можно было не беспокоиться. Бабушка подолгу любит сидеть на солнце, перебирая четки, а дядя, если уж тетя Фаина у себя на кухне, так и будет петь и поглядывать туда.

Чик вошел в столовую и вынул из буфета пустую бутылку. Нашарил в ящике с вилками и ложками пробку. Вставил в бутылку. Подошла. Чик снова перешел в залу и подошел к бочонку. Рядом с бочонком стоял стул. Чик открыл бутылку и поставил ее на стул. Потом открыл втулку бочонка и сунул туда конец шланга. Другой конец взял в рот. Чик тысячи раз видел, как

это делают взрослые, но сам никогда не вытягивал вино из бочонка.

Он никогда не мог понять, какая сила заставляет вино подыматься вверх по шлангу. Он понимал, почему со вздохом подымается первая струя вина. Это как восходящий поток. Но почему потом, нарушая закон о сообщающихся сосудах, вино продолжает идти вверх по шлангу, он не понимал. Это тоже было маленьким чудом.

Чик был равнодушен к вину, но делал вид, что презирает его, потому что взрослым это нравилось. Взрослые слегка гордились надежным презрением Чика к вину. Старший брат Чика уже несколько раз тайно пробовал вино, и ему за это попадало. Тем более домашние гордились стойким презрением Чика к вину.

Чик втянул несколько раз воздух из шланга и вдруг почувствовал, что рот наполнился прохладным вином. Он быстро сглотнул его и вставил кончик шланга в бутылку. Вино мягко полилось. Чик прислушался к действию проглоченного вина. Никакого действия не было. Вино было, пожалуй, повкуснее воды, но похуже лимонада.

Вдруг вино перестало литься в бутылку. То ли Чик не так шевельнул шлангом, то ли с запозданием задействовал закон сообщающихся сосудов. Чик снова взял в рот кончик шланга и изо всех сил втянул воздух. Снова рот его наполнился прохладой вина, он пару раз глотнул его и сунул конец шланга в бутылку. Вино снова полилось мягкой, бесшумной струей и наполнило бутылку.

Чик осторожно приподнял шланг и вытянул его из бочонка. Конец шланга, побывавший в бочонке, был красным, как гусиная лапа. Все время прислушиваясь к веранде, он тщательно вытер о штаны этот конец, накиннул шланг на бочонок, заткнул его втулкой, а бутылку пробкой.

После этого он взял бутылку, подошел к кровати дяди Ризы и сунул ее под матрац. Дядя Риза был в командировке, и Чик собирался сделать вид, что будет спать на его кровати. От мамы сбежать было трудней. Только Чик сунул бутылку под матрац, как в столовой скрипнула дверь и тетушка загремела у буфета посудой.

— Чик, почаевничаем? — спросила она, не видя Чика, но зная, что он здесь.

Тетушка много раз в день чаевничала и кофейничала.

— Хорошо, — сказал Чик, и ему вдруг стало ужасно весело, — сначала почаевничаем, а потом повиновничаем.

Он сам не знал, почему он так сказал. Просто ему стало ужасно весело оттого, что он так все ловко проделал.

— Я не поняла, что ты там сказал, Чик? — спросила тетушка.

Чик стало ужасно весело оттого, что он так ловко набрал вино в бутылку и так вовремя успел ее спрятать. Он подошел к бочонку с вином, несколько раз поощрительно похлопал его ладошью, а потом шлепнулся рядом на стул и запел бодрую песню:

Утро красит нежным светом  
Стены древнего Кремля.

Чик всюду распелся не хуже своего дядюшки. Ему было весело оттого, что все так хорошо получилось.

Тетушка, удивленная его пением, вошла в залу. Она еще больше удивилась, увидев его поющим рядом с бочонком.

— Чик, почему ты уселся здесь и поешь? — спросила тетушка, заподозрив, что близость бочонка как-то поощрила его петь.

Чик стало еще веселей. Он продолжал петь. Тетушка подошла и, наклонившись к бочонку, приподняла шланг. Внимательно рассмотрела его. Нет, шланг сухой.

Чик распелся всюду. Тетушка склонилась над бочонком и стала внюхиваться во втулку, думая, что утечка винных паров могла подействовать на Чика. Нет, вроде утечки тоже не происходит.

— Не морочь голову, Чик, — сказала тетушка, словно стряхивая неприятность минутного недоумения, — пошли пить чай!

Быстрой, легкой походкой, словно продолжая стряхивать минутное недоумение, она ушла на веранду. Чик допел и пошел пить чай. За чаем он вдруг с удивлением подумал: что это на него нашло? Как это он, забыв об осторожности, запел возле бочонка? Надо же дойти до такой глупости!

Вечером он сказал маме, что останется ночевать у тетушки. После чая все уселись играть в лото. Чик не стал играть. Часов с девяти он стал клевать носом, но взрослые, увлеченные игрой, заметили это только через полчаса. Тетушка, не отрываясь от игры, предложила ему лечь на кровать дяди Ризы. Чик как бы неохотно встал и пошел. Обычно он старался ложиться вместе со взрослыми.

— Чик такой, — сказала тетушка ему вслед, — или целыми днями читает, или убегается до смерти.

Чик прошел в залу, где уже спала бабушка на своей высокой кровати, а дядя Коля, лежа, всюю распевал свои песенки. Чик снял сандалии и, не раздеваясь, лег на кровать.

— Тюри! Тюрих! Тюри! Тюри! Тюм-пам-пам!

Всюю распелся дядюшка, изредка прерывая свое пение и поглядывая на Чика, чтобы вовремя перехватить его попытку подбросить ему кошку, стащить брюки или еще что-нибудь в этом роде.

Чик сейчас сожалел, что иногда дразнил дядю. Теперь тот не будет выпускать его из виду. Это затрудняло выход на балкон, откуда Чик собирался спуститься к Бочо. Сначала спустить бутылку, для этой цели он запасся шпагатом, а потом спуститься самому. Если прямо пройти на балкон, то дядя рано или поздно подымет тревогу. Умственных сил его хватало на то, чтобы сообразить: вышедший на балкон должен вернуться с балкона.

Можно было туда проползти. Но если бы дядя заметил ползущего Чика, он обязательно поднял бы шум, думая, что Чик что-то затеял против него. Чтобы усыпить его бдительность, Чик не отвечал на его взгляды, когда тот, прервав пение, оглядывался, стараясь разглядеть его в полутьме. Чик не шевелился и делал вид, что заснул.

Наконец раздался осторожный свист Бочо. Чик тихо встал с кровати, сложил одеяло такими складками, чтобы казалось, что под ним находится человек, сел на пол, надел сандалии, застегнул пряжки, вытащил бутылку из-под матраца и пополз к балкону.

Пока он полз, дядюшка дважды прерывал пение и вглядывался в кровать, где должен был лежать Чик. Чик в это время замирал на полу. Дядюшка принимался петь, и Чик полз дальше, стараясь не стучать бутылкой.

Он выполз на открытый балкон, завернул так, чтобы его из зала не было видно, и выпрямился. Бочо стоял под балконом и ждал его. Чик вынул из кармана шпагат и привязал его к горлышку бутылки. Подставив под бутылку ладонь, другой рукой тряхнул ее — узел крепко держал бутылку. Оглядел улицу, убедился, что она пустая, и спустил бутылку на руки Бочо. Бочо поймал бутылку, и Чик бросил шпагат.

Чик перелез через перила балкона и вышел на кар-

низ. Это было очень трудное место. Надо было пробираться, цепляясь за карниз и сильно нагнув голову, чтобы из окна ее не было видно. Если бы дядюшка увидел в окне какую-то голову, он поднял бы шум, думая, что это вор.

Умственных сил его хватало на то, чтобы понять — в мире есть воры. Вернее, его научили бояться воров, сам бы он не догадался. Пройдя окно, Чик выпрямился и спустился на козырек парадного входа, а оттуда легко сошел на землю.

Они быстро пошли по пыльной немощеной улице. Бочо спрятал бутылку за пазухой и снаружи придерживал ее одной рукой, как будто у него под рубашкой голубь.

Над городом стояла огромная луна. Слева от луны застенчиво мерцала одинокая звезда. Из окон, с балконов, а нередко и с крыш домов доносились то арии классических опер, то джазовая музыка. В Мухусе входили в моду приемники, и владельцы их, кто от широты души, а кто желая похвастаться, старались так установить свои приемники, чтобы как можно больше людей слушали музыку. Два-три раза, пока они шли через город, из приемников вдруг вырывался голос Гитлера, грозно проклинаящий и Чика, и Бочо, и все человечество. Так казалось.

— Стой! Стой! Опять! — шептал Чик, услышав голос Гитлера. Чик знал, что подлый голос Гитлера как бы запрещено слушать, и в то же время знал, что считается как бы молодчеством послушать этот голос две-три секунды. Включить и выключить — нырнуть и вынырнуть из темного омута. Тоже интересно.

— Чик, когда же будет война с Гитлером? — спросил Бочо. По голосу его видно было, что он теряет терпение.

— Будет, будет, — успокоил его Чик.

Взрослые говорили, что войны может и не быть. Но Чик, как и большинство ребят, был уверен, что война должна быть и будет. Было как-то обидно и неприятно, что Гитлер живет и живет на свете. А как ты его уничтожишь без войны? На революцию в Германии Чик уже не надеялся. Даже взрослые перестали о ней говорить.

Они вышли к морю, и теперь луна стояла над морем. Было тихо. На Собачьем пляже вода еле-еле плескалась о берег. У пристани стоял теплоход «Абхазия» весь в электричестве, как праздник. Они дошли до устья Бес-



летки, открыли калитку и вошли на территорию лодочного причала.

Вода реки была мутно-желтая. Видно, в горах прошел ливень. Обычно она была спокойная, но сейчас казалась грозной и опасной. Они пошли вдоль реки и дошли до мостиков лодочного причала. Привязанные цепами и веревками, лодки стояли у причалов. В лунном свете они казались странно пустыми.

— Это ты, Бочо? — вдруг раздался хриплый голос.

Чик обернулся. В глубине причала темнел навес, где громоздились перевернутые лодки.

— Да, дядя Юра, — сказал Бочо.

Пожилой небритый человек в тельняшке заковылял из-под навеса, издали свирепо всматриваясь в Чика. Чик заволновался. Ему хотелось, чтобы Бочо поскорее вытащил бутылку, но Бочо ее не вытаскивал. Скрипнув деревяшкой протеза, человек ступил на мостик причала и приближался, свирепо всматриваясь в Чика.

— А это кто? — кивнул он на Чика.

— Это Чик, мой товарищ, — сказал Бочо и наконец вытащил бутылку из-за пазухи, — он достал.

Сторож взял протянутую бутылку, небрежно выдернул пробку и хищно запрокинул ее над головой. Отсосав несколько глотков, он со шлепнувшим звуком оторвал бутылку ото рта.

— Вот это, я понимаю, вино! — сказал он и потеплевшими глазами взглянул на Чика. — Гудаутское?

— Да, — кивнул Чик со скромной гордостью.

Бочо тоже явно взбодрился и, подойдя к краю причала, спрыгнул в одну из лодок.

— Оставь «Диану», — прохрипел сторож.

— Почему? — обернулся Бочо. — Мы же на ней вчера ходили?

— Перелезай на «Оленя», — кивнул сторож, — у него ход легче.

Чик почувствовал, что это прибавка за хорошее вино. Сторож укочивлял с бутылкой в темноту навеса и вышел оттуда с веслами. Бочо перелез на «Оленя». Скрипнув протезом, сторож наклонился над краем причала и передал весла Бочо. Тот быстро и умело вдел их в ключицы. Сторож схватился за веревку и притянул лодку.

— Прыгай! — сказал он Чику.

Чик спрыгнул на переднюю банку и хотел пройти на корму, но сторож его остановил.

— Сиди там, — прохрипел он, — будешь следить,

чтобы не папоротья на корягу или бревно. Если попадется хорошая доска, тащите в лодку.

Он отмотал веревку от крюка, вбитого в причал, и кинул ее в лодку. Потом, присев на корточки и ловко вытянув ногу с протезом, оттолкнул лодку от причала. Она прошла между другими лодками и стала разворачиваться по течению. Бочо повернул ее носом против течения и стал грести. Сторож, не глядя на них, ушел в темноту.

Они плыли по мутно-желтой реке, озаренной луной. Было тихо. Иногда перелаяивались собаки с одного берега на другой. Чик следил за поверхностью воды, чтобы не прозевать какую-нибудь корягу. Бочо старался не выходить на середину реки, потому что там течение было быстрее и грести против него было труднее.

Они прошли под ивами, свисающими над рекой тихим, голубеющим в лунном свете водопадом. Ветки шелестели и нежно, как руки сестры, щекотали затылок Чика. Чик хотелось, чтобы ивы никогда не кончались. Но они кончились, и лодка подошла к Красному мосту. Они прошли под мостом, и гул машин, пробегающих сверху, колотил по голове.

Вскоре впереди показалась полянка, где вокруг костра в просвечивающихся лохмотьях стояли и сидели беспризорные мальчишки. Один из них только что раздобыл гуся на противоположном берегу. И сейчас голый, вместе с гусак, под радостные вопли друзей бросился в воду. Гусак встрепенулся в воде и, брызгая крыльями, пытался улететь. Но мальчик, крепко держа его за одну ногу, плыл к своим. Гусак, громко хлопая крыльями, рвался от него. Казалось, не мальчик плывет с гусак, а гусак тащит мальчика через реку.

Проплывая мимо компании беспризорных, Бочо на всякий случай выгреб на середину реки. Но беспризорные окружили мальчика с гусак, когда тот вышел на берег, и не обратили внимания на лодку. Вернее, один из них погрозил им вслед кулаком, но они уже были на безопасном расстоянии.

Бочо продолжал грести без передышки. Чик всматривался в мутно-желтую поверхность реки. Несколько раз видел проплывающие коряги, но они проплывали в стороне. Вдруг Чик увидел на реке большой черный предмет. Покачиваясь на воде, он приближался.

— Бочо! Бочо! Что-то плывет! — крикнул он.

Бочо обернулся. Черный предмет приближался и при-

нимал очертания маленького домика с плетеными стенами.

— Собачья будка, что ли? — проговорил Бочо. Он смотрел, обернувшись и в то же время медленно и осторожно подгребая веслами, чтобы не столкнуться с этим странным предметом.

— Курятник! — первым догадался Чик.

Такие плетенки-курятники с крышей, покрытой дранью или папоротниковой соломой, он часто встречал в Чегеме. Курятник медленно проплыл мимо лодки. Мелькнули в дырочках плетенки тени кур. Когда курятник заплыл за лодку, они увидели в открытой дверце белого петуха. Он удрученно посматривал вокруг.

— Чик, — вдруг заорал Бочо, — погнались за курятником! Завтра на базаре загоним! Сколько денег будет, Чик!

Он уже хотел развернуть лодку. Чика всегда поражали такие переходы.

— Ты что! — крикнул ему Чик и добавил язвительно-отрезвляющим голосом: — Будем кур ловить или шпионов?!

— Но, Чик... — пробормотал Бочо, однако, вздохнув, налег на весла, — беспризорные перехватят.

— Может, не перехватят, — сказал Чик, — они сейчас гуся будут жарить.

Бочо замолчал и стал усердно грести.

— Здесь, — наконец сказал он и повернул лодку к берегу. Лодка закрипела килем о песчаное дно и остановилась. Чик спрыгнул на берег. Следом Бочо. Взявшись за веревку, они немного вытянули лодку и привязали к бамбуковому пню.

Бочо и Чик вошли в бамбуковую рожицу. Они прошли метров десять между многолетними стволами пожелтевших бамбуков и вышли к мелким зарослям молодняка.

Бочо кивнул на дом, стоявший метрах в сорока от них. Это был белый двухэтажный дом с оцинкованной и сейчас голубеющей под луной крышей. В нескольких окнах горел свет. Бочо показал рукой на левый край дома. Там стояла большая шелковица. Сквозь ее крону смутно виднелся балкон и распахнутое окно. Горел свет.

— Там, — кивнул Бочо.

Они стояли под бамбуковыми кустами и ждали. Грустно пели цикады. Чик почувствовал, что начинает все больше и больше волноваться.

— Чик, если сегодня опять придет лунатик, что мы будем делать? — шепотом спросил Бочо.

— Пойдем на погранзаставу, — ответил Чик, — и там все расскажем.

Было тихо-тихо. Одинокое пели цикады. Чик почувствовал, что все больше и больше волнуется. Стараясь не выдавать своего волнения, он внимательно обшарил глазами кусты бамбукового молодняка. Оглянулся на рощицу. Если там, в доме, подумалось Чик, занимаются шпионскими делами, они могут выставлять одного человека, чтобы проверять, следят за ними или нет.

— Чик, — шепнул Бочо, словно угадав его мысли, — а вдруг кто-нибудь из них сейчас следит за нами?

— Нет, — сказал Чик уверенным голосом, — этого не может быть.

Он так сказал, чтобы успокоить Бочо. Чик не любил паники. Было тихо-тихо. Пели цикады. Изредка где-то за домом протарахтит машина, и снова тишина.

— Чик, — взволнованно прошептал Бочо, — мне один пацан рассказывал, что у китайцев есть такая казнь. Привязывают человека в бамбуковых зарослях, а там сквозь него прорастает бамбук. Представляешь, Чик? Сквозь живого прорастает!

Чик стало не по себе. Но он взял себя в руки, чтобы взбодрить Бочо.

— Это сказки, — ответил Чик и, кивнув на дом, добавил: — Они же не китайцы.

— Нет, Чик, это не сказки, — шепотом горячился Бочо, — ты лежишь, а сквозь тебя прет и прет бамбук! Знаешь, как он быстро растет? За день прорастет тебя насквозь! А кричать невозможно, потому что во рту кляп.

Бочо протянул руку и вдруг положил ладонь на грудь Чика. Чик от неожиданности вздрогнул. Даже волосы вздрогнули у него на затылке.

— Не имей привычки лапать! — шепотом выругался Чик и отбросил руку Бочо.

— Я хотел посмотреть, как у тебя бьется сердце, — виновато сказал Бочо.

И вдруг из дому раздалась музыка.

— Началось, Чик, началось! — шепнул Бочо и больно впился пальцами в руку Чика.

Они замерли, прислушиваясь к музыке и не сводя глаз с крыши дома. Они смотрели, смотрели, а музыка играла, играла, выманивала, вымапивала — и наконец

выманила человека. На противоположном конце крыши появился лунатик весь в белом. Он задумчиво прошел по краю крыши и скрылся за шелковицей на другом конце. Вдруг смолкла музыка, а через минуту погас свет.

— Начался допрос, Чик, начался допрос, — засипел Бочо и снова впился пальцами в руку Чика. Чик молча отбросил его руку. Он терпеть не мог все, что напоминает панику. Сам он с ужасом представил темную комнату, в углу которой сидит резким голосом гипнотизера задает вопросы военному лунатику, а тот, бедный, сонным голосом все ему рассказывает.

Они долго смотрели в сторону окна, в темноте слившегося с кроной шелковицы, и не знали, что делать. Бежать на погранзаставу или ждать, чем это все кончится? Вдруг снова зажегся свет.

— Допрос окончился, — шепнул Бочо.

Чикун захотелось во что бы то ни стало заглянуть в это окно, чтобы узнать, что там делается. Слева от бамбуковых зарослей рос большой инжир. Было похоже, что с вершины этого инжира можно заглянуть в окно.

— Я залезу на инжир, — кивнул Чик, — посмотрю в окно.

— Не падо, Чик, не падо, — засопел Бочо, — нас отрежут от реки...

Чик махнул рукой и, низко притнувшись, выскочил из зарослей бамбука и подбежал к инжировому дереву. Чик с трудом вскарабкался до первой ветки и стал быстро продвигаться к вершине. Когда он почти докарабкался до вершины и, раздвинув листья, хотел усесться на самой верхней ветке, он увидел, что на ней стоит человек. Чик окаменел.

Это был взрослый дядя. Горбоносое лицо его, гладко выбритое и голубоватое в лунном свете, казалось злоеющим. Человек жадно смотрел в окно, куда собирался заглянуть Чик. Потом он вдруг опустил глаза и посмотрел на Чика. Взгляд его был страшен уже тем, что он ничуть не удивился Чикуну, как будто заранее знал, что притянет сюда Чика, и притянул. Не удивляясь Чикуну, он вдруг поднес палец к губам и показал, чтобы Чик молчал. Продолжая не удивляться Чикуну, он снова перевел взгляд на окно. А Чик все смотрел на него и не мог отвести от него глаз.

Это был высокий человек в желтой хорошо выглаженной рубашке с закатанными рукавами и черными брюками клеш. Чик мог, если бы решился, дотронуться до

его блестящих, хорошо начищенных черных туфель. Но он только смотрел и смотрел на него, не в силах отвести глаз.

Вдруг человек снова опустил глаза на Чика и знаками показал, чтобы Чик следил не за ним, а за окном. Чик повернул голову и увидел между ветвями шелковицы распахнутое, озаренное электричеством окно. Он увидел парня в белой рубашке, сидящего за столом. Парень ел арбуз. Чик по облику его угадал, что это тот же лунатик, только теперь он проснулся и уплетает арбуз. Чик показалось, что он еще и раньше где-то его видел, но где, он никак не мог припомнить. Вроде не на крыше, но где именно, он никак не мог припомнить.

Напротив лунатика сидела девушка в халате и, опершись на руку, уютно следила за ним. Потом лунатик что-то весело сказал и вскочил, девушка подала ему полотенце, он вытер рот и бросил полотенце ей на плечо. Девушка улыбнулась и, не спимая с плеча полотенца, подошла и поцеловала его. Они обнялись, а потом парень разжал объятия, и они скрылись из глаз.

— Сейчас выйдет, — вдруг сказал человек. Чик почувствовал в его голосе какое-то дружелюбие по отношению к себе. Чика так и обдало теплом: свой! Это переодетый пограничник следит за домом!

Уже на крыше лунатик вышел из-за кроны шелковицы и пошел назад. Дошел до края, завернул, исчез.

— Почапал домой, — вздохнул человек, стоявший над Чиком, и вдруг, протянув руку, сорвал инжир, очистил от кожуры и отправил в рот.

— Дядя, вы пограничник? — спросил Чик.

Тот перестал жевать и удивленно уставился на Чика.

— Нет, — сказал он, — я не пограничник и не сторож. Так что можешь рвать инжир. Я артист драмтеатра. А она артистка. Я из нее сделал актрису. Неблагодарная! Мы любили друг друга! Мы вместе играли «Коварство и любовь»! Нам аплодировал весь город! Вся Абхазия! Мы ездили летом по колхозам! Что это было за время! «Еще раз, Луиза!» Еще раз, как в день нашего первого поцелуя, когда ты прошптала — «Фердинанд» и первое «ты» сорвалось с твоих пылающих губ!! О! Слово прекрасный майский день, простиралась вечность перед нашими взорами, золотые тысячелетия весело проносились, словно невесты, перед нашей душой... Я был тогда счастлив! О, Луиза! Луиза! Луиза! Зачем ты так

поступила со мной? Зачем ты променяла меня на футболиста?

Он посмотрел в сторону окна, словно дожидаясь ответа. Но там никого не было. Чик понял, что все рушится, все не то, что они думали.

— Он лунатик? — спросил Чик, пытаюсь спасти хотя бы это.

— Лунатик? — презрительно удивился артист. — Он даже слова такого не знает. Пиндос! Это я стал лунатиком, пока их выследил. Она сказала, что меня уже не любит, но никого у нее нет. Так я и поверил! Все лето слежу за ними. Он приходит по крыше, потому что боится соседей. Ей стыдно! Я два года ходил в их дом, как честный человек! Тогда она мне играла «Лунную сонату», а я подходил к ней и вот так брал на руки!

Он вытянул руки ладонями кверху, слегка придвинул их друг к другу, словно показывая, как пристойно и точно он подымал ее и она никак не могла провалиться между его рук.

— И вот она теперь эту же музыку играет футболисту, чтобы дать знать — родители ушли в кино или в гости. Они строгие! Родители из дому, а этот по пожарной лестнице и оттуда к ней на балкон. Они с ума сойдут, когда узнают про футболиста! О, женщины, женщины! Как тебя зовут, мальчик?

— Чик, — сказал Чик.

— Вот так, дорогой Чик! Теперь ты будешь знать, что такое коварство и что такое любовь!

Он протянул руку, дотянулся до инжира, сорвал его, очистил и съел, внимательно поглядывая на Чика, как бы стараясь определить, достаточно ли Чик проникся его грустной историей. И вдруг так мило, дружески улыбнулся Чик.

— Я знаю артиста Левкоева, — сказал Чик, — он у нас в школе вел драмкружок.

— Левкоев неплохой актер, — сказал артист, — но я тебе прямо скажу — устарел. Так сейчас Отелло никто не играет! Провинция! Да и она, честно скажу тебе, бездарная, хотя внешние данные у нее есть. Я ее полгода учил в обморок падать. Валится, как мешок с кукурузой. А в «Коварстве и любви» несколько раз надо в обморок падать. Хотя бы один раз прилично упала! Но внешние данные у нее есть. Я из нее сделал актрису! А теперь она в руках пиндоса, весь ум которого в бутсах!

— Чик, Чик! — раздался снизу голос Бочо. — С кем ты там разбубнился? Слезай! Лунатик уже ушел!

— Это не лунатик, Бочо, — внятно сказал сверху Чик, — сейчас все узнаешь!

Чик стал быстро слезать, чтобы подготовить Бочо.

— Я к ней главрежа не подпускал, а она ушла к футболисту, — говорил сверху артист, слезая и аккуратно дотягиваясь длинными ногами с ветки на ветку.

— Тут не шпион, — сказал Чик, спрыгнув с дерева и подходя к Бочо, — тут совсем другое. Любовь!

— Какая еще такая любовь? — спросил Бочо, подозрительно оглядывая дерево.

Артист спрыгнул на землю. Он отряхнул свои черные, гладко выглаженные брюки клеш, плотнее заправил за пояс свою нарядную желтую рубашку и, опять не удивляясь появлению Бочо, спросил:

— Как вы думаете, мальчики, я достоин любви?

— Конечно, — сказал Чик за обоих.

— Тогда в чем же дело? — спросил артист, не то горько засмеявшись, не то насмешничая над горьким смехом. — Такое у меня третий раз в жизни. Я влюбляюсь в девушку, иду на сближение, всесторонне подготавливаю, и тут ее уводят. Может, от меня дурно пахнет?

— Нет, — сказал Чик поспешно и для полной убедительности сделал шаг к артисту и втянул воздух изо всех сил, — никакого запаха! Все нормально!

Артист рассмеялся и погладил Чика по голове.

— Как вы сюда попали, мальчики? — наконец спросил он.

— Мы на лодке, — сказал Чик.

— Ах, на лодке, — вздохнул артист, — мне все равно на ту сторону. Подбросьте!

Чик почувствовал, что артисту неохота оставаться одному. Они прошли бамбуковую рощицу и вышли на берег. Бочо стал молча отвязывать веревку.

— Я ее вот так на руках носил, — снова повторил артист и снова вытянул свои сильные руки ладонями кверху, проследив, чтобы они были вытянуты параллельно. По жесту его можно было понять, что предмет, который он носил на руках, был увесистый, но хрупкий.

Артист пропустил их вперед, а сам, ухватившись за нос лодки, оттолкнул ее от берега и ловко вскочил в нее. Чик сел на весла. Артист так и остался стоять на перед-



ней банке: высокий, нарядный, одинокий. Чик повернул лодку и стал грести к другому берегу. Вдруг артист задекламировал:

Как хорошо ты, о море ночное, —  
Здесь лучезарно, там сизо-темно...  
В лунном спянии, словно живое,  
Ходит, и дышит, и блещет оно...

Луна сияла вовсю, но моря отсюда не было видно,

— Кто сочинил это, мальчики, знаете?

— Вы, — догадался Чик.

— Тютчев! — восторженно поправил его артист. — Но если б даже я сочинил, она бы все равно ушла к футболисту.

Чик подумал, но так и не понял, какая тут может быть связь. Лодка толкнулась о берег. Артист продолжал стоять на передней банке. Чик опять почувствовал, что ему неохота оставаться одному.

— Я слишком люблю искусство, — сказал он задумчиво, — женщины не выдерживают это. Ладно, мальчики. Я живу на Челюскина, 12. Приходите в мою одинокую келью, я вам много чего интересного расскажу.

Он спрыгнул с лодки, помахал им рукой и исчез в тени деревьев. Чик выгреб на середину реки. Лодка легко пошла вниз по течению. Бочо немного ожил.

— Чик, по-моему, этот дядька малахольный, — кивнул он в сторону артиста.

— Нет, нет, — уверенно ответил Чик, — он добрый. Он просто скучает по ней.

— Зачем он на дерево полез, как пацан? Ты уверен, что он был не военный и не лунатик?

— Да, — сказал Чик, — это футболист. Я теперь вспомнил его лицо. У него прозвище Фундук.

— А чего он через крышу ходит, он что, псих? — спросил Бочо. — Он потом женится на этой девушке, у них родятся дети, а он так и будет через крышу ходить?

— Нет, — сказал Чик, — она сейчас боится, что соседи расскажут родителям. Они ничего не знают. Она коварная. Она им сказала, что разлюбила артиста, а то, что полюбила футболиста, не сказала. Потом скажет. Родители поругают, поругают и впустят его в дверь.

Бочо, насупившись, сидел на корме. Ему было неприятно, что все сорвалось. Луна озаряла большеглазое и большелобое лицо Бочо, обросшие деревьями берега, бесшумно струящуюся воду.

— Чик, отчего так получается, — спросил Бочо, — только набредешь на шпиона, и вдруг какая-то глупость? Какие-то родители, какой-то футболист...

Чик это и сам несколько раз испытал, но ему не хотелось разочаровывать Бочо.

— Просто нам не везет, — сказал Чик, — но когда-нибудь повезет.

— Лучше бы мы погнались за курятником, — вспомнил Бочо, — представляешь, сколько кур! Загнали бы на базаре! Сколько денег, Чик!

— А мы еще в море его можем догнать, — сказал Чик.

— Если беспризорники его не перехватили, — сказал Бочо.

— Могли не перехватить, — вспомнил Чик, — они были заняты гусем. А курятник в один миг проплыл мимо.

— Сейчас увидим, — сказал Бочо.

— А что, выйдем на лодке в море, — спросил Чик, — если беспризорники курятник не захватили?

— Нет, Чик, — подумав, сказал Бочо, — дядя Юра меня убьет, если пограничники поймают. Ночью нельзя в море выходить.

Лодка прошла мимо полянки, где сейчас перед тлеющим костром вповалку спали беспризорные ребята. Один из них проснулся и тыкал сигарку в костер. На берегу белели разбросанные перья гуся. Курятника нигде не было видно, он явно проплыл.

Вскоре они подошли к причалу и привязали лодку. Сторож спал. Бочо не стал его будить, а сам отнес весла под навес.

Они покинули территорию причала и вышли на Собачий пляж. Город опустел. Теплоход «Абхазия» ушел на Батум. Он горел на горизонте, как уходящий праздник. Несколько влюбленных парочек стояли внизу у самой кромки воды. Чик никак не мог найти глазами курятник.

— Вон-вон, смотри! — показал рукой Бочо.

Курятник стоял прямо на лунной дорожке. Потому-то Чик его не сразу заметил. До него было метров триста. Можно было доплыть. Но сейчас было страшновато входить в море. Да и куда деть на ночь кур?

Чик и Бочо договорились встретиться в пять часов утра, так же как сегодня вечером. У Бочо был будильник, и он умел его заводить. Они знали, что утром ужас-

но будет хотеться спать, но ничего не поделаешь. Позже в море выйдут рыбаки, и тогда кто-нибудь из них перехватит курятник.

— Не забудь шпагат, — сказал Бочо, когда они расставались, — надо будет курам ноги перевязать, а то как мы их донесем до базара?

Чик полез в карман. Шпагат был на месте. Расставшись с Бочо, Чик благополучно дошел до своего дома и уже под балконом услышал пение дядюшки. Чик вскарабкался на балкон и, вытянувшись на полу, дополз до кровати. Дядюшка так его и не заметил.

Чик быстро разделся и лег. Дядюшка продолжал петь. Чик смутно почувствовал, что энергия песнопения как-то связана с безумием дядюшки. Ему было уютно и сладко, продрогнув от ночной прохлады, кутаться в одеяло и мягко опускаться, планировать в сон под бесхитростную песенку дядюшки.

## Возмездие

Чик стоял рядом с дядей Алиханом, продававшим сласти у входа на базар, когда с базара вышел Керопчик с тремя друзьями. Чик сразу почувствовал, что Керопчик и его друзья очень весело настроены и что это не к добру.

Они выпили на базаре чачи, и желание повеселиться настигло их у выхода с базара. Чик это сразу почувствовал.

— Хош \* имею пошухарить, — сказал Керопчик и остановился вместе с друзьями.

Слева от входа под навесом лавки стоял Алихан со своим лотком, набитым козинаками и леденцами, а справа от входа расположился чистильщик обуви Пити-Урия.

Только что прошел дождь. Пережидая его, Чик остановился под навесом возле Алихана, но уже сверкало солнце, и Чик собирался уходить домой, когда появился Керопчик со своими друзьями.

Небольшого роста, коренастый, Керопчик посмотрел вокруг себя своими прозрачными глазами безумной козы. Сначала он посмотрел на Пити-Урию, который барабанил щетками по дощатому помосту, куда клиенты ставят ногу, но под взглядом Керопчика перестал стучать.

Керопчик перевел взгляд на Алихана и, решив, что с Алиханом ему интереснее повеселиться, подошел к нему.

Чик почувствовал тревогу, но Алихан почему-то ничего не почувствовал. Высокий, сутуловатый, он стоял над своим лотком, уютно скрестив руки на животе.

— Салам-алейкум, Алихан, — сказал Керопчик, еле сдерживая подпиравшее его веселье. Чик понял, что Керопчик уже что-то задумал. Друзья его тоже подошли к Алихану, весело глядя на него в предчувствии удовольствия. Алихан и тут не обратил внимания на настроение друзей Керопчика.

— Алейкум-салам, — отвечал Алихан на приветствие, голосом показывая неограниченность своей доброжелательности.

\* Настроение.

— Ты почему здесь торгуешь, Алихан? — спросил Керопчик, словно только что заметил его лоток.

— Разрешениям имеем, Кероп-джан, — удивляясь его удивлению, отвечал Алихан.

— Кто разрешил, Алихан?! — еще больше удивился Керопчик, подмигивая друзьям, уже корчившимся от распиравшего их веселья. Алихан и на подмигивание его не обратил внимания.

— Милициям, Кероп-джан, — отвечал Алихан, слегка улыбаясь чудаческой наивности Керопчика, — начальник базарам, Кероп-джан.

— У меня надо разрешение спрашивать, Алихан, — назидательно сказал Керопчик и легким толчком ноги опрокинул лоток. Стекло витрина лотка лопнула, и часть сладостей высыпалась на мокрую булыжную мостовую.

Керопчик и его друзья повернулись и пошли к центру города. Они шли, подталкивая Керопчика плечами и показывая ему, как это он здорово все проделал.

Алихан молча смотрел им вслед. Губы его безропотно шевелились, а в глазах тлея тысячелетняя скорбь, самая безысходная в мире скорбь, ибо она никогда не переходит в ярость.

Сердце Чика разрывалось от жалости и возмущения подлостью Керопчика и его друзей. О, если бы у Чика был автомат! Он уложил бы всех четверых одной очередью! Он строчил бы и строчил по ним, уже упавшим на землю и корчившимся от боли, пока не опустел бы диск!

Но не было у Чика никакого автомата. Он держал в руке базарную сумку и молча смотрел вслед удаляющимся хулиганам.

Алихан постоял, постоял и вдруг, опираясь спиной о стенку лавки, возле которой он стоял, сполз на землю и, сев на нее, стал плакать, прикрыв лицо руками и вздрагивая тощими сутулыми плечами.

Лавочник высунулся из-за прилавка и удивленно посмотрел вниз, словно стараясь разглядеть дно колодца, в который опустился Алихан.

— Дядя Алихан, не надо, — сказал Чик и, нагнувшись, стал подбирать леденцы и липкие от меда козинаки, сдувая и выковыривая из них соринки. Чик подумал, что если их вымыть под краном, то еще вполне можно продать. Он собрал все, что высыпалось, и вложил обратно в лоток через пролом разбитого стекла. Он отряхнул руки, как бы очищая их от медовой липкости, а на

самом деле показывая окружающим, что ничего не взял из того, что высыпалось из лотка. Он это сделал бессознательно, как-то так уж само собой получилось.

Вокруг Алихана сейчас столпились лавочники из ближайших лавок, знакомые и просто случайные люди.

— Он сказал: «Хош имею пошухарить», — рассказывал Пити-Урия вновь подходившим, — я думал, ко мне подойдет, а он прямо подошел к Алихану...

И вдруг Чик почувствовал, что по толпе прошел испуганный и одновременно благоговейный шелест. Некоторые стали незаметно уходить, но некоторые оставались, шепча вполголоса:

— Мотя идет... Тише... Мотя...

По тротуару, ведущему ко входу на базар, шел Мотя Пилипенко. Это был рослый, здоровый парень в сапогах и матросском костюме с медалью «За отвагу» на бушлате.

Год тому назад он появился в Мухусе и сразу же настолько возвысился над местной блатной и приблатненной мелкотой, что никому и в голову не приходило соперничать с ним. Считалось, что его и пуля не берет, и потому он имел прозвище Мотя Деревянный.

О его неслыханной дерзости рассказывали с ужасом и восхищением. Простейший способ добычи денег у него был такой. Говорят, он входил в магазин со своим знаменитым саквояжем, вызывал заведующего и, показывая на саквояж, тихо говорил:

— Дефицит... Закрой двери...

Заведующий выпускал покупателей, приказывал продавцу закрыть дверь и подходил к прилавку, куда Мотя ставил свой саквояж. Мотя осторожно открывал саквояж, заведующий заглядывал в него и немел от страха — на дне саквояжа лежало два пистолета.

Заведующий подымал глаза на Мотю, и тот, успокаивая его, окончательно добивал:

— Эти незаряженные, — кивал он на пистолеты, лежащие в саквояже, — заряженный в кармане.

После этого заведующий более или менее послушно вытаскивал ящик кассы и вытряхивал его в гостеприимно распахнутой Мотей саквояж. Мотя закрывал саквояж и, уходя, предупреждал:

— Полчаса не открывать...

Так, говорили, он действовал в самом Мухусе и в окрестных городках.

Чик не только слышал о Моте, но и довольно часто

видел его. Дело в том, что недалеко от улицы, на которой жил Чик, был довольно глухой переулок и в конце этого переулочка находились баскетбольная и волейбольная площадки. Между ними травянистая лужайка, на которой росла шелковица.

Мотя почему-то любил приходить сюда отдыхать. Он или спал на траве под деревом, или, опершись подбородком на руку, лениво следил за игрой, и его глаза выражали всегда одно и то же — спокойный брезгливый холод.

И глаза Моти (что скрывать!) были источником тайного восторга Чика. Чик знал, что именно такие глаза были у любимых героев Джека Лондона. Ни у одного из знакомых Чика не было таких глаз. Чик иногда украдкой всматривался в зеркало, чтобы поймать в глубине своих глаз хотя бы отдаленное сходство с этим выражением ледяного холода, и с грустью вынужден был признать, что ничего похожего в его глазах нет.

Может быть, дело в том, что глаза у Чика были темные? Кто его знает. Но до чего же Чик любил эти стальные глаза, выражающие ледяной холод или презрение к смерти. Иногда Чик думал: согласился бы он потерять один глаз, чтобы второй глаз стал таким? Чик не мог точно ответить себе на этот вопрос. С одной стороны, ему все-таки было бы неприятно становиться одноглазым, а с другой стороны, он не был уверен, что одинокий, хотя и источающий ледяной холод, глаз может производить то впечатление, которое производили глаза Моти.

Мотя, конечно, не мог не заметить восхищенных взоров Чика, когда тот издали на спортплощадке любовался им, но, разумеется, Чик с ним никогда не разговаривал, тем более на эту тему. Однажды на спортплощадке Мотя хотел Чика послать за папиросами, но Чик не успел подойти, как один из мальчиков постарше Чика выхватил у него деньги и побежал сам.

И вот сейчас Мотя, сверкая своей медалью, приближался к ним. Говорили, что он эту медаль получил не на фронте, а каким-то темным путем. Чик этому почему-то не хотел верить, хотя одновременно и восхищался дерзостью, с которой Мотя носил эту медаль, если она не заслужена...

...Мотя подходил тяжелыми шагами усталого хозяина. Поравнявшись с толпой и не понимая, в чем дело, он остановился и сумрачно оглядел толпу. Толпа раздвину-

лась, и Мотя увидел Алихана, сидящего на земле и плачущего рядом со своим разбитым лотком.

— Кто? — спросил Мотя, с брезгливым холодком оглядывая толпу. Взгляд его говорил: то, что вы не способны кого-нибудь защитить, это я и так знаю, но сделайте то, что вы можете сделать, назовите бкиовника.

Толпа несколько секунд смущенно молчала: все жалели Алихана, но никому не хотелось осложнить себе жизнь.

— Кероччик! — первым крикнул Пити-Урия, и сразу же все закивали, показывая, что это правда...

— Говорит: «Хош имею пошухаригь», — продолжал Пити-Урия, — подошел и ногой перевернул...

— Оттягивать стариков, — сказал Мотя задумчиво и, уже двинувшись, добавил: — Он у меня получит...

Так сказал Мотя, и, скользнув холодными глазами по Чику (Чик одновременно почувствовал страх и восхищение), Мотя тяжелыми шагами хозяина прошел на базар.

— Мотя, сапоги почистить?! — крикнул ему вслед Пити-Урия, но тот ничего не ответил. — Он у меня всегда чистит, — добавил Пити-Урия, оглядывая редешую толпу, — все знают...

— Дай бог мне столько здоровья, — сказал лавочник, снова высываясь из лавки и оглядывая сверху Алихана, словно удивляясь, что тот все еще не поднялся, — сколько крови потеряет Кероччик...

Чик шел домой, взволнованный всем случившимся и воодушевленный предстоящим возмездием, ожидающим Кероччика. Чик давно ненавидел Кероччика. Он ненавидел его еще с довоенных времен, о чем Кероччик, конечно, не подозревал.

В тот день Чик сидел на верхней трибуне стадиона и смотрел футбольный матч. Недалеко от него на верхней же трибуне сидел его старший брат. И вдруг он услышал, что дразнят его старшего брата.

— Мусульманил? Ислам-бек! — выпевали они гнуснейшими голосами.

Как настрадался тогда Чик в обиде за брата! И как гнусна была сама омерзительная бессмысленность этой дразнилки. Ну, предположим, то, что они мусульмане, это более или менее верно... Но при чем тут Ислам-бек?! В роду у Чика и его брата не было никакого Ислам-бека, и этот подлец об этом хорошо знал.

С каким горьким презрением поглядывал Чик на бра-



та, особенно раздражала его стрижка «под бокс», которую самое время было оправдать. Поймай и избежь их, думал Чик, ты же сильнее их, я же знаю. Но брат сидел и молчал или изредка поворачивался к ним и бросал им какие-нибудь бесплодные угрозы, которые еще больше подхлестывали их.

Все удовольствие от футбольного матча было тогда для Чика испорчено. И хотя с тех пор уже прошло много лет, а брат Чика уже давно был в армии, но, как только Чик вспоминал тот день, настроение у него портилось.

Чик сам не мог понять до конца, почему это так. Может быть, дело в том, что дразнили его старшего брата, Если бы дразнили самого Чика, было бы не так обидно. Он это знал.

Но главное все-таки заключалось в самой бессмысленности этой дразнилки, в уверенном торжестве этой бессмысленности, которая была написана на вздетом вверх на трибуны лице Керопчика, в сиянии его прозрачных козьих глаз. Он как бы говорил всем своим обликом брату Чика: вот тебе кажется, что ты давным-давно забыл о своем мусульманстве, вот тебе кажется, что Ислам-бек не имеет к тебе никакого отношения, но именно поэтому мы тебя будем так дразнить, и тебе от этого будет очень обидно.

И вот сегодня этот самый Керопчик так подло обидел дядю Алихана — и вдруг появился сам Мотя и при всех сказал, что Керопчик свое получит.

Возмездие, возмездие! Ну, теперь, Керопчик, держись! Чик по-разному представлял месть Моти. Иногда ему представлялось, что тот избивает Керопчика до полного нокаута. Иногда ему представлялось, что он ставит Керопчика на колени перед самым лотком Алихана и, велев ему так стоять весь день до самого закрытия базара, сам уходит по каким-то своим делам. Чик даже представлял, что Алихан, глядя на Керопчика своими круглыми персидскими глазами, делает ему знаки, чтобы тот стал на ноги и немного поразмялся, но Керопчик продолжает стоять в униженной позе, потому что так приказал сам Мотя, по прозвищу Деревянный, потому что его не берет ни одна пуля. Чик даже представлял себе все того же лавочника, возле которого стоял Алихан, он представлял, как этот лавочник высовывается из-за прилавка и смотрит вниз на Керопчика, как бы удивляясь непомерной глубине его падения.

В течение ближайших дней Чик лихорадочно искал

на улицах города, на базаре и в парках встречи с Мотей или Керопчиком.

Несколько раз он мельком видел Керопчика, но по лицу его никак нельзя было понять, что возмездие совершилось. Мотю он тоже дважды за это время встречал на спортплощадке и несколько раз бросал на него жгучие, тоскующие по возмездию взгляды. Но понимал ли его Мотя, Чик не мог сказать, а сам напомнить ему об обещанном возмездии не решался.

Примерно через неделю после случая с Алиханом Чик пришел в парк кататься на «гигантских шагах» и вдруг увидел здесь Керопчика. Тот сидел со своими дружками под огромной сосной и играл в «очко».

Увидев Керопчика, Чик почувствовал приступ тоски по возмездию. Он не стал дожидаться своей очереди, чтобы покататься, а тихонько вышел из парка, решив во что бы то ни стало найти Мотю.

В таком удобном виде, как сейчас, за это время он Керопчика нигде не встречал. До этого он его встречал мельком, а сейчас Керопчик сидел под сосной и играл в карты, и Чик знал, что это надолго.

Чик был так возбужден, что решил: будь что будет, но если он найдет Мотю, то обязательно напомнит ему об обещанной мести.

Первым делом Чик отправился на спортплощадку, где любил отдыхать Мотя. Спортплощадка была расположена совсем близко от парка, в двух кварталах от него. И надо же, чтобы Чику наконец так повезло! Только он подошел к ней, как увидел человека, спящего под шелковицей. Это был он. Чик был в этом уверен. Да там и не осмелился бы никто отдыхать, зная, что это место облюбовал сам Мотя.

Сердце у Чика бешено заколотилось. Он вошел в ворота спортплощадки. Он пошел по лужайке к шелковице, стараясь шуметь травой, чтобы Мотя его услышал.

Услышав эти шаги, Мотя приподнял голову, спросонья зевнул и посмотрел на Чика. Чик поздоровался с ним и, ничего не говоря, бросил на него взгляд, полный такого тоскливого напоминания, что, кажется, Мотя догадался. Во всяком случае, он еще раз зевнул и вдруг сам спросил у Чика:

— Керопчика не видел?

— Видел, — ответил Чик, едва сдерживая прихлынувший восторг, — в детском парке в карты играет.

Чик невольно, но отчасти и сознательно придал свое-

му голосу такую интонацию: ему ли после обещанного Мотей возмездия спокойно играть в карты?!

— Приведи его сюда, — сказал Мотя и, лениво вынув из кармана папиросы «Рица», закурил.

— Сейчас, — сказал Чик и, выбравшись на улицу, изо всех сил помчался к парку.

У входа в парк он остановился и отдышался. Он боялся, что Керопчик что-нибудь заподозрит и сбежит. Нельзя испугивать дичь раньше времени! Он спокойно подошел к играющим в карты.

— Керопчик, — сказал Чик, — тебя Мотя зовет...

— А где он? — спросил Керопчик, не вынимая из рта папиросы и подымая над картами свои, сейчас прищуренные от дыма, прозрачные козы глаза.

— На спортплощадке, — сказал Чик.

— А что он хочет? — спросил Керопчик.

Чик окончательно уверился, что Керопчик ничего не знает о ждущем его возмездии.

— Не знаю, — сказал Чик, — он спросил меня: «Керопчика не видел?» Я сказал: «Видел». Тогда он сказал: «Приведи его сюда».

Теперь все игравшие в карты бросили играть и прислушивались к тому, что говорит Чик.

— Ты с ним дела не имел? — спросил один из игравших.

— Никогда, — сказал Керопчик и пожал плечами.

— Ну пойдй, — сказал тот, что держал колоду, — раз Мотя зовет, значит, что-то хочет узнать.

— Я сейчас прикандёхаю, — сказал Керопчик и, сунув во внутренний карман пиджака кучу мятых денег, лежавших возле него, встал. Он отряхнулся и, плотнее заложив в брюки сбившуюся рубашку, затянул пояс.

Чик и Керопчик вышли из парка и пошли в сторону спортплощадки. Чик заметил, что Керопчик, пока они выходили из парка, шел бодро, но потом приуныл.

— А вид у него какой? — спросил Керопчик.

— Обыкновенный, — сказал Чик.

Они свернули в глухой переулочек, в конце которого была спортплощадка.

— Братуха пишет? — вдруг спросил Керопчик.

— Да, — сказал Чик и почувствовал, как что-то в нем кольнуло. Он вспомнил, что брат его и после того футбольного матча много раз мирно встречался и разговаривал с Керопчиком. Это Чик помнил обиду, но сейчас она ему показалась не очень важной.

— Хороший парень был, — сказал Керопчик про брата.

Чик промолчал.

— Не жадный, — добавил Керопчик после некоторой паузы. Они уже были совсем рядом со спортплощадкой.

Они вошли в нее. Мотя сидел на траве и ожидал их.

— Привет, Мотя! — бодро сказал Керопчик, когда они подошли. Мотя ничего не ответил и продолжал сидеть. Он даже не поднял головы. Во рту у него дымилась папироса. — Ты меня звал? — спросил Керопчик.

Мотя опять ничего не ответил, а, тяжело поднявшись и не вынимая папиросу изо рта, сказал:

— Раздевайся...

— За что, Мотя?! — удивился Керопчик.

— За... — спокойно ответил Мотя и лениво наотмашь ударил Керопчика по лицу. Голова Керопчика мотнулась назад.

— За что, Мотя?! — снова спросил он.

— За... — спокойно повторил Мотя, — раздевайся...

Чик стало ужасно неприятно. Но почему он ему не говорит, за что, подумал Чик, и, главное, почему он его раздевает?!

Керопчик молча снял пиджак и протянул его Моте. Чик вспомнил, как он небрежно впихивал деньги в карман пиджака.

— Держи, — кивнул Мотя Чик. Чик стало совсем неприятно, но возразить он не посмел. До сих пор он был свидетелем возмездия, о котором так мечтал, а теперь стал как бы его соучастником. Чик держал пиджак на полусогнутой руке, стараясь как можно меньше прирагиваться к нему. — Раздевайся, — снова сказал Мотя и отплюнул окурки.

— За что?! За что, Мотя? — отчаянно спросил Керопчик.

— Я же сказал, — Мотя снова тяжело и лениво ударил Керопчика по лицу.

Голова Керопчика опять отмотнулась. Он расстегнул рубашку и стянул ее с себя, обнажив голую грудь, на которой был наколот орел, уносящий девушку. Наколка эта сейчас показалась Чик. жалкой.

Керопчик положил рубашку на пиджак.

— Корочки, — приказал Мотя.

Керопчик поспешно снял свои туфли и, не зная, как их вручить Чик, замешкался.

— Свяжи шнурками, чудило, — посоветовал Мотя, и

Керопчик стал поспешно связывать шнурки туфель неслышающимися пальцами. Наконец он их связал и перекинул связанные туфли через полусогнутую руку Чика.

Чем больше тяжелела рука Чика, тем сильнее он чувствовал свое участие в том, что делал Мотя, и ему это было ужасно неприятно. Кроме этого, он еще боялся, что кто-нибудь из редких прохожих на этой улице окажется знакомым и донесет тетушке, что он принимал участие в грабеже.

Но редкие прохожие не обращали внимания на то, что происходило здесь.

В конце спортплощадки стоял домик, выходявший окнами на спортплощадку. Там жил один нервный тип, ненавидевший эту спортплощадку, потому что мяч иногда попадал в окна его домика. Это случалось очень редко, потому что домик стоял достаточно далеко, но хозяин все равно был очень нервным и, бывало, часами следил из окна в ожидании, когда мяч перелетит в его дворик или попадет в окно.

Сейчас он стоял у окна, и даже издали было видно, что он таращит белки глаз и как бы рвется выпрыгнуть в окно. Жена, стоя за ним, удерживала его. Чик понимал, что его не столько удерживает жена, сколько собственный страх.

Неужели он его и брюки заставит снять, с ужасом подумал Чик, когда Керопчик повесил ему на руку свои перевязанные шнурками туфли.

— Шкары, — приказал Мотя, словно отвечая Чику.

— Хоть скажи, за что! — снова отчаянно попросил Керопчик. Лицо его побледнело, и только на щеке, куда его дважды ударил Мотя, горело красное пятно.

— Я же тебе сказал, — спокойно отвечал Мотя. — Повторить?

Керопчик, расстегнув пояс, стал дрожащими руками снимать брюки и долго не мог вытащить ногу из одной штанины, наконец, вывернув ее, снял брюки и положил их на уже пемеющую руку Чика.

Теперь Керопчик стоял в носках и сатиновых трусиках, и орел, уносящий девушку, наколотый на его груди, казался еще более нелепым.

Чику стало его страшно жалко. Ему стало стыдно, что все это случилось благодаря его стараниям. Чтоб уменьшить этот стыд, он старался припомнить, как Керопчик дразнил его старшего брата, как тогда ему было больно и тяжело слышать его гнусное пение, он старал-

ся вспомнить, как Керопчик нагло опрокинул лоток Алихана, но все это сейчас почему-то казалось не таким уж важным по сравнению с унижением, которому подвергал его Мотя.

«Неужели он в таком виде заставит пройти по городу, и неужели я должен буду идти рядом и нести его одежду?» — с тоскливым отчаянием думал он.

Когда Керопчик положил, вернее, даже повесил брюки на согнутую руку Чика, нервный домовладелец схватился за голову, а потом решительным движением вынулся из окна, словно хотел спрыгнуть, но жена его опять удержала. Из другого окна выглядывали трое черноглазых детишек и с большим любопытством следили за происходящим на спортплощадке.

— Ну, теперь трусы, — сказал Мотя, — а носки можешь оставить.

— Трусы я не сниму, — вдруг сказал Керопчик и еще сильнее побледнел. В его прозрачных глазах появилось выражение смертельного упорства загнанной козы. Он приподнял голову и прямо смотрел на Мотю, ожидая удара.

Мотя не стал его ударять, а спокойно вынул из бокового кармана финский нож. Страх и ужас сковали Чика. Неужели он его будет убивать, мелькнуло у него в голове, как же это может быть?

— Сымай, — сказал Мотя и посмотрел в глаза Керопчика своим холодным брезгливым взглядом.

— Не сниму, — сказал Керопчик тихо и еще больше побледнел.

Мотя взял свой финский нож за лезвие и, оставив острое свободным пальца на три, наклонился и всадил нож в голое волосатое бедро Керопчика.

Приступ тошноты подкатил к горлу Чика. Керопчик неподвижно стоял и только слегка дернулся, когда нож вошел ему в ногу. Мотя разогнулся и посмотрел на Керопчика своими холодными глазами, и вдруг Чика показалось, что он понял смысл выражения его глаз: человеческое тело беззащитно против ножа и пули и потому сам человек достоин презрения.

Густая пунцовая капля крови появилась на том месте, куда Мотя всадил нож. И только Чик удивился, что оттуда не идет кровь, как Керопчик переступил с ноги на ногу и из ранки полилась тоненькая быстрая струйка крови. Она пошла вдоль ноги и затекла за носок.

— Сымай, — повторил Мотя.

— Не сниму, — ответил Керопчик, глядя на Мотю, и глаза его теперь были похожи на две ненавидящие раны.

Мотя наглядно перехватил лезвие финки, так что теперь он освободил его от острия примерно на четыре пальца и, наклонившись, всадил лезвие в другую ногу Керопчика. Керопчик вздрогнул, но опять не сошел с места, и только Чик услышал, как у него скрипнули зубы.

И опять Чик, как сквозь сон, удивился, что из ноги не идет кровь, и опять Керопчик переступил с ноги на погу, и струйка крови, еще более обильная, полилась вдоль ноги, извиваясь и выбирая русло между густыми курчавящимися волосками.

— Негодяй, что ты делаешь! — вдруг с улицы раздался чей-то зычный голос, и через секунду в воротах спортплощадки появился высокий человек в военной форме.

Чик успел заметить, что Мотя посмотрел на него, никак не изменившись в лице, его глаза по-прежнему светились спокойным брезгливым холодом. В то же время он заметил, что Керопчик не только не обрадовался этой неожиданной помощи, а с явным раздражением смотрит в его сторону.

Не успел военный пройти и половину расстояния от ворот до того места, где они стояли, как из окна в самом деле выпрыгнул нервный домовладелец и с криком помчался в их сторону.

— Милиция! — кричал он дурным, блеющим голосом. — Я все видел! Я свидетель! Милиция!

Военный и домовладелец, сверкавший безумными глазами, почти одновременно подступали к Моте. Военный что-то возмущенно говорил Моте, но голос его полностью заглушался голосом домовладельца.

— Шакал! Гитлер! — кричал он. — Идем милиция! Я свидетель!

Мотя в это время спокойно всовывал нож в боковой карман бушлата.

— Пирячит! Пирячит! — с торжествующим злорадством закричал нервный. — А кировь куда пирятать будешь?!

И он показал на окровавленные ноги Керопчика.

Вдруг Мотя выхватил из кармана, куда он прятал нож, пистолет и с криком:

— Ложись! — выстрелил два раза.

В первое мгновение Чику показалось, что он убил домовладельца и военного, потому что оба они упали как

подкошенные, и только через секунду Чик понял, что Мотя стрелял в землю.

Почти сразу после выстрелов раздался истошный голос жены домовладельца, и Чик увидел, что она бежит к ним, рвя на себе волосы и крича, как по покойнику. Чик не понял, выпрыгнула она в окно или влетела через вторые ворота, которые были расположены возле их домика.

Услышав крики жены, тот приподнял голову, издали показывая, что он вполне жив-здоров и только удивляется ее странному поведению.

Увидев, что муж ее жив, жена бросилась к Моте.

— Мамочка, не убивай! Его не жалко — дети жалко! Мамочка, не убивай!

Тут Чику показалось, что Мотя немного растерялся.

— Ладно, ладно, — сказал он, слегка отстраняясь от нее, и, обращаясь к военному, приказал: — Встать!

Рука его, до этого свободно державшая пистолет, отвердела.

Домовладелец, лежавший рядом с военным, сейчас поглядывал на него, как бы удивляясь, откуда здесь могло появиться это чужеродное существо.

Военный молча встал.

— Кругом шагом марш! — приказал Мотя, и высокий, сильный на вид военный, посмотрев на Мотю ненавидящими глазами, молча повернулся и, опустив голову, ушел.

Но ведь у него нет оружия, подумал Чик, стыдясь за военного и жалея его, а Мотя может сделать все, что захочет.

— Вставай ты тоже, — обратился Мотя к домовладельцу и, пряча пистолет, брезгливо передразнил: — «Милиция»...

Тот вскочил на ноги и слегка отряхнулся не столько от пыли, сколько показывая, что с недоразумением покончено и вообще оно было незначительным.

— Какой милиция?! — отвечал он Моте. — И где милиция?! Зайдем мой дом, гостем будешь, да? Гудаутское вино выпьем, да?

— Пошли, — вдруг сказал Мотя, охватывая всех глазами.

— Спасибо, мамочка! — снова запричитала женщина.

— Цыц! — прикрикнул на нее муж и пригрозил пальцем. — Иди что-нибудь приготовь!

Женщина быстрыми шагами, переходящими в побежку, пошла вперед, а следом двинулись все четверо. Вне-



реди Мотя с хозяином, а чуть позади Керопчик в сатиновых трусиках и в носках, а рядом с ним Чик, оглушенный всем случившимся, с одеждой Керопчика, висящей на онемевшей руке.

И пока они переходили спортплощадку, и пока, выйдя на улицу, входили в дом, у ворот домов, расположенных напротив, стояли люди и молча следили за ними. Чик знал, что все они появились, как только раздались выстрелы, во всяком случае, никак не позже. Он также знал, что никто из них не пожалуется в милицию и не расскажет об увиденном.

Чик запомнил выражение лица хозяина, когда он, гостеприимно распахнув дверь, пропускал туда всех и одновременно поглядывал на улицу, как бы говоря ближайшим соседям: «Хочу — зову милицию, хочу — приглашаю в гости. Это мое дело».

Гости прошли по довольно темному коридору, хозяин открыл дверь перед собой, и они вышли на светлую застекленную веранду, где стояло несколько больших бочек, как понял Чик, пустых. На одной из бочек стоял небольшой бочонок, и по влажной втулке было видно, что в нем есть вино.

Хозяин достал висевший на стене резиновый шланг, поставил рядом с маленькой бочкой пятилитровую банку, открыл бочонок, сунул туда конец шланга, второй конец взял в рот и, втягивая щеки, стал высасывать оттуда вино. Вытянув шею, он быстро вынул изо рта конец шланга и сунул его в банку, куда мягко стала стекать розовая «изабелла». На веранде запахло виноградом.

Все это он проделывал с лихорадочной быстротой, то и дело поглядывая на Мотю, словно стараясь убедиться в правильности своих действий. Когда вино стало стекать в банку, он торжествующе посмотрел на Мотю. Теперь он сам был убежден в правильности того, что он делал.

Мотя взглянул на Чика и, кивнув на одну из бочек, сказал:

— Положь...

Чик сбросил одежду Керопчика и освободил онемевшую руку. Он посмотрел на Керопчика, Керопчик посмотрел на Мотю, может быть, ожидая, что тот предложит ему одеться, но Мотя промолчал.

Чик обратил внимание, что на противоположной стене веранды, над уютной тахтой, висел портрет Ломоносова. Точно такой же портрет висел у них в школе, и Чик

никак не мог понять, откуда взялся такой портрет в этом доме.

— Красивый мужчина, да, — сказал хозяин, обратив внимание на то, что Чик смотрит на портрет Ломоносова, и как бы объясняя причину появления здесь этого портрета.

«Вот уж не сказал бы», — подумал Чик. Круглое лицо Ломоносова под париком никогда не казалось Чику красивым.

Хозяйка внесла большую миску с нарезанными помидорами и огурцами и, поставив ее рядом с вином, вышла.

— Сейчас один-два стаканчика, пока курица будет, — сказал хозяин, разливая вино.

Пили почему-то из пол-литровых банок.

Хозяин произнес тост за Мотю. Он говорил, все время повышая голос, и, как догадывался Чик, все больше и больше пьянел от радости, сознавая миновавшую опасность. В конце концов он сказал, что город не так дрожит, когда пролетает «юнкерс», как дрожит, когда проходит по его улицам Мотя. Держа банку в руке, Мотя слушал его с выражением угрюмой благодарности.

Чик все время думал, как бы ему уйти отсюда, но не знал, как это сделать. Он боялся, что, когда они напьются и уйдут отсюда, ему придется по всему городу нести одежду Керопчика, если Мотя не сменит гнев на милость.

Когда хозяин дошел до «юнкерса», Мотя попытался его остановить.

— Ладно, — сказал он, приподняв банку и показывая, что тост затянулся, а ему хочется выпить.

— Цыц! — прикрикнул вдруг на него хозяин. — Когда за тебя пьют, ты должен слушать и молчать.

И Мотя в самом деле промолчал.

— Аллаверды к нашему Керопчику! — сказал хозяин, выпив свою банку до конца, и, перевернув ее, показал, как от души до последней капли он выпил.

И Керопчик произнес тост за Мотю, стоя в своих сатиновых трусах, с кровавыми ручейками запекшейся крови на волосатых мускулистых ногах. Он говорил, всем своим видом показывая, что стоит выше личной обиды, может быть, по ошибке нанесенной ему Мотей.

Выпив свою банку, он сделал несколько шагов к бочке, поставил банку и взял из миски ломоть помидора. Когда он шагнул, Чик заметил, что от его ног остаются грязно-красные следы. Мотя тоже это заметил.

Чик молча пригубил банку. Хозяин хотел заставить его выпить, но Мотя знаком показал, что Чикю пить не обязательно.

Выпив свою банку с вином, Мотя тоже взял из миски большой ломоть помидора и кружок огурца, отправил их в рот и, жуя, мотнул головой на ноги Керопчика.

— Поди вымой...

— В бочке вода! — охотно отозвался хозяин, словно мытье ног Керопчика входило в его планы, только он ждал удобного случая. Хозяин распахнул дверь веранды и кивнул на бочку, стоявшую под водосточной трубой.

— Можно папиросу возьму? — сказал вдруг Керопчик, показывая Моте на пиджак.

Последовало долгое молчание. Мотя смотрел на Керопчика, словно пытаясь его узнать. Потом он медленно полез в карман и вынул оттуда пачку папирос «Рица». Он закурил сам и дал закурить Керопчику.

С дымящейся папиросой в зубах Керопчик уверенно прошел во дворик.

— Чик, попроси у хозяйки кружку, — крикнул он оттуда.

Чик прошел в темный коридор и оттуда вошел в кухню, где хозяйка ошпаривала курицу в кипятке, чтобы ошипать ее. Чик с тоскою подумал, как это долго все будет продолжаться. Он еще обратил внимание на то, что детей нигде не видно. Наверное, хозяйка их куда-то услала или спрятала в другой комнате. Хозяйка дала ему кружку и большую чистую тряпку, чтобы Керопчик мог вытереть ноги. Вид у нее был очень подавленный. Перед Чиком ей нечего было изображать гостеприимную хозяйку.

Когда Чик вышел из кухни и проходил по веранде, хозяин и Мотя пили по второй банке. Чик подошел к водосточной трубе, где рядом с бочкой стоял Керопчик. Он уже снял свои носки и, сделав несколько глубоких затяжек, докурил папиросу и выбросил ее.

Чик поливал ему из бочки, а Керопчик сначала вымыл носки, повесил их на край бочки и стал мыть ноги. Он с лихорадочной быстротой соскребал с ног кусочки спекшейся крови. Он очень тщательно мыл ноги. Он их так мыл, словно надеялся, что все, что было, сейчас смоем и все забудется, а Мотя вернет ему одежду. Самые ранки, куда ударял его Мотя, покрылись засохшей корочкой крови, и он не стал их трогать, чтобы они не кровоточили. То ли от воды, то ли от волнения Керопчика коло-

тил озноб. Он надел свои влажные чистые носки, и они с Чиком поднялись на веранду.

Хозяин разливал по третьей банке. Мотя курил.

Чик прошел с кружкой на кухню. Он поставил кружку на стол. Хозяйка его даже не заметила. Он тихо вышел в коридор, но повернул не на веранду, а прямо к выходу на улицу. Он распахнул дверь и, не веря своему освобождению, вышел на улицу. Он сделал несколько шагов в сторону дома, а потом не выдержал и побежал. Он бежал до самого дома, словно выныривая и выныривая, просыпаясь и просыпаясь от ужасного сна.

Дома никто ничего не знал о случившемся, люди ничего не знали о том, что происходит у них под носом. А может, вообще ничего не было? Во всяком случае, Чик перестал ходить на спортплощадку, где любил отдыхать Мотя. Зимой Мотю арестовали, и, по слухам, он получил громадный срок и больше никогда в их городе не появлялся.

С того самого дня Чик потерял интерес к людям с холодными стальными глазами. Он больше не испытывал романтического любопытства к людям преступного мира. Он даже впал в обратную крайность, то есть, увидев человека с такими глазами, он начинал подозревать его в преступных склонностях, хотя обладатели таких глаз иногда бывали людьми даже слишком благопристойными.

Что касается Керопчика, то его тоже пару раз арестовывали по мелочам, и он в конце концов образумился и стал сапожником по модельной дамской обуви. Он работает на том же базаре, и будочка его изнутри увешана снимками кинозвезд и звезд мирового футбола.

## СОДЕРЖАНИЕ

<i>И. Виноградов. Русская проза чегемского мудреца Фазиля Искандера . . . . .</i>	5
Праздник ожидания праздника. <i>Рассказы . . . . .</i>	17
Приключения Чика. <i>Рассказы . . . . .</i>	149

**Искандер Ф. А.**

**И 86** Собрание сочинений: В 4-х т. Т. 1: Праздник ожидания праздника; Приключения Чика / Предисл. И. Виноградова. — М.: Мол. гвардия, 1991. — 527[1] с.

**ISBN 5-235-01497-9 (т. 1)**

**ISBN 5-235-01498-7**

В первый том четырехтомного собрания сочинений Фазиля Искандера включены два цикла рассказов — своеобразный эпос, посвященный детству и объединенный присутствием юного Чика и автора-рассказчика.

**И 4702010201—143** Подписное  
**078(02)—91**

**ББК 84Р7**

**ИБ № 7099**

**Искандер Фазиль Абдулович**

**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ. Т. 1**

**Заведующий редакцией В. Перегудов**

**Редактор С. Шевелев**

**Художники А. Озеревская, А. Яковлев**

**Художественный редактор А. Романова**

**Технический редактор Е. Михалева**

**Корректоры Е. Дмитриева, Е. Самолетова, В. Назарова,  
Т. Контневская**

Сдано в набор 10.10.90. Подписано в печать 03.06.91.  
Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Вумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 27,72+ +0,10 вкл. Усл. кр.-отт. 28,24. Учетно-изд. л. 30,1. Тираж 100 000 экз. Цена 5 руб. Заказ 1286.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательско-полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес ИПО: 103030. Москва, Суцневская, 21.

**ISBN 5-235-01497-9 (т. 1)**

**ISBN 5-235-01498-7**



ISBN 5-235-01795-1



9 785235 017955





FORBES BOARD